Владимир Набоков

Ада, или Отрада

Семейная хроника

Посвящаю моей жене

Кроме Рональда Оранжера и его жены, нескольких второстепенных лиц и немногих неамериканских подданных, никто из тех, кто назван в этой книге по имени, до настоящего времени не дожил.

<Ред.>

Родословное древо

Часть первая

1

«Все счастливые семьи более или менее различны, все несчастливые более или менее похожи друг на друга», замечает великий русский писатель в начале своего знаменитого романа («Anna Arkadievitch Karenina» в английском преображении Р. Дж. Стоунлоуэра, товарищество с ограниченной ответственностью «Гора Фавор», 1880). Это утверждение едва ли имеет какое-либо отношение к нашему повествованию, семейной хронике, первая часть которой ближе, пожалуй, другому сочинению Толстого, «Дѣтству и Отрочеству» (выпущенному по-английски в 1858 году издательством «Понтий Пресс» под названием «Childhood and Fatherland», то есть «Детство и Отечество»).

Дарья (Долли) Дурманова, бабка Вана по материнской линии, была дочерью князя Петра Земского, губернатора Бра-д'Ора, американской провинции на северо-востоке нашей обширной и разнообразной страны. В 1824 году князь женился на франтоватой светской особе, ирландке Мэри О'Рейли. Долли, их единственное дитя, родилась в Бра, и в 1840 году, нежных и своенравных пятнадцати лет от роду, обвенчалась с генералом Иваном Дурмановым, комендантом Юконской крепости и мирным помещиком, владевшим землями в Северн Тори (Сѣверныя Территоріи), этом лоскутном протекторате, который до сих пор любовно называют

«Русской» Эстотией, гранобластично и органично смешанной с «Русской» Канадией, иначе называемой «Французской» Эстотией, где не только французские, но также македонские и баварские поселенцы наслаждаются чудным климатом под звездами нашего полосатого американского флага.

Дурмановы, впрочем, облюбовали Радугу, имение, расположенное вблизи городка с тем же названием, за пределами собственно Эстотиландии, на атлантическом отрезке материка, между фешенебельной Калугой (Нью-Чешир, С.Ш.А.) и не менее роскошной Ладогой (Майн), где они владели особняком и где родились трое их детей: сперва сын, умерший молодым и знаменитым, а затем двойня девочек с неуживчивыми характерами. Долли унаследовала материнскую красу и темперамент, но также и одну закоренелую родовую черту — эксцентричный и порой удручающий вкус, нашедший свое выражение, к примеру, в именах, которые она дала дочерям: Аква и Марина («Отчего не Тофана?» — со сдержанным утробным смешком спрашивал жену славный, награжденный ветвистыми оленьими рогами генерал и коротко откашливался с напускным безразличием — страшился вспышек ее гнева).

23 апреля 1869 года, во влажной и теплой, сетчатой от мороси зеленой Калуге, страдающая своей обычной весенней мигренью двадцатипятилетняя Аква сочеталась узами брака с манхэттенским банкиром старинного англо-ирландского рода Волтером Д. Вином, уже давно состоявшим в прерванной и вскоре вновь возобновившейся (спорадически) любовной связи с ее сестрой Мариной. Та, в свою очередь, в 1871 году вышла за двоюродного брата своего первого любовника, тоже Волтера Д. Вина, столь же состоятельного, но много менее блестящего господина.

«Д.» в имени мужа Аквы означал Демон (форма от Демьян или Дементий), и так его домашние и величали; в свете же он был известен главным образом как Ворон Вин или просто Черный Волтер, в отличие от мужа Марины, Волтера Дурака или попросту Рыжего Вина. Сугубое увлечение Демона состояло в коллекционировании Старых Мастеров и молоденьких метресс. Он, кроме того, любил зрелые каламбуры.

Мать второго Волтера, Данилы или Дана Вина, в девичестве носила фамилию Трумбэлл, и он имел склонность пространно пояснять, если только какой-нибудь охотник затравить зануду не сбивал его, как в ходе американской истории английский «bull» (бык) превратился в новоанглийский «bell» (колокол). В силу тех или иных причин он на третьем десятке «начал свое дело» и довольно бойко выбился в известного манхэттенского торговца картинами. Живопись его мало увлекала, во всяком случае на первых порах, к тому же ни коммерческой жилки, ни нужды растрясать на ухабах своей «работенки» солидное состояние, унаследованное от череды значительно более предприимчивых и решительных Винов, у Данилы не было. Признаваясь в том, что деревенская жизнь ему не по душе, он провел в Ардисе, своем великолепном имении вблизи Ладоры, лишь несколько тщательно затененных летних уик-эндов. Столь же редко с отроческих лет посещал он и другое свое поместье, расположенное на северной стороне Китеж-озера, под Лугой, вмещавшее и практически состоявшее из этой странно прямоугольной, притом совершенно естественной водной глади, для пересечения которой по диагонали окуню требовалось тридцать минут

(как он однажды установил по часам) и которой он владел вместе со своим кузеном, бывшим в юности заядлым рыболовом.

Интимная жизнь бедного Данилы не отличалась ни сложностью, ни прелестью, но так вышло (он вскоре позабыл, при каких именно обстоятельствах, как забываешь мерки и цену любовно сшитого пальто, поносив его, от случая к случаю, два-три сезона), что наш негоциант удобно влюбился в Марину, семью которой знавал еще с тех времен, когда та владела Радужской усадьбой (впоследствии проданной г-ну Элиоту, дельцу-еврею). Как-то весенним днем 1871 года, поднимаясь вместе с Мариной в лифте первого манхэттенского десятиэтажного здания, он сделал ей предложение; на седьмом этаже («Отдел игрушек») был с негодованием отвергнут, вниз спустился в одиночестве и, желая проветрить чувства, отправился в контр-Фогговом направлении в тройной тур вокруг света, всякий раз повторяя, будто ожившая параллель, один и тот же маршрут. В ноябре 1871 года, когда он строил свои вечерние планы с тем же самым грязноватым, но любезным чичероне в костюме цвета café-au-lait, которого он уже дважды нанимал все в том же генуэзском отеле, ему подали на серебряном подносе аэродепешу от Марины (пересланную с недельным опозданием его манхэттенской конторой, где ее по недосмотру новой служащей упрятали в долгий ящик с пометкой RE AMOR). Марина кратко извещала Данилу, что выйдет за него после его возвращения в Америку.

Согласно уцелевшему вместе с другими старыми бумагами на чердаке Ардис-Холла воскресному приложению к «Калужской газете», на юмористической странице которой как раз начала печататься серия рисованных историй «Доброй ночи, малыши!», о давно позабытых теперь Нике и Пимпернелле (очаровательных брате и сестрице, деливших узкую кровать), брачная церемония Вин — Дурманова состоялась в 1871 году в день св. Аделаиды. Двенадцать лет и приблизительно восемь месяцев спустя двое нагих детей, он — темноволосый и смуглый, она — темноволосая и молочно-белая, склонившись в луче жаркого солнца, падавшего из чердачного окна, под которым громоздились пыльные картонные коробки, случайно сопоставили эту дату (16 декабря 1871 года) с другой (16 августа того же года), косо нацарапанной задним числом рукою Марины в углу официальной карточки (стоявшей в плюшевой малиновой рамке на большом письменном столе ее мужа в библиотеке), — неотличимой от газетного снимка, с той же трафаретно волочащейся по земле эктоплазменной фатой невесты, слегка вздувшейся на паперти из-за бриза и облепившей панталоны жениха. Девочка появилась на свет 21 июля 1872 года в Ардисе, родовом поместье ее предположительного отца в графстве Ладора, и в силу какой-то неясной мнемонической причины была записана под именем Аделаида. Вторая дочь, на сей раз бесспорно Данова, родилась 3 января 1876 года.

Кроме этого старого иллюстрированного приложения ко все еще выходящей, но давно выжившей из ума «Калужской газете», наши озорные Пимпернелл и Николетта наткнулись в полумраке того же чердака на катушку с лентой, оказавшейся (по словам поваренка Кима, что станет ясно из дальнейшего) предлинным микрофильмом, отснятым глобтроттером. Пленка запечатлела всякие причудливые базары, раскрашенных херувимчиков и писающих мальчиков, возникавших трижды в разных ракурсах и в новых гелиоцветовых тонах. Разумеется, человеку,

который собирается остепениться и создать семью, не следует хвастать определенного рода интерьерами (как, например, групповыми сценами в Дамаске — вот сам Данила, вот непрерывно дымящий сигарой археолог из Арканзаса, обладатель необыкновенного шрама на стороне печени, вот три толстые шлюхи, вот преждевременный «гейзерок» старика Арчи, как смешно назвал эту конвульсию третий участник вечеринки мужского пола, некий бравый британец); и все же во время познавательного медового месяца, проведенного в Манхэттене, Дан много раз демонстрировал молодой жене бóльшую часть этой ленты, к которой прилагались заметки строго фактического рода, не всегда легко отыскиваемые из-за выпавших или перепутанных закладок в нескольких путеводителях, разбросанных кругом.

Впрочем, лучшую свою находку дети обнаружили в другой картонной коробке, в более глубоком слое прошлого. Небольшой зеленый альбом с аккуратно вклеенными цветами, набранными самой Мариной или подаренными ей в горном курорте Эксе, недалеко от Брига, Швейцария, где она жила некоторое время до замужества (по большей части в наемном шале). Первые двадцать страниц этого гербария украшали мелкие растения, беспорядочно собранные в августе 1869 года на муравчатых склонах над шале, или в парке отеля «Флори», или же в саду близлежащего санатория («мой nusshaus», как его прозвала бедная Аква, «Приют» или «Дом», как более сдержанно его именует Марина в своих пометках о месте, где было сорвано растение). Эти начальные страницы не представляли большой ботанической или психологической ценности, а полсотни последних страниц альбома и вовсе остались пустыми; но срединная часть, с заметно убывающим числом образцов, оказалась сущей мелодрамой в миниатюре, разыгранной призраками мертвых цветов. Образчики находились на одной стороне альбомного листа, а заметки Марины Dourmanoff (sic) — en regard.

Ancolie Bleue des Alpes, Экс в Вале, 1.IX.69. От англичанина в отеле. «Водосбор альпийский. Цвет ваших глаз».

Epervière auricule. 25.X.69, Экс, ex horto д-ра Лапинера. Сорвана в стенах его альпийского сада.

Золотой [гинкго] лист: выпал из книги «Правда о Терре», которую Аква подарила мне перед возвращением в свой Приют. 14.XII.69.

Рукотворный эдельвейс, принесенный моей новой нянькой с запиской от Аквы, пояснявшей, что он взят с «мизерной и диковатой» рождественской ели в Приюте. 25.XII.69.

Лепесток орхидеи, одной из 99 орхидей — скажите пожалуйста! — присланных мне вчера, Спешная Доставка, c’est bien le cas de le dire, с виллы «Армина» в Приморских Альпах. Отложила десяток, чтобы отнесли Акве в ее Дом. Экс в Вале, Швейцария. «Снегопад в хрустальном шаре судьбы», как он говорил. (Дата стерта.)

Горечавка Коха, редкость, принесена лапочкой Лапинером из его «безмолвного гентиариума». 5.I.1870.

[Синяя чернильная клякса, случайно принявшая форму цветка, или же нечто вымаранное и подправленное химическим карандашом.]
Compliquaria compliquata var. aquamarina. Экс, 15.I.70.

Причудливый бумажный цветок, найденный в сумочке Аквы. Экс, 16.II.1870. Сложен одним пациентом Дома, который уже больше не ее.

Горечавка весенняя (printanière). Экс, 28.III.1870, с лужайки у дома моей няньки. Последний день здесь.

Юные открыватели так прокомментировали это диковинное и отталкивающее сокровище:

«Из этого я вывожу, — сказал мальчик, — три главных обстоятельства: что еще незамужняя Марина и ее замужняя сестра провели зиму в моем lieu de naissance, что у Марины был ее собственный доктор Кролик, pour ainsi dire, и что орхидеи были посланы Демоном, предпочитавшим жить у моря, своей темно-синей прабабки».

«Могу добавить, — сказала девочка, — что лепесток относится к обычной онцидиум папилио — орхидее-бабочке; что моя мать была еще безумнее своей сестры; и что бумажный цветок, с таким высокомерием отвергнутый, вполне убедительно воспроизводит ранневесенний подлесник, виденный мной в изобилии на прибрежных калифорнийских холмах в прошлом феврале. Доктор Кролик, наш местный натуралист, упомянутый тобой, Ван, ради скорого повествовательного извещения, как могла бы назвать этот прием Джейн Остин (Вы ведь помните Брауна, не так ли, Смит?), определил, что образчик, привезенный мною в Ардис из Сакраменто, это “Bear-Foot”, B, E, A, R, “медвежья лапа”, любовь моя, не моя или твоя, или стабианской цветочницы — намек, который твой отец, а, согласно Бланш, также и мой, раскусил бы вот так (по-американски щелкает пальцами). И будь благодарен, — продолжала она, обнимая Вана, — что не привожу его научного названия. Между прочим, другая лапа — Pied de Lion — с той жалкой рождественской елки — сделана тем же, полагаю, несчастным китайским юношей, приехавшим на лечение из самого Баркли-колледжа».

«Отлично, Помпеянелла (ты видела ее, рассыпающую цветы, на репродукции в одном из альбомов дяди Дана, я же любовался ею в музее Неаполя прошлым летом). А теперь не пора ли нам, девочка, снова натянуть тенниски и шорты и спуститься вниз? Зароем или сожжем этот альбом прямо сейчас. Согласна?»

«Согласна, — ответила Ада. — Уничтожить и забыть. Но у нас еще целый час до чая».

Относительно «темно-синей» аллюзии, повисшей в воздухе:

Бывший вице-король Эстотии, князь Иван Темносиний, отец прапрабабки двух наших детей, княжны Софьи Земской (1755–1809), и прямой потомок Ярославских князей дотатарских времен, носил это имя с тысячелетней

историей. Оставаясь невосприимчивым к роскошным переживаниям генеалогической осведомленности и равнодушным к тому обстоятельству, что болваны относят как безразличие, так и горячность в этом вопросе в равной мере к проявлению снобизма, Ван не мог не испытывать эстетического волнения из-за бархатного фона своего происхождения, который он всегда различал сквозь черную листву фамильного древа как утешительное вездесущее летнее небо. В поздние годы он уже не мог перечитывать Пруста (как никогда не мог вновь насладиться приторным вкусом тягучей турецкой нуги) без того, чтобы не накатила волна пресыщения и не начала саднить мучительная изжога; и все же его любимый пассаж сохранил свою прелесть, тот, пышный, пурпурный, об имени Германт, к оттенку которого в призме его ума примешивался смежный ультрамарин, приятно дразня его артистическое тщеславие.

Примешивался смежный? Неудачно. Переписать! (Более позднее замечание на полях рукою Ады Вин.)

2

Роман Марины с Демоном Вином начался в день ее, его и Данилы Вина рождения, пятого января 1868 года, когда ей исполнилось двадцать четыре, а обоим Винам — по тридцать лет.

Как актриса Марина не обладала ни одной из тех поразительных способностей, которые делают мастерство перевоплощения даже более ценным — во всяком случае, пока длится представление, — чем такие огни рампы, как бессонница, фантазия, дерзкое искусство; и все же тем вечером, с настоящим мягким снегом, падающим по ту сторону плюша и раскрашенных холстов, La Durmanska (платившая легендарному Скотту, своему импресарио, семь тысяч долларов золотом в неделю только за рекламу да еще вознаграждавшая его премилой премией за каждый ангажемент) с самого начала балаганной эфемериды (американской пьесы, состряпанной каким-то претенциозным поденщиком из знаменитого русского романа) была так воздушна, так прелестна, так привлекательна, что Демон (не вполне джентльмен в амурных делах) побился об заклад со своим соседом по креслам в партере, князем N., последовательно подкупил череду лакеев в артистических уборных, после чего в cabinet reculé (как французский писатель предыдущего века мог бы загадочно назвать этот чулан, в котором держат всякий хлам, сломанную трубу и пуделевый обруч давно забытого клоуна, а еще множество пыльных склянок с разноцветным топленым салом) овладел ею между двух сцен (главы третья и четвертая в искалеченном романе). В первой она разделась за полупрозрачной ширмой, явив грациозный силуэт, вышла в соблазнительно-тонком пеньюаре и провела остаток жалкой сцены за обсуждением со старой няней в эскимосских унтах своего соседа-помещика, барона д'О. Следуя бесконечно мудрому совету крестьянки, она, присев на краю постели к ночному столику с гнутыми ножками, написала гусиным пером любовное письмо, которое еще целых пять минут читала вслух томным, но громким голосом — неизвестно кому и зачем, поскольку нянька задремала на чем-то вроде матросского сундука, а зрителей больше интересовало сияние искусственной луны на голых руках и дышащей груди безнадежно влюбленной девицы.

Еще до того, как старуха-эскимоска, шаркая, унесла письмо, Демон Вин

покинул свое обитое розовым бархатом кресло и отправился выигрывать пари, рассчитывая на успех не без оснований: Марина, целованная девственница, была увлечена им со времени их последнего танца на новогоднем балу. К тому же тропическая луна, в лучах которой она только что купалась, пронзительное сознание собственной красоты, воодушевление ее героини и вежливые аплодисменты почти полного зала сделали ее особенно беззащитной перед щекоткой Демоновых усов. Да и времени у нее оставалось довольно, чтобы переодеться к следующей сцене, которая открывалась долгим интермеццо русской балетной труппы, нанятой Скотти и доставленной в двух спальных вагонах из самого Белоконска, Западная Эстотия. В великолепном фруктовом саду несколько веселых молодых садовников, наряженных отчего-то грузинами, трескали ягоды малины, а группа столь же невозможных девушек-служанок в шароварах (по-видимому, кто-то оплошал, исказив слово «самовары» в аэродепеше импресарио) деловито собирала с плодовых деревьев мармелад и арахис. По незримому вакхическому знаку они все вдруг пустились в бешеный пляс под названием курва, иначе «Пышкина ленточка», как значилось в дурацкой программке, ужасные ляпсусы которой едва не свалили Демона Вина (дрожь во всем теле, легкость в чреслах и розово-красная банкнота князя N. в кармане) с кресла.

Его сердце пропустило удар и не пожалело о прекрасной потере, когда она вбежала в сад, распаленная и взволнованная, в розовом платье, сорвав третью сидячую овацию клаки, благодарившей за мгновенное исчезновение идиотских, но колоритных трансфигурантов из Ляски или Иверии. Ее встреча с бароном д'О., явившемся с боковой аллеи, при шпорах и в зеленом фраке, каким-то образом прошла мимо сознания Демона, настолько его поразило мимолетное чудо этой короткой бездны абсолютной реальности между двух фальшивых вспышек сфальсифицированной жизни. Не дожидаясь окончания сцены, он поспешил из театра в хрустящую хрустальную ночь, и снежинки звездными блестками усыпали его цилиндр, пока он шел домой, на соседнюю улицу, чтобы распорядиться о роскошном ужине. К тому времени, как он на санях с бубенцами вернулся за своей новой любовницей, последнее действие с балетом кавказских генералов и преображенных золушек подошло к своему внезапному концу: барон д'О., теперь в черном фраке и белых перчатках, стоял на коленях посреди пустой сцены, держа в руках стеклянную туфельку, — все, что оставила ему ветреная красавица, ускользнув от его запоздалых ухаживаний. Клакёры уже начали уставать и поглядывать на часы, когда Марина, в черном плаще, скользнула в объятия Демона и в его лебединые сани.

Они кутили, путешествовали, сорили деньгами, ссорились и сходились вновь. К следующей зиме он заподозрил, что она ему неверна, но не мог вычислить соперника. В середине марта, за деловым обедом с экспертом по предметам искусства, легкого нрава долговязым и обаятельным малым в старомодном фраке, Демон, ввинтив монокль, щелкнул замками особого плоского футляра, извлек из него небольшого размера рисунок пером и акварелью и сказал, что полагает (на самом деле знал наверняка, но хотел, чтобы его уверенность была оценена по достоинству), что это неизвестный образчик нежного искусства Пармиджанино. Художник изобразил нагую деву с похожим на персик яблоком в ладони приподнятой руки, сидящую бочком на оплетенном

вьюнком выступе. Рисунок был тем более дорог его первооткрывателю, что напоминал Марину, когда она, вызванная аппаратом из отельной ванной комнаты, присев на подлокотник кресла и прикрыв трубку, спрашивала своего любовника о чем-то, что он не мог разобрать из-за шума воды, заглушавшей ее шепот. Едва лишь барон д'Онски взглянул на это поднятое плечо и на кое-какие изгибы и ложбинки с нежной растительностью, как Демон утвердился в своем подозрении. Д'Онски был известен тем, что не проявлял никакого эстетического возбуждения при виде даже самого обворожительного шедевра, но тут, отложив увеличительное стекло, будто отняв маску от лица, он неприкрытым взором, с улыбкой смущенной отрады, принялся ласкать бархатистое яблочко, впадинки и мшистые прелести обнаженной девушки. Не согласится ли господин Вин сей же час уступить ему рисунок, господин Вин, пожалуйста? Господин Вин не согласится. Конски (данное ему за глаза прозвище) остается довольствоваться тщеславной мыслью, что, по крайней мере до сего дня, лишь он да счастливый владелец — единственные во всем свете люди, способные наслаждаться этим произведением en connaissance de cause. Рисунок был возвращен в его особый интегумент; однако после четвертой рюмки коньяку д'О. попросил позволения взглянуть в последний раз. Оба были слегка навеселе, и Демон спрашивал себя, стоит ли, до́лжно ли отметить это довольно, в общем, тривиальное сходство райской девы с молодой актрисой, которую его гость, без сомнения, имел удовольствие видеть на сцене в «Евгении и Ларе» или в «Леноре Вороновой» (оба спектакля разнес в пух и прах один «отвратительно неподкупный» молодой критик). Нет, не стоило: такие нимфы действительно весьма схожи друг с другом из-за своей изначальной прозрачности, поскольку сходство двух молодых тел, как двух капель воды, это всего лишь следствие журчания природной невинности и двуличности зеркал, вот моя шляпа, его засаленней, но у нас один и тот же лондонский мастер.

На другой день Демон завтракал в любимой своей гостинице с одной дамой из Богемии, которой прежде не знал и которой больше никогда не встречал (она желала получить его рекомендацию для службы в отделе стеклянных рыб и цветов бостонского музея). Завидев Марину и Акву, безучастно скользивших через зал в модной отрешенности и голубоватых мехах, с Даном Вином и ковыляющим дакелем позади, богемская дама, прервав свой поток, нашла нужным заметить:

«Занятно, как эта ужасная актрисочка напоминает “Еву у клепсидрофона” с известного рисунка Пармиджанино».

«Он какой угодно, но только не известный, — тихо сказал Демон, — и вы не могли его видеть. Вам не позавидуешь, — добавил он, — человеку стороннему, наивному, который или которая вдруг сознает, что замаралась в грязи чужой жизни, должно быть, здорово не по себе. Вы узнали об этом рисунке, упомянутом в частной беседе, от самого небезызвестного д'Онски или от кого-нибудь из его друзей?»

«Его друзей», ответила злополучная дама.

Во время допроса в темнице Демона Марина, заливисто смеясь, начала было плести затейливую паутину лжи, но разрыдалась и во всем созналась. Она клялась, что с этим покончено и что барон (телом

жуткая развалина, а духом — истинный самурай) отбыл на жительство в Японию. Из более надежных источников Демон выяснил, что Самурай отправился вовсе не в Японию, а в фешенебельный Ватикан, римский курорт, откуда он через неделю или около того должен был вернуться в Аардварк, Массачусетс. Поскольку благоразумный Вин предпочитал убить соперника в Европе (поговаривали, будто дряхлый, но несокрушимый Гамалиил намеревался сделать все, чтобы запретить дуэли в Западном полушарии — то ли ложный слух, то ли быстрорастворимый утренний каприз президента-идеалиста, так как в конечном счете из этого ничего не вышло), он нанял самый быстрый петролет, какой только можно было сыскать, настиг барона в Ницце, на редкость свежего с виду, проследовал за ним в книжную лавку Гунтера и на глазах у ее невозмутимого и скучающего английского владельца хлестнул бледно-лиловой перчаткой опешившего барона по лицу. Вызов был принят. Подыскали двух местных секундантов. Барон настоял на шпагах, и после обильного пролития голубых кровей (польской и ирландской — что-то вроде американской «Обагренной Марии», как эту смесь именуют в барах), обрызгавших оба волосатых торса, беленую террасу, ступени, ведущие в забавной постановке Дугласа Д'Артаньяна назад, к обнесенному стеной саду, фартук случайно попавшейся на пути молочницы и рукава рубашек обоих секундантов, любезного мосье де Паструил и мерзавца полковника Сент-Алина (St. Alin), разнявших запыхавшихся противников, Конски скончался — не из-за «полученных ран», как неверно доносили слухи, а от гангренозных последствий одной из самых незначительных из них, — вполне возможно, нанесенного им самому себе укола в пах, вызвавшего нарушение кровообращения, восстановить которое не удалось и после нескольких операций, сделанных ему в продолжение двух или трех лет затянувшегося пребывания в Аардваркском госпитале Бостона, городе, в котором, по совпадению, он в 1869 году женился на уже известной нам богемской даме, теперь хранительнице стеклянной биоты в местном музее.

Марина приехала в Ниццу спустя несколько дней после дуэли, выследила Демона на его вилле «Армина», и в экстазе примирения оба позабыли об уловках, уберегающих от зачатия, что привело к крайне интересному положенiю, без которого, собственно, эти горестные заметы никогда не обрели бы своей узорной связности.

(Ван, я доверяю твоему вкусу и таланту, но вполне ли мы уверены, что нам следует возвращаться в тот порочный мир с таким рвением? Ведь он, в конце концов, мог существовать лишь онирологически, Ван. Пометка на полях рукою Ады в 1965 году; легко перечеркнута ее позднейшим дрожащим почерком.)

Эта безрассудная пора оказалась не самой последней, но самой короткой, продлившись всего четыре или пять дней. Он простил ее. Он обожал ее. Он мечтал на ней жениться — при условии, что она немедленно покончит со своей театральной «карьерой». Он обличал посредственность ее дарования и вульгарность ее окружения, она же в ответ кричала, что он чудовище и дьявол. К десятому апреля уже Аква стала его сиделкой, а Марина улетела обратно, на репетиции «Люсиль», еще одной никчемной драмы, ожидавшей своего провала на подмостках еще одного ладорского театра.

«Adieu. Пожалуй, так будет лучше, — писал Демон Марине в середине апреля 1869 года (передо мной, вероятно, копия письма, переписанного его каллиграфическим почерком, или собственно непосланный оригинал), — ибо каким бы блаженством ни сопровождалась наша семейная жизнь и сколько бы ни продлилась эта блаженная жизнь, один образ я никогда не смогу ни забыть, ни простить. Позволь сути сказанного дойти до твоего сознания, дорогая. Позволь мне повторить это в таких выражениях, которые актриса сможет оценить. Ты улетела в Бостон навестить старушку тетку — клише, но в данном случае правда, — а я отправился проведать свою тетку на ее ранчо близ Лолиты в Техасе. Как-то ранним февральским утром (около полудня chez vous) я из придорожной кабины, цельный хрусталь которой был залит слезами после грандиозной грозы, позвонил в твой отель, чтобы просить тебя немедленно прилететь, поскольку я, Демон, шумящий смятыми крыльями и клянящий автоматический дорофон, не могу жить без тебя и поскольку я мечтал, чтобы ты увидела вместе со мной, прижимаясь ко мне, оцепенение ярких пустынных цветов, отысканных прошедшим дождем. Твой голос звучал далеко, но нежно; ты сказала, что обнажена, как Ева, погоди минутку, накину penyuar. Вместо этого ты, зажав мое ухо ладонью, обратилась к мужчине, с которым, полагаю, провела ночь (и которого я бы растерзал, кабы не жаждал его оскопить). Итак, вот он, эскиз, созданный в пророческом экстазе молодым художником из Пармы в шестнадцатом веке для фрески нашей судьбы и совпадающий, за исключением яблока ужасного познания, с образом, повторенным в сознании двух мужчин. К слову, твоя сбежавшая горничная была найдена полицейскими в здешнем борделе и будет препровождена к тебе, едва ее как следует накачают ртутью».

3

Подробности «Эль-катастрофы» (и я не имею в виду Элизиум) в beau milieu минувшего столетия, имевшей исключительное значение как для определения, так и для очернения понятия «Терра», слишком хорошо известны в историческом отношении и слишком непристойны в отношении духовном, чтобы посвящать им много места в книге, предназначенной юным любителям тайн и тайным любовникам, а не экспертам или эксгуматорам.

Разумеется, теперь, после того как прошел (лишь в той или иной мере!) великий период анти-Эльских реакционных заблуждений и наши маленькие глянцевитые машины, да благословит их Фарабог, вновь тарахтят себе по-своему, как то было в первой половине девятнадцатого века, сам географический аспект этого дела обнаруживает свою искупительную комическую черту, вроде тех узоров латунной маркетри в брик-а-Браках и прочих сусальных пакостях, которые назывались «искусством» нашими безъюморными предками. Поскольку, действительно, всякий отметит нечто в высшей степени смехотворное в самих конфигурациях того, что торжественно преподносилось как многокрасочная карта Терры. Вѣдь обхохочешься, стоит только подумать, что «Россия», вместо того чтобы быть причудливым синонимом Эстотии, американской провинции, протянувшейся от Северного полярного и более не порочного круга до собственно владений Соединенных Штатов, на Терре — название страны, словно бы переброшенной фортелем континентов через сдвоенный океан — ну не

умора ли? — на другое полушарие, где она растянулась по всей территории современной Татарии от Курляндии до Курил! К тому же (что еще абсурднее), если в земных пространственных терминах Амероссия Авраама Мильтона была расколота на составные части, с реальными водами и льдами, разделявшими скорее политические, нежели поэтические понятия «Америка» и «Россия», то в отношении времени возникли более сложные и даже еще более нелепые расхождения — не только оттого, что история каждой части амальгамы не вполне соответствовала истории каждой из их копий в их разъединенном состоянии, но и оттого, что между двумя мирами так или иначе существовал разрыв в добрую сотню лет, разрыв, отмеченный престранной путаницей указателей направлений на перекрестках проходящего времени, когда не всё случившееся одного мира соотносится с еще не случившимся другого. Именно вследствие этого, кроме прочего, «научно непознаваемого» схождения отклонений, умы bien rangés (не склонные шутить с чертями) отвергли Терру как блажь или мираж, умы же расстроенные (готовые очертя голову броситься в бездну) приняли ее за подтверждение и знак собственной иррациональности.

Впоследствии сам Ван Вин, предавшись пылким изысканиям в области террологии (бывшей в то время отраслью психиатрии), выяснил, что даже глубочайшие мыслители, философы чистейшей воды, Паар из Чуза и Запатер из Аардварка, терзались противоречивыми чувствами, допуская возможность того, что где-то существует «гнилой землицы нашей порочное зерцало», — как с благозвучным остроумием выразился один ученый муж, пожелавший остаться безымянным. (Гм! Странно́-странно́, как говаривала бедная м-ль Л., обращаясь к Гавронскому. Приписка рукой Ады.)

Были те, кто утверждал, что расхождения и «ложные наложения» между двумя мирами слишком многочисленны и слишком глубоко вплетены в клубок последовательных событий, чтобы теория сущностного тождества не запятналась банальной фантазией; им возражали, что расхождения лишь утверждают живую органическую реальность иного мира, что совершенное подобие подразумевало бы зеркальность, а значит, спекулятивность феномена, и что две шахматные партии с одинаковыми начальными и заключительными ходами на одной доске, но в двух сознаниях могут разветвляться в бесконечное многообразие вариантов на каждой срединной стадии их необратимо сходящегося развития.

Скромному повествователю приходится напомнить все это тому, кто сейчас перечитывает предыдущий пассаж, поскольку в апреле (мой любимый месяц) тысяча восемьсот шестьдесят девятого (и нисколько не mirabilis) года, в день св. Георгия (согласно слезливым мемуарам м-ль Ларивьер), Демон Вин женился на Акве Дурмановой — со злости и из жалости, не столь уж редкой смеси чувств.

Были ли они приправлены чем-нибудь еще? Марина с извращенным тщеславием утверждала в постели, что на чувства Демона, должно быть, повлияло своего рода «кровосмесительное» (что бы этот термин ни значил) удовольствие (в значении французского plaisir, изрядно отдающего добавочным позвоночным вибрато), когда он нежил, и смаковал, и деликатно раздвигал, и осквернял разными

неудобосказуемыми, но упоительными способами плоть (une chair), принадлежавшую сразу и жене, и любовнице, смешанные и сияющие прелести двух единоутробных пери, Аквамарина одновременно единая и сдвоенная, мираж в эмирате, бесценный самоцвет, оргия эпителиальных аллитераций.

По правде говоря, Аква была не такой хорошенькой и гораздо более чокнутой, чем Марина. Четырнадцатилетний срок ее жалкого замужества состоял из все удлинявшихся периодов пребывания в различных санаториях. Небольшую карту европейской части Британского Содружества — скажем, от Шотландо-Скандинавии до Ривьеры, Алтара и Палермонтовии, — а также внушительную часть С.Ш.А., от Эстотии и Канадии до Аргентины, можно было довольно густо испестрить эмалевыми флажками с красным крестиком, отмечающими — в собственной Аквиной Войне Миров — места ее бивуаков. Одно время она подумывала поискать хотя бы немного здравости («чуточку серого, пожалуйста, вместо этой сплошь непроницаемой черноты») в таких англо-американских протекторатах, как Балканы и обе Индии, и даже попытать счастья на двух южных континентах, процветающих под нашим совместным господством. Разумеется, суверенный ад Татарии, в те времена протянувшейся от Балтийского и Черного морей до Тихого океана, оставался для туристов недоступным, хотя названия Ялта и Алтын Таг звучали до странности привлекательно… Однако ее истинной целью была Терра Прекрасная, и туда-то, верила Аква, она унесется на длинных стрекозьих крыльях после своей смерти. Ее горькие записки к мужу, славшиеся из различных приютов безумия, бывали подписаны так: «Мадам Щемящихъ-Звуковъ».

После первой схватки с умопомрачением в Экс-ан-Вале она вернулась в Америку и потерпела жестокое поражение, в те дни, когда Ван еще сосал грудь совсем юной кормилицы, почти ребенка, Руби Блэк, рожденной Блэк, которой тоже суждено было сойти с ума, поскольку стоило лишь какому-нибудь нежному и хрупкому созданию сблизиться с ним (к примеру, Люсетте в свое время), как его неминуемо постигали горе и страдания, если, конечно, у этого создания в жилах не текла стойкая демонская кровь его отца.

Акве еще не исполнилось и двадцати, когда свойственная ее натуре экзальтация начала обнаруживать признаки отклонения. Хронологически начальная стадия ее умственного расстройства совпала с первым десятилетием Великого Откровения, и хотя она могла бы с той же легкостью найти другую тему для своей мании, из данных статистики следует, что Великое и для иных Невыносимое Откровение вызвало в мире большее число помешательств, чем даже религиозный фанатизм в Средние века.

Откровение может быть опаснее кровавой революции. Повредившиеся умом отождествляли «Планету Терру» с понятием «тот свет», и этот «Мир Иной» смешивался не только с «Миром Потусторонним», но и с Миром Реальным вокруг нас и внутри нас. Наши чародеи, наши демоны — благородные сияющие существа с прозрачными когтями и мощным взмахом крыльев; однако Нововеры шестидесятых годов девятнадцатого века страстно призывали нас представить себе сферу, в которой наши чудесные друзья вконец опустились, сделавшись всего лишь злобными и

порочными монстрами, омерзительными бесами с черными мошонками хищников и ядовитыми зубами змей, осквернителями и мучителями женских душ, в то время как на противоположной стороне космического переулка радужная дымка ангельских духов, населяющих сладостную Терру, воссоздавала все позабытые, но еще плодотворные мифы былых верований, с переложением для мелодиона всех какофоний всех богословий и пророчеств, когда-либо порожденных болотами нашего достаточного мира.

Достаточного для твоей цели, Ван, entendons-nous. (Заметка на полях.)

Бедняжка Аква, чье воображение было легкой добычей для юродивых и христиан, живо воображала себе рай младшего псаломщика, Америку грядущего: алебастровые здания в сто этажей, напоминающие красивые мебельные лабазы, набитые высокими белыми шкафами и приземистыми рефрижераторами; она видела гигантских летающих акул с глазами по бокам, способных всего за ночь перенести паломников по черному эфиру через весь континент, от темного к сияющему морю, а после вернуться в Сиэтл или Уорк. Она слышала волшебные музыкальные шкатулки, говорящие и поющие шкатулки, которые заглушали ужас мысли, возносили девушку-лифтера, спускались с углекопом, восхваляя красоту и благочестие, Деву и Венеру, в обителях пустынных и скорбных. Непостижимой силой магнетизма, обличаемой злостными законниками в этой нашей захудалой державе, да и вообще всюду — в Эстотии и Канадии, в «германской» марке Кеннензи и в «шведской» Манитобогане, в мастерской краснорубашечника-юконца и на кухне краснокосыночной лясканки, и во «французской» Эстотии, от Бра-д'Ора до Ладоры, а там и на всем пространстве двух наших Америк, как и на всех прочих потрясенных континентах, — на Терре пользовались так же свободно, как водой и воздухом, библиями и метлами. Двумя-тремя столетиями раньше Аква легко нашла бы себе место в когорте горючих ведьм.

В сумбурные студенческие годы она бросила модный Браунхильский колледж, основанный не самым почтенным ее предком, чтобы с другими энтузиастами (что также было модно) участвовать в одном из проектов Общественного Содействия, зачинавшихся на Сѣверныхъ Территоріяхъ. При живейшей поддержке Мильтона Авраама она открыла в Белоконске «Другсторий» (аптекарский магазин «Дружба») и там же болезненно влюбилась в женатого человека, который после одного лета плебейской страсти, скупо отпускавшейся Акве в его гарсоньерке (фордовом доме на колесах), почел за лучшее бросить любовницу, чем искушать судьбу, рискуя своим положением в мещанском городке, в котором местные воротилы по воскресеньям играли в «гольф» и состояли в «ложах». Кошмарный недуг, поверхностно и небрежно определенный в ее случае (а также применительно к другим несчастным) как «крайняя форма мистической мании в сочетании с экзисступлением» (иными словами, обычное помешательство), завладевал ею постепенно, отступая в периоды экстатической благости и преодолевая всё более редкие и короткие участки зыбкого здравомыслия, с внезапно находившими на нее грезами о беспечной вечности.

После ее смерти в 1883 году Ван подсчитал, что за тринадцать лет, принимая во внимание каждый случай предположительного присутствия и

все печальные визиты к ней в различные госпитали, а также ее неожиданные вторжения среди ночи (когда она, на всем пути вверх по лестнице борясь с мужем или хрупкой, но проворной английской гувернанткой, встречаемая радостным лаем старого аппенцеллера, прорывалась наконец в детскую — без парика, босоногая, с окровавленными ногтями), он видел ее или находился подле нее в конечном счете не долее срока вынашивания человеческого плода.

Вскоре зловещая мгла скрыла от нее радужную даль Терры. Одна стадия распада сменялась другой, еще более мучительной, поскольку человеческий мозг может сделаться наилучшим пыточным застенком из всех, им самим изобретенных и испробованных — за миллионы лет, в миллионах стран, на миллионах воющих созданиях.

У нее развилась болезненная чувствительность к плеску проточной воды, напоминающему порой (подобно току собственной крови в предморфическом состоянии) обрывки человеческой речи, все еще звучащей в ушах, когда моешь руки после коктейля с незнакомыми людьми. Заметив однажды этот продленный, стойкий, а в ее случае скорее нетерпеливый и игривый, но, конечно, совершенно безобидный отзвук той или иной недавней беседы, она почувствовала, как у нее по спине побежали мурашки от мысли, что вот она, бедняжка Аква, вдруг открыла такой простой способ записывать и передавать звучащую речь, в то время как все эти технические специалисты (так называемые яйцеголовые) во всем мире выбиваются из сил, создавая удобные в использовании и прибыльные для производителей, но по-прежнему такие сложные и дорогие гидродинамические телефоны и прочие убогие приспособления взамен тех, что канули къ чертямъ собачьимъ вместе с запрещенным к упоминанию «ламмером». Вскоре, однако, ритмически безупречная, но вербально довольно невразумительная болтовня водопровода начала приобретать слишком много уместного смысла. Внятность речи текущей воды росла пропорционально злобности ее инсинуаций. Она принималась вещать вскоре после разговора Аквы с кем-нибудь или после чьих-нибудь слов, не обязательно обращенных к ней, слов напористых и выразительных — человек с быстрым характерным голосом и очень своеобразными или иностранными интонациями, какой-нибудь навязчивый краснобай на дрянной вечеринке, или журчащий монолог в дурацкой пьесе, или дорогой голос Вана, или обрывок стихотворения, услышанного на лекции, мой мальчик, мой милый, любовь моя, сжалься, но особенно более текучие и flou (расплывчатые) итальянские стихи, к примеру, те, которые читал эдак нараспев полурусский, полусумасшедший старый доктор, постукивая молоточком по ее коленкам и оттягивая ей веки, лот, ток, веки, реки, ballatetta, deboletta… tu, voce sbigotitta… spigotty e diavoletta… de lo cor dolente… con ballatetta va… va… della strutta, destruttamente… mente… mente… довольно, остановите пленку, иначе гид продолжит показывать, как он делал этим утром во Флоренции, тот нелепый столп, увековечивающий, по его словам, память об «ильмо», который покрылся листвой, когда под его сенью, градуально густевшей, проносили каменно-тяжелое тело мертвого св. Зевса; или та карга из Арлингтона примется без умолку наставлять своего молчащего мужа, пока мимо проносятся виноградники, и даже в туннеле («…они не могут так поступать с тобой, скажи им, Джек Блэк, ты просто скажи им…»). В воде, наполнявшей ванну (или хлеставшей в ду́ше), слишком много было

от Калибана, чтобы звучать членораздельно — или же, быть может, ей просто зверски хотелось изойти горячей струей и избавиться от адского жара, а не отвлекаться на пересуды; но иные речистые ручейки становились все более требовательными и гадкими, и когда в своем первом «Доме» она услыхала, как один из самых отвратительных приходящих докторов (тот, который читал наизусть Кавальканти) словоохотливо излил отвратительные предписания на жидком немецком (с русским акцентом) в ее отвратительное биде, она решила вовсе перестать пользоваться проточной водой.

Но эта стадия тоже миновала. Иные муки так основательно заменили названную ее именем пытку, что когда она однажды, в один из периодов просветления, слабой рукой нажала на рычажок купели с питьевой лимфой, прохладный источник ответил на собственном наречии, без капли издевки или иронии: «Finito!» Тогда-то в сознании Аквы между тусклых изваяний мыслей и воспоминаний и начали шириться мягкие темные ямы, ямищи, несказанно ее терзавшие; умственная судорога и телесная боль сомкнули рубиново-черные длани — одна принуждала ее мечтать о здравом рассудке, другая — молить о смерти. Рукотворные вещи утрачивали свое значение или наполнялись каким-нибудь чудовищным смыслом: одежные «плечики» казались в самом деле обезглавленными теллурийцами, складки сброшенного пинком одеяла становились горестно глядящим лицом с ячменем на набрякшем веке и унылым укором в углах мертвенно-бледных губ. Попытка постичь данные, каким-то образом извлекаемые гениями из положения стрелок хронометров или трелей репетиров, стала столь же безнадежной, как попытка разобрать язык жестов тайного общества или китайский напев молодого студента с гитарой (не китайской), которого Аква знавала в ту пору, когда она или ее сестра разрешилась лилово-розовым младенцем. Однако ее безумие, ее величество безумие, сохраняло трогательное кокетство сумасшедшей королевы: «Знаете, доктор, мне, кажется, скоро понадобятся очки. Вот уж, в самом деле (надменный смех), — никак не разберу, что там показывают мои часики… Ради всего святого, да скажите же, что там на часах! Неужели! Ровно полдень — но как полдень может быть ровным? Ах, ни в каком смысле, ни в каком. Смысл и замысел — слова-близнецы, у меня сестра-близнец и сын-близнец. Знаю, вам не терпится осмотреть лепестки моего рододендрона, волосатая альпийская роза в ее альбоме, сорванная десять лет тому назад» (показывает десять пальцев — восторженно, горделиво, да, именно десять!).

Затем страдания сделались нестерпимыми, доводя ее до совсем уже кошмарных состояний с криками и рвотой. Она пожелала (и ей в том не отказали, хвала госпитальному брадобрею Бобу Рику), чтобы ее черные кудри сбрили до аквамариновой щетины, поскольку ей казалось, будто они растут внутрь ее пористого черепа и курчавятся внутри. Составные кусочки неба или стены все время распадались, и как бы тщательно она их ни соединяла — неосторожный толчок или локоть сиделки легко разобщали эти невесомые фрагменты, вместо которых возникали непостижимые пустоты неизвестных предметов или изнанки шашек «Скрэббла», которые она никак не могла повернуть внутренней осмысленной стороной, поскольку руки были связаны за спиной санитаром с черными глазами Демона. Но вот страх и боль, как двое детей в шумной игре, с последним пронзительным хохотом унеслись

прочь, чтобы заняться друг другом за кустарниковой зарослью, как в «Анне Карениной» графа Толстого, роман такой, и опять на некоторое время, на короткое время, в доме стало очень тихо, и у их матери было то же имя, что и у матери Аквы и Марины.

Порой Акве мнилось, будто ее мертворожденный ребенок мужского пола, проживший в ней всего шесть месяцев, изумленный зародыш, резиновая рыбка, которой она разрешилась в ванне, в lieu de naissance, обозначенном в ее снах просто как X, погибший из-за того, что она со всего лыжного лету наскочила на припорошенный пень лиственницы, каким-то чудом выжил и был привезен ей с поздравлениями от сестрицы в Nusshaus (завернутый в насквозь мокрую от крови вату, но живой и совершенно здоровенький), с тем чтобы его записали в метрическую книгу как ее сына, Ивана Вина. В другие дни она бывала убеждена в том, что то был ребенок сестры, рожденный вне брака во время изнурительно долгой, но все же необычайно романтичной метели в горном пристанище на Секс-Руж, где некто д-р Альпинер, практикующий врач и любитель горечавки, суша сапоги, сидел в провиденциальном ожидании у грубой красной печки. Менее чем два года спустя, в сентябре 1871-го, — ее непокорное сознание все еще хранило с дюжину дат — вышло недоразумение, когда она сбежала из своего нового пристанища и каким-то чудом добралась до памятного загородного дома мужа (притворилась иностранкой: «Signor Konduktor, ай вант go Lago di Luga, hier geld»). Воспользовавшись тем, что Демон принимал сеанс массажа в солярии, она прокралась в их бывшую спальню, где испытала приятное потрясение: ее гигиеническая пудра в полупустом флаконе с надписью яркими буквами «Quelques Fleurs» все еще стояла на ее ночном столике; ее любимая огненно-красная ночная сорочка лежала смятая на покрывале, и для нее все это означало, что то был лишь короткий черный кошмар, затмевавший лучезарную правду, что все это время она, Аква, спала с мужем в одной постели, — с того самого зеленого и дождливого дня рождения Шекспира; для большинства же остальных людей, увы, это значило, что Марина (оставленная фильмовым режиссером Г. А. Вронским ради очередного хлопающего ресницами Христосика, как он называл хорошеньких юных актрис) уверила себя, что c’est bien le cas de le dire было бы преотлично принудить Демона развестись со свихнувшейся Аквой и жениться на ней, Марине, которой чудилось (счастливо и справедливо), что она вновь на сносях. Марина провела с Демоном рукулирующий месяц в Китеже, но стоило лишь ей самодовольно заикнуться о своих планах (как раз перед приездом Аквы), как он вышвырнул ее из дома. Еще позже, на последнем коротком витке своего безотрадного существования, Аква отбросила все эти сомнительные воспоминания и в роскошной «санастории» в Центавре (Аризона) стала читать и перечитывать, набожно и блаженно, письма сына. Он писал к ней неизменно по-французски, называя ее «petite maman», и все возвращался к той замечательной школе, в которую должен был отправиться по достижении тринадцати лет. Она слышала его голос сквозь ночной звон в ушах во время новых, полных планов, последних, самых последних бессонниц, и это утешало ее. Обычно он называл ее по-русски «мамочкой», делая ударение на первом слоге, или

по-английски «mama», выделяя последний слог на французский манер. Говорят, что в трехъязычных семьях нередко рождаются тройни и геральдические драконцы; но теперь уже не оставалось никаких сомнений (не считая, быть может, разве тех, которые имелись в ненавистном, давно мертвом, пребывающем в аду сознании Марины), что Ван был именно ее, ее, Аквы, любимым сыном.

Не желая погружаться в новый рецидив после этого благословенного состояния совершенного душевного покоя, но зная, что оно долго не продлится, она поступила, как другая страдалица в далекой Франции, в гораздо менее светлом и привольном «Доме». Некто д-р Фройд, один из начальствующих кентавров — он мог быть эмигрировавшим братом (с искаженной в паспорте фамилией) д-ра Фройта из Синьи-Мондьё-Мондьё, городка в Арденнах, или, что вернее, являлся этим самым человеком, поскольку оба происходили из Вьены (Изер) и были единственными сыновьями своих матерей (как и ее сын), — применил, или, скорее, вменил терапистский метод, укрепляющий «групповое» чувство, по которому лучшим пациентам дозволялось помогать санитарам и сестрам, ежели они «испытывали таковую склонность». Аква, в свой черед, в точности повторила хитроумный трюк смышленой Элеоноры Бонвар, а именно вызвалась заправлять постели и мыть стеклянные полки шкапчиков. Этот «Асториум» в Сен-Таврусе, или как там его именовали (не все ли равно — такие мелочи забываешь очень быстро, когда тебя носит в бесконечном ничто), был, пожалуй, посовременнее, с более изысканным видом на пустыню, чем тот холодный дом, гнуспиталь в Мондефройде, но в обоих местах полоумный пациент мог в два счета обставить круглого дурака-доктринера.

Ей потребовалось меньше недели, чтобы накопить две сотни пилюль различной силы действия. Многие из них она уже пробовала — наивные успокоительные и те, что валят с ног от восьми до полуночи, и несколько видов первоклассных снотворных, оставляющих вас с хрупкими конечностями и свинцовой головой после восьмичасового небытия, и тот наркотик, сам по себе восхитительный, но немного убийственный, если его запить глотком дезинфицирующего средства под коммерческим названием «Морона»; и еще была круглая пилюля, фиалкапсула, напоминавшая ей — что было очень забавно — те шарики юной гитаночки-волшебницы в испанской сказке (любимой ладорскими школьницами), которыми она усыпляла всех ловцов и их гончих в начале охотничьего сезона. А чтобы какой-нибудь стервец не воскресил ее, воротив с полпути обратно, Аква решила обеспечить себе максимально долгий срок неприкосновенного беспамятства где-нибудь за пределами стеклянного дома. Осуществлению этой второй части замысла неожиданно способствовал другой агент или двойник Изерского профессора, некто д-р Зиг Хайлер, почитавшийся всеми за отличного малого и практически гения — в том же расхожем смысле, в каком безалкогольное пиво практически пиво. Те пациенты, которые дрожаньем век и других более или менее интимных частей тела подтверждали наблюдавшим их студентам-медикам, что Зиг (слегка кривобокий, но не безобразный малый) является им во сне в образе «папаши Фига», мастера хлопать девиц по задницам и метко плевать в урны, определялись в разряд выздоравливающих и получали, после пробуждения, дозволение участвовать в обычных групповых развлечениях на свежем воздухе, к каковым относились и пикники. Лукавая Аква дрогнула, изобразила

зевок, открыла свои ярко-голубые глаза (с тем же примечательным контрастом саржево-черных зрачков, которым отличались и глаза ее матери Долли), натянула свободные желтые штаны и черное болеро, прошла через сосновую рощицу, большим пальцем поднятой руки остановила мексиканский грузовик, доехала до подходящего ущелья, заросшего чапаралем, и там, написав короткую записку, безмятежно принялась поедать многоцветное содержимое своей сумочки, захватывая его горстями, как деревенская русская девушка, лакомящаяся ягодами, только что собранными в лесу. Она улыбнулась, мечтательно тешась мыслью (вполне «каренинской» по тону), что ее исчезновение, пожалуй, заденет людей так же сильно, как внезапное, таинственное, никем никогда не объясненное прекращение юмористической колонки в воскресной газете, которую читают годами. То была ее последняя усмешка. Ее очень скоро нашли, но она умерла даже быстрее, чем можно было ожидать, и наблюдательный Зигги, все еще облаченный в мешковатые, защитного цвета шорты, отметил, что сестра Аква (как почему-то все ее называли) лежит так, будто ее погребли в доисторическое время, в позе зародыша, — комментарий, показавшийся важным его студентам, как, возможно, и моим.

Обнаруженную у нее предсмертную записку, адресованную мужу и сыну, мог бы составить и самый здравомыслящий человек на той или этой планете.

Aujourd’hui (heute — ой ли!) я, эта умеющая вращать глазами кукла, заслужила психитческое право насладиться натур-мортом в обществе герра д-ра Зигга, сестры Иоанны Грозной и нескольких «пациентов» в подзаборном бору, где я заприметила, Ван, точно таких же скунсовидных белок, которых твой Темносиний предок привез в парк Ардиса, где тебе еще предстоит нагуляться вволю. Стрѣлки часовъ [the hands of a clock], даже когда они встали, должны знать и передать самым глупеньким ручным часикам, на чем именно они остановились, иначе это вовсе не циферблат, а только белая физиономия с накладными усами. Так и человѣкъ должен знать, где он, в каком месте, и сообщить другим, — в противном случае он даже не клокъ человѣка, не чело и не веко, ни то ни се, а только «a tit of it» [одно название], как бедняжка Руби, Ванечка мой, говорила о своей скудной правой титьке. Я, несчастная Princesse Lointaine, а теперь très lointaine, не знаю, где нахожусь. Посему я должна сгинуть. Так что, adieu, мой милый, милый мой сын, и прощай, бедный Демон, я не знаю ни даты, ни времени года, но сегодня резонно и, без сомнения, сезонно, стоит ясный день с ручейком хорошеньких маленьких муравьев, стекающихся отведать моих ярких пилюль.

[Подписано:] Сестра своей сестры,

которая теперь изъ ада

«Если мы хотим, чтобы солнечные часы жизни показали нам свою стрелку, — прокомментировал Ван, развивая метафору в розовом саду поместья Ардис в конце августа 1884 года, — мы всегда должны помнить, что могущество, достоинство, упоение человеческое состоят в том, чтобы одолевать и презирать тени и звезды, которые скрывают от нас свои тайны. Только нелепая сила боли вынудила ее сдаться. И я часто думаю, насколько было бы убедительнее, эстетически, экстатически, эстотически говоря, — если бы она в самом деле была моей матерью».

4

Когда в середине двадцатого века Ван начал восстанавливать свое глубинное прошлое, он скоро заметил, что те детали его детства, которые действительно были важны (для особой цели, преследуемой этой реконструкцией), лучше всего поддавались осмыслению, а зачастую только и могли быть разъяснены лишь после того, как они вновь возникали на разных более поздних стадиях его отрочества и юности — в виде тех внезапных сопоставлений, которые, освещая часть, осеняют и целое. Вот отчего его первая любовь имеет здесь преимущество перед его первой травмой или кошмаром.

Ему только что исполнилось тринадцать. Он никогда еще не покидал благополучного отчего крова. Он никогда еще не задумывался о том, что такое «благополучие» не может считаться чем-то само собой разумеющимся, вроде готовой метафоры, которой принято начинать книжки о мальчике и школе. На соседней от школьного двора улице мадам Тапирова, вдова-француженка, говорившая по-английски с русским акцентом, держала магазин всякой изысканной всячины и более или менее антикварной мебели. Как-то ясным зимним днем он зашел в него. Хрустальные вазы с алыми розами и золотисто-бурыми астрами возвышались там и тут в передней части магазина — на золоченой деревянной консоли, на сиявшем от лака комоде, на кабинетной полке или просто на ковровых ступенях, ведущих на второй этаж, где величественные платяные шкапы и вычурные буфеты окружали диковинную группу из нескольких арф. Он удостоверился в том, что цветы искусственные, и подумал, странно, что такого рода подделки всегда стремятся соблазнить исключительно зрение, вместо того чтобы сымитировать также маслянистую влагу живых лепестков и листьев, тем самым обманув и осязание. На другой день он зашел спросить о какой-то вещице (теперь, восемьдесят лет спустя, затерявшейся в памяти), которую хотел не то починить, не то дублировать, и узнал, что она еще не готова или не получена. Уходя, он коснулся полураскрытого бутона розы, и, вопреки ожиданию, его озадаченные пальцы ощутили не стерильную текстуру, а прохладный живой поцелуй надутых губок. «Моя дочь, — сказала г-жа Тапирова, заметив его удивление, — всегда добавляет несколько настоящих к этим фальшивкам pour attraper le client. Вам достался джокер». Он столкнулся с ней в дверях, школьницей в сером пальто, с русыми локонами до плеч и прелестным лицом. В другой раз (поскольку какой-то части той вещи, кажется, рамке, требовалась целая вечность для исцеления, или же саму вещь, как выяснилось в конце концов, невозможно было раздобыть) он увидел ее, свернувшуюся с учебниками в кресле — из домашней обстановки, а не из той, что была выставлена на продажу. Он так никогда и не

заговорил с ней. Он любил ее без памяти. Это продолжалось, должно быть, по меньшей мере шесть школьных месяцев.

То была любовь, естественная и таинственная. Менее таинственным и значительно более гротескным страстям, которые не смогли искоренить несколько поколений школьных учителей, в Риверлейне отдавалось предпочтение до самого 1883 года. В каждом дортуаре имелся свой катамит. Шайка мальчишек-иностранцев, по большей части греков и англичан, предводимая Чеширом, отличным игроком в регби, не давала проходу и беспрестанно мучила одного истеричного юношу из Упсалы, косоглазого и широкоротого, с почти болезненно неуклюжими конечностями, но с удивительно гладкой кожей и круглыми сливочными прелестями бронзиниевского купидона (того, крупного, которого восхищенный сатир обнаруживает в будуаре дамы). Частью из бравады, частью из любопытства, Ван, преодолевая отвращение, холодно наблюдал за их грубыми оргиями. Вскоре, однако, он оставил этот эрзац ради более здравого, хотя столь же безжалостного развлечения.

Стареющая женщина, торговавшая леденцами и «Лаки-Луисовыми» журнальчиками в угловой лавке, которую школьникам традиционно не возбранялось посещать, наняла молоденькую поденщицу, и Чешир, сын рачительного лорда, тут же выведал, что эту толстую маленькую девку можно купить за зеленый русский доллар. Ван одним из первых воспользовался ее благосклонностью. Услуги оказывались на задах лавки после ее закрытия, в полумраке, среди ящиков и мешков. Сказав ей, что ему шестнадцать и что он распутник, хотя он был четырнадцатилетним девственником, наш отчаянный гуляка все же не избежал конфуза, когда, подбадривая свою неопытность, лишь запачкал гостеприимный коврик у входа тем, что она с радостью помогла бы ему внести внутрь. Дело пошло на лад шестью минутами позже, после того, как Чешир и Зографос сменили один другого; но только на следующей половой вечеринке Ван по-настоящему начал наслаждаться ее податливостью, нежностью ее мягкой хватки и отзывчивой вибрацией. Он знал, что она была только жирной розовой шлюшкой, и локтем отводил ее лицо, когда она тянулась поцеловать его в конце, и быстрым движением руки проверял, на месте ли бумажник в заднем кармане, заметив, что так делает Чешир; и все же, когда последний из приблизительно сорока спазмов пришел и ушел обычным путем осыпающегося времени и его поезд катил мимо черных и зеленых квадратов полей в Ардис, он поймал себя на том, что наделяет нежданной поэзией ее убогий образ, кухонный запах ее рук, влажные ресницы во внезапном озарении Чешировой зажигалки, и даже скрипучие шаги старой глухой миссис Гимбер, доносившиеся из ее спальни наверху.

В элегантном отделении первого класса, вложив руку в перчатке в бархатную стенную петлю, особенно остро ощущаешь себя человеком светским, как ощущал он, обозревая искусный ландшафт, искусно проносящийся мимо. Однако блуждающий взгляд пассажира то и дело застывал на мгновение, когда он прислушивался к легкому зуду там, внизу, который, как он надеялся (и его надежда, слава Логу, оправдалась), был всего лишь следствием незначительного раздражения эпителия.

5

Около трех часов пополудни он сошел с двумя чемоданами в солнечное умиротворение маленькой деревенской станции; отсюда петлистая дорога вела в Ардис-Холл, в который он приехал погостить впервые в жизни. На воображаемой миниатюре ему рисовалась ожидающая его оседланная лошадь; не было даже двуколки. Станционный смотритель, дородный, черный от солнца человек в коричневом мундире, был уверен, что Вана ждут с вечерним поездом, не таким скорым, как этот, зато имеющим чайный салон. Через минуту позвоню в усадьбу, добавил он, подавая сигнал нетерпеливому машинисту. В этот самый миг к перрону подкатил наемный экипаж, и рыжеволосая дама, держа в руках соломенную шляпу и смеясь своей спешке, подбежала к вагону и едва успела взойти, как поезд тронулся. Что ж, Ван воспользуется этим средством передвижения, предоставленным ему случайной складкой в текстуре времени, и сядет в старую коляску. Получасовая поездка не была лишена приятности. Путь пролегал через сосновые леса и вдоль скалистых оврагов, где в цветущем подлеске гомонили птицы и другая живность. По его ногам скользили солнечные пятна и кружева теней, ссужавшие свой зеленый блеск потерявшей пару медной пуговице на хлястике кучерского камзола. Проехали Торфянку, сонную деревушку, состоявшую из нескольких изб, мастерской по луженью подойников да утопающей в жасминовых кущах кузницы. Автомедон приветственно махнул рукой невидимому приятелю, и чуткий шарабанчик слегка вильнул, вторя его жесту. Теперь мчали по пыльной проселочной дороге, идущей вдоль полей. Дорога шла то под гору, то в гору, и на каждом подъеме старенький заводной таксомотор сбавлял ход, будто вот-вот уснет, и нехотя одолевал свою слабость.

Тряслись по булыжной мостовой Гамлета, наполовину русской деревни, где шофер вновь помахал, на этот раз мальчишке, взобравшемуся на вишню. Березы расступились, пропуская их на старый мост. Блеснула Ладора, с ее руинами черного замка на утесе и яркими разноцветными крышами вдали, вниз по течению, чтобы вновь и вновь потом возникать в памяти на протяжении всей его жизни.

Растительность приобрела более южный вид, когда узкая дорога начала огибать парк Ардиса. За следующим поворотом, на благородном возвышении старых романов, возник романтичный дворец. То была великолепная усадьба в три этажа, выстроенная из светлого кирпича и темно-красного камня, которые при том или ином освещении словно обменивались оттенками и составом. Несмотря на разнообразие, раскидистость и оживленность высоких деревьев, давно заменивших два ровных ряда стилизованных саженцев (намеченных скорее мыслью архитектора, чем отмеченных глазом художника), Ван сразу узнал Ардис-Холл по двухсотлетней акварели, висевшей в отцовской гардеробной: стоящая на холме усадьба, обращенная к условной луговине, с двумя крошечными людьми в треуголках, беседующими вблизи стилизованной коровы.

Ван приехал в то время, когда никого из членов семьи в доме не было. Дежурный слуга принял у него поводья. Ван прошел под готический свод зала, где Бутейан, старый лысый дворецкий, отрастивший неподобающие его званию усы (выкрашенные в цвет мясной подливы), увидев его,

всплеснул руками, — в прошлом он служил камердинером у отца Вана, — «Je parie, — сказал он, — que Monsieur ne me reconnaît pas», — и принялся рассказывать о том, что Ван и так вспомнил, о фарманекене (коробчатый воздушный змей, его теперь не сыскать и в самых крупных музеях старинных игрушек), которого Бутейан однажды помог ему запустить на заросшей лютиками поляне. Оба посмотрели вверх: крошечный красный прямоугольник на мгновение косо повис в синем весеннем небе. Зал славился своими расписными потолками. Для чая еще слишком рано: желает ли Ван, чтобы он сам разобрал и разложил его вещи, или позвать горничную? О, пусть кто-нибудь из горничных, — сказал Ван, быстро перебрав в уме содержимое своих чемоданов: какой из предметов в багаже школьника мог бы смутить горничную? Фотография обнаженной Айвори Ревери (манекенщицы)? Да кому какое дело, теперь, когда он стал мужчиной.

По совету дворецкого он отправился на tour du jardin. Идя по вьющейся между деревьев дорожке, неслышно ступая по мягкому розовому песку своими форменными полотняными туфлями на каучуковой подошве, он набрел на даму, в которой с отвращением узнал свою бывшую французскую гувернантку (усадьба просто кишела призраками!). Она восседала на зеленой скамье под персидской сиренью, держа в одной руке парасоль, а в другой книгу, которую читала маленькой девочке, а та ковыряла в носу и с мечтательным удовлетворением оглядывала палец, прежде чем обтереть его о край скамьи. Ван решил, что это, должно быть, Арделия, старшая из двух его кузин, с которыми он должен был познакомиться во время каникул в Ардис-Холле. На самом деле то была Люсетта, младшая девочка, обыкновенный ребенок лет восьми, с блестящей челкой рыжевато-русых волос и усеянной веснушками кнопкой носа; она недавно оправилась от весенней пневмонии и все еще имела тот странный отрешенный вид, который дети, особенно озорные, сохраняют какое-то время, соприкоснувшись со смертью. Мадемуазель Ларивьер взглянула на Вана поверх зеленых очков — и ему пришлось вынести еще одну теплую встречу. В отличие от Альберта, она нисколько не изменилась с тех пор, как трижды в неделю приходила в городской особняк Черного Вина с полной сумкой книг и маленьким дрожащим пуделем (уже издохшим), которого нельзя было оставлять одного. Его глазки блестели, помнится, как грустные черные маслины.

Все трое направились обратно в дом — гувернантка, под муаром зонтика все еще качавшая в кручине воспоминаний головой с крупным носом и выдающимся подбородком, Люси, со скрежетом волокущая садовую мотыгу, подобранную по дороге, и юный Ван в элегантном сером костюме и мягком галстуке, заложивший руки за спину и глядящий на свои легко и бесшумно ступающие ноги, которые он зачем-то старался ставить в линию.

К крыльцу подкатила виктория. Из нее вышла дама, похожая на мать Вана, и темноволосая девочка лет одиннадцати-двенадцати, в сопровождении семенящей таксы. Ада несла охапку полевых цветов. На ней было белое платье и черный жакет, ее длинные волосы были схвачены белым бантом. Он больше ни разу не видел ее в такой одежде, и впоследствии, упоминая это платье и жакет в ретроспективном воскрешении образов, неизменно слышал от Ады, что они ему, должно

быть, привиделись, поскольку у нее никогда не было подобных вещей и она никогда не надевала черный жакет в такие жаркие дни, но Ван оставался верен этому изначальному впечатлению.

Лет десять тому назад, незадолго до или вскоре после его четвертого дня рождения и к концу долгого пребывания его матери в санатории, «тетя» Марина как-то набросилась на него в публичном парке, когда он стоял у большой клетки с фазанами. Она посоветовала его няне не вмешиваться не в свое дело и повела Вана к киоску со сладостями возле оркестровой раковины, где купила ему изумрудную палочку мятной тянучки и сказала, что, если только его отец пожелает, она заменит ему маму и что нельзя кормить птиц без разрешения леди Амхерст — во всяком случае, так он ее понял.

Теперь они пили чай в красиво обставленном углу в остальном весьма аскетичного главного зала, из которого наверх вела парадная лестница. Они сидели на обитых шелком стульях вокруг изящного стола. Черный жакет Ады и розово-желто-голубой букет, составленный ею из анемонов, чистотела и водосбора, лежали на дубовом табурете. Собаке досталось больше кусочков пирога, чем обычно. Прайс, старый лакей со скорбным выражением на лице, принесший сливок к землянике, походил на учителя истории Вана, «Джиджи» Джонса.

«Он похож на моего учителя истории», сказал Ван, когда слуга ушел.

«Я очень любила историю, — сказала Марина. — Мне нравилось отождествлять себя со всякими знаменитыми женщинами. У тебя божья коровка на тарелке, Иван. Особенно с известными красавицами — второй женой Линкольна или королевой Жозефиной».

«Да, я заметил — не отличить от настоящей. У нас дома есть такой же сервиз».

«Сливок? Надеюсь, ты говоришь по-русски?» — спросила Марина Вана по-русски, наливая ему полную чашку чая.

«Неохотно, но совершенно свободно, — ответил Ван, слегка улыбнувшись. — Да, побольше сливок и три куска сахара».

«Мы с Адой разделяем твои экстравагантные вкусы. Достоевский предпочитал пить чай с малиновым вареньем».

«Пах!», вырвалось у Ады.

Над Мариной на стене висел ее портрет кисти Трешама, довольно удачный, изображавший ее в пышной шляпе, в какой она репетировала Охотничью Сцену десять лет тому назад, — романтично широкополой, с радужным крылом и большим наклонным плюмажем, серебристым, с черной каймой, — и Ван, вспомнив клетку в парке и свою мать где-то в ее собственной клетке, испытал странное ощущение таинственности происходящего, как если бы истолкователи его судьбы сошлись для секретного совещания. Лицо Марины в тот день было подкрашено так, чтобы напоминать ее прежний облик, но моды сменились, ее ситцевый сарафан был простоват, золотисто-каштановые локоны поблекли и уже не

струились вдоль висков, и ничто в ее облачении или украшениях не напоминало взмаха ее стремительного хлыста на картине и безупречного узора ее сверкающего плюмажа, переданного Трешамом с орнитологической тщательностью.

Не так уж много осталось в памяти с того первого чаепития. Он подметил уловку Ады, которая прятала ногти, сжимая кулак или протягивая руку за бисквитами ладонью вверх. Все, о чем говорила ее мать, казалось ей или скучным, или неприличным, и когда та завела речь о Тарне, иначе называемом Новым Водоемом, он заметил, что Ада уже не сидит рядом с ним, но стоит чуть поодаль, спиной к чайному столику, у открытого окна, а рядом с ней на стуле худенькая в боках такса — тоже смотрит в сад поверх растопыренных передних лап, и Ада тихо спрашивает ее, что она там унюхала.

«Тарн виден из окна библиотеки, — сказала Марина. — Сейчас Ада покажет тебе все комнаты в доме. Ада?» (Она произнесла ее имя на русский манер, с двумя глубокими, темными «а», что напоминало звучание английского «ardor» — жар, страсть, отрада.)

«Отсюда тоже виден его блестящий краешек», сказала Ада, оборачиваясь и, pollice verso, указывая Вану направление. Он поставил чашку, вытер губы тонкой вышитой салфеткой, сунул ее в карман брюк и подошел к темноволосой белорукой девочке. Когда он наклонился над ней (Ван был выше на три дюйма, и эта разница еще удвоилась ко дню ее венчания по православному обряду, когда его тень держала сзади над ее головой свадебный венец), она повернула голову так, как должен был сделать он, чтобы поймать верный угол, и ее волосы скользнули по его шее. В его первых мечтах о ней повторение этого прикосновения, такого легкого, такого короткого, приводило к тому, чему мечтатель не мог противостоять, и, как поднятая вверх сабля подает сигнал к залпу, вызывало неистовое и неизбежное разрешение.

«Допей чай, сокровище мое», позвала Марина.

Затем, следуя ее предложению, дети отправились наверх. «Отчего ступени так громко скрипят, если только двое детей поднимаются по лестнице? — подумала она, глядя на балюстраду, по которой синхронно перебирали две левые руки, удивительно похоже хлопая и скользя по дереву, как брат с сестрой на первом уроке танцев. — В конце концов, мы же с сестрой близнецы, все это знают». Еще один такой же плавный взмах, чтобы одолеть две последние ступени, она впереди, он сзади, и вновь наступила тишина. «Старомодные страхи», сказала Марина.

6

Ада показала своему застенчивому гостю большую библиотеку на втором этаже, гордость Ардиса и ее любимое «пастбище», куда ее мать никогда не заглядывала, довольствуясь несколькими томами «Тысячи и одной лучшей пьесы» у себя в будуаре. Рыжий Вин, неврастеник и трус, обходил библиотеку стороной, боясь столкнуться с призраком своего отца, умершего там от сердечного удара; он, кроме того, не находил ничего более удручающего, чем бесконечные собрания сочинений бесчисленных авторов, хотя и не был против того, чтобы заезжий гость

выразил свое восхищение высотой книжных шкафов и длиной картотечных ящиков, темными картинами маслом и белыми бюстами, десятью резными ореховыми стульями и двумя благородными столами, инкрустированными черным деревом. На лектерне в косом ученом луче солнца лежал ботанический атлас, раскрытый на цветной иллюстрации с изображением орхидей. Нечто вроде дивана или оттоманки, обтянутой черным бархатом, с двумя желтыми подушками, помещалось в алькове, под окном с зеркальными стеклами, из которого открывался прекрасный вид на регулярный парк и рукотворное озеро. Пара подсвечников, обычных фантомов из металла и сала, стояли снаружи, или так казалось, на широком оконном карнизе.

Ведущий из библиотеки коридор привел бы наших безмолвных исследователей к комнатам г-жи и г-на Вин в западном крыле, если бы они продолжили свой осмотр в этом направлении. Вместо того полусекретная узкая лестница, спрятанная за поворотным книжным шкафом, вывела их по спирали на верхний этаж: она, с бледными ляжками, поднималась первой, шагая через ступень, а он на три крутых ступени позади нее.

Спальни и смежные с ними помещения оказались более чем скромными, и Ван не мог не посетовать на то, что был, по-видимому, еще слишком юн, чтобы занять одну из двух гостевых комнат рядом с библиотекой. Оглядев отталкивающие предметы, которым предстояло окружать его во время одиночества летних ночей, он с ностальгией вспомнил роскошь своего дома. Все поражало его, все как будто предназначалось для униженного кретина: убогая монастырская кровать со средневековым изголовьем из грубой доски, произвольно скрипящий платяной шкап, низкий комод поддельного красного дерева с висячими звеньями ручек (одной не хватало), сундук для пледов и одеял (застенчивый перебежчик из бельевой) и старое бюро, подвижная куполообразная крышка которого была или заперта, или сломана; он нашел в одном из его бесполезных отделений отвалившуюся от комода ручку, которую отдал Аде, а та выбросила ее в окно. Ван никогда прежде не пользовался подставкой для полотенец, никогда не видел умывальника с кувшином, предназначенного для жилищ, лишенных ванных комнат. Круглое зеркало над раковиной было украшено золочеными гипсовыми гроздьями винограда, ветхозаветный змий вился по краю фарфорового таза (второй такой же имелся в одной из уборных девочек, отделенных коридором). Кресло с подлокотниками и высокой спинкой да табурет у кровати, на котором стояла пара медных подсвечников с держателем и чашечкой для жира (такую же пару он только что как будто видел в отражении — но где?), довершали худшую и главную часть смиренного инвентаря.

Они вновь вышли в коридор, она — поправляя волосы, он — прочищая горло. Дальше по коридору дверь какой-то комнаты, игровой или детской, то отворялась, то затворялась: маленькая Люсетта, выставив розовую коленку, выглядывала из нее и снова пряталась. Затем дверь вдруг широко раскрылась, но девочка ринулась в глубину комнаты и там исчезла. Синие парусники украшали белые изразцы печки, и когда он с Люсеттиной сестрой проходил мимо распахнутой двери, игрушечная шарманка призывно, но с заминками, начала исполнять короткий менуэт. Ада и Ван вернулись на первый этаж, на этот раз проделав весь путь

по роскошной лестнице. Из множества портретов предков на стене, мимо которых они проходили, она обратила внимание Вана на своего любимца — старого князя Всеслава Земского (1699–1797), друга Линнея и автора «Flora Ladorica». Портрет густыми масляными красками изображал его в сидячем положении, держащим на атласных коленях свою едва опушившуюся новобрачную и ее белокурую куклу. Рядом с любителем нежных бутонов в расшитом камзоле висела довольно неуместная, как подумал Ван, увеличенная фотография в простой раме — покойный Сумеречников, американский предшественник братьев Люмьер, запечатлел дядю Ады, брата Марины, в профиль, с прижатой к щеке скрипкой, — обреченный юноша после своего прощального концерта.

Желтая гостиная на первом этаже, обитая штофом и обставленная в том стиле, какой французы некогда называли «ампир», выходила в сад, и теперь, к концу дня, через ее порог протянулись длинные тени больших листьев павловнии (названной так нерадивым лингвистом, как пояснила Ада, по отчеству, ошибочно принятому за имя или фамилию одной безобидной дамы, Анны Павловны Романовой, кузины ботаника Земского, учителя того самого плохого лингвиста, отец которой был отчего-то прозван Павлом-без-Петра, — это невыносимо, подумал Ван). Горка (закрытый стеклянный шкаф) вмещала целый зверинец мелких фарфоровых животных, среди которых орикс и окапи, снабженные научными названиями, были особенно рекомендованы Вану его очаровательной, но невозможно манерной спутницей. Не менее примечательна была пятистворчатая ширма с красочными картинами на черных панелях, воспроизводившими древнейшие карты четырех с половиной континентов. А теперь мы проходим в музыкальный салон с почти не тронутым роялем и идем дальше, в угловую комнату, называемую «Оружейной», где хранится чучело шетландского пони, на котором однажды имела удовольствие прокатиться верхом тетка Дана Вина, девичья фамилия вылетела из головы (слава Логу). На другой (или какой-то другой) стороне дома находилась танцевальная зала, вощеная пустошь с несчастливыми желтофиолевыми стульями. «Мимо, читатель», как писал Тургенев. «Денники», как неверно их называли в графстве Ладора, в Ардис-Холле были устроены с архитектурной точки зрения довольно нелепо: решетчатая галерея глядела через увитое гирляндами плечо в сад и круто сворачивала к подъездной аллее. В другом месте элегантная лоджия с высокими окнами вывела умолкшую, наконец, Аду и несказанно томящегося Вана к беседке из дикого камня — фальшивый грот с бесстыдно льнущими к нему папоротниками и искусственным водопадом, проистекающим из какого-то ручья или романа, или из горящего мочевого пузыря Вана (все этот проклятый чай).

Помещения для прислуги, за исключением двух подкрашенных и напудренных горничных, живших наверху, располагались в цокольном этаже со стороны двора. Ада сказала, что однажды, на особенно пытливой стадии детства, она заглянула в них, но запомнила лишь канарейку и старинную кофейную мельницу, что, собственно, исчерпывало тему.

Они вновь взмыли вверх по лестнице. Ван на минуту исчез в ватерклозете — и вышел из него в гораздо лучшем расположении духа. Карликовый Гайдн вновь сыграл несколько тактов, когда они проходили мимо.

Чердак. Ну, вот чердак. Прошу на чердак. Чего там только не было: десятки баулов и картонных коробок, две коричневые кушетки, одна на другой, как совокупляющиеся жуки, и множество картин, стоявших по углам или на полках, лицом к стене, будто наказанные за провинность дети. Там же хранился свернутый в своем футляре старенький «ковролет», иначе «фееропла́н», — выцветший, но все такой же сказочный синий ковер-самолет с арабскими узорами, на котором еще отец дяди Дана летал в детстве, да и позже, когда бывал пьян. Из-за многочисленных столкновений, падений и других несчастных случаев, особенно частых на закате, над идиллическими полями, ковролеты были запрещены воздушным дозором, но четырьмя годами позже Ван, любивший этот вид спорта, подкупил местного механика, чтобы тот вычистил аппарат, перезарядил его ястребиные трубки и в целом привел ковер в волшебное состояние, после чего Ван со своей Адой провел немало летних вечеров, паря над рощами и рекой или скользя на безопасной десятифутовой высоте над поверхностью дорог и крыш. Как смешон завилявший и съехавший в канаву велосипедист, как странен скользящий по скату кровли, балансирующий марионеточными руками трубочист!

Смутно сознавая, что, пока длится осмотр дома, они, по крайней мере, заняты «делом», сохраняют видимость последовательных действий, без чего, несмотря на превосходное умение каждого из них поддерживать беседу, неизбежно возник бы ужасный вакуум стесненного покашливания, который нечем заполнить, кроме неловкой остроты с «повисающим» следом молчанием, Ада не избавила кузена от посещения подвала, где барабан автоматической печи дрожал и громыхал, мужественно нагоняя жар в трубы, змеями уползавшими в огромную кухню и две унылые ванные комнаты, и выбивался из слабых сил, чтобы за́мок оставался пригодным для праздничных посещений зимой.

«Ты еще не все видел! — крикнула Ада. — Осталось подняться на крышу!»

«Но это будет наше последнее восхождение сегодня», твердо сказал себе Ван.

Из-за чехарды наложившихся один на другой стилей и настилов (что нелегко описать без специальных терминов тому, кто не любит крыш), а также в силу бессистемной череды реконструкций, если это подходящее слово, черепичная кровля ардисовского дворца являла собой неописуемый лабиринт углов и уровней, жестяно-зеленых и ребристо-серых поверхностей, живописных гребней и защищенных от ветра уголков. Здесь можно было сколько угодно миловаться и целоваться, обозревая в то же время искусственное озеро, рощи и луга, чернильную линию лиственниц, отмечавших границу соседнего имения в нескольких верстах отселе, и безобразные крошечные силуэты нескольких более или менее безногих коров на далеком холме. А за каким-нибудь выступом легко можно было укрыться от нескромных планеристов или фотографирующих аэростатов.

С террасы донесся бронзовый звон гонга.

Дети почему-то вздохнули с облегчением, узнав, что к обеду ожидается

незнакомец. Им оказался андалузский архитектор, которому дядя Дан заказал для Ардиса проект «художественного» плавательного бассейна. Дядя Дан тоже собирался приехать с переводчиком, но подхватил русский «хрипъ» (испанский «грипп») и по дорофону попросил Марину принять добрейшего Алонсо как можно любезнее.

«Мне нужна ваша помощь!» — обратилась Марина к детям с озабоченным видом.

«Ему будет интересно взглянуть, полагаю, — сказала Ада, повернувшись к Вану, — на совершенно бесподобный натюрморт Хуана де Лабрадора из Эстремадуры — золотой виноград и таинственная роза на черном фоне. Дан уступил его Демону, а Демон пообещал подарить его мне к моему пятнадцатилетию».

«У нас еще есть кое-какие плоды Сурбарана, — сказал Ван горделиво. — Кажется, мандарины и что-то вроде смоквы, на которой сидит оса. Да мы просто ошеломим гостя всякими такими штуками!»

Но ничуть не бывало. Алонсо, маленький морщинистый человек в двубортном смокинге, говорил только по-испански, в то время как принимающая сторона располагала всего полудюжиной испанских слов. У Вана нашлись canastila (корзинка) и nubarrones (грозовые тучи), которые он запомнил из чудного испанского стихотворения с переводом en regard в своем школьном учебнике. Ада знала, разумеется, mariposa (бабочка) и названия двух-трех птиц, упомянутых в орнитологических справочниках, таких как paloma (голубь) и grevol (рябчик). Марина припомнила только два: aroma и hombre, не считая анатомического термина с «j», висящим посередине. Не удивительно, что беседа свелась к длинным и сбивчивым испанским предложениям, которые многоречивый архитектор произносил так громко, как будто имел дело с глухими, и к коротким французским фразам, умышленно, но напрасно итальянизированным его жертвами. По завершении мучительного обеда Алонсо в свете трех фонарей, несомых двумя лакеями, осмотрел предполагаемое место сооружения дорогостоящего бассейна, поместил обратно в портфель план приусадебной части парка и, по ошибке поцеловав в темноте ручку Ады, поспешил проститься, чтобы сесть на последний поезд, идущий на юг.

7

Вскоре после «вечернего чая» — легкой летней трапезы практически без чая, подававшейся часа через два после обеда и казавшейся Марине такой же естественной и неизбежной, как закат перед наступлением ночи, — Ван с саднящими веками отправился спать. В Ардис-Холле это рутинное русское угощенье состояло из простокваши (английская гувернантка переводила это название как «curds-and-whey», а мадемуазель Ларивьер как lait caillé, «свернувшееся молоко»), тонкий кремовый верхний слой которой маленькая мисс Ада деликатно, но алчно (два эти наречия можно было отнести ко многим твоим действиям, Ада!) снимала своей особой серебряной ложечкой с монограммой и слизывала, прежде чем ринуться в более рыхлые и сладкие глубины; к простокваше подавали черный крестьянский хлеб, темную клубнику (Fragaria elatior) и крупную, ярко-красную садовую землянику (гибрид двух

других видов Fragaria). Едва Ван успел коснуться щекой плоской прохладной подушки, как его бесцеремонно разбудил оглушительный гвалт — ликующий щебет, тонкий свист, чириканье, трели, верещанье, резкое карканье и нежное пенье — все это Ада, подумал он не без оторопи человека, не состоящего в одюбоновском стане, легко могла бы и пожелала бы разложить на отдельные голоса определенных птиц. Он надел мокасины, взял мыло, гребенку, полотенце и, прикрыв наготу махровым халатом, покинул спальню с намерением выкупаться в ручье, который заметил накануне. Коридорные часы отчетливо ток-такали в рассветной тишине, нарушаемой лишь громким храпом, доносившимся из комнаты гувернантки. Немного поколебавшись, он решил воспользоваться уборной, относящейся к детской. Там сквозь отворенную узкую створку окна на него обрушился неистовый птичий гомон и яркий солнечный свет. Он был в порядке, в полном порядке! На главной лестнице Вана первым встретил отец генерала Дурманова, проводивший его важным взглядом до старого князя Земского и других пращуров, столь же сдержанно пристальных, как музейная стража, следящая за единственным туристом в сумрачном старинном дворце.

Оказалось, что парадная дверь надежно заперта на засов и на цепь. Он толкнул решетчатую стеклянную дверь увитой синими цветами галереи — тоже заперто. Не зная еще, что под лестницей в неприметной нише хранились запасные ключи (в том числе несколько очень старых и анонимных, висевших на медных крючках) и что сама эта ниша сообщается через садовую кладовую с уединенной частью сада, Ван побрел по анфиладе комнат на поиски услужливого окна. В угловой комнате у высокого двухстворчатого окна стояла молоденькая горничная, которую он приметил накануне вечером, пообещав себе узнать ее поближе. На ней было то, что его отец с ухмылкой напускного сладострастия определял как «черные оборки и сборки робкой субретки». В ее каштановых волосах янтарным блеском отливал черепаховый гребень; она стояла у открытого окна, высоко опершись о косяк рукой, украшенной аквамариновой звездочкой, и глядела на воробья, который короткими прыжками подбирался к брошенной ею на мощеную дорожку половине печенья, похожего из-за круглых фестончиков на носок младенческой ступни. Камеевый профиль, маленькие розовые ноздри, длинная, лилейно-белая шея француженки, очертания ее тела, вместе и полного и хрупкого (мужская похоть не слишком изощрена в описательных тонкостях!), и особенно свирепое ощущение ее доступности так сильно опьянили Вана, что он не удержался и сжал ее поднятое запястье в обтягивающем рукавчике. Высвободившись и показав своим невозмутимым видом, что она заметила его появление, девушка обратила к нему свое привлекательное, хотя почти безбровое лицо и спросила, не желает ли он выпить чаю до завтрака? Нет. Как тебя зовут? Бланш, но мадемуазель Ларивьер зовет меня Золушкой, оттого что чулки то и дело сползают — вот, видите, — и оттого что я все роняю и кладу не на место и еще путаю цветы. Свободный крой его одежд не укрывал его надежд, и девица, пусть даже страдающая дальтонизмом, не могла не заметить этого. И когда он еще приблизился к ней, выглядывая поверх ее головки подходящую кушетку или то, что примет ее форму в каком-нибудь уголке этого волшебного замка, в котором любое место, как в мемуарах Казановы, способно было преобразиться в покои сераля, она окончательно вывернулась из его полуобъятий и разразилась небольшим монологом на своем мягком

ладорском французском:

«Monsieur a quinze ans, je crois, et moi, je sais, j’en ai dixneuf. Monsieur дворянин, а я — бедная дочь своего отца, роющего торф на болотах. Monsieur a tâté, sans doute, des filles de la ville; quant à moi, je suis vierge, ou peu s’en faut. De plus, если я полюблю вас, я имею в виду, по-настоящему, а я, увы, способна на это, если бы вы овладели мною, rein qu’une petite fois, — это бы означало для меня лишь горе, и геенну огненную, и отчаяние, и даже смерть, Monsieur. Finalement, я могу прибавить, что у меня бели и что я должна посетить le Docteur Chronique, то есть Кролика, в ближайший свой свободный день. Теперь нам надо разлучиться — воробышек, как я вижу, пропал, а господин Бутейан вошел в соседнюю комнату и может увидеть нас в том зеркале над софой за шелковой ширмой».

«Прости, милая», пробормотал Ван (которого ее странный, трагический тон совершенно охладил), и это прозвучало так, будто он играл главную роль в пьесе, но знал из нее лишь одну эту сцену.

В зеркале рука дворецкого взяла откуда-то графин и исчезла. Ван, потуже затянув поясок халата, прошел через французское окно в зеленую явь сада.

8

Тем же утром или через день-другой, на террасе:

«Mais va donc jouer avec lui, — сказала м-ль Ларивьер, подталкивая Аду, чьи юные ягодицы раздельно вздрагивали от сотрясения. — Не позволяй своему кузену se morfondre в такой погожий денек. Возьми его за руку. Пойди и покажи ему белую даму на твоей любимой аллее, и гору, и большой дуб».

Ада, пожав плечами, повернулась к нему. Прикосновение ее холодных пальцев и влажной ладони, та принужденность, с какой она откинула назад волосы, когда они шли по главной парковой аллее, вызвали в нем ответную скованность, и Ван, воспользовавшись тем, что под ногами оказалась сосновая шишка, высвободил руку. Он метнул шишку в мраморную деву, склоненную над стамносом, но лишь спугнул птицу, сидевшую на краю ее разбитого кувшина.

«Нет ничего пошлее на свете, — сказала Ада, — чем швыряться камнями в дубоноса».

«Прости, — ответил Ван, — я не хотел напугать птичку. К тому же я не какой-нибудь деревенский парубок, где мне отличить шишку от камня. Au fond, в какие игры, по ее мнению, мы должны играть?»

«Je l’ignore, — сказала Ада. — Мне совершенно все равно, что происходит в ее бедном мозгу. В каш-каш, наверное, или лазать по деревьям».

«О, в этом я силен, — сказал Ван. — Могу даже взбираться на одних руках, перемахивая с ветки на ветку».

«Нет, — сказала она, — мы будем играть в мои игры. Игры, которые я сама придумала. В такие игры, в которые бедняжка Люсетта, надеюсь, сможет со мной играть через год. Хорошо, идем. Я научу тебя сперва двум играм из серии “тень и свет”».

«Понятно», сказал Ван.

«Станет через минуту, — парировала прелестная резонерша. — Перво-наперво подыщем подходящую палку».

«Гляди-ка, — сказал Ван, все еще слегка задетый, — прилетел такой же зубоскал, то есть дубонос».

К этому времени они достигли rond-point — небольшой арены, окруженной клумбами и зарослями жасмина в пышном цвету. Подняв руки, липа тянулась к ветвям дуба, будто красотка в зеленом с блестками трико, летящая к своему сильному отцу, который висит вниз головой, захватив ногами трапецию. Уже тогда мы оба знали толк в этих небесных материях, уже тогда.

«Есть что-то акробатическое в этих ветках, не так ли?» — сказал он, указывая.

«Да, — сказала она. — Я заметила это давным-давно. Липа — это парящая под куполом итальянка, а старый дуб терзается мукой, мукой бывшего любовника, но все равно раз за разом ловит ее» (невозможно передать верную интонацию, сообщая при этом всю полноту смысла — по прошествии восьми десятков лет! — но пока они глядели вверх, а потом вниз, она сказала что-то весьма необычное, что-то такое, что совсем не вязалось с ее нежным возрастом).

Глядя себе под ноги и взмахивая позаимствованным у пионов острым зеленым колышком, Ада объясняла правила первой игры.

Падавшая на песок тень листьев перемежалась кружками солнечного света. Игрок выбирает один такой кружок — чем ярче, тем лучше — и обводит его по контуру колышком. От этого желтый кружок становится как будто выпуклым, вроде поверхности залитой в лунку до краев золотой краски. Затем игрок палкой или пальцами осторожно выгребает из кружка землю. Уровень этого мерцающего infusion de tilleul начинает чудесным образом понижаться в своем земляном кубке, пока не уменьшится до размера одной-единственной драгоценной капли на донышке. Побеждает тот, кто создаст больше таких кубков за, скажем, двадцать минут.

«И это все?» — недоверчиво спросил Ван.

«Нет, не все».

Обкапывая правильной формы маленький кружок вокруг особенно яркого золотого сгустка, Ада присела на корточки и так перемещалась — черные волосы струились по подвижным, гладким и белым, как слоновая кость, коленям, двигались локти и бедра, одной рукой она держала палку, другой отбрасывала мешавшие пряди. Легкий ветер вдруг затенил ее золотую лужицу. Когда такое случается, игрок теряет очко, даже если лист или облако поспешат убраться.

Хорошо. А вторая игра?

Вторая игра (начала она нараспев) может показаться немного сложнее. В нее надлежит играть после полудня, когда тени длиннее. Игрок —

«Перестань говорить игрок. Это либо ты, либо я».

«Пусть ты. Ты обводишь на песке мою тень за моей спиной. Я делаю шаг вперед. Ты обводишь снова. Затем отмечаешь следующую границу (отдает ему колышек). Если теперь я сделаю шаг назад —»

«Знаешь, — сказал Ван, отбрасывая палку, — по-моему, это самые скучные и глупые игры, когда-либо и кем-либо придуманные, до или после полудня».

Она ничего не ответила, но ее ноздри сузились. Ада подобрала колышек и воткнула его на прежнее место, яростно и глубоко, в садовый чернозем, рядом с благодарным цветком, который она подвязала к нему, молча склонив голову. Она пошла обратно к дому. Вану подумалось, станет ли ее походка изящнее, когда она вырастет?

«Я грубый невоспитанный мальчик, прости меня, пожалуйста», сказал он.

Она кивнула, не оборачиваясь. В знак частичного примирения она показала ему два крепких крюка, пропущенных через стальные кольца на стволах тюльпанных деревьев, между которыми еще до ее рождения другой мальчик, тоже Иван, брат ее матери, подвешивал гамак, в котором спал в середине лета, когда ночи особенно жаркие — как-никак, мы находимся на широте Сицилии.

«Прекрасная мысль, — сказал Ван. — Кстати, сильно ли жгутся светлячки, если попадают на кожу? Просто спросил. Еще один глупый вопрос городского подростка».

Затем она показала ему, где хранится гамак, вернее, целая коллекция гамаков — парусиновый мешок, набитый прочными мягкими сетями: в углу полуподвальной кладовой для инструментов и садовых принадлежностей, за сиренью, а ключ прячут в этой трещине, здесь в прошлом году птица свила гнездо — неважно какая. Стрела солнечного луча окрасила зеленой краской длинный ящик с набором предметов для крокета — правда, шары растерялись, их скатили с холма буйные дети, маленькие Эрминины, теперь ровесники Вана, ставшие очень смирными и покладистыми.

«Как и все мы в этом возрасте», сказал Ван и наклонился, чтобы

поднять гнутый черепаховый гребень, каким девушки скрепляют волосы на затылке; он видел такой же, совсем недавно, но где и в чьих волосах?

«Одной из горничных, — сказала Ада. — И эта драная книжка тоже, должно быть, ее: “Les amours du Docteur Mertvago”, мистический роман, написанный пастором».

«Для игры с тобой в крокет, — сказал Ван, — похоже, понадобятся фламинго и ежи».

«Наши списки прочитанных книг не совпадают. Эта “Кларисса в Стране чудес” одна из тех, о которых мне все твердят с восторгом, причем подразумевается, что этот восторг я непременно разделю после прочтения, так что теперь я испытываю к ней лишь непреодолимое предубеждение. Читал ли ты рассказы мадемуазель Ларивьер? Ну, еще почитаешь. Она полагает, будто в одном из своих прошлых метемпсихозных воплощений была завсегдатаем парижских бульваров; соответственно и пишет. Мы можем прокрасться отсюда в главный зал через тайный ход, хотя, кажется, нам полагается любоваться grand chêne, который на самом деле вяз». Нравятся ли Вану вязы? Знает ли он стихотворенье Джойса о двух прачках? Знает, еще бы. Нравится? Ага. По правде сказать, ему все сильнее нравились сад, птичьи рулады, отрада Ардиса и Ада. Они рифмовались друг с другом. Сказать ей об этом?

«А теперь…», сказала она, остановившись и глядя на него.

«Да, — сказал он. — А теперь?»

«Ладно, хотя, пожалуй, не стоит тебя забавлять после того, как ты растоптал мои круги… Но так и быть, я смягчусь и покажу тебе настоящее диво Ардиса, мой ларвариум, — он находится в комнатке, примыкающей к моей» (которой он еще не видал, как, до сих пор? Подумать только!).

Она тщательно затворила за собой смежную дверь, когда они вошли в то, что походило на образцовый крольчатник — в конце отделанного мрамором зальца (бывшей ванной, как выяснилось). Несмотря на то, что помещение хорошо проветривалось, геральдические витражные окна были широко открыты (так что слышались визгливые крики и освистывание голодного и ужасно недовольного птичьего племени) — от клеток пренеприятно несло сырой землей, гниющими корешками, старой оранжереей и, пожалуй, немного козлом. Прежде чем подпустить его поближе, Ада повозилась с щеколдами и решетками, и сладостное пламя, снедавшее Вана с самого начала их невинных забав этого дня, сменилось чувством гнетущей пустоты и подавленности.

«Je raffole de tout ce qui rampe (Обожаю все, что ползает)», сказала она.

«А мне, — сказал Ван, — по душе те существа, которые сворачиваются в пушистый комок, когда коснешься их, те, которые засыпают, как старые собаки».

«Да что ты, они вовсе не засыпают, quelle idée, они замирают, это у них короткий обморок, — пояснила Ада, нахмурившись. — И могу себе представить, какое это потрясение для самых маленьких».

«Конечно, я тоже хорошо могу себе это представить. Мне только кажется, что они к этому привыкают, мало-помалу, я хочу сказать».

Но скоро его оторопь, вызванная невежеством, сменилась эстетическим сопереживанием. И многие десятилетия спустя Ван помнил свое восхищение прелестными, голыми, лоснящимися, с яркими точками и полосками гусеницами капюшонницы, такими же ядовитыми, как цветы коровяка, густо растущие вокруг них, и плоской личинкой местной ленточницы, серые бугорки и лиловые бляшки которой имитировали наросты и лишайники на ветке, к которой она приникала так тесно, что практически сливалась с нею, и, конечно, крошкой кистехвосткой, чья черная шубка по всей длине была украшена цветными пучками щетинок, красными, голубыми, желтыми, неравной длины, напоминающими те прихотливые зубные щетки, которые раскрашены в цвета патентованной палитры. И такого рода сравнение, с его особой окраской, напоминает мне сейчас энтомологические записки в дневнике Ады — который у нас где-то лежит, не так ли, дорогая, не в том ли ящике, нет? Ты так не думаешь? Да! Ура! Вот выдержки (твой округлый почерк, моя любовь, был тогда покрупнее, а в остальном ничего, ничего, ничегошеньки не изменилось):

«Втяжная головка и дьявольские анальные придатки кричаще-пестрого монстра, из которого возникнет невзрачная гарпия большая, принадлежат самой негусеничной гусенице с передними сегментами как кузнечные мехи и физиономией, напоминающей объектив складного фотоаппарата. Если легонько провести пальцем по ее раздутому гладкому тельцу, ощущения довольно шелковые и приятные, — пока разгневанное и неблагодарное создание не выпустит тебе на кожу струйку едкой жидкости из поперечной щели на первом грудном сегменте».

«Д-ру Кролику прислали из Андалусии пять свеженьких личинок недавно открытого локалитета многоцветницы кармен, которые он любезно отдал мне. Очаровательные существа прекрасного нефритового оттенка с серебристыми шипами, и размножаются они только на полувымершей разновидности высокогорной ивы (которую милый Королек тоже добыл для меня)».

(А из этой записи можно узнать, что она к десяти годам, если не раньше, как и Ван, прочитала «Les Malheurs de Swann»):

«Я думаю, Марина перестала бы бранить меня за мое увлечение (“Нахожу неприличной возню юной леди с такими мерзкими питомцами…”; “Нормальным барышням подобает испытывать отвращение к змеям и червям…” и т. д.), если бы мне удалось убедить ее преодолеть старомодную брезгливость и положить себе на ладонь и запястье (длины одной ладони не хватит!) благородную гусеницу орхидейной сфингиды (розово-лиловые тона мосье Пруста), семидюймового гиганта телесного цвета, с бирюзовыми арабесками, вздымающего свою гиацинтовую головку и застывающего так в позе сфинкса».

(Превосходно! — сказал Ван. — Но даже я не смог уловить всех тонкостей, когда был юношей. Так что не будем выпроваживать невежу, который листает книгу и думает: «Ну и насмешник же этот старый В.В.!»)

В конце того, такого давнего, такого близкого лета 1884 года Ван перед отъездом из Ардиса на прощанье заглянул в Адин ларвариум.

Фарфорово-белая, пятнистая гусеница капюшонницы (иначе называемой «акулой»), редкостная драгоценность, благополучно перешла к следующей стадии своей метаморфозы, но уникальная Адина ленточница лорелея («нижнекрылка») погибла, парализованная наездником, которого не обманули все эти остроумные бугорки и грибковидные пятна. Разноцветная зубная щетка уютно окуклилась в косматом коконе, из которого осенью должна была выйти персидская кистехвостка. Две гусеницы гарпии стали даже еще уродливей, но, по крайней мере, обрели более червеобразный и в определенном смысле почтенный вид: их раздвоенные придатки теперь вяло волочились за ними, а свежий фиолетовый пушок скрашивал кубизм их экстравагантной раскраски; они теперь часто поднимали верхнюю часть, держась стойком, и быстро ползали по всему полу своей клети в припадке предваряющей окукливание подвижности. С той же целью Аква в прошлом году прошла через лес и спустилась в ущелье. Только что вылупившиеся Nymphalis carmen сушили лимонные и темно-янтарные крылышки на залитом солнцем пятачке своей решетки — лишь для того, чтобы восторженная и безжалостная Ада придушила их одним коротким сжатием проворных пальцев; одеттин сфинкс, благослови его Господь, превратился в слоноподобную мумию с комично торчащим хоботком германтоидного типа; а д-р Кролик резво гнался на коротких ножках за очень редкой белянкой (высоко в горах, выше границы распространения леса, в другом полушарии), известной как Antocharis ada Krolik (1884), пока ее не переименовали в A. prittwitzi Stümper (1883) согласно неумолимому правилу таксономического приоритета.

«Хорошо, но потом, когда все эти твари выбираются из своих коконов, — спросил Ван, — что ты с ними делаешь?»

«Ах, я отдаю их помощнику доктора Кролика, — ответила она, — тот расправляет их, снабжает ярлычками и распределяет, приколов, в специальных стеклянных лотках, помещая их в чистый дубовый шкап,

который достанется мне, когда я выйду замуж. Тогда у меня будет большая коллекция, и я продолжу разводить всевозможную лепидоптеру — я мечтаю открыть специальный институт по изучению личинок нимфалид и фиалок — всех тех видов фиалок, на которых они размножаются. Мне бы доставляли яйца или гусениц на скоростных аэропланах со всей Северной Америки, вместе с их кормовыми растениями — фиалкой вечнозеленой с Западного побережья, и Полосатой фиалкой из Монтаны, и фиалкой Наттолла, и Эгглестоунской из Кентукки, и редкой белой фиалкой с укромного болота вблизи безымянного озера на полярной горе, где порхает Кроликова болория вересковая. Разумеется, когда они появляются на свет, их легко можно спаривать вручную — держишь их — иногда довольно долго — вот так, сложивших крылышки (показывает, как именно нужно держать, забыв о своих неприглядных ногтях), самца в левой руке, а самочку в правой, или наоборот, чтобы они соприкасались кончиками тельцев, — но они должны быть совсем свежими и просто сочиться душком своей любимой фиалки».

9

Была ли она в самом деле красива, в двенадцать лет? Хотел ли он — захотел бы он когда-нибудь ласкать ее, ласкать по-настоящему? Ее черные волосы, ниспадавшие на ключицу, жест, каким она откидывала их, и ямочка на ее бледной щеке принадлежали тому порядку откровения, которым сопровождается мгновенное узнавание. Ее бледность сияла, ее чернота отливала блеском. Плиссированные юбочки, которые она предпочитала, были восхитительно коротки. Даже обнаженные части ее тела были настолько неподвластны загару, что взгляд, скользящий по ее белым голеням и предплечьям, различал ровную штриховку нежных темных волосков, шелковинки ее девичества. Темно-карие радужки ее серьезных глаз отличались загадочной матовостью, напоминавшей взгляд восточной гипнотизерши (с рекламной изнанки журнала), и, казалось, помещались чуть выше обычного, из-за чего, когда она глядела прямо на вас, между их нижним краем и влажным нижним веком качалась серповидная люлька белизны. Могло показаться, что ее длинные ресницы подкрашены тушью, да, впрочем, они действительно были подкрашены. Кабы не полные запекшиеся губы, черты ее лица отличались бы эльфийской красой. Простой ирландский нос был копией Ванова, только в миниатюре, а зубы были замечательно белыми, но не очень ровными.

Что до ее прелестных ладошек (нельзя было не сокрушаться, глядя на них), розовых по сравнению с прозрачной кожей рук, даже еще более розовых, чем локти, которым, казалось, было совестно за состояние ее ногтей: она обкусывала их так основательно, что все оставшееся нетронутым заменялось канавкой, врезавшейся в плоть с тугостью натянутой проволоки и удлинявшей голые кончики пальцев, приобретавших форму черпачков. Позднее, когда он так полюбил целовать ее холодные кисти, она сжимала пальцы, оставляя его губам лишь костяшки, и Ван яростно вскрывал ее кулачки, чтобы добраться до этих плоских, слепых, маленьких подушечек. (Но, ах, Боже мой, что за диво являли собой длинные, томные, серебристо-розовые, покрытые цветным лаком и заостренные, деликатно жалящие ониксы ее молодости и зрелых лет!)

В первые, странные дни, когда она показывала ему дом и все те укромные уголки, где они так скоро станут ласкать друг друга, Ван испытывал чувства, в которых смешивалось восхищение и раздражение. Восхищение белизной ее желанной и недоступной кожи, ее волосами, ногами, угловатыми движениями, ее газелево-луговым ароматом, внезапным темным взглядом ее широко посаженных глаз, деревенской наготой под платьем; раздражение — оттого что между ним, неуклюжим школьником с задатками гения, и этой развитой не по годам, возомнившей о себе, неприступной девочкой пролегала толща света и завеса тени, которые никакая сила не могла ни преодолеть, ни прервать. Он малодушно клял все и вся, лежа в своей безнадежной постели и настроив свое напряженное естество на тот промельк ее образа, который впитал во время второй экскурсии в верхние отделы дома, когда она, встав на капитанский сундук, чтобы отворить похожее на иллюминатор окно, через которое можно было выбраться на крышу (даже собаке это однажды удалось), зацепилась краем платья за выступавшую из стены скобу, и он увидел, как иной видит некое омерзительное чудо в библейской притче или в отталкивающей метаморфозе мотылька, — темный шелковый пушок у этого ребенка. Он заметил, что она, кажется, заметила, что он заметил или мог заметить (то, что он не только увидел, но с нежным ужасом хранил в памяти до тех пор, пока не избавился от этого наваждения — много позже и довольно необычным образом), и тогда странное, сонное, высокомерное выражение мелькнуло у нее на лице: ее втянутые щеки и пухлые бледные губы шевельнулись, будто она что-то жевала, и она зашлась безрадостным лающим смехом, когда он, большой Ван, поскользнулся на черепице, выбравшись за ней на крышу через световой люк. И при внезапно выглянувшем солнце он осознал, что до сих пор он, маленький Ван, оставался слепым девственником, поскольку спешка, пыль и сумрак скрыли от него мышиные прелести его первой шлюшки, которой он так часто обладал.

Отныне воспитание его чувств и чувственности шло полным ходом. На другой день утром он случайно подглядел, как она омывает лицо и руки над старинным умывальником, стоящим на рококошной подставке: ее волосы были завязаны узлом на затылке, ночная рубашка спущена и закручена вокруг талии, будто несуразный венчик, из которого вырастала ее узкая спина с рядом проступавших ребер на обращенной к нему стороне. Толстый фарфоровый змий обвивался вокруг раковины, и когда оба, рептилия и он, замерли, уставясь на Еву и мягкое покачиванье ее едва оформившихся грудок, видимых сбоку, большой кусок багрово-красного мыла выскользнул у нее из пальцев и ее нога в черном носочке одним ударом захлопнула дверь со стуком, прозвучавшим скорее отзвуком упавшего на мраморную столешницу мыла, чем знаком ее девичьей стыдливости.

10

Будничный обед в Ардис-Холле. Люсетта — между Мариной и своей гувернанткой, Ван — между Мариной и Адой, Дак, золотисто-бурый горностай, где-то под столом, то ли между Адой и м-ль Ларивьер, то ли между Люсеттой и Мариной (Ван втайне не терпел собак, особенно за едой и особенно этого небольшого вытянутого уродца, из пасти которого несло падалью). Лукавая и высокопарная, Ада излагает свой

сон, или описывает какое-нибудь природное диво, или объясняет особый беллетристический прием — «monologue intérieur» Поля Бурже, позаимствованный у старика Льва, — или же смакует пряную глупость в свежей колонке Эльси де Норд, пошлой дамы литературного полусвета, полагающей, будто Лёвин разгуливал по Москве в нагольномъ тулупѣ, «мужицком полушубке, кожей наружу, мехом внутрь», — согласно словарю, который наша умница извлекает откуда-то с ловкостью фокусника, даже не снившейся таким, как Эльси. Ее свободное обращение с придаточными предложениями, ее замечания «в сторону», темпераментное акцентирование идущих подряд односложных слов («Ну и дичь, дура Эльси просто не умеет читать!»), — все это каким-то образом распаляло Вана, как искусственные возбудители и болезненные экзотические ласки, со стимулирующим зловещим уклоном, который его одновременно возмущал и болезненно услаждал.

«Ангел мой», обращалась к ней ее мать, то и дело вставляя: «Умру от смеха!», «О, я это обожаю!», прибавляя при сем другим, наставительным тоном: «Не сутулься» или «Ешь, ангел мой» (напирая на это «ешь» с материнской заботливостью, не вязавшейся с безжалостными спондеическими сарказмами дочери).

Ада, сидевшая теперь прямо, выгнула свою подвижную спину, затем, когда сон или приключение (или что там она пересказывает) достигли кульминации, склонилась над столом, с которого Прайс уже предусмотрительно убрал ее тарелку, и вдруг навалилась на него расставленными локтями, занимая все пространство, после чего откинулась назад, сложно гримасничая, изображая «такое длинное-предлинное», поднимая обе руки выше и выше!

«Ангел мой, ты же еще не попробовала — ах, Прайс, принесите —»

Что именно? Веревку, по которой голозадое чадо факира начнет карабкаться вверх, в тающую синеву?

«Это было что-то длинное-предлинное. Вроде (осекается)… щупальца… нет, дайте подумать» (встряхивает головой и морщит лоб, и вдруг все черты ее разглаживаются, будто спутанный клубок пряжи распускается одним быстрым рывком).

Нет: огромные багряно-розовые сливы, на одной из которых лопнула кожица, обнажая сочную желтизну.

«И тогда я —» (волосы взъерошены, одна рука вскинута к виску, намечая, но не заканчивая оправляющий взмах, после чего взрыв хрипловатого смеха переходит во влажный кашель).

«Нет, серьезно, мама, попробуй представить меня совершенно онемевшей, кричащей беззвучно, когда я поняла —»

После трех или четырех таких обедов Ван тоже кое-что понял. Поведение Ады вовсе не было рисовкой умной девочки перед новым человеком, то был отчаянный и довольно остроумный способ завладеть беседой, чтобы помешать Марине превратить ее в лекцию о театре. Марина же, дожидаясь подходящего момента, чтобы пустить вскачь

тройку своих заезженных коньков, испытывала некоторое профессиональное удовольствие, играя избитую роль заботливой мамаши, гордящейся очарованием и юмором дочери, и сама снисходительность Марины к нахальной велеречивости Ады должна была ненавязчиво раскрыть ее собственные очарование и остроумие: это она рисовалась, не Ада! И тогда, сообразив что к чему, Ван начал пользоваться паузами (которые Марина стремилась заполнить какой-нибудь отборной станиславщиной), чтобы направить Аду в бурные воды Ботани-Бей — ссылка, которой Ван при иных обстоятельствах страшился, но которая за семейным столом служила самым легким и безопасным выходом для его девочки. Эта уловка была особенно кстати за ужином, поскольку Люсетта с гувернанткой трапезничали раньше и у себя в комнате, а значит, в эти критические минуты нельзя было рассчитывать на то, что м-ль Ларивьер вовремя встрянет, пока Ада переводит дух, с подробным отчетом о своей работе над новым рассказом (ее знаменитое «Бриллиантовое ожерелье» находилось в последней стадии гранения) или реминисценциями о раннем детстве Вана, относящимся к таким желанным эпизодам, как те, которые касались его любимого русского наставника, галантно ухаживавшего за м-ль Л., писавшего по-русски «декадентские» стихи пружинным ритмом и по-русски же одиноко пившего горькую.

Ван: «Этот желтенький, как бишь его (указывает на цветок, с очаровательной точностью изображенный на эккеркроуновской тарелке), — это, кажется, лютик?»

Ада: «Нет. Этот желтый цветок — обычная калужница болотная, Caltha palustris, по-английски marsh marigold. Здешние крестьяне ошибочно зовут ее первоцветом, хотя, разумеется, настоящий первоцвет, Primula veris, это совсем другое растение».

«Вот как», сказал Ван.

«А кстати, — начала Марина, — когда я играла Офелию, то обстоятельство, что я когда-то собирала цветы —»

«Очень помогло, бесспорно, — сказала Ада. — Так вот, по-русски этот цветок называется куреслепом (как татарские мужики, несчастные рабы, неверно кличут лютик) или калужницей, как его вполне точно именуют в Калуге, С.Ш.А.».

«Ага», сказал Ван.

«Как и в случае со многими другими цветами, — продолжила Ада с тихой улыбкой помешанного ученого, — незадачливое французское название нашего растения, souci d'eau, было переврано или, лучше сказать, преображено —»

«Цветочки в порточки», — сострил Ван Вин.

«Je vous en prie, mes enfants!» — вмешалась Марина, с трудом следившая за разговором и решившая, вдвойне сбитая с толку, что намек относится к нижнему белью.

«Между прочим, сегодня утром, — сказала Ада, не снисходя до ответа

матери, — наша образованная гувернантка, бывшая также и твоей, Ван, и которая —»

(Впервые она произнесла его имя — на том уроке ботаники!)

«— довольно сурово относится к англофонным скрещивателям разных пород — назвать обезьян “ursine howlers”, медвежьими ревунами! — хотя, боюсь, мотивы у нее скорее шовинистские, чем эстетические и этические — обратила мое внимание — мое рассеянное внимание — на некоторые действительно поразительные цветочки, как ты назвал их, Ван, если не ягодки, в soi-disant дословной версии господина Фаули — “берущей за душу”, как сказала о ней в своем недавнем восторженном извержении Эльси — “берущей за душу”, подумать только! — стихотворения Рембо “Mémoire” (которое она, к счастью и весьма дальновидно, заставила меня выучить наизусть, хотя, подозреваю, что сама Мадемуазель предпочитает Мюссе и Коппе) —».

«…les robes vertes et déteintes des fillettes…», торжествующе процитировал Ван.

«Да-с (передразнивая Дана). Правда, мадемуазель Ларивьер позволяет мне читать его только в антологии Фельетена, которая у тебя тоже, вероятно, имеется, но очень скоро, о да, я заполучу его oeuvres complètes, гораздо скорее, чем вы думаете. Она, к слову, вот-вот сойдет вниз, когда уложит Люсетту, нашу милую медноголовку, которая, должно быть, уже натянула свою зеленую ночную рубашку —»

«Ангел мой, — взмолилась Марина, — я убеждена, что Вану нет дела до Люсеттиных рубашек!»

«— ивового оттенка и считает овечек на своем ciel de lit, что Фаули переводит как “небесная постель”, вместо “балдахин”. Но вернемся к нашему бедному цветку. Фальшивый louis d’or в этой коллекции изгаженных французских слов — это преобразование souci d’eau (нашей калужницы) в ослиную “заботу воды” (“care of the water”), и это при том, что в его распоряжении была уйма синонимов к marsh marigold — mollyblob, marybud, maybubble и много других названий, связанных с празднествами плодородия, чем бы они ни были».

«С другой стороны, — сказал Ван, — легко представить себе, как столь же хорошо владеющая двумя языками мисс Риверс проверяет французский перевод, скажем, марвелловского “Сада” —»

«Ах, — воскликнула Ада, — я могу прочитать собственную трансверсию “Le jardin”, как там —

En vain on s’amuse à gagner

L’Oka, la Baie du Palmier…»

«…to win the Palm, the Oke, or Bayes!» [чтобы завоевать пальмовый, дубовый или лавровый венок], выкрикнул Ван.

«Знаете, дети, — прервала их Марина решительно, опуская обе руки вниз усмиряющим жестом, — когда мне было столько же лет, сколько тебе, Ада, а моему брату было столько же, сколько тебе, Ван, мы говорили о крокете, о пони, о щенках, и о последнем fête-d'enfants, и о следующем пикнике, и — ах, да о множестве милых нормальных вещей, — и никогда, никогда о старых французских ботаниках и еще Бог знает о чем!»

«Но ты сказала, что собирала цветы?» — возразила Ада.

«Всего только один сезон, где-то в Швейцарии, не помню когда. Теперь это не имеет никакого значения».

Брат — Иван Дурманов: он умер от рака легких много лет тому назад в санатории (недалеко от Экса, где-то в Швейцарии, где восемь лет спустя родился Ван). Марина часто вспоминала Ивана, ставшего знаменитым скрипачом уже в восемнадцать лет, но вспоминала обычно без волнения, так что Ада была удивлена, заметив, что густоватый косметический грим матери начал таять из-за внезапного ручейка слез (быть может, аллергическая реакция на старые плоские сухие цветы, припадок сенной лихорадки, или горечь горечавки, как мог бы ретроспективно показать более поздний диагноз). Она громко высморкалась, «как слон», по ее собственному выражению, и в ту же минуту появилась м-ль Ларивьер, чтобы выпить чашку кофе и поделиться своими воспоминаниями о Ване, когда он был bambin angélique, обожавший à neuf ans — такой милый! — Жильберту Сван et la Lesbie de Catulle (и который уже тогда научился, совершенно самостоятельно, избывать свое обожание, как только керосиновая лампа в кулаке его чернокожей няньки уплывала из подвижной спальни).

11

Через несколько дней после приезда Вана из города утренним поездом прибыл дядя Дан, чтобы, как обычно, провести уик-энд с семьей. Ван столкнулся с ним, когда он пересекал холл. Дворецкий очень мило (как подумалось Вану) указал своему хозяину, кто именно этот рослый мальчик, — опустил руку на три фута от земли и затем ступеньками стал поднимать ее все выше и выше — альтиметрия, смысл которой лишь один наш шестифутовый юноша и понял. Маленький рыжеволосый джентльмен бросил недоуменный взгляд на старого дворецкого, который поспешил прошептать имя Вана.

У г-на Данилы Вина была занятная привычка, подходя к гостю, прятать пальцы своей напряженной правой руки в карман сюртука и держать их там для своего рода очистительной процедуры, пока не наступит точный момент рукопожатия.

Он сообщил Вану, что с минуты на минуту пойдет дождь, «поскольку он уже идет в Ладоре», а дождю, сказал он, «требуется около получаса, чтобы достигнуть Ардиса». Ван принял это известие за шутку и вежливо хмыкнул, отчего дядя Дан вновь недоумевающе посмотрел на него своими

светлыми рыбьими глазами и задал ему несколько вопросов: знаком ли он с окрестностями, сколькими языками он владеет и не желает ли он участвовать в розыгрыше, купив у него за несколько копеек лотерейный билет Красного Креста?

«Нет, благодарю, — сказал Ван, — у меня и своих розыгрышей хоть отбавляй», и дядя вновь взглянул на него, но на этот раз несколько косо.

Чай подали в гостиной, и все были почему-то молчаливы и задумчивы, но вот дядя Дан встал, вынимая из внутреннего кармана сложенную газету, и едва он покинул комнату, направляясь в свой кабинет, как само собой распахнулось окно и проливной дождь застучал в саду по листьям лириодендронов и рябчиков императорских, и все сразу громко и живо заговорили.

Дождь шел или, скорее, стоял, недолго — он продолжил свой предполагаемый путь в Радугу, или Ладору, или Калугу, или Лугу, оставив после себя над Ардис-Холлом недоконченную яркую арку.

Дядя Дан сидел в глубоком покойном кресле, стараясь вникнуть с помощью одного из тех крошечных словарей для непритязательных туристов, которые служили ему для расшифровки иностранных каталогов живописи, в содержание статьи, посвященной, предположительно, «устричной» технике декорирования (он читал иллюстрированную голландскую газету, подобранную им с соседнего места в поезде), — когда вдруг неописуемый гвалт поднялся в доме, охватывая одну комнату за другой.

Резвый дакель, с одним плещущим и другим вывернутым ухом, так что была видна его розовая внутренность, усеянная серыми крапинами, быстро перебирая комичными лапами и оскальзываясь на паркете при резких поворотах, уносил прочь, в подходящее укрытие, дабы растерзать там, большой ком напитанной кровью ваты, который он стащил где-то наверху. Ада, Марина и две горничные гнались за веселым зверем, тщетно стараясь загнать его в угол среди всей этой барочной мебели, пока он удирал от них через бесчисленные двери. Погоня резко сменила направление и пронеслась мимо кресла дяди Дана.

«Мать честная! — воскликнул он, увидев окровавленный трофей. — Не иначе кто-то оттяпал себе палец!» Похлопав себя по ляжкам и пошарив в складках кресла, он отыскал — под скамейкой для ног — свой карманный словарь и вернулся к газете, но тут же вынужден был выяснить значение слова «groote», которое как раз начал искать, когда его отвлекли.

Простота искомого значения огорчила его.

Тем временем неугомонный Дак, выскочив наружу в проем стеклянной двери, увлек своих преследователей в сад. Там, на третьей лужайке, Ада настигла его «стелющимся» прыжком, какой применяется в «американском футболе», разновидности регби, состязания, которому в былое время кадеты предавались на покрытых дерном сырых берегах реки Гудсон. В ту же минуту м-ль Ларивьер поднялась со скамьи, на которой

сидела, подстригая Люсетте ногти, и, указывая ножницами на Бланш, подбежавшую с бумажным пакетом, обвинила молодую неряху в вопиющем проступке, а именно в том, что та как-то обронила шпильку для волос в кроватку Люсетты, un machin long comme ça qui faillit blesser l'enfant à la fesse. Однако Марина, как все русские дворянки, смертельно боявшаяся «обидеть всякого ниже себя», объявила, что инцидент исчерпан.

«Нехорошая, нехорошая собака», приговаривала Ада, задыхаясь и с присвистом переводя дух, беря на руки лишившуюся добычи, но ничуть не удрученную таксу.

12

Гамак и мед: даже спустя восемьдесят лет он все еще мог вспомнить с юношеской мукой изначальной радости, как влюбился в Аду. Память сходится с воображением на середине пути в гамаке его отроческих зорь. Девяносточетырехлетним старцем ему нравилось восстанавливать во всех подробностях то первое любовное лето — не как только что виденный сон, а как краткое содержание самого сознания, которое поддерживало его в серые предутренние часы, в промежутке между неглубоким сном и первой пилюлей нового дня. Дорогая, замени меня ненадолго. Пилюля, пилон, балкон, биллион. С этого места, Ада, пожалуйста!

(Она:) Биллионы юношей. Возьмем одну довольно приличную декаду. В продолжение оной биллионы Биллей — такие милые, талантливые, нежные и пылкие, не только духовно, но и физически благонамеренные Биллионы — раздели джиллионы своих не менее нежных и восхитительных Джилль, находясь в тех состояниях и в таких условиях, которые следует определить и проверить служащему, дабы весь отчет не зарос сорной травой статистических данных и доходящих до пояса обобщений. В нем не было бы никакого смысла, если бы мы упустили, к примеру, маленький вопрос невиданного индивидуального самосознания и юношеской гениальности, которые способны в некоторых случаях превратить тот или иной определенный момент в непредсказуемое и неповторимое событие в череде связанных между собой явлений жизни, или, по крайней мере, тематические антемионы этих событий — в произведение искусства или в разгромную статью. Просвечивающие или затеняющие детали: лист местной флоры сквозь гиалиновую кожу, зеленое солнце во влажном карем глазу, tout ceci, всё это, по отдельности и вместе, должно быть принято в расчет — теперь приготовься продолжить (нет, Ада, продолжай ты, я заслушался), — если мы хотим пролить свет на тот факт… факт… факт, что среди этих биллионов блестящих пар в одном поперечном срезе того, что ты позволишь назвать мне (ради удобства рассуждения) пространством-временем, есть одна уникальная пара, сверхъ-императорская чета, вследствие чего (что еще будет изучено, изображено, разоблачено, положено на музыку или на дыбу и предано смерти, если декада все-таки имеет свой скорпионий хвост) особенности ее любовных отношений исключительным образом осеняют две долгие жизни и нескольких читателей, этих мыслящих камышей, с их писчими перьями и ментальными кисточками. Естественная история — где уж! Противоестественная история — потому что такая точность чувств и ума должна показаться

деревенщине отталкивающе эксцентричной и потому что детали — это все: песнь тосканского красноголового королька или рубиновоголовый королек на ветке кладбищенского кипариса; мятный дух садового чабера или Yerba Buena на прибрежном склоне; напоминающее танец порханье голубянки весенней или голубянки-эхо (Echo Azure) — в сочетании с другими птицами, цветами и бабочками: вот что должно быть услышано, учуяно, увидено сквозь прозрачность смерти и сияющей красоты. И самое трудное — восприятие красоты сквозь призму настоящего. Самцы светляков (дальше ты, Ван, без возражений).

Самцы светляков, крошечных иллюминирующих жуков, скорее напоминающих блуждающие звезды, чем крылатых насекомых, появились в Ардисе в первые теплые и черные ночи, один за другим, там и тут, а потом — призрачным множеством, редевшим вновь до нескольких точек, когда их странствия подходили к своему природному концу. Ван наблюдал за ними с тем же приятным трепетом, какой испытал ребенком, когда однажды, заблудившись на кипарисовой аллее в лиловых сумерках итальянского отельного сада, решил, что это, должно быть, золотистые духи или мимолетные химеры сада. Теперь, когда они плавно и, по-видимому, прямо летели к своей цели, пересекая в разных направлениях окружавшую Вана тьму, каждый светляк с промежутком приблизительно в пять секунд зажигал свой бледно-лимонный огонек, подавая сигнал индивидуальным ритмом (совершенно отличным от ритмов родственного вида, летающего с Photinus ladorensis, по словам Ады, в Лугано и Луге) своей обитающей в траве самке, которая, проверив верность используемого кода, два-три мгновения спустя отвечала ему собственной световой пульсацией. Присутствие этих дивных маленьких существ, нежно освещавших душистую ночь, наполняло Вана тихим ликованием, редко пробуждаемым энтомологическими экскурсами Ады — быть может, вследствие абстрактной зависти ученого, которую порой вызывает непосредственное знание натуралиста. Гамак, это удобное продолговатое гнездо, оставлявшее на голом теле ромбовидный узор, он подвешивал или под атласским кедром, раскинувшимся на краю лужайки и частично укрывавшим Вана от проливного дождя, или — в безопасные ночи — между двух тюльпанных деревьев (где прежний летний гость, в оперном плаще поверх влажной ночной сорочки, был однажды разбужен хлопушкой, лопнувшей окрест среди инструментов в возке, и, чиркнув спичкой, дядя Ван увидел пятна яркой крови на своей подушке).

Окна черного замка гасли по вертикали, по горизонтали и траекториями шахматного коня. Дольше всех оставалась в верхней уборной м-ль Ларивьер, приходившая туда с лампадой на розовом масле и своим бюваром. Ветерок трепал занавески его комнаты, теперь беспредельной. В темном небе взошла Венера; Венера завладела его плотью.

Так было незадолго до сезонного нашествия занятно-примитивных москитов (чья ядовитость приписывалась не слишком доброжелательным русским населением наших мест рациону ладорских виноградарей-французов и клюквоедов); но даже при этом чарующие светлячки и еще более сверхъестественный бледный космос, проступавший сквозь темную листву, уравновешивали новыми неудобствами ночные тяготы, неизбывные выделения пота и спермы, порождаемые его душной комнатой. Ночь, бесспорно, всегда оставалась тяжким испытанием на протяжении всей его, уже почти вековой, жизни, не важно, насколько сонным или

одурманенным снотворным мог быть бедняга, — поскольку гениальность вовсе не пряник, ни в случае Биллионера Билля с его острой бородкой и стилизованным лысым куполом, ни в случае мрачного Пруста, любившего обезглавливать крыс, когда ему не спалось, ни в случае этого блестящего или темнящего В.В. (в зависимости от точки зрения читателей, тоже бедолаг, несмотря на наши потуги и их заслуги); но в Ардисе бурная жизнь кишащих звездами небес так осложняла его мальчишеские ночи, что он бывал рад и благодарен, когда скверная погода или гнусный кровосос, Камаргскій комаръ наших мужиковъ и Moustique moscovite их столь же полнозвучных оппонентов, гнали его обратно в ухабистую постель.

Настоящий бесстрастный отчет о ранней, слишком ранней любви Вана Вина к Аде Вин не оставляет нам ни места, ни повода для метафизических отступлений. И все же стоит заметить (пока летают и пульсируют люциферы и в соседнем парке, тоже очень ритмично, ухает сова), что Ван, который в ту пору еще не изведал в должной мере Терзаний Терры — смутно относя их (когда анализировал мучения своей дорогой незабвенной Аквы) к пагубным маниям и народным суевериям, — даже тогда, в четырнадцать лет, сознавал, что в древних мифах, запустивших в податливую реальность круговерть миров (какими бы нелепыми и таинственными они ни были) и поместивших их среди серой материи усеянных звездами небес, содержится, быть может, светлячок странной истины. Его ночевки в гамаке (где другой бедный юноша, кляня свой кровавый кашель, вновь проваливался в сны о черных, рыскающих кругами кругуарах и кимвальном ударе символов в орхидном оркестре, как подсказывали ему дипломированные доктора) были теперь отягощены не столько его мучительным влечением к Аде, сколько этим бессмысленным пространством над ним, под ним, всюду, этим дьявольским подобием божественного времени, звучащего вокруг него и сквозь него тем звоном, которому предстояло повториться — к счастью, несколько более осмысленно — в последние ночи его жизни, о которых я, любовь моя, нисколько не жалею.

Он засыпал в тот момент, когда ему казалось, что он уже никогда не заснет, и видел свои юношеские сны.

Лишь только первые лучи дня коснулись его гамака, он проснулся другим человеком — и в гораздо большей степени мужчиной. «Ada, our ardors and arbors» [Ада, наши сады и услады] — пел в его голове дактилический триметр, которому предстояло остаться единственным вкладом Вана Вина в англо-американскую поэзию. Слава скворцу и к чорту звездную пыльцу! Ему четырнадцать с половиной, он пылок и смел, и однажды неистово овладеет ею!

Одно из таких полных сил утр он сумел восстановить в мельчайших деталях, проигрывая в памяти свое прошлое. Натянув купальные трусики, не без труда упрятав в них всю сложную и неподатливую составную массу срамных частей, он опрокинулся из своего гнезда на землю и первым делом проверил, пробудилась ли уже Адина половина дома. Пробудилась. Он увидел блеск хрусталя, солнечный блик. Она вкушала sa petite collation du matin — в одиночестве, на собственном балконе. Ван отыскал сандалии, с жуком в одном и лепестком в другом, и, пройдя через садовую кладовую, вошел в прохладный дом.

Дети ее склада изобретают чистейшие из возможных философий. Ада развила свою собственную скромную систему. Прошло меньше недели со дня приезда Вана, когда она решила, что он достоин быть посвященным в основы ее премудрости. Жизнь всякого человека состоит из следующих определенных сущностей: редкостных и бесценных «истинных сущностей», просто «сущностей», образующих повседневное содержание жизни, и «призрачных сущностей», иначе называемых «мглой», таких как огневица, зубная боль, ужасные разочарования и смерть. Три и более сущности, возникающие одновременно, образуют «башню», а если они следуют друг за другом — то «мост». «Истинные башни» и «истинные мосты» относятся к радостям жизни, когда же башни выстраиваются в ряд, можно испытать невиданный восторг; впрочем, так случается очень редко. В некоторых обстоятельствах и при определенном свете нейтральная «сущность» может показаться и даже способна сделаться «истинной», или же, обратно, она может сгуститься в душную «мглу». Если радостное и грустное смешиваются, одновременно или на наклонной плоскости длительности, человек сталкивается с «разрушенными башнями» и «рухнувшими мостами».

Живописные и архитектурные детали этой метафизики скрашивали ее ночи, которые были намного приятнее Вановых, и потому в то утро — как и в большинство утр — ему мнилось, будто он воротился из гораздо более далекой и суровой страны, чем она и ее солнечный луч.

Ее полные, липко-блестящие губы улыбались.

(Когда я целую тебя сюда, — сказал он ей как-то многие годы спустя, — я всегда вспоминаю то синее утро на балконе, когда ты ела tartine au meil, — по-французски звучит намного лучше.)

Классическая красота клеверного меда, однородного, светлого, полупрозрачного, свободно стекающего с ложечки и жидкой латунью затопляющего хлеб и масло моей душеньки. Хлебная крошка тонет в нектаре.

«Истинная сущность?» — спросил он.

«Башня», ответила она.

И еще оса.

Оса исследовала ее тарелку. Ее тельце подрагивало.

«Позже нам стоит попробовать съесть одну, — заметила Ада. — Но она должна быть объевшейся, чтобы быть вкусной. В язык она, само собой, ужалить не может. Ни одно животное на земле не смеет тронуть человеческий язык. Когда лев доедает путешественника с костями и всем прочим, он всегда оставляет его язык лежать в пустыне» (следует пренебрежительный жест).

«Неужели?»

«Широко известная загадка природы».

Ее волосы, в тот день тщательно расчесанные, отливали черным блеском, подчеркивая матовую бледность ее шеи и рук. На ней была полосатая тенниска, которую в своих одиноких фантазиях Ван особенно любил стягивать с ее изгибающегося тела. Клеенка была поделена на синие и белые клетки. Медовый мазок запятнал остатки масла в охлажденном горшочке.

«Ладно. А третья Истинная Сущность?»

Она глядела на него. Горящая капелька в углу ее губ глядела на него. Трехцветная бархатистая фиалка, которую она накануне писала акварелью, тоже глядела на него из своего волнистого хрусталя. Она ничего не сказала. Продолжая смотреть на него, она облизала свои расставленные пальцы.

Ван, так и не дождавшись ответа, покинул балкон. Ее башня мягко рассыпалась в лучах благодатного безмолвного солнца.

13

На большой пикник по случаю двенадцатилетия Ады и сорок второго jour de fête Иды девочке разрешили надеть ее «лолиту» (от имени андалузской цыганочки из романа Осберха, произносить которое, между прочим, следует с испанским, а не с глухим английским «t»), — довольно длинную, но очень воздушную и широкую черную юбку с красными маками или пионами, «которых в ботанической реальности не существует», как она высокопарно выразилась, еще не ведая, что реальность и естествознание являются синонимами в понятиях этого и только этого сновидения.

(Как не ведал того и ты, мудрый Ван. Ее приписка.)

Она ступила в юбку, обнаженная, с ногами, еще влажными и «шершавыми» после особого растирания грубой махровой мочалой (утренние ванны под властью м-ль Ларивьер не применялись), и натянула ее, проворно крутя бедрами, чем вызвала дежурный нагоняй своей гувернантки: mais ne te trémousse pas comme ça quand tu mets ta jupe! Une petite fille de bonne maison, и т. д. Отсутствие панталончиков, per contra, нисколько не смутило Иду Ларивьер, грудастую женщину выдающейся, но отталкивающей красоты (стоявшую в одном корсете и чулках с подвязками), которая и сама была не прочь сделать кое-какие тайные уступки летнему зною; однако в случае нежной Ады такая привычка имела вредные последствия. Девочка попыталась унять раздражение и сопутствующие ему не столь уж неприятные ощущения клейкости и зуда в мягком своде, крепко оседлав прохладную ветвь шаттэльской яблони, — к большому отвращению Вана, как мы еще не раз увидим.

К «лолите» она надела белое джерси с короткими рукавчиками и черными полосками, мягкую широкополую шляпу со шнурком, чтобы ее можно было

носить за спиной, подвязала волосы бархатной лентой и натянула пару старых сандалий. Ни чистоплотность, ни изысканный вкус, как Ван находил то и дело, не отличали домашних Ардиса.

Когда все были готовы ехать, Ада живо, как удод, спрыгнула со своего дерева. Спеши, спеши, моя птица, ангел мой. Бен Райт, кучер-англичанин, был все еще трезв как стеклышко (выпив за завтраком только кружку пива), а Бланш, которая по крайней мере однажды уже побывала на большом пикнике (ей в тот раз пришлось сломя голову мчаться в Сосновую балку, чтобы расшнуровать упавшую в обморок Мадемуазель), сейчас была занята менее светским делом — уносила рвущегося и рычащего Дака в свою комнатку в башне.

Шарабан уже доставил к месту пикника двух лакеев, три кресла и несколько корзин с провизией. Романистка в белом сатиновом платье (сшитым в манхэттенском ателье легендарной Васс для Марины, похудевшей с тех пор на десять фунтов), с Адой подле себя и Люсеттой, très en beauté в белой матроске, примостившейся рядом с насупленным Райтом, поехала в виктории. Ван катил следом на одном из велосипедов своего дяди или двоюродного деда. Лесная дорога оставалась довольно ровной, если держаться ее середины (все еще липкой и темной после рассветного дождя), между двумя небесно-голубыми колеями, испещренными отраженьями тех же березовых листьев, чьи тени проплывали по тугому жемчужному шелку открытого парасоля м-ль Ларивьер и по широким полям лихо заломленной белой шляпы Ады. Люсетта изредка оборачивалась назад со своего места рядом с одетым в синий кафтан Беном и раскрытой ладошкой подавала Вану маленькие сигналы, чтобы он сбавил скорость — как это делала ее мать, когда боялась, что Ада на своем пони или велосипеде врежется в кузов экипажа.

Марину доставил двухместный красный автомобиль раннего «прогулочного» типа, которым дворецкий управлял с такой осмотрительностью, как будто имел дело с причудливо устроенным штопором. Она выглядела на редкость элегантно в сером мужском фланелевом костюме и сидела, положив руку в перчатке на набалдашник рябой трости, дожидаясь, пока автомобиль, слегка покачиваясь, подъедет к самому краю живописной пикниковой опушки, окруженной вековым сосновым бором, изрезанным дивными оврагами. Странная светлокрылая бабочка пролетела с другой стороны леса вдоль луганской грунтовой дороги, и тут же за ней подъехало ландо, из которого один за другим, живо или медленно, в зависимости от возраста и состояния, сошли близнецы Эрминины, их молодая брюхатая тетка (сильно обременяющая повествование) и гувернантка, седовласая мадам Форестье, подруга школьных лет Матильды из будущего рассказа. Кроме того, ожидались, но так и не появились трое джентльменов: дядя Дан, опоздавший на утренний поезд из города, полковник Эрминин, вдовец, чья печень, как он выразился в записке, повела себя как печенѣгъ, и его врач (а также партнер по шахматам), прославленный д-р Кролик, который звал себя придворным ювелиром Ады и который действительно преподнес ей на другой день поутру три искусно вырезанные куколки («Бесценные геммы!» — грудным голосом воскликнула Ада, наморщив брови), каждой из которых в скором времени предстояло явить на свет экземпляры удручающих ихневмоноидных наездников вместо нимфалиды

Кибо — недавно обнаруженной редкости.

Стопки мягких, лишенных поджаренной корочки сандвичей (правильной прямоугольной формы размером два дюйма на пять), рыжеватый труп индейки, черный русский хлеб, белужья икра в горшочках, засахаренные фиалки, малиновые тартинки, полгаллона белого гудсонского портвейна и столько же красного, разбавленный водою кларет в термосах для девочек и сладкий холодный чай счастливого детства — все это легче вообразить, чем изобразить. Кое-кто мог бы счесть весьма показательным <так в рукописи. Ред.>

Кое-кто мог бы счесть весьма показательным соседство Ады Вин с Грейс Эрмининой: Адина молочная белизна и пышущий здоровьем румянец ее ровесницы; прямые черные волосы девочки-колдуньи и короткие русые волосы; матовые и серьезные глаза моей прелести и синее мерцание за роговыми очками у Грейс; голая ляжка первой и длинные красные чулки второй; цыганская юбка и матросский костюм. И, возможно, еще занятнее было бы отметить, как простецкие черты Грега практически в неизменном виде воспроизводились в наружности его сестры, приобретая некоторое подобие девичьей «миловидности» без утраты разительного сходства между юнгой и девицей.

Слуги живо унесли останки индейки, портвейн, к которому никто, кроме гувернанток, не притронулся, и разбитое севрское блюдо. Из-за куста выглянула кошка, в изумлении оглядела преобразившуюся поляну и, несмотря на хоровое «кис-кис», исчезла.

После этого происшествия м-ль Ларивьер попросила Аду сопроводить ее в уединенное местечко. Найдя таковое, она, во всем своем облачении, в широком своем платье, сохранившем каждую свою царственную складку, но ставшем как будто на дюйм длиннее, так что исчезли под ним ее прюнелевые туфли, постояла неподвижно над скрытой струей и мгновенье спустя вновь вернулась к своей нормальной вышине. На обратном пути благонамеренная педагогиня сообщила Аде, что двенадцатый день рождения для всякой девочки — это подходящий повод, чтобы объяснить ей кое-что и тем самым предупредить то, что может теперь в любое время превратить ее в grande fille. Ада, которую еще полгода тому назад школьная учительница всесторонне просветила по части этого явления и которая уже, собственно, дважды испытала его, огорошила свою бедную гувернантку (которой никак не удавалось поладить с ее острым и своеобразным умом), заявив, что все это враки и ахинея монахинь; что в наши дни такого рода вещи едва ли случаются с нормальными девочками и уж, конечно, с ней, с Адой, произойти никак не могут. М-ль Ларивьер, которая была первостатейной дурой, несмотря на свою склонность к литературному сочинительству или, быть может, благодаря этому, мысленно обозрела в ретроспективном порядке свой собственный опыт и в течение нескольких ужасных мгновений спрашивала себя, мог бы научный прогресс столь радикально переменить человеческую природу, пока она отдавала себя искусству?

Послеполуденное солнце отыскало и осветило новые места, на старых же стало сильно припекать. Тетя Руфь задремала, положив голову на обычную постельную подушку, прихваченную с собой мадам Форестье, которая вязала крошечную фуфайку для будущего полукровного брата или

сестры своих подопечных. А Марине думалось о том, что госпожа Эрминина из персидской сини своей блаженной обители и сквозь неотвязную пелену, оставленную самоубийством, глядит сейчас со старческой печалью и младенческим любопытством на пирующих под пышной сосновой кроной. Дети проявили свои таланты: Ада и Грейс отплясывали барыню под аккомпанемент старинной музыкальной шкатулки, поминутно запинавшейся посреди такта, как если бы она вспоминала другие берега, другие, радиальные, волны; Люсетта, уперев кулачок в бок, спела рыбацкую песнь Сен-Мало; Грег, натянув синюю юбку своей сестры, ее очки и шляпу, превратился в сильно хворающую, умственно отсталую Грейс; Ван же ходил на руках.

За два года до этого, перед началом своего первого тюремного срока в фешенебельной и отвратительной школе-интернате, где до него учились и другие Вины (еще в те времена, «когда вашингтонцы были веллингтонцами»), Ван решил овладеть каким-нибудь поразительным приемом, дающим мгновенное и блистательное превосходство над остальными. После обсуждения этого вопроса с Демоном Кинг Винг, наставник последнего по рукопашному бою, научил крепкого юношу ходить на руках посредством особой игры плечевых мускулов — трюк, для освоения и совершенствования которого требовалось не что иное, как смещение кариатики.

Что за удовольствие <так в рукописи>. Удовольствие от внезапного открытия верного способа передвигаться вверх тормашками сродни ярким ощущениям, какие испытываешь, когда, после множества чувствительных и унизительных падений, научаешься, наконец, управлять теми дивными летунами, называвшимися «фееропланами» (или «ковролетами»), которые в отважные времена перед Великой Реакцией было принято дарить мальчикам на двенадцатилетие. Сердце замирает в минуты долгого, пробегающего от макушки до пят наслаждения, когда впервые отрываешься от земли и пролетаешь через стог сена, дерево, ручей, амбар, а под тобой, внизу, задрав голову, бежит Дедал Вин, твой дед, машет флажком и падает в конский пруд.

Ван стянул спортивную рубашку, снял туфли и носки. Стройность тела этого красивого юноши, отвечавшего тоном, если не текстурой, песочного цвета шортам, контрастировала с необыкновенно развитыми дельтовидными мышцами и сильными предплечьями. Пройдет всего четыре года, и Ван сможет одним ударом локтя сбить с ног взрослого мужчину.

Грациозно изогнув перевернутое тело, вскинув, будто тарентский парус, коричневые от солнца ноги, сведя вместе лавирующие лодыжки, Ван растопыренными руками хватался за сходни гравитации и передвигался взад-вперед, слегка покачиваясь и обходя препятствия, не так открывая рот и странным образом моргая, с веками, похожими на бильбоке в этом непривычном положении. Больше всего поражали даже не быстрота и разнообразие движений, которые он демонстрировал, имитируя хождение зверя на задних лапах, а впечатление совершенной непринужденности его стойки; Кинг Винг предупредил его, что Векчело, юконский атлет, утратил эту способность к двадцати двум годам; но в тот летний день, на шелковистой земле соснового бора, в волшебной сердцевине Ардиса, под синим взором г-жи Эрмининой, четырнадцатилетний Ван изумил всех великолепнейшим представлением,

когда-либо дававшимся рукоходом человеческой породы. Никакого покраснения лица или шеи! Когда он отрывал свои органы движения от покорной поверхности и, казалось, на самом деле хлопал в ладони, повиснув в воздухе в чудесной пародии на антраша, нельзя было отделаться от ощущения, что эта сновидческая ленность левитации есть следствие рассеянной благожелательности самой земли, упразднившей притяжение. К слову, одним из занятных следствий определенной деформации мускулатуры и костных «переключений», вызванных особыми упражнениями, которыми Винг доводил юношу до изнеможения, стала неспособность Вана в поздние годы пожимать плечами.

Вопросы для рассмотрения и обсуждения:

1. Отрывались ли обе его ладони от земли, когда перевернутый Ван, казалось, действительно «подпрыгивал» на руках?

2. Была ли поздняя неспособность Вана отвергать некоторые вещи с помощью известного плечевого жеста чисто физическим явлением или же она «соответствовала» какому-то архетипическому свойству его «глубинной натуры»?

3. Отчего Ада разрыдалась в середине его выступления?

Наконец, м-ль Ларивьер, также не оставшись в долгу, прочитала рассказ «La Rivière de Diamants», только что отстуканный ею на машинке для «Квебекского ежеквартального журнала». Хорошенькая и утонченная жена жалкого служащего одалживает у богатой подруги ожерелье. По пути домой с конторской вечеринки она его теряет. В продолжение тридцати или сорока ужасных лет несчастная пара с утра до ночи трудится и бережет каждый грош, выплачивая полмиллиона франков, взятых ими в долг для покупки ожерелья, пропажу которого они скрыли от мадам Ф., вернув ей украшенье в том же футляре. О, как сильно билось сердце Матильды — откроет ли Жанна футляр или нет? Она не открыла. Когда же, постаревшие, но торжествующие (он — наполовину парализованный от полувекового переписывания бумаг на их мансарде, она — неузнаваемо огрубевшая из-за мытья полов à grand eau), они открывают свою тайну седой, но все еще моложавой мадам Ф., та произносит последнюю фразу рассказа: «Но, бедная моя Матильда, ожерелье было фальшивым: оно стоило всего-то пятьсот франков!»

Внесенная Мариной лепта оказалась скромнее, но не была лишена обаяния. Она показала Вану и Люсетте (остальным это давно уже было известно) ту самую сосну и то самое место на ее грубом рыжем стволе, где в давние, очень давние времена гнездился магнитный телефонный аппарат, сообщавшийся с Ардис-Холлом. После запрета «токов и контуров», сказала она (произнеся эти не вполне приличные слова быстро, но свободно, с актерской désinvolture, и заставив Люсетту недоуменно дергать знающего все на свете Вана, Ваничку за рукав), бабка ее мужа, наделенная большим инженерным талантом, заключила в трубу Редмонтский ручей (сбегающий с холма над Ардисом и протекающий по краю этой самой поляны) и устроила так, что он стал передавать по системе платиновых сегментов вибрирующие лисзжоки (призматические пульсации). Передача сообщений, разумеется, была односторонней, а установка и наладка «барабанов» (цилиндров) требовали столько денег,

сказала она, сколько и еврею не снилось, так что от затеи пришлось отказаться, как бы ни прельщала возможность оповещать пикникующего Вина, что в его доме пожар.

Словно бы иллюстрируя недовольство многих людей внутренней и внешней политикой (старик Гамалиил к тому времени уже начал впадать в детство), из Ардис-Холла вернулся, пыхтя, маленький красный автомобиль, из которого выскочил дворецкий, доставивший сообщение. Только что прибыл господин с подарком для мадемуазель Ады, но беда в том, что никто не возьмет в толк, как следует обращаться с этим сложным предметом; нужна помощь госпожи. Дворецкий положил письмо на карманный поднос и вручил Марине.

Мы не можем восстановить точную фразировку послания, но нам известно, что в нем говорилось, что этот тщательно подобранный и очень дорогой подарок представлял собой здоровенную и красивую куклу — к большому сожалению и удивлению, практически полностью обнаженную; еще удивительней было то, что на ее правой ноге имелся бандаж, левая рука была забинтована и к странной игрушке прилагался не обычный набор платьиц и сорочек, а коробка с гипсовыми корсетами и резиновыми приспособлениями. Инструкция на русском или болгарском нисколько не проясняла дело, поскольку была написана не современной латиницей, а старинной кириллицей, чудовищной азбукой, которой Дан так и не смог освоить. Не могла бы Марина немедленно приехать, чтобы выкроить для куклы подходящие наряды из тех ярких шелковых лоскутов, которые ее горничная, как он обнаружил, держит в комоде, а затем вновь завернуть дар в свежую папиросную бумагу?

Ада, читавшая записку из-за плеча Марины, содрогнулась от отвращения и сказала:

«Скажи ему, чтобы взял щипцы и отнес эту мерзость на хирургическую свалку».

«Беднячок! — воскликнула Марина, и глаза ее увлажнились. — Конечно, я приду. А твоя жестокость, Ада, порой кажется, порой кажется, я не знаю, — сатанинской!»

Энергично наступая своей длинной тростью, с дрожащим от нервической решимости лицом, Марина прошествовала к автомобилю, который тут же тронулся и начал разворачиваться, сминая крылом негодующие кусты пламеники и опрокидывая пустую полугаллоновую бутылку, чтобы объехать стоящую на пути коляску.

Однако, каким бы едким возмущением ни наполнился воздух над поляной, оно быстро рассеялось. Ада попросила у своей гувернантки бумагу и карандаши. Лежа на животе и подпирая рукой щеку, Ван смотрел на склоненную шею своей возлюбленной, игравшей в английские анаграммы с Грейс, которая невинно предложила слово «insect» (насекомое).

«Scient», сказала Ада и записала это слово.

«Ах нет!» — запротестовала Грейс.

«Ах да! Я уверена, что оно существует. He is a great scient (Он великий ученый муж). Dr. Entsic was scient in insects (Д-р Энтсик был знатоком насекомых)».

Грейс задумалась, постукивая резиновым кончиком карандаша по своему нахмуренному лбу, и через минуту выпалила:

«Nicest! (Милейший)»

«Incest (инцест)», немедленно парировала Ада.

«Сдаюсь, — сказала Грейс. — Нужен большой словарь, чтобы проверить твои маленькие выдумки».

Но вот послеполуденный жар достиг своей неумолимой вершины, и первый за лето злой москит был звучно прихлопнут проворной Люсеттой на Адиной голени. Уже двинулся обратно в усадьбу шарабан со стульями, корзинами и тремя жующими слугами, Эссексом, Мидлсексом и Сомерсетом; уже м-ль Ларивьер и мадам Форестье обменялись мелодичными «адье». Помахав на прощание, близнецы со своей престарелой гувернанткой и сонной молодой теткой укатили в ландо. Палевая бесплотная бабочка с очень черным тельцем полетела следом, и Ада крикнула: «Гляди-ка!», объяснив, что то был близкий родственник японского аполлона. Ни к селу ни к городу м-ль Ларивьер объявила, что решила опубликовать свой рассказ под псевдонимом. Она подвела двух своих хорошеньких подопечных к коляске и ткнула sans façons кончиком зонтика в толстую красную шею Бена Райта, храпевшего на заднем сиденье под низко висящими гирляндами листьев. Ада бросила свою шляпу Иде на колени и бегом вернулась к тому месту, где стоял Ван. Не знавший, где окажется солнце и куда сместятся тени на этой прогалине, Ван оставил велосипед погибать под палящими лучами по меньшей мере в течение трех часов. Усевшись на него, Ада завопила от боли, едва не упала, соскочив, оправилась, — и в тот же миг с комичным «бах!» лопнула шина заднего колеса.

Покалеченную машину оставили в кустах, откуда ее должен был вызволить Бутейан-младший, еще один персонаж-домочадец. Люсетта отказалась оставить свое место на облучке (приняв коротким вежливым кивком предложение своего пьяного напарника, который, не таясь, погладил добродушной лапой ее голые коленки), а так как страпонтина в коляске не было, Аде пришлось довольствоваться твердыми коленями Вана.

Двое детей впервые соприкоснулись телами, и оба были смущены. Она села спиной к Вану, изменила положение, когда коляска тронулась, и еще поерзала, расправляя свою пышную, пахнущую хвоей юбку, которая, казалось, воздушно облегала Вана — ни дать ни взять пелерина брадобрея. В помутнении неуклюжей отрады, Ван придерживал ее за бедра. Жаркие брызги солнца лились по ее зебровым полоскам и тыльной стороне голых рук и, казалось, летели дальше, сквозь туннель в его собственном костяке.

«Отчего ты расплакалась?», спросил он, вбирая запах ее волос и тепло ее щеки. Она повернула к нему голову и несколько мгновений глядела

на него, храня загадочное молчание.

(Расплакалась? Разве? Не знаю. Это меня почему-то расстроило. Не могу объяснить, но я в этом увидела что-то пугающее, страшное, темное и, да, пугающее. Поздняя заметка.)

«Прости, — сказал он, когда она отвела взгляд. — Никогда больше не стану этого делать при тебе».

(Между прочим, относительно «ни дать ни взять». Терпеть не могу это выражение. Еще одна заметка поздним почерком Ады.)

Ван упивался ее тяжестью всем своим бурлящим и наполненным до краев существом, чувствуя, как эта тяжесть отвечает каждой неровности дороги, мягко разделяясь на две половинки и сминая в нижней точке ухаба саму жилу его желания, которое, как он знал, ему надлежит усмирять, дабы возможная утечка не смутила ее невинности. Он бы все же уступил и растекся в животной слабости, кабы не гувернантка, которая отвлекла его, обратившись с вопросом. Бедный Ван переместил Адин задок на свое правое колено, притупив то, что на жаргоне пыточных застенков когда-то звалось «углом агонии». В скорбной отрешенности неутоленной похоти он созерцал ряд проносившихся мимо изб, пока коляска проезжала Гамлетовку.

«Никогда не свыкнусь (m'y faire), — сказала м-ль Лапарур (La parure), — с этим резким контрастом между изобилием природы и убожеством человеческой жизни. Взгляните только на того старого décharné мужика с прорехой на рубашке, взгляните на его жалкую cabane. И посмотрите на эту быструю ласточку! Сколько счастья в природе и сколько горя в жизни людей! Никто из вас не сказал мне, как вам понравился мой новый рассказ. Ван?»

«Это хорошая сказка», сказал Ван.

«Это сказка», сказала осмотрительная Ада.

«Allons donc! — воскликнула м-ль Ларивьер. — Напротив, каждая деталь реалистична. Перед нами драма мелкого буржуа, со всеми заботами, мечтами и представлениями о чести, присущими его классу».

(Верно, таковым могло быть начальное намерение автора — оставляя в стороне pointe assassine; однако именно «реализма», по меркам его собственных требований, в рассказе не было и в помине, поскольку дотошный, привыкший считать каждый сантим служащий первым делом и любым способом постарался бы узнать, quitte à tout dire à la veuve, точную стоимость потерянного ожерелья. Вот в чем состоял фатальный изъян сентиментального сочинения м-ль Ларивьер, но в то время ни юный Ван, ни еще более юная Ада не могли выразить этой мысли со всей отчетливостью, хотя инстинктивно чувствовали, что вся вещица фальшива.)

Тем временем на облучке произошло небольшое движение. Люсетта обернулась и сказала Аде по-английски:

«Хочу пересесть к тебе. Мне тут неудобно, и от него нехорошо пахнет», добавила она по-русски.

«Мы почти приехали, — ответила Ада, прибавив по-русски, — потерпи».

«Что не так?» — спросила м-ль Ларивьер.

«Да ничего. Il pue».

«О боже! Я очень сомневаюсь, что он и впрямь прислуживал радже».

14

На другой день или два дня спустя все семейство ранним вечером закусывало в саду. Ада, сидя в траве, плела анадему из маргариток для собаки, а Люсетта, жуя оладью, наблюдала за ней. Марина почти целую минуту молча тянула через стол в направлении мужа его канотье; наконец, он тряхнул головой, бросил свирепый взгляд на солнце, ответившее ему тем же, и переместился со своей чашкой и «Тулуза Инквайер» на деревенскую скамью, стоявшую на другом конце лужайки под огромным вязом.

«Спрашиваю себя, кто бы это мог быть?» — донеслись из-за самовара (отражавшего части обстановки в духе шизофренических фантазий примитивизма) слова м-ль Ларивьер, сощуренными глазами обозревавшей подъездную аллею, видимую в сквознинах пилястров ажурной галереи. Ван, лежавший ничком позади Ады, оторвался от книги (Адиного экземпляра «Аталы»).

Высокий румяный юноша в ловко сидящих бриджах наездника спешился с вороного коня некрупной породы.

«Это новый красавец-пони Грега», сказала Ада.

С непринужденными извинениями хорошо воспитанного мальчика Грег отдал Марине платиновую зажигалку, которую его тетка нашла у себя в сумке.

«Надо же, — сказала Марина, — а я даже не успела ее хватиться. Как себя чувствует Руфь?»

Грег сказал, что тетя Руфь и Грейс слегли с острым расстройством желудка — «не из-за ваших вкуснейших сандвичей, — поспешил добавить он, — а из-за тех ягод пламеники, которыми они объедались в кустах».

Марина уже подняла было бронзовый колокольчик, чтобы лакей принес еще тостов, но Грег сказал, что едет на вечеринку к графине де Пре.

«Скоровато она утешилась», заметила Марина, имея в виду смерть графа, убитого несколько лет тому назад на пистолетной дуэли в Бостонском парке.

«Она дама очаровательная и любит общество», сказал Грег.

«И на десять лет старше меня», сказала Марина.

Тут Люсетта обратилась к матери.

«А кто такие евреи?» — спросила она.

«Инакомыслящие христиане», ответила та.

«А почему Грег еврей?»

«Почему-почему! Да потому что его родители евреи».

«А родители его родителей? И arrière родители?»

«Я, право, не знаю, моя милая. Твои предки были евреями, Грег?»

«Признаться, я не уверен, — сказал Грег. — Иудеями — да, но не жидами в кавычках, я хочу сказать, не комическими персонажами или христианами-коммерсантами. Они перебрались из Татарии в Англию пять веков тому назад. Дед моей матери, правда, французский маркиз, был, как мне известно, католиком и бредил банками, ценными бумагами и золотом, так что мне легко представить себе людей, которые могли бы звать его “un juif”».

«Это ведь не такая уж древняя религия, во всяком случае, в сравнении с другими, не так ли?» — сказала Марина, повернувшись к Вану в смутной надежде перевести разговор на Индию, где она была танцовщицей задолго до того, как Моисей или кто-то еще родился на заросшем лотосами болоте.

«Да какая разница…», начал Ван.

«А Белль, — как Люсетта звала гувернантку, — она тоже немыслящая христианка?»

«Да какая разница, — воскликнул Ван, — кого волнуют все эти ветхие мифы! Не все ли равно, Элохим или Аллах, кирка или церква, шпиль или купол, московские мечети, бронзы и бонзы, клирики и реликвии, и белые от солнца верблюжьи ребра в пустыне? Это не более чем ржа и мираж общинного сознания».

«А с чего вообще начался этот идиотский разговор?» — вмешалась Ада, отрывая руку от головы уже частично украшенного дакеля или таксика.

«Mea culpa, — пояснила м-ль Ларивьер с видом оскорбленного достоинства. — Я лишь позволила себе заметить на пикнике, что Грег, должно быть, не станет касаться сандвичей с ветчиной, поскольку евреи и татары не едят свинины».

«Римляне, — сказал Грег, — римские колонисты, распинавшие в древности евреев-христиан и вараввинов, вместе с другими несчастными, тоже не ели свинины, но я определенно ем, как и мой дед».

Люсетту озадачил употребленный Грегом глагол, и чтобы показать его значение, Ван сдвинул ступни, раскинул руки и закатил глаза.

«Когда я была маленькой девочкой, — сказала Марина недовольным голосом, — историю Месопотамии преподавали едва не с пеленок».

«Не все маленькие девочки способны усвоить то, чему их учат», заметила Ада.

«А разве мы месопотамцы?» — спросила Люсетта.

«Мы гиппопотамцы, — сказал Ван. — Иди-ка сюда, — добавил он, — мы еще не пахали землю сегодня».

За день или два до того Люсетта потребовала, чтобы ее научили ходить на руках. Ван держал ее за лодыжки, пока она медленно продвигалась на покрасневших ладошках, время от времени с хриплым от натуги ворчаньем подгибая руки и падая в траву или останавливаясь, чтобы цапнуть зубами ромашку. Дак громко лаял, протестуя.

«Et pourtant, — сказала, морщась, чувствительная к шуму гувернантка, — я дважды читала ей пьесу Шекспира о злом ростовщике в басенном переложении Сегюр».

«Она еще знает переделанный мною монолог его безумного короля», сказала Ада:

Ce beau jardin fleurit en mai,

Mais en hiver

Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais

Nes’t vert, nes’t vert, nes’t vert, nes’t vert,

nes’t vert.

«Ах, это замечательно!» — воскликнул Грег, буквально всхлипнув от восхищения.

«Не так энергично, дети!» — крикнула Марина, обращаясь к Вану и Люсетте.

«Elle devient pourpre, она начинает багроветь, — прокомментировала гувернантка. — Мое мнение неизменно: эта неприличная гимнастика вредна для нее».

Смеясь одними глазами, своими крепкими, как у ангела, руками держа чуть выше подъема холодные бледно-морковные ножки девочки, Ван «вспахивал землю», направляя Люсетту, будто соху. Ее яркие волосы

упали ей на лицо, юбка задралась, открыв панталончики, и все равно она требовала от пахаря продолжения.

«Будет, будет», сказала Марина плугарям.

Ван осторожно опустил ее ноги и оправил платье. Она полежала с минуту, чтобы отдышаться.

«Знаешь, я с радостью одолжу его тебе, в любое время, — сказал Грег Аде. — И на сколько пожелаешь. Хочешь? К тому же у меня есть еще один черной масти».

Но она покачала головой, она покачала склоненной головой, все продолжая без остановки сплетать ромашки.

«Что ж, — сказал он, вставая. — Пора. Честь имею кланяться. До свиданья, Ада. Кажется, это твой отец там под дубом, правда?»

«Нет, это вяз», сказала Ада.

Ван посмотрел в ту сторону лужайки и с напускной задумчивостью и, быть может, с толикой мальчишеской рисовки сказал:

«Мне бы тоже хотелось полистать эту Двулузовую газету, когда дядя закончит. Я должен был играть за свою школу во вчерашнем матче по крикету. Вин болен, не в силах держать биту, “Риверлейн” посрамлен».

15

Однажды днем они взбирались на гладкие ветви шаттэльского дерева в глубине сада. М-ль Ларивьер и крошка Люсетта, скрытые прихотью подлеска, но хорошо слышимые, играли в серсо. Над листвой или сквозь нее можно было видеть плавно перелетавший обруч, пущенный одной невидимой палочкой в сторону другой. Первая цикада этого лета все никак не могла настроить свой инструмент. Серебристо-черная белка Кайбаб сидела на спинке скамьи, лакомясь сосновой шишкой.

Ван, в синем тренировочном костюме, добрался к развилке, находясь прямо под своей проворной подругой по играм, много лучше знакомой со сложными перепутьями дерева, но поскольку он не мог видеть ее лица, Ван подал ей знак, слегка сжав указательным и большим пальцем ее щиколотку, точно так же, как она брала сложившую крылышки бабочку. Ее босая ступня соскользнула, и двое тяжело дышащих детей, осыпанные плодами и листьями, бесславно сплелись среди ветвей, ухватившись друг за друга. Через мгновение, когда они вновь обрели подобие равновесия, его бесстрастное лицо и коротко остриженная голова оказались у нее между ног, и последний плод пал вниз с глухим стуком — сорвавшаяся точка перевернутого восклицательного знака. На ней были лишь его часы и легкое ситцевое платье.

(«Помнишь?»

«Еще бы, я помню: ты поцеловал меня сюда, прямо в серединку…»

«А ты стала душить меня своими окаянными коленками…»

«Я только искала какой-нибудь опоры».)

Вполне возможно, так все и было, но согласно поздней (значительно более поздней!) версии, они еще оставались на дереве и все еще оправлялись от смущения, когда Ван, сняв с губ гусеничную шелковую нить, заметил, что подобная небрежность туалета есть признак истерии.

«Что ж, — ответила Ада, оседлав свою любимую ветвь, — как мы все теперь знаем, м-ль Ла Ривьер де Бриллиант ничего не имеет против того, чтобы истеричная девочка не носила трусики в пору l’ardeur de la canicule».

«Отказываюсь делить жар твоего маленького зноя с яблоней».

«Это действительно Древо Познания — сей экземпляр, завернутый в парчу, привезли прошлым летом прямо из Эдемского национального парка, в котором сын доктора Кролика служит егерем и разводит племенных животных».

«Пусть себе служит и разводит сколько угодно (ее естественная история уже давно начала действовать ему на нервы), но могу поспорить, что в Ираке яблони не растут».

«Верно, но это не совсем яблоня».

(«И верно и не верно, — вновь много позже прокомментировала Ада. — Мы в самом деле говорили об этом, но в тот день ты бы не позволил себе такой вульгарной шутки. В тот день, когда невиннейший случай позволил тебе, как говорится, сорвать первый робкий поцелуй! О, как стыдно. Кроме того, восемьдесят лет тому назад никакого национального парка в Ираке не было». — «Правда», сказал Ван. — «И никакие гусеницы не водились на том дереве в нашем райском саду». — «Правда, моя прелесть, моя растерявшая всех личинок куколка». Естественная история к тому времени стала давнишней историей.)

Оба вели дневники. Вскоре после этого предвкушения познания произошло нечто весьма примечательное. Она направлялась к дому д-ра Кролика с коробкой выведенных ею и захлороформированных бабочек, но уже пройдя сад, остановилась и выругалась («Чорт»!). В тот же миг Ван, шедший в противоположную сторону, чтобы поупражняться в стрельбе в расположенном неподалеку от дома павильоне (в котором имелся, кроме того, кегельбан и прочие увеселения, некогда столь любимые другими Винами), тоже внезапно замер на месте. После чего по милому совпадению оба помчались обратно в дом прятать свои дневники, которые, как оба вдруг вспомнили, остались лежать раскрытыми в их комнатах. Ада, опасавшаяся любопытства Люсетты и Бланш (патологически невнимательная гувернантка угрозы не представляла), обнаружила, что ошибалась — она все же спрятала свою книжечку с последней записью. Ван же, знавший, что Ада любит немного «пошпионить», нашел в своей комнате Бланш, которая делала вид, будто заправляет уже заправленную постель, в то время как его распахнутый

дневник лежал перед ней на табурете. Он легонько шлепнул ее по заду и переместил книжечку в шагреневом переплете в более надежное место. После этого Ван и Ада столкнулись в коридоре — и поцеловались бы на более ранней стадии развития Романа в Истории Литературы. То был бы изящный штрих к происшествию на шаттэльском дереве. Вместо этого оба возобновили свой путь в разных направлениях, а Бланш, полагаю, отправилась рыдать в свою каморку.

16

Их первым безоглядным и неистовым ласкам предшествовал короткий период странного лукавства, подловатого притворства. В роли злодея в маске выступал Ван, но ее потворство недостойным поступкам бедного мальчика, казалось, подразумевало молчаливое признание их позорной и даже чудовищной сути. Несколько недель спустя оба вспоминали эту стадию его ухаживания с веселой снисходительностью; однако в то время скрытая трусость, которую она обнаружила, озадачивала Аду и угнетала Вана — главным образом оттого, что он остро сознавал ее обескураженность.

Хотя Вану ни разу не представился случай отметить что-либо напоминающее девичье отвращение в поведении Ады, отнюдь не пугливой и не столь уж брезгливой девчушки («Je raffole de tout ce qui rampe»), по опыту двух-трех отвратительных сновидений он мог представить себе в реальной или, по крайней мере, упорядоченной жизни, как она с диким взором отшатывается от него и бросает его вожделение на произвол судьбы, чтобы позвать свою гувернантку, или мать, или слугу-великана (которого в доме нет, но который во снах не только живехонек, но и вполне смертен — избиваемый кулаками в колючих перстнях, прокалываемый насквозь, будто кровавый пузырь), после чего, как он был уверен, его навсегда изгонят из Ардиса, —

(Рукою Ады: решительно возражаю против «не столь уж брезгливой девчушки». Это неверно исторически и сомнительно стилистически. Приписка Вана на полях: «Прости, киска, но это придется оставить».)

— но даже если бы он смог заставить себя посмеяться над этой картиной, дабы искоренить ее из сознания, он не мог гордиться своим поведением: в этих своих тайных отношениях с Адой, в тех поступках, которые он совершал, и так, как он их совершал, добывая свое неудобосказуемое наслаждение, он, казалось, не то пользовался ее невинностью, не то склонял ее к сокрытию от него, укрывателя, понимания того, что он скрывает.

После первого прикосновения его мягких губ, такого легкого, такого бездумного, к ее еще более нежной коже — высоко на том пятнистом дереве, где лишь пришлая ardilla наблюдала за ними, тихо стряхивая листья, — могло бы показаться, что в одном отношении ничего не изменилось, но все было потеряно в другом. Такие прикосновенья зачинают свой собственный порядок вещей; тактильное ощущение — это punctum caecum; мы соприкасаемся силуэтами. Отныне, в определенные моменты их в остальном безоблачных дней, при некоторых повторяющихся обстоятельствах контролируемого исступления, был воздвигнут тайный знак, между ними протянулась завеса, —

(Ада: Теперь они практически исчезли в Ардисе. Ван: Кто? Ах да, конечно.)

— которую нельзя было убрать, пока он не освободился от того, что необходимость притворства низводила до уровня срамного зуда.

(Ох, Ван!)

Впоследствии, обсуждая с ней эту довольно отвратительную слабость, Ван не мог сказать, в самом ли деле он опасался, что его avournine (как позднее Бланш назвала Аду на поддельном французском) могла бы ответить настоящим или хорошо разыгранным взрывом негодования на его откровенное проявление желания, или же его угрюмость, коварство его подступов были следствием того, что он на самом деле жалел и оберегал невинного ребенка, чья прелесть была слишком притягательной, чтобы не смаковать ее тайком, и слишком чистой, чтобы открыто посягнуть на нее; но что-то пошло не так, и это, во всяком случае, было предельно ясно. Расплывчатые общие места расплывчатой целомудренности, столь чудовищно популярные восемьдесят лет тому назад, невыносимые банальности застенчивого ухаживания, погребенные в старых романах, таких же архаичных, как Аркадия, вот эти настроения, эти приемы, несомненно, скрывались за тишиной его козней и молчанием ее терпимости. О том летнем дне, когда он начал свою настороженную и изощренную игру, никаких записей не осталось; но одновременно с ощущением, что он стоит недопустимо близко у нее за спиной, горячо дыша и скользя губами по ее волосам, у Ады возникало чувство, что эти безмолвные, странные приближения начались, должно быть, уже давным-давно, в каком-то неопределенном и безграничном прошлом, и теперь ей не под силу их прекратить без признания своего молчаливого согласия с теми привычными повторениями в том самом прошлом.

В те нещадно жаркие июльские дни Аде нравилось сидеть на прохладном, отделанном слоновой костью рояльном табурете за покрытым вощеной белой скатертью столом в залитой солнцем музыкальной гостиной и, раскрыв свой любимый ботанический атлас, переносить в красках на кремовую бумагу какой-нибудь диковинный цветок. Она могла выбрать, к примеру, орхидею, имитирующую насекомое, и с большим искусством увеличить ее. Или же она могла соединить один вид с другим (никем не описанным, но теоретически возможным), привнося от себя кое-какие небольшие изменения и странные изгибы, которые казались почти нездоровыми для столь юной особы, к тому же едва одетой. Длинный луч косо падал из французского окна на высокий граненый стакан, на окрашенную воду и на жестяные тюбики красок в коробке, и пока она мастерски изображала глазчатое пятно или дольки губ, кончик ее языка загибался в углу рта из-за восторженной сосредоточенности ее занятия, и в солнечном свете это фантастическое, иссиня-черно-бурое дитя, казалось, имитировало, в свою очередь, цветок зеркальце Венеры. Ее тонкое, свободное платье имело сзади такой глубокий вырез, что всякий раз, когда она выгибала спину, живо двигая своими выступающими лопатками и наклоняя голову, чтобы оглядеть с поднятой вверх кистью свой влажный шедевр, или тыльной стороной левого запястья смахивая прядь волос с виска, Ван, придвигавшийся к ней

настолько близко, насколько хватало дерзости, мог любоваться всей ее гладкой ensellure до самого копчика и вдыхать тепло всего ее тела. У него стучало сердце, одна нечестивая рука была глубоко засунута в карман штанов — тот, в котором он для отвода глаз носил кошель с полудюжиной золотых десятидолларовых монет, — он склонился над ней, как она склонилась над своим рисунком. Пересохшими губами он легонько пробежал по ее теплым волосам и горячему затылку. То было сладчайшее, сильнейшее и таинственнейшее ощущение, когда-либо испытанное им. Между его убогими совокуплениями прошлой зимой и этой подернутой пушком нежностью, этим саднящим желанием не было ничего общего. Он бы мог замереть навсегда на маленькой средней выпуклости ее шейного позвонка, если бы она так и осталась навеки склоненной — и если бы наш горемыка мог и дальше сносить сладкую пытку своего полуприкосновения к ней замершими восковыми губами без того, чтобы не впиться в нее, забыв все на свете. Яркое покраснение ее открытого ушка и постепенное оцепенение, овладевавшее ее кистью, были единственными знаками — пугающими знаками — того, что она чует все возраставший напор его ласк. Не говоря ни слова, он незаметно уходил в свою комнату, запирал дверь, хватал полотенце, обнажался и вызывал тот образ, который только что оставил позади, образ, все еще столь же невредимый и красочный, как укрытое в горсти пламя, — внесенное в темноту лишь с тем, чтобы с яростным рвением загасить его. После чего, ненадолго усмиренный, с ноющими чреслами и слабыми икрами, Ван вновь спускался в солнечную непорочную комнату, в которой девочка, теперь покрытая бисером пота, все так же продолжала рисовать свой цветок: изумительный цветок, притворяющийся ярким мотыльком, который, в свой черед, притворяется скарабеем.

Если бы единственной заботой Вана было облегчение, все равно каким способом, молодого пыла; если бы, иначе говоря, он не был влюблен, наш юный друг смог бы вынести — в продолжение одного заурядного лета — гнусность и двусмысленность своего поведения. Но поскольку Ван любил Аду, это осложненное разрешение само по себе ничего не разрешало, или, скорее, уводило в тупик, потому что оставалось неразделенным, потому что в страхе утаивалось, потому что не могло перейти в какую бы то ни было последующую стадию несравнимо большего восторга, который, как мглистая вершина за кошмарным горным перевалом, обещал стать истинной кульминацией его опасной связи с маленькой Адой. В течение всей той недели в середине лета, или даже двух недель, Вану казалось, что, несмотря на свои каждодневные поцелуи, бабочкой перелетающие с ее волос на ее шею, он не только не приблизился к ней, но находится от нее даже дальше, чем то было накануне дня, когда его губы случайно прикоснулись к нежному вершку ее кожи — миг, который он не успел чувственно пережить в лабиринте шаттэльской яблони.

Но природа не стоит на месте. Как-то после полудня он подобрался к ней в музыкальной гостиной еще более незаметно, чем обычно, поскольку вошел в комнату босиком, однако маленькая Ада, обернувшись к нему, закрыла глаза и прижалась своими губами к его губам в свежем, розовом поцелуе, который заворожил и поразил Вана.

«Теперь уходи, — сказала она. — Иди, иди, я занята».

И поскольку он замешкался, как болван, она мазнула его пылающий лоб своей кисточкой в подобии древнего эстотийского «крестного знамения».

«Я еще не закончила, — прибавила она, указывая тонкой кистью, сочащейся лилово-багряной краской, на нечто, в чем соединились Ophrys scolopax и Ophrys veenae, — а через минуту нам нужно будет приодеться, потому что Марина желает, чтобы Ким нас сфотографировал — как мы держимся за ручки и скалим зубы» (скалит зубы и возвращается к своему жуткому цветку).

17

Самый большой из имеющихся в библиотеке словарей толкует значение слова «lip» (губа) следующим образом: «Either of a pair of fleshy folds surrounding an orifice» («Любая из двух мясистых складок, окружающая отверстие»).

Милѣйшій Эмиль, как Ада звала мосье Литтре, определял так: «Partie extérieure et charnue qui forme le contour de la bouche… Les deux bords d’une plaie simple (мы попросту говорим нашими ранами; раны производят потомство) …C’est le membre qui lèche». Милѣйшій Эмиль!

Толстый русский энциклопедический словарь карманного формата признавал губу исключительно в значении окружного суда древней Ляски или как арктический морской залив.

Их губы были необъяснимо схожи линией, цветом и самой тканью. У Вана верхняя губа формой напоминала летящую прямо на вас длиннокрылую морскую птицу, а нижняя, полная и сердитая, придавала его обычному выражению толику брутальности. От этой брутальности в губах Ады не оставалось и следа: верхняя, напоминавшая формой лук, и нижняя, крупная, презрительно-выдающаяся, бледно-розовая, были копией Вановых уст в женском ключе.

В поцелуйную стадию (не особенно здоровые две недели долгих беспорядочных объятий) некая странная ширма ханжества отделила наших детей от, если можно так сказать, их собственных разгоряченных тел; но прикосновения и отклики на прикосновения не могли не проникать сквозь нее, подобно далеким сигналам бедствия. Бесконечно, неуклонно, трепетно, дразня ее воспаленную алость, Ван проводил своими губами по ее, так и эдак, вправо, влево, жизнь, смерть, наслаждаясь контрастом между воздушной нежностью наружной идиллии и непристойным обилием скрытой внутри мякоти.

Бывали и другие поцелуи. «Я хочу вкусить твой рот изнутри, — сказал он. — Боже, как бы я хотел стать крошечным Гулливером и обследовать эту пещеру!»

«Могу предложить тебе свой язык», сказала она и предложила.

Крупная, вареная, еще горячая клубника. Он втягивал ее настолько глубоко, насколько она только могла втянуться. Он прижимал Аду к себе и впитывал ее нёбо. Их подбородки были совершенно мокрыми.

«Платок», сказала она и запросто сунула руку в карман его штанов, но тут же выдернула ее, предоставив ему самому извлечь его. Комментариев не последовало.

(«Я оценил твой такт», сказал он, когда они с изумлением и благоговением вспоминали то упоение и муки. «Но мы потеряли уйму времени — невозвратимых, утраченных опалов».)

Он изучал ее лицо. Нос, щеки, подбородок — все обладало такой мягкостью очертаний (ретроспективно вызывавшей в памяти кипсеки, и роскошные широкополые шляпы, и страшно дорогих молоденьких кокоток в Уиклоу), что слащавый воздыхатель вполне мог вообразить белый плюмаж тростника, этого немыслящего человека — pascaltrezza, — обрамляющего ее профиль, в то время как более детский и чувствительный перст мог бы полюбить, и действительно полюбил, ощупывать этот нос, щеки, подбородок. Реминисценции, как Рембрандт, темноваты, но праздничны. Те, кого вспоминают, принаряжаются к случаю и усаживаются, замерев. Память — это фотоателье de luxe на бесконечной авеню Пятой Власти. Лента черного бархата, которой она в тот день (день ментального снимка) подвязала волосы, подчеркивала шелковистый блеск виска и меловую линию пробора. Волосы ровным и длинным покровом спадали на шею, их поток разделяло плечо, так что матовая белизна ее шеи открывалась между струй черной бронзы в форме изящного треугольника.

Подчеркнув небольшую вздернутость ее носа, превратишь его в носик Люсетты; сгладишь его книзу — в нос самоеда. У сестер передние зубы были чуть крупноватыми, а нижние губы слишком полными для идеальной красы мраморной смерти; а поскольку их носы часто бывали заложены, обе девочки (особенно позднее, в пятнадцать и двенадцать лет соответственно) казались в профиль немного сонными и удивленными. Сатиновая белизна Адиной кожи (в двенадцать, шестнадцать, двадцать, тридцать три, et cetera) была несравнимо более редким дивом, чем Люсеттин золотистый тон (в восемь, двенадцать, шестнадцать, двадцать пять, finis). Чистая, долгая линия горла у каждой из них, передавшаяся им от Марины, дразнила чувства неизвестными, несказанными обещаньями (коих мать не сдержала).

Глаза. Темно-карие глаза Ады. Что, вообще говоря, такое глаза (спрашивает Ада)? Два отверстия в маске жизни. Что (спрашивает она) значат они для существа с другой корпускулы или млечного пузыря, чей орган зрения, скажем, это внутренний паразит, формой напоминающий написанное от руки слово «око»? Что, в самом деле, значила бы для кого-нибудь пара прекрасных (человечьих, лемурьих, совиных) глаз, если бы их нашли лежащими на сиденье такси? И все же мне придется описать твои. Радужка: темно-карего цвета с янтарными крупицами или спицами, расположенными вокруг серьезного зрачка по круговой шкале циферблата идентичных часовых значений. Веки: въ складочку (рифмуется с ее именем в уменьшительно-ласкательной форме и винительном падеже). Разрез глаз: томный. Та сводня в Уиклоу, кошмарной ночью, когда хлестал черный ледяной дождь, в самый

трагичный и почти фатальный момент моей жизни (Вану теперь, хвала небу, уже девяносто лет — рукою Ады), особенно, помнится, напирала на «миндалевидный разрез глаз» своей жалкой и драгоценной внучки. О, как же я выискивал, с какой неотвязной тоской, следы и приметы моей незабвенной душеньки во всех борделях мира!

Он сделал открытие: ее руки (забудем о состоянии ее ногтей). Патетика запястья, изящество фаланг, вызывающих беспомощное преклонение, туман навернувшихся слез, муку неразрешимого обожания. Он тронул ее кисть, как умирающий доктор. В скорбном помрачении он ласкал параллельные ряды штриховки нежнейшего пушка, оттенявшего предплечья брюнеточки. Он вновь обратился к суставчикам. Пальцы, умоляю.

«Я сентиментальна, — сказала она. — Я могла бы анатомировать коалу, но не ее детеныша. Мне нравятся слова damozel (дева), eglantine (роза эглантерия), elegant (изысканный). Мне нравится, когда ты целуешь мою вытянутую белую руку».

На тыльной стороне ее левой ладони имелась такая же маленькая шоколадная родинка, которой была отмечена его правая рука. Нисколько не сомневаюсь, сказала Ада — или неискренне, или легкомысленно, — что она происходит от родимого пятнышка, удаленного Мариной хирургическим способом с этого самого места много лет тому назад, когда она была влюблена в одного хама, ворчавшего, что оно напоминает клопа.

С холма, на котором и происходил этот разговор, в особенно тихие часы таких полудней можно было расслышать предтуннельное «ту-ту» двухчасового поезда, спешащего в Тулузу.

«Хам — слишком крепко сказано», заметил Ван.

«Я ласково».

«Даже если так. Боюсь, я знаю, о ком ты. Ума у него больше, чем души, это правда».

Ладонь просящей подаяния цыганочки, покуда он глядит на нее, превращается в ладонь подателя милостыни, просящего долгой жизни. (Когда еще кинематографисты достигнут того уровня, которого достигли мы?) Щурясь на зеленое солнце под сенью березы, Ада объяснила своему пылкому хироманту, что беловатые кружки у нее на ладонях, которые она разделяла с тургеневской Катей, другой невинной девушкой, в Калифорнии зовутся «вальсами» («поскольку сеньорита propляшет до утра»).

В свой двенадцатый день рождения, 21 июля 1884 года, показав недюжинную силу воли (так двадцать лет спустя она бросит курить), Ада перестала грызть ногти (но только на руках). Правда, мы могли бы вспомнить некоторые поблажки, которые она себе позволила, — к примеру, блаженное впадение в восхитительный грех на Рождество, когда Culex chateaubriandi Brown не носится в воздухе. Новое и окончательное решение было принято в канун Нового года, после того,

как м–ль Ларивьер пригрозила бедняжке Аде вымазать кончики ее пальцев французской горчицей и нацепить на них зеленые, желтые, оранжевые, красные, розовые шапочки (желтый указательный – это trouvaille).

Вскоре после праздничного пикника, когда целованье рук маленькой возлюбленной превратилось для Вана в разновидность нежной одержимости, ее ногти, хотя все еще квадратные по форме, окрепли довольно, чтобы справляться с мучительным зудом, донимавшим местных детишек в середине лета.

В последнюю неделю июля в этих краях с дьявольской неизбежностью появлялись самки шатобрианова москита. Шатобриан (Шарль) был не первым человеком, которого они искусали, но он первым поймал обидчицу и с возгласами мстительного торжества препроводил ее профессору Брауну (Brown), который и составил свое опрометчиво-поспешное «Первичное Описание»: «маленькие черные щупальца… прозрачные крылья… желтоватое в определенном свете… который следует потушить, если оставлять окна открытыми (вместо casements (окна) напечатано kasements – немецкий печатник!)…», «Бостонский Энтомолог», за август, быстрая работа, 1840 года. Этот Шатобриан не состоял в родстве с великим поэтом и мемуаристом, рожденным между Парижем и Танье (а лучше бы состоял, сказала Ада, любившая скрещивать орхидеи).

Mon enfant, ma soeur,

Songe à l’épaisseur

Du grand chêne à Tagne;

Songe à la montagne,

Songe à la douceur –

– расчесывая коготками или ногтями участки, посещенные этими мохнатоногими насекомыми, отличавшимися ненасытной и неразборчивой жаждой по части Адиной и Арделиной, Люсеттиной и Люсильиной (размноженных зудом) крови.

«Вредитель» налетал так же внезапно, как и исчезал. Он садился на хорошенькие голые руки и ноги беззвучно, не жужжа, в подобии recueilli тишине, отчего – по контрасту – внезапное проникновение его совершенно злодейского хоботка вызывало впечатление вдруг грянувшего полкового оркестра. Через пять минут после нападения, в закатных сумерках между ступенькой крыльца и оглушенным цикадами садом вспыхивало жгучее раздражение, которое сильные и хладнокровные люди игнорировали (зная, что нужно потерпеть не больше часу), но которое людей слабых, обожаемых, падких неудержимо побуждало чесать, чесать, чесать до отвала (говоря языком кухмистерских). «Сладко!» –

восклицал, бывало, Пушкин, искусанный другим видом в Юконе. Всю неделю после ее дня рождения с незадачливых ногтей Ады не сходили гранатовые пятна, и после особенно сладострастного припадка чесотки кровь буквально струилась по ее голеням — зрелище и жутковатое, думалось ее встревоженному поклоннику, и в то же время чем-то постыдно привлекательное, — ибо кто же мы, как не гости и первооткрыватели в этой странной вселенной, именно, именно.

Белая кожа девочки, такая, на взгляд Вана, призывно-нежная, такая уязвимая для иглы этой твари, была тем не менее крепка, как отрез самаркандского атласа, и выдерживала любые попытки Ады освежевать себя, сколько бы она (с потемневшими глазами, подернутыми как бы дымкой эротического упоения, подмеченной Ваном уже во время их неумеренных поцелуев, с приоткрытыми губами и блестящими от слюны крупными зубами) ни скребла всеми пятью пальцами розовые бугорки с ядом редкого насекомого — ибо он в самом деле редок и весьма примечателен, этот комар (описанный, не совсем в один день, двумя сердитыми стариками, второго тоже звали Брауном (Braun), — филадельфийский диптерист, намного более толковый, чем бостонский профессор). Необыкновенное, восторженное зрелище являла собой моя зазноба, когда пыталась утолить похоть своей драгоценной кожи, оставляя сначала жемчужные, а затем рубиновые полосы вдоль обворожительной ножки и ненадолго достигая одурманивающего блаженства, в которое, будто в вакуум, с новой силой устремлялся лютый зуд.

«Послушай, детка, — сказал Ван, — если ты не прекратишь на счет три, я раскрою этот перочинный нож (раскрывает нож) и полосну себя по ноге, чтобы она стала как у тебя. Ах, умоляю, да сгрызи ты свои ногти! Все лучше, чем это».

Быть может, оттого, что жизненные соки Вана были слишком горькими — даже в те благодатные дни, — шатобрианов комар никогда его особенно не донимал. А ныне он, похоже, вымирает, — и потому что климат сделался прохладнее, и вследствие идиотского осушения чарующе богатых ладорских болот, как и топей, раскинувшихся в окрестностях Калуги (Коннектикут) и Лугано (Пенсильвания). (Небольшая популяция, только самочки, упившиеся кровью своего счастливого поимщика, недавно была отловлена, как мне сказали, в секретном ареале, довольно далеко от вышеназванных мест. Примечание Ады.)

18

Не только в глуховатые преклонные годы, которые Ван называл временем «обожания и недержания», но даже еще больше в пору их юности (лето 1888) они находили ученое удовольствие в установлении минувшей эволюции (лето 1884) своей любви, начальных стадий ее откровений, причудливых расхождений в хронографах. Она сохранила лишь несколько — главным образом ботанических и энтомологических — страниц своего дневника, потому что, перечитав, нашла его тон жеманным и фальшивым. Он целиком уничтожил свой из-за неуклюжего школьного слога, сочетавшегося с легкомысленным и фальшивым цинизмом. И потому им оставалось полагаться на устную традицию, на совместную правку общих воспоминаний. «А ты помнишь, and do you remember, et te souviens-

tu» (с неизменно подразумеваемой кодеттой этого «а», вводящего ту бусину, которую надлежало нанизать в разорванное ожерелье) — стало для них, в их увлеченных беседах, обычным зачином каждой второй фразы. Обсуждались календарные даты, исследовалась и пересматривалась цепочка событий, сопоставлялись сентиментальные знаки, горячо разбирались те или иные сомнения и решения. Если их воспоминания порой не совпадали, часто виной тому была скорее разность полов, чем характеров. Обоих забавляла неловкость юности, обоих печалила мудрость времени. Ада склонна была рассматривать те начальные стадии как исключительно последовательный и всесторонний рост, быть может, неестественный, быть может, уникальный, но в целом чарующий своим мягким развитием, уберегшим их от грубых порывов и душевных травм. Память же Вана не могла не выделять кое-какие эпизоды, навеки заклейменные острыми и саднящими, а иногда и прискорбными телесными ощущениями. Ада жила с мыслью, что ненасытные наслаждения, открывшиеся ей вдруг, Ван испытал лишь к тому времени, когда она сама их ощутила, то есть после нескольких недель совокупных ласк; свои первые физиологические отклики на эти ласки она застенчиво отвергала как относящиеся к детским забавам, которым она предавалась и раньше и которые имели мало общего с торжеством и жаром индивидуального счастья. Ван, напротив, не только мог свести в таблицу все свои неудобосказуемые спазмы, которые ему приходилось скрывать от Ады, пока они не стали любовниками, но и подчеркивал философские и нравственные различия между сокрушительной силой самонадругательства и ошеломляющей нежностью выраженной и разделенной любви.

В воспоминаниях о наших прошлых «я» всегда есть эта маленькая фигура с длинной тенью, которая стоит, как неуверенный запоздавший посетитель, на освещенном пороге в дальнем конце сужающегося в безупречной перспективе коридора. Ада виделась себе беспризорной девочкой с удивленными глазами и потрепанным букетом цветов; Ван представлял себя гадким молодым сатиром на неуклюжих копытцах и с сомнительной свирелью. «Но мне было всего двенадцать!» — восклицала, бывало, Ада, когда припоминалась какая-нибудь непристойная подробность. «А мне шел пятнадцатый год», печально отвечал Ван.

А помнит ли юная леди, спрашивал он, метафорически извлекая из кармана кое-какие записи, тот самый первый раз, когда она догадалась, что ее застенчивый молодой «кузен» (их официальная степень родства) испытывает физическое возбуждение в ее присутствии, хотя и был благопристойно укрыт слоями льна и фланели и не прикасался к юной леди?

Честно говоря, нет, сказала она, не помнит, да и не может этого помнить, поскольку в одиннадцать лет, несмотря на все попытки подобрать ключ к шкафу, в котором Волтер Даниэль Вин держал том «Яп. и инд. эрот. гравюр», как отлично было видно сквозь стеклянную дверцу (Ван мигом отыскал ключик, висевший на шнурке с тыльной стороны фронтона), она все еще имела довольно смутные представления о том, как происходит спаривание у людей. Конечно, она была очень наблюдательна и хорошо изучила различных насекомых in copula, но в обсуждаемый период недвусмысленные образчики мужественности млекопитающих редко попадались ей на глаза и находились вне всякой

связи с каким-либо понятием или возможностью половой функции (как, например, тот случай в ее первой школе, в 1883 году, когда она созерцала такой мягонький с виду бежевый клювик сынишки негра-привратника, забегавшего иногда помочиться в уборную для девочек).

Два других явления, которые она наблюдала еще раньше, оказались до смешного обманчивыми. Ей было, должно быть, около девяти, когда в Ардис зачастил один пожилой господин, знаменитый художник, имя которого она не хочет и не может назвать. Ее учительница рисования, мисс Винтергрин, ставила его очень высоко, хотя вообще-то ее собственные natures mortes считались (в 1888-м и снова в 1958 году) несравнимо более выдающимися работами, чем картины прославленного старого мошенника, писавшего своих маленьких обнаженных натурщиц всегда только сзади — срывающие фиги и стоящие на цыпочках персиковозадые нимфетки или взбирающиеся на скалу герль-скауты в опасно натянувшихся шортиках —

«Отлично знаю, — сердито перебил Ван, — о ком ты говоришь, и хочу официально заявить, что даже если его изысканный талант нынче не в чести, Пол Дж. Гигмент имел полное право рисовать своих школьниц и модниц у бассейна с той стороны, с какой ему было угодно. Продолжай».

В каждый приезд сего Пиг Пигмента (продолжала невозмутимая Ада) она съеживалась, слыша, как он, пыхтя и кряхтя, тащится вверх по лестнице, даже еще более неотвратимый, чем Мраморный Гость, этот мемориальный призрак, ищущий ее, зовущий ее тонким, ворчливым голосом, так не шедшим к мрамору.

«Бедолага», проговорил Ван.

Его способ потискать девочку, рассказывала она, «puisqu'on aborde ce thème-là, и я, конечно, не провожу никаких обидных сравнений», состоял в том, чтобы непрестанно, с маниакальной навязчивостью, помогать ей дотянуться до чего-нибудь, чего угодно, — принесенного им гостинца, коробочки монпансье или просто старой игрушки, подобранной им с пола в детской и высоко подвешенной на стену, или розовой свечки с синим огоньком, которую он хотел, чтобы она задула на рождественской елке. Невзирая на ее робкие протесты, он поднимал ее под локотки, не торопясь, не церемонясь, похрюкивая да приговаривая: ах, до чего же ты тяжеленькая, красоточка эдакая, — и так продолжалось снова и снова, пока не ударял обеденный гонг или не входила няня со стаканом фруктового сока, и что за облегчение испытывали все, когда во время этих поддельных подъемов ее бедный задок наконец-то опускался в хрустящий снег его крахмального пластрона и он отпускал ее и застегивал смокинг. А еще она помнит —

«Нелепое преувеличение, — заметил Ван. — Да к тому же, подозреваю, искусственно перекрашенное ламповым светом более поздних событий, как выяснилось еще позже».

А еще она помнит, как мучительно покраснела, когда кто-то сказал, что бедняга Пиг тронулся умом и что у него «затвердение артерии», так ей послышалось, или, может быть, «напряжение», но она уже знала,

даже тогда, что артерии могут сильно вытягиваться, ведь она видела Дронго, вороного коня, имевшего, надо сказать, вид ужасно удрученный и растерянный из-за того, что случилось с ним посреди луга на глазах у всех ромашек. Она подумала, сказала лукавая Ада (насколько искренне — это другой вопрос), что из его живота жеребенок высунул черную резиновую ногу, не понимая, что Дронго вовсе не кобыла и что у него нет сумки, как у кенгуру на любимой ее иллюстрации, но потом английская нянька объяснила ей, что Дронго просто очень больная лошадка, и все стало на место.

«Хорошо, — сказал Ван. — Все это, конечно, страшно интересно, но я имел в виду первый случай, когда ты могла подумать, что я тоже хворый Пиг или конь. Я помню, — продолжал он, — круглый стол, освещенный кругом розового света, и тебя, стоящую на коленях в кресле рядом со мной. Я сидел на пухлом подлокотнике, а ты строила карточный домик, и каждое твое движение, конечно, было особенно выразительным, как в трансе, сонно-замедленным, но в то же время необыкновенно осторожным, и я буквально упивался девичьим запахом твоей голой руки и ароматом волос, теперь загубленным какими-то модными духами. Датирую этот случай — приблизительно — десятым июня: дождливый вечер на исходе моей первой недели в Ардисе».

«Я помню карты, — сказала она, — и свет лампы, и шум дождя, и твой сизый кашемировый джампер, но больше ничего не помню, ничего странного или недостойного, это началось позже. К тому же только во французских любовных романах les messieurs hument запах молодых особ».

«Что ж, я вдыхал, пока ты занималась своим осмотрительным делом. Тактильная магия. Бесконечное терпение. Кончики пальцев подстерегают гравитацию. Нещадно обкусанные ногти, моя милая. Прости мне эти записки, я не могу как следует выразить тягость грузного, липкого желания. Знаешь, я мечтал, что, когда твой замок рухнет, ты махнешь рукой русским жестом смирения с судьбой и сядешь на мою ладонь».

«То был не замок. То была помпейская вилла с мозаиками и росписями внутри — недаром я брала лишь фигурные карты из старых дедовских колод. Что ж, уселась ли я на твою горячую твердую ладонь?»

«На мою раскрытую ладонь, душка. Райские складочки. На миг ты оставалась неподвижной, заполняя мою чашу. Затем ты переменила положение и снова встала на колени».

«Скорее, скорее, скорее, снова собирать плоские яркие карты, чтобы снова строить, снова, едва дыша? Мы все-таки были отвратительно порочными детьми, не правда ли?»

«Все смышленые дети порочны. Вижу, ты все-таки вспоминаешь —»

«Не этот именно случай, а яблоню, и как ты поцеловал меня в шею, et tout le reste. А потом — здравствуйте: апофеоз, Ночь Горящего Амбара!»

Что-то вроде старинной загадки («Les Sophismes de Sophie» м-ль Стопчиной в серии «Bibliothèque Vieux Rose»): был ли Горящий Амбар раньше Чердака или Чердак был первым? Конечно, раньше! Мы уже целовались вовсю, кузен и кузина, когда случился пожар. Я даже получил из Ладоры кольдкрем «Château Baignet» для своих потрескавшихся губ. И мы оба проснулись, каждый в своей комнате, когда она крикнула: «Au feu!» 28 июля? 4 августа?

Кто кричал? Стопчина? Ларивьер? Скажи! Кто кричал, что амбар flambait?

Нет, крик застиг ее, так сказать, в разгар спанья. Я знаю, сказал Ван, кричала та кустарно накрашенная горничная, подводившая глаза твоей акварелью, — во всяком случае, так говорила Ларивьерша, которая обвиняла ее и Бланш в невиданных грехах.

Ах, ну конечно! Но только не эта несчастная Франш, горничная Марины, а наша дурочка Бланш. Да, это она побежала по коридору и потеряла на главной лестнице отороченную горностаем туфельку, как Ашетт в английской версии.

«А ты помнишь, Ван, какой жаркой была та ночь?»

«Еще бы! В ту ночь из-за вспышек —»

В ту ночь из-за докучливых вспышек далеких зарниц, проникавших сквозь черные червы листвы его спального приюта, Ван оставил свои два лириодендрона и отправился досыпать к себе в комнату. Суматоха в доме и вопль горничной прервали редкостный, диамантовый, драматичный сон, предмет которого он позже не смог вспомнить, хотя все еще хранил его в сбереженной шкатулке для драгоценностей. Как обычно, он спал нагишом и теперь колебался, натянуть ли ему шорты или завернуться в клетчатый плед. Он выбрал второе, погремел спичечным коробком, зажег свечку на ночном столике и мигом вышел из комнаты, готовый спасти Аду со всеми ее личинками. В коридоре было темно, где-то восторженно лаяла такса. Из удалявшихся разрозненных криков Ван заключил, что горит так называемый «баронский амбар», огромная, всеми любимая постройка верстах в четырех отсюда. Случись это ближе к осени, полсотни коров могли бы остаться без сена, а Ларивьерша без своего полуденного кофе со сливками. Ван почувствовал себя ущемленным. Они все уехали, а меня оставили одного на весь дом, как бормочет старик Фирс в конце «Вишневого сада» (Марина была сносной г-жой Раневской).

Завернутый в клетчатую тогу, Ван последовал за своим черным двойником вниз по винтовой лестнице, ведущей в библиотеку. Став голым коленом на ворсистый диван под окном, он отвел тяжелые красные шторы.

Дядя Дан с сигарой во рту и Марина в платке, сжимавшая в объятиях Дака, который заносчиво облаивал сторожевых псов, отъезжали со двора в прогулочном автомобиле — красном, как пожарная машина! — среди поднятых рук и качающихся фонарей, и тут же на хрустком повороте

подъездной аллеи их обошли верхом на лошадях трое слуг-англичан с тремя французскими служанками en croupe. Казалось, вся прислуга отправилась любоваться пожаром (редкое зрелище в наших сырых и безветренных краях), используя всевозможные — технически и поэтически — средства передвижения: элегические телеги, телеходы, трактовозы, трициклы и даже заводные багажные тележки, которыми станционный смотритель снабдил семейство в память об их изобретателе, Эразме Вине. Одна лишь гувернантка (что уже успела установить Ада, не Ван) как ни в чем не бывало храпела с присвистом в комнате, примыкающей к старой детской, где малышка Люсетта, проснувшись, полежала с минуту неподвижно, после чего пустилась догонять свой сон и как раз успела вскочить в последнюю мебельную фуру.

Ван, стоя на коленях у венецианского окна, следил за удалявшимся воспаленным глазком сигары, наконец пропавшим. Этот всеобщий отъезд… Теперь ты.

Этот всеобщий отъезд представлял собой поистине великолепное зрелище на фоне белесого от сонма звезд небосвода (над почти субтропическим Ардисом), расцвеченного внизу, между черных деревьев, далеким фламинговым заревом, — там, где Горел Амбар. Дорога к нему огибала большое искусственное озеро, которое вижу изрезанным ослепительной чешуйчатой рябью здесь и там каждый раз, когда какой-нибудь лихой грум или кухонный мальчишка пересекал его на водных лыжах, или в роброе, или на плоту: обычный плот оставлял за собой рябь, напоминавшую огненных японских драконов. А теперь можем проследить глазом художника за огнями автомобиля, передними и задними, продвигающимися в восточном направлении вдоль берега АБ этого прямоугольного водоема, затем резко сворачивающими на углу Б, одолевающими его короткую сторону и ползущими обратно на запад, уменьшившись и померкнув, к середине линии дальнего берега, где они уходят на север и исчезают.

Когда последние слуги, повар и ночной сторож, пробежали через лужайку к безлошадной двуколке или коляске, призывно стоявшей поодаль с задранными в небо оглоблями (или то была повозка рикши? Дяде Дану когда-то прислуживал камердинер-японец), Ван с радостью и трепетом увидел прямо там, среди чернильных кустов, Аду в длинной ночной рубашке, идущую со свечкой в одной руке и туфелькой в другой, как если бы она кралась по пятам за отставшими огнепоклонниками. Нет, это было всего лишь ее отражение в окне. Она бросила найденную туфельку в корзину для бумаг и взобралась к Вану на диван.

«Видно что-нибудь отсюда, ах, видно или нет?» — повторяла темноволосая девочка, и сотни амбаров полыхали в ее янтарно-черных глазах, пока она вся лучилась и вглядывалась в блаженном любопытстве. Он взял у нее подсвечник и поставил на подоконник, рядом со своим, более длинным. «Ты голый, ты ужасно гадкий», заметила она без всякого выражения или осуждения, не глядя на него, после чего он, Рамзес Шотландец, затянул свой клетчатый плед потуже, когда она стала рядом с ним на колени. Некоторое время оба любовались романтичным ночным пейзажем в оконной раме. Он начал гладить ее, трепеща, глядя прямо перед собой, проводя рукой слепца

вдоль ложбинки ее спины, покрытой лишь тонким батистом.

«Гляди-ка, цыгане», шепнула она, указывая на три темные фигуры — двух мужчин, один из которых нес лестницу, и ребенка или карлика, которые, озираясь, пересекали серую лужайку. Заметив освещенное свечами окно, они тут же ретировались, причем самый маленький из троицы пятился à reculons, как будто делая на ходу снимки.

«Я нарочно осталась, надеялась, что и ты тоже, — это предумышленное совпадение», сказала она, или потом сказала, что она так сказала тогда, а он все продолжал ласкать поток ее волос и сминать ее тонкую ночную рубашку, еще не решаясь запустить руку под нее, но уже осмеливаясь, однако, оглаживать ее ягодицы, пока она, мягко шикнув, не села на его ладонь и свои пятки, когда пылающий карточный домик рухнул. Она повернулась к нему, и вот он уже припал губами к ее обнаженному плечу, прижимаясь к ней, как тот солдат в очереди.

Впервые слышу о нем. Я полагал, что пожилой господин Нимфопопотам был моим единственным предшественником.

Прошлой весной. Поездка в город. Утренник во французском театре. Мадемуазель потеряла билеты. Бедняга, надо думать, решил, что «Тартюф» — это гулящая или стриптизерша.

Ce qui n’est pas si bête, au fond. Что, в сущности, не так уж и глупо. Хорошо. В той сцене с Горящим Амбаром —

Да?

Ничего. Продолжай.

Ах, Ван, той ночью, в ту минуту, когда мы стояли на коленях, бок о бок, перед зажженными свечами, как Молящиеся Дети на очень скверной картине, обратив — нет, не к Дражайшей Бабуле, получающей рождественскую открытку, а к удивленному и довольному Змию — две пары мягкоскладчатых подошв, унаследованных от древесных прародителей, я, помню, просто сгорала от нетерпения, так хотела получить от тебя кое-какие объяснения чисто научного рода, потому что краем глаза заметила —

Не сию минуту, сейчас это неприятное зрелище, а через мгновение станет и того хуже (или что-то в этом духе).

Ван не мог решить, то ли она вправду феноменально невежественна и чиста, как ночное небо (с которого уже сошло огневое зарево), то ли, напротив, известный опыт побуждает ее вести расчетливую игру. На самом деле это не имело значения.

Погоди, не сию минуту, глухо проговорил он.

Она настаивала: носкажимне… яхочузнать —

Своими мясистыми складками, parties très charnues этих страстных близнецов, Ван зарывался в черные шелка ее прямых и свободных волос,

почти достающих до люмбуса (когда она запрокидывала голову, как сейчас), пытаясь добраться до нагретых постельным теплом ременных мышц шеи. (Нет нужды здесь и в других местах — был еще один подобный отрывок — испещрять довольно гладкий слог темноватыми анатомическими терминами, засевшими в памяти психиатра со студенческих лет. Поздняя приписка Ады.)

«Носкажимне…», повторила она, когда он алчно достиг своей горячей бледной цели.

«Слушай, я хочу знать», сказала она совершенно отчетливо, но уже плохо владея собой, поскольку его жадная ладонь добралась до ее подмышки, а его большой палец нажимал на ее сосок, отчего у нее свербело нёбо и звенело в ушах: звонок, вызывающий горничную в георгианском романе — необъяснимо без участия elettricità —

(Протестую. Нельзя. Запрещено даже на литовском и латыни. Замечание Ады.)

«— хочу знать…»

«Спрашивай, — крикнул Ван, — но только ничего не испорть» (например, это впитывание тебя, обволакивание тебя).

«Скажи, почему, — спросила она (настойчиво, с вызовом, и пламя одной свечи перемигнуло, одна диванная подушка упала на пол), — почему ты там становишься таким толстым и твердым, когда ты —»

«Становлюсь где? Когда я что?»

Вместо объяснения она тактично, тактильно подвигала перед ним животиком, все еще более или менее коленопреклоненная, ее длинные волосы мешали, один глаз смотрел ему в ухо (к тому времени их положение по отношению друг к другу стало довольно прихотливым).

«Повтори!» — крикнул он, словно она была где-то далеко, как отражение в темном окне.

«Покажи немедленно», приказала она.

Он сбросил свой импровизированный килт, и ее тон сразу изменился.

«О дружок, — сказала она, как один ребенок другому. — С него совсем сползла кожица, и он весь горит. Больно? Ужасно больно, да?»

«Прикоснись к нему скорее!» — взмолился он.

«Ван, бедный Ван, — продолжала она уютным голоском славной девочки, которым говорила со своими кошками, гусеницами, окукливающимися питомцами, — да, не сомневаюсь, саднит нестерпимо. Ты уверен, что поможет, если я дотронусь?»

«Еще как, — сказал Ван, — on n’est pas bête à ce point» («есть пределы и для глупости» — разг., груб.).

«Рельефная карта, — сказала прелестная педантка, — африканские реки. — Она провела указательным пальцем по голубому Нилу до самых джунглей и поднялась обратно к верховьям. — А это что такое? У подосиновика красного намного менее бархатистая шляпка. Признаться (не переставала она лепетать), он напоминает мне цветок герани или, скорее, пеларгонии».

«Господи, да всем напоминает», сказал Ван.

«А какой он приятный на ощупь, Ван, мне нравится! Правда, очень нравится!»

«Сожми, ты, недотепа, не видишь, я умираю!»

Но наша юная ботаничка совершенно не знала, как обращаться с такой штуковиной, и Ван, которому уже ничего другого не оставалось, грубо водя ею по подолу ее сорочки, не мог сдержать стон, пока исходил лужицей наслаждения.

Она в смятении посмотрела вниз.

«Не то, что ты думаешь, — спокойно заметил Ван. — Это не малая нужда. В сущности, это так же чисто, как соки трав. Что ж, теперь загадка Нила раскрыта, точка, Спик».

(Любопытно, Ван, отчего ты изо всех сил стараешься обратить наше поэтичное и неповторимое прошлое в грязный фарс? Честное слово, Ван! Ах, я-то как раз честен, так все и начиналось. Я не был уверен в себе, отсюда бравада и притворство. Ah, parlez pour vous: я могу торжественно заявить, радость моя, что те знаменитые пальчиковые странствия вверх по твоей Африке и на край земли начались намного позже, когда я знала уже весь путь назубок. Прости, нет; если бы у людей были одинаковые воспоминания, то они не были бы разными людьми. Вот-так-все-и-началось. Но мы-то не «разные»! «Думать» и «воображать» — по-французски одно слово. Подумай о douceur, Ван! О, я думаю об этом, конечно, я думаю — все это было douceur, дитя мое, рифма моя. Так-то лучше, сказала Ада.)

Пожалуйста, продолжай ты.

Обнаженный Ван растянулся на диване, освещаемый свечой, теперь ровно горящей.

«Давай останемся спать здесь, — сказал он. — Они не вернутся до тех пор, пока рассвет снова не раскурит дядину сигару».

«Моя рубашка trempée», прошептала она.

«Сними ее, этим пледом можно укрыться вдвоем».

«Не смотри, Ван».

«Это нечестно», сказал он и помог ей стянуть рубашку, освобождаясь

от которой она тряхнула головой. Одно таинственное место ее мелового тела было отмечено угольно-черной штриховкой. Зловредный нарыв оставил у нее между двух ребер розовый шрам. Он поцеловал его и лег на спину, положив руки под голову. Ада сверху изучала его смуглое тело, муравьиный караван, бредущий к оазису пупка; он был довольно волосатым для своего юного возраста. Ее молодые круглые грудки нависали прямо над его лицом. Я осуждаю посткоитальную папиросу мещанина и как врач, и как художник; однако верно и то, что Ван не был равнодушен к наличию на консоли стеклянной шкатулки Турецких Травма-Тисовых папирос — слишком далеко, чтобы до нее можно было дотянуться ленивым движением. Высокие напольные часы отбили неизвестно к чему относящуюся четверть, и Ада, подперев кулачком щеку, уже наблюдала за примечательным, хотя и странно-угрюмым подрагиваньем, неуклонным запуском по часовой стрелке и тяжелым подъемом восстающей мужественности.

Но диванный ворс был колюч, как усеянное звездами небо, и, прежде чем приступить к чему-то еще, Ада, став на четвереньки, принялась иначе устраивать плед и подушки: юная туземка, изображающая крольчиху. Находясь у нее за спиной, он нащупал и сжал в ладони ее горячее маленькое устье и мигом занял положение мальчика, лепящего замок из песка, но она обернулась к нему, простодушно готовая обнять его в том положении, в каком Джульетте советовали принять ее Ромео. Она оказалась права. Впервые за время их любви благословение, гений лирической речи, снизошли на грубоватого подростка — он бормотал и стонал, целовал ее лицо с многословной нежностью, выкрикивая на трех языках, трех величайших в мире языках, ласковые словечки, которым предстояло лечь в основу словаря тайных диминутивов, впоследствии неоднократно пересмотренного и дополненного до дефинитивной редакции 1967 года. Когда его вскрики становились слишком громкими, она усмиряла его, выдыхая ему в рот «ш-ш-ш», и теперь все ее четыре конечности естественным образом обхватывали его, как если бы она отдавалась многие годы, во всех наших снах, — но горячая юная страсть (бурлящая, как переполненная ванна Вана, переписывающего эту страницу — своенравный седой словоправ, сидящий на краю отельной постели) не вынесла нескольких первых слепых толчков; она выплеснулась на лепесток орхидеи, и синяя птичка сиалия залилась остерегающей трелью, и огни уже крались обратно в лучах рваной зари, светляки огибали водоем, точки экипажных фонарей превратились в звезды, заскрежетали по гравию колеса, и все собаки вернулись очень довольные ночным развлечением, и ножки племянницы повара Бланш соскочили с тыквенного цвета полицейского фургона в одних чулках, без туфелек (позже, увы, много позже полуночи), и двое наших голых детей, схватив плед и рубашку, похлопали на прощанье по дивану и с легким топотом вернулись в свои целомудренные спальни, унося каждый свой подсвечник.

«А ты помнишь, — сказал седоусый Ван, беря с ночного столика каннабиновую сигарету и гремя желто-голубым спичечным коробком, — какими мы были беспечными, и как Ларивьерша вдруг перестала храпеть и через мгновенье начала с новой силой, и какими холодными были железные ступени, и как меня смутила твоя — как бы это выразить? — необузданность».

«Болван», сказала Ада со своего места у стены, не поворачивая головы.

Лето 1960-го? Переполненный отель где-то между Эксом и Ардезом?

Надо бы начать датировать каждую страницу рукописи: нужно быть добрее к моим неведомым мечтателям.

20

Наутро, еще не оторвав головы от наполненной снами глубокой подушки, добавленной к его во всех иных отношениях аскетичной постели милашкой Бланш (с которой по сновидческим правилам пти-жё он держался за руки в душераздирающем кошмаре — или, быть может, то были только ее дешевые духи), наш юноша тут же почувствовал напор счастья, стучащего в дверь. Он намеренно старался продлить сияние его неопределенности, пустившись по последним следам жасмина и слез вздорного сна, но тигр счастья одним прыжком вторгся в явь.

О, радость недавно обретенного права! Ее тень, казалось, накрыла последнюю часть его сна, в которой он сказал Бланш, что научился левитации и что способность с волшебной легкостью парить в воздухе позволит ему побить все рекорды по прыжкам в длину, он сможет, как бы шагая в нескольких вершках от земли, одолевать расстояние, скажем, в десять или одиннадцать метров (слишком большая протяженность может показаться подозрительной): трибуны ревут, а замерший Замбовский из Замбии глядит, подбоченившись, глазам своим не веря.

Нежность придает подлинному триумфу завершенность, умиление умащивает истинное раскрепощение: эмоции, которые во снах не применимы ни к славе, ни к страсти. Невиданная радость, которую Ван испытывал отныне (и до скончанья времен, как он надеялся), во многом черпала свою силу из уверенности, что он волен осыпать Аду, не таясь и не спеша, всеми теми мальчишескими ласками, о которых он прежде не мог и помыслить из страха перед общественным порицанием, из-за мужского эгоизма и моральной оглядки.

По воскресным дням о завтраке, обеде и ужине возвещали три гонга — малый, средний и большой. Первый только что пригласил на завтрак в столовую. Его короткий гром взволновал Вана мыслью, что всего двадцать шесть ступенек отделяет его от юной сообщницы, нежный мускус которой все еще хранила впадина его ладони. Вана охватило чувство восторженного изумления: неужели это в самом деле случилось? Неужели мы теперь вправду свободны? Некоторые комнатные птицы, рассказывают китайские знатоки, тряся от смеха жирными брюхами, каждое треклятое утро, лишь проснутся, бьются о прутья клетки, как бы продолжая свой естественный полет, продлевающий их сон, и падают замертво на несколько минут, хотя в остальное время эти яркоперые узники веселы и покорны, щебечут как ни в чем не бывало.

Ван сунул голую ступню в теннисную туфлю, одновременно вытаскивая из-под кровати ее пару; он поспешил вниз, мимо довольного с виду князя Земского и мрачного Винсента Вина, епископа Балтикомора и

Комо.

Но она еще не спустилась. В светлой столовой, полной желтых цветов, склонявших свои венчики в лучах солнца, дядя Данила принимал пищу. Он был одет под стать жаркому деревенскому дню: костюм в яркую полоску, как на конфетных обертках, лиловая фланелевая рубашка, пикейный жилет, красно-синий клубный галстук, очень высокий мягкий воротник, скрепленный золотой английской булавкой (правда, все его аккуратные полоски и тона слегка сместились в процессе печати комиксов, потому что было воскресенье). Он как раз доел первый ломтик поджаренного хлеба, смазанный маслом и Тем Самым Апельсиновым Мармеладом, и теперь, отхлебнув кофе, с индюшиным кулдыканьем полоскал свои зубные протезы, прежде чем проглотить жидкость вместе с аппетитными крошками. Будучи человеком не робкого десятка (у меня имелись некоторые основания так полагать), я мог заставить себя прямо смотреть на его розовое лицо, с этими рыжими (вращающимися) «щетками», но я не был обязан выносить (так думалось Вану в 1922 году, когда он снова увидел цветки этих baguenaudier) его лишенный подбородка профиль с курчавыми рыжими бакенами. Так что Ван не без аппетита оглядывал синие горшочки горячего шоколада и нарезанные хлебные булки, приготовленные для голодных детей. Марина завтракала в постели, дворецкий и Прайс — в укромной нише кладовой (что навевало отчего-то приятные мысли), а м-ль Ларивьер не притрагивалась к еде до полудня, будучи суеверной «мидинеткой» (такая секта, а не галантерея), которой удалось обратить в эту веру даже своего духовника.

«Мог бы и нас взять на пожар, дядюшка», заметил Ван, наливая себе полную чашку шоколада.

«Тебе Ада все расскажет, — ответил дядя Дан, любовно смазывая второй ломтик поджаренного хлеба маслом и мармеладом. — Она в восторге от этой экскурсии».

«А разве она поехала с тобой, неужели?»

«Ну да, в черном шарабане, со всеми дворецкими. Презабавное происшествие, в самом деле».

«Но то, верно, была одна из посудомоек, а не Ада, — сказал Ван. — Я и не знал, — добавил он, — что их здесь несколько, я имею в виду дворецких».

«О, похоже, что так», туманно ответил дядя Дан. Он повторил свое потайное полосканье и, слегка кашлянув, надел очки, но поскольку утренней газеты еще не приносили, снова снял их.

Вдруг Ван услышал ее милый задумчивый голос на лестнице, обращенный к кому-то наверху: «Je l’ai vu dans une des corbeilles de la bibliothèque», — вероятно, подразумевая герань или фиалку, а может быть, венерин башмачок. Наступила «пауза у перил», как говорят фотографы, и после того, как из библиотеки донесся радостный крик горничной, голос Ады добавил: «Je me demande, хочу я знать, qui l’a mis là, кто ее туда положил». Aussitôt après, она вошла в столовую.

Она надела, не сговариваясь с ним, черные шорты, белое джерси и теннисные туфли. Заплетенные в тугую косу волосы были убраны назад, открывая ее большой выпуклый лоб. Розовая сыпь под нижней губой блестела от глицерина сквозь слой небрежно нанесенной пудры. Она была слишком бледной, чтобы казаться по-настоящему красивой. В руках она держала томик стихов. Моя старшая довольно невзрачна, зато волосы дивные, а младшая прехорошенькая, хотя и рыжая, как лиса, — замечала, бывало, Марина. Неблагодарный возраст, неблагодарное освещение, неблагодарный художник, но благодарный любовник. В нем высоко поднялась откуда-то из подложечной впадины настоящая волна обожания. Пронзительное волнение видеть ее, сознавать, что она знает и что никто больше не знает, чему они предавались так свободно, и грязно, и сладостно менее шести часов тому назад, — оказалось слишком сильным для нашего зеленого любовника, несмотря на его попытку опошлить произошедшее посредством моральной коррективы позорного наречия. Выдавив вялое «здрасьте», а не обычное утреннее приветствие (которое она, впрочем, пропустила мимо ушей), — Ван склонился над завтраком, следя в то же время за каждым ее движением тайным полифемовым органом. Проходя за спиной г-на Вина, она легонько шлепнула его по лысому темени своей книжкой и шумно подвинула стул рядом с ним по другую сторону от Вана. Хлопая кукольными ресницами, она наполнила большую чашку шоколадом. Подцепив ложкой кусок сахару и погрузив его в чашку, она с удовольствием глядела, как горячая коричневая масса, и без того сладкая, заливает и растворяет оплывающий зернистый уголок, а затем и весь кубик.

Между тем дядя Дан запоздалым движением согнал со своего темени воображаемое насекомое, поднял глаза, огляделся и наконец заметил появление вновьприбывшей:

«Ах да, Ада, — сказал он, — вот Вану не терпится кое-что выяснить. Чем это ты занималась, милая, пока мы с ним тушили пламя?»

Ада зарделась его отблеском. Вану никогда не приходилось видеть девочки, да еще с такой прозрачно-белой кожей, да и вообще кого бы то ни было, фарфорового или персикового, кто бы краснел так сильно и привычно, и эта особенность огорчала его гораздо больше, чем любой поступок, который мог ее вызвать. Она украдкой бросила растерянный взгляд на помрачневшего мальчика и понесла что-то о том, что она спала как угорелая, то есть убитая, в своей постели.

«Ничего подобного, — резко перебил ее Ван, — ты со мной смотрела на пожар из окна библиотеки. А дядя Дан is all wet (сел в лужу)».

«Ménagez vos américanismes», сказал тот, а затем широко развел руки в отеческом объятии, встречая простодушную Люсетту, которая вбежала в комнату, держа в кулачке, как хоругвь, игрушечную розовую рампетку для ловли бабочек, с жесткой, будто накрахмаленной, сеткой.

Ван, глядя на Аду, неодобрительно покачал головой. Она показала ему острый лепесток языка, и ее возлюбленный, негодуя сам на себя, почувствовал, что в свою очередь заливается краской. Вот тебе и

раскрепощение! Он свернул салфетку кольцом и удалился в мѣстечко на дальней стороне вестибюля.

После того как она в свою очередь покончила с завтраком, он подстерег ее, напитанную сливочным маслом, на площадке лестницы. Они располагали всего минутой, чтобы сговориться; дело было, с исторической точки зрения, на заре развития романа, еще находившегося в руках дочек викариев и французских академиков, так что такие мгновения были бесценны. Она стояла, почесывая приподнятое колено. Условились пойти на прогулку перед обедом и подыскать неприметный уголок. Ей нужно было закончить перевод для м-ль Ларивьер. Она показала ему свой черновик. Из Франсуа Коппе? Да.

Спадают листья в грязь. В полете

Их различает лесоруб:

Лист клена — по кровавой плоти,

По медным листьям — старый дуб.

«Leur chute est lente, — сказал Ван, — on peut les suivre du regard en reconnaissant: этот парафрастический подход с полетом и лесорубом, конечно, чистый Лоуден (незначительный поэт и переводчик, 1815–1895). Пожертвовать же первой половиной строфы ради спасения второй — все равно что бросить возницу на съедение волкам, как сделал один русский барин, после чего и сам выпал из саней».

«А я думаю, что ты очень жесток и глуп, — сказала Ада. — Стишок этот не претендует ни на произведение искусства, ни на блестящую пародию. Это выкуп, который требует свихнувшаяся гувернантка от бедной переутомленной школьницы. Жди меня в беседке у кустов пузырника, — добавила она, — я приду ровно через шестьдесят три минуты».

Ладони у нее были холодными, а шея горячей; юный помощник почтальона звонил у парадной двери; Бут, молодой лакей, побочный сын дворецкого, пошел отворять, ступая по гулким плитам холла.

По воскресеньям почта запаздывала из-за пухлых воскресных приложений к балтикоморским, калужским и лужским газетам, которые старик-почтальон Робин Шервуд, облаченный в ярко-зеленую форму, развозил верхом на лошади по сонной округе. Ван, сбегавший с террасы через ступень и напевавший школьный гимн, — единственная мелодия, которую он когда-либо мог воспроизвести, — заметил Робина: сидя на старой гнедой кобыле, он держал за поводья более живого черного жеребца своего воскресного помощника, красавца-англичанина, к которому (как судачили за розовыми изгородями) старик был привязан гораздо крепче, чем того требовала служба.

Ван дошел до третьей лужайки и до самой беседки; он внимательно

осмотрел сцену, подготовленную для постановки, «как провинциал, явившийся за час до начала оперы после целого дня тряского пути по проселочным дорогам, поросшим маками и васильками, которые цеплялись за ободья и мелькали в колесах его брички» (из «Урсулы» Флоберга).

Голубые бабочки, размером с репницу и того же европейского происхождения, быстро кружили над кустами и садились на поникшие соцветия желтых цветов. Сорок лет спустя и при более благоприятных обстоятельствах наши влюбленные вновь с удивлением и радостью увидят таких же насекомых и такие же кусты пустырника, растущие вдоль лесной тропы около Зустена, в Валлийском кантоне. Сейчас он с нетерпением готовился набрать побольше деталей, которые сможет вскоре неторопливо перебирать в памяти. Растянувшись на дерне, он следил за крупными и смелыми голубянками, обмирая от вида воображаемых им белых ног и рук Ады в пятнистом свете беседки и рассудительно убеждая себя в том, что реальность не может тягаться с фантазией. Искупавшись в широком и глубоком ручье за боскетом, он с мокрыми волосами и звенящей кожей вернулся к беседке, где испытал редкое удовольствие, найдя точную репродукцию своего видения, воплощенного в живой белизне слоновой кости, с той лишь разницей, что она распустила волосы и надела короткое платьице из яркого ситца, которое он так страстно любил и так пылко мечтал запятнать в столь недавнем прошлом.

Он решил раньше всего заняться ее ногами, ему казалось, что прошлой ночью он не отдал им должного; покрыть их поцелуями, от А — арки подъема ступни, до бархатистой V — ижицы, и это намеренье Ван немедленно исполнил, как только они уединились в глубине хвойной рощи, замыкавшей парк по обрыву скалистой кручи, отделявшей Ардис от Ладоры.

Так и осталось неустановленным, хотя они и не стремились это установить, — как, когда и где он ее «дефлорировал» — вульгаризм, значение которого Ада в Стране чудес случайно нашла в «Энциклопедии Фроди»: «…прорвать вагинальную перепонку девственницы по-мужски или механическим способом»; к чему был дан пример: «Благоденствие его души подверглось дефлорации (Иеремия Тейлор)». Произошло ли это на клетчатом пледе в ночь пожара? Или в другой день под лиственницами? Может быть, позже, в стрелковом тире, или на чердаке, на крыше, на неприметном балконе, в ванной, или — не без риска — на ковре-самолете? Мы не знаем и не очень-то хотим знать.

(Ты так много и так часто целовал, покусывал, и теребил, и теснил меня там, что моя девственность потерялась в этой горячке; но я отлично помню, мой милый, что к середине лета машина, которую наши предки именовали «сношением», работала столь же слаженно и гладко, как и потом, в 1888 году и после. Приписка на полях красными чернилами.)

Аде не разрешалось свободно пользоваться библиотекой. Согласно последнему реестру, отпечатанному 1 мая 1884 года, она состояла из 14 841 издания, но даже этот простой перечень гувернантка предпочитала держать от ребенка подальше, «pour ne pas lui donner des idées». Разумеется, на ее собственных полках стояли таксономические труды по ботанике и энтомологии, а также школьные учебники и несколько выхолощенных популярных романов. В библиотеке же ей не только воспрещалось рыться без надзора, но и каждая книга, которую она брала, чтобы почитать в постели или в беседке, проверялась ее наставницей и выписывалась «en lecture» с указанием имени и с проштемпелеванной датой в картотеке, содержавшейся м-ль Ларивьер в скрупулезном хаосе и в каком-то отчаянном порядке (со вставками запросов, сигналов бедствия и даже проклятий на осьмушках розовой, красной или багровой бумаги) ее кузеном, миниатюрным старым холостяком Филиппом Верже, болезненно замкнутым и застенчивым господином, который дважды в месяц приходил в библиотеку ради нескольких часов тихой работы — до того в самом деле бесшумной, что однажды вечером, когда высокая подвижная лестница, на вершине которой мосье Верже стоял с охапкой книг, вдруг очень медленно повалилась в жуткий обморок, он навзничь упал на пол вместе с лестницей и книгами в такой невозмутимой тишине, что преступница Ада, полагавшая, что в библиотеке никого нет (она вынимала и пролистывала совершенно разочаровавшие ее «Тысячу и одну ночь»), приняла его падение за тень двери, тишком отворенной каким-то пухлявым евнухом.

Близость Ады с ее cher, trop cher René, как она иногда, ласково подшучивая, называла Вана, кардинально переменила положение дел — какие бы декреты ни были оглашены доселе. Едва приехав в Ардис, Ван уведомил свою бывшую гувернантку (у которой были основания принимать его угрозы всерьез), что если ему воспретят брать в библиотеке в любое угодное ему время, на любой срок и без всяких отметок «en lecture» все, что ему вздумается, какой-нибудь том, или собрание сочинений, или брошюрки в коробках, или инкунабулы, — он попросит отцовскую библиотекаршу, мисс Вертоград, безупречно-исполнительную и бесконечно услужливую старую деву того же формата и приблизительно того же года выпуска, что и мосье Верже, отправить в Ардис-Холл сундуки с произведениями вольнодумцев восемнадцатого века, трудами немецких сексологов и полными комплектами всяких камасутр и Нафзави в дословных переводах и с апокрифическими дополнениями. Озадаченная м-ль Ларивьер могла бы спросить, что думает на этот счет хозяин Ардиса, но она никогда не обсуждала с ним ничего серьезного с того дня (в январе 1876 года), когда он нежданно-негаданно (и, по совести сказать, без огонька) попытался за ней приударить. Что же до дражайшей и легкомысленной Марины, то она лишь заметила, когда к ней обратились, что в Вановы годы она отравила бы свою гувернантку тараканьей бурой, ежели бы ей запретили читать, ну, к примеру, тургеневский «Дым». Засим все, что Ада желала или могла бы пожелать прочесть, Ван предоставлял в ее распоряжение в разных укромных уголках усадьбы, и единственным видимым следствием все возраставшего недоумения и отчаяния мосье Верже было увеличение того странного белоснежного праха, который он всегда оставлял после себя, то там, то здесь, на темном ковре или в ином месте, смотря по тому, где он

занимался своей кропотливой работой, — что за казнь египетская для такого опрятного маленького господина!

На славном рождественском балу для служащих частных библиотек, устроенном года за два до того попечением Брайлевского Клуба в Радуге, чуткая мисс Вертоград заметила, что смеявшийся мелким смехом Верже, с которым она разорвала доставшуюся им крохотную хлопушку (ожидаемого хлопка не последовало, и за красивой золотой бумагой, гофрированной с обоих концов, не оказалось ни конфеты, ни брелока, ни какого-либо иного подарка судьбы), разделял с ней, кроме того, примечательную кожную болезнь, которая недавно была описана знаменитым американским писателем в романе «Хирон» и о которой уморительным слогом поведал известный эссеист лондонского еженедельника, еще одна ее жертва. Мисс Вертоград очень деликатно стала передавать через Вана довольно неблагодарному французскому господину библиотечные бланки с разного рода краткими советами: «Ртутная мазь!» или «“Höhensonne” творит чудеса». М-ль Ларивьер, знавшая о напасти своего брата, отыскала статью «Псориаз» в однотомной медицинской энциклопедии, которая досталась ей в наследство от матери и которая не только отлично послужила ей самой и ее воспитанникам при всяких пустяковых случаях, но и безотказно снабжала подходящими недугами героев ее рассказов, печатавшихся в «Квебекском ежеквартальнике». Применительно к данному случаю энциклопедия оптимистично предписывала «по крайней мере дважды в месяц брать теплую ванну и избегать пряной пищи». М-ль перестукала эту рекомендацию на машинке и передала кузену в особом конверте, украшенном печатным пожеланием «Скорейшего выздоровления». Этим, однако, дело не кончилось. Ада показала Вану письмо от д-ра Кролика, посвященное тому же предмету; в нем сообщалось следующее: «Этих несчастных, покрытых пунцовыми пятнами, серебристой чешуей или желтыми струпьями, безобидных псориатиков, кожная болезнь которых не заразна и которые во всех иных отношениях могут быть абсолютно здоровыми людьми — поскольку их бобо отлично предохраняет “и от люэса, и от гусарского насморка”, как говаривал мой учитель, — в Средние века принимали за прокаженных, да-да, прокаженных, и тысячи, если не миллионы Верже и Вертоград выли и лопались, привязанные энтузиастами к столбам на площадях Испании и других огнелюбивых стран». Эту записку, впрочем, они решили не подсовывать смиренному мученику в картотеку под литерами PS, как сперва хотели сделать: знатоки чешуекрылых бывают чересчур красноречивыми, говоря о чешуйках.

Первого августа 1884 года бедный библиотекарь подал démission éplorée, и с той поры романы, стихи, научные и философские труды стали исчезать из библиотеки без следа. Они пересекали лужайки и плыли вдоль живых изгородей, подобно предметам, которые уносил Человек-невидимка в восхитительной сказке Уэллса, и опускались Аде на колени, где бы юные любовники ни назначали свои свидания. Оба искали в книгах волнения, как делают лучшие читатели; оба находили во многих прославленных сочинениях претенциозность, скуку и прикрытое гладким слогом невежество.

При первом чтении (лет в девять или десять) повести Шатобриана о романтичных единокровных брате и сестре Ада не совсем поняла

предложение «les deux enfants pouvaient donc s’abandonner au plaisir sans aucune crainte». Один похабный критик в сборнике статей «Les muses s’amusent» («Музы резвятся»), которым Ада теперь могла вдоволь натешиться, пояснил, что «donc» относится как к бесплодию нежного возраста, так и к бесплодности нежного кровосмесительства. Ван, впрочем, сказал на это, что и писатель, и критик заблуждаются, и в доказательство обратил внимание своей ненаглядной на главу в опусе «Акт половой и акт правовой», посвященную общественным последствиям пагубного каприза природы.

В те времена в этой стране определение «виновный в кровосмешении» означало не только «порочный» — значение, обсуждавшееся больше лингвистами, чем юристами, — но также предполагало (к примеру, во фразе «кровосмесительное сожительство») покушение на естественный ход человеческой эволюции. История давно уже заменила апеллирование к «божественному праву» здравым смыслом и научно-популярными воззрениями. При сложившемся взгляде на вещи видеть в «инцесте» преступление — все равно что полагать таковым и инбридинг. Однако, как еще во дни Мятежей Альбиносов в 1835 году смело заметил судья Болд, практически все североамериканские и татарские скотоводы и земледельцы применяли инбридинг как метод разведения, который способствовал (при осмотрительном использовании) сохранению, улучшению, устойчивости и даже восстановлению особенно ценных свойств той или иной породы или сорта. При неосмотрительной практике родственное смешение приводило к различным формам вырождения, к появлению калек, немощных, «немых мутантов» и, наконец, к безнадежной бесплодности. Вот это уже отдавало «преступлением», и поскольку никто не мог рационально контролировать оргии беспорядочного инбридинга (где-то в бескрайней Татарии пятьдесят поколений все более и более шерстистых овец недавно пресеклись рождением одного последнего ягненка, совершенно голенького, пятиногого и беспомощного, и хотя многие заводчики и овчары были казнены, возродить тучную породу так и не удалось), возможно, лучшим решением было вовсе запретить «кровосмесительное сожительство». Судья Болд и его сторонники с этим не согласились, усмотрев в «сознательном запрете возможного блага ради предотвращения вероятного зла» покушение на одно из неотъемлемых прав человека — на право наслаждаться свободой собственной эволюции, свободой, которую никогда не знало ни одно другое живое существо. К несчастью, после слухов о беде, постигшей волжские стада и их пастухов, в разгар споров С.Ш.А. потрясли fait divers, подкрепленные более точными данными. Некто Иван Иванов, американец из Юконска, кратко охарактеризованный как «привычно пьяный поденщик» («чудное определение истинного художника», вскользь заметила Ада), ухитрился каким-то образом, во сне (как утверждал он сам и члены его большой семьи), обрюхатить свою пятилетнюю правнучку Марью Иванову, а затем, пять лет спустя, в очередном припадке беспамятства, заделал ребеночка ее дочке Дарье. Фотографии Марьи, десятилетней бабули, с маленькой Дарьей и ползающей у ее ног Варенькой, облетели все газеты, и немало забавных парадоксов проистекло из этого генеалогического фарса, затронувшего не всегда чистые отношения многочисленных представителей клана Ивановых в возмущенном Юконске. Дабы шестидесятилетний лунатик не продолжил пополнять свой род, его, как того требовал древний русский закон, сослали на пятнадцать лет в

монастырь. После освобождения он предложил загладить свою вину женитьбой на Дарье, к тому времени ставшей дебелой бабой со своими заботами. Репортеры много писали об этой свадьбе и бесчисленных дарах от доброхотов (старушки из Новой Англии, передовой поэт из Вальс-колледжа Теннесси, целая мексиканская школа всем скопом, и т. д.), и в тот же день Гамалиил (тогда еще крепкий молодой сенатор) с такой силой треснул по столу переговоров, что повредил кулак. Он потребовал пересмотра дела и смертной казни. То был, разумеется, лишь эмоциональный жест, и все же «дело Иванова» отбросило длинную тень на скромный вопрос о «благотворном инбридинге». К середине столетия не только двоюродным, но и дядьям и внучатым племянницам запрещалось вступать в браки, а в некоторых особенно обильных волостях Эстотии, где в избах, случается, с дюжину членов одной крестьянской семьи разных полов и возрастов вповалку спят на тонком, как блинъ, тюфяке, для удобства дозорных с керосиновыми фонарями (антиирландские бульварные газеты прозвали их «Подглядывающими Патриками») запретили на ночь занавешивать окна.

В другой раз Ван не мог не рассмеяться от души, когда добыл для энтомологички Ады следующий отрывок из достоверной «Истории копулятивных обычаев»: «Некоторые опасности и нелепости, связанные с миссионерской позицией, которая повсеместно принята для целей продолжения рода нашей пуританской интеллигенцией и которая справедливо высмеивается “примитивными”, но здравыми туземцами островов Бегоури, отмечены известным французским востоковедом [следует обширная сноска, здесь опускаемая], описавшим брачные привычки гнуса Serromyia amorata Poupart. Совокупление происходит с прижатием брюшных поверхностей самца и самки и соприкосновением ротовых отверстий. После заключительного содрогания (frisson) мушиного коитуса самка высасывает внутренности своего страстного партнера через его ротовое отверстие. Предполагается (см. Пессон et al.) [еще одна пространная сноска], что всякие лакомства, такие как сочная лапка жука, завернутая в паутину, или даже обычный пустячок (легкомысленный тупик или утонченное начало эволюционного процесса — qui le sait!), к примеру, аккуратно обернутый и перевязанный листовидным отростком красного папоротника цветочный лепесток, который некоторые мушиные самцы (но, очевидно, не кретины, принадлежащие к виду femorata и amorata) предусмотрительно подносят самке перед спариванием, предохраняют их от неуместной прожорливости юной леди».

Но еще забавнее было «сообщение» некой канадской социальной работницы Mme de Réan-Fichini, опубликовавшей свой трактат «О противозачаточных средствах» на капусканском наречии (она не хотела смущать эстотианцев и соединенных штатианцев, желая в то же время просветить своих более закаленных коллег). «Sole sura metoda, — писала она, — por decevor natura, est por un strong-guy de contino-contino-contino jusque le plesir brimz; et lors, a lultima instanta, svitchera a l’altra gropa (желобок); ma perquoi una femme ardora andor ponderosa ne se retorna kvik enof, la transita e facilitata per positio torovago». (Единственный надежный способ обмануть природу, это крепкому молодцу продолжать-продолжать-продолжать, покуда блаженство вот-вот не хлынет через край, и тогда в последний миг переключиться на другой желобок: так как женщина от страсти и/

или неуклюжести не может повернуться достаточно быстро, то переход лучше делать в позе тороваго.) Заключительный темный термин в прилагаемом глоссарии объяснялся на грубоватом английском как «позитура, обыкновенно используемая в глубинке на всем протяжении Соединенных Америк, от Патагонии до Гаспе, всей тамошней сволочью, начиная с сельской знати и кончая последней крестьянской скотиной».

«Ergo, — заключил Ван, — гори наш миссионер синим пламенем».

«Твоя вульгарность беспредельна», сказала Ада.

«Что ж, я предпочитаю сгореть, чем быть заживо съеденным этой твоей Шерами — или как там ее кличут — и чтобы моя вдова отложила на моих останках горку крошечных зеленых яичек!»

Парадоксально, но в «ученой» (scient) Аде наглядные пособия с гравюрами различных органов, картинами мрачных средневековых борделей и фотографиями того или иного маленького Кесаря, извлекаемого из утробы мясниками в передниках (в прошлом) и эскулапами в масках (ныне), вызывали лишь смертную скуку. Вана же, не терпевшего «естествознания» и яростно отказывавшего физической боли в праве на существование в любом из миров, бесконечно привлекали изображения и описания истерзанной человеческой плоти. В остальном, в отношении более приятных предметов, их вкусы и искусы были почти идентичными. Им нравились Рабле и Казанова, они не выносили сира Сада, герра Мазоха и Генриха Мюллера. Английская и французская фривольная поэзия, порой остроумная и познавательная, в конечном счете вызвала у них непреодолимое отвращение, а присущая ей склонность (особенно во Франции до вторжения) описывать половые подвиги монахов с монашками, представлялась им столь же непостижимой, сколь и удручающей.

Собранная дядей Даном коллекция гравюр восточной эротики оказалась вполне второсортной в художественном отношении и абсурдной в рассуждении человеческой пластики. Самая разудалая и дорогая картина изображала монголку с тупым овальным лицом, увенчанным безобразной прической, которая отдавалась сразу шестерым довольно упитанным и бесстрастным гимнастам в помещении, похожем на витрину: с ширмами, цветочными горшками, шелками, бумажными веерами и глиняной посудой. Трое мужчин, изогнувшись в одинаково неудобных и замысловатых позах, одновременно использовали три главных отверстия блудницы; двое пожилых клиентов обслуживались ею мануально, а шестому, карлику, оставалось довольствоваться ее деформированной стопой. Шестеро других сластолюбцев пристроились к задам ее непосредственных партнеров, а еще один удовлетворял свою похоть с помощью ее подмышки. Дядя Дан, терпеливо распутавший все эти конечности и жировые складки, прямо или косвенно связанные с совершенно невозмутимой дамой, каким-то образом сохранившей остатки одежды, написал карандашом цену гравюры и пометил ее как «Гейша с тринадцатью любовниками». Ван, однако, обнаружил пятнадцатый пупок, выведенный щедрым художником, но не получивший какого-либо анатомического оправдания.

Библиотека предоставила высокие декорации для незабываемой сцены

Горящего Амбара; она распахнула свои остекленные двери; она сулила долгую идиллию библиомании; она могла бы стать главой в одном из старых романов на одной из ее собственных полок; оттенок пародии придал ее теме свойственную самой жизни комическую разрядку.

22

Сестра моя, ты помнишь гору,

И дубъ высокій, и Ладору?

My sister, do you still recall

The blue Ladore and Ardis Hall?

Don’t you remember any more

That castle bathed by the Ladore?

Ma soeur, te souvient-il encore

Du château que baignait la Dore?

Сестра моя, все ль помнишь ты

Ладорский замок, плеск реки?

My sister, you remember still

The spreading oak tree and my hill?

Oh! qui me rendra mon Aline

Et le grand chêne et ma colline?

О, кто мне Джилль мою вернет,

И старый дуб, ручей, и грот?

Oh! qui me rendra, mon Adèle,

Et ma montagne et l’hirondelle?

Oh! qui me rendra ma Lucile,

La Dore et l’hirondelle agile?

Кто б нашей речью передал

Ту прелесть, что он воспевал?

Они отправлялись на лодочные прогулки по Ладоре, плавали, следовали изгибам любимой реки, старались подобрать к ее имени новые рифмы; они взбирались на вершину холма к черным развалинам «Шато Бриана», где стрижи все так же кружат вокруг его башни. Они ездили в Калугу, на местные воды, и посещали семейного дантиста. Ван, листая журнал, услышал, как в соседней комнате Ада вдруг вскрикнула и отчетливо сказала: «чортъ» — чего никогда себе прежде не позволяла. Они пили чай у соседки, графини де Пре, которая безуспешно пыталась продать им хромую лошадь. На ярмарке в Ардисвилле им особенно понравились китайские акробаты, немецкий клоун и дюжая черкесская княжна, глотательница шпаг, которая начала с фруктового ножа, затем перешла к усыпанному самоцветами кинжалу и под конец заглотила громадную салями вместе с бечевкой и прочим.

Они ласкали друг друга — чаще всего в долинах и лощинах.

Энергия двух наших подростков показалась бы ординарному физиологу совершенно ненормальной. Их неудержимое взаимное влечение становилось непереносимым, если в течение трех-четырех часов не бывало удовлетворено несколько раз — в тени или на солнце, на крыше или в погребе, все равно где. Несмотря на необычайную пылкость, Ван едва поспевал за своей белокожей маленькой amorette (местный французский жаргон). Их невоздержанность в телесных усладах граничила с безумием и могла бы сильно сократить эти юные жизни, если бы лето, казавшееся беспредельным разливом зеленого великолепия и свободы, не начало туманно указывать на возможность упадка и увядания, на умолкание своей колоратуры — последний курорт натуры, удачная аллитерация (когда бабочки и бутончики имитируют друг друга), на приближение первой паузы в конце августа, первого безмолвия в начале сентября. Сады и виноградники в тот год были особенно живописны; и Бена Райта рассчитали после того, как он позволил себе испустить ветры, отвозя Марину и м-ль Ларивьер домой с праздника Виноградного Урожая в Брантоме, вблизи Ладоры.

Что напоминает нам следующее. В каталоге Ардисовской библиотеки под шифром «Exot Lubr» значился пышный альбом (известный Вану благодаря любезности мисс Вертоград), озаглавленный «Запретные шедевры: сто полотен из частной коллекции Нац. Гал. (спец. хран.), отпечатан для Е.К.В. Короля Виктора». Альбом содержал превосходно отснятое в цвете собрание того рода любострастной и нежной живописи, которую итальянские мастера позволяли себе создавать промеж нескончаемых благочестивых Воскресений Христовых в продолжение нескончаемо долгого и похотливого Ренессанса. В библиотеке имелась лишь карточка, а сам альбом был не то утерян, не то украден, или же спрятан на чердаке среди личных вещей дяди Ивана, порой довольно причудливых. Вану не удалось вспомнить автора памятной картины, но ему казалось, что она могла относиться к раннему периоду Микеланджело да Караваджо. Маслом, на необрамленном холсте, были изображены двое нагих проказников, мальчик и девочка, в увитом плющом или лозой гроте или возле небольшого водопада, увенчанного аркой зелени с листьями бронзового и темно-изумрудного оттенков, которые перемежались огромными кистями сквозистого винограда — и все тени и ясные отражения плодов и листвы волшебно мешались с обнаженной жилковатой плотью.

Так или иначе (это, кажется, не более чем выражение-связка), однажды пополудни он ощутил себя перенесенным в этот запретный шедевр, когда все уехали в Брантом, а они с Адой загорали на краю Каскада в лиственной роще Ардис-Парка, и его нимфетка склонялась над ним и его жилистым желанием. Ее длинные прямые волосы, имевшие в тени однородный иссиня-черный колер, в геммолюбивых лучах солнца обнаруживали глубоких тонов каштаново-бурые оттенки, мешавшиеся с темно-янтарными долгими прядями, покрывавшими ее впалую щеку или грациозно рассекавшимися ее поднятым плечом цвета слоновой кости. Текстура, лоск и аромат этих караковых шелков, воспламенив его чувства в самом начале того рокового лета, продолжали возбуждать их, мощно и мучительно, еще долгое время после того, как его молодое волнение открыло в ней другие источники неизлечимого блаженства. В девяносто лет Ван вспоминал свое первое падение с лошади с едва ли не меньшим замиранием мысли, чем тот самый первый случай, когда она склонилась над ним и он завладел ее волосами. Они скользили по его ногам, щекотали в паху, струились на его трепещущий живот. Сквозь этот поток студент-искусствовед мог видеть вершинное достижение школы trompe-l'oeil, величественное, многоцветное, выступающее из темного фона, отлитое в профиль сгущением караваджевского света. Она ласкала его; она обвивала его: так вьюнок все тесней и тесней оплетает колонну, впиваясь в ее шейку все слаще, а затем растворяя хватку в темно-алой сладости. Был виноградный лист, в котором гусеница бражника оставила серповидную проединку. Был знаменитый микролепидоптерист, исчерпавший запасы латинских и греческих названий и принявшийся создавать такие номенклатурные имена, как Мэрикисми, Адакисми, Охкисми. Она поцеловала его. Чья это кисть вступает теперь? Дразнящего Тициана? Опьяненного Пальма иль Веккьо? Нет, эта девочка могла быть кем угодно, но только не белокурой венецианкой. Быть может, Доссо Досси? Фавн, изнуренный Нимфой? Обессиленный Сатир? Не царапает ли тебе язык твой недавно запломбированный зуб? Он изранил меня. Ах, это шутка, моя цирковая

черкешенка.

Миг спустя вступили голландские мастера: Девушка, входящая в заводь под маленьким водопадом, чтобы омыть свои локоны, и сопровождающая незабвенный жест их выжимания сжиманием губ, — тоже незабвенным.

А помнишь, башенка была,

Что «Мавровой» ты прозвала?

Ужель забыла ты, сестра,

Ладору, дуб, et cetera?

23

Дни шли своей счастливой чередой, пока м-ль Ларивьер не потянула поясницу, катаясь на карусели на Винодельческой ярмарке, посещение которой понадобилось ей, помимо прочего, для подбора декорации к задуманному рассказу (о провинциальном мэре, задушившем девочку по имени Рокетт): зная по опыту, что озноб вдохновения нигде не сберегается лучше, чем в la chaleur du lit, она решила слечь на целых пять дней. Предполагалось, что все это время за Люсеттой будет присматривать вторая горничная с верхних комнат, Франш, ни наружность, ни нрав которой не напоминали кротость и живую грацию Бланш; Люсетта же делала все возможное, чтобы избавиться от надзора ленивой служанки ради общества своего кузена и сестры. Грозные слова: «Что ж, если господин Ван разрешит тебе войти…» или «Конечно, я уверена, что мисс Ада не станет возражать, если ты отправишься с ней по грибы…» — звучали погребальным звоном по их любовной вольнице.

Покуда м-ль, уютно устроившись, описывала берег речки, где так любила резвиться малышка Рокетт, Ада сидела с книжкой на таком же берегу, время от времени мечтательно поглядывая в сторону манящих зарослей вечнозеленых кустов (нередко дававших приют нашим любовникам) и на босого, коричневого от солнца Вана в одних подвернутых саржевых штанах, искавшего свои ручные часики, которые, как ему казалось, он обронил среди незабудок (но которые, о чем он позабыл, Ада надела себе на руку). Люсетта, бросив скакалку, сидела на корточках у ручья и купала резиновую куклу, размером с человеческого зародыша. То и дело она выпускала забавный фонтанчик воды из дырочки, которую Ада, поддавшись дурному вкусу, провертела для нее в скользкой оранжево-красной игрушке. С неожиданным своеволием, которое порой выказывают неодушевленные предметы, кукла вывернулась из рук Люсетты и устремилась прочь, несомая потоком. Ван под ивой стянул штаны и вернул беглянку. Поразмыслив немного, Ада захлопнула книгу и сказала Люсетте, заворожить которую обычно не

составляло труда, что она, Ада, вдруг почувствовала, как стремительно превращается в дракона, что чешуя ее зеленеет, что она уже стала драконом и что Люсетту нужно привязать к дереву скакалкой, дабы Ван мог спасти ее в последний миг. Девочка почему-то заупрямилась, но силы были неравны: Ван с Адой оставили взбешенную пленницу крепко привязанной к стволу ивы, после чего «вскачь», изображая стремительное бегство и погоню, устремились во мрак сосновой рощи, где исчезли на несколько сладостных минут. Извивавшейся Люсетте каким-то образом удалось сорвать одну из красных ручек скакалки, и она уже почти освободилась от пут, когда дракон и рыцарь теми же скачками вернулись к ней.

Девочка пожаловалась гувернантке, которая, совершенно неверно истолковав происшествие (что можно было сказать и по отношению к ее новому сочинению), пригласила Вана к себе и с отгороженной ширмой постели, от которой разило жидкой мазью и по́том, настоятельно попросила его не кружить Люсетте голову, делая из нее сказочную «деву в беде».

На другой день Ада сообщила матери, что Люсетте давно пора принять ванну и что она хотела бы ее выкупать, даже если гувернантка станет возражать. «Хорошо, — сказала Марина (она готовилась принять соседа и его протеже, молодого актера, в своем лучшем стиле Леди Марины), — но температура должна быть выдержана от начала и до конца и равняться в точности двадцати восьми градусам (как было заведено с восемнадцатого столетия), а кроме того, она должна выйти из ванны через десять — максимум двенадцать минут».

«Чудесная мысль», сказал Ван, помогая Аде нагреть бак, наполнить старую, потрескавшуюся ванну и согреть несколько полотенец.

Хотя Люсетте и шел всего девятый год и тело ее не отличалось развитостью, она не избежала той иллюзии половой зрелости, которая свойственна рыженьким девочкам: штриховка яркого пуха в подмышках и толстенький мысок, будто посыпанный медной пылью.

Водяной каземат ждал свою пленницу, и будильник обещал любовникам целую четверть часа.

«Пусть сначала намокнет как следует, намылишь ее после», сказал Ван, уже плохо владея собой.

«Да, да, да!» — крикнула Ада.

«А я — Ван», сказала Люсетта, стоя в ванне с куском багрового мыла между ног и выпячивая блестящий животик.

«Будешь так делать, станешь мальчишкой, — строго сказала Ада, — и тебе будет не до смеха».

Девочка начала опасливо погружать ягодицы в воду.

«Слишком горячая, — сказала она. — Ужас какая горячая!»

«Остынет, — ответила Ада. — Садись-ка и наслаждайся. Вот твоя кукла».

«Ну же, Ада, ради всего святого, оставим ее мокнуть», взмолился Ван.

«И помни, — прибавила Ада, — даже не вздумай выбраться из этой дивной теплой водички, пока не прозвенит будильник, — иначе умрешь, потому что так сказал Кролик. Я приду тебя намылить, но не зови меня: нам нужно пересчитать белье и разложить носовые платки Вана».

Заперев L-образную ванную комнату изнутри, двое старших детей укрылись в ее боковой части, в уголке между комодом и старым заброшенным катком для белья, где они были недосягаемы для аквамаринового ока ванного зеркала; но едва они закончили в этом потайном закуте свое неистовое и неудобное соитие, сопровождавшееся идиотским звяканьем пустой лекарственной склянки на полке, как Люсетта звонко позвала их из своей купели и горничная постучала в дверь: м-ль Ларивьер тоже потребовалась горячая вода.

Они перепробовали все мыслимые уловки.

К примеру, однажды, когда Люсетта была особенно назойлива — из носу у нее текло, она поминутно дергала Вана за руку, хныкала, ходила за ним по пятам, ее обычное желание быть рядом с ним приобрело черты настоящей мании, — Ван со всей своей убедительностью, обаянием и красноречием сказал заговорщицким тоном:

«Взгляни-ка, моя милая. Вот эта коричневая книжка — одна из главных моих ценностей. Представь, в мою школьную куртку вшит для нее особый внутренний карман. Сколько раз мне приходилось драться с подлыми мальчишками, норовившими стащить ее у меня! Что же это за книга (благоговейно перелистывает страницы)? А это — собрание самых красивых и знаменитых стихотворений, когда-либо написанных по-английски. К примеру, вот это, совсем коротенькое, сорок лет тому назад сочинил, обливаясь слезами, поэт-лауреат Роберт Браун, пожилой господин, на которого мне однажды указал отец — стоящего высоко на вершине утеса, под кипарисом, недалеко от Ниццы, и глядящего вниз, на пенящийся бирюзовый прибой: незабываемое зрелище для всех. Стишок называется “Питер и Маргарет”. У тебя есть, скажем (поворачивается к Аде, делая вид, что этот вопрос требует совещания), сорок минут («Ах, дай ей час, она не может выучить даже “Mironton, mirontaine”»), — ладно, пусть целый час, чтобы выучить эти восемь строк наизусть. Мы с тобой (шепотом) докажем твоей гадкой и заносчивой сестре, что глупышка Люсетта способная девочка. Если же (легонько касаясь губами ее стриженых волос), если же, душка моя, ты сможешь повторить их, поразив Аду тем, что не сделаешь ни единой ошибочки — будь внимательна с “там — тут — здесь” и со всеми прочими мелочами, — если ты сможешь сделать это, я отдам тебе эту многоценную книгу навсегда» («Пусть лучше выучит другое, где речь идет о том, чтобы найти перо и увидеть самого павлина-Пикока, — сухо сказала Ада. — Оно посложнее будет»). — «Нет-нет, мы уже остановились на этой маленькой балладе. Отлично. Теперь иди туда (открывает дверь) и не выходи, пока я не позову. В противном случае ты лишишься награды, о чем будешь жалеть всю жизнь».

«Ах, Ван, какой ты милый», сказала Люсетта, медленно отступая в свою комнату и озадаченно разглядывая необыкновенный форзац книги, с его именем, его смелым росчерком и замечательным рисунком чернилами — черная астра (развитая его воображением клякса), дорическая колонна (маскирующая значительно более непристойную форму), искусно изображенное безлиственное дерево (видимое из классного окна) и несколько мальчишеских профилей: Чеширкота, Зогопса, Чудобедра и самого Вана, похожего на Аду.

Ван поспешил за Адой на чердак. В ту минуту он очень гордился своей уловкой. Ему суждено будет вспомнить о ней с пронзительной дрожью, охватывающей предсказателя, когда семнадцать лет спустя, в последней записке Люсетты, посланной «на всякий случай» из Парижа на его кингстонский адрес 2 июня 1901 года, он прочитает следующее:

«Я берегла ее многие годы — она до сих пор, должно быть, лежит на полке в моей ардисовской детской, — ту антологию, которую ты подарил мне. А стихотворенье, которое ты выбрал, чтобы я выучила его наизусть, все так же в точности хранится в безопасном месте моего спутанного сознания, где носильщики топчут мои вещи и опрокидывают ящики и голоса зовут: пора, пора! Отыщи его у Брауна и расхвали меня снова, смышленую восьмилетнюю Люсетту, как ты и счастливая Ада сделали в тот далекий день, который все так же позвякивает где-то на своей полке, как пустой флакон.

А теперь сравни.

Проводник сказал: “Здесь пашня,

А там, — он сказал, — был лес.

Тут Питер стоял несчастный,

А принцесса стояла здесь”.

“Ну нет, — визитер ответил, —

Призрак — ты, старый гид:

Пусть нет ни овсов, ни ветел,

Но она со мной рядом стоит”».

24

Ван сожалел о том, что из-за запрета по всему миру Эль-люзии (старый каламбур Ванвителли!), само название которой в наивысших кругах

общества (в британском и бразильском представлении), к коим принадлежали Вины и Дурмановы, считалось «бранным» словом и заменялось разными причудливыми масками, да и то лишь в отношении важнейших устройств — телефонов, двигателей — каких еще? — ох, целого ряда вещиц, обладать которыми простолюдины жаждут с таким остервенением и за которыми носятся быстрее гончих, едва успевая переводить дух (ибо это довольно длинное предложение), — такая безделица, как пленочный магнитофон, любимая игрушка его и Ады уважаемых пращуров (в гареме князя Земского, состоявшего из одних школьниц, к каждой кровати прилагалась эта вещица), более не производилась, разве только в Татарии, где выпускались «миниречи» («говорящие минареты»), секрет устройства которых хранился за семью печатями. Если бы общественная мораль и гражданский закон позволили нашим начитанным любовникам чувствительным пинком привести в рабочее состояние таинственный ящик, найденный ими как-то на волшебном чердаке, они могли бы записать на пленку (чтобы воспроизвести восемьдесят лет спустя) не только арии Джорджио Ванвителли, но и беседы Вана Вина с возлюбленной. Вот, к примеру, что они могли бы нынче прослушать — с удовольствием, смущением, сожалением, изумлением.

(Рассказчик: в тот летний день, вскоре после начала поцелуйной стадии их слишком раннего и во многих отношениях рокового романа, Ван и Ада направились в Оружейный Павильон alias Тиръ, где они на верхнем ярусе нашли тесную комнату в восточном стиле, с тусклыми стеклянными шкапчиками, в которых, судя по форме темных отметин на выцветшем бархате, когда-то хранились пистолеты и кинжалы — приятный и меланхоличный альков, довольно затхлый, с мягким сиденьем на подоконнике и чучелом Парлужского сыча на стенной полке, рядом с пустой пивной бутылкой, оставленной каким-то давним, уже покойным садовником: под исчезнувшей пивоваренной маркой значилось: 1842.)

«Не бренчи ключами, — сказала Ада, — за нами следит Люсетта, которую я однажды задушу».

Они прошли через рощу и миновали грот.

Ада сказала: «Официально мы с тобой двоюродные по матери, а двоюродные могут жениться только по особому дозволению, при условии, что они согласятся стерилизовать первых своих пятерых детей. Но мало того, свекор моей матери был братом твоего деда. Верно?»

«Так мне рассказывали», безмятежно ответил Ван.

«Недостаточно дальние, — задумчиво сказала она, — или все же достаточно?»

«До ста точно, согласен».

«Забавно: прежде чем ты облек эту строчку в оранжевые буквы, я увидела ее в маленьких фиолетовых литерах — за миг до того, как ты сказал. Сказал — зал — залп. Вроде того, как видишь клуб дыма и следом слышишь выстрел далекой пушки».

«Физически, — продолжала она, — мы скорее близнецы, чем кузен и кузина, а близнецам или даже единокровным жениться, конечно, нельзя, иначе их упекут в темницу и “перевоспитают”, если не смирятся».

«Если только, — сказал Ван, — они не будут признаны двоюродными по особому указу».

(Ван уже отпирал дверь — зеленую дверь, в которую они потом так часто станут колотить бескостными кулаками в своих раздельных снах.)

В другой раз, на велосипедной прогулке (с несколькими остановками) по лесным тропам и проселочным дорогам, вскоре после ночи Горящего Амбара, но до того, как им попался на чердаке гербарий и они нашли подтверждение своим предчувствиям — смутным, странным, скорее телесным, чем душевным, — Ван между прочим заметил, что родился в Швейцарии и в детстве дважды побывал за границей. А я только однажды, сказала она. Почти каждое лето она проводила в Ардисе, каждую зиму — в их городском доме в Калуге — два верхних этажа в бывшем чертоге Земского.

В 1880 году десятилетний Ван в сопровождении отца, его красавицы-секретарши, ее восемнадцатилетней сестры в белых перчатках (отчасти исполнявшей обязанности английской гувернантки Вана и его вечерней ублажительницы) и своего невинного ангелоподобного русского наставника Андрея Андреевича Аксакова («ААА») путешествовал на серебристых поездах, оборудованных ванными комнатами, к беззаботным курортам Луизианы и Невады. Он помнил, как ААА втолковывал чернокожему мальчику, с которым Ван подрался, что в жилах Пушкина и Дюма текла негритянская кровь, и как мальчуган, дослушав, показал ААА язык — такой жест был Вану в новинку, и он не лишил себя удовольствия повторить его при первой возможности, за что младшая из двух мисс Форчен шлепнула его по лицу: спрячьте и закройте рот, сэр, сказала она. Он помнил еще, как подпоясанный кушаком голландец в холле отеля сказал кому-то, что отец Вана, который проходил мимо, насвистывая один из трех своих мотивов, известный «кортежник» (предводитель кортежей — не путает ли он теннисный корт со званым ужином? Ах, нет — «картежник»!).

До начала занятий в школе-пансионе Ван каждую зиму (кроме тех лет, когда он ездил за границу) проводил в прелестном, выстроенном во флорентийском стиле отцовском доме (Парк-лейн, 5, Манхэттен), стоявшем между двух пустующих участков (вскоре по обе стороны возвысились два гигантских стража, готовых схватить его за оба крыла и снести прочь). Летние сезоны, которые он проводил в Радужке (Малой Радуге), «другом Ардисе», были намного прохладнее и скучнее, чем здесь, в этом, Адином Ардисе. В каком-то году, должно быть в 1878-м, он прожил там всю зиму и целое лето.

Ну конечно, еще бы, ведь именно тогда, вспоминала Ада, она его впервые и увидала. В белой матроске и в синей бескозырке. («Un régulier ангелочек», прокомментировал Ван на радужском жаргоне.) Ему было восемь, а ей шесть. Дядя Дан вдруг надумал навестить старое имение. В последнюю минуту, игнорируя протесты мужа, Марина решила присоединиться к нему и посадила — оп-ля — Адочку, вместе с ее

обручем, подле себя в коляске. Ехали поездом, продолжала она нащупывать прошлое, из Ладоги в Радугу, поскольку она помнит, как вокзальный служащий со свистком на шее проходил по платформе мимо вагонов местного состава, захлопывая дверь за дверью (по шесть в каждом вагоне), представлявшим собой шесть сцепленных одноконных карет тыквенного вида. Ван предположил, что это «башня во мгле» (как она называла всякое приятное воспоминание), — а потом по подножкам каждого вагона ходил кондуктор, от начала и до конца поезда, тоже уже идущего, снова открывал все двери, раздавая, пробивая, собирая билеты, и, слюнявя палец, отсчитывал сдачу, та еще работенка, но все же «лиловая башня». А до самой Радужки доехали на чем же? На автошарабане с откидным верхом? Десять миль, не меньше, полагала она. Десять верст, поправил Ван. Она согласилась. Его, кажется, не было в доме, ушел на прогулку в темный ельник со своим гувернером Аксаковым и Багровым-внуком, соседским парнишкой, которого Ван дразнил и цукал и ужасно изводил насмешками — славный, кроткий мальчик, тихо истреблявший кротов и другую покрытую мехом живность, очевидно, что-то патологическое. Когда же они прибыли, сразу стало ясно, что Демон не ожидал увидеть дам. Он сидел на террасе, смакуя гольдвейн (сладкий виски) вместе с удочеренной им, как он сказал, сироткой — ирландская дикая роза, прелесть, — в которой Марина мгновенно узнала наглую посудомойку, недолго служившую в Ардис-Холле и соблазненную неизвестным господином — оказавшимся теперь даже слишком хорошо известным. В то время дядя Дан, подражая кузену, строил из себя бонвивана и носил монокль, его-то он и всадил себе в глаз, чтобы осмотреть Розу, которую ему, вполне возможно, тоже обещали (здесь Ван перебил собеседницу, сказав, чтобы она следила за своим лексиконом). Званый вечер прошел хуже некуда. Сиротка томно сняла свои жемчужные серьги, которые Марина пожелала оценить. Из будуара приковылял заспанный Багров-дед и принял Марину за grande cocotte, как разъяренная дама поняла некоторое время спустя, когда ей представился случай накинуться на бедного Данилу. Отказавшись остаться на ночь, Марина покинула дом и кликнула Аду, которая, отправленная «поиграть в саду», занималась тем, что, считая и бормоча, оставляла стянутым у Розы губным карандашом кровавые отметины на белых стволах высаженных рядком молодых берез — готовилась к игре, не могла сейчас вспомнить, к какой именно — вот незадача, сказал Ван, — когда мать схватила ее в охапку и в том же наемном шарабане, бросив Дана — со всеми потрошками и грешками, вставил Ван, — умчалась обратно в Ардис, куда добралась к рассвету. Но перед тем, как мать схватила ее за руку и отняла карандаш (Марина швырнула его в кусты «к чертям собачьим», и это напомнило терьера Розы, все норовившего овладеть Данилиной ногой), случай одарил ее очаровательным видением маленького Вана, идущего к дому вместе с другим милым мальчиком и светлобородым Аксаковым в белой блузе, и, конечно, она забыла свой обруч, — нет, он остался в автомобиле. Ван, однако, не сохранил ни малейшего воспоминания об этом визите — ни даже о том лете, — поскольку жизнь его отца, во всяком случае, всегда была розарием, а его самого не раз ласкали нежные ручки, без перчаток, до чего, впрочем, Аде нет никакого дела.

А теперь вспомним 1881 год, когда девочки девяти и пяти лет соответственно оправились на швейцарскую Ривьеру, к итальянским озерам. Вместе с Мариной и ее конфидантом, театральным воротилой Гран Д. дю Монтом («Д» означало еще и Дюк — девичья фамилия его матери, des hobereaux irlandais, quoi), они без лишней помпы садились на ближайший Средиземноморский экспресс, или Симплонский экспресс, или ближайший Восточный, или все равно какой train de luxe, готовый принять трех Винов, английскую гувернантку, русскую няньку и двух служанок, в то время как полуразведенный Данила уехал куда-то в Экваториальную Африку фотографировать тигров (к своему удивлению, он ни одного так и не увидел) и других пресловутых диких животных, приученных выходить на дорогу к проезжающим автомобилям, да еще пышных негритяночек в изысканном доме одного коммивояжера где-то в дебрях Мозамбика. Разумеется, Ада, играя с сестрой в «сравненье впечатлений», намного лучше Люсетты помнила такие вещи, как маршруты, живописная флора, моды, крытые торговые галереи со всевозможными лавками и магазинами, красивого загорелого мужчину с черными усами, глазевшего на нее из своего угла в ресторане женевского «Манхэттен-Палас»; зато Люсетта, хотя и была совсем крошкой, сохранила уйму разных мелочей, «часовенки» и «чашечки», бирюльки прошлаго. Она являла собой, cette Lucette, как и девочка в «Ah, cette Line» (популярный роман), «смесь проницательности, глупости, простодушия и хитрости». Кстати, о хитрости. Она призналась, Ада заставила ее признаться, что (как Ван и предполагал) все было наоборот, что когда они вернулись к «бедствующей деве», она так извивалась не для того, чтобы освободиться, а, напротив, чтобы снова связать себя, и к тому времени уже успела, сбросив путы, подглядеть за ними в хвойной чаще. «Господь милосердный, — сказал Ван, — вот почему она именно так держала мыло!» Ох, да какое это имеет значение, кому какое дело, Ада лишь надеется, что когда бедняжка подрастет, она будет так же счастлива, как сейчас счастлива Ада, любовь моя, любовь моя, любовь моя, любовь моя. Ван в свою очередь надеялся, что брошенные в кустах велосипеды не привлекут своими блестящими за листвой частями каких-нибудь случайных путников на лесной дороге.

После того они попытались выяснить, не пересекались ли где-нибудь, не пролегали ли, быть может, очень близко друг к другу маршруты их поездок в тот год в Европе? Весной 1881 года одиннадцатилетний Ван прожил несколько месяцев вместе со своим русским учителем и английским слугой на вилле своей бабушки под Ниццей, пока Демон проводил время на Кубе — намного веселей, чем Дан в Мокубе. В июне Вана увезли во Флоренцию, Рим и на Капри, куда его отец нежданно-негаданно примчался для короткой передышки. Они вновь разлучились — Демон морем отбыл обратно в Америку, Ван же с учителем направился сперва в Гардоне на озере Гарда (там Аксаков благоговейно показал ему мраморные отпечатки подошв Гёте и д'Аннунцио), а затем, уже осенью, — в отель на склоне горы над озером Леман (по этим склонам бродили Карамзин и граф Толстой). Могла ли Марина предполагать, что весь 1881 год Ван провел в тех же крах, что и она? Едва ли. Пока она со своим грандом путешествовала по Испании, девочки в Каннах слегли со скарлатиной. Тщательно сопоставив свои воспоминания, Ван и Ада заключили, что могли проехать друг мимо друга по одной из петлистых

дорог Ривьеры в тех наемных викториях, которые обоим запомнились зелеными, с лошадьми в зеленой же упряжке, или, быть может, могли оказаться в двух разных поездах, следующих, как знать, в одном направлении — девочка, прильнувшая к окну своего вагона и глядящая на коричневый спальный вагон другого, вровень идущего поезда, медленно начинающего отклоняться к серебристым отрезкам моря, которые мальчик мог видеть с другой стороны железнодорожной колеи. Вероятность была слишком мала, чтобы стать романтичной, да и возможность того, что они могли пройти или пробежать друг мимо друга по набережной швейцарского городка, не вызывала определенных эмоций. Но когда Ван случайно направил луч ретроспективного прожектора на тот лабиринт прошлого, где узкие зеркальные проходы не только сворачивали в разных направлениях, но еще имели разные уровни (как запряженная мулом телега проезжает под аркой виадука, по которому мчит автомобиль), он обнаружил, что занимается (еще неосознанно и праздно) той наукой, которая захватит его в зрелые годы, — проблемами пространства и времени, пространства против времени, искривленного временем пространства, пространства как времени, времени как пространства — и пространства, отторгнутого от времени в конечном трагическом триумфе человеческой мысли: умираю, следовательно, существую.

«Но вот это, — воскликнула Ада, — это несомненно, это реальность, вот она, данность без примесей — этот лес, этот мох, твоя рука, божья коровка у меня на ноге, ведь это не может быть отнято, правда? (Может, и было отнято.) Все это сошлось здесь, как бы ни петляли тропинки и как бы ни путали друг дружку и ни терялись — они неотвратимо сходятся здесь!»

«Нам пора отыскать велосипеды, — сказал Ван, — мы заплутали “в другой части леса”».

«Ах, давай еще повременим, — воскликнула она, — ах, постой!»

«Но я должен выяснить наше место и времянахождение, — сказал Ван. — По философской нужде».

Начинало смеркаться; последние яркие лучи солнца мешкали на западной окраине облачного неба: всем нам случалось видеть человека, который, радостно поздоровавшись с приятелем, переходит улицу со все еще блуждающей улыбкой на лице — сходящей под взглядом прохожего, не ведающего ее причины и способного принять ее за косой отсвет безумия. Разделавшись с этой метафорой, Ван с Адой решили, что и впрямь пора домой. Когда проезжали через Гамлет, вид русского трактира пробудил в них такой зверский голод, что они немедленно спешились и вошли в темную и тесную избу. Ямщик, пивший чай из блюдца, поднося его к чмокающим губам своей широкой лапой, явился прямиком из бараночной связки старых романов. Кроме него в душном срубе была лишь баба в платке, уговаривающая пострела в красной рубашке, болтавшего ногами, приступить к ухе. Она оказалась трактирщицей и встала, «вытирая руки о передник», чтобы принести Аде (которую тут же узнала) и Вану (которого приняла, не ошибившись, за «молодого человека» юной барыни) горку маленьких русских «гамбургеров», называемых «биточками». Каждый из них умял по

полудюжине, после чего они выкатили из жасминовых кустов велосипеды и поспешили дальше. Пришлось зажечь карбидные фонари. Последнюю остановку они сделали перед тем, как въехать в сумрак Ардис-Парка.

По своего рода лирическому совпадению они нашли Марину и м-ль Ларивьер за вечерним чаем на редко посещаемой, русского типа остекленной веранде. Писательница, уже совсем оправившаяся от недомогания, но все еще в цветастом неглиже, только что — по первой чистовой рукописи, которую завтра собиралась перестукать на машинке, — прочитала потягивавшей токайское Марине свой новый рассказ. Охваченная le vin triste Марина была сильно потрясена самоубийством господина «au cou rouge et puissant de veuf encore plein de sève», который, испугавшись, так сказать, испуга своей жертвы, слишком сильно сжал горло девочки, изнасилованной им в минуту «gloutonnerie impardonnable».

Ван выпил стакан молока, и его вдруг охватила такая сладкая истома, что он пожелал немедля лечь спать. «Tant pis, — сказала ненасытная Ада, жадно беря кэксъ. — Гамак?» — осведомилась она, но шатающийся Ван покачал головой и, поцеловав печальную руку Марины, удалился.

«Tant pis», повторила Ада и с несокрушимым аппетитом принялась обмазывать маслом шероховатую, цвета яичного желтка, поверхность толстого куска кекса, щедро нашпигованного изюмом, дягилем, засахаренной вишней и цедратом.

С ужасом и отвращением наблюдавшая за Адой м-ль Ларивьер заметила:

«Je rêve. Il n’est pas possible qu’on mette du beurre par-dessus toute cette pâte britannique, masse indigeste et immonde».

«Et ce n’est que la première tranche», ответила Ада.

«Не хочешь ли посыпать корицей lait caillé? — спросила Марина. — Знаете, Белль (поворачиваясь к м-ль Ларивьер), когда она была малюткой, то звала это “песочком по снегу”».

«Она никогда не была малюткой, — убежденно сказала Белль. — Она могла сломать хребет своей лошадке еще до того, как научилась ходить».

«Любопытно, — спросила Марина, — сколько же верст вы проехали, что наш атлет так изнемог?»

«Всего-то семь», ответила Ада, жуя и улыбаясь.

25

Солнечным сентябрьским утром, с еще зелеными деревьями, но с уже заросшими астрами и блошницей канавами и котловинами, Ван уезжал в Ладогу, Северная Америка, где должен был провести две недели с отцом и тремя наставниками перед возвращением в школу, в холодную Лугу, штат Майн.

Он поцеловал Люсетту в обе ямочки, потом в шейку и подмигнул чопорной Ларивьерше, которая посмотрела на Марину.

Пора! Его провожали: Марина в шлафрокѢ, Люсетта, ласкавшая (в качестве замены) Дака, м-ль Ларивьер, еще не знающая, что Ван не взял с собой книгу, которую она надписала и подарила ему накануне, и два десятка щедро пожалованных слуг (среди которых мы приметили кухонного Кима с камерой), — собственно, все домашние, кроме Бланш, у которой разболелась голова, и обязательной Ады, заранее попросившей извинения, поскольку обещала навестить одного немощного крестьянина (у нее золотое сердце, у этого ребенка, воистину, — с такой охотой и так прозорливо отмечала Марина).

Черный сундук, черный чемодан и пудовые черные гантели Вана поместили на заднее сиденье семейного автомобиля; Бутейан надел капитанскую фуражку, великоватую для него, и виноградно-синие защитные очки; «remouvez votre зад, я поведу», сказал Ван — и лето 1884 года закончилось.

«She rolls sweetly, sir (ход у нее безупречно плавный, сэр), — заметил Бутейан на своем причудливом старомодном английском. — Tous les pneus sont neufs, — продолжил он по-французски, — но, увы, на дороге много камней, а молодость предпочитает быструю езду. Мосье следует быть осторожным. Не знают удержу пустынные ветра. Tel un lis sauvage confiant au désert —»

«Совсем как слуга из старой комедии, не правда ли?» — холодно перебил его Ван.

«Non, Monsieur, — ответил Бутейан, придерживая фуражку. — Non. Tout simplement j’aime bien Monsieur et sa demoiselle».

«Если ты говоришь о малютке Бланш, — сказал Ван, — то тебе следует цитировать Делиля не мне, а своему сынку, который того и гляди ее обрюхатит».

Старый француз косо взглянул на Вана, пожевалъ губами, но промолчал.

«Остановлюсь здесь ненадолго, — сказал Ван, когда они доехали до Лесной Развилки, сразу за Ардисом. — Хочу собрать грибов для отца, которому я непременно (Бутейан сделал движение — очерк вежливого жеста) передам твой поклон. Этим ручным тормозом — да чтоб его — пользовались еще до того, как Людовик Шестнадцатый перебрался в Англию».

«Требует смазки, — сказал Бутейан и поглядел на часы. — Да, у нас вдоволь времени, чтобы поспеть на девять ноль четыре».

Ван углубился в густой подлесок. На нем была шелковая рубашка, бархатный жакет, черные бриджи, сапоги для верховой езды (позвякивали звезды шпор), — и едва ли этот наряд можно было назвать подходящим для того, чтобы уцфръДщЖ ьйхйм пшцчА и щоъояшнтьЁ хшьйо, цфйэе к Аде в естественном осиновом будуаре; срл цихЖуршД, после чего она сказала:

«Так не забудь. Здесь формула нашей переписки. Выучи ее наизусть, после чего проглоти, как хороший маленький шпион».

«Poste restante в оба конца, и я хочу получать не меньше трех писем в неделю, моя бледнокожая любовь».

Впервые он видел ее в этом искристом платье, почти столь же тонком, как ночная сорочка. Ада заплела волосы в косу, и он сказал, что она похожа на молодую сопрано Марию Кузнецову в сцене письма из оперы Чайкова «Онегин и Ольга».

Ада, изо всех своих девичьих сил старавшаяся сдержать и отвести рыданья, превращая их во взволнованные восклицания, указала на какое-то проклятое насекомое, севшее на ствол осины.

(Проклятое? Проклятое? То была только что описанная, невиданная и редчайшая ванесса Nimphalis danaus Nab., оранжево-бурая, с черно-белыми передними кончиками крыльев, мимикрирующая, как установил ее открыватель, профессор Набонид из Вавилонского колледжа в Небраске, не под саму бабочку «монарх», а под нее через ленточника — Limenitis archippus, — одного из самых известных имитаторов монарха. Адиной гневной рукой.)

«Завтра придешь сюда со своей зеленой сеткой, — с горечью сказал Ван, — бабочка моя».

Она целовала его лицо, она целовала его руки, после чего снова — губы, веки, его мягкие черные волосы. Он целовал ее лодыжки, колени, ее мягкие черные волосы.

«Когда, любовь моя, когда снова? В Луге, Калуге, Ладоге? Когда, где?»

«Не это главное, — воскликнул Ван, — главное, главное, главное другое — будешь ли ты верна, будешь ли ты верна мне?»

«Ты плюешься, милый, — сказала она, тускло улыбаясь и вытирая все “в” и “б”. — Не знаю. Я обожаю тебя. Я никогда в жизни никого не полюблю так, как полюбила тебя, никогда и нигде, ни на этом свете, ни на том, ни в Ладоре, ни на Терре, куда, говорят, отлетают наши души. Но! Но, любовь моя, мой Ван, я плотская, ужасно плотская, я не знаю, я откровенна с тобой, qu’y puis-je? Ах, любимый, не спрашивай, одна девочка в школе без ума от меня, сама не знаю, что несу —»

«Девчонки не в счет, — сказал Ван, — но пусть только кто-нибудь мужского пола дотронется до тебя — я убью его. Ночью я пытался сочинить для тебя стихи об этом, но я не поэт; начинается, есть только начало, так: “Сады наши, Ада, отрада…” — остальное в тумане, постарайся вообразить остальное».

Они обнялись в последний раз, и он быстро ушел, не оглядываясь.

Спотыкаясь о дыни, яростно сбивая стеком головки высоких заносчивых

фенхелей, Ван вернулся к Лесной Развилке. Мурио, его лучший вороной жеребец, которого держал молодой Мур, ждал Вана на том месте, где он его оставил. Ван одарил грума пригоршней золотых стелл и галопом поскакал прочь; его перчатки были мокры от слез.

26

Для своей переписки в эту первую разлуку они придумали шифр, который продолжали совершенствовать последующие пятнадцать месяцев после отъезда Вана из Ардиса. Им предстояло провести вдали друг от друга почти четыре года («наша черная радуга» — так называла это время Ада) — с сентября 1884 по июнь 1888, — с двумя короткими интерлюдиями невыносимого блаженства (в августе 1885 и июне 1886) и двумя случайными встречами («сквозь решетку дождя»). Описывать шифры — прескучное занятие, и все же несколько основных положений придется нехотя изложить.

Однобуквенные слова не изменялись. В любом более длинном слове каждая буква заменялась той, которая в азбуке следует за ней — второй, третьей, четвертой и т. д., в зависимости от числа букв в данном слове. Так, слово «люблю», состоящее из пяти букв, превращалось в «рГёрГ» («р» — пятая после «л», «Г» — пятая после «ю» и т. д.); большая буква означала, что алфавит исчерпан и отсчет продолжен с начала: после «ю» в алфавите остается лишь одна буква — яАБВГ. Во время чтения популярных книг о происхождении вселенной (которые беззаботно начинаются с элементарных, нарочито-непринужденных пассажей) наступает ужасный миг, когда страница вдруг зарастает математическими формулами, немедленно застилающими разум читателя. Мы не станем заходить так далеко. Даже самому неискушенному читателю стоит лишь чуть более внимательно и чуть менее предвзято перечитать описание ключа к шифру наших любовников («наших» может стать источником нового раздражения, но не стоит сетовать по этому поводу), как он, хочется верить, уяснит себе это «перетекание» в следующую азбучную серию.

К сожалению, возникли осложнения. Ада предложила ввести следующие улучшения: начинать каждое письмо на шифрованном французском, затем, после первого слова из двух букв, переходить на зашифрованный английский, вновь переключаться на французский после слова из трех букв, и еще перенастраивать челнок разными иными способами. Благодаря этим нововведениям читать послания стало даже труднее, чем писать, особенно потому, что корреспонденты в порывах нежной страсти делали вставки, вымарывали целые строки, перефразировали свои уточнения и неверно восстанавливали удаления, допуская в орфографии и в самой кодировке ошибки, вызванные как их противоборством с несказанным горем, так и чрезмерной замысловатостью используемой тайнописи.

Во время второй разлуки, начавшейся в 1886 году, шифр был полностью изменен. Ван и Ада все еще помнили назубок семьдесят две строчки марвелловского «Сада» и сорок строк «Памяти» Рембо. Из этих двух сочинений они и стали брать буквы для нужных им слов. К примеру, «c2. 11 c1. 2. 20. c2. 8» означало «love» («любовь»), где «c» и идущее за ней число определяло строку в стихотворении Марвелла, а

следующее число указывало на место буквы в этой строке: «с2. 11» — «одиннадцатая буква во второй строке». Полагаю, что здесь нет ничего сложного; если же ради пущей конспирации они прибегали к стихотворению Рембо, указующая на строку буква становилась заглавной. Все это, повторю, скучно излагать и может быть занятно лишь тому, кто надеется (боюсь, напрасно) отыскать в приведенных примерах ошибку. Как бы там ни было, второй код очень скоро обнаружил еще более серьезные изъяны, чем первый. Конспирация требовала, чтобы они не держали стихотворений ни в напечатанном, ни в переписанном виде, и какой бы изумительной силой ни отличалась их память, ошибки неизбежно множились.

На протяжении всего 1886 года они писали друг другу так же часто, как и раньше, не менее одного письма в неделю, но, как ни странно, в их третью разлуку, с января 1887 по июнь 1888 (после очень длинного между-международного дорофонного разговора и очень короткого свидания), их переписка стала оскудевать, сократившись до ничтожных двадцати посланий от Ады (за всю весну 1888 года она отправила всего два или три письма) и примерно вдвое большего числа писем от Вана. Никаких извлечений из этой корреспонденции мы привести не можем, поскольку она была полностью уничтожена в 1889 году.

(Предлагаю совсем исключить эту коротенькую главу. Замечание Ады.)

27

«Марина отзывается о тебе с восторгом и прибавляет: уже чувствуется осень. Как это по-русски. Бабка твоя тоже повторяла эти слова каждый год, в это же время, даже если стоял самый жаркий день на вилле «Армина»: Марина так и не поняла, что это анаграмма моря, а не ее имени. Ты выглядишь замечательно, сынок мой, но могу себе представить, как тебе опостылело общество двух ее девочек. А посему хочу тебе предложить —»

«Ах, что ты, они мне ужасно понравились, — проговорил Ван, — особенно милашка Люсетта».

«Предложить тебе сегодня же составить мне компанию на коктейльной вечеринке. Прием устраивает очаровательная вдова некоего майора де Пре, состоявшего в туманном родстве с нашим покойным соседом, хороший стрелок, но ужасный свет в Бостонском парке, да еще тот неотвязный мусорщик завопил в самый неподходящий момент. Так вот, у этой очаровательной и влиятельной дамы, любезно взявшейся посодействовать одной моей подруге (прочищает горло), есть, как я слышал, пятнадцатилетняя дочь Кордула, которая наверняка вознаградит тебя за то, что ты целое лето играл в жмурки с детьми из Ардисского Леса».

«Мы играли главным образом в “Скрэббл” да в карты, — сказал Ван. — А эта твоя подруга, которой оказывают содействие, тоже моих лет?»

«Она — юная Дузе, — сурово ответил Демон, — а вечеринка — это строго “деловые смотрины”. Ты обхаживаешь Кордулу де Пре, а я — Корделию О’Лири».

«D’accord», сказал Ван.

Мать Кордулы, перезрелая, перекрашенная и перехваленная комедийная актриса, представила Вана турецкому акробату с золотистыми волосками на красивых орангутанговых руках и месмерическим взором шарлатана, каковым он вовсе не был, будучи великим артистом на своем опасном поприще. Ван был так поглощен беседой с ним, наставлениями, которыми он щедро одарил жадно внимавшего мальчика, завистью, честолюбивыми мечтами, восхищением и другими юношескими чувствами, что у него почти не осталось времени ни на Кордулу, круглолицую, маленькую, плотного сложения девушку в темно-красном шерстяном свитере с высоким воротом, ни даже на сногсшибательную молодую леди, голой спины которой его отец легко касался, подводя свою актрисочку то к одному, то к другому полезному гостю. Но вышло так, что тем же вечером Ван столкнулся с Кордулой в книжной лавке, и она сказала: «Кстати, Ван, — я ведь могу тебя так называть, правда? — мы с твоей кузиной Адой однокашницы. О да. А теперь объясни мне, пожалуйста, что ты сделал с нашей норовистой Адой? В первом же своем письме из Ардиса она буквально захлебывалась от восторга — это наша Ада-то! — расписывая такого милого, умного, оригинального, неотразимого —»

«Глупая девочка. Когда это она расписывала?»

«В июне, кажется. Она потом еще раз написала, но ее ответ — потому что я, знаешь ли, здорово ее приревновала к тебе — еще как! — и забросала вопросами, — в общем, ответ был уклончивым и практически не упоминал тебя».

Он более внимательно, чем в первый раз, взглянул на нее. Ван где-то читал (мы можем вспомнить, где именно, если постараемся, не Тильтиль, это из «Синей бороды»…), что мужчина может распознать лезбиянку, молодую и одинокую (поскольку пожилая пара в мужском платье никого не способна обмануть), по сочетанию трех характерных черт: слегка дрожащие руки, насморочный голос и это паническое опусканье глаз, если вам случится с явным одобрением оглядеть те ее прелести, которые обстоятельства принудили ее выставить напоказ (красивые плечи, к примеру). Ни в чем таком (ах да — «Mytilène, petite isle» Луи Пьера), казалось, нельзя было уличить Кордулу, облаченную в «гарботош» (макинтош с пояском) поверх ужасно безвкусного свитера и глубоко засунувшую руки в карманы, с вызовом глядя на него. Стриженые волосы имели нейтральный оттенок между сухой соломой и мокрой. Светло-голубые глаза ничем не отличались от миллионов таких же глаз блеклых представителей семейств французской Эстотии. Ее рот становился кукольно-милым, когда она осознанно надувала губки, отчего на лице у нее появлялись складки, называемые портретистами «серпиками» — в лучшем случае продолговатые ямочки, а в худшем — продольные морщины на обветренных щеках молодых торговок яблоками в валенках. Когда же ее рот приоткрывался, как сейчас, то обнажались зубы в металлических скобах, о которых она, впрочем, сразу вспоминала, вновь соединяя губы в ту же гримасу.

«Моя кузина Ада, — сказал Ван, — девочка лет одиннадцати или двенадцати, еще слишком мала, чтобы влюбляться в кого бы то ни было,

кроме героев романов. Да, я тоже нахожу ее милой. Немного синий чулок, возможно, и в то же время дерзкая и капризная, но, да, милая».

«Воображаю», проговорила Кордула с такой тонкой задумчивой интонацией, что Ван не мог бы сказать, желает ли она закрыть тему, оставить ее приоткрытой, или открыть новую.

«Как я могу снестись с тобой? — спросил он. — Не хочешь ли приехать в Ривердейн? Ты девственница?»

«Я не хожу на свидания с хулиганами, — спокойно ответила она, — но ты всегда можешь “снестись” со мной через Аду. Хотя мы с ней и в разных классах, и не только в прямом смысле слова (смеется), она — маленький гений, а я — обычная американская девочка-амбиверт, мы записаны в одну группу — повышенной сложности — по изучению французского, и потому у нас общий дортуар, так что дюжина блондинок, три брюнетки и одна рыжая девочка, la Rousse, могут шептаться по-французски даже во сне» (одиноко смеется).

«Превесело. Отлично, спасибо. Из четного числа девочек следует, что кровати двухъярусные. Что ж, мы с тобой еще встретимся, как говорят хулиганы».

В следующем своем шифрованном послании Ван поинтересовался у Ады, не зовут ли, часом, ту лезбияночку, о которой она упомянула с таким излишним чувством вины, Кордулой? Я бы скорее приревновал тебя к твоей собственной ладошке, — прибавил он. Ада ответила: «Что за вздор, оставь в покое эту, как там ее зовут»; но даже тогда, еще не зная, как отчаянно Ада может лгать, прикрывая сообщника, Ван не избавился от своих сомнений.

Правила в ее школе царили старомодные и суровые до идиотизма, но они ностальгически напоминали Марине тот русский институт благородных девиц в Юконске, в котором она нарушала их намного легче и успешнее, чем Ада и Кордула или Грейс в Браунхилле. Свидания девочек с мальчиками дозволялись три-четыре раза за семестр во время унылых чаепитий с розовыми пирожными в гостиной директрисы; тем школьницам, которые достигли двенадцати-тринадцати лет, каждое третье воскресенье разрешалось встречаться с отпрысками благородных семейств в сертифицированном молочном баре, всего в нескольких кварталах от школы и под присмотром старшей девочки безупречных моральных принципов.

Ван собрался с духом и решился повидать Аду, надеясь взмахом своей волшебной палочки превратить приставленную к ней молодую товарку в ложку или в плошку. Требовалось, кроме того, чтобы мать жертвы по меньшей мере за две недели одобрила «свидание». Школьная директриса, сочноголосая мисс Клефт, позвонила Марине, которая сказала, что Ада едва ли нуждается в компаньонке для встречи со своим кузеном, который сам все лето сопровождал ее всюду дни напролет.

«В том-то и дело! — возразила мисс Клефт. — Гуляющие вдвоем и такие юные особенно склонны к сближению, а где бутончик, там и шип».

«Да они, в сущности, брат и сестра!» — воскликнула Марина, полагавшая, как многие недалекие люди, что выражение «в сущности» действует в обоих направлениях — снижает истинность утверждения и придает трюизму видимость истины.

«Что лишь усиливает наши опасения, — проникновенно ответила педагогиня. — Впрочем, я согласна на компромисс и попрошу дорогушу Кордулу де Пре сопровождать Аду: она восторгается Иваном и обожает Аду — следовательно, только украсит торт розочкой». (Избитое выражение, избитое уже тогда.)

«Батюшки, что за фигли-мигли», сказала Марина, повесив трубку.

В мрачном расположении духа, не зная, чего ожидать (стратегическое предвиденье помогло бы вынести испытание), Ван поджидал Аду в безотрадном переулке на задах школы, где в лужах отражалось серое небо и ограда хоккейной площадки. Чуть поодаль, у ворот, стоял такой же ждущий юноша — разодетый в пух и прах местный старшеклассник.

Ван уже было повернулся, чтобы уйти обратно на станцию, когда появилась Ада — с Кордулой. La bonne surprise! Он набросился на них с отвратительным показным радушием («Как ты жива-здорова, милая кузина! О, Кордула! Кто же из вас двоих в роли дуэньи, ты или мисс Вин?»). Милая кузина надела блестящий черный плащ и непромокаемую шляпу с опущенными полями, будто готовилась спасать кого-то от жизненных или морских напастей. Крохотный кусочек пластыря не полностью скрывал прыщик сбоку на подбородке. Ее дыхание отдавало эфиром. Она была еще мрачнее Вана. Он весело предположил, что сейчас польет. И дождь полил — как из ведра. Кордула сказала, что его «тренч» очень элегантен. Нет, не стоит возвращаться за зонтиками, добавила она, их заветная цель в двух шагах, только угол обогнуть. Ван сказал, что углы несгибаемы — угловатая острота, но сойдет. Кордула рассмеялась. Ада хранила молчание: выживших, по-видимому, не оказалось.

В молочном баре яблоку негде было упасть, и потому они решили прогуляться под Аркадами к станционному кафе. Он сознавал (но ничего не мог изменить), что всю ночь будет сожалеть о своем намеренном невнимании к тому обстоятельству — главнейшему, мучительнейшему обстоятельству, — что он не видел свою Аду почти три месяца и что последняя ее записка пылала такой страстью, от которой лопнула криптографическая оболочка, обнажив дерзкую, божественную строчку незашифрованной любви в ее бедном маленьком послании обещания и надежды. Они держали себя так, будто только что познакомились, как если бы это было всего лишь свидание «вслепую», устроенное их компаньонкой. Странные, злобные мысли проносились у него в голове. Как именно — не потому, чтобы это было важно, но на карту были поставлены его гордость и любопытство, — как именно они это делали, две эти неопрятные девчонки, — в прошлом семестре, в этом семестре, прошлой ночью, каждой ночью, в одних своих пижамках (без штанишек), среди шепотов и стонов их ненормального дортуара? Спросить? Сможет ли он найти верные слова, чтобы не ранить Аду, но в то же время дать понять ее коечной сучке, как он презирает ее за то, что она смеет

распалять это дитя, такое темноволосое и бледное, гладкое и ладное, длинноногое и покорное, хнычущее на тающей вершине? Когда он увидел, как они идут к нему: невзрачная, страдающая морской болезнью, но исполняющая свой долг Ада и насквозь порочная, но отважная Кордула — вроде двух закованных в кандалы пленниц, которых ведут к завоевателю, — он дал себе слово отомстить за обман, рассказав, в приличных, но мельчайших подробностях, о последнем гомосексуальном, или, вернее, псевдогомосексуальном скандале в его школе (старшеклассника, кузена Кордулы, накрыли вместе с девицей, переодетой мальчиком, в комнате эклектичного старосты). Вот бы он поглядел, как они вздрогнут, вот бы потребовал от них рассказать взамен что-нибудь в таком духе. Но это желание угасло; он все еще надеялся избавиться хотя бы на минуту от занудной Кордулы и сказать тусклой Аде какое-нибудь хлесткое и обидное слово, чтобы у нее из глаз брызнули яркие слезы. Но к этому подталкивало его amour-propre, а не sale amour двух девочек. Он так и умрет со старым каламбуром на устах. И почему «грязная»? Испытывал ли он прустовские терзания? Нисколько. Напротив, представляя себе, как они ласкают друг друга, он ощущал уколы извращенного удовольствия. Перед его внутренним взором налитых кровью глаз Ада дублировалась и обогащалась, раздвоенная сплетением, отдавая то, что отдавал он, и беря то, что взял он: Корада, Адула. Его пронзила мысль: до чего же маленькая коренастая графинюшка похожа на его первую шлюшку, и от этого зуд только усилился.

Они говорили о занятиях и учителях, и Ван сказал:

«Мне любопытно знать ваше мнение, Ада и Кордула, по следующему литературному вопросу. Наш профессор французской литературы утверждает, что во всей трактовке любовной связи Марселя и Альбертины имеется серьезный философский, а значит, и художественный изъян. В ней есть смысл лишь при условии, что читатель знает, что рассказчик уранист и что гладкие толстые щеки Альбертины — это гладкие толстые ягодицы Альберта. Но в истории нет никакого проку, если нельзя ожидать и требовать от читателя, чтобы он, желая в полной мере насладиться произведением искусства, хотя бы в общих чертах был осведомлен о постельных предпочтениях автора книги. Мой учитель полагает, что если читатель ничего не знает об извращении Пруста, подробное описание мучений гетеросексуального мужчины, ревниво следящего за гомосексуальной женщиной, покажется ему смехотворным, поскольку нормального мужчину могли бы только позабавить и даже обрадовать сапфические шалости его возлюбленной. Профессор заключает, что роман, который может оценить лишь quelque petite blanchisseuse, разобравшая грязное белье автора, с точки зрения искусства провален».

«Ада, о чем это он толкует? О каком-то итальянском фильме, который он посмотрел?»

«Ван, — устало сказала Ада, — тебе невдомек, что в нашей школе класс глубокого изучения французского углубился в него не далее Ракана и Расина».

«Оставим это», сказал Ван.

«Но ты перебрал Марселя», проворчала Ада.

На вокзале имелась полуприватная чайная, которой заведовала жена станционного смотрителя — под идиотским покровительством школы. В зальце было пусто, только стройная и высокая дама в черном бархате и живописной, тоже черной и бархатной, широкополой шляпе сидела спиной к ним у «тоник-бара». Она так и не повернула головы в их сторону, но у Вана мелькнула мысль, что это, должно быть, тулузская кокотка. Наша промокшая троица заняла уютный угловой столик, с обычным в таких случаях вздохом облегчения расстегнув плащи. Он надеялся, что Ада снимет штормовую шляпу, но она не сняла, потому что остригла волосы, потому что у нее были ужасные мигрени, потому что не хотела, чтобы он видел ее в роли умирающего Ромео.

(On fait son grand Joyce, сделав своего petit Proust. Адиной милой рукой.)

(Но читай дальше, это же чистый В.В. Обрати внимание на эту даму! Корявым почерком Вана — писано в постели на бюваре.)

Когда Ада потянулась за сливками, он поймал и внимательно осмотрел ее руку, притворившуюся мертвой. Нам памятна траурница, на мгновенье севшая к нам на ладонь, плотно сложив крылья, и вдруг исчезнувшая. Он с удовлетворением отметил, что ногти ее теперь длинны и остры.

«Не слишком ли они остры, дорогая?», спросил он, намекая на дуру Кордулу, которой следовало бы уйти в уборную — несбыточная мечта.

«Нет, а что?»

«Ты ведь, — продолжил он, не в силах остановиться, — не царапаешь малышей, когда гладишь их? Взгляни-ка на руку твоей подружки (берет ее), посмотри на эти изящные короткие ноготки (невинно-холодная покорная лапка!). Такими не поцарапать и самый тонкий атлас, не правда ли, Ардула, то есть Кордула?»

Обе захихикали, и Кордула чмокнула Аду в щечку. Ван не знал, какой реакции он ожидал, но этот простецкий поцелуй его обезоружил и разочаровал. Нарастающий стук колес заглушил шум дождя. Он взглянул на свои ручные часы, перевел взгляд на часы стенные. Сказал, что ему жаль, но это его поезд.

«Будет тебе, — писала Ада (ее письмо приводится в пересказе) в ответ на его униженные извинения. — Мы просто решили, что ты был пьян; но я никогда больше не приглашу тебя в Браунхилл, любовь моя».

28

1880 год (Аква все еще была жива — как-то, где-то!) стал годом высшего расцвета его способностей и восприимчивости за всю его долгую, слишком долгую, всегда недостаточно долгую жизнь. Ему было десять лет. Демон в то время жил на Западе, многоцветные горы которого действовали на Вана так же, как на всякого гениального

русского ребенка. Менее чем за двадцать минут он мог решить задачу эйлеровского типа или выучить стихотворение Пушкина «Всадник без головы». Часами лежа в лиловой тени розовых скал рядом с восторженно потевшим, одетым в белую блузу Андреем Андреевичем, он штудировал крупных и мелких русских писателей и распутывал преувеличенные, но, в общем, скорее лестные аллюзии на полеты и похождения его отца в другой жизни, которыми были полны отчетливые, как грань алмаза, четырехстопники Лермонтова. Он сдерживал слезы, когда ААА, высмаркивая свой красный нос картошкой, показывал ему глиняный отпечаток по-крестьянски босой ноги Толстого, сохраненный во дворе мотеля в штате Юта, где граф сочинил повесть о Мюрате, вожде племени навахо и побочном сыне французского генерала, застреленном Корой Де в его собственном бассейне. Ах, какое сопрано было у этой Коры! Демон водил сына на представления всемирно известного оперного театра в Теллуриде (Западное Колорадо), где Ван с удовольствием (а иногда с отвращением) смотрел величайшие в мире спектакли — английские пьесы нерифмованным пятистопным ямбом, французские трагедии в рифмованных двустишиях, громовые германские музыкальные драмы с великанами, колдунами и белой испражняющейся лошадью. Он переболел множеством разных страстишек — домашними фокусами, шахматами, боксерскими поединками в сверхлегком весе (на ярмарках), вольтижировкой и, конечно, теми незабвенными, слишком ранними инициациями, когда его прелестная английская гувернантка умело ласкала его между молочным коктейлем и отходом ко сну — в одной нижней юбке, совсем еще юная, с маленькими грудками, полуодетая для какой-то вечеринки с сестрой, Демоном и мистером Планкеттом, компаньоном Демона в его скитаниях по игорным домам, его тело- и ангелом-хранителем, наставником и советником, к тому времени бросившим свое опасное ремесло.

В прошлом, когда его лихая жизнь била ключом, мистер Планкетт был одним из величайших шулеровъ, вежливо именуемых в Англии, а равно и в Америке «карточными магами». В возрасте сорока лет, в разгар игры в дро-покер, у него как-то из-за сердечной недостаточности случился обморок (позволивший, увы, грязным лапам неудачника обшарить его карманы); несколько лет он провел в тюрьме, обратился к католицизму своих праотцов и, выйдя на свободу, без большого рвения занялся миссионерской деятельностью, написал пособие для начинающих иллюзионистов, вел колонки бриджа в нескольких газетах и оказывал услуги по части сыска (двое его дюжих сыновей служили в полиции). Нещадность лютого времени и кое-какие хирургические поправки, внесенные в его суровые черты, сделали серое лицо мистера Планкетта если не более привлекательным, то хотя бы менее узнаваемым — для всех, кроме двух-трех старых подельников, которые, впрочем, стали избегать его жутковатого общества. Этот видавший виды человек завораживал Вана даже сильнее Кинга Винга, сам же грубый, но добродушный мистер Планкетт не смог устоять перед юношеской увлеченностью (нам всем нравится нравиться) и обучил Вана нескольким приемам своего искусства, ставшего в силу обстоятельств чистым и отвлеченным, и потому подлинным. Мистер Планкетт полагал, что использование механических средств, зеркал и пошлых «рукавов с пружинками» неизбежно ведет к разоблачению, точно так же, как применение студней, миткаля, резиновых рук и всего такого прочего пятнает и укорачивает карьеру профессионального медиума. Он объяснил

Вану, что нужно искать, когда подозреваешь мошенника, отвлекающего внимание всякими яркими штуками (таких дилетантов, нередко состоящих членами всяких фешенебельных клубов, профессионалы называют «гирляндами» или «светлячками»). Мистер Планкетт верил исключительно в ловкость рук: потайные карманы, конечно, удобны, но их могут вывернуть наружу. Главное — это «чувство» карты, вкрадчивость ее утайки, деликатность пальпации, иллюзорная тасовка, уменье незаметно обобрать колоду, вынести из нее нужную карту и предопределить исход игры. А все это достигается исключительно тренировкой пальцев, мгновенный перебор которых может буквально растворить или, напротив, материализовать джокера или превратить две пары в каре королей. Одно непременное условие при использовании дополнительной колоды, если не удалось заранее сдать нужные карты, — точное запоминание сброшенных игроками карт. Несколько месяцев Ван упражнялся в карточных трюках, но затем увлекся другими забавами. Он был из тех учеников, кто схватывает на лету и потом хранит снабженные ярлыками склянки в прохладном месте.

В 1885 году, окончив школу, он поступил в Чузский университет в Англии, в котором учились его предки. Время от времени он ездил в Лондон или Люту — как процветающие, но не слишком утонченные британские переселенцы называли этот очаровательный и печальный жемчужно-серый город на другой стороне Ла-Манша.

Как-то зимой 1886/87 года, в уныло-промозглом Чузе, играя в покер с двумя французами и своим однокашником, которого назовем Диком, в изысканно обставленных апартаментах последнего в Сиренити-Корт, Ван заметил, что близнецы-французы проигрывают не столько потому, что безмятежно и безнадежно пьяны, сколько оттого, что милордъ оказался тем самым «кристальным кретином», как таких называл мистер Планкетт, — человеком множества зеркал, небольших отражающих поверхностей, разной формы и по-разному направленных, сдержанно мерцавших на часах или перстне, скрытых, как самки светляков в подлеске, на ножках стола, внутри манжеты или лацкана, и на гранях пепельниц, взаимозависимое положение которых Дик время от времени менял с нарочитой небрежностью, — любой знаток карточного дела сказал бы, что все это было так же глупо, как и избыточно.

Выждав некоторое время и проиграв несколько тысяч, Ван решил вспомнить кое-какие старые уроки. В игре наступил перерыв. Дик поднялся из-за стола и отошел в угол комнаты, к переговорной трубке, распорядиться, чтобы принесли еще вина. Несчастные близнецы, подсчитывая сумму проигрыша, превысившего потери Вана, передавали друг другу автоматическую ручку, большим пальцем щелкая кнопкой при каждом катастрофическом переходе. Ван опустил колоду в карман и тоже встал, поводя своими могучими затекшими плечами.

«Скажи-ка, Дик, — спросил он, — не знавал ли ты в Штатах игрока по имени Планкетт? Когда мы с ним были знакомы, он был плешивым седым малым».

«Планкетт? Планкетт? Должно быть, играл до меня. Не тот ли, который стал священником или вроде того? А почему ты спрашиваешь?»

«Один из приятелей моего отца. Великий артист».

«Артист? Художник, что ли?»

«Да, художник. И я художник. Полагаю, что ты и себя считаешь художником. Многие так думают».

«Что значит художник?»

«Нелегальная обсерватория», быстро ответил Ван.

«Что-то из нового романа», сказал Дик, бросая папиросу после нескольких жадных затяжек.

«Из Вана Вина», сказал Ван Вин.

Дик вернулся к столу. Вошел слуга с вином. Ван укрылся в уборной, где принялся «колдовать над колодой», как старина Планкетт называл это занятие. Ван вспомнил, что в последний раз занимался карточной магией, когда показывал некоторые трюки Демону, не одобрившему их покерный уклон. Ах да, после того был еще случай, в клинике, когда он умиротворял одного спятившего фокусника, помешавшегося на идее некой связи земного притяжения с кровообращением Вседержителя.

Ван был настолько же уверен в своем мастерстве, насколько и в глупости милорда, он сомневался лишь в том, что сможет продержаться на должном уровне от начала и до конца. Ему было жаль Дика, который был не только жуликом-любителем, но и простодушным изнеженным пшютом с одутловатым лицом и пухлым телом — такого свалишь с ног одной левой. Простак рассказывал всем подряд, что если родители и дальше будут отказываться платить по его (громадным и банальным) долгам, он уедет в Австралию, чтобы там наделать новых, да еще в дороге подмахнет несколько фальшивых чеков.

Теперь же, constatait avec plaisir своим жертвам Дик, всего несколько сотен фунтов отделяют его от спасительной гавани — той минимальной суммы, которая была потребна ему, чтобы умилостивить самого грозного из кредиторов. Говоря все это, он с безоглядной поспешностью продолжал обирать несчастных Жана и Жака, пока не обнаружил у себя на руках трех настоящих тузов, любовно сданных ему Ваном (ловко собравшим себе четыре девятки). Затем последовал недурной блеф против еще лучшего, и мукам безнадежно мерцавшего лорда, принявшего от щедрого Вана хорошие, но недостаточно хорошие карты, наступил внезапный конец (лондонские портные заламывали руки в тумане, а неумолимый ростовщик, знаменитый Сен-При Чузский, просил аудиенции у отца Дика): после самой ожесточенной торговли из когда-либо виденных Ваном, Жак вскрыл свою жалкую карту (couleur, как он назвал ее шепотом умирающего), и стрейт-флеш Дика проиграл рояль-флешу его истязателя.

Ван, до этой минуты без большого труда скрывавший свои деликатные манипуляции от дурацких линз Дика, теперь с удовольствием заметил, что тот успел углядеть второго джокера в ладони своего противника, мелькнувшего, когда Ван собрал со стола и прижал к груди «костяную

радугу» — Планкетт был сущим поэтом. Близнецы повязали галстуки, надели сюртуки и сказали, что им пора уходить.

«И мне пора, Дик, — сказал Ван. — Жаль, что ты так понадеялся на свои хрустальные шары. Я все думаю, отчего русское слово для таких, как ты, — кажется, у нас есть общий русский предок, — то же, что и “школьник” по-немецки, только без умляута». Говоря так, Ван протянул восторженно остолбеневшим французам наспех выписанный чек, полностью возмещавший их проигрыш. Затем он зачерпнул в горсть карты и фишки и швырнул их Дику в лицо. Снаряды еще не достигли цели, как он уже пожалел о своем жестоком и пошлом «красивом жесте», поскольку бедняга ничем не мог на него ответить и просто сидел, прикрыв один глаз и рассматривая другим, тоже слегка кровоточащим, свои треснувшие очки, в то время как французские близнецы с двух сторон совали ему носовые платки, от которых он добродушно отмахивался. Розовая заря дрожала в зеленом Сиренити-Корт. Трудолюбивый старик Чуз.

(Здесь должен быть знак, означающий рукоплескания. Приписка рукой Ады.)

Ван корил себя весь остаток утра и, не спеша приняв горячую ванну (лучшая на свете советчица, подсказчица и вдохновительница — после, разумеется, сиденья клозета), решил письменно принести извинения обмишуленному шулеру. Когда он одевался, посыльный принес ему записку от лорда Ч. (последний приходился двоюродным братом одному из соучеников Вана по Ривердейну): великодушный Дик предлагал в погашение своего долга устроить Вану членство в клубе «Вилла Венус», в котором состоял весь его клан. О таком царском подарке не мог бы мечтать ни один восемнадцатилетний юнец. То был билет в рай. Ван недолго поборолся со своей несколько неповоротливой совестью (оба ухмылялись, как давние приятели в своем старом гимнастическом зале) и принял это предложение.

(Полагаю, Ван, тебе следует пояснить, почему ты, самый гордый и чистый из людей — я не говорю о презренной плоти, в этом отношении мы все устроены одинаково, — но как ты, брезгливый Ван, мог принять предложение мошенника, который, без сомнения, продолжил «мерцать и поблескивать» после того фиаско? Полагаю, ты должен объяснить, primo, что ты был сильно переутомлен работой, и, secundo, что ты не мог смириться с мыслью, что этот негодяй знает, что он негодяй, что дуэль исключена и что ты, так сказать, в безопасности. Верно? Ван, ты слышишь меня? Я думаю —)

После той ночи Дик «мерцал» недолго. Лет пять-шесть спустя, в Монте-Карло, Ван проходил мимо тротуарного кафе, и кто-то схватил его за локоть: сияющий, румяный, сравнительно респектабельный Дик Ч. наклонился к нему через петунии решетчатой балюстрады.

«Ван, — вскричал он, — я покончил со всей той зеркальной пакостью,

поздравь меня! Слушай: единственный безопасный способ, это крапáть! Погоди, это еще не все. Представь, что придумали: наносить микроскопическую — то есть именно микроскопическую — крупицу эвфориона, бесценный металл, под ноготь большого пальца: невооруженным глазом ты ничего не увидишь, но один малый сектор твоего монокля сделан таким образом, что многократно увеличивает крап, который ты, словно давя блох, наносишь карта за картой, как они идут в игре. Что за прелесть: ни приготовлений, ни реквизита, ничего! Метишь себе и метишь!» — все еще восклицал старина Дик в спину уходящему Вану.

29

В середине июля 1886 года, пока Ван выигрывал турнир по настольному теннису на борту роскошного лайнера (теперь ему требуется целая неделя, чтобы дойти в своем белоснежном достоинстве из Дувра до Манхэттена!), Марину, обеих ее дочерей, их гувернантку и двух горничных на разных железнодорожных станциях по пути из Лос-Анджелеса в Ладору более или менее одновременно трясла русская инфлюенца. В посланной из Чикаго гидрограмме, ожидавшей Вана в доме его отца 21 июля (день ее дорогого рождения!), сообщалось: «дадаист нетерпелив пациент прибудет между двадцать четвертым и двадцать седьмым позвони дорис возможна встреча привет окрестность».

«Что мучительно напомнило те “голубянки” (petits bleus), которые Аква посылала мне, — со вздохом заметил Демон, машинально вскрыв послание. — А что, эта нежная окрестность — какая-нибудь девушка, которую я знаю? Нет? Потому что, сколько ни сверли меня взглядом, это не похоже на послание одного доктора другому».

Ван поднял глаза к потолку малой столовой, расписанному Буше, и, покачав головой в ироничном восхищении, отозвался на Демонову проницательность. Да, все верно. Ему немедленно придется уехать в Тверп (анаграмма слова «привет», следишь?), городок в другой стороне от Кодорги (следишь?), чтобы посетить одну сумасшедшую молодую художницу по имени Дорис, не то Одрис, у которой на картинах только лошадки да богатые пожилые поклонники.

Под фальшивым именем (Буше) Ван снял комнату в единственном трактире убогой деревни Малагар, стоящей на берегу Ладоры в тридцати верстах от Ардиса. Ночь он провел, сражаясь с прославленным москитом или его cousin, жаждавшим Вановой крови намного сильнее ардисовских тварей. Отхожее место в доме представляло собой черную дыру со следами фекальных эксплозий между двух гигантских подошв раскорячившегося овцевода. 25 июля в семь часов утра он дорофонировал в Ардис-Холл из малагарского почтового отделения, и его соединили с Бутом, который в этот момент соединялся с Бланш и принял Вана за дворецкого.

«Чорт, па, — огрызнулся он в дорофон у кровати, — я занят!»

«Мне нужна Бланш, идиот», рявкнул Ван.

«Oh, pardon, — воскликнул Бут, — un moment, Monsieur».

Послышался звук вынимаемой пробки (пьют рейнвейн в семь утра!), и Бланш взяла трубку, но едва Ван принялся передавать для кузины тщательно составленное сообщение, как сама Адушка, проведшая всю ночь настороже, ответила ему из детской, где под сломанным барометром дрожал и журчал самый ясный аппарат в доме.

«Через сорок пять минут на Лесной Развилке, — сказал Ван. — Прости, что плююсь».

«Башня!» — отозвался ее милый звонкий голос — так авиатор из небесной синевы отвечает: «Есть!»

Он оседлал взятый напрокат мотоцикл, маститую машину с обтянутым бильярдным сукном сиденьем и вычурным рулем, украшенным поддельным перламутром, и помчал, подскакивая на древесных корнях, по узкой «лесной стезе». Сначала он увидел звезду отражателя ее брошенного велосипеда, а затем и ее: сложив руки, она стояла рядом с велосипедом, оглядываясь в оцепенении застенчивости — черноволосый белокожий ангел в одном купальном халатике и ночных туфлях. Неся ее на руках в ближайшую чащу, он чувствовал жар ее тела, но понял, как сильно ее лихорадит лишь после двух неистовых спазмов, когда она поднялась, вся в мелких бурых муравьях, и побрела в сторону, шатаясь и спотыкаясь, по-английски бормоча, что цыгане («джипсис») угоняют их джипы.

Гадкое, но прекрасное свидание. Он не мог вспомнить —

(Верно, я тоже не могу. Ада.)

— ни единого сказанного ею слова, ни одного вопроса или ответа. Закатив поглубже в заросли ее велосипед, он мигом доставил ее к дому, настолько близко, насколько отважился, а когда вечером вновь позвонил Бланш, та драматично прошептала, что у Mademoiselle une belle pneumonie, mon pauvre Monsieur.

Три дня спустя ей стало намного лучше, но Вану пришлось вернуться в Манхэттен, чтобы сесть на тот же корабль и отплыть в Англию, а оттуда оправиться в цирковое турне вместе с людьми, которых он не мог подвести.

Его провожал отец. Демон выкрасил волосы в наичернейший черный цвет. На пальце у него гранями Кавказского хребта сияло алмазное кольцо. Его долгие, черные, в лазурных пятнышках крылья волочились за ним и мелко дрожали в океанском бризе. Люди оглядывались. Случайная Тамара — сурьмой подведенные глаза, Казбекский румянец и фламинговое боа — никак не могла решить, что больше придется по душе ее демоническому любовнику: если она просто будет вздыхать и не станет обращать внимания на его красавца-сына или же, напротив, оценит синебородую мужественность, отраженную в мрачном Ване, которого мутило от ее кавказских духов «Granial Maza», семь долларов флакон.

(Знаешь, Ван, эта глава пока что моя самая любимая, не знаю почему, но она мне страшно нравится. Ты даже можешь оставить свою Бланш в объятиях ее молодого любовника, даже это не имеет значения.

Нежнейшим из почерков Ады.)

30

5 февраля 1887 года «Пустослов» («The Ranter», обыкновенно столь саркастичный и придирчивый чузский еженедельник) поместил на первой странице неподписанную статью, в которой охарактеризовал выступление Маскодагамы как «совершенно потрясающий и единственный в своем роде трюк, когда-либо показанный пресыщенной публике мюзик-холлов». Выступление повторилось несколько раз в Ранта-ривер Клубе, но ни в программе, ни в рекламных объявлениях ничто, кроме определения «Иностранный эксцентрик», не указывало ни на характер «трюка», ни на личность исполнителя. Осмотрительно и умело пущенные друзьями Маскодагамы слухи склоняли к мысли, что он — таинственный гость из-за Золотого Занавеса; эта версия казалась тем более убедительной, что именно тогда (то есть накануне Крымской войны) не менее полудюжины артистов прибывшего из Татарии большого «Цирка Доброй Воли» — три танцовщицы, старый больной клоун со своим старым говорящим козлом и муж одной из танцовщиц, гример (двойной или тройной агент, вне всяких сомнений), — где-то между Францией и Англией, в недавно построенном «Чаннеле», запросили политическое убежище. Грандиозный успех Маскодагамы в театральном клубе, репертуар которого обыкновенно ограничивался елизаветинскими пьесами с королевами и феями в исполнении хорошеньких мальчиков, прежде всего вдохновил карикатуристов: деканы, местные политики, государственные мужи различных наций и, само собой, тогдашний правитель Золотой Орды изображались злободневными юмористами Маскодагамами. В Оксфорде (женский колледж неподалеку) местные буяны освистали гротескного подражателя, которым на самом деле был настоящий Маскодагама, показавший слишком замысловатую пародию на собственное выступление. Один пронырливый репортер, ухитрившийся подслушать, как он чертыхнулся из-за складки на ковре сцены, написал в газете, что «то был говор янки». Многоуважаемый господин «Васкодагама» получил приглашение в Виндзорский замок от самого его владельца (имевшего общих с Ваном предков как по мужской, так и по женской линиям), но отклонил его, заподозрив (безосновательно, как выяснилось позднее) в допущенной опечатке намек на то, что его инкогнито раскрыто одним из чузских сыщиков — быть может, тем же самым, который недавно спас психиатра П. О. Темкина от кинжала кн. Потемкина, неуравновешенного юнца из Севастополя, штат Айдахо.

Во время своих первых летних вакаций Ван работал под руководством Темкина в знаменитой чузской клинике над амбициозной, но оставшейся незавершенной диссертацией «Терра: Реальность Отшельника или Коллективная Греза?». Он проинтервьюировал множество невротиков, среди прочих — артистов варьете, писателей и по меньшей мере трех интеллектуально блестящих, но духовно «потерянных» космологов, то ли состоявших в телепатическом сговоре (они никогда не встречались и даже не знали о существовании друг друга), то ли действительно открывших (неведомо как и где, быть может, с помощью своего рода запрещенных «волн») зеленую планету, которая вращается в пространстве и спирально кружит во времени, которая в терминах материи-и-разума совсем как наша и которую они описывали с одинаковыми характерными подробностями, как три человека,

наблюдающие из трех разных окон уличное карнавальное шествие.

Свой досуг он посвящал буйным кутежам.

Как-то в августе известный лондонский театр предложил ему контракт на серию дневных и вечерних выступлений во время рождественских каникул, да еще по спектаклю каждый уик-энд в течение всего зимнего сезона. Он охотно согласился, поскольку остро нуждался в действенном отвлечении от своих опасных занятий: в той особого рода прилипчивой мании, которой страдали пациенты Темкина, таилось что-то такое, против чего молодые исследователи были беззащитны.

Слава Маскодагамы не могла не достичь американского захолустья: в самом начале 1888 года газеты Ладоры, Ладоги, Лагуны, Лугано и Луги перепечатали снимок знаменитости, правда, лицо закрывала маска, но она не могла обмануть ни любящего родственника, ни преданного слугу. Сопровождавший снимок репортаж, однако, не был воспроизведен: лишь поэт, и только поэт («в особенности принадлежащий к группе Черной Часовни», как выразился один острослов) мог бы подобающим образом передать тот макаберный трепет, которым был отмечен поразительный номер Вана.

Поднялся занавес, но сцена оставалась пустой; затем, после пяти медленных сердечных ударов театрального напряжения, под аккомпанемент глухих барабанов дервишей что-то громадное и черное вылетело из-за кулис. Его мощное и стремительное появление так глубоко потрясло детей в зале, что долго еще после этого, во тьме горьких бессонниц, в ослеплении жестоких кошмаров, впечатлительные мальчики и девочки переживали и помнили, каждый по-своему, что-то вроде «первобытного ужаса», бесформенное зло, свист безымянных крыл, невыносимо ширящийся бред огневицы, веющий пещерным сквозняком со страшной сцены. На залитое резким светом, устланное кричаще-яркими коврами пространство бегом ворвался великан в маске, добрых восьми футов росту, твердо ступая мягкими кожаными сапогами, в каких пляшут казаки. Широкий мохнатый черный плащ, напоминающий бурку, окутывал его silhouette inquiétante (как описала его корреспондентка из Сорбонны: все эти вырезки мы сохранили) от шеи до колен — или того, что казалось этими частями его тела. На голове у него была каракулевая папаха. Черная маска скрывала верхнюю часть его густо заросшего бородой лица. Противный исполин некоторое время важно прохаживался по сцене, затем он начал беспокойно семенить, как запертый в клетке безумец, после чего побежка перешла в кружение на месте и вдруг, под звон оркестровых тарелок и крик ужаса (вероятно, поддельного) с галерки, Маскодагама перевернулся в воздухе и встал на голову.

В этой нелепой и жутковатой позе, с папахой в виде подкладки для ложноножки, он подпрыгивал на месте, как на «кузнечике», и вдруг распался на части. Мокрое от пота лицо Вана ухмылялось между голенищами сапог, все еще надетых на его вытянутые вверх руки. В тот же миг его настоящие ноги сбили на пол и футбольным ударом отправили в сторону фальшивую голову вместе с измятой папахой и бородатой маской. Волшебная инверсия «исторгла у публики стон изумления», за которым последовали «бешеные» («оглушительные», «громовые»,

«поистине ураганные») аплодисменты. Одним прыжком он исчез за сценой, через секунду вернулся, теперь уже в черном трико, и принялся отплясывать джигу на руках.

Мы уделяем описанию его трюка так много места не только оттого, что артистов варьете, выступающих в «эксцентрическом жанре», забывают особенно скоро, но еще и оттого, что нам любопытно проанализировать его щекочущую нервы притягательность. Ни поразительный перехват мяча на крикетной площадке, ни великолепный гол, забитый на футбольном поле (в двух этих славных играх Ван выступал за сборную колледжа), ни более ранние триумфы силы, когда он, в первый же день в Ривердейне, ударом кулака сбил с ног самого здоровенного из школьных задир, не доставили Вану того наслаждения, какое испытал Маскодагама. Оно не имело прямого отношения к горячему дыханию удовлетворенного честолюбия, хотя, будучи уже очень старым человеком и оглядываясь назад, на жизнь, полную неоцененных усилий, Ван с веселым удовольствием, даже еще большим, чем во дни Маскодагамы, вновь переживал банальную славу и пошлую зависть, которые недолго сопутствовали ему в юности. Позднее, в решении самому себе поставленных, экстравагантно-сложных и на первый взгляд абсурдных задач, когда В.В. стремился выразить нечто, что до своего выражения имело лишь сумеречное бытие или даже вовсе ничего не имело, кроме иллюзии обратной тени своего неизбежного выражения, он испытывал, в сущности, удовольствие того же рода, поскольку природа их была общей. Как карточный домик Ады. Как перевернутая с ног на голову метафора — не ради трудности самого трюка, а чтобы увидеть восходящий водопад или обратное движение солнца: восторжествовать, в некотором смысле, над ардисом времени. И потому восторг молодого Маскодагамы, вызванный преодолением гравитации, был сродни восторгу художественного откровения — в том смысле, какой совершенно и естественно недоступен всем этим невинным газетным обозревателям, сатирикам-общественникам, торговцам лежалыми идеями, моралистам и им подобным. Фигура Вана на сцене проделывала то же, что позднее станут проделывать фигуры его речи — чудеса акробатики, о которых никто не подозревал и от которых у детишек темнеет в глазах.

Не стоит забывать и о чисто физическом удовольствии от рукохождения и о павлиньих пятнах, оставляемых ковром на голых ладонях во время танцевальной части его номера: они казались отпечатками яркого, многоцветного Аида, первооткрывателем которого был Ван. В последнем его турне выступление завершалось танго, для которого ему нашли партнершу — кафешантанную танцовщицу из Крыма в очень коротком искристом платье с очень низким вырезом на спине. Она напевала мотив по-русски:

Подъ знойнымъ небомъ Аргентины,

Подъ страстный говоръ мандолины…

Хрупкая, рыжеволосая «Рита» (он так никогда и не узнал ее настоящее

имя), хорошенькая караимка из Чуфут-Кале, где, как она ностальгически вспоминала, среди бесплодных скал желтел кизилъ, обладала странным сходством с Люсеттой, какой ей предстояло стать десять лет спустя. Во время танца Ван видел лишь ее серебристые туфельки, кружившие и переступавшие в ритме его проворных ладоней, остальное он добирал на репетициях, и однажды вечером пригласил ее на свидание. Она с возмущением отвергла приглашение, сказав, что обожает мужа (того самого гримера) и ненавидит Англию.

Чуз издавна славился как благочинностью своих правил, так и остроумием их озорных ниспровергателей. Личность Маскодагамы не могла не привлечь внимания университетских властей и сохраниться в тайне. Его наставник, дряхлый и строгий мужеложник, совершенно лишенный чувства юмора и слепо следующий всем условностям академической жизни, заметил взбешенному, но владеющему собой Вану, что в грядущем учебном году ему не удастся совмещать научные занятия с цирком и что если он решил стать циркачом, то ему придется распрощаться с университетом. Пожилой господин этим не ограничился, а написал еще Демону, прося его убедить сына оставить эстрадные опыты ради опытов в области философии и психиатрии, тем более что Ван был первым в истории американцем, который выиграл (в семнадцать лет!) Приз Дадли (за эссе о «Безумии и Вечной Жизни»). Уезжая в Америку в начале июня 1888 года, Ван еще не решил окончательно, на каком компромиссе сойдутся гордость и благоразумие.

31

Ван вновь посетил Ардис-Холл облачным июньским днем 1888 года. Он приехал неожиданно, незваный, ненужный, с бриллиантовым ожерельем, без футляра, в кармане. Подходя к дому со стороны боковой лужайки, он увидел репетицию сцены для неизвестной картины из какой-то новой жизни — без его участия и не для него. Большой прием, похоже, подходил к концу. Три молодые особы в желто-голубых платьях от Васс (так называемые «yellow-blue Vass»), подпоясанные модными радужными кушаками, обступили полноватого, фатоватого, лысоватого молодого мужчину, стоявшего с фужером шампанского на веранде гостиной и глядевшего на голорукую девушку в черном платье: у крыльца седой шофер, нагнувшись, заводил кривой рукояткой старый двухместный автомобиль, который сотрясался от каждого его рывка, а эти разведенные в стороны бледные обнаженные руки держали белую пелерину баронессы фон Скальп, Адиной двоюродной бабки. На фоне белой накидки отчетливо выделялась новая, вытянувшаяся фигура Ады, облаченная в черное элегантное шелковое платье без рукавов, без украшений, без воспоминаний. Старая баронесса медлила, нащупывая что-то у себя под мышкой, сперва под одной, затем под другой — что именно? костыль? висящий конец спутанных бус? — и когда она повернулась, чтобы принять пелерину (уже перенятую у ее внучатой племянницы новым запоздавшим слугой), Ада тоже полуобернулась и, белея голой, еще не украшенной ожерельем шеей, взбежала по ступеням крыльца.

Ван последовал за ней в дом, проходя между колоннами холла, через группу гостей, к дальнему столу с хрустальными графинами вишневой амброзии. На Аде, вопреки моде, не было чулок, ее икры были белы и крепки, и (пользуюсь заметками к невоплощенному роману) «низкий

вырез черного платья подчеркивал резкий контраст между знакомой матовой белизной ее кожи и безжалостной чернотой “конского хвоста” ее по-новому убранных волос».

Два обморочных ощущения, исключая друг друга, пронизывали его: глубокая уверенность, что как только он доберется в лабиринте кошмара до необыкновенно отчетливо запомнившейся комнатки с кроватью и детским умывальником, она воссоединится с ним во всей своей новой, гладкой, долгой красе; и, с другой, теневой стороны, — опасение и страх обнаружить в ней перемену, отвращение к его желаниям, осуждение их порочности и разъяснение ему новых ужасных обстоятельств — что они оба умерли или существуют лишь как статисты в доме, нанятом для кинематографических съемок.

Чьи-то руки, предлагавшие ему вино, или миндаль, или собственные пустые ладони, задерживали Вана на пути его сновидческой погони. Он не сбавлял шага, несмотря на наскоки узнавания: дядя Дан с возгласом указал на него незнакомцу, который притворно изумился необычности оптического трюка, — а в следующий миг перекрашенная, в рыжем парике, очень пьяная и слезливая Марина присосалась липкими от вишневой водки губами к его подбородку и другим незащищенным частям лица с придушенными материнскими звуками — полумычанье, полустон русской нежности.

Отделавшись от нее, он продолжил свои поиски. Ада уже перешла в гостиную, и по выражению ее спины, по напряженным лопаткам Ван знал, что она сознает его присутствие. Обтерев мокрое, гудящее ухо, он кивком ответил дородному блондину, приветственно поднявшему бокал (Перси де Пре? Или у Перси был старший брат?). Четвертая дева в кукурузно-васильковом летнем «творении» канадийской couturiere остановила его, чтобы, надув губки, сообщить, что Ван ее не помнит, и то была чистая правда. «Я страшно устал, — сказал он. — Моя лошадь угодила копытом в щель гнилой доски на ладорском мосту, и ее пришлось пристрелить. Я прошел восемь миль. Мне кажется, я сплю. Мне кажется, что вы мисс Транс». — «Нет, я Кордула!» — воскликнула она, но Ван уже шел дальше.

Ада исчезла. Ван отшвырнул тартинку с черной икрой, которую держал в руке, как билет, свернул в буфетную, велел брату Бута, новому камердинеру, сопроводить его в его старую комнату и принести туда одну из тех резиновых ванн, которыми он пользовался четыре года тому назад, когда был ребенком. И чью-нибудь запасную пижаму. Его поезд сошел с рельсов посреди поля, между Ладогой и Ладорой, и ему пришлось пройти двадцать миль: Бог знает, когда доставят его багаж.

«Только что привезли», сказал настоящий Бут с улыбкой, одновременно конфиденциальной и скорбной (его бросила Бланш).

Прежде чем принять ванну, он выглянул в узкое окно своей комнаты, далеко высунув голову, чтобы увидеть заросли лавра и сирени сбоку от парадного крыльца, откуда доносился веселый прощальный гомон. Он углядел и Аду. Она бежала следом за Перси, уже надевшим серый цилиндр и пересекавшим лужайку, — образ, немедленно вызвавший в сознании Вана мимолетное воспоминание о конском загоне, в котором

Перси и Ван однажды обсуждали хромую лошадь и Ривердейн. Ада нагнала молодого человека на пятачке внезапно выглянувшего солнца; он остановился, и она сказала ему что-то, откидывая голову назад, как делала, когда бывала чем-то расстроена или недовольна. Де Пре поцеловал ее руку. Весьма по-французски, но ничего. Он продолжал держать ее руку, пока она говорила, и потом поцеловал ее снова, и это уже было слишком, это было отвратительно, нестерпимо.

Покинув свой наблюдательный пункт, голый Ван принялся рыться в сброшенной одежде. Вынул из кармана ожерелье. С ледяной яростью он разорвал его на тридцать, сорок сияющих градин, часть которых брызнула ей под ноги, когда она вбежала в его комнату.

Ее взгляд скользнул по полу.

«Что за жесты —», начала она.

Ван хладнокровно процитировал кульминационную фразу прославленного рассказа м-ль Ларивьер: «Mais, ma pauvre amie, elle était fausse» — что было горькой ложью; но прежде чем собрать рассыпанные бриллианты, она заперла дверь и, плача, обняла его — в прикосновении ее кожи и шелка заключалось все волшебство жизни, но отчего каждый встречает меня слезами? Он, кроме того, хотел бы знать, кем был тот человек, Перси де Пре? «Он самый». — «Которого вышвырнули из Ривердейна?» — «Вероятно, да». — «Как он изменился, разжирел, точно дикий кабан». — «О да, в самом деле». — «Твой новый любовник?»

«А теперь, — сказала Ада, — Ван прекратит вести себя как пошляк — я хочу сказать, прекратит навсегда! Потому что у меня был, есть и будет только один любовник, один дикий зверь, одна печаль и одна радость».

«После соберем все твои слезинки, — сказал он. — Не могу больше ждать».

Ее сочный поцелуй был жарким и трепетным, но стоило ему задрать подол ее платья, как она отступила, вынужденно отвергая его, поскольку дверь вдруг пришла в движение: два кулачка забарабанили в нее в хорошо знакомом им обоим ритме.

«Привет, Люсетта! — крикнул Ван. — Я переодеваюсь, уходи».

«Привет, Ван! Им нужна Ада, а не ты. Они хотят, чтобы ты спустилась, Ада!»

Один из Адиных жестов, используемых в случаях, когда ей требовалось быстро и безмолвно выразить все стороны своего затруднения («Видишь, я была права, вот как это бывает, ничего не поделаешь»), состоял в том, что она оглаживала обеими руками невидимую чашу, от верхнего края до основания, сопровождая это движение печальным поклоном. Именно это она и проделала, прежде чем выйти из комнаты.

Сцена повторилась несколько часов спустя в гораздо более приятной версии. К ужину Ада надела другое платье, из алого ситца, и когда

они ночью встретились (в старой кладовой, при тусклом свете карбидной лампы), Ван с такой нетерпеливой силой расстегнул его змеевидный замок, что едва не разорвал платье на две половины, сразу обнажив всю ее красу. Они все еще неистово сопрягались (на той же скамье, покрытой тем же шотландским пледом, предусмотрительно прихваченным с собой), когда наружная дверь беззвучно отворилась, и внутрь, как опрометчивый призрак, скользнула Бланш. У нее был свой ключ, она возвращалась с рандеву со старым Сором, бургундским ночным сторожем, и замерла на месте, разинув рот, как дура, уставившись на молодых любовников. «В другой раз стучись», сказал Ван с ухмылкой, даже не подумав остановиться и скорее прельщенный чарующим видением: на ней была та самая горностаевая мантия, которую Ада потеряла в лесу. О, она удивительно похорошела, и elle le mangeait des yeux, — но Ада прихлопнула огонек светильника, и оплошавшая шлюшка со стонами раскаяния ощупью выбралась во внутренний коридор. Его настоящая душенька не могла удержаться от смеха; Ван вернулся к своей пылкой работе.

Они всё продолжали и продолжали, не в силах разделиться, зная, что сойдет любое объяснение, ежели кому-то взбредет в голову спросить, отчего их комнаты пустовали до самого рассвета. Первый луч солнца окрасил свежей зеленой краской ящик с инструментами, когда они, выдворенные голодом, наконец встали и тихо убрели в буфетную.

«Что, выспался, Ван? — спросила Ада, чудно подражая русским интонациям своей матери, и продолжила на ее же курьезном английском: — By your appetite, I judge. And, I think, it is only the first brekfest. (По аппетиту твоему сужу. И, я думаю, это только первый завтрак.)»

«Ох, — проворчал Ван, — мои коленки! Эта скамья не знает жалости. И я “hongry” (голоден)».

Они сидели друг против друга за столом для завтрака, жуя черный хлеб со свежим маслом, виргинской ветчиной и настоящим эмментальским сыром; а вот и горшочек прозрачного меда: двое веселых кузенов, «устроивших налет на ле́дник», как дети в старых сказках, и дрозды сладко пели в ярко-зеленом саду, в котором темно-зеленые тени втягивали обратно свои когти.

«Моя учительница в театральной школе, — сказала она, — находит, что я больше подхожу для фарса, чем для трагедии. Если бы они только знали!»

«Здесь и знать нечего, — возразил Ван. — Ничего, ничегошеньки не изменилось! Но это лишь общее впечатление — там было темновато, деталей не разглядеть, мы их повнимательней рассмотрим завтра на нашем острове: “Сестра моя, ты помнишь гору…”»

«Ох, прекрати! — сказала Ада. — Я покончила со всей этой чепухой — petits vers, vers de soie…»

«Вот как! — воскликнул Ван. — А ведь некоторые рифмы показали настоящие чудеса акробатики, даром что были придуманы детьми: “Oh!

qui me rendra, ma Lucile, et le grand chêne and зи биг хилль”. Крошка Люсиль, — прибавил он, стараясь шуткой рассеять ее хмурость, — ах, эта крошка Люсиль стала такой милашкой, что я, пожалуй, переключусь на нее, если ты решила быть злюкой, как сейчас. Помню, в первый раз ты рассердилась на меня, когда я бросил камень в статую и спугнул зяблика. Вот память!»

Ее память сейчас не в лучшем состоянии. Она думает о том, что сюда вот-вот придут слуги и тогда можно будет получить что-нибудь из горячего. В этом холодильнике хоть шаром покати.

«Ты отчего вдруг помрачнела?»

Да, помрачнела, ответила она, потому что она в ужасном положении и наверное сошла бы с ума, если бы не знала, что совесть у нее чиста. Проще всего объяснить иносказанием. Так вот, она как та девушка в фильме, который он скоро увидит. Ее героиня попала в тройную беду и вынуждена страдать тайком, чтобы не потерять свою единственную настоящую любовь, наконечник стрелы, острие боли. Втайне она одновременно борется с тремя напастями, ей нужно прекратить унылый и вялый роман с женатым мужчиной, которого ей жалко; пресечь на корню — непокорно торчащем корню — безумную авантюру с неотразимым молодым дураком, которого она жалеет еще больше; и сохранить любовь единственного мужчины, в котором вся ее жизнь и который выше жалости, выше ее несчастной девичьей жалости, поскольку (как сказано в сценарии) его «я» богаче и горделивее любых представлений двух этих жалких червей.

А кстати, что она сделала со всеми своими жалкими червячками после безвременной кончины доктора Кролика?

«Ах, всех отпустила (широкий и неопределенный жест), опустошила клетки; куколки закопала, а прочих рассадила по подходящим кормовым растениям, наказав: бегите, пока птицы не смотрят, или, увы, делают вид, что не смотрят… Итак, чтобы покончить с этим иносказанием (поскольку ты ловко умеешь отвлечь и увести мои мысли в сторону), я тоже в некотором смысле разрываюсь между тремя личными муками, главная из которых, конечно, тщеславие. Я знаю, что никогда не стану биологом, моя страсть к ползучим тварям велика, но не безгранична. Я знаю, что всегда буду восхищаться орхидеями, и грибами, и фиалками, и ты еще увидишь, как я ухожу одна, чтобы побродить по лесу, как я одиноко возвращаюсь с одной-единственной маленькой лилией; но и с цветами, сколь бы они ни были прекрасны, я покончу, как только соберусь с духом. Остается великое честолюбие и еще больший страх: мечта о лазурнейшей, отдаленнейшей, труднейшей театральной стезе, которая, вероятно, кончится, как у сотен других вяжущих свою паутину одиночек, — чтением лекций в школе драмы, — с сознанием того, что мы, как ты утверждаешь, мой безжалостный вестник, пожениться никогда не сможем, и удовольствие всегда иметь перед собой ужасный пример жалкой, второразрядной, бодрящейся Марины».

«Ну, замечание о старых девах — вздор, — сказал Ван. — Мы как-нибудь справимся с этой задачей. Мы будем постепенно становиться все более и более далекими родственниками в градуально и артистично

подделываемых бумагах, пока наконец не станем обычными однофамильцами. А в худшем случае будем тихо жить-поживать: ты — моя экономка, я — твой эпилептик, и тогда, как у твоего Чехова, “мы увидим все небо в алмазах”».

«А ты их все подобрал, дядя Ваня?» — спросила она, вздыхая, склоняя печальную голову ему на плечо: она все ему рассказала.

«Бóльшую часть, — ответил он, не понявший, что она сделала. — Во всяком случае, еще ни единый романтический герой так дотошно не изучал столь пыльный пол. Один блестящий маленький шельмец закатился под кровать, где растет девственный лес из пуха и плесени. Отдам вновь нанизать их в Ладоре, куда поеду на днях — мне столько всего нужно купить: роскошный купальный халат, под стать вашему новому бассейну, крем “Хризантема”, пару дуэльных пистолетов, складной пляжный матрас, желательно черный, чтобы водить тебя — не на пляж, а на эту скамью и на наш isle de Ladore».

«Я только не могу согласиться с тем, чтобы ты выставлял себя на посмешище, спрашивая пистолеты в сувенирных лавках, особенно когда в Ардис-Холле полным-полно старых ружей, винтовок, револьверов и луков со стрелами — помнишь, сколько мы упражнялись в стрельбе, когда были детьми?»

Ох, еще бы. Детьми, да. Как озадачивает, однако, это обращение к недавнему прошлому в терминах детской. Потому что ничего не изменилось, — ты моя, не так ли? — ничегошеньки, не считая мелких улучшений в темных аллеях и у нашей гувернантки.

О да! Обхохочешься. Ларивьерша-то расцвела на диво, заделалась великим писателем! Автор сенсационных канадийских бестселлеров. Ее рассказ «Ожерелье» («La rivière de diamants») попал в хрестоматии во всех школах для девочек, а ее богатый псевдоним Guillaume de Monparnasse (отброшенная «t» придает ему большую intime) гремит от Квебека до Калуги. Как она выразилась на своем экзотическом английском: «Fame struck and the roubles rolled, and the dollars poured (Грянула слава, и рубли забурлили, и доллары хлынули)» — в то время в Восточной Эстотии имели хождение обе валюты; однако добрейшая Ида не только не оставила Марину, в которую была платонически и беззаветно влюблена еще с того дня, как увидела ее в «Билитис», но и корила себя за то, что забросила Люсетту, усердствуя на ниве Литературы. Теперь в припадках праздного рвения она посвящала девочке намного больше времени, чем бедняжке Аде (говорила Ада) в ее двенадцать лет, после ее первого (горестного) школьного семестра. А каким глупцом был Ван: заподозрил Кордулу! Невинную, нежную, безответную, маленькую Кордулу де Пре, хотя Ада объясняла ему, дважды, трижды, разными шифрами, что она выдумала развратную и ласковую однокашницу в то время, когда она была буквально оторвана от него, и лишь допустила, авансом так сказать, будто такая девочка и впрямь существует. Ей нужен был от него своего рода чек на предъявителя, без указания суммы.

«Что ж, ты его получила, — сказал Ван, — но теперь он погашен и возобновлен не будет. Но почему ты гналась за жирным Перси, что за

срочность такая?»

«Ох, очень важное дело, — сказала она, слизывая каплю меда с нижней губы, — его мать позвонила, она ждала у дорофона, и он сказал: “пожалуйста, скажи ей, что я уже еду домой”, но я забыла это сделать и помчалась наверх, чтобы поцеловать тебя!»

«В Ривердейне, — сказал Ван, — мы называли это бубличной правдой: одна правда, ничего, кроме правды, и большущая дыра в середине».

«Ненавижу тебя», воскликнула Ада и состроила гримаску, которую называла “встревоженной лягушкой”: в дверном проеме возник Бутейан, без усов, без сюртука и без галстука, в кармазинных подтяжках, поднимавших до самой груди черные штаны, туго облегавшие его толстые ноги. Пообещав принести им кофе, он тут же исчез.

«Но позволь спросить тебя, дорогой Ван, позволь мне спросить тебя кое о чем. Сколько раз ты изменил мне с сентября 1884 года?»

«Шестьсот тринадцать раз, — ответил Ван. — С по меньшей мере двумястами шлюхами, которые только ублажали меня. Я остался совершенно верен тебе, поскольку то были лишь “Об-манипуляции” (притворные, ничего не значащие ласки холодных, навсегда забытых рук)».

Дворецкий, теперь полностью одетый, принес кофе и гренки. И «Ладорскую газету». В ней была фотография Марины, перед которой заискивал молодой мексиканский актер.

«Тьфу! — воскликнула Ада. — Я и забыла. Этот приезжает сегодня с еще одним киношником, и наш день будет испорчен. Хотя я чувствую себя отдохнувшей и бодрой, — прибавила она (после третьей чашки кофе). — Еще только без десяти минут семь. Мы отправимся на чудную прогулку в парк, навестим одно или два местечка, которые ты должен вспомнить».

«Любовь моя, — сказал Ван, — моя призрачная орхидея, мой прекрасный пузырник! Я не спал две ночи — одну провел, воображая другую, а эта другая превзошла все, что я себе вообразил. Сейчас я сыт тобой по горло».

«Не слишком-то любезный комплимент», сказала Ада и звонко потребовала еще гренок.

«Я подарил тебе восемь комплиментов, как тот венецианец —»

«Не хочу слышать о пошлых венецианцах. Ты стал таким грубым, милый Ван, таким странным…»

«Прости, — сказал он, вставая, — сам не знаю, что говорю. Я падаю от усталости, увидимся за обедом».

«Сегодня обеда не будет, — сказала Ада. — Будет толчея с пряными закусками у бассейна и сладкое пойло весь день».

Он хотел поцеловать ее в шелковистое темя, но вошел Бутейан, и пока Ада сердито отчитывала его за скудость принесенных гренок, Ван бежал.

32

Сценарий картины был готов. Марина, облаченная в полосатый халат из индийского муслина и соломенную шляпу-кули, читала его, расположившись в шезлонге посреди патио. Режиссер, Г. А. Вронский, пожилой, лысый, с седой шерстью на жирной груди, прихлебывая водку с тоником, скармливал ей по мере прочтения извлекаемые из папки машинописные страницы. По другую сторону от нее, на подстилке, скрестив мохнатые ноги, сидел Педро (фамилия неизвестна, сценический псевдоним забыт), отталкивающе-красивый, практически голый молодой актер с ушами сатира, раскосыми глазами и рысьими ноздрями, которого Марина привезла из Мексики и держала в ладорской гостинице.

Ада, лежавшая на краю бассейна, старалась обратить стыдливого дакеля мордой к камере, чтобы он при этом замер на миг в благопристойной позе, а Филипп Рак, незначительный, но, в общем, не лишенный таланта молодой музыкант, выглядевший в мешковатых плавках еще более унылым и неуклюжим, чем в костюме из зеленого бархата, в котором он давал Люсетте уроки фортепиано, пытался заснять и непокорное, щелкающее пастью животное, и почти полностью доступное его взору и объективу нежное раздвоение груди полулежащей на животе Ады.

Обратив кинокамеру к другой группе, стоящей чуть в стороне под пурпурными гирляндами арки, мы берем средним планом брюхатую жену молодого маэстро (платье в горошек), наполняющую широкие бокалы соленым миндалем, и нашу прославленную романистку, блистающую в лиловых оборках, лиловой шляпе и лиловых туфлях, которая занята тем, что пытается накинуть на Люсетту зебровую телогрейку, а та отстраняется, резко возражая подхваченными у служанки словечками, произнося их, впрочем, негромко, точно зная границы чуткости глуховатой гувернантки.

Отстояв неприкосновенность свой наготы, Люсетта осталась в одних ивово-зеленых трусиках. Ее эластичная гладкая кожа была цвета густого персикового сиропа, ее задок забавно вращался под тонкой тканью, солнце обливало ее рыжие собранные волосы и мягкое тело с едва заметными признаками женственности, и Ван, нахмурившись, со смешанными чувствами вспомнил, насколько более развитой была ее сестра в свои неполные двенадцать лет.

Он проспал бóльшую часть дня в своей комнате; долгий, бессвязный, тягостный сон неостроумной пародией повторил его «по-казановански» бурную ночь с Адой и их чем-то неприятный утренний разговор. Теперь, когда я пишу это, после стольких низин и возвышенностей времени, я нахожу, что совсем не так просто отделить наш разговор, неизбежно стилизованный на письме, от монотонных жалоб на мерзкие измены, которые преследовали молодого Вана в его унылом кошмаре. Или это теперь ему снится, что он тогда видел сон? В самом ли деле гротескная гувернантка сочинила роман под названием «Les Enfants Maudits»? И вправду ли теперь легкомысленные манекены обсуждают

создание его кинематографической версии? Чтобы сообщить ему пошлость даже еще большую, чем в самой этой Книге Недели и ее журчащих аннотациях? Была ли Ада ему столь же ненавистна наяву, как во сне? О да.

Теперь, в ее пятнадцать лет, перед нами совершенно неотразимая и безнадежно красивая девушка, к тому же довольно неряшливая. Всего двенадцать часов тому назад, в полумраке мастерской, он задал ей на ушко загадку: какое слово начинается с «дез», как Дездемона, в середине у него почти точное название реки в Силезии, а на конце английский муравей (ant)? Вкусы у нее были столь же экстравагантные, как и манера одеваться. Солнечные ванны, обратившие Люсетту в калифорнийку, нисколько ее не заботили, и ни малейший след загара не пятнал бесстыдной белизны ее длинных конечностей и худых лопаток.

Неблизкая кузина, больше уже не сестра Рене, даже не сводная (столь лирично преданная анафеме Монпарнасом), она переступила через него, как через бревно, и вернула озадаченного пса Марине. Актер, которому в следующей сцене с большой вероятностью предстояло получить кулаком в челюсть, отпустил грязное замечание на ломаном французском.

«Du sollst nicht zuhören, — шепнула Ада немецкому Даку, опуская его Марине на колени, под ворох “Про́клятых детей”. — On ne parle pas comme ça devant un chien», прибавила она, не удостоив Педро взглядом. Последний тем не менее поднялся, поправил что-то у себя в паху и, одним прыжком Нуржинского опередив ее, бросился в бассейн.

Была ли она в самом деле красива? Была ли она хотя бы «привлекательной» (как это принято называть)? Она была самим раздражением, она была пыткой. Глупая девочка натянула резиновую шапочку, отчего ее шея приобрела незнакомый, смутно-больничный вид, с этими странными черными клочками и пучками волос, как если бы она получила место сестры милосердия и никогда больше не станет плясать и веселиться. На ее линялом сизом купальном трико было жирное пятно и дыра над бедром — проеденная, как можно было подумать, лакомой до сала гусеницей, — к тому же оно было слишком узким, чтобы она могла так беспечно двигаться и наклоняться у бассейна. От нее пахло сырым хлопком, подмышечным мхом и кувшинками, как от безумной Офелии. Будь они наедине, ни одна из этих мелочей не раздражала бы Вана, но присутствие утрированно-мужественной актерской особи все делало грязным, пакостным, нестерпимым. Наводим камеру обратно на край бассейна.

Наш молодой человек, будучи крайне брезгливъ, не испытывал ни малейшего желания разделить несколько кубических метров хлорированной celestino («окрашивает вашу ванну аквамарином») с двумя другими купальщиками. В нем определенно не было ничего японского. Он всегда с дрожью отвращения вспоминал внутренний бассейн своей частной школы, сопливые носы, прыщавые плечи, случайное прикосновение гнусной мужской плоти, подозрительные пузыри, лопающиеся на поверхности воды, а главное, главное, — того вкрадчивого, льстивого, ликующего и совершенно омерзительного паскудника, который, стоя по грудь в воде, сладостно и тайно мочился, и, Боже, как же Ван отколотил его, хотя этот Вер-де-Вер и

был на три года старше.

Он старался держаться подальше от того места, куда могли долететь брызги, пока Педро и Фил резвились и фыркали в своем нечистом резервуаре. Но вот пианист вынырнул и, обнажив в плебейской ухмылке свои жуткие десны, попытался втащить в бассейн Аду, лежавшую на его широком кафельном крае. Она избежала щупалец его отчаяния, обняв большой оранжевый мяч, который только что вытащила на сушу, и, оттолкнув Фила этим щитом, бросила мяч Вану, который отбил его ударом ладони в сторону, отвергая уловку, игнорируя потеху, презирая игрунью. Следом и волосатый Педро налег животом на гладкий край и принялся флиртовать с жалкой девчонкой (его пошлые знаки внимания в самом деле нимало не трогали Аду).

«Твою дырочку надо раккоммодировать», сказал он.

«Que voulez-vous dire, ради всего святого?» — спросила она вместо того, чтобы залепить ему пощечину.

«Дозволь мне касаться этой очаровательной пенетралии», упорствовал идиот, тыча мокрым пальцем в прорешку на ее трико.

«Ах, это (пожимая плечами и возвращая на место соскочившую из-за этого жеста лямку). Не стоит внимания. В другой раз я, может быть, надену мой сказочный новый бикини».

«Другой раз, может быть, Педро не быть тут».

«Жаль, — сказала Ада. — А теперь пойди и принеси мне кока-колу, как хороший песик».

«E tu? — спросил Педро Марину, проходя мимо ее шезлонга. — Еще водки с апельсиновым соком?»

«Угу, дорогой, только с грейпфрутовым и немного zucchero. Не понимаю, — обратилась она к Вронскому, — почему на этой странице я говорю как столетняя старуха, а на следующей — как пятнадцатилетняя девица? Ведь если это ретроспекция, а это, по-моему, и есть ретроспекция, то Ренни или как там его, Рене, не должен знать того, что он, кажется, знает».

«Он не знает! — воскликнул Г.А. — Это все лишь наполовину ретроспекция. Во всяком случае, этот Ренни, этот любовник номер один, разумеется, не знает, что она пытается отделаться от любовника номер два, и в то же время собирается с духом назначить свидание номеру три, землевладельцу, понимаешь?»

«Ну это что-то сложновато, Григорий Акимович», сказала Марина, почесывая щеку — она всегда предпочитала упрощать, из одного чувства самосохранения, много более сложные узоры собственного прошлого.

«Да ты читай дальше, все прояснится», сказал Г.А., теребя собственный экземпляр сценария.

«А кстати, — заметила Марина, — я надеюсь, что дорогая Ида не будет возражать, если он у нас станет не только поэтом, но и балетным танцовщиком. Педро восхитительно сыграет танцовщика, но никто не сможет заставить его цитировать французские стихи».

«Если начнет протестовать, — сказал Вронский, — то может пойти и вставить телеграфный столб — куда следует».

Неприличное слово «телеграфный» заставило Марину, втайне любившую грубые шутки, покатиться со смѣху вроде Ады: «Нет, серьезно, я все еще не могу взять в толк, как и почему его жена — я говорю о жене второго любовника — смирилась с таким положением?»

Вронский развел руками и ногами.

«При чем тут положение? Она пребывает в безмятежном неведении об интрижке мужа, да к тому же сознает, что неказиста, как полено, и просто не может соперничать с бойкой Элен».

«Мне-то ясно, но не все поймут», сказала Марина.

Тем временем герр Рак вновь показался на поверхности. Он вылез к Аде на край бассейна, едва не потеряв при переходе от одной стихии к другой своих несуразных «транксов».

«Дозвольте, Иван, вам тоже вставить отличный холодный русский кок?», сказал Педро — на самом деле сердечный и вежливый юноша по натуре.

«Вставь-ка себе кокос», огрызнулся противный Ван, испытывая бедного фавна, который, ничего не поняв, счастливо хихикнул и вернулся к своей подстилке. Клавдий по крайней мере не домогался Офелии.

Печальный молодой немец пребывал в глубокой задумчивости, не без туманных мыслей о самоубийстве. Его ждало возвращение в Калугано вместе с беременной Эльзой, которая, как полагал д-р Рентген, «поднесет ему дройню через дри недели». Музыкант ненавидел Калугано, их с женой родной город, в котором однажды, в минуту «взаимного помутнения», дура Эльза отдалась ему на парковой скамье после чудесной конторской вечеринки в «Органах Музаковского», где жалкий похотливый болван имел счастье служить.

«Вы когда уезжаете?» — спросила его Ада.

«В четвергер — послезафтра».

«Хорошо. Это хорошо. Адье, господин Рак».

Несчастный Филипп сник, рисуя указательным пальцем на мокром камне пустыни печали, качая тяжелой головой и заметно всхлипывая.

«Человек порой чуфствует… Человек чуфствует, — сказал он, — что только играет роль и забыл свою реплику».

«Многие испытывают такое же чувство, — сказала Ада. — Это, кажется,

называется furchtbar–чувство».

«Поддается лечению? Или нет надежды? Я умираю, да?»

«Вы уже умерли, господин Рак», сказала Ада.

Во время этого кошмарного разговора Ада украдкой озиралась по сторонам и наконец заметила отчетливого, взбешенного Вана, стоявшего далеко в стороне под тюльпанным деревом, с прижатой к бедру рукой и откинутой головой – пьющего пиво из бутылки. Она оставила свое место у бассейна с бездыханным телом на его краю и пошла к тюльпанному дереву по стратегической кривой – между авторшей, все еще не подозревавшей, во что они превращают ее роман, и мирно дремавшей в парусиновом кресле (ее пухлые пальцы на деревянных подлокотниках казались выросшими розовыми грибами), и нашей примой, крепко задумавшейся над любовной сценой, в которой упоминалась «лучистая краса» молодой хозяйки поместья.

«Но, – сказала Марина, – как сыграть “лучистость” и что вообще такое эта лучистая краса?»

«Светлая красота, – услужливо подсказал Педро, провожая Аду глазами, – красота, за которую многие мужчины отрубили бы себе члены».

«Окэй, – сказал Вронский. – Давайте покончим с этим треклятым сценарием. Он покидает патио у бассейна, и поскольку мы решили снимать в цвете…»

Ван покинул патио у бассейна и зашагал прочь. Он свернул в боковую галерею, которая вела в густо заросшую часть сада, незаметно переходившую в парк. Он заметил, что Ада старается его нагнать. Подняв локоть и показав черную звезду подмышки, она стянула резиновую шапочку и, тряхнув головой, высвободила стремительный поток своих волос. За ней спешила Люсетта, в цвете. Пожалев босые ступни сестер, Ван сошел с гравия дорожки на бархат лужайки (повторяя в обратном порядке действия д–ра Ероя, преследуемого Невидимкой–альбиносом в одном из лучших английских романов). Они настигли его во Второй Роще. Люсетта по пути остановилась, чтобы подобрать шапочку и солнечные очки сестры (о, эти девицы в темных очках) – разве можно так их бросать! Моя прилежная малышка Люсетта (я всегда буду помнить тебя…) положила оба предмета на пенек, рядом с пустой пивной бутылкой, побежала было вперед, но вернулась, чтобы осмотреть пучок розовых грибков, которые, посапывая, облепили пень. Повторный план, двойная экспозиция.

«Ты так зол, потому что –», начала Ада, догнав его (она приготовила фразу о том, что ей приходится все же быть вежливой с настройщиком роялей, почти слугой, страдающим к тому же редкой сердечной болезнью и женатым на жалкой вульгарной особе, но Ван перебил ее).

«Протестую, — сказал он, чеканя слова, — против двух вещей. Брюнетке, даже если она неряха, следует брить передок, прежде чем выставлять его напоказ, а воспитанная девушка не должна позволять блудливому паршивцу тыкать ей пальцем в ребра, даже если ей пришлось надеть траченную молью вонючую ветошь, слишком тесную для ее прелестей. Ох! — добавил он. — Какого дьявола я вернулся в Ардис!»

«Обещаю, я обещаю быть осмотрительней и не подпускать к себе мерзкого Педро», сказала она, радостно и деловито кивая, выдохнув с большим облегчением, причина которого лишь много позже станет пыткой для Вана.

«Эй, подождите!» — завопила Люсетта.

(Пыткой, моя несчастная любовь! Пыткой! Да! Но все это забыто и мертво. Поздняя заметка рукой Ады.)

Они расположились живописным идиллическим трио на траве под огромным плакучим кедром, спутанные ветви которого нависали над ними пышным балдахином (там и тут они подпирались стойками из его собственной плоти, как и наша книга): под его сенью укрылись две черноволосых головы и одна золотисто-рыжая, что напомнило о темных влажных ночах, когда мы были безрассудными счастливыми детьми.

Охваченный воспоминаньями Ван лежал на спине, подложив руки под голову и щурясь сквозь густую крону на ливанскую лазурь неба. Люсетта с нежностью глядела на его длинные ресницы и сочувственно — на его тонкую кожу, усеянную горящими пятнами и темными колючками в том месте между шеей и челюстью, которое труднее всего было выбривать. Ада, склонив свой медальонный профиль, отчего вдоль белой руки скорбно повисли ее волосы кающейся грешницы (как бы отвечая плакучим теням кедра), отрешенно разглядывала желтую горловину сорванного ею восково-белого дремлика. Она ненавидела Вана, она его обожала. Он был жесток, она — беззащитна.

Люсетта, в своей неизменной роли назойливой, неугомонной и чрезмерно ласковой девочки, уперлась ладошками Вану в волосатую грудь и стала выпытывать, отчего он такой надутый.

«Не из-за тебя», ответил он наконец.

Она чмокнула его руку и вновь набросилась на него всем своим маленьким телом.

«Перестань! — сказал он, когда она прижалась к его голой груди. — Девочка, ты неприятно-холодная».

«Неправда, я горячая», возразила она.

«Холодная, как две половинки консервированного персика. А теперь слезай, давай-ка».

«Две? Почему две?»

«Да, почему?» — проворчала Ада, дрогнув от удовольствия, и, наклонившись, поцеловала его в губы. Он попытался встать. Девочки принялись целовать его поочередно, потом друг дружку, затем снова взялись за него — Ада в зловещем молчании, Люсетта — тихо повизгивая от удовольствия. Не помню, что натворили или сказали эти Les Enfants Maudits в повести Монпарнас, они жили, кажется, в шато Бриана, а начинается с того, что летучие мыши, одна за другой, вылетают из oeil-de-boeuf башни, в самый закат, но этих детей (которых новеллистка толком и не знала — милая деталь) можно было бы весьма увлекательно показать на экране, если бы неотступный, следящий за ними Ким, этот фотоманьяк с господской кухни, располагал бы подходящим аппаратом. Ужасно неприятно все это описывать, на письме все выходит таким неверным, непристойным, с эстетической точки зрения, но в этих последних сумерках (в которых мелкие художественные огрехи еще менее заметны, чем те очень быстрые нетопыри в бедной насекомыми оранжевой пустыне неба) я не могу не отметить, что маленькое влажное участие Люсетты скорее обостряло, чем приглушало неизбежный отклик Вана на легчайшие прикосновения единственной и главной девочки, действительные или воображаемые. Ада, чья шелковая грива обмахивала его соски и пупок, казалось, только рада была сделать все, чтобы нынче мой карандаш рывками продвигался по бумаге и чтобы ее невинная сестренка — в том абсурдно-далеком прошлом — заметила то, что Ван не в силах был скрыть. Двадцать щекочущих пальчиков весело просунули смятый цветок под резиновый поясок его черных плавок — украшение довольно сомнительное, да и сама игра была не только неуместной, но и опасной. Он стряхнул с себя хорошеньких истязательниц и ушел от них на руках, в черной маске поверх торчащего карнавального носа. И в ту же минуту на лужайке, сопя и вопя, возникла гувернантка: «Mais qu’est-ce qu’il t’a fait, ton cousin?» — тревожно вопрошала она, а Люсетта, обливаясь теми же непроизвольными слезами, как однажды Ада, бросилась в ее лиловокрылые объятия.

33

Следующий день начался с мороси, но после обеда небо прояснилось. Хмурый герр Рак давал Люсетте свой последний урок фортепиано. Повторное ля-до-ре доплескивало до Вана с Адой, совершавших рекогносцировку в коридоре второго этажа. М-ль Ларивьер прохлаждалась в саду, Марина умчалась в Ладору, и Ван предложил Аде воспользоваться «звучным отсутствием» Люсетты, дабы уединиться в гардеробной верхнего этажа.

Там в углу стоял первый трехколесный велосипед Люсетты, полка над кретоновым диваном была полна детских «неприкасаемых» сокровищ, среди которых он заметил ту самую потрепанную антологию, которую подарил ей четыре года тому назад. Дверь не запиралась, но Ван больше не мог ждать, да и музыка, непрерывная, как стена, должна была звучать еще по меньшей мере двадцать минут. Он припал губами к Адиному загривку, однако его отзывчивая напарница вдруг замерла и подняла палец. С главной лестницы доносились тяжкие медленные шаги. «Избавься от него», шепнула она. «Чорт», натянув штаны, выругался Ван и вышел к лестнице.

Филипп Рак совершал восхождение: его кадык ходил вверх-вниз, его синевато-багровые щеки были плохо выбриты, десны обнажены; одну руку он прижимал к груди, в другой сжимал рулон розовых листов, и все это унылое явление сопровождалось той же монотонной пьесой, звучащей, казалось, из механического устройства.

«Внизу, в холле, тоже есть уборная», сказал Ван, заключив или сделав вид, что он так заключил, что у бедняги рези в желудке. Но господин Рак желал лишь «проститься» с Иваном Демоновичем (прискорбно ставя ударение на второе «о»), с фройляйн Адой, мадемуазель Идой и, разумеется, с мадам. Увы, кузина с тетушкой уехали в город. Зато Фил, разумеется, найдет свою подругу Иду в саду, где она творит в окружении роз. Ван в этом уверен? Да, Ван, чорт подери, в этом совершенно уверен. Господин Рак с глубоким вздохом пожал ему руку, посмотрел вверх, посмотрел вниз, постучал по перилам своей таинственной розовой трубкой и побрел обратно в музыкальную гостиную, где Моцарт уже начал оступаться. Подождав немного, прислушиваясь и непроизвольно морщась, Ван вернулся к Аде. Она сидела с книгой в руках.

«Должен вымыть правую ладонь, прежде чем коснусь тебя или чего-нибудь еще», сказал он.

На самом деле она не читала, а нервно, сердито, бездумно листала страницы той старой антологии — она, которая в любое время, стоило ей только взять книгу, все равно какую, тут же погружалась в нее, ныряла «в главу с головой» естественным движением речного существа, возвращенного в родную стихию.

«Никогда в жизни не пожимал более влажной, вялой и мерзкой конечности», сказал Ван и, сквернословя (музыка внизу оборвалась), ушел в уборную при детской. Умывая руки, он глядел в окно и видел, как Рак, поместив в переднюю багажную корзину велосипеда свой бесформенный черный портфель, неуверенно тронулся в путь, на ходу сняв шляпу перед безучастным садовником. Этот напрасный жест непоправимо нарушил зыбкое равновесие неловкого велосипедиста — Рак с хрустом въехал в живую изгородь на другой стороне аллеи и упал в кусты. Целую минуту он возился в цепких зарослях бирючины, так что Ван уже успел подумать, что ему следует, пожалуй, прийти пианисту на помощь. Садовник повернулся спиной к больному или пьяному музыкантишке, который, хвала небесам, выбрался, наконец, из кустов, поднял велосипед и вернул свой портфель на место. Он медленно поехал прочь, и чувство какого-то смутного отвращения заставило Вана сплюнуть в чашу клозета.

Ады в гардеробной не оказалось. Он нашел ее на балконе, она очищала яблоко для Люсетты: добряк-пианист всегда приносил ей на урок яблоко, или несъедобную грушу, или две-три мелкие сливы. Что ж, это был его последний дар.

«Тебя зовет Мадемуазель», сказал Ван Люсетте.

«Ничего, подождет», ответила Ада, неторопливо снимая свою «идеальную ленту» — красно-желтую спираль, за развертыванием которой Люсетта

наблюдала с неизменным изумлением.

«Мне нужно вернуться к работе, — сказал Ван первое, что пришло на ум. — До чего же скучно. Буду в библиотеке».

«Окэй», звонко ответила Люсетта, не поворачивая головы, и тут же издала вопль радости, получив готовую гирлянду.

Битых полчаса он искал книгу, которую поставил не на ту полку. Отыскав ее, наконец, он обнаружил, что все важные места в ней уже отметил и она ему больше не нужна. Он лег на черный диван, но напор желания от этого как будто только усилился. Он решил вернуться на верхний этаж по витой внутренней лестнице. Поднимаясь, он мучительно-остро вспомнил (как что-то упоительно-прекрасное и безнадежно потерянное), как она спешила наверх, со свечой в руке, — той ночью Горящего Амбара, навсегда запечатленной в памяти с заглавных букв, и себя позади нее, с пляшущим огоньком своей свечи, — видел ее икры, ягодицы, подвижные плечи и струящиеся волосы, а еще тени, громадными углами преследующие их во время спирального подъема вдоль желтой стены. В этот раз дверь, ведущая с лестницы на третий этаж, оказалась заперта с другой стороны, и ему пришлось вернуться в библиотеку (заурядное раздражение стерло нахлынувшие воспоминания) и взойти по парадной лестнице.

Приближаясь к залитой солнцем балконной двери, он услышал голос Ады, объяснявшей что-то Люсетте. Что-то забавное, что-то связанное с… Нет, не припомню, а врать не хочу. Рассказывая что-нибудь уморительное, Ада обыкновенно ускорялась к концу фразы, чтобы смех не обогнал кульминации, но иногда случалось, как сейчас, что короткий смешок вырывался вперед, и тогда она доканчивала фразу уже вместе с ним, еще больше спеша и сдерживаясь, и за последним словом с рокотом накатывал ее звучный, гортанный, чувственный и довольно мелодичный смех.

«А теперь, моя милая, — добавила она, целуя веселую ямочку у нее на щеке, — будь так добра, сбегай вниз и передай нехорошей Белль, что тебе давно пора пить молоко с птиберами. Живо! А мы с Ваном тем временем уединимся в ванной или еще где-нибудь, где есть большое зеркало, и я его подстригу, ему это просто необходимо. Да, Ван? О, я знаю, где лучше всего… Ну же, Люсетта, беги».

34

Напрасно они с Люсеттой предавались шалостям под селихемским кедром. С тех пор всякий раз, когда она лишалась надзора своей шизофреничной гувернантки, когда ей не читали, не водили на прогулку и не укладывали спать, она становилась несносной. С наступлением темноты — только если Марины не было поблизости, бражничающей, к примеру, с гостями под золотыми глобусами новых садовых ламп, мерцавших среди темной зелени, примешивая керосиновый смрад к тонкому аромату жасмина и гелиотропа — любовники могли пробраться в более глубокую тьму и оставаться там до тех пор, покуда nocturna (свежий полуночный бриз) не принимался шелестеть листвой, «troussant la raimée», по выраженью ночного сторожа, похабника Сора. Он однажды со своим

изумрудным фонарем наткнулся на них, и несколько раз призрачная Бланш, тихо смеясь, кралась мимо них, чтобы спариться с неутомимым, надежно подкупленным старым светляком в каком-нибудь скромном укрытии. Но целый день дожидаться благосклонной ночи — что за изощренное истязание для наших нетерпеливых любовников! Чаще всего они успевали как следует измотать друг друга еще до обеда, как бывало прежде, тем летом; Люсетта же, казалось, пряталась за каждой ширмой, выглядывала из каждого зеркала.

Они испробовали чердак, но как раз вовремя заметили щель в полу, сквозь которую был виден угол гладильного чулана, по которому ходила вторая горничная, Франш, в одном корсете и нижней юбке. Оглядевшись кругом, они только дивились, как им удавалось нежить друг друга среди занозистых досок старых ящиков и торчащих гвоздей или, выбираясь через световой люк, искать уединения на крыше, которая для любого загорелого мальчишки, взобравшегося на развилку огромного вяза, была как на ладони?

Оставалась еще Стрелковая галерея с драпированным Восточным альковом под пологой кровлей. Но и здесь теперь было нехорошо: обивка кишела клопами, несло кислым пивом, такая грязь и запустение, что нельзя было и помыслить о том, чтобы раздеться или воспользоваться диванчиком. Все, что Ван увидел там из новой Ады — ее бедра и ляжки цвета слоновой кости, и когда он в первый раз сжал их, она сказала ему, в самый миг его бурного блаженства, чтобы он выглянул через ее плечо в окно, в раму которого она упиралась руками, содрогаясь от собственных угасающих ответных толчков — Люсетта со скакалкой шла к галерее по дорожке, обсаженной с двух сторон кустами.

Такие вторжения повторились и позже, дважды или трижды, и с каждым разом Люсетте удавалось подкрадываться все ближе и ближе: то она срывала лисичку и делала вид, будто сейчас ее съест, то на корточках пробиралась в траве, ловя кузнечика или, по крайней мере, воспроизводя все движенья этой ленивой игры и беззаботной охоты. Так она добиралась до середины заросшей игровой площадки перед запретным павильоном, где с видом мечтательной невинности начинала раскачивать доску старой качели, подвешенной к высокой и величавой ветви Голого дуба — почти безлиственного, но еще вполне крепкого старого исполина (Питер де Раст запечатлел его — ах, я помню, Ван! — на вековой давности литографии Ардиса: молодой колосс, укрывший под своей сенью четырех коров и пастушка в лохмотьях, одно плечо обнажено). Когда наши любовники (тебе по душе авторское притяжательное местоимение, не так ли, Ван?) вновь выглядывали в окно, Люсетта уже качала понурого дакеля, или, запрокинув голову, глядела вверх, высматривая воображаемого дятла, или с очаровательной угловатостью в движениях медленно взбиралась на обвязанную серыми веревочными петлями перекладину и начинала тихонько раскачиваться, будто впервые в жизни, а дурень Дак тем временем лаял на запертую дверь павильона. Люсетта с такой сноровкой управляла инерцией качения, что Ада и Ван, находясь в простительном ослеплении вздымавшегося блаженства, так ни разу и не подгадали того самого мига, когда круглая розовая физиономия со всеми ее горящими веснушками, возносясь все выше и выше, оказывалась прямо перед ними и два зеленых глаза впивались в остолбеневший тандем.

Люсетта тенью следовала за ними с поляны на чердак, от сторожки привратника до конюшни, от модерновой душевой кабины у бассейна до старинной ванной комнаты на верхнем этаже. Люсетта выскакивала из сундука, как чертик из табакерки. Люсетта желала, чтобы они брали ее с собой на прогулку. Люсетта требовала, чтобы они вместе с ней играли «в эту вашу чехарду», и Ван с Адой обменивались мрачными взглядами.

Ада нашла выход — нелегкий, неумный и неудачный. Возможно, она нарочно так устроила (вычеркни, вычеркни, прошу, Ван). Идея состояла в том, чтобы Ван дурачил Люсетту, лаская ее в присутствии Ады, одновременно целуя Аду, а пока Ада «бродит в лесах» (то есть «ботанизирует»), целовал и обнимал Люсетту. По увереньям Ады, новая тактика позволяла убить сразу двух зайцев: успокоить ревность созревающей девочки и обеспечить им алиби на тот случай, если малышка застанет их посреди значительно более сомнительной возни.

Все трое так часто и усердно гладили и нежили друг друга, что однажды вечером Ван с Адой, распалившись на многострадальном черном диване, уже не смогли обуздать свой жар и, под нелепым предлогом игры в прятки заперев Люсетту тут же в шкафу, где были сложены переплетенные выпуски «Калужских Вод» и «Лугано Сан», яростно предались страсти под стуки и крики пленницы. Она все билась и брыкалась в своем пыльном заточении, пока ключ не выпал и в скважине не вспыхнул ее злой зеленый глаз.

Однако еще более предосудительным, чем эти проявления дурного нрава, было, по мнению Ады, то выражение болезненного экстаза, которое появлялось у Люсетты на лице, когда она крепко обхватывала Вана руками, ногами и хватким хвостом, как если бы он был стволом дерева, пусть и подвижным стволом, и ее нипочем нельзя было оторвать от него без увесистого шлепка старшей сестры.

«Признаю, — сказала Ада Вану, когда они плыли вниз по реке в красной лодке к густо укрытому ивами ладорскому островку, — да, Ван, признаю со стыдом и грустью, что мой чудный план провалился. Кажется, у этой приставалы лишь одно на уме. Кажется, она преступно влюбилась в тебя. Я, пожалуй, скажу ей, что вы с ней единоутробные и что крамольно и вообще чудовищно ласкаться с единоутробными: уродливые и темные слова пугают ее, я знаю, они и меня пугали в четыре года, а она, по сути, дурочка, и ее надо защищать от ночных кошмариков и бесстыдных комариков. Если и после этого она не угомонится, я всегда могу пожаловаться Марине, что она мешает нам читать и заниматься. Но, может быть, ты думаешь иначе? Может быть, она возбуждает тебя? Да? Скажи, она тебя возбуждает?»

«Это лето оказалось намного печальнее первого», тихо сказал Ван.

35

Сейчас мы на ивовом островке, на середине тишайшего рукава голубой Ладоры, с заливными лугами по одну сторону, а по другую — с видом на Шато Бриана, далекий и романтично-сумрачный замок на вершине

заросшего дубами холма. В этом овальном месте уединения Ван подверг свою новую Аду сопоставительному изучению; сравнивать было легко, поскольку дитя, исследованное им четыре года тому назад до мельчайших деталей, запечатлелось в его сознании, ярко-освещенное, на том же самом фоне струящейся синевы.

Ее лоб теперь казался меньше, не только оттого что она выросла, но и потому, что стала иначе убирать волосы, оставляя спереди театральный завиток; его белизна, не тронутая теперь ни единым пятнышком, приобрела особенную матовость, мягкие складочки пересекали его, как если бы все эти годы она слишком много хмурилась, бедняжка Ада.

Брови остались такими же густыми и царственными.

Глаза. Глаза сохранили чувственные складочки на веках, ресницы — сходство с ювелирным чернением, высоко посаженные райки — свое гипно-индусское выражение; веки все так же неизменно смежались, даже во время короткого объятия. Но само выражение ее глаз, когда она ела грушу, или разглядывала находку, или просто внимала человеку или животному, — изменилось, как если бы новые слои замкнутости и печали осели в радужке ее глаз, полускрыв их, вроде пелены, в то время как блестящие глазные яблоки двигались в своих очаровательно удлиненных глазницах с бóльшим беспокойством, чем прежде: м-ль Гипнокуш, «чьи глаза никогда не смотрят прямо и все же пронзают вас насквозь».

Ее нос больше не походил на раздавшийся по ирландскому абрису нос Вана, но кость выпирала еще уверенней, а кончик как будто задрался еще выше и обзавелся небольшой вертикальной выемкой, которой он не припоминал у двенадцатилетней colleenette.

На ярком свету становилась заметней тень темного шелка у нее над верхней губой (и на предплечьях), обреченная, сказала она, на истребление в первый же осенний визит в косметический кабинет. Тронутый губным карандашиком, ее рот приобрел теперь выражение отрешенной угрюмости, отчего, по контрасту, потрясенье от ее красоты только усиливалось, когда она, радуясь чему-нибудь или жадно чего-нибудь желая, показывала влажный блеск своих крупных зубов и алое великолепие языка и нёба.

Ее шея была и осталась самым утонченным, самым пронзительным источником его наслаждения, особенно когда она распускала волосы, позволяя им свободно струиться, и теплая, белая, ненаглядная кожа сквозила в случайных просветах лоснисто-черных прядей. Ни фурункулы, ни комариные укусы ей больше не чинили вреда, но он обнаружил бледный шрам от дюймового пореза, вдоль позвоночника, чуть ниже поясницы, — след от глубокой царапины, оставленной в прошлом августе заблудшей шляпной булавкой, или, скорее, колючей хворостиной в таком заманчиво-мягком на вид стоге сена.

(Ты безжалостен, Ван.)

Растительность на этом укромном островке (посещать который любителям воскресных прогулок воспрещалось — он принадлежал Винам, и составленное Даном объявление на деревянном щите хладнокровно

извещало: «Частное владение. Нарушители могут быть застрелены охотниками из Ардис-Холла») состояла из трех вавилонских ив, зарослей ольхи, густых трав, рогозы, аира болотного и небольшой поросли багряно-голубоцветного липариса, над которой Ада, присев на корточки, причитала, как над щенками или котятами.

Под сенью этих неврастеничных ив Ван и занимался своим обследованием.

Неотразимо прелестные плечи: я бы никогда не позволил своей жене носить открытые платья, будь у нее такие плечи, но как она может стать моей женой? В английском переводе довольно комичной повести Монпарнас Ренни говорит Нелл: «The infamous shadow of our unnatural affair will follow us into the low depths of the Inferno which our Father who is in the sky shows to us with his superb digit». По какой-то странной причине наихудшие переводы делаются не с китайского, а с обычного французского.

Вокруг ее сосцов, ставших дерзкими и ярко-алыми, росли тонкие черные волоски, которые тоже исчезнут, сказала она, поскольку признаны unschicklich. Где она подхватила, гадал Ван, это омерзительное словцо? Грудь у нее стала совершенной, белой и тяжелой, но ему отчего-то больше нравились маленькие мягкие припухлости ранней Ады, с их еще бесформенными тусклыми бутонами.

Он узнал памятную, неповторимую, дивную впалось ее плоского живота, его обольстительную «игру», открытое и живое выражение косых мышц и «улыбку» пупка — заимствуя термины из лексикона танцовщиц живота.

В один из дней он прихватил с собой бритвенные принадлежности и помог ей выполоть все три участка телесной поросли:

«Сегодня я Шахерез, — сказал он, — а ты его Ада, и это твой зеленый молитвенный коврик».

Их посещения островка тем летом навсегда остались в памяти безнадежно сплетенными вместе. Годы спустя они видели себя стоящими там в обнимку, прикрытыми лишь подвижной тенью листвы и глядящими, как красная лодка, по борту которой играет рябь, уносит их прочь, все дальше, машущих, машущих платками; и эта загадка нарушенной последовательности событий только усиливалась тем, что лодка возвращалась к ним обратно, продолжая при этом удаляться, что весла были преломлены световой рефракцией, а солнечные блики бежали не в ту сторону, напоминая стробоскопический эффект спиц, вращающихся против движения колес проходящей мимо процессии. Само время подшутило над ними, заставив одного задать оставшийся в памяти вопрос, а другого ответить что-то позабытое, и однажды в ольховых зарослях, отраженных черными тенями на голубой глади реки, они нашли подвязку, безусловно ее, она не могла не согласиться с этим, но Ван был уверен, что Ада никогда не надевала подвязок в те голоногие летние вылазки на зачарованный остров.

Ее прекрасные сильные ноги, возможно, стали длиннее, но все еще сохраняли бледный лоск и гибкость ее отроческих лет: она по-прежнему

могла посасывать большой палец собственной ноги. На подъеме правой ступни и на внешней стороне левой кисти у нее были такие же мелкие, довольно хорошо спрятанные от посторонних глаз, но нестираемые и священные родинки, какими природа отметила и его правую руку и левую ступню. Время от времени она покрывала ногти «Шахерезадой» (донельзя нелепая мода восьмидесятых годов), однако была неряшлива и забывчива по части ухода за собой, так что лак шелушился, оставляя неблаговидные прогалинки, и Ван уговорил ее вернуться в прежнее «монохромное» состояние. Взамен он купил в Ладоре (довольно фешенебельный курортный городок) цепочку текучего золота, которой украсил ее лодыжку, но она потеряла ее во время одного из их пылких свиданий и неожиданно разрыдалась, когда он сказал: ничего, другой любовник однажды отыщет ее для тебя.

Ее ум, ее гений. Она, конечно, переменилась за четыре прошедших года, но и он менялся совпадающими с ее стадиями, так что их мысли и чувства были настроены в унисон и должны были оставаться такими всегда, несмотря на все разлуки. Они уже не походили на дерзких Wunderkind’ов образца 1884 года, но в книжных познаниях оба еще дальше ушли от своих сверстников, чем в детские годы, так далеко, что и фигурок не разглядеть. Говоря же языком формуляров, Ада, родившаяся 21 июля 1872 года, уже закончила частную школу, а Ван, будучи на два с половиной года старше ее, к концу 1889 года надеялся получить степень магистра. Игривый блеск ее речи, пожалуй, несколько потускнел, и уже можно было заметить, по крайней мере задним числом, первую легкую тень того, что она позже назовет «моей пустоцветностью»; вместе с тем ее природный ум сделался глубже, а удивительные «сверхэмпирические» (как их называл Ван) скрытые идеи и представления, казалось, внутренне удвоились, обогатив даже наипростейшее выражение ее простейших мыслей. Она читала с той же, как и он, жадностью и неразборчивостью, но теперь у каждого завелся более или менее любимый питомец, у него — террологическая область психиатрии, у нее — драма (особенно русская), — что в случае Ады он находил слишком банальным выбором и надеялся лишь на то, что эта прихоть ей скоро наскучит. Ее флоримания, увы, все так же буйно цвела, правда, после того, как д-р Кролик (в 1886 году) умер у себя в саду от сердечного удара, она сложила всех своих живых куколок в его открытый гроб, где ученый лежал, по ее словам, такой же пухлый и розовый, как in vivo.

Теперь, в пору своей юности, во всех иных отношениях безрадостной и нерешительной, Ада-любовница стала еще даже более требовательной и отзывчивой, чем то было в дни ее ненормально пылкого детства. Д-р Ван Вин, усердный исследователь историй болезней, не смог отыскать в своей картотеке, среди досье совершенно здоровых английских девочек, лишенных преступных наклонностей, не страдающих нимфоманией, умственно развитых и духовно благополучных, никого, с кем можно было бы сравнить страстную двенадцатилетнюю Аду, притом что великое множество похожих на нее девочек расцветали и отцветали в старых замках Франции и Эстотиландии, как о том повествуют велеречивые романы и сенильные мемуары. Свою собственную страсть к ней Ван находил даже еще менее поддающейся изучению и анализу. Вспоминая, коитус за коитусом, свои посещения «Виллы Венус» или еще более ранние визиты в плавучие бордели Ранты или Ливиды, он всякий раз

отмечал, что его отклик на близость Ады оставался неизменным, не похожим ни на какую другую близость, поскольку простое скольжение ее пальца или губ вдоль его вздувшейся вены вызывало в нем не только несравнимо более мощную, но в принципе иную delicia, чем самое медленное «уинслоу» самой искушенной юной гетеры. Что же в таком случае поднимало животный акт в сферы даже более высокие, чем те, коих достигают выразительные и точные произведения искусств или необузданные порывы чистой науки? Было бы недостаточно сказать, что соитие с Адой открыло ему отчаяние, огонь, агонию высшей «реальности». Реальность, лучше сказать, утратила кавычки, которыми она снабжена, как когтями, — в мире, где независимые и оригинальные умы должны следовать ходу вещей или нарушить его, чтобы предотвратить безумие или смерть (эту госпожу безумия). Один или два спазма ничем ему не угрожали. Новая обнаженная реальность не нуждалась в щупальце или якоре; она возникала всего на миг, но зато ее можно было вызвать столько раз, сколько они физически могли отдаться друг другу. Краска и пламя этой мгновенной реальности определялась исключительно личностью Ады в его восприятии; она не имела ничего общего с добродетелью или тщеславием добродетели в широком смысле, — сверх того, Вану позднее казалось, что в пылу того лета он все время знал, что и теперь, и раньше Ада отвратительно изменяла ему, — так же точно, как и она знала, что в пору их разлуки Ван не раз пользовался живыми механизмами, которых возбужденные самцы могут нанять на несколько минут, как то описано в богато иллюстрированной ксилографиями и дагерротипами трехтомной «Истории проституции», прочитанной ею лет в десять или одиннадцать между «Гамлетом» и «Микрогалактиками» капитана Гранта.

Для всех тех ученых мужей, которые прочитают эти запретные мемуары с тайной судорогой (они ведь не истуканы) в неприметных расселинах библиотек, где набожно сберегаются словоблудные, жестяно-жюстинные, болтливо-инвалидные опусы претенциозных порнографистов, хочу прибавить на полях гранок, героической правке которых дряхлый старик отдает все свои силы (эти длинные, скользкие змеи — последнее испытание писателя, после стольких других напастей и скорбей), еще несколько <конец предложения написан неразборчиво, но, к счастью, следующий пассаж нацарапан на отдельном листке блокнота. Примеч. Ред.>.

…относительно восхищения ее самостью. Тем ослам, которые полагают, будто в звездном сиянии вечности моя, Вана Вина, и ее, Ады Вин, связь — где-то в Северной Америке, в девятнадцатом столетии — представляет собой не более чем одну триллионную от триллионной части крохотной, как булавочная головка, общей значимости нашей планеты, оставляю реветь ailleurs, ailleurs, ailleurs (русское слово не обладает требуемым ономатопоэтическим элементом; старый Вин милосерден), поскольку восхищение ее самостью, помещенное под микроскоп реальности (которая является единственной реальностью), открывает сложную систему тех тонких мостков, по которым чувства — смеясь, обнимаясь, бросая на воздух цветы — проходят между мембраной и мозгом и которые всегда были и есть формой памяти, даже в момент восприятия. Я слаб. Я так плохо пишу. Я могу умереть этой ночью. Мой волшебный ковер больше не скользит над балдахином древесных крон, над разинувшими клювы птенцами и над ее редкостными орхидеями.

Вставить.

36

Педантичная Ада однажды заметила, что поиск слов в лексиконах для любых других нужд, кроме образовательных или творческих, это занятие, находящееся где-то между декоративным подбором цветов (в чем еще можно усмотреть, признала она, толику девичьего романтизма) и составлением аппликаций из разрозненных крылышек бабочек (в чем не проявляется ничего, кроме дурного вкуса, а порой и злодейской наклонности). Per contra, внушала она Вану, вербальные шапито, «дрессированные словечки», «пудели-овечки» и тому подобное, могут быть оправданы самим качеством умственной работы, необходимой для создания выдающегося логогрифа или вдохновенного каламбура, и не должны исключать помощи словаря, неприветливого или услужливого.

Вот отчего она ценила «Флавиту». Название восходило к «алфавиту», старинной русской игре случая и сноровки, построенной на столкновении и составлении слов. Она распространилась по всей Эстотии и Канадии около 1790 года, в начале девятнадцатого века вновь была введена в моду «Мадхэттерами» («безумными шляпниками»), как некогда называли жителей Нового Амстердама, затем, после короткого затишья, около 1860 года прогремела с новой силой и теперь, еще столетие спустя, изобретенная безвестным гением заново и совершенно независимо от оригинальной ее версии или версий, все так же популярна, как мне сказали, под названием «Скрэббл».

Ее главная русская версия, в которую в детские годы Ады игрывали в богатых усадьбах, требовала 125 шашек, означенных определенной буквой. На доске из 225 клеток следовало составлять ряды и колонны слов, причем 24 клетки были шоколадного цвета, 12 — черного, 16 — оранжевого, 8 — красного, а остальные — золотисто-желтого (т. е. флавинового, отвечающего изначальному названию игры). Каждая буква русской азбуки имела свою стоимость — число очков: редкая русская «ф», к примеру, приносила игроку десять очков, легкоприменимая «а» — всего одно. Попадание на шоколадную клетку удваивало стоимость буквы, а черный цвет — утраивал ее. Оранжевые участки удваивали сумму очков всего слова, а красные клетки — утраивали. Позже Люсетта вспоминала, как в сентябре 1888 года, в Калифорнии, когда она дрожала от лютой стрептококковой горячки, у нее в полубреду пухла голова от непомерно выраставших достижений ее сестры по удвоению, утроению и даже удевятирению (при прохождении слова через две красные клетки кряду) числовой ценности ловко составленных терминов.

Игроки набирали по семь шашек из ларчика, в котором они лежали лицевой стороной вниз, и затем по очереди начинали выставлять свои слова на доске. Чтобы сделать первый ход, игрок должен был поставить любые две или все семь своих букв в линию, проходящую через срединную клетку, отмеченную горящим гептагоном. Следующий игрок должен был использовать любую букву этого начального слова для создания собственного, вертикально или горизонтально расставляя свои шашки. Цепная реакция продолжалась до конца игры, в которой побеждал тот, кто набирал, буква за буквой и слово за словом, больше всего очков.

Изысканный набор, полученный тремя нашими детьми в 1884 году от старинного друга семьи (как называли бывших любовников Марины) барона Клима Авидова, состоял из большой складной сафьяновой доски и ларчика с тяжеленькими эбеновыми плиточками, инкрустированными платиновыми литерами, из которых лишь одна была латинской, а именно буква «J», украшавшая только две джокерные шашки (счастливчик, получивший хотя бы одну из них, трепетал, как обладатель чека без указания суммы, подписанного джинном или Дзюродзином). То был, между прочим, тот самый добродушный, но вспыльчивый г-н Авидов (помянутый во множестве пикантных мемуаров тех лет), который однажды в «Грице», Venezia Rossa, импульсивным апперкотом катапультировал в каморку привратника одного незадачливого английского туриста, позволившего себе ироничное замечание, что весьма находчиво, дескать, поступают иные, отнимая у своего имени первую букву, дабы использовать ее в качестве particule.

К июлю от десяти «А» осталось девять, а из четырех «Д» сбереглось три. Утерянная «А» все же была найдена в толстой Античной Антологии, но «Д» исчезла бесследно, повторив участь своего апострофического двойника, как то представлялось Волтеру С. Киваю, эсквайру, за миг до того, как он с двумя непроштемпелеванными открытками влетел в объятия онемевшего полиглота в сюртуке с латунными пуговицами. Остроумие Винов (замечает Ада на полях) не знает пределов.

Первоклассного шахматиста Вана (в 1887 году он выиграл турнир в Чузе, разгромив уроженца Минска Пэта Рицина, чемпиона Андерхилла и Вильсона, Северная Каролина) удивляла неспособность Ады подняться в своей, так сказать, игре странствующей девы над уровнем юной леди из старого романа или из какой-нибудь цветной фоторекламы, превозносящей средство от перхоти: красавица-манекенщица, сотворенная вовсе не для шахматных утех, пристально глядит на плечо своего во всех иных отношениях безукоризненно ухоженного соперника, сидящего по ту сторону нелепого нагромождения белых и ярко-красных фигур, до неузнаваемости прихотливо вырезанных коней и слонов от фирмы «Лалла-Рук», которыми и кретины не захотели бы играть, даже если бы им щедро заплатили за профанацию наипростейшей мысли под наизудливейшим скальпом.

Время от времени Аде удавалось выстроить в уме комбинацию с жертвой фигуры, к примеру ферзя, взяв которого противнику через два-три хода пришлось бы сдаться; но она видела лишь одну сторону дела, в странной апатии заторможенного обдумывания предпочитая игнорировать очевидную контркомбинацию, ведущую к ее неотвратимому поражению, если великая жертва не будет принята. Но за доской «Скрэббла» та же порывистая и слабая Ада превращалась в разновидность очаровательной вычислительной машины (наделенной к тому же феноменальным везением), намного превосходящей озадаченного Вана в сообразительности, прозорливости и умении обходиться скудными средствами, когда аппетитно-длинные слова складывались из самых неприглядных косточек и крох.

Он находил «Скрэббл» довольно утомительной забавой и под конец составлял слова торопливо и небрежно, не снисходя до уточнения в

своем верноподданном словаре «редк.» или «устар.», но вполне допустимых терминов. Что же касается самолюбивой, несведущей и вскидчивой Люсетты, то Вану приходилось потихоньку подсказывать ей, даже двенадцатилетней, главным образом ради ускорения развязки и приближения блаженного мига, когда ее уведут в детскую, сделав Аду доступной для короткого дуэта — в третий или четвертый раз за дивный летний день. На него навевали смертную скуку пререкания сестер о законности того или иного слова: имена собственные и географические названия не допускались, но возникали спорные случаи, кончавшиеся бесконечным разочарованием, и что за душераздирающее зрелище являла собой Люсетта, сжимавшая свои последние пять букв (при пустом уже ларчике), образующие чудесное, роскошное АРДИС, означающее, как рассказала ей гувернантка, «острие стрелы», — но, увы, только по-гречески!

Особенно допекали его гневные или презрительные поиски сомнительных слов в груде словарей, сидящих, стоящих или развалившихся вокруг девочек — на полу, под стулом, на который Люсетта забралась с ногами, на диване, на большом круглом столе с флавитовой доской и на соседнем с ним комоде. Распря между недоумком Ожеговым (большой, синий, дурно переплетенный том, содержащий 52 872 слова) и маленьким, но воинственным Эдмундсоном в почтительной версии д-ра Гершчижевского, безмолвие идиотских сокращенных изданий и невиданная щедрость четырехтомного Даля («Дорогая моя далия», стонала Ада, отыскав у застенчивого, долгобородого этнографа отжившее жаргонное словечко) — все это было бы нестерпимой докукой для Вана, кабы его, как человека ученого, не обожгло сделанное им открытие занятного сродства «Скрэббла» со спиритической планшеткой. Впервые он обратил на это внимание августовским вечером 1884 года на балконе детской, под закатным небом, последнее пламя которого змеилось по краю водоема, поощряя последних стрижей и насыщая краской медные кудри Люсетты. Сафьяновая доска была раскрыта на испещренном кляксами, монограммами и зазубринами сосновом столе. Хорошенькая Бланш, мочка уха и ноготь большого пальца которой тоже были тронуты вечерним кармином, благоухая «Горностаевым мускусом», как служанки называли эти духи, принесла пока еще ненужную лампу. Бросили жребий, ходить выпало Аде, и она принялась машинально и бездумно набирать семь своих «фаворитиков» из открытого ларца, в котором шашки покоились лицевой стороной вниз, каждая в своей отдельной ячейке из флавинного бархата, являя игрокам лишь анонимные черные спинки. Набирая, Ада между прочим говорила: «Я бы предпочла здесь лампу Бентена, но в ней вышел керосин. Тушка (к Люсетте), будь другом, кликни ее… святые угодники!»

Семь взятых ею букв, С, Р, Е, Н, О, К, И, которые она перебирала в своем спектрике (узкий деревянный лоток, покрытый черным японским лаком, у каждого игрока свой), мигом и как бы сами собой сложились в ключевое слово случайной фразы, сопровождавшей их слепой отбор.

В другой раз, в эркере библиотеки, грозовым вечером (за несколько часов до того, как занялся амбар), Люсеттины шашки образовали забавное ВАНИАДА, из коего она извлекла тот самый предмет мебели, по поводу которого только что тонким капризным голосом сказала: «Что, если я тоже хочу сидеть на диване!»

Вскоре после этого, как обычно случается с играми, забавами и каникулярной дружбой, которые, казалось, обещали нескончаемое будущее всевозможных развлечений, «Флавита» сгинула вместе с бронзовыми и кроваво-красными кронами деревьев в осеннем тумане; потом черный футляр заставили другими вещами, о нем забыли на целых четыре года и затем случайно обнаружили среди ящиков со столовым серебром, незадолго до поездки Люсетты в город вместе с отцом, решившим провести с ней несколько дней в середине июля 1888 года. Так сталось, что в тот день трое юных Винов сошлись за доской «Флавиты» в последний раз. Ада одержала сокрушительную и памятную победу, а кроме того, Ван тогда делал записи в надежде — не совсем не сбывшейся — «углядеть изнанку времени» (что, как он позже напишет, «представляет собой лучшее обиходное определение знамений и предсказаний»), так что последний ход в той игре запомнился ему необыкновенно ясно.

«Je ne peux rien faire, — причитала Люсетта, — mais rien — с моими идиотскими Buchstaben, РЕМНИЛК, ЛИНКРЕМ…»

«Смотри, — шепнул Ван, — c’est tout simple, переставь два этих слога, и у тебя выйдет крепость в древней Московии».

«Ну уж нет, — возразила Ада, помахивая пальцем у виска свойственным ей жестом. — Ну уж нет. В русском языке нет этого славного слова, его придумал француз. А по-русски иначе, без второго слога».

«Стоит проявить каплю жалости к ребенку», заметил на это Ван.

«Никакой жалости!» — воскликнула Ада.

«Что ж, ты можешь поставить КРЕМ или КРЕМЕ, или, еще лучше, КРЕМЛИ — это юконские тюрьмы. Пройдет через ее ОРХИДЕЯ».

«Через ее глупый цветок», сказала Люсетта.

«А теперь, — сказала Ада, — Адочка сделает что-то еще более глупое». И, воспользовавшись малоценной буквой, опрометчиво посеянной за несколько ходов до этого в седьмую лунку самого плодородного верхнего ряда, она с грудным вздохом удовольствия составила прилагательное ТОРФЯНУЮ, причем буква «ф» пришлась на шоколадную клетку, да к тому же слово пересекло две красные клетки кряду (37 × 9 = 333 очка), что вкупе с премией в 50 очков (за использование всех семи шашек в один ход) принесло ей совокупно 383 балла — наивысший результат, когда-либо полученный русским флавитистом за одно слово. «Вот! — сказала она. — Уф! Pas facile». И, отмахнув розовыми костяшками белой руки бронзово-черные волосы с виска, она самодовольным и мелодичным голосом пересчитала свои чудовищные числа, как принцесса, рассказывающая об отравлении лишнего любовника, в то время как Люсетта взывала к Вану немым, кипящим от негодования на несправедливость жизни взглядом, а затем, вновь посмотрев на доску, завопила с нечаянной надеждой:

«Это название места! Нельзя брать названия! Так называется первая

деревня после Ладорского моста!»

«Так и есть, лапочка, — пропела Ада. — Ах, лапка, как же ты права! Да, Торфяная или, как говорит Бланш, La Tourbière, это, конечно, та самая живописная, но волглая деревушка, в которой обретается семейство нашей золушки. Но, mon petit, на языке нашей матушки — que dis-je, на языке и ее матери тоже, общем для нас троих, — на изобильном, прекрасном языке, которым лапке не стоит пренебрегать ради канадийской разновидности французского, это вполне обычное прилагательное означает “peaty”, женский род, винительный падеж. Да, этот последний ход принес мне без малого четыреста очков. Жаль, недотянула».

«Недотянула!» — раздувая ноздри, возмущенно поводя плечами, воскликнула Люсетта, обращаясь к Вану в поисках сочувствия.

Он наклонил ее стул, вынудив девочку соскользнуть с него и стать на ноги. Достижение бедняжки за пятнадцать (или около того) раундов игры оказалось вполовину меньше суммы, полученной ее сестрой за один блестящий последний ход, да и сам Ван не сильно преуспел, хотя какое это имело значение! Пушок, покрывавший руку Ады, бледно-голубые жилки на сгибе, запах жженого дерева, идущий от ее волос, отливавших каштаном в свете пергаментного абажура лампы (полупрозрачное озеро с японскими драконами), стоили бесконечно больше, нежели все те баллы, которые могли сложить в прошлом, настоящем и будущем ее напряженно сжимающие огрызок карандаша пальцы.

«Проигравшая прямиком отправляется в постельку, — весело сказал Ван, — и остается там, как паинька, а мы спустимся и принесем ей — ровно через десять минут — большую чашку (темно-синюю чашку!) какао (сладкого, густого, без всякой пенки какао Кэдбери!)».

«Никуда я не пойду, — сказала Люсетта, скрестив на груди руки. — Во-первых, потому что еще только половина девятого, а во-вторых, потому что я отлично знаю, для чего вы хотите от меня отделаться».

«Ван, — сказала Ада после небольшой паузы, — будь так добр, позови Мадемуазель. Она с Мариной работает над сценарием, вздорность которого способна превзойти только эта дрянная девчонка».

«Хотел бы я знать, — сказал Ван, — что она подразумевает под своим удивительным замечанием. Спроси ее, Ада, душка».

«Она думает, что мы собираемся флавитничать без нее, — сказала Ада, — или заняться той восточной гимнастикой, которой, помнишь, ты начал меня обучать, Ван, припоминаешь?»

«Ах да, я помню! Ты помнишь, я показывал тебе приемы, которым меня научил мой спортивный наставник, ты ведь помнишь его имя — Кинг Винг?»

«Не многовато ли всего вы помните, ха-ха», — сказала Люсетта, став перед ними в своей зеленой пижаме, с оголившейся загорелой грудкой, расставив ноги и уперев кулачки в бока.

«Пожалуй, проще всего —», начала Ада.

«Проще всего, — сказала Люсетта, — сознаться, что вы не можете сказать мне, почему именно хотите отделаться от меня».

«Пожалуй, проще всего, — продолжила Ада, — тебе, Ван, наградить дерзкую девчонку увесистым, звонким шлепком».

«Ну-ка давай!» — воскликнула та, с готовностью повернувшись к ним задом.

Очень нежно Ван погладил ее шелковую макушку и поцеловал за ушком, и, разразившись настоящей бурей слез, Люсетта выбежала из комнаты. Ада заперла за ней дверь.

«Вот ведь какая ненормальная, испорченная гитана-нимфетка, полюбуйтесь, — сказала Ада. — Все же нам следует быть осторожнее обычного… о, крайне, крайне, крайне… ох, милый, осторожнее».

37

Шел дождь. Лужайки казались зеленее, а водоем — серее обычного в унылой панораме, открывавшейся из окна библиотечного эркера. В черном тренировочном костюме, подложив под голову две желтые диванные подушки, Ван лежа читал книгу Раттнера о Терре — неподатливый и наводящий тоску том. Время от времени он поглядывал поверх лысого темени сумрачной Татарии, изображенной на громадном старинном глобусе, на высокие, по-осеннему токающие часы, и тусклый предвечерний свет в комнате напоминал скорее о раннем октябре, чем о начале июля. Надев старомодный плащ с пояском, который Вану никогда не нравился, с сумочкой через плечо, Ада на весь день укатила в Калугу — официально для примерки нарядов, неофициально — на прием к кузену д-ра Кролика, гинекологу Зайтцу (или Зайцу, как она про себя транслитерировала это имя, поскольку оно тоже принадлежало, как и д-р Кролик, к отряду Lagomorpha в русском произношении). Ван знал, что за месяц любовных утех он ни разу не пренебрег мерами предосторожности, порой довольно причудливыми, но бесспорно заслуживающими доверия, и недавно обзавелся предохранительными чехольчиками, которыми в Ладорском округе по какой-то вздорной, но освященной временем причине разрешалось торговать исключительно в цирюльнях. Все же он не был спокоен, и от этого волнения чувствовал раздражение; к тому же Раттнер, в основном тексте книги апатично отрицавший какое бы то ни было объективное существование планеты-близнеца и неохотно допускавший такую возможность в своих туманных примечаниях (неудобно помещенных между главами), казался таким же занудным, как и дождь, косые параллельные струи которого, походившие на карандашную штриховку, хорошо были видны на темном фоне лиственничной плантации, позаимствованной, по уверениям Ады, из Парка Мэнсфилд.

Без десяти пять тихо вошел Бут с зажженной керосиновой лампой и приглашением Марины поболтать в ее комнате. Проходя мимо глобуса, Бут коснулся его и неодобрительно посмотрел на свой испачканный палец. «Пыльный шар, — сказал он. — Бланш следует услать обратно в деревню. Elle est folle et mauvaise, cette fille».

«Ладно, ладно», проворчал Ван, возвращаясь к книге. Бут вышел из комнаты, качая глупой, коротко стриженой головой, а Ван, зевая, позволил Раттнеру скользнуть с черного дивана на черный ковер.

Когда он вновь посмотрел на часы, они собирались с силами, чтобы пробить. Он скатился с дивана, вспомнив, что Бланш заглядывала только что и просила пожаловаться Марине на м-ль Аду, которая вновь отказалась подвезти ее до «Beer Tower» («Пивной Башни»), как местные шутники прозвали ее бедную деревню. В продолжение нескольких мгновений короткий смутный сон был так прочно спаян с реальными событиями, что даже когда он вспомнил, как Бут провел пальцем по ромбовидному полуострову, где только что высадились войска союзников (как сообщала раскрытая на библиотечном столе ладорская газета), он все еще ясно видел Бланш, протирающую Крым одним из потерянных Адой носовых платков. Он взобрался по витой лестнице в уборную детской, услышал оттуда, как гувернантка и ее бедная воспитанница декламируют реплики из ужасной «Береники» (каркающее контральто сменял лишенный всякого выражения голосок), и решил, что Бланш или, вернее, Марина желает, по-видимому, узнать, всерьез ли он обмолвился на днях о том, что намерен записаться добровольцем в действующие части, едва ему исполнится девятнадцать (не достигших девятнадцати лет не принимали). С минуту он задумался о том печальном обстоятельстве, что (как он отлично знал по своим научным занятиям) смешение двух реальностей (первой в одинарных, второй — в двойных кавычках) есть признак наступающего помешательства.

Без обычной краски на лице, казавшемся от этого голым, с тусклыми волосами, закутанная в свое самое заношенное кимоно (Педро внезапно отбыл в Рио), Марина полулежала в кровати из красного дерева под золотым стеганым одеялом и прихлебывала чай с кобыльим молоком (одна из ее причуд).

«Присядь-ка, Ван, выпей чайку, — сказала она. — Коровье, кажется, в меньшем молочнике. Да, точно». И когда Ван, поцеловав ее усеянную веснушками руку, опустился на иванильича (разновидность охающего старого пуфа, обтянутого кожей), она начала: «Ван, милый мой, я хочу сказать тебе кое-что и знаю, что мне никогда не придется повторять это снова. Белль, со свойственным ей уменьем подобрать верные слова, привела мне известное “cousinage-dangereux-voisinage” adage, я имею в виду “adage”, изречение, все время ошибаюсь в этом слове, и посетовала qu’on s’embrassait dans tous les coins. Это правда?»

Мысли Вана опередили слова. Марина, это фантастическое преувеличение. Сумасбродная гувернантка однажды видела, как я перенес Аду через ручей и поцеловал, потому что она поранила палец на ноге. Я — известный бедняк из самой печальной истории на свете.

«Ерунда, — ответил Ван. — Она однажды видела, как я перенес Аду через ручей, и неверно истолковала наше спотыкающееся слияние».

«Речь не об Аде, глупыш, — фыркнув, сказала Марина, возясь с чайником. — Азов, русский сатирик, производит слово “ерунда” от немецкого “hier und da”, что значит “ни тут, ни там”. Ада уже девица, а у больших девочек, увы, свои заботы. М-ль Ларивьер говорила, конечно, о Люсетте. Ван, этим телячьим нежностям следует положить конец. Люсетте только двенадцать, она еще очень наивна, и, разумеется, я понимаю, что все это лишь забава, однако никогда нельзя быть чересчур деликатным по отношению к созревающей маленькой женщине. A propos de coins: у Грибоедова в “Горе от ума” — пьеса в стихах, написанная, кажется, во времена Пушкина, герой напоминает Софье об их детских играх и говорит:

Мы въ темномъ уголкѣ, и кажется, что въ этомъ…

— что звучит несколько двусмысленно. Еще чаю, Ван? (Он покачал головой, одновременно подняв руку, как его отец.) Потому что, видишь ли, — а, все равно ничего не осталось — слова “и кажется, что в этом” можно понять как “мне кажется, что в этом” — указывая пальцем в угол комнаты. Вообрази, когда я репетировала эту сцену с Качаловым в юконском театре “Чайка”, Станиславский, Константин Сергеевич, даже настаивал на том, чтобы он сделал этот уютненький жест».

«Необыкновенно занимательно», сказал Ван.

Вошел таксик, покосился слезящимися карими глазами на Вана, доковылял до окна, поглядел на дождь, совсем как маленький человек, и вернулся на свою грязную подушку в соседней комнате.

«Не люблю эту породу, — заметил Ван. — Дакелофобия».

«А девушки… ты любишь девушек, Ван? У тебя много девушек? Ты ведь не педераст, как твой бедный дядюшка, не так ли? В роду у нас было несколько совершенно свихнувшихся извращенцев, но — Почему ты смеешься?»

«Так, — сказал Ван. — Я лишь хочу заявить, что обожаю девушек. Впервые это случилось, когда мне было четырнадцать. Mais qui me rendra mon Hélène? У нее были волосы цвета вороного крыла и кожа как снятое молоко. Потом было немало других, гораздо более сливочных. И кажется, что в этом?»

«Как странно, как грустно! Грустно оттого, что я почти ничего не знаю о твоей жизни, мой душка. Земские были мерзкими развратниками, один из них любил маленьких девочек, а другой raffolait d’une de ses juments и стреножил ее особенным образом — не спрашивай, каким именно (всплескивает руками жестом ужаснувшегося невежества), — когда приходил к ней на свидания в стойло. Кстати, я никогда не

могла взять в толк, как может характер холостяка передаться по наследству, разве что гены способны прыгать, как шахматные кони. Я почти обыграла тебя в прошлый раз, сыграем как-нибудь еще, не сегодня, я слишком расстроена. Я так хочу знать все, вообще все о тебе, но теперь уже слишком поздно. Воспоминания всегда чуточку “стилизованы”, как говорил твой отец, неотразимый и ненавистный мужчина, а теперь, даже если ты покажешь мне свои старые дневники, я уже не смогу всколыхнуть в душе настоящие чувства, хотя любая актриса способна расплакаться, как вот я сейчас. Знаешь (ищет платок под подушкой), когда дети еще такие малютки, мы не можем и помыслить прожить без них даже два дня, а потом мы живем — сначала две недели, затем — месяцы, серые годы, целые черные десятилетия, а там и opéra bouffe христианской вечности. Мне кажется, что даже самая короткая разлука — это что-то вроде тренировки для Элизийских игр. Кто это сказал? Я сказала. А твой костюм, хотя и очень тебе к лицу, в некотором смысле траурный. Что за вздор я несу. Прости мне эти дурацкие слезы… Скажи, могу ли я что-нибудь сделать для тебя? Ну придумай что-нибудь! Хочешь, я подарю тебе прекрасный, почти новый перуанский шарф, который он оставил, этот безумный мальчик? Нет? Не в твоем вкусе? А теперь ступай. И помни — ни слова бедной мадемуазель Ларивьер, у нее лишь самые добрые намеренья!»

Ада вернулась только перед ужином. Опасения оправдались? Он встретил ее у парадной лестницы, по которой она устало поднималась наверх, волоча за собой по ступеням ридикюль. Опасения оправдались? От нее пахло табаком — то ли оттого, что ей пришлось (сказала она) провести битый час в купе для курящих, то ли оттого, что сама (добавила она) выкурила папиросу-другую в приемной врача, то ли, может быть, оттого (и этого она не сказала), что ее безвестный любовник был заядлым курильщиком, в его открытом красном рту клубился сизый туман.

«Что? Как? Tout est bien? — накинулся на нее Ван после быстрого поцелуя. — Не стоит волноваться?»

Она гневно, или разыгрывая гнев, взглянула на него.

«Ван, не нужно было звонить Зайтцу! Он даже не знает моего имени! Ты ведь обещал!»

Пауза.

«Я не звонил», тихо ответил Ван.

«Tant mieux, — сказала Ада тем же фальшивым голосом, пока он помогал ей в коридоре снять плащ. — Oui, tout est bien. Может быть, перестанешь меня обнюхивать, дорогой Ван? Собственно, чортовы регулы начались на обратном пути. Пожалуйста, дай мне пройти».

У девиц свои заботы? Машинально помянутые ее матерью? Что-нибудь заурядное? «У всех свои проблемы», так, что ли?

«Ада!» — крикнул он.

Она обернулась, уже собираясь отпереть свою (всегда запертую) дверь.

«Что?»

«Тузенбах, не зная, что сказать: “Я не пил сегодня кофе. Скажешь, чтобы мне сварили…” Быстро уходит».

«Очень смешно!» — сказала Ада и заперлась в своей комнате.

38

В середине июля дядя Данила уехал с Люсеттой в Калугу, где она должна была провести пять дней под присмотром Белль и Франш. В Калуге шли гастроли Лясканского балета и немецкого цирка, к тому же ни один ребенок не захотел бы пропустить состязания школьниц по хоккею на траве и плаванию — в это время года старик Дан, дитя в душе, неукоснительно отправлялся глазеть на атлетичных дивчин; кроме того, Люсетте предстояло пройти ряд обследований в тарусском госпитале, имевших целью выяснить, отчего у девочки так сильно меняются вес и температура, при том что чувствует она себя превосходно и ест за двоих.

Их возвращение ожидалось в пятницу после полудня. Дан вез с собой калужского стряпчего, посему ожидался и Демон, чей визит был событием исключительным. Кузены намеревались обсудить продажу «синих» (торфяники) земель, которыми владели купно и от которых, каждый на свой резон, горели желанием поскорее избавиться. Как нередко случалось с самыми тщательно подготовленными затеями Данилы Вина, вышла осечка — стряпчий задерживался до позднего вечера, и за минуту перед прибытием Демона Марина получила аэрограмму, в которой муж просил ее «отужинать с гостем», не дожидаясь его и Миллера.

Этот контретанъ — шутливый термин Марины для всякой неожиданности, не обязательно неприятной — обрадовал Вана несказанно. В тот год он почти не видел отца. Он любил его с радостным почитанием, в детстве боготворил без оглядки, а ныне, в снисходительные и более осведомленные годы своей юности, питал к нему чувство нерушимого уважения. Еще позже к любви и почтению прибавилась струя отвращения (того же отвращения, которое он испытывал по отношению к собственному распутству); вместе с тем, чем взрослее становился Ван, тем тверже сознавал, что отдаст жизнь за отца — не колеблясь, гордо и счастливо, при любых мыслимых обстоятельствах. Когда в конце 90-х годов девятнадцатого века, впав в мизерабельное старческое слабоумие, Марина взяла привычку путано и без конца рассказывать о «преступлениях» мертвого Демона, уснащая свои россказни шокирующими и грязными подробностями, Ван лишь испытывал жалость и к ней, и к нему, но его равнодушие к Марине и обожание отца оставались неизменными, сохранившись и по сей день, в хронологически невероятные шестидесятые годы двадцатого века. Никакой проклятый любитель обобщений, с грошовым умом и сморщенным как сушеная фига сердцем, не смог бы объяснить (и вот мое сладчайшее отмщение, упрямые хулители дела моей жизни!) индивидуальные пристрастия, нашедшие свое проявление в такого рода и в подобных вещах. А без таких пристрастий нет ни искусства, ни гения, скажу это в последний раз, кляня всех олухов и холуев на свете.

Часто ли Демон наведывался в Ардис в эти годы? 23 апреля 1884, когда был предложен, продуман и предрешен первый летний приезд Вана. Дважды летом 1885 года, когда Ван бродил по горам в Западных штатах, а дочки Вина путешествовали по Европе. Обед в июне или июле 1886 года (а где был Ван?). Несколько дней в мае 1887 (Ада ботанизировала с одной немецкой дамой в Эстотии или Калифорнии, а Ван распутничал в Чузе).

Воспользовавшись отсутствием Ларивьерши и Люсетты, Ван вволю поразвлекся с Адой в удобной детской, где и услышал низкое урчание отцовского автомобиля. Он выглянул в первое попавшееся окно, из которого не было видно подъездной аллеи, и стремглав бросился вниз по лестнице — жжение в скользящей по перилам ладони весело напомнило ему схожие случаи в детстве. В холле никого не было. Демон вошел в дом через боковую галерею и уже восседал в залитой солнцем, мерцающей повисшими в воздухе пылинками музыкальной гостиной, протирая монокль специальной замшинкой в ожидании предобеденных «бредней» (старая шутка). Волосы выкрашены в цвет вороного крыла, и белые, как у борзой, зубы. Его гладкое лоснящееся загорелое лицо с аккуратно подстриженными черными усами и влажными карими глазами сияло, излучая любовь, на которую Ван отвечал взаимностью и которую оба тщетно старались завуалировать привычной шутливостью.

«Привет, папа».

«А, привет, Ван».

Très Américain. Школьный двор. Вот он хлопнул дверцей автомобиля, вот идет по снегу. Всегда в перчатках и всегда без пальто. Не хочешь ли заглянуть в «ванную», отец? Моя страна, моя милая страна.

«Не хочешь ли заглянуть в “ванную”?» — спросил Ван, подмигивая.

«Нет, благодарю. Я принял ванну этим утром». Быстрый вздох сознания того, как летит время: он тоже помнил каждую деталь тех обедов в Ривердейне, на которые приглашались отцы учеников, — незамедлительное и почтительное предложение посетить ватерклозет, который они называли ванной, радушие наставников, отвратительная снедь, какое-то жирное крошево, Боже, храни Америку, краснеющие мальчуганы, хамоватые отцы, все эти титулованные английские и греческие шишки, обсуждающие яхты, доходы, охоту и барбекю на Багамудах. Могу ли я незаметно переложить сие изысканное синтетическое кушанье в розовом желе на твою тарелку, сын мой? «Как, тебе не по вкусу, папа?» (изображая страшную обиду). Боже, храни их бедные маленькие американские рецепторы.

«У твоего нового автомобиля отменный тембр», сказал Ван.

«Не правда ли? Верно. (Спросить Вана об этой горнишонке — русско-французский сленг последнего разбора, означающий хорошенькую камеристочку.) А как ты поживаешь, мой мальчик? В последний раз мы виделись в день твоего возвращения из Чуза. Мы попусту тратим жизнь в разлуке! Игрушки в руках судьбы! Ах, давай проведем месяц в Париже

или Лондоне перед началом осеннего семестра!»

Демон сбросил монокль и вытер глаза модным платком с кружевными краями, вынув его из нагрудного кармана смокинга. Его слезные железы действовали безотказно, если только подлинное горе не заставляло его держать себя в руках.

«Ты выглядишь чертовски хорошо, папа. Особенно с этим свежим oeillet в петлице. Похоже, в последнее время ты редко бывал в Манхэттене — тон твоей кожи скорее манильский».

Страсть к домодельным каламбурам у Винов в венах.

«En effet, я позволил себе небольшое путешествие в Акапульково», ответил Демон, непроизвольно и некстати вспомнив (с тем особым напором мгновенных подробностей, который так хорошо был знаком и его детям) полосатую, черно-лиловую рыбку в аквариуме, схожие полоски на оттоманке, субтропическое солнце, играющее прожилками ониксовой пепельницы на каменном полу, груду старых, забрызганных апельсиновым соком журналов «Повѣса», привезенные им драгоценности, фонограф, поющий мечтательным женским голосом «Petit nègre, au champ qui fleuronne», и упоительно-прелестный животик очень дорогой и очень ветреной и, в общем, совершенно неотразимой юной креолки.

«Та красотка, как там ее, составила тебе компанию?»

«Видишь ли, сынок, по правде говоря, мне с каждым годом все труднее разбираться в списке своих пассий. Давай лучше о более простых материях. Где же бренди? Мне обещал проходивший мимо ангел».

(Проходивший мимо ангел?)

Ван потянул зеленый шнур звонка, подав мелодичный зов в направлении буфетной и вызвав антифонное журчание в маленьком антикварном аквариуме с заточенной в нем одинокой цихлидой, стоявшем в углу музыкальной гостиной на бронзовой подставке (странная, предположительно связанная с аэрацией реакция, действие которой мог объяснить лишь Ким Богарне, кухонный служка). «Стоит ли позвонить ей после ужина?», размышлял Демон. Который час там будет? Пользы чуть, а для сердца вредно.

«А тебя уже известили или нет? — сказал Ван, снова садясь на толстый подлокотник отцовского кресла. — Дядя Данила приедет с Люсеттой и адвокатом после ужина».

«Славно», сказал Демон.

«Марина с Адой сейчас спустятся — ce sera un dîner à quatre».

«Славно, — повторил Демон. — Ты выглядишь превосходно, дружок мой, и мне не приходится преувеличивать комплименты, как поступают иные в отношении стареющего мужчины с сияющими, будто начищенные туфли, волосами. Замечательный смокинг, или, скорее, замечательно другое — узнать в крое сыновьего костюма руку собственного старого портного —

все равно что поймать себя на повторении фамильного жеста, к примеру, вот этого (трижды машет у виска левым указательным пальцем), которым моя матушка выражала будничное, мирное отрицание; этот ген тебя миновал, но я подмечал его в зеркале своего парикмахера, отвергая предложение смазать мою лысину “Crêmlin’ом”. А знаешь, кто еще его унаследовал? Моя тетка Китти, которая вышла за банкира Боленского после развода с этим жутким старым бабником, Лёвкой Толстым, писателем».

Демон предпочитал Диккенсу Вальтера Скотта и русских романистов ставил невысоко. Ван, как всегда, посчитал нужным уточнить:

«Необыкновенно искусным писателем, папочка».

«Ты необыкновенно милый юноша», сказал Демон, не сдержав еще одной пресной слезы. Он приложил к щеке крепкую и ладную сыновью ладонь. Ван поцеловал его волосатый кулак, уже сжимавший пока еще незримую рюмку. Несмотря на черты ирландской мужественности, те Вины, в чьих жилах текла русская кровь, имели склонность нежничать в ритуальных излияниях привязанности, оставаясь при этом довольно неуклюжими в словесных ее выражениях.

«Ну и ну! — воскликнул Демон. — Да у тебя шуйца, как у плотника! Покажи-ка мне десницу. Господь милосердный! (Бормочет:) “Холм Венеры” обезображен, “линия жизни” рубцеватая, хотя и необычайно длинная… (Продолжает нараспев, по-цыгански:) Доживешь до самой Терры и вернешься еще более мудрым и счастливым. (Своим обычным голосом:) Но что озадачивает меня как хироманта, так это странная форма “сестры” твоей “линии жизни”. И жесткость кожи!»

«Маскодагама», выдохнул Ван, подняв брови.

«Ах да, конечно, как тупо (глупо) с моей стороны. А теперь скажи: по душе ли тебе Ардис-Холл?»

«Обожаю его, — ответил Ван. — Для меня это château que baignait la Dore. Я бы с радостью провел здесь всю свою рубцеватую и странную жизнь. Пустые мечты!»

«Пустые? Вот еще. Я знаю, что Данила намерен оставить именье Люсиль, но он жаден, а мои возможности таковы, что я способен удовлетворить даже великую жадность. Когда я был юношей твоих лет, я считал, что самое мелодичное слово рифмуется с “бильярдом”, и теперь я знаю, что был прав. Если, сынок, ты в самом деле мечтаешь стать владельцем этой усадьбы, я мог бы попробовать ее купить. Я могу надавить на Марину. Она вздыхает, как кожаный пуф, когда наседаешь на нее, если можно так сказать. Чорт, здешние слуги отнюдь не меркурии. Дерни-ка за шнур еще раз. Да, полагаю, Данилу можно уговорить».

«Ты добр, как черный, папочка», сказал Ван, вспомнив поговорку Руби, своей нежной юной няньки, родившейся на Миссисипи, где судейские, филантропы, проповедники всевозможных “вероисповеданий” (как это принято называть) и другие почтенные и щедрые господа были главным образом черно- или темнокожими выходцами с Западной Африки, предки

которых, умелые мореходы, первыми достигли вод Мексиканского залива.

«Вот еще, — задумчиво повторил Демон. — Поместье стоит едва ли больше двух-трех миллионов, минус долг дорогого кузена передо мной, минус еще ладорские пастбища, вконец изгаженные, от которых придется постепенно избавиться, если только местные помещики не сожгут этот новый керосиновый завод, стыд и срам нашего графства. Я не питаю большой привязанности к Ардису, но ничего не имею против него, хотя на дух не переношу здешнее окружение. Городской центр Ладоры стал настоящей дырой, да и казино уже не то, что раньше. Зато кругом полно сумасбродных соседей. Бедняга лорд Эрминин практически сбрендил. Давеча на скачках я говорил с одной дамой, расположения которой добивался давным-давно, о, задолго до того, как Мозес де Вер в мое отсутствие наставил ее мужу рога, а потом застрелил его в моем присутствии — сентенция, которую ты, конечно, уже слыхал из этих самых уст, —

(Сейчас скажет об “отцовской болтливости”.)

— однако хорошему сыну не следует сетовать на отцовскую болтливость… Так вот, она сказала мне, что ее сын и Ада частенько видятся и так далее. Неужели?»

«Не так уж часто, — сказал Ван. — Они встречаются иногда на людях, как это обычно бывает. Оба любят лошадей и скачки, но не более того; никакого “и так далее” и в помине нет».

«Ну что же, прекрасно! Ага, слышу зловещую поступь. Прасковья де Пре страдает худшим недостатком сноба — склонностью к преувеличениям. Bonsoir, Бутейан. Ты багров, как твое бургундское, но ведь мы не молодеем, как говорят амерлоки, и ту хорошенькую служаночку, которой я дал порученье, похоже, перехватил на полпути какой-нибудь поклонник помоложе да посчастливее меня».

«Прошу, папочка», молвил Ван, всегда боявшийся того, что замысловатая отцовская острота может обидеть слугу, хотя сам порой грешил чрезмерной резкостью.

Впрочем — пользуясь почтенным повествовательным переходом, — старый француз слишком хорошо знал своего прежнего хозяина, чтобы обращать внимание на господский юмор. Его ладонь все еще приятно звенела от звучного шлепка по крепким молодым ягодицам Бланш, которая переврала простую просьбу г-на Вина, да в придачу разбила вазу. Поставив поднос на низкий столик, он отступил на несколько шагов назад со все еще сжатыми, но уже пустыми пальцами, и только после этого ответил на приветствие Демона почтительным поклоном. Все ли так же отменно здоровье мосье? Все так же.

«Подай к ужину бутылку вашего Château Latour d’Estoc, — сказал Демон, и когда дворецкий, подхватив en passant с крышки рояля скомканный носовой платочек, покинул комнату, еще раз поклонившись в дверях, спросил у Вана: — Ты ладишь с Адой? Сколько ей, почти шестнадцать уже? Весьма музыкальна и романтична?»

«Мы близкие друзья, — сказал Ван (он загодя тщательно подготовил ответ на вопрос, которого давно ждал в той или иной форме). — Несомненно, у нас больше общего, чем, к примеру, у обычных любовников, или у кузенов с кузинами, или у родственников. Словом, мы практически неразлучны. Много читаем, она на диво развита, благодаря дедовской библиотеке. Знает названия всех цветов и зябликов в округе. К тому же с ней не бывает скучно».

«Ван… — начал Демон и умолк, как уже начинал и не раз останавливался в последние годы. Однажды это придется сказать, но сейчас не самый удачный момент. Он вставил монокль и принялся изучать бутылки. — Что ж, сын мой, не желаешь ли ты испить какой-нибудь из этих аперитивов? Отец разрешал мне бокал “Лиллетовки” или той “Иллинойской бурды”, не вермут, а муть, антрану свади, как сказала бы Марина. Подозреваю, что в кабинете твоего дядюшки есть тайник, где за соландерами хранится виски почище этого usque ad Russkum. Хорошо, давай выпьем коньяку, как и было задумано, ведь ты не filius aquae?»

(Каламбур вышел сам собой, Демона несло, и он невольно сказал бестактность.)

«Я предпочитаю кларет. Потом налягу на “Латур”. Нет, я определенно не абстинент, да к тому же водопроводная вода в Ардисе оставляет желать лучшего».

«Я просто обязан заметить Марине, — сказал Демон, прополоскав десны и медленно сглотнув, — что ее мужу не следует хлестать можжевеловку и лучше держаться французских и калифранцузских вин, памятуя о том ударчике, который он недавно перенес. На днях я встретил его в городе, возле Мэд-авеню: гляжу, идет в мою сторону, довольно бодро, но едва он меня увидел, за квартал, завод у него начал слабеть, и он, сделав несколько шагов, беспомощно стал на месте, так и не дойдя до меня! Не думаю, что это нормально. Ну да ладно. Пусть наши милашки никогда не встретятся, как мы говорили в Чузе. Только юконцы думают, что коньяк вредит печени, ведь у них, поди, ничего, кроме водки, нет. Что ж, я рад, что ты так сдружился с Адой. Это хорошо. Только что в галерее я столкнулся с очень соблазнительной субреткой. Она ни разу не подняла своих длинных ресниц и отвечала по-французски, пока я — Пожалуйста, сынок, сдвинь эту ширму чуть в сторону, вот так, закатный клинок, особенно из-под грозовой тучи, не для моих бедных зениц. Или бедных сердечных желудочков. Тебе нравятся такие, Ван: склоненная головка, голая шея, высокие каблучки, торопливая походка, покачиванье бедер? Нравятся, скажи?»

«Знаете, сэр —»

(Сказать, что состою в клубе «Венера», будучи его самым молодым членом? Он тоже состоит? Подать знак? Пожалуй, не стоит. Придумать.)

«Собственно, я сейчас прихожу в себя после пылкого романа в Лондоне со своей партнершей по танго. Ты видел, как я с ней танцую, когда прилетал на последнее выступление, помнишь?»

«Еще бы. Забавно, что ты это так назвал».

«По-моему, сэр, вам уже довольно бредней».

«Хорошо, хорошо, — ответил Демон. Его одолевала одна деликатная проблема, которая была вытеснена из сознания Марины лишь бестолочью родственной догадки, хотя она могла проникнуть в него через какую-нибудь заднюю дверь; ибо бестолочь всегда синонимична толчее, и нет ничего полнее пустого ума. — Конечно, — продолжал Демон, — спорить о пользе летнего отдыха в деревне не приходится…»

«Жизнь на вольном воздухе и все такое», поддакнул Ван.

«Неслыханно, чтобы юнец следил за тем, сколько выпил его отец, — заметил Демон, наливая себе четвертую рюмку. — С другой стороны, — вернулся он к своей мысли, мелкими глотками опустошая хрупкий сосуд с тонкой ножкой и золотым ободком, — жизнь на вольном воздухе может показаться довольно унылой без летнего романа, а здешние холмы, согласен, редко посещают подходящие молодые особы. Есть, правда, та прелестная дочка Эрминина, une petite juive très aristocratique, но она, сколько знаю, обручена. Между прочим, мадам де Пре сказала мне, что ее сын записался добровольцем и скоро примет участие в той скверной заграничной авантюре, в которую нашей стране не стоило ввязываться. Любопытно, есть ли другие воздыхатели, которые останутся после его отъезда?»

«Господь с тобой, нет, — ответил честный Ван. — Ада вовсе не легкомысленная девица, у нее нет ухажеров — кроме меня, ça va seins durs. Ах, кто же, кто, папа, сказал так, вместо “sans dire”?»

«Да! Кинг Винг! В ответ на мой вопрос, как ему нравится его жена француженка. Что ж, превосходно — я об Адушке. Ты говоришь, она любит лошадей?»

«Она любит все то, что любят наши красавицы — балы, орхидеи, “Вишневый сад”».

Тут в комнату вбежала сама Адушка. Да-да-да, вот и я! Лучезарна!

Старый Демон, с горбом радужных крыл, привстал и тут же снова сел, обнимая Аду одной рукой, держа в другой свою рюмку, целуя девушку в шейку, в волосы, впитывая ее свежесть с таким пылом, какого не ждешь от дядюшки. «Ура! — крикнула она (и это вырвавшееся из ее детства восклицание вызвало в Ване умиленіе, melting ravishment, attendrissement, даже большее, чем, казалось, испытывал его отец). — Как здорово, что ты добрался до нас! Раздирая тучи! Ухнув вниз на Тамарин замок!»

(Лермонтов в пересказе Лоудена.)

«В последний раз, — сказал Демон, — я имел удовольствие видеть тебя в апреле. Ты была в плаще и черно-белом шарфе, и от тебя разило какой-то мышьяковой дрянью после дантиста. Ты будешь рада узнать, что доктор Жемчужников женился на своей секретарше. А теперь к делу, душа моя. Я не против твоего платья (черное, облегающее, без

рукавов), я готов смириться с тем, как романтично убраны твои волосы, я не стану особенно возражать против “лодочек” на босу ногу, твои духи “Beau Masque” — passe encore, но, сокровище мое, я презираю и попросту отвергаю эту багрово-синюю краску на губах. Очень может быть, что в старой доброй Ладоре такой тон в моде, но точно не в Мане или Лондоне».

«Ладно», сказала Ада и, показав свои крупные зубы, с силой вытерла губы крошечным платком, вынутым из-за пазухи.

«И это тоже провинциально. Тебе следует носить черный шелковый ридикюль. А сейчас вы увидите, какой из меня прорицатель: ты мечтаешь стать концертной пианисткой!»

«Вот уж, — сказал Ван с негодованием. — Ничего подобного. Да она ни единой ноты не может взять!»

«Ну нет так нет, — сказал Демон. — Наблюдательность не всегда мать дедукции. Впрочем, я не вижу ничего непристойного в платочке, брошенном на “Бехштейне”. А отчего ты, любовь моя, так зарумянилась? Позвольте мне процитировать несколько строк ради “комической разрядки”:

Lorsque son fi-ancé fut parti pour la guerre

Irène de Grandfief, la pauvre et noble enfant,

Ferma son pi-ano… vendit son éléphant.

Огородное (благородное) “дитя” имеется в оригинале, а вот слон — это мой вклад».

«Да что ты!» — смеясь, воскликнула Ада.

«Наш великий Коппе, — сказал Ван, — конечно, безнадежен, но у него есть один прелестный стишок, который Ада де Грандфиф, присутствующая здесь, несколько раз перевела с большим или меньшим успехом».

«Ах, Ван!» — вставила Ада с игривым лукавством, ей несвойственным, и зачерпнула горсть соленого миндаля.

«Послушаем, послушаем», оживился Демон, беря орешек из ее сложенной ковшиком ладони.

Точная согласованность движений, искренняя радость семейного единения, никогда не спутывающиеся нити марионеток — все это легче описать, чем вообразить.

«Только самые крупные и безжалостные художники, — сказал Ван, — могут пародировать старые повествовательные приемы, а переложение

известнейших стихотворений можно простить лишь своим близким. Позвольте мне предварить результат, полученный кузиной – кузиной вообще, так сказать, – пушкинской строчкой, которую я хочу привести ради звучной рифмы –»

«Ради ползучей рифмы! – воскликнула Ада. – Перевод, даже моей выделки, подобен превращению гюрзы в кирказон – все, что осталось от изысканной аристолохии».

«И того, что осталось, – сказал Демон, – предостаточно для моих скромных нужд и таковых же моих маленьких друзей или подруг».

«Итак, – продолжил Ван (пропуская мимо ушей неприличный, на его взгляд, намек, поскольку жители Ладоры исстари применяли это злополучное растение не столько против змеиных укусов, сколько для облегчения родов очень юных матерей и называли его “целовником”), – стихи на случай сохранились. Я их имею. Вот они: “Leur chute est lente” – воротились…»

«О да, ко мне-то воротились, – перебил Демон. –

Leur chute est lente. On peut les suivre

Du regard en reconnaissant

Le chêne à sa feuille de cuivre

L’érable à sa feuille de sang.

Дивная вещица!»

«Да. Это Коппе, а теперь кузина, – сказал Ван и продекламировал:

Роняет лес убор. Скажи нам,

Масть различишь ты на лету?

Лист клена – по багровым жилам,

А дуб – по медному листу?»

«Фу!» – выдохнула версификаторша.

«Вовсе нет! – воскликнул Демон. – Эта “масть” отличная находка, душа моя».

Он потянул ее к себе, она присела на подлокотник его Klubsessel, и он присосался толстыми влажными губами к ее горящему красному уху, полускрытому густыми черными прядями. Ван ощутил дрожь удовольствия.

Наступил черед Марины явиться на сцене, что она и сделала в волшебной игре светотени — платье с блестками, лицо слегка не в фокусе, к чему стремятся все немолодые звезды, обе руки вытянуты вперед. За ней следовал Джонс, несший два канделябра с горящими свечами и старавшийся короткими пинками держать позади рвавшийся из тени коричневый клубок, сохраняя при этом подобающий торжественному моменту вид.

«Марина!» — воскликнул Демон без большого воодушевления и присел с ней на кушетку, похлопывая ее по руке.

Ритмично отдуваясь, Джонс поставил на столик с мерцающими горячительными напитками один из своих изысканных, обвитых драконом канделябров и направился было с его парой к тому месту, где Демон и Марина уже завершали приветственную прелюдию, но хозяйка поспешно указала ему на подставку, в стороне от нее, рядом с полосатой рыбкой. Все так же шумно дыша, он задернул шторы, поскольку ничего, кроме живописных развалин, не осталось от прошедшего дня. Джонс был новым слугой, очень толковым, важным и степенным, и кое-кому пришлось постепенно свыкнуться с его манерами и отдышкой. Пройдут годы, и он окажет мне услугу, которой я никогда не забуду.

«Она — jeune fille fatale, белокожая, роковая красавица», конфиденциально говорил Демон своей бывшей любовнице, нисколько не беспокоясь о том, что эти слова может услышать предмет его хвалы (а она слышала) в другом конце комнаты, где Ада помогала Вану загнать пса в угол, бесстыдно выставляя напоказ свои голые ляжки. Наш старый дружок, возбужденный воссоединением не меньше прочих членов семьи, примчался следом за Мариной, держа в довольной пасти отороченную горностаем домашнюю туфлю. Утащенный предмет принадлежал Бланш, которой было велено залучить Дака в ее комнату, но которая, как всегда, неплотно закрыла дверь. Аду и Вана одновременно пронзило чувство déjà-vu, в сущности, двойного déjà-vu, с точки зрения художественной ретроспекции.

«Пожалста, без глупостей, особенно devant les gens, — сказала глубоко польщенная Марина (отчетливо произнеся последнее “s”, как делали ее гранд-дамы); и когда неспешный рыбогубый слуга ушел, унося лежащего навзничь, крутогрудого Дака с его трогательной меховой игрушкой, продолжила: — В самом деле, по сравнению с местными барышнями, с Грейс Эрмининой, к примеру, или Кордулой де Пре, Ада — тургеневская девушка или даже девица Джейн Остин».

«На самом деле я Фанни Прайс», отозвалась Ада.

«В сцене на лестнице», добавил Ван.

«Не обращай внимания на их частные шуточки, — сказала Марина Демону. — Никогда не понимала их игр и секретиков. Мадемуазель Ларивьер, впрочем, сочинила отличный сценарий о загадочных детях, занимающихся

престранными вещами в старых парках; но не позволяй ей говорить о своей литературной славе — прожужжит все уши».

«Надеюсь, твой муж не слишком задержится, — сказал Демон. — После восьми вечера, летом, от него, знаешь, проку мало. Кстати, как Люсетта?»

В эту минуту Бутейан торжественно распахнул обе створы дверей, и Демон калачикомъ подал Марине руку. Ван, на которого в присутствии отца находило желание паясничать, тоже предложил Аде руку, но она шлепком отстранила его кисть с сестринским sans-gêne, с которым Фанни Прайс едва бы согласилась.

Другой Прайс, трафаретный, слишком трафаретный старый слуга, которого Марина (вместе с Г. А. Вронским, в пору их короткого романа) прозвала почему-то Грибом, поставил во главе стола ониксовую пепельницу для Демона, по обыкновению своих русских предков любившего выкурить папиросу между переменой блюд. Приставной столик был заставлен, тоже на русский манер, множеством красных, черных, серых, бежевых закусок — салфеточная икра была отделена от горшочка с икрой свѣжей сочной мясистостью маринованных грибов, «белых» и «подберезовиков», в то время как розовая плоть копченого лосося соперничала с алыми ломтями вестфальской ветчины. На отдельном подносе поблескивали по-разному окрашенные водочки. Французская кухня была представлена chaud-froids и foie gras. За открытым окном в черной неподвижной листве с пугающей скоростью стрекотали сверчки.

Начался — дабы продолжить свойственную романам обстоятельность изложения — долгий, веселый, изысканный ужин, и хотя разговор состоял по большей части из семейных острот и занятных банальностей, этому семейному собранию суждено было остаться в памяти не слишком приятным, вовсе не безмятежным, но до странности значительным переживанием. Ван дорожил им точно так же, как тем чувством, какое возникает, когда влюбляешься в картину, забредя в пинакотеку, или вспоминаешь оставленное сном настроение, детали сна, многозначительное богатство красок и абрисов в бессмысленном видении. Следует отметить, что в тот самый вечер никто, даже читатель, даже Бутейан (раскрошивший, увы, ценную пробку) не был на высоте. Застолье отдавало фарсом и фальшью, которые портили его, мешая ангелу, если только ангелы могут посещать Ардис, чувствовать себя вполне вольготно; и все же, то было дивное представление, пропустить которое не захотел бы ни один художник.

Белизна скатерти и пламя свечей привлекали мотыльков, пугливых или порывистых, среди которых Ада, следуя указаниям призрака, не могла не распознать многих своих старых знакомых «чешуекрылок». Белесые незваные гости, жаждущие расправить крылышки на какой-нибудь блестящей поверхности; завсегдатаи галерки, под самым потолком, в купеческих мехах; густо заросшие распутники с пушистыми усиками; и — гроза вечеринок — бражники, с красными брюшками, обтянутыми черными поясками, — все они, праздно парящие или шныряющие, беззвучные или шуршащие, влетали в столовую из непроглядной тьмы душной ночи.

Да не забудем мы, никогда не забудем, что стояла сырая и душная

темная ночь в середине июля 1888 года, что дело было в Ардисе, графство Ладора, что вкруг овального стола, блиставшего цветами и хрусталем, расположилась семья из четырех человек, и то вовсе не была сцена спектакля, как могло бы показаться, нет, должно было показаться зрителю (с фотокамерой или программкой), сидящему в бархатной яме сада. Со времени окончания трехлетнего романа Марины и Демона прошло уже шестнадцать лет. В то время антракты разной продолжительности — двухмесячный перерыв весной 1870 года и еще, почти вдвое дольше, в середине 1871 года — лишь обостряли нежность и боль. Ее заметно огрубевшие черты, ее наряд, это платье в блестках, мерцающая сетка на ее крашеных, землянично-русых волосах, рыжая от солнца грудь и мелодраматический макияж, с преизбытком охряных и кирпичных тонов, все это даже отдаленно не напоминало мужчине, некогда любившему ее пронзительней всех других женщин, с которыми он когда-либо сходился, напора, обаяния, лиризма, отличавших красоту Марины Дурмановой. Он был огорчен этим — это полное крушение прошлого, разброд его странствующего двора и музыкантов, логическая невозможность соотнести сомнительную реальность настоящего с бесспорной явью воспоминаний. Даже снедь на закусочномъ столѣ Ардис-Холла и обеденная зала с расписными потолками не имели ничего общего с их petits soupers, хотя, видит Бог, тремя главными кушаньями в зачине обеда для него всегда оставались молодые соленые грибы, с их плотно сидящими, глянцевитыми, желтовато-коричневыми шлемами, серый бисер свежей икры и гусиный паштет, нашпигованный пиковыми тузами перигорских трюфелей.

Демон отправил в рот последний ломтик черного хлеба с упругой лососинкой, хлопнул последнюю рюмку водки и занял свое место в другом конце овального стола, напротив Марины, за большой бронзовой чашей, наполненной как будто гранеными кальвильскими яблоками и продолговатым виноградом «Персты». Спиртное, уже усвоенное его могучим организмом, как обычно, помогло ему снова открыть то, что он по-галльски называл «наглухо запертыми дверями», и теперь, бессознательно приоткрыв рот, как делают все мужчины, расправляя салфетку, он оглядывал претенциозно убранные ciel-étoilé волосы Марины и пытался вникнуть (в редкостном полном смысле этого слова) в тот факт, пытался овладеть (пропустив его через саму сердцевину своего чувствилища) тем очевиднейшим обстоятельством, что вот перед ним женщина, которую он любил без памяти, которая любила его истерично и своенравно, которая желала предаваться утехам на коврах и подушках, разбросанных на полу («как делают все респектабельные люди в долине Тигра и Евфрата»), которая могла со свистом нестись по снежным склонам на бобслейных санях всего через две недели после родов или примчаться Восточным экспрессом (с пятью сундуками, прародителем Дака и служанкой) в ospedale д-ра Стеллы Оспенко, где он оправлялся от царапин и порезов после дуэли на шпагах (и теперь еще можно было разглядеть под восьмым ребром беловатый рубец, а ведь прошло без малого семнадцать лет). Как странно, что встреча спустя годы с давним другом или толстой теткой, которую обожал в детстве, тут же возрождает нетронутую человеческую приязнь былой дружбы, но со старой любовницей такого никогда не происходит — в акте всеобщего уничтожения душевная составляющая привязанности как будто сметается прочь вместе с сором бездушной страсти. Он взглянул на нее и признал, что потаж восхитителен, а что касается ее самой, этой

скорее коренастой женщины, бесспорно, добросердечной, но беспокойной и недовольной, с лицом, покрытым каким-то коричневатым маслом, придававшим коже, по ее мнению, естественную «моложавость», не то что мертвящая пудра, то она была ему еще даже более чужим человеком, чем Бутейан, который однажды вынес ее на руках из ладорской виллы и отнес в таксомотор, когда она разыграла обморок после окончательной, самой последней ссоры, накануне ее свадьбы.

Марина, будучи, в сущности, манекеном в человеческом обличье, подобных состояний растерянности не знала, лишенная того тайновиденья (индивидуальное, волшебно-подробное воображение, создающее мысленные образы), которым бывают наделены во всех иных отношениях заурядные, живущие по общим правилам люди, но без которого память (даже у проницательного «мыслителя» или гениального техника) представляет собой, говоря по совести, всего лишь шаблон или отрывной листок календаря. Мы вовсе не хотим судить Марину слишком строго; в конце концов, ее кровь пульсирует в наших запястьях и висках, и многие наши причуды унаследованы от нее, не от него. И все же мы не можем смириться с ее душевной грубостью. Сидевший во главе стола мужчина, связанный с нею веселыми юными отпрысками, «юношей» (как киношники называют актеров, исполняющих роли молодых людей), по правую руку от Марины, и «инженю» по левую, ничем не отличался от того Демона, в том же самом, кажется, черном смокинге (разве что без гвоздики, подхваченной им, по-видимому, из вазы, принесенной Бланш из галереи), который сидел рядом с ней на прошлом рождественском ужине у Праслиных. Зиянье пропасти, ощущаемое им при каждой встрече с ней, то жутковатое «изумленье жизни», с ее экстравагантным нагромождением геологических разломов, нельзя было преодолеть тем, что она принимала за пунктирную линию их случайных встреч: «бедняжка» Демон (все ее соложники выходили в отставку в этом звании) представал перед ней как безобидный дух в театральных залах, «между зеркалом и веером», или в гостиных общих друзей, или однажды в Линкольн-парке, где он указывал тростью на синезадую обезьяну и не поклонился Марине по правилам beau monde, поскольку его спутницей была кокотка. Еще глубже, совсем глубоко, безопасно преображенный ее оболваненным экраном рассудком в банальную мелодраму, хранился у нее в памяти трехлетний период горячечно разнесенных во времени и пространстве страстных свиданий с ним — «Пылкий роман» (название единственной ее картины, имевшей успех), объятия в дворцовых интерьерах, пальмы и лиственницы, его Слепая Преданность, его несносный характер, разлуки, примиренья, Голубые Экспрессы, и слезы, и предательство, и страх, и угрозы безумной сестры, пустые, конечно, но оставлявшие свои тигриные царапины на драпировке снов, особенно когда из-за сырости и мрака чувствуешь жар. И тень неумолимого возмездия на заднике (с нелепыми юридическими инсинуациями). Все это были лишь декорации, без труда упакованные, помеченные «Ад», и отправленные в пункт назначения; и очень редко возникало какое-нибудь напоминание, к примеру, в найденном оператором загадочном крупном плане двух левых ладоней, принадлежащих мальчику и девочке — чем-то они заняты? Марина уже не

помнила (хотя прошло всего четыре года!), играли ли они à quatre mains? — нет, они не брали уроков фортепиано, — изображали, быть может, тень зайца на стене? — тепло, почти горячо, но тоже нет; измеряли что-то? Но что? Взбирались на дерево? На гладкий ствол дерева? Но где, когда? Однажды, мечталось ей, прошлое будет упорядочено. Отретушировано, переснято. Кое-что в картине следует подчистить, что-то добавить, устранить характерные потертости на эмульсии, использовать «наплыв» в той или иной череде эпизодов, незаметно сочетая его с удалением смущающих, нежелательных «кадров», и получить определенные гарантии. Да, однажды это должно быть сделано, пока смерть, хлопнув нумератором, не объявит: «Стоп! Снято!»

Тем вечером она ограничилась машинальным обрядом, состоявшим в том, чтобы подать Демону его любимые блюда, которые она, составляя меню, постаралась вспомнить (и ей это почти удалось): для начала зеленыя щи, ярко-зеленый суп из щавеля и шпината со скользким, вкрутую сваренным яйцом, а к нему — маленькие, обжигающие пальцы и тающие во рту пирожки (peer-rush-key, так произносится, и под этим названием они расхваливаются в этих краях испокон веков), с мясом, морковью или капустой. Затем, решила она, подать жаренного в сухарях судака с вареным картофелем, рябчиковъ, и той особой спаржи, безуханки, которая не влечет, по увереньям кулинарных книг, прустовских последствий.

«Марина, — негромко обратился к ней Демон, разделавшись с первой переменой. — Марина, — повторил он более зычно, — я вовсе не хочу (“far from me” — его любимый вводный оборот) обсуждать вкус Данилы по части белых вин или манер de vos domestiques. Ты ведь знаешь, меня мало заботят такого рода мелочи… (Неопределенный жест.) Но, дорогая, — продолжил он, переходя на русский, — человек, который подал мне пирожки, этот новый слуга, одутловатый такой, с глазами —»

«У всех есть глаза», неприязненно заметила Марина.

«Да, но его будто вот-вот по-осминожьи присосутся к еде, которую он приносит. Но дело не в этом. Он пыхтит, Марина! Он страдает чем-то вроде одышки. Ему следует обратиться к доктору Кролику. Это неприятно. Ритмично работающий насос. У меня суп от этого плескался в тарелке».

«Видишь ли, папа, — сказал Ван, — доктор Кролик мало что может сделать, поскольку, как ты отлично знаешь, он умер, а Марина не может запретить слугам дышать, поскольку, как ты тоже знаешь, они живы».

«Виновский юмор, виновский юмор», пробурчал Демон.

«Вот именно, — сказала Марина. — Я просто отказываюсь что-либо с этим делать. К тому же бедный Джонс вовсе не астматик, а только изо всех сил старается услужить. Он здоров как бык, если хочешь знать, и не раз этим летом катал меня на гребной лодке из Ардисвилля в Ладору и обратно, с явным удовольствием. Ты жесток, Демон. Не могу же я приказать ему: не пыхтите, как не могу сказать поваренку Киму, чтобы

прекратил тайком фотографировать — этот Ким одержим своей камерой, хотя в остальном он милый, вежливый и честный мальчик. Не могу я запретить и моей горничной, малютке Франш, принимать приглашения на самые приватные ладорские bals masqués, на которые ее почему-то зовут снова и снова».

«Это любопытно», заметил Демон.

«Ах ты старый негодник!» — воскликнул Ван.

«Ван!» — сказала Ада.

«Я молодой негодник», вздохнул Демон.

«Скажите, Бутейан, — спросила Марина, — какое еще хорошее белое вино у нас есть, что предложите?» Дворецкий улыбнулся и назвал легендарную марку.

«Да, о да, — сказал Демон. — Ах, дорогая, ты не должна брать на себя все хлопоты по устройству званых обедов. Теперь о гребле, ведь ты упомянула греблю… Знаешь ли ты, что moi, qui vous parle, в 1858 году состоял в университетской сборной по гребле? Ван предпочитает футбол, но он только в команде колледжа, верно, Ван? Я, кроме того, лучше него играю в теннис, не в лаун-теннис, конечно, это забава для викариев, а в настоящий “королевский теннис” (“court tennis”), как его называют в Манхэттене. Что еще, Ван?»

«Ты и сейчас одолеешь меня в фехтовании, зато я лучше в стрельбе. Это не настоящий судак, папа, уверю тебя, хотя и вкусно».

(Марина, не успевшая вовремя раздобыть европейского судака, заменила его местным светлоперым сородичем, иначе называемым «dory», солнечник, — под соусом тартар и с вареным молодым картофелем.)

«Ах, — воскликнул Демон, испив “Рейнвейн лорда Байрона”. — Это белое искупает “Слезы Богородицы”. Я только что рассказывал Вану, — продолжил он, возвышая голос (он отчего-то полагал, что Марина стала туговата на ухо), — о твоем муже. Дорогая, он перестарался по части можжевеловой водки и определенно слегка не в себе, во всяком случае, ведет он себя престранно. На днях я прогуливался по Пат-лейн со стороны Четвертой авеню, и вот вижу, как он приближается ко мне, полным ходом, в своем жутком городском авто, этой доисторической бензиновой двухместке с румпелем вместо руля. И что же, завидев меня, еще издали, он махнул мне рукой, и вдруг несуразная его машина начала содрогаться и глохнуть и, наконец, остановилась прямо посреди дороги, на расстоянии в полквартала от меня. А Данила сидит в ней и так, знаешь, раскачивается, рывками, пытаясь сдвинуть ее, как ребенок, который не может тронуться с места на трехколесном велосипеде, и пока я шел в его сторону, я не мог отделаться от мысли, что это в нем самом что-то заело, не в его “Ортштейне”».

По доброте своего многоопытного сердца Демон не стал говорить Марине, что Дурак втайне от мистера Экса, своего советника-искусствоведа, за несколько тысяч долларов приобрел у карточного

приятеля Демона (и с одобрения последнего) две поддельные картины Корреджо — дабы перепродать их по непростительно удачному стечению обстоятельств такому же дураку коллекционеру за полмиллиона, каковую сумму Демон отныне считал полученной кузеном ссудой, подлежащей безусловной выплате кредитору, то есть Демону, если здравый смысл чего-нибудь да стоит на нашей парной планете. Марина, со своей стороны, воздержалась от сообщения Демону о молодой сиделке Дана, с которой у него тянулась интрижка со времени его последнего госпитального обследования (то была, кстати сказать, та самая бесстыжая Бесс, к которой Дан по одному памятному случаю обратился с просьбой подыскать «что-нибудь милое для полурусской девочки, увлеченной биологией»).

«Vous me comblez, — сказал Демон, имея в виду бургундское, — правда, мой дед по материнской линии предпочел бы выйти из-за стола, чем смотреть, как я к gelinotte пью красное, вместо шампанского. Превосходно, дорогая моя (посылая воздушный поцелуй над пламенем и серебром стола)».

Жареные рябчики (или, точнее, их американские представители, называемые здесь «горной куропаткой» — mountain grouse) подавались с брусничным вареньем (брусника в этих краях звалась «горной клюквой» — mountain cranberries). В одном особенно сочном крылышке обглоданной Демоном румяной тушки ему на крепкий клык попалась дробинка: «La fève de Diane, — заметил он, осторожно кладя ее на край тарелки. — Как обстоят дела с автомобилем, Ван?»

«Не особенно хорошо. Я заказал “Роузли”, как у тебя, но его доставят не раньше Рождества. Хотел подыскать “Силентиум” с коляской, и ничего не вышло, потому что война, хотя остается загадкой, как война связана с мотоциклами. Но мы обходимся, Ада и я, мы обходимся, ездим верхом, на велосипедах, даже парим на фееропланe».

«Вот странно, — сказал лукавый Демон, — отчего мне вдруг пришли на ум дивные строки нашего великого канадийца о зардевшейся Ирэн:

Le feu si délicat de la virginité

Qui что-то там sur son front…

Хорошо. Ты можешь переправить в Англию мой, если только —»

«Кстати, Демон, — перебила его Марина, — как бы мне обзавестись таким старомодным просторным лимузином с пожилым опытным шофером, какой, к примеру, столько лет служит у Прасковьи?»

«Невозможно, дорогая. Они все уже или на небесах, или на Терре. Но о чем мечтает Ада, что моя молчаливая душка хотела бы получить ко дню рождения? То есть уже в субботу, по расчету по моему, не так ли? Une rivière de diamants?»

«Протестую! — вскричала Марина. — Нет, я серьезно. Я против того, чтобы ты дарил ей квака сесва (quoi que ce soit), мы с Даном обо всем позаботимся».

«К тому же ты забудешь», сказала Ада, смеясь, и проворно показала кончик языка Вану, который наблюдал за ее условной реакцией на «бриллианты».

«Если только что?» — спросил Ван.

«Если только в гараже Джорджа на Ранта-роуд тебя уже не ждет такой же. Скоро ты будешь парить в одиночестве, Ада, — продолжил он, — Маскодагама закончит свои вакации со мной в Париже. Qui что-то там sur son front, en accuse la beauté!»

Так продолжали они болтать о том о сем, и как не беречь в самых темных закоулках памяти эти яркие воспоминания? Чье лицо не искажает гримаса и кто не закрывает его руками, когда ослепительное прошлое бросает на тебя насмешливые взгляды? Кто, в страхе и уединении долгой ночи —

«Что это было?» — воскликнула Марина, боявшаяся клерэтических гроз даже больше антиамберийцев ладорского графства.

«Зарница», предположил Ван.

«А мне кажется, — сказал Демон, повернувшись на стуле, чтобы обозреть плещущие занавеси, — что вспышка фотоаппарата. Ведь среди нас знаменитая актриса и прославленный акробат».

Ада подбежала к окну. Под встревоженными магнолиями стоял бледный мальчик в окружении двух разинувших рты служанок и целил своим объективом в безобидное и беззаботное семейство. Впрочем, то было лишь ночное марево, обычное в этих краях июльское явление. Никто не снимал с магнием, кроме Перуна, бога грома, чье имя нельзя было называть. В ожидании раскатов Марина принялась вполголоса отмерять секунды, как если бы молилась или считала пульс у едва живого человека. Она знала, что каждый удар сердца покрывает расстояние в одну версту непроглядной ночи, между бьющимся сердцем и обреченным пастухом, упавшим где-то — ах, очень далеко — на вершине горы. И вот загрохотало, но скорее глуховато. Вторая вспышка высветила геометрию французского окна.

Ада вернулась на свое место. Ван поднял ее салфетку из-под ее стула и во время этого нырка коснулся виском ее колена.

«Могут ли мне принести еще петерсоновых рябчиков, Tetrastes bonasia windriverensis?» — важно спросила Ада.

Марина тряхнула миниатюрным и мелодичным бронзовым колокольчиком. Демон положил ладонь на тыльную сторону Адиной руки и попросил ее передать ему странно знакомый по звучанию предмет. Она передала его по прерывистой дуге. Демон вставил монокль и, заглушая голос

воспоминаний, осмотрел вещицу. Нет, это не тот колокольчик, что стоял когда-то на подносе у постели в одной из затененных комнат шале д-ра Лапинера; и даже не швейцарской работы; это было всего только одно из тех благозвучных переложений, которые обнаруживают грубую подделку парафраста, едва заглянешь в оригинал.

К сожалению, кое-кто «оказал рябчикам честь», съев их без остатка, и после короткого совещания с Бутейаном, к asperges en branches, которой потчевали теперь господ, молодой леди добавили несколько неуместный, но весьма аппетитный кусок арльской колбасы. Ван чуть ли не с трепетом наблюдал, с каким наслаждением она и Демон одинаково кривили лоснящиеся губы, орально принимая с каких-то небесных высот сладострастного союзника чопорного ландыша, одинаково держа стебель щепотью, похожей на новообрядческое «крестное знамение», за противление коему (смехотворно маленький раскол размером в полвершка от большого пальца до указательного) столько русских было сожжено своими соплеменниками на берегах Великого Невольничьего озера всего два столетия тому назад. Вану вспомнилось, что большой друг его наставника, Семен Афанасьевич Венгеров (1855–1954), ученый малый, но педант, будучи молодым доцентом, но уже знаменитым пушкинистом, заметил как-то, что единственное вульгарное место у его автора находится в незавершенной главе «Евгения Онегина», где описывается каннибальское удовольствие, с каким «обжорливая младость» глотает «из раковин морских затворниц жирных и живых». Впрочем, «у каждого свой вкус», как британский писатель Ричард Леонард Черчилль в своем романе «Великий и достойный человек» — о печально известном крымском хане, некогда обласканном репортерами и политиками, — дважды неверно перевел избитое французское выражение «chacun à son goût» (т. е. «каждому свое»), — во всяком случае, так утверждает язвительная и предвзятая Гийом Монпарнас, о новообретенной славе которой Ада и принялась рассказывать Демону, обмакивая перевернутый венчик руки в чашу тем же изящным ритуальным жестом, что и он.

Марина вынула «Албани» из хрустальной шкатулки, в которой держала турецкие папиросы с фильтром из лепестка красной розы, и передала шкатулку Демону. Немного смущенная Ада тоже закурила.

«Ты ведь отлично знаешь, — сказала Марина, — что твой отец против того, чтобы ты курила за столом».

«Ах, пусть курит», проговорил Демон.

«Я говорю о Даниле, — с нажимом пояснила Марина, — у него на сей счет пунктик».

«Зато у меня есть счет с пунктиками», ответил Демон.

Ада и Ван не могли удержаться от смеха. Это была добродушная пикировка, не особенно остроумная, но все же забавная, и мгновенье спустя Ван продолжил ее:

«Пожалуй, я тоже воспользуюсь этим “Алиби”, то есть “Албани”».

«Прошу всех отметить, — сказала Ада, — насколько voulu была эта

оговорка! Признаться, мне нравится выкурить папиросу, когда хожу по грибы, но когда я возвращаюсь, этот ужасный насмешник принимается твердить, что от меня несет влюбленным турком или албанцем, повстречавшимся мне в лесу».

«Что ж, — сказал Демон, — Вана можно только похвалить за то, что он блюдет твою честь».

Настоящие русские профитроли (очень мягкая «л»), впервые приготовленные русскими кондитерами до 1700 года в Гаване, представляют собой более крупные пирожные с более сливочным шоколадным кремом, чем те темные и маленькие «профит-роллы», которые подают в европейских ресторанах. Наши сотрапезники отведали этих сладких бомбочек под соусом chocolat-au-lait и уже готовы были приняться за фрукты, как в столовую вдруг быстро вошел Бут в сопровождении отца и ковыляющим следом Джонсом.

Все клозеты и водопроводные трубы в доме вдруг заурчали и забулькали, что всегда предшествовало и сопутствовало международному соединению. Марина, уже несколько дней ожидавшая вестей из Калифорнии в ответ на свое бурное послание, не смогла совладать со страстным нетерпением и при первом же утробном спазме едва не кинулась к дорофону в прихожей, когда в столовую ворвался молодой Бут, волоча за собой длинный зеленый провод (который заметно вздувался и сокращался, совсем как змея, заглатывающая полевую мышь) и держа на вытянутой руке богато украшенную бронзово-перламутровую трубку, которую Марина с неистовым «À l’eau!» прижала к уху. Дорофонировал, однако, всего лишь старый хлопотун Данила, желавший сообщить, что Миллер все же не сможет приехать сегодня вечером и что он прибудет с ним в Ардис утром ранним и ясным.

«Что ранним — верю, но сомневаюсь, что ясным», заметил Демон, который к этому времени уже пресытился семейными радостями и немного жалел, что пропустил начало вечерней карточной игры в Ладоре ради этого старательно устроенного, но все же не вполне первоклассного пиршества.

«Кофе подадут в Желтую гостиную, — сказала Марина таким траурным голосом, как если бы говорила о ссылке в Сибирь. — Джонс, пожалуйста, не наступайте на телефонный шнур. Ты не представляешь, Демон, до чего мне не хочется вновь, спустя столько лет, видеть этого неприятного Норберта фон Миллера, ставшего, вероятно, еще более высокомерным и угодливым, а кроме того, я убеждена, он не понимает, что жена Данилы — это я. Он из балтийских русских (поворачиваясь к Вану), но вообще-то echt deutsch, хотя его мать урожденная Иванова или Романова, или что-то такое. Она владела миткальной мануфактурой в Дании или Финляндии. Ума не приложу, как он сумел заделаться бароном: двадцать лет тому назад он был просто господином Миллером».

«Каковым и остался, — холодно сказал Демон, — поскольку ты смешала двух Миллеров. Поверенный Данилы — это мой старый друг Норман Миллер, адвокатское бюро “Фейнли, Фехлер и Миллер”, наружностью он вылитый Вильфрид Лорье. А у Норберта, помню, голова как Kegelkugel,

живет он в Швейцарии, прекрасно осведомлен, за кого ты вышла замуж, и этот Миллер мерзавец, каких поискать».

Быстро выпив чашку кофе с рюмкой вишневого ликера, Демон поднялся.

«Partir c’est mourir un peu, et mourir c’est partir un peu trop. Скажи Даниле и Норману, что завтра в любое время я буду рад встретиться с ними за чаем в “Бриане”. Кстати, как Люсетта?»

Марина нахмурилась и покачала головой, изображая любящую, обеспокоенную мать, хотя, в сущности, к дочерям она испытывала даже меньше привязанности, чем к милому Даку и жалкому Дану.

«Ох, как же мы волновались, — сказала она наконец, — как ужасно волновались. Но теперь, судя по всему —»

«Ван, — обратился Демон к сыну, — будь добр. Шляпы у меня не было, но были перчатки. Скажи Бутейану, чтобы поискал в галерее, я мог обронить их там. А, нет! Погоди. Все в порядке. Я оставил их в автомобиле, поскольку помню прохладу этого цветка, вынутого на ходу из вазы…»

Он отбросил его в сторону, отбрасывая вместе с ним тень своего мимолетного желания погрузить обе руки в вырез платья и обхватить мягкую грудь.

«Надеялась, что ты переночуешь здесь, — сказала Марина (которой, впрочем, было все равно). — Какой у тебя номер комнаты в отеле, не двести ли двадцать второй, часом?»

Ей нравились романтические совпадения. Демон сверился с биркой на ключе: 221, что было достаточно хорошо в профетическом и анекдотическом отношениях. Лукавая Ада, разумеется, бросила украдкой взор на Вана, который напряг крылья носа, изображая Педро, обладателя прекрасных точеных ноздрей.

«Надсмехаются над старухой, — сказала Марина не без кокетства и по русскому обычаю поцеловала гостя в склоненный лоб, когда он поднес ее руку к своим губам. — Прости, — прибавила она, — я не выйду на террасу. Не выношу мрака и сырости. Чувствую, что у меня уже подскочила температура, до тридцати семи и семь, по меньшей мере».

Демон постучал по барометру, висевшему у двери, но по нему так часто ударяли, что прибор уже перестал отзываться сколько-нибудь вразумительным образом и не шелохнулся, показывая четверть четвертого.

Ада и Ван вышли проводить его. Стояла душная ночь, моросил «зеленый дождь», как его называли ладорские земледелы. Черный седан Демона, окруженный лаковыми лаврами, элегантно поблескивал под тусклым фонарем крыльца, вокруг которого летали белесые мотыльки. Он нежно расцеловал детей, Аду в одну щеку, Вана в другую, затем вновь ее — в сгиб белой руки, которой она обняла его за шею. Никто не обращал внимания на Марину, махавшую из танжелового окна эркера концом своей

шитой стеклярусом шали, хотя оттуда она могла видеть лишь блеск капота и косые струи дождя в свете фар.

Демон натянул перчатки и умчался прочь, громко шурша мокрым гравием.

«Этот последний его поцелуй зашел слишком далеко», заметил Ван, смеясь.

«Ах да, его губы немного заплутали», засмеялась Ада, и, смеясь, они обнялись во тьме, обходя крыло дома.

На минуту задержались под приветливой кроной, дававшей приют стольким гостям, выходившим из дома выкурить сигару. Безмятежно, невинно, друг подле друга, в своих различных предписанных природой позах, они добавили собственные струйки к более ровному шуму дождя, а потом помедлили, держась за руки, в углу решетчатой галереи, дожидаясь, пока в окнах погаснет свет.

«Что же было слегка не так этим вечером? — мягко спросил Ван. — Ты заметила?»

«Конечно заметила. И все равно я обожаю его. Думаю, он окончательно свихнулся, и у него нет ни своего места, ни занятия в жизни, и он далеко не счастливый человек, да и взгляды его какие-то безответственные, и все же он совершенно особенный».

«Но что пошло не так этим вечером? Ты и двух слов не сказала, а все, что сказали мы, звучало фальшиво. Уж не учуял ли он внутренним своим нюхом меня в тебе, а тебя во мне? Он попытался меня расспросить… Ох, это вовсе не было похоже на милую семейную вечеринку. Что именно пошло не так за ужином?»

«Любовь моя, любовь моя, ведь ты сам знаешь! Ну хорошо, мы сможем, пожалуй, носить наши маски всю жизнь, покуда эс не разлучит нас, но мы никогда не сможем пожениться, пока они оба живы. Мы просто не сможем провернуть это, потому что он на свой лад еще более консервативен, чем закон и общественные шуты. Нельзя подкупить собственных родителей, а ждать сорок, пятьдесят лет, пока они умрут, — даже страшно подумать. Хочу сказать, что сама мысль, что кто-то ждет этого, противна нашей натуре, это подло и чудовищно!»

Он поцеловал ее в приоткрытые губы, нежно и «безгрешно», как они называли такие моменты глубины, дабы отличать их от отчаяния страсти.

«Как бы там ни было, — сказал он, — забавно быть двумя шпионами в чужой стране. Марина поднялась к себе. У тебя волосы мокрые».

«Шпионами с Терры? Ты веришь, ты веришь, что она существует? О, ты веришь в Терру! Ты допускаешь! От меня не скроешь!»

«Я допускаю ее как состояние сознания. Это не совсем то же самое».

«Да, но ты хочешь доказать, что это одно и то же».

Он коснулся ее губ еще одним набожным поцелуем. Впрочем, на их краях уже занималось пламя.

«Я как-нибудь попрошу тебя, — сказал он, — повторить одну сцену. Ты сядешь за тот же стол, за которым сидела четыре года тому назад, при том же свете, рисуя тот же цветок, а я проделаю все то, что сделал тогда — с таким счастьем, с такой гордостью, с такой — я не знаю — благодарностью! Смотри, все огни в окнах погасли. Я тоже могу переводить, когда приходится, слушай:

Lights in the rooms were going out.

Breathed fragrantly the розы.

We sat together in the shade

Of a wide-branched березы».

«Да, “березы” и “морозы” — это все, что находит плохой поэт для рифмы к “розы”, правда? Этот жалкий стишок сочинил Константин Романов, да? Только что избранный президентом Лясканской академии словесности, верно? Никчемный поэт и счастливый муж. Счастливый муж!»

«Знаешь, — сказал Ван, — тебе в самом деле следует что-нибудь надевать под платье в торжественных случаях».

«У тебя руки холодные. Почему торжественных? Ты сам сказал, что это был только семейный ужин».

«Даже если так. Ты была практически вся на виду, когда наклонялась или неловко приседала».

«Я никогда не приседаю неловко!»

«Убежден, что это попросту негигиенично, или, может быть, во мне говорит что-то вроде ревности. Воспоминания о Счастливом Стуле. Ох, любовь моя».

«По крайней мере, — шепнула Ада, — сейчас-то ты этому рад, не так ли? В крокетную? Ou comme ça?»

«Comme ça, в этот раз», сказал Ван.

39

Ладорские моды, хотя и довольно эклектичные в 1888 году, все же не допускали той свободы, которая в Ардисе считалась естественной.

На большой пикник по случаю своего шестнадцатилетия Ада надела простую льняную блузу, кукурузно-желтые широкие штаны и поношенные мокасины. Ван просил ее распустить волосы, но Ада сказала, что они слишком длинны для деревенских забав, однако в конце концов согласилась на компромисс, подвязав их посередине мятой лентой черного шелка. Ван решил, что, надев синюю тенниску-джерси, серые фланелевые шорты и спортивные туфли на толстой подошве, он в полной мере отдаст должное представлению о летней элегантности.

Пока среди солнечных пятен все той же неизменной сосновой поляны готовилось и размечалось простое сельское пиршество, дикарка и ее любовник скрылись на несколько минут ненасытной страсти в заросшем папоротником яру, где между высоких кустов пламеники с уступа на уступ сбегал ручей. Стоял жаркий и безветренный день. На каждой сосне, даже самой тоненькой, звенела цикада.

Она сказала:

«Говоря словами героини старого романа, сдается мне, что уже давным-давно играла я в слова на этой поляне с Грейс и двумя другими милыми девочками. Insect, incest, nicest».

«Говоря как ботаник и сумасшедшая, — сказала она, — замечу, что самое диковинное английское слово, пожалуй, “husked”, поскольку оно означает противоположные вещи, покрытое и раскрытое, шелуха плотна, но легко отшелушивается. Это я к тому, что слущить их проще простого, зачем было рвать поясок, ты, варвар?»

«Бережно слущенный варвар», ласково сказал Ван. Течение времени только усиливало его нежность к созданию, которое он сжимал в объятиях, к этому обожаемому существу, чьи движения стали гибче, чьи бедра стали больше походить на лиру, чью ленту в волосах он распустил.

Когда они стояли на коленях у края одного из хрустальных карнизов ручья, где, прежде чем пасть, он замирал, чтобы его запечатлели, и сам делал снимки, Ван в миг заключительного содрогания заметил вспышку настороженности во взгляде Ады, отраженном в воде. Нечто подобное уже где-то случалось, ему было недосуг проследить воспоминание, которое тем не менее позволило сразу же распознать, по звуку, кто именно оступился у него за спиной.

Среди скальных нагромождений они нашли и утешили бедняжку Люсетту, споткнувшуюся в зарослях на гранитной плите. Румяная и испуганная, она с преувеличенным страданием потирала бедро. Ван и Ада весело ухватили каждый по ладошке и повели Люсетту обратно на поляну, где она залилась смехом и бросилась к своим любимым тартинкам, ожидавшим ее на одном из раскладных столов. Там она скинула с себя фуфайку, подтянула зеленые шорты и, усевшись на рыжую землю, принялась за набранную снедь.

Ада никого не пожелала пригласить на свой пикник, кроме близнецов Эрмининых; она, однако, не хотела, чтобы приехал только брат, без сестры, но последняя, как выяснилось, отправилась в Нью-Крэнтон

проводить своего первого возлюбленного, юного барабанщика, который со своим полком отплывал прямиком в зарю. Грега все же пришлось пригласить: накануне он заехал в Ардис передать ей «талисман» от своего умирающего отца, который хотел, чтобы Ада свято хранила его, как его бабушка, этого верблюдика, вырезанного из желтой слоновой кости в Киеве пятьсот лет тому назад, во времена Тимура и Набока.

Ван не ошибся, полагая, что Ада равнодушна к Грегу. В этот раз он с тем же удовольствием пожал его руку, удовольствием, в самой своей чистоте безнравственным, привносящим свой арктический холод в дружеские чувства, которые питает счастливый соперник ко вполне порядочному человеку.

Грег, оставивший новый мотоцикл, великолепный черный «Силентиум», на лесной дороге, заметил:

«А мы здесь не одни».

«В самом деле, — согласился Ван. — Кто сии? Есть ли у кого-нибудь предположения?»

Ни у кого предположений не было. В плаще, с не тронутым косметикой лицом, мрачная Марина подошла и посмотрела в ту сторону, между деревьев, куда указывал Ван.

Благоговейно осмотрев «Силентиум», дюжина пожилых горожан в темных, сильно поношенных и диковинных одеждах, перешли дорогу и расположились в лесу для скромного colazione: сыр, лепешки, салями, сардины и кьянти. Они трапезничали на таком расстоянии от господского пикника, что никого не могли потревожить. При них не было музыкальных шкатулок, голоса их звучали приглушенно, а жесты отличались исключительной сдержанностью, сводясь главным образом к ритуальному комканью оберточной бумаги, или грубой газетной бумаги, или пекарской (очень тонкой и ни на что не годной) и к задумчивому отбрасыванью комочков, пока другие печальные апостольские длани разворачивали провизию или зачем-то вновь ее заворачивали под благородной сенью сосен, в смиренной тени белых акаций.

«Как странно», сказала Марина, скребя напеченную солнцем проплешинку на темени.

Она послала слугу узнать, что к чему, и сообщить этим цыганским политикам или калабрийским чернорабочим, что господин Вин придет в ярость, ежели обнаружит в своих лесных владениях разбивших бивуак чужаков.

Слуга вернулся, качая головой: незнакомцы не говорят по-английски. Засим Ван взялся за дело.

«Прошу вас, уходите, это частная собственность», сказал он на собачьей латыни, французском, канадийском французском, русском, юконском русском и вновь на вульгарной латыни: proprieta privata.

Он стоял, глядя на них, едва замечаемый ими, едва прикрытый тенью

листвы. Перед ним были плохо выбритые, с синеватыми щеками и подбородками мужчины в старых воскресных костюмах. Один или двое были без воротничков, но с запонками под кадыками. Был среди них бородач с влажными косыми глазами. Снятые лакированные ботинки с пылью в трещинах или рыжие башмаки с очень тупыми или острыми носами были засунуты под лопухи или расставлены на пнях занятой ими довольно унылой прогалины. В самом деле, как странно! Когда Ван повторил свое требование, пришельцы вполголоса заговорили между собой на своей тарабарщине, слегка взмахивая руками в сторону Вана, как будто нерешительно прогоняли мошку.

Ван спросил Марину, желает ли она, чтобы он применил силу, но сентиментальная, мягкая Марина, одной рукой приглаживая волосы, а другой упершись в бок, сказала, что не стоит, давайте просто не будем их замечать, тем более что они уже отходят глубже в лес, смотрите, смотрите, одни тянут à reculons что-то вроде старого постельного покрывала, с разложенным на нем съестным, как по песку и гальке тащат рыбачью лодку, а другие вежливо подбирают за собой скомканные бумажки и уносят их в более отдаленное убежище в порядке общего отступления: в высшей степени печальная и многозначительная картина, но только что она означает, что?

Скоро Ван перестал о них думать. Все приятно проводили время. Марина сбросила бежевый дождевик или, скорее, «пылевик», который надела на пикник (в конце концов, что ни говори, объявила она, а домашнее серое платье с розовым фишю достаточно нарядно для пожилой дамы), и, подняв пустой стакан, энергично и весьма музыкально исполнила арию Травщика: «Налейте, налейте бокалы полнее! И выпьем, друзья, за любовь!» Страшась и жалея, не чувствуя и тени любви, Ван все не мог оторвать глаз от бедной плешинки на бедной старой голове Травердиаты, от этого треугольника оголенного скальпа, который окрасился ужасной древесной рыжиной намного ярче самих ее безжизненных волос. Он попытался, как уже бывало, выдавить из себя хотя бы каплю нежности к ней, но, как обычно, ничего не вышло, и он, как всегда, сказал себе, что Ада вот тоже совсем не любит мать — сомнительное и малодушное утешение.

С трогательной простотой надеясь на то, что Ада заметит и оценит его старания, Грег осыпал м-ль Ларивьер множеством мелких знаков внимания — помог ей снять лиловый жакет, наполнил для нее Люсеттину кружку молоком из термоса, передал сандвичи, налил, налил полнее ее винный бокал и с восторженной ухмылкой слушал ее диатрибы против англичан, коих, по ее словам, она терпеть не могла, хуже татар или этих, ну, ассирийцев.

«Англия! — восклицала она. — Англия! Там на каждого поэта приходится девяносто девять sales petits bourgeois, притом происхождение некоторых весьма сомнительное! И Англия еще смеет подражать Франции! У меня в той корзине лежит расхваленный английский роман, в котором одной особе подносят духи — дорогие духи! — под названием “Ombre Chevalier”. А что это значит? Да это просто рыба такая, вкусная, не спорю, но не настолько, чтобы надушить ею платок. На следующей же странице так называемый философ упоминает “une acte gratuite”, как если бы все акты были женского рода, а так называемый парижский

отельер вместо “je regrette” говорит “je me regrette”!»

«D’accord, — вмешался Ван, — а что, если мы вспомним такие вопиющие ошибки во французских переводах с английского, как, например —»

На беду, а может быть, к счастью, в этот самый момент Ада издала русское восклицание, выражающее крайнюю степень досады (эх!): к поляне подъехал серо-стального цвета открытый автомобиль. Едва он замер, как его обступила все та же группа горожан, которая, казалось, странным образом умножилась от того, что они сняли пиджаки и жилетки. Всем своим видом выражая гнев и презрение, молодой Перси де Пре, в рубашке с оборками и белых штанах, растолкал их и подошел к шезлонгу Марины. Несмотря на предостерегающий взгляд и тихое покачиванье головы, которыми Ада пыталась остановить свою глупую мать, Марина пригласила графа присоединиться к семейному торжеству.

«Не смел надеяться… С великим удовольствием», отвечал Перси, после чего — как кстати! — этот будто бы рассеянный франт, а на деле расчетливый льстивый разбойник вернулся к своему кабриолету (у которого еще топтался последний изумленный почитатель) и вынул из багажника букет роз с длинными стеблями.

«Как жаль, что я ненавижу розы», сказала Ада, с опаской принимая цветы.

Откупорили мускатное вино, выпили за здоровье Ады и Иды. «Разговор сделался общим», как любила писать Монпарнас.

Граф Перси де Пре повернулся к Ивану Демьяновичу Вину:

«Слыхал, что вам нравятся необычные позы».

В полувопросе прозвучала легкая насмешка. Ван посмотрел сквозь поднятый бокал люнеля на медовое солнце.

«О чем это вы?» — осведомился он.

«Ну, я о трюке с ходьбой вверх тормашками. Служанка вашей тетушки приходится сестрой одной из наших служанок, а две хорошенькие сплетницы (смеясь) та еще шатия. Сказывают, будто вы предаетесь этому дни напролет, в каждом углу, мои поздравления!» (отвешивает поклон).

Ван ответил: «Сказание преувеличивает мои возможности. На самом деле я практикуюсь всего по несколько минут через день, правда, Ада? (Оглядывается в поисках Ады.) Не хотите ли, граф, еще этого mouse-and-cat (мышки-кошки) — каламбур невелик, зато мой».

«Ван, дорогой, — вступила Марина, с удовольствием слушавшая оживленную и беззаботную болтовню двух красивых юношей, — расскажи Перси о своем лондонском триумфе. Же тампри!»

«Да, — сказал Ван, — все началось с шутки, знаете, как это бывает, еще в Чузе, но потом —»

«Ван! — пронзительно крикнула Ада. — Мне нужно сказать тебе кое-что. Подойди, Ван!»

Дорн (перелистывая журнал, Тригорину). Тут месяца два назад была напечатана одна статья… письмо из Америки, и я хотел вас спросить, между прочим… (берет Тригорина за талию и отводит к рампе) так как я очень интересуюсь этим вопросом…

Ада стояла, прислонившись спиной к стволу дерева, как красавица-шпионка, которая только что отвергла наглазную повязку.

«Я хотела тебя спросить, между прочим… (продолжает шепотом, сердито взмахивая ладонью) прекрати изображать гостеприимного идиота, он приехал пьяный в стельку, ты разве не видишь?»

Приведение приговора в исполнение прервало появление дяди Дана. Водитель он был на редкость безрассудный, как и многие другие (неизвестно почему) упрямые и скучные джентльмены. Шибко петляя между сосен, он резко остановил свой двухместный красный автомобиль прямо у ног Ады и, выйдя, вручил ей превосходный подарок: большую коробку мятных тянучек, белых, розовых и даже, гляди-ка, зеленых! Кроме того, сказал Данила, подмигивая, он доставил для нее аэрограмму.

Ада вскрыла запечатанный листок и обнаружила, что послание не из унылого Калугано, как она боялась, а предназначено ее матери и отправлено из много более веселого Лос-Анджелеса. Лицо Марины, пробегавшей депешу, постепенно приобрело выражение совершенно бесстыдного молодого блаженства. Она победоносно протянула листок Ларивьер-Монпарнас, которая дважды его прочитала и склонила голову с улыбкой снисходительного неодобрения. Чуть не пританцовывая от радости:

«Педро возвращается», крикнула Марина (прожурчала, пропела) своей невозмутимой дочери.

«И, надо думать, останется здесь до осени», заметила Ада, опустившись на расстеленный поверх мелких муравьев и сухих сосновых иголок плед, чтобы сыграть с Грегом и Люсеттой в снап.

«Да нет же, всего на две недели (по-девичьи хихикая). А потом мы отправимся в Houssaie, Голливуд-тож (Марина определенно была в ударе) — да, все вместе и поедем, и наш автор, и дети, и Ван, если захочет».

«Кабы я мог, то поехал», сказал Перси (образчик его юмора).

Тем временем дядя Дан, настоящий щеголь в своем спортивном пиджаке в вишневую полоску и канотье эстрадного комика, почувствовал настоятельную потребность выяснить, что там за люди расселись на соседней поляне, и, держа в одной руке канапе с черной икрой, а в другой стакан Эро, героически направился к ним.

«Пр́оклятые дети», сказала Марина в ответ на какой-то вопрос Перси.

Перси, ты очень скоро умрешь, и не от пули в твоей жирной ляжке, лежа на дерне крымского ущелья, а две минуты спустя, когда откроешь глаза и почувствуешь себя в безопасности под маквисовой тенью; ты очень скоро умрешь, Перси, но тем июльским днем в графстве Ладора, развалившись под соснами, еще здорово пьяный после какого-то предыдущего застолья, с похотью в сердце и липким стаканом в сильной, обросшей светлыми волосками руке, внимающий литературной зануде, болтающий с увядшей актрисой и жадно глазеющий на ее хмурую дочку, ты наслаждался пикантностью положения, дружище, ваше здоровье, и разве могло быть иначе. Дородный, красивый, праздный и крепкий, отличный игрок в регби, гроза ядреных хуторянок, ты сочетал в себе шарм отдыхающего атлета с обаятельной вальяжностью светского хлыща. Глядя на твое красивое круглое лицо, я, кажется, больше всего ненавидел младенческий цвет кожи, гладкие щеки счастливого молодчика, которому бритье доставляет лишь удовольствие. Я же всякий раз проливал кровь, и мне еще предстояло проливать ее семь десятков лет кряду.

«В том скворечнике на сосновом стволе, — сказала Марина своему молодому поклоннику, — когда-то находился “телефон”. Как бы я хотела, чтобы он оказался там сейчас! А вот и Дан, enfin!»

Ее муж, без шляпы и стакана, вернулся с отличными новостями. Соседи — «исключительно учтивые и благовоспитанные люди». Он смог разобрать по крайней мере дюжину итальянских слов. Как он понял, эти пастухи собрались разговеться и распределить пастбища. Кажется, они приняли его за своего. В основе этой копии могло лежать полотно неизвестного автора из коллекции кардинала Карло Медичи. Взволнованно, даже возбужденно, маленький человечек потребовал, чтобы слуги сей же час отнесли яства и вино его новым замечательным друзьям, и сам же захлопотал, схватив пустую бутылку и корзину, в которой лежал клубок шерсти с вязальными спицами, английский роман Куигли и рулон туалетной бумаги. Но вмешалась Марина, сказав, что профессиональные обязанности требуют, чтобы она немедленно дорофонировала в Калифорнию, и, мгновенно забыв о своих новых друзьях, дядя Дан охотно согласился отвезти ее домой.

Петли и узелки в вязке дальнейших событий давно уже скрыла мгла, но Ван ясно помнил, что приблизительно во время этого внезапного отъезда или сразу после он стоял на краю ручья (в котором совсем недавно отражались наложившиеся друг на друга две пары глаз) и вместе с Грегом и Перси бросал камни в ржавые останки старого указателя или какого-то охранительного знака, с нечитаемым уже предостережением, криво торчавшего на другом берегу.

«Ох, надо пассати!» — надувая щеки и лихорадочно теребя гульфик, воскликнул Перси на славянском жаргоне, которому отдавал предпочтение. Никогда в жизни, сказал флегматичный Грег Вану, не видывал он столь безобразной болванки, с обрезанной хирургом крайней плотью, устрашающе толстой, пунцовой, и с такой впечатляющей coeur de boeuf. Зачарованным и брезгливым юношам не приходилось до сих пор видеть и столь шумной, мощно изогнутой и практически неиссякаемой

струи. «Фух!» — с облегчением выдохнул Перси и упрятал свое орудие обратно.

С чего началась потасовка? Переходили, кажется, ручей по скользким камням. Толкнул ли Перси Грега или Ван, может быть, потеснил Перси? Держал ли один из них что-то — палку? Вырванную другим? Ухватил за запястье и оставил ни с чем?

«Ого, — сказал Перси, — да ты шалун, приятель!»

Грег, в своих брюках гольф, одна штанина которых промокла, с отчаянием (ему были дороги оба соперника) глядел, как они схватились на берегу ручья.

Перси был тремя годами старше и двумя десятками килограммов тяжелее Вана, но тот легко справлялся и с более крупными наглецами. Мгновение — и красное лицо графа оказалось зажатым у Вана под мышкой. Рычащий сгорбленный Перси нетвердо топтался на дерне. Он высвободил одно пылающее ухо, Ван применил другой захват, сделал подсечку и уложил его «на лопатки», как это называл Кинг Винг на своем ковровом жаргоне. Поверженный Перси хрипел, как умирающий гладиатор, прижатый к земле своим истязателем, который принялся большими пальцами проделывать какие-то ужасные манипуляции с его вздымавшейся грудиной. Взвыв от боли, граф дал понять, что с него довольно. Ван потребовал более внятного признания поражения и получил его. Боясь, что победитель не расслышал отрывистой мольбы о пощаде, Грег повторил ее в третьем лице. Тогда Ван оставил несчастного графа, который сел, плюясь и щупая горло, оправил измятую рубашку на своем мощном торсе и сиплым голосом попросил Грега найти пропавшую запонку.

Ван вымыл руки в затончике, у которого с приятным изумлением узнал прозрачный трубчатый предмет, отчасти похожий на огнетелку, застрявший на своем пути вниз по течению в бахроме незабудок (тоже подходящее название).

Он уже шел обратно к пикниковой поляне, как сзади на него будто навалился медведь. Одним неистовым рывком он перебросил напавшего через голову. Перси грохнулся оземь и мгновение лежал на спине неподвижно. Держа наготове «клешни краба», Ван не сводил с него глаз, надеясь воспользоваться случаем и применить тот особый прием экзотической пытки, который ему еще не доводилось использовать в настоящей драке.

«Ты плечо мне сломал, — проворчал Перси, перейдя из лежачего положения в сидячее и растирая свою толстую руку. — Полегче, чорт молодой!»

«Вставай! — крикнул Ван. — Ну-ка, вставай! Желаешь еще получить или вернемся к дамам? К дамам? Изволь. Только теперь будь любезен идти впереди меня».

Направляясь со своим пленником к поляне, Ван клял себя за то, что не мог унять дрожь после необъявленного дополнительного раунда. Он

незаметно переводил дух, каждый его нерв звенел, как натянутая струна, он поймал себя на том, что прихрамывает и старается этого не показывать, в то время как Перси де Пре, в своих белоснежных штанах, чудесным образом оставшихся незапятнанными, и в небрежно расстегнутой рубашке, шагал, свободно отмахивая руками и поводя плечами, и казался совершенно спокойным и даже, пожалуй, довольным.

Грег нагнал их, принеся запонку — небольшой триумф дотошности при осмотре места происшествия, — и с банальным «Молоток!» Перси замкнул шелковую манжету, поставив точку в нахальном восстановлении своего прежнего облика.

Их преданный клеврет, все так же бегом, первым достиг поляны с уже оконченным пикником. Он увидел Аду, стоявшую с двумя красными грибами в одной руке и тремя в другой, и, ошибочно приняв ее удивленный взгляд, вызванный его глухим топотом, за тревожный, добрый сэр Грег поспешил прокричать ей издалека: «Он невредим! Он невредим, мисс Вин!» — ослепленный состраданием, молодой рыцарь не подумал о том, что ей не было известно о поединке кавалера с чудовищем.

«Так и есть, — сказал первый, беря у нее из рук два мухомора, излюбленное «лакомство» девушки, и поглаживая их гладкие шляпки. — И разве могло быть иначе? Ваш кузен развлек Грега и вашего покорного слугу демонстрацией наиболее бодрящих приемов Восточной Скротомовки, или как там это называется».

Он потребовал вина, но несколько последних бутылок отнесли таинственным пастырям, которые уже оставили соседнюю поляну без своего попечения: они, должно быть, казнили и закопали одного из своих товарищей, если твердый воротничок и рептильного цвета галстук, свисавшие с ветки акации, принадлежали ему. Исчез и букет роз, который Ада велела положить обратно в багажник графского автомобиля — чем расточать цветы впустую, сказала она, пусть отдаст их смазливой сестрице нашей Бланш.

Но вот м-ль Ларивьер громко хлопнула в ладони, пробуждая от сиесты Кима, правившего ее двуколкой, и Трофима, русобородого кучера детей. Ада крепче сжала свои грибы, и все, что досталось Перси для его Handkuss, это холодный кулак.

«Рад был повидаться, старина, — сказал он, легко похлопав Вана по плечу — недопустимый в их кругу жест. — Надеюсь, скоро мы еще порезвимся. Скажите, — прибавил он, понизив голос, — в стрельбе вы так же хороши, как в борьбе?»

Ван последовал за ним к кабриолету.

«Ван, Ван, подойди, — крикнула Ада. — Грег хочет проститься». Но Ван не обернулся.

«Это вызов, me faites-vous un duel?» — осведомился Ван.

Перси сел за руль, улыбнулся, прищурился, склонился к приборной панели, вновь улыбнулся, но ничего не сказал. Щелкнул стартер, загромыхал мотор, и Перси натянул перчатки.

«Quand tu voudras, mon gars», сказал Ван, ударив открытой ладонью по крылу автомобиля и используя ужасное «ты» дуэлянтов старой Франции.

Автомобиль рывком сорвался с места и скрылся.

Ван вернулся на поляну с глупо колотящимся сердцем. Проходя, он помахал Грегу, который, сойдя с дороги, что-то объяснял Аде.

«Уверяю тебя, — говорил он, — твой кузен не виноват. Перси это начал и был побежден в честной схватке коротомской борьбы, по правилам, принятым в Теристане и Сорокате: не сомневаюсь, что мой отец может рассказать тебе о ней все».

«Ты такой милый, — ответила Ада, — но, кажется, несешь дикий вздор».

«И всегда несу в твоем присутствии», заметил Грег и оседлал своего черного бесшумного коня, ненавидя его, и себя, и двух задир. Поправив защитные круглые очки, он умчался прочь. М-ль Ларивьер тоже уже взобралась в двуколку и отбыла, покачиваясь, по испещренной солнечными пятнами лесной дороге.

Люсетта, подбежав к Вану, почти опустилась перед ним на колени и удобно обхватила своего большого кузена за бедра, прильнув к нему на мгновение. «Поспеши, — сказал Ван, поднимая ее на ноги, — и не забудь свое джерси, ты не можешь ехать нагишом».

Подошла Ада. «Мой герой», едва глядя на него, сказала она с той неопределенной интонацией, свойственной ей, которая оставляла гадать, выражает ли она восхищение или сарказм, а может быть, лишь смеется над тем и другим.

Люсетта помахивала грибной корзинкой и напевала:

Озорницу оконфузил,

Забияку отмутузил…

«Люси Вин, прекрати немедленно!» — прикрикнула Ада на шалунью, а Ван с показным негодованием тряхнул ее ладошку, которую держал в своей руке, в то же время шутливо подмигивая Аде поверх рыжей головки шедшей между ними девочки.

Так беззаботная с виду троица подошла к ожидавшей их виктории.

Сердито хлопая себя по ляжкам, кучер бранил вихрастого слугу-мальчишку, вылезшего к экипажу из-под куста. Он забрался туда, чтобы покойно насладиться засаленным экземпляром «Таттерсалии», полным изображений огромных, дивно вытянутых скаковых лошадей, вследствие чего шарабан с грязной посудой и сонными слугами укатил без него.

Мальчишка влез на облучок рядом с Трофимом, который звучным «тпру!» остановил сдавших назад гнедых, Люсетта же потемневшими зелеными глазами следила за тем, как занимают ее привычный насест.

«Тебе придется одолжить ей свое двоюродное колено», прозвучало безучастное апарте Ады.

«А не станет ли возражать La maudite rivière?» — задумчиво ответил Ван, стараясь поймать за хвостик ощущение, что судьба решила дать повторное представление.

«А Ларивьер может пойти и… — и нежные алые губы Ады повторили грязную шутку Гавронского. — К Люсетте это тоже относится», прибавила она.

«Vos “выраженции” sont assez lestes, — заметил Ван. — Ты на меня сильно сердишься?»

«Ох, Ван, я не сержусь! На самом деле я рада, что ты победил. Но мне сегодня исполнилось шестнадцать. Шестнадцать! Я старше своей бабушки в пору ее первого развода. Похоже, это мой последний пикник. От детства остались объедки. Я люблю тебя, ты любишь меня. Грег любит меня. Все любят меня. Меня тошнит от любви. Эй, трогай уже, или она спихнет этого петушка на дорогу — Люсетта, оставь его в покое!»

Наконец, экипаж отправился в свое приятное путешествие домой.

«Ай! — вырвалось у Вана, когда на него опустился округлый груз. — Ушиб правое колено о камень», сухо пояснил он.

«Еще бы, если ввязываться в потасовки…» — проворчала Ада и раскрыла на изумрудной закладке маленькую коричневую книгу с золотым тиснением (такая удача для летящих мимо солнечных пятен!), которую читала по дороге на пикник.

«Ничего не имею против небольшой потасовки, — сказал Ван. — У меня от этого кровь играет в жилах, в силу разных причин».

«Я видела, как вы тасовались», сказала Люсетта, обернувшись.

«Шш-шш», шикнул на нее Ван.

«Я имею в виду, ты и он».

«Нам не интересны твои впечатления, девочка. И не надо все время оборачиваться. Знаешь, тебя может укачать, когда дорога —»

«Совпадение: Jean qui tâchait de lui tourner la tête…» — на миг

вынырнула Ада.

«— когда дорога “бежит из тебя”, как однажды сказала твоя сестра, когда ей было столько лет, сколько тебе сейчас».

«Правда», мелодично и задумчиво ответила Люсетта.

Ее уговорили прикрыть свое медово-коричневое тело. Ее белая кофточка значительно обогатилась за счет своего последнего окружения — сосновых иголок, частичек мха, крошек пирога, малютки гусеницы. Ее замечательно тугие зеленые шортики были усеяны багровыми пятнами пламеники. Ее янтарные яркие волосы летели ему в лицо и пахли тем, другим летом. Семейный запах; да, совпадение: череда слегка смещенных совпадений; артистизм асимметрии. Она сидела у него на коленях, тяжелая, мечтательная, насыщенная foie gras и персиковым пуншем, почти касаясь его лица внутренней стороной своих голых, атласно-смуглых рук, и касаясь на самом деле, когда он смотрел вниз, вправо и влево, проверяя, на месте ли грибы. На месте. Мальчишка читал и ковырял в носу, судя по движению его локтя. Небольшой Люсеттин задок и холодные ляжки, казалось, все глубже и глубже погружаются в зыбучий песок сновидческого, речью снов пересказанного, искаженного преданием прошлого. Сидевшая рядом с ним Ада, которая быстрее переворачивала странички своей книги, чем мальчишка-грум на облучке, была, конечно, еще более чарующей, дорогой, неизменной и желанной, еще более сосредоточенно-пылкой, чем четыре лета тому назад, — но сейчас он вновь переживал тот, прошлый пикник, и это Адины мягкие бедра он сейчас придерживал руками, как если бы она была явлена в двух экземплярах, двумя разными цветными эстампами.

Сквозь медные шелка Люсеттиных прядей он скосил глаза на Аду, которая сложила губы в подобии поцелуя (прощая его, наконец, за драку!) и вернулась к своему кожаному томику, «Ombres et couleurs», рассказы Шатобриана в издании 1820 года, с раскрашенными от руки виньетками и плоской мумией анемона. Свет и тени лесной чащи проходили по книге, по ее лицу и по правой руке Люсетты, на которой он, не удержавшись и всего лишь отдавая дань двойнику, поцеловал след комариного укуса. Бедняжка томно взглянула на него и снова отвела глаза — к красной шее этого другого кучера, который уже несколько месяцев преследовал ее во снах.

Мы не намерены следовать за мыслями, терзавшими Аду, чье внимание к книге было значительно менее глубоким, чем могло показаться; мы не станем, нет, мы попросту не можем проследить за ними сколько-нибудь убедительно, поскольку мысли запоминаются намного хуже теней и красок, или пульсации молодой похоти, или шороха зеленого змея в сумрачном раю. Посему нам представляется более удобным находиться внутри Вана, пока его Ада находится внутри Люсетты, и обе пребывают в Ване (а все трое — во мне, добавляет Ада).

С уколом наслаждения он вспомнил вольную юбку, которая тогда была на Аде, такую улетно-воздушную, как говорили юные создания в Чузе, и пожалел (улыбаясь) о том, что Люсетта надела эти чопорные шорты, а на Аде были штаны, похожие (смеясь) на слущенный кукурузный початок.

В ходе неотвратимого развития самых тягостных болезней порой (серьезно кивая), о, порой выпадают дивные утра полного покоя, и случается это не после какой-нибудь благословенной пилюли или снадобья (указывая на теснящиеся в изголовье склянки), или, во всяком случае, без нашего осознания того, что любящая рука отчаяния подсунула нам наркотик.

Ван прикрыл глаза, чтобы лучше сосредоточиться на золотом потоке нарастающего блаженства. Много, ох как же много лет спустя он с удивлением вспоминал (как можно было перенести такой восторг?) этот миг совершенного счастья, полное затмение пронзительной, кромсающей боли, выкладки опьянения, порочный круг аргумента в пользу того, что даже самая необычная девушка не может не хранить верность, если любит кого-нибудь столь же сильно, как этот кто-то любит ее. Он видел мерцание ее браслета, вспыхивающего в ритме качающейся виктории, ее профиль с чуть приоткрытыми полными губами, на которых падающие лучи солнца высвечивали красную пыльцу остатков бальзама, сохнущего в поперечных линиях миниатюрного очерка их структуры. Он открыл глаза: браслет действительно вспыхивал, но ее губы потеряли все следы краски, и уверенность в том, что скоро он коснется их горячей бледной мякоти, грозила привести к необратимому перелому в его состоянии под бременем другого ребенка. Но блестевшая от пота шейка меленькой заместительницы скорее умиляла, ее доверчивая неподвижность отрезвляла, и, в конце концов, никакое скрытое трение не могло сравниться с тем, что его ожидало в беседке Ады. Боль в колене тоже была кстати, и добропорядочный Ван упрекнул себя за то, что попытался использовать маленькую нищенку вместо сказочной принцессы, «чья драгоценная плоть не должна краснеть от отпечатка карающей руки», как говорит Пьеро в версии Петерсона.

С угасанием этого струящегося пламени изменилось и настроение Вана. Следовало что-то сказать, сделать распоряжение, дело приобрело нешуточный оборот или могло приобрести. Они уже въезжали на окраину Гамлета, русской деревушки, от которой березовая аллея быстро приводила в Ардис. Короткая вереница повязанных платками сельских нимф, наверняка немытых, но очаровательных, с голыми лоснящимися плечами и младыми пухлыми персями, высоко поднятыми чашами корсета, проходила через рощу, напевая старую песенку:

Колючки да крапива —

Глупышки, вам урок:

Ах, сорван был игриво

Ваш аленький цветок!

«Можно я возьму карандашик у тебя в заднем кармане? — сказал Ван Люсетте. — Хочу записать эту песенку».

«Только чур не щекотать меня там», ответил ребенок.

Ван взял Адину книжку и под ее странно-настороженным взглядом написал на форзаце:

Я больше не желаю его видеть.

Я не шучу.

Скажи М., чтобы не принимала его, или я уеду.

Отвечать не нужно.

Прочитав, она медленно, безмолвно стерла строчки резинкой и отдала карандаш Вану, который вернул его обратно в кармашек.

«Ты ужасно вертлявый, — заметила Люсетта не оборачиваясь. — В другой раз, — добавила она, — я не уступлю свое место».

Они подъехали к крыльцу, и Трофиму пришлось толкнуть локтем мальца-читателя в синей куртке, чтобы он отложил книгу, соскочил на землю и помог сойти Аде.

40

Ван лежал в своем сетчатом гнезде под лириодендронами, читая опус Антитерренуса о книге Раттнера. Колено ныло всю ночь; теперь, после ленча, боль как будто утихла. Ада верхом умчалась в Ладору, где, как он надеялся, она забудет исполнить просьбу Марины купить для него противную скипидарную мазь.

Пересекая лужайку, к нему шел слуга, сопровождаемый посыльным — стройным юным существом в черной коже от шеи до щиколоток, с каштановыми кудрями, выбивавшимися из-под фуражки с большим козырьком. Удивительное это дитя огляделось, по-любительски театрально подбоченилось и протянуло Вану письмо с пометкой «лично в руки».

Милостивый государь,

Со дня на день мне предстоит на некоторое время уехать за границу для несения военной службы. Если Вам угодно повидаться со мной до моего отъезда, буду рад встретить Вас (и любого джентльмена, которого Вы соблаговолите взять с собой) завтра на рассвете, у пересечения Мейденхэирского тракта и Турбьерской дороги. Если же нет, то я прошу Вас подтвердить в короткой записке, что Вы не держите на меня зла, как не питает к Вам, г-н Вин, никаких неприязненных чувств Ваш покорный слуга

Перси де Пре

Нет, Вану не было угодно видеть графа. Так он сказал хорошенькому посыльному, стоявшему, уперев руку в бедро и выставив вперед ножку, как статист, ждущий сигнала, чтобы присоединиться к другим удальцам в деревенской пляске после арии Калабро.

«Un moment, — прибавил Ван. — Мне любопытно кое-что узнать, — я это мигом выясню, если мы зайдем за то дерево, — кто ты, конюшенный мальчик или дворовая девочка?»

Посыльный на это ничего не ответил и был уведен хмыкающим Бутом. Короткий взвизг, донесшийся из-за скрывавших их лавровых кустов, позволял предположить, что посыльного неподобающим образом ущипнули.

Было ли это неуклюжее и напыщенное послание продиктовано опасением, что отплытие графа в Крым для участия в сражении могли бы счесть бегством от более частной стычки, или же примирительного заключения в письме от Перси потребовал кто-то другой, быть может, женщина (к примеру, его мать, урожденная Прасковья Ланская); как бы там ни было, честь Вана оставалась незадетой. Он доковылял до ближайшего мусорного ведра, сжег письмо с его украшенным гербом синим конвертом и выбросил всю эту историю из головы, отметив лишь, что отныне, по крайней мере, негодяй перестанет ухлестывать за Адой.

Она вернулась поздно вечером (к счастью, без вонючей примочки). Ван все еще покачивался в своем низко подвешенном гамаке, на вид такой заброшенный и хмурый, что, оглянувшись вокруг (с много более естественной грацией, чем у каштановокудрой посыльной), она подняла вуаль, опустилась перед ним на колени и утешила его.

Когда два дня спустя грянул гром (старинная метафора, имеющая в данном случае исподволь напомнить о сцене со старым амбаром), Ван осознал, что вспышка его зарницы свела в яростной очной ставке двух тайных свидетелей; со дня его рокового возвращения в Ардис они не выходили у него из головы: Первый, отводя взгляд, бормотал, что Перси де Пре был и всегда останется только танцевальным партнером, ветреным ухажером; Второй с настойчивостью призрака продолжал внушать, что какая-то безымянная опасность угрожает самому здравомыслию его белокожей, неверной возлюбленной.

Следующим утром, накануне самого горького дня в его жизни, он обнаружил, что может сгибать ногу в колене не морщась, и совершил ошибку, присоединившись к Аде и Люсетте за импровизированным завтраком на давно запущенной крокетной площадке; обратное возвращение далось ему нелегко. Впрочем, купанье в бассейне и солнечные ванны сделали свое дело, и боль практически унялась, когда в дрожащем зное долгого полудня Ада вернулась с длинной «ожины», как она называла свои ботанические блуждания, — лаконично и немного печально, поскольку местная флора перестала радовать ее чем-либо сверх давно известных фаворитов. Облаченная в роскошный пеньюар

Марина сидела за белым туалетным столиком, вынесенным на газон, перед большим овальным зеркалом, поставленным для нее на подставку, а ее волосы подравнивал постаревший, но все еще волшебный мосье Виолетт из Лиона и Ладоры — обычно не практикуемое на открытом воздухе занятие, объясненное и оправданное ею тем обстоятельством, что ее бабка тоже любила qu'on la coiffe au grand air, дабы не быть застигнутой врасплох зефирами (так бретер укрепляет руку, прогуливаясь с кочергой вместо трости).

«Наш лучший артист», сказала она, указав Виолетту на Вана, которого тот принял за Педро, отчего поклонился с un air entendu.

Ван с нетерпением ждал небольшой оздоровительной прогулки с Адой, прежде чем переодеться к обеду, но его подруга, опустившись на садовый стул, сказала, что утомлена и нечиста, что ей нужно умыться и вымыть ноги, и еще подготовиться к тяжкому испытанию — вместе с матерью развлекать киношников, ожидавшихся позже вечером.

«Я видел его в "Сексико"», негромко сказал мосье Виолетт Марине, уши которой он закрыл ладонями, так и сяк поворачивая отражение ее головы в зеркале.

«Нет, уже поздновато, — тихо возражала Ада, — а кроме того, я обещала Люсетте —»

Ван яростным шепотом продолжал настаивать, отлично зная, впрочем, как тщетны попытки заставить ее передумать, особенно в любовных делах. Но необъяснимо и чудесно оцепенелое выражение ее глаз сменилось на нежно-ликующее, как бы во внезапном ощущении вновь обретенной свободы. Так ребенок смотрит в пространство с брезжущей на губах улыбкой, осознав, что дурной сон позади или что дверь оставлена незапертой и можно безнаказанно хлюпать в оттаявшем небе. Ада сбросила с плеч свой ботанический ранец, и они, провожаемые благожелательным взором Виолетта поверх зеркальной головы Марины, убрели в поисках относительного уединения на той аллее парка, где она когда-то посвятила его в свои игры со светом и тенью. Он обнял ее и поцеловал и снова поцеловал, как если бы она вернулась из долгого и опасного странствия. Мягкость ее улыбки была совершенно неожиданной и особенной. То была не лукавая демоническая улыбка припомнившейся или обещанной любовной отрады, но самое изысканное человеческое сияние счастья и беспомощности. Все их страстные услаждающе-поршневые усилия, начиная с Горящего Амбара и кончая Пламениковым Ручьем, были ничто в сравнении с этим зайчикомъ, этим «солнечным бликом» радостного духа. Ее черный джампер и черная же юбка с большими накладными карманами потеряли свой вид облачения «скорбящей по сорванному цветочку девицы», как причудливо выразилась Марина («Немедленно переодеться!» — крикнула она в зеленовато мерцающее зеркало), приобретя вместо этого очарование старомодной лясканской школьной формы. Они стояли лицом к лицу, смуглое к белому, черное к черному, он поддерживал ее под локти, а она проводила слабыми легкими пальцами по верху его ключицы, и как же он «ладорствовал», сказал Ван, как «отрадничал», вдыхая темный запах ее волос, смешанный с душком смятых стеблей лилий, турецких папирос и усталости, исходивший от его душеньки. «Нет, нет, погоди, — сказала

она, — мне нужно помыться, скоренько-скоренько, Ада должна помыться»; но все же еще один бессмертный миг они стояли, обнявшись, на притихшей аллее, наслаждаясь, как никогда прежде, чувством «вечного счастья вдвоем» в конце нескончаемых сказок.

Это дивный отрывок, Ван. Проплачу всю ночь (поздняя интерполяция).

Когда последний луч солнца пал на Аду, ее губы и подбородок мокро блестели от его безнадежных, жалких поцелуев. Она тряхнула головой, говоря, что им вправду пора разойтись, и поцеловала его руки, как делала только в моменты высшей нежности, после чего быстро отвернулась, и они вправду разошлись.

В оставленном ею на садовом столе ранце, который она сейчас тащила наверх, увядала одна лишь рядовая орхидея венерин башмачок. Марина и зеркало исчезли. Он стянул с себя тренировочный костюм и в последний раз нырнул в бассейн, над которым, сцепив руки за спиной и задумчиво глядя в фальшиво-лазурную воду, возвышался дворецкий.

«Показалось, что ли? — сказал он. — Или я только что увидел головастика?»

С этого места в полной мере вступает в свои романные права эпистолярная тема. Поднявшись к себе в комнату, Ван с содроганием дурного предчувствия заметил осьмушку бумаги, торчавшую из грудного кармана его смокинга. Написанное карандашом, крупным почерком, с контуром каждой буквы, умышленно искаженной и неровной, анонимное предписание гласило: «Не будьте буффоном. Вас дурачат». Только человек, сыздетства говорящий по-французски, мог сказать «буффон» вместо «шут». Из всей дворни не менее пятнадцати слуг были французского происхождения — потомками иммигрантов, перебравшихся в Америку после того, как Англия в 1815 году аннексировала их прекрасную и несчастную страну. Допрашивать их одного за другим — пытая мужчин, насилуя женщин — было бы, разумеется, нелепо и унизительно. Ребяческим рывком он изувечил свою лучшую черную бабочку на колесе своего гнева. Боль от гадючьего укуса достигла его сердца. Он взял другой галстук, закончил переодеваться и отправился искать Аду.

Он нашел обеих девочек и их гувернантку в одной из «детских комнат» — прелестной гостиной с балконом, где м-ль Ларивьер, сидя за изысканно инкрустированным пембруковым столиком, со смешанными чувствами и яростными комментариями читала третью версию сценария «Les Enfants Maudits». За большим круглым столом в середине внутренней комнаты Ада учила Люсетту рисовать цветы; кругом были разложены ботанические атласы, большие и маленькие. Все казалось таким, как всегда: нимфочки и козочки на расписном потолке, мягкий свет дозревшего до вечера дня, далекий мечтательный ритм, с каким Бланш, складывая белье, напевала «Мальбрука» («…ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra»), и две милые головки, бронзово-черная и медно-рыжая, склоненные над столом. Ван понимал, что сперва следует остыть, прежде чем задавать Аде вопросы, или, вернее, прежде чем сказать ей, что он хотел бы у нее кое-что выяснить. Она выглядела веселой и элегантной; она впервые надела подаренные им

бриллианты; на ней было новое, гагатово-мерцавшее вечернее платье и — тоже впервые — прозрачные шелковые чулки.

Он сел на софу, взял наугад один из раскрытых альбомов и с отвращением начал рассматривать группу великолепно изображенных, буйно цветущих орхидей, чья популярность у пчел зависела, как сообщалось в книге, от «различных привлекательных ароматов, — от запаха мертвых рабочих и до котовьей вони». Мертвые солдаты могут пахнуть еще лучше.

Тем временем упрямая Люсетта принялась твердить, что проще всего нарисовать цветок, положив поверх изображения (в данном случае воспроизведенной со всеми неприличными деталями структуры красно-багровой погонии, в изобилии растущей на болотах Ладоги) лист прозрачной бумаги и обведя его контуры цветными чернилами. Терпеливая Ада, однако, хотела, чтобы та вместо механического копирования рисовала «от глаз к руке и от руки к глазам» и использовала для своего урока живой экземпляр другой орхидеи — с коричневой морщинистой мошной и лиловыми чашелистиками; но скоро она благодушно уступила и отставила узкую хрустальную вазу с сорванным ею венериным башмачком. Непринужденно, речисто она продолжила объяснять, как устроены органы орхидей, но Люсетта по своему причудливому обыкновению хотела знать только одно: может ли пчела-мальчик оплодотворить девочку-цветок через что-нибудь, через свои гамаши или мохнатые кальсоны или что он там носит?

«Ты знаешь, — сказала Ада комичным носовым голосом, поворачиваясь к Вану, — ты знаешь, я не могу представить себе более грязных мыслей, чем у этого ребенка, и теперь она будет злиться на меня за эти слова и рыдать на груди Ларивьерши, жалуясь, что была опылена, когда сидела у тебя на коленях».

«Но я не могу говорить с Белль о грязных вещах», совершенно спокойно и резонно сказала Люсетта.

«Что с тобой, Ван?» — спросила зоркая Ада.

«Почему ты спрашиваешь?» — в свою очередь поинтересовался Ван.

«Ты двигаешь ушами и прочищаешь горло».

«Ты покончила с этими мерзкими цветами?»

«Да. Иду мыть руки. Встречаемся внизу. У тебя галстук перекручен».

«Хорошо, хорошо», сказал Ван.

Mon page, mon beau page,

— Mironton-mironton-mirontaine —

Mon page, mon beau page…

Внизу Джонс уже снимал обеденный гонг с крюка в холле.

«Ну, в чем дело?» — спросила она, когда через минуту они встретились на веранде гостиной.

«Я нашел это у себя в кармане», сказал Ван.

Быстро растирая свои крупные передние зубы нервным указательным пальцем, Ада прочитала и перечитала записку.

«С чего ты взял, что это предназначалось тебе?» — спросила она, возвращая ему обрывок тетрадного листа.

«Ну я же говорю тебе —», загремел он.

«Тише!» — перебила Ада.

«Говорю тебе, что я нашел это здесь (указывая на сердце)».

«Уничтожь и забудь», сказала Ада.

«Твой покорный слуга», ответил Ван.

41

Педро еще не вернулся из Калифорнии. Сенная лихорадка и темные очки не улучшили наружности Г. А. Вронского. Адорно, звезда «Ненависти», привез свою новую жену, оказавшуюся одной из прежних и самых любимых жен другого гостя, значительно более известного комедийного актера, который после ужина подкупил Бутейана, чтобы тот симулировал получение сообщения, требующего его немедленного отъезда. Григорий Акимович уехал вместе с ним (оба прибыли в Ардис в одном прокатном лимузине), оставив Марину, Аду, Адорно и его иронично хмыкающую Марианну за карточным столом. Они играли в бирючъ, разновидность виста, до тех пор, пока не прикатил ладорский таксомотор, что произошло много позже часу ночи.

Тем временем Ван вновь натянул шорты, завернулся в клетчатый плед и удалился в свой боскет, где этим вечером, вышедшим не таким праздничным, как ожидала Марина, бергамасковых ламп не зажигали. Он забрался в гамак и стал сонно перебирать тех франкоговорящих слуг, которые могли бы подсунуть ему эту зловещую, но, согласно Аде, лишенную всякого смысла записку. Само собой, первой претенденткой была истеричная и капризная Бланш, и он остановился бы на ней, кабы не ее трусость, не ее страх быть «уволенной» (ему вспомнилась отвратительная сцена, когда она, моля о пощаде, валялась в ногах Ларивьерши, обвинившей ее в «хищении» безделушки, которая в конце концов нашлась в одном из башмаков самой гувернантки). Затем в фокусе его внимания оказалось багровое лицо Бутейана и ухмылка его отпрыска, но тут он провалился в сон и увидел себя на снежной горе, со склона которой сошедшая лавина смела людей, деревья и корову.

Что-то пробудило его от этого состояния мрачного оцепенения. Сперва он подумал, что виной тому предрассветная свежесть, но затем расслышал легкий скрип (крик в его путаном кошмаре) и, подняв голову, увидел тусклое свечение промеж кустов — там, где была дверь садовой кладовой, приоткрытая кем-то изнутри. Ада никогда не приходила сюда, не оговорив с ним заранее каждой детали их редких ночных свиданий. Он выбрался из гамака и крадучись подошел к освещенному проему двери. Перед ним возникла бледная дрожащая фигура Бланш. Она являла собой престранное зрелище: голорукая, в нижней юбке, один чулок на подвязке, другой спущен до лодыжки, босоногая, подмышки блестят от пота; она распускала волосы в жалком спектакле обольщения.

«C’est ma dernière nuit au château», тихо сказала она и перефразировала эту реплику на своем старомодно-причудливом английском, элегическом и напыщенном, как говорят только в старых забытых романах: «’Tis my last night with thee» («Ночь сия — моя последняя с тобой»).

«Твоя последняя ночь? Со мной? Что это значит?» — Он смотрел на нее с тем суеверным страхом и смущением, какой испытываешь, слушая бредовые или пьяные излияния души.

Впрочем, несмотря на свой безумный вид, Бланш мыслила совершенно здраво. Решение покинуть Ардис-Холл она приняла два-три дня назад. Она только что подсунула под дверь Madame письмо о своей отставке, присовокупив к нему замечания о поведении молодой госпожи. Через несколько часов она покинет усадьбу навсегда. Она полюбила его, он был ее «блажью и жаждой», она мечтала провести с ним несколько тайных минут.

Он вошел в кладовую и неспешно прикрыл за собой дверь. Медлительность объяснялась одной неудобосказуемой причиной. Бланш поставила фонарь на ступеньку стремянки и уже задрала повыше свою короткую нижнюю юбку. Сочувствие и учтивость с его стороны и небольшое содействие с ее могли бы, пожалуй, вызвать в нем тот порыв, который ожидался ею как должное и полнейшее отсутствие которого он тщательно скрывал под своим клетчатым покровом; но помимо страха подцепить какую-нибудь заразу (Бут намекал на кое-какие неприятности бедняжки), его тревожило нечто значительно более серьезное. Он отвел ее дерзкую руку и сел рядом с ней на скамью.

Стало быть, это она подложила записку в его карман?

Она самая. Она бы не смогла уехать, сознавая, что он останется одураченным, обманутым, оскорбленным. В наивных скобках она прибавила замечание о своей уверенности в том, что он всегда страстно желал обладать ею и что, собственно, поговорить они могут и после. Je suis à toi, c’est bientôt l’aube, твоя мечта стала явью.

«Parlez pour vous, — ответил Ван. — Я не в том настроении, чтобы предаваться любви. И я удавлю тебя, можешь не сомневаться, если ты немедленно не расскажешь во всех подробностях, что тебе известно».

Она кивнула со страхом и обожанием в подернутых поволокой глазах. Когда и как все началось? В прошлом августе, сказала она. Votre demoiselle собирала цветы, а он с флейтой в руках увивался за ней в высокой траве. Кто? Какая еще флейта? Mais le musicien allemand, Monsieur Rack. В это время наша сладострастная осведомительница лежала под собственным обожателем по другую сторону изгороди. Как можно было заниматься этим с l'immonde Monsieur Rack, который однажды забыл свою жилетку в стоге сена, в головке доносчицы не укладывалось. Надо думать, из-за песенок, которые он сочинял для нее, одну, очень славную, как-то исполнили на большом балу в Ладорском казино, начинается так: ла-ла… К чорту это, продолжай. Однажды звездной ночью доносчица, находясь с двумя своими кавалерами в зарослях ивняка, слышала, как мосье Рак, сидя в лодке на реке, излагал печальную историю своего детства, говорил о годах голода, музыки и одиночества, а его ненаглядная плакала и откидывала назад голову, и он лобызал ее голую шею, il la mangeait de baisers dégoûtants. Он имел ее, должно быть, всего около дюжины раз, не больше, будучи не таким крепким, как другой господин — ох, перестань, сказал Ван, — а зимой молодая госпожа узнала, что он женат, и возненавидела его злую жену, и в апреле, когда он начал учить Люсетту игре на рояле, их связь возобновилась, но потом —

«Довольно!» — крикнул он и, ударяя себя кулаком в лоб, шатаясь, вышел под лучи рассветного солнца.

Его ручные часики, подвешенные к сетке гамака, показывали без четверти шесть. Его ступни были холодными, как камень. Он нащупал свои мокасины и некоторое время бесцельно бродил среди деревьев рощи, в которой дрозды пели так заливисто, с такой многозвучной силой и флейтовыми фиоритурами, что не было никакой мочи терпеть страшную пытку сознания, гнусность жизни, потерю, потерю, потерю. Постепенно, однако, он восстановил подобие самообладания с помощью волшебного метода, не позволяя образу Ады приближаться даже к кромке рассудка. От этого образовалась пустота, в которую устремилось множество банальных мыслей. Пантомима рационального мышления.

Он принял прохладный душ под навесом у бассейна, двигаясь с комичной осмотрительностью, делая все очень медленно и осторожно, дабы не раскокать нового, неизвестного, хрупкого Вана, явившегося на свет минуту назад. Он наблюдал, как его мысли кружат, пляшут, важно выступают и немного паясничают. К примеру, его порадовало представление о том, что кусок мыла воспринимается муравьями, роящимися на нем, твердой амброзией, и как страшно, должно быть, утонуть в разгар этой оргии. Кодекс, размышлял он, не позволяет послать вызов человеку низкого происхождения, но для художников, пианистов и флейтистов могут быть сделаны исключения, и если поганец струсит, то можно ему в кровь разбить десна несколькими звонкими пощечинами или, еще лучше, пройтись по нему крепкой тростью — не забыть выбрать одну в гардеробе холла, прежде чем уехать навсегда, навсегда. Вот потеха! Он улыбнулся, как чему-то необыкновенному, разновидности одноногой джиги, которую исполняет голый малый, сосредоточившись на пройме шорт, в которые он пытается влезть. Он неторопливо прошел по боковой галерее. Он поднялся по главной

лестнице. В доме было пусто, прохладно и пахло гвоздиками. Доброе утро и прощай, маленькая спальня. Ван побрился, Ван остриг ногти на ногах, Ван оделся с беспримерной тщательностью: серые носки, шелковая рубашка, серый галстук, темно-серый костюм, только что отутюженный, туфли, ах да, туфли, нельзя забывать о туфлях, и, не потрудившись разобрать все прочие свои принадлежности, он набил замшевый кошель двумя десятками золотых двадцатидолларовых монет, распределил по своей застывшей, как манекен, персоне носовой платок, чековую книжку, паспорт, что еще? — больше ничего, и приколол к подушке записку с просьбой упаковать оставленные им вещи и отправить их по адресу его отца. Сын погиб под лавиной, шляпа не найдена, презервативы пожертвованы Дому Престарелых Проводников. По прошествии почти восьми десятков лет все это кажется необыкновенно смешным и глупым, но в то время он был мертвецом, совершавшим действия воображаемого сновидца. Проклиная свое колено, он с ворчанием наклонился, чтобы на самом краю склона закрепить лыжи, заметаемые пургой, но лыжи исчезли, крепления стали шнурками, а склон — лестницей.

Он прошел к конюшням и сказал молодому груму, почти столь же осоловелому, как и он сам, что намерен отправиться на станцию через несколько минут. Грум удивленно уставился на него, и Ван его обругал.

Часики! Он вернулся к гамаку, где они все так же одиноко висели на сетке. На обратном пути к конюшням, кругом дома, он случайно поднял голову и увидел черноволосую девушку лет шестнадцати, в желтых широких штанах и черном болеро, которая стояла на балконе третьего этажа. Она подавала сигналы, как семафор, широкими линейными жестами, указывая на безоблачное небо (какое ясное небо!), на цветущую верхушку жакаранды (синева! цветенье!) и на собственную босую ногу, высоко поднятую на парапет (мне только сандалии надеть!). К своему ужасу и стыду, Ван увидел Вана, ждущего, пока она сойдет вниз.

Она быстро шла к нему по переливчато блестевшей лужайке. «Ван, — сказала она, — хочу рассказать тебе сон, пока не забыла. Мы с тобой были высоко в Альпах… С какой стати ты надел городской костюм?»

«Что ж, я скажу тебе, — медленно и как бы сквозь туман произнес он. — Я скажу тебе, с какой стати. От скромного, но надежного ночника, то есть источника, прошу прощения за акцент, я только что узнал, что qu’on vous culbute за каждой изгородью. Где я могу найти твоего хахаля?»

«Нигде», пропуская мимо ушей или действительно не замечая его грубости, невозмутимо ответила она, поскольку всегда знала, что не сегодня завтра грянет гром, вопрос времени или, скорее, выбора судьбой того или иного момента времени.

«Но он существует, он существует», пробормотал Ван, глядя вниз, на радужную паутину в траве.

«Полагаю, что так, — сказал надменный ребенок, — однако вчера он

отправился в какой-то греческий или турецкий порт. К тому же он собирался сделать все, чтобы погибнуть, если эти сведения тебе помогут. А теперь слушай, слушай! Эти лесные прогулки ничего не значили. Погоди, Ван! Я уступила всего дважды, когда ты так ужасно избил его. Ну, может быть, трижды. Прошу! Я не могу объяснить все сразу, но в конце концов ты поймешь. Не все так счастливы, как мы. Он бедный, потерянный, неловкий мальчик. Мы все обречены, но некоторые обречены больше других. Он для меня ничто. Я никогда его больше не увижу. Он ничего не значит, клянусь. Он обожает меня до умопомрачения».

«Сдается мне, — сказал Ван, — что мы взялись не за того любовника. Я говорил о герре Раке, у которого такие восхитительные десны и который тоже обожает тебя до помрачения ума».

Он повернулся, как говорится, на каблуках, и зашагал к дому.

Он мог поклясться, что не оглядывался и не мог — по какой-либо оптической случайности или посредством какой-нибудь призмы — физически видеть ее, уходя, и все же он всегда с болезненной отчетливостью помнил комбинированный снимок с наложившимися изображениями Ады, стоящей там, где он ее оставил. Картина, проникшая в него через затылочный глаз, через стекловидное тело его спинномозгового канала, картина, которой ему никогда не изжить, никогда, состояла из череды тех ее случайных образов и гримас, которые в разные моменты прошлого пронзили его мукой непереносимого раскаяния. Размолвки между ними происходили крайне редко и очень быстро заканчивались, но их было довольно, чтобы составить долговечную мозаику. Был случай, когда она стояла, прижавшись спиной к стволу дерева, ожидая решения своей участи предателя; случай, когда он отказался показать ей дурацкие чузские снимки девиц в плоскодонных речных лодках и в гневе разорвал их, а она, подняв брови и прищурившись, глядела в сторону на невидимый пейзаж в окне. Или тот случай, когда она колебалась, помаргивая, ее губы робко образовали беззвучный термин — боялась его насмешки над диковинной чопорностью ее речи, после того, как он резко бросил ей вызов подобрать рифму к слову «гребля», и она не была вполне уверена, имеет ли он в виду известное похабное словцо, и если имеет, то как в точности оно произносится. И был, пожалуй, худший из всех, тот случай, когда она стояла, вертя в руках букет полевых цветов, с нежной полуулыбкой, совершенно независимо задержавшейся в ее глазах, поджав губы, едва заметно неопределенно качая головой, как если бы отмечала к себе самой обращенными кивками тайные решения и молчаливые оговорки в каком-то соглашении, заключенном с собой, с ним, с неизвестными третьими сторонами, именуемыми в дальнейшем Безутешный, Бесполезный, Повинный, — пока он все не мог натешиться своей жестокой отповедью, вызванной ее предложением — вполне невинным и беспечным (так она могла предложить подойти к краю болота и посмотреть, отцвела ли уже какая-нибудь орхидея) — посетить могилу Кролика на церковном кладбище, мимо которого они проходили, и он вдруг принялся кричать («Ты же знаешь, я не выношу погостов, я презираю, я осуждаю смерть и ее бурлескных мертвецов, я отказываюсь глазеть на камень, под которым тлеет пожилой пухлячок-полячок — пусть кормит своих личинок с миром, меня не волнует энтомология

смерти, я не выношу, я презираю…»); он продолжал витийствовать в том же духе еще минуты две, после чего буквально упал к ее ногам, целуя их, умоляя о прощении, и еще какое-то время она продолжала задумчиво смотреть на него.

Из таких фрагментов состояла эта мозаика, были и другие, менее крупные, но, сложившись, безобидные части образовывали убийственное целое, и девочка в желтых штанах и черном жакете, стоявшая, заложив руки за спину, слегка поводя плечами, то прислоняясь к стволу, то отделяясь от него и встряхивая волосами — отчетливая картина, которой, как он знал, он никогда не видел в действительности, — оставалась в его душе более реальной, чем любое подлинное воспоминание.

Окруженная слугами, Марина, в кимоно и папильотках, стояла у крыльца и задавала вопросы, на которые, казалось, никто не отвечал.

Ван сказал:

«Я не сбегаю с твоей горничной, Марина. Это оптическая иллюзия. Причины, по которым она от тебя уходит, не имеют ко мне отношения. Есть одно дельце, которое я по глупости долго откладывал, но теперь должен уладить до отъезда в Париж».

«Ада заставляет меня сильно волноваться, — сказала Марина, удрученно нахмурившись и по-русски тряся щеками. — Пожалуйста, возвращайся поскорей. Ты так хорошо на нее влияешь. Au revoir. Я всеми очень недовольна».

Придерживая край своего халата, она взошла по ступеням крыльца. У ее серебристого укрощенного дракона на спине был язык муравьеда, по словам ее старшей дочери, ученой. Что бедная мать знала о П. и Р.? Да почти ничего.

Ван пожал руку огорченному старику-дворецкому, поблагодарил Бута за трость с серебряным набалдашником и пару перчаток, кивнул остальным слугам и пошел к запряженному парой лошадей экипажу. Стоявшая перед коляской Бланш, в длинной серой юбке и соломенной шляпке, с дешевым, выкрашенным под красное дерево чемоданом, крест-накрест перетянутым для надежности шпагатом, выглядела в точности как уезжающая в школу молодая учительница из фильма о Диком Западе. Она сказала, что сядет на козлы рядом с русским кучером, но Ван посадил ее в calèche.

Проезжали вдоль волнистых пшеничных нив, испещренных конфетти маков и васильков. Всю дорогу она говорила о молодой барыне и двух ее последних любовниках — низким мелодичным голосом, будто в трансе, будто вступив en rapport с духом мертвого менестреля. Не далее как на днях, за теми густыми елями, смотрите, там, справа от вас (но он не посмотрел — молча покачивался, положив обе руки на набалдашник трости), она и ее сестра Маделон, попивая винцо, наблюдали, как Monsieur le Comte ублажался молодой леди на мураве, наваливался на нее, урча, как медведь, — как он наваливался — много, много раз! — на мою Маделон, которая сказала, что ей, Бланш, следует предупредить Вана (ведь она немного ревнивая), а еще сказала (ведь сердце у нее

доброе), что лучше обождать с этим, до того дня, как «Мальбрук» s'en va t'en guerre, иначе они станут драться — он все утро палил из пистолета в пугало, и вот почему она так долго ждала, а руководила ею Маделон. Она все продолжала так бормотать, пока они не достигли Турбьера: два ряда сельских домов и черная церквушка с витражами. Ван помог ей сойти. Младшая из трех сестер, очаровательная девочка с каштановыми кудрями, порочными глазами и прыгающими грудками (где-то он ее видел? — недавно, но где?), унесла чемодан и птичью клетку Бланш в бедную хижину, увитую до самой крыши розами, но в остальном невыразимо мрачную. Он поцеловал смущенную ручку Сандрильоны и снова занял свое место в коляске, прочистив горло и поддернув штаны перед тем, как скрестить ноги. Чванный Ван Вин.

«Экспресс не останавливается в Торфянке, не так ли, Трофим?»

«Проедем еще пять верст через болото, — ответил кучер, — ближайшая станция — Волосянка».

Его вульгарное русское название для Мейденхэир; полустанок; поезд, должно быть, переполнен.

Мейденхэир. Болван! Старину Перси могли бы уже похоронить! Мейденхэир. Названный так по огромному китайскому дереву, раскинувшему ветви в конце платформы. Спутали, что ли, с названием папоротника венерин волос? В романе Толстого она дошла до края платформы. Первое применение внутреннего монолога, позднее использованного французом и ирландцем. N'est vert, n'est vert, n'est vert. L'arbre aux quarante écus d'or, по крайней мере, осенью. Никогда, никогда не услышать мне больше, как понижается ее «ботанический» голос на слове biloba, «прости, моя латынь вся на виду». Гинкго, гингко, никог, инког. Известное, кроме того, как адиантифолия Солзбери, Адино ин-фолио, бедная салисбурия: название кануло; бедный Поток Сознания, ныне marée noire. К чорту Ардис-Холл!

«Баринъ, а баринъ», сказал Трофим, обратив русобородое лицо к своему пассажиру.

«Да?»

«Даже сквозь кожаный фартукъ не сталъ-бы я трогать эту французскую дѣвку».

Ужасъ, отчаяніе. Жалость. Кончено, загажено, растерзано.

42

Аква говорила, что только очень жестокие или очень глупые люди, да еще невинные дети могут быть счастливы на Демонии, нашей прекрасной планете. Ван чувствовал, что для того, чтобы уцелеть на этой страшной Антитерре, в многоцветном и недобром мире, в котором ему выпало жить, ему придется уничтожить или хотя бы искалечить двух мужчин. Найти их следовало как можно скорее, промедление само по себе могло ослабить его способность к выживанию. Упоение от их истребления не исцелит его сердце, но, несомненно, прочистит мозги.

Эти двое находились в двух разных местах, не имевших сколько-нибудь определенных координат — ни точного номера дома на такой-то улице, ни имени квартирмейстера. Он надеялся покарать их достойным образом, если, конечно, судьба подсобит. Он не ожидал, что судьба сначала с комично преувеличенным рвением примется направлять его шаги, а потом вмешается в его дело с усердием неуемного агента.

Перво-наперво он решил отправиться в Калугано, дабы расквитаться с герром Раком. Пораженный необыкновенным горем, он уснул в углу купе, полного чужих ног и голосов, в потрясающем экспрессе, мчавшем на север со скоростью ста миль в час. Он проспал до полудня и сошел в Ладоге, где после бесконечно долгого ожидания сел в другой, еще более тряский и переполненный поезд. Протискиваясь по его шатким коридорам, вполголоса кляня торчащих у окон пассажиров, чьи отставленные зады не давали ему пройти, тщетно высматривая подходящий уголок в одном из вагонов первого класса, состоявших из четырехместных отделений, он увидел Кордулу и ее мать, сидевших у окна, напротив друг друга. Два оставшихся места занимали тучный пожилой господин в старомодном темном парике с прямым пробором и мальчик в очках и матроске, сидевший рядом с Кордулой, которая протягивала ему половину своей плитки шоколада. Подвигнутый осенившей его блестящей мыслью, Ван вошел к ним, но мать Кордулы сразу его не узнала, и в суете повторного знакомства, во время которого поезд сильно накренился, он наступил на прюнелевый ботинок пожилого пассажира, который громко вскрикнул и невнятно, но не грубо сказал: «Пожалейте (или «уважьте», «поберегите») мою подагру, молодой человек!»

«Не люблю, когда меня называют молодым человеком», сказал Ван больному старику совершенно неуместным резким тоном.

«Он сделал тебе больно, дедушка?» — спросил мальчик.

«Да, — сказал дедушка, — но я никого не хотел обидеть, вскрикнув от боли».

«Даже страдая, следует быть учтивым», продолжал Ван (в то время как другой, лучший Ван, ошеломленный и пристыженный, дергал его за рукав).

«Кордула, — сказала старая актриса с той же находчивостью, с какой однажды подняла с пола и погладила кошку пожарного, забредшую на сцену посреди ее лучшего монолога в “Прочных пигментах”, — почему бы тебе не пойти с этим сердитым молодым демоном в чайный салон? А я, пожалуй, немного вздремну».

«Что-то не так?» — спросила Кордула, когда они заняли столик в очень просторном и вычурном «кекс-салоне», как в восьмидесятые и девяностые годы его называли калуганские студенты-шалопаи.

«Все не так, — ответил Ван. — А почему ты спрашиваешь?»

«Во-первых, мы немного знакомы с доктором Платоновым, и могу сказать, что у тебя не было никаких оснований так отвратительно грубить милейшему старику».

«Мне очень жаль, — ответил Ван. — Давай спросим традиционного чаю».

«Другая странность, — сказала Кордула, — это что ты вообще заметил меня. Два месяца назад ты от меня просто отмахнулся».

«Ты изменилась. Стала очаровательной и томной. А вот сейчас даже еще прелестней. Кордула больше не девственница! Скажи-ка, нет ли у тебя, случайно, адреса Перси де Пре? Конечно, мы все знаем, что он сейчас вторгается в Татарию, но вот если нужно послать ему письмо, то куда? Мне совсем не хочется обращаться к твоей любопытной тетке, чтобы кое-что ему передать».

«Думаю, у Фрейзеров есть, я узнаю. Но куда направляется Ван? Где я могу найти Вана?»

«В его доме: Парк-лейн, пять. Буду там через день-другой. А сейчас я еду в Калугано».

«Та еще дыра. Девушка?»

«Мужчина. Ты знаешь Калугано? Дантист? Лучший отель? Концертный зал? Учитель музыки моей кузины?»

Она отрицательно тряхнула короткими кудрями. Нет, она редко приезжала туда. Дважды на концерт, в сосновом лесу. Она не знала, что Ада берет уроки музыки. Как она поживает?

«Люсетта, — сказал Ван, — Люсетта берет или брала уроки фортепиано. Хорошо. Забудем о Калугано. Эти пышки — очень бедные родственницы чузских. Ты права, j’ai des ennuis. Но с тобой я могу о них забыть. Расскажи мне что-нибудь, чтобы увлечь меня другой темой, хотя ты и так меня увлекаешь, un petit topinambour, как сказал тевтонец в одном рассказе. Расскажи о своих сердечных делах».

Она не была юной умницей. Но она была словоохотливой и весьма привлекательной юной особой. Он начал было ласкать ее под столом, но Кордула мягко отвела его руку, шепнув: «проклятые регулы» — так же необычно, как называла это другая девочка, в каком-то другом сне. Он громко откашлялся и заказал полбутылки коньяку, потребовав, чтобы официант откупорил ее у него на глазах, как советовал Демон. Она говорила без умолку, и он потерял нить ее рассказа, или, скорее, она вплелась в быстрый ландшафт, за которым его взгляд следил поверх ее плеча — пролетевшее ущелье дорофонного разговора Джека с женой, или одинокое дерево на клеверном поле, олицетворяющее брошенного Джона, или романтический ручей, спадающий с обрыва и отражающий короткую яркую связь Кордулы с маркизом Квиз Квисана.

Сосновый лес выдохся, отстал, и его сменили фабричные трубы. Состав

проскрежетал мимо депо и с хриплым стоном начал тормозить. От убогого здания станции пала тень.

«Господи! — воскликнул Ван. — Моя остановка!»

Ван бросил деньги на стол, поцеловал с готовностью подставленные губки Кордулы и направился к выходу. В тамбуре он обернулся, помахал ей перчаткой, которую держал в руке, и врезался в человека, нагнувшегося к своему чемодану: «On n'est pas goujat à ce point», заметил тот, дородный военный с рыжеватыми усами и погонами штабс-капитана.

Ван протиснулся мимо него, и когда оба сошли на платформу, наотмашь хлестнул его перчаткой по лицу.

Капитан подобрал свою фуражку и бросился на бледного черноволосого молодого щеголя. В тот же миг кто-то обхватил Вана сзади в благонамеренной, но нечестной попытке его обуздать. Не оборачиваясь, Ван устранил незримого приставалу одним легким «ударом поршня», нанесенным левым локтем, одновременно правой рукой дав капитану затрещину, от которой тот, шатаясь, отступил к своему багажу. В это время их уже окружило несколько ценителей бесплатных уличных представлений, и потому Ван, прорвав их кольцо, взял своего противника под руку и провел его в станционный зал. Следом вошел комично удрученный носильщик с расквашенным носом и тремя чемоданами капитана, один из которых он нес под мышкой. Самый новенький пестрел цветными кубистскими ярлыками заманчиво далеких и легендарных мест. Обменялись визитными карточками. «Сын Демона?» — проворчал капитан Таппер, «Вилла Виола», Калугано. «Правильно, — сказал Ван. — Полагаю, я остановлюсь в “Мажестике”; если нет, оставлю там записку для вашего секунданта или секундантов. Вам придется подыскать одного и для меня, не стану же я обращаться за этим к консьержу».

Говоря так, Ван выбрал из полной пригоршни золотых двадцатидолларовую монету и с ухмылкой вручил ее поврежденному старику-носильщику: «По желтой затычке на каждую ноздрю, — добавил Ван. — Прости, дружок».

Засунув руки в карманы, он пошел к гостинице напрямик, через площадь, заставив проезжавший автомобиль с криком шарахнуться от него на мокром асфальте. Он оставил его стоять боком к тому курсу, которому он следовал, и налег на вращающуюся дверь отеля, чувствуя себя если не счастливее, то, по крайней мере, бодрее, чем все последние двенадцать часов.

Огромное старое здание «Мажестика», закопченное снаружи, кожаное внутри, поглотило его. Он спросил комнату с ванной, услышал в ответ, что все номера задержаны съездом подрядчиков, в лучшей манере необоримого Вина подкупил портье и получил сносные трехкомнатные апартаменты с обшитой панелями из красного дерева ванной, старинным креслом-качалкой, механическим пианино и пурпурным балдахином над широкой кроватью. Вымыв руки, он сразу спустился вниз, чтобы выяснить местонахождение Рака. В телефонной книге семья Раков не значилась; вероятно, они снимают квартиру в пригороде; консьерж

взглянул на часы и позвонил в нечто вроде адресного стола или отдел по розыску пропавших. Эта контора была закрыта до завтрашнего утра. Подумав, он посоветовал Вану справиться в магазине музыкальных инструментов на Главной улице.

Направляясь туда, Ван купил свою вторую трость: ардисовскую, с серебряным набалдашником, он забыл в кафе на станции Волосянка. Новая была изделием грубым, крепким, с удобной ручкой и альпенштоковым наконечником, каким одно удовольствие выкалывать водянистые глаза навыкате. В соседнем магазине он купил чемодан, а в следующем — рубашки, трусики, носки, штаны, пижаму, носовые платки, халат, свитер и пару мягких сафьяновых ночных туфель, зародышами свернутых в кожаном футляре. Покупки были уложены в чемодан и немедленно оправлены в гостиницу. Ван уже входил в музыкальный магазин, когда его пробрало от мысли, что он забыл оставить в «Мажестике» предназначенную секундантам Таппера записку, и он повернул обратно.

Ван нашел их чинно сидящими в холле и сразу попросил поскорее покончить с формальностями: у него есть дела поважнее («Не грубить секундантам», прозвучал у него в голове голос Демона). Арвин Бёрдфут, лейтенант гвардии, был дряблым блондином с влажными розовыми губами и мундштуком длиною в фут. Джонни Рафин, эск., невысокий, темноволосый и франтоватый, щеголял голубыми замшевыми туфлями, надетыми к ужасному коричневому костюму. Бёрдфут вскоре исчез, оставив Вана утрясать детали с Джонни, который хотя и преданно стремился угодить своему новому знакомому, не мог скрыть, что его сердце принадлежит противнику Вана.

Капитан — первостатейный стрелок, сказал Джонни, член загородного клуба «До-Ре-Ла». Несмотря на то что он истинный британец и все такое, кровожадная жестокость не свойственна его натуре, однако его армейское и академическое положение требуют, чтобы он защищал свою честь. Капитан — признанный эксперт по картографии, скакунам и садоводству. Богатый землевладелец. Даже легкого намека на извинения со стороны барона Вина довольно, чтобы ознаменовать примирение великодушным прощением.

«Если первостатейный капитан, — сказал Ван, — ждет от меня этого, то пусть возьмет свой пистолет и ознаменует им свою великодушную задницу».

«Нехорошо так говорить, — сказал Джонни, поморщившись. — Боюсь, моему другу эти слова не понравятся. Не стоит забывать, что он человек весьма рафинированный».

Джонни чей секундант, Вана или капитана?

«Я ваш», сказал Джонни томно.

Не знает ли он или рафинированный капитан пианиста немецкого происхождения Филиппа Рака, женат, трое детей (предположительно)?

«Боюсь, — сказал Джонни с ноткой презрения, — я знаю в Калугано

очень мало людей, у которых есть дети».

А как пройти, чтобы недалеко, в хороший бордель?

С возрастающим презрением Джонни ответил, что он закоренелый холостяк.

«Ну что же, отлично, — сказал Ван. — Мне снова пора идти, пока еще открыты магазины. Должен ли я приобрести пару дуэльных пистолетов или капитан одолжит мне армейский “брюгер”?»

«Оружие мы предоставим», сказал Джонни.

Когда Ван подошел к музыкальному магазину, тот уже был закрыт. С минуту он созерцал арфы, гитары и цветы в серебряных вазах на консолях, исчезающих в сумерках зеркал, и вспомнил школьницу, о которой так страстно мечтал шесть лет тому назад, — Роуз? Роза? Так ее звали? Был бы он счастливее с ней, чем со своей бледной роковой сестрой?

Он прогулялся по Главной улице — одной из миллиона Главных улиц, — а потом, ощутив прилив здорового голода, вошел в достаточно привлекательный ресторан. Он заказал бифштекс с жареным картофелем, яблочный пирог и кларет. В дальнем конце зала, на одном из высоких красных табуретов, у ярко освещенного бара стройная блудница в черном — облегающий лиф, широкая юбка, длинные черные перчатки, черная бархатная шляпа с широкими полями — тянула через соломинку золотистый напиток. В зеркале за барной стойкой, среди цветных бликов, отразился на миг смутный очерк ее рыжевато-русой красы, и Ван подумал, что стоит попробовать ее погодя, но когда он снова взглянул в ту сторону, ее уже не было.

Он ел, пил, строил козни.

Он ждал предстоящей стычки с острым воодушевлением. Ничего более живительного нельзя было и желать. Обрушить свой гнев на этого случайного шута — какое удачное стечение обстоятельств! Тем более что Рак, конечно, предпочтет поединку простые побои. То, как он складывал и перекладывал события и случайности, связанные с этой дуэлькой, напоминало те благотворные и умиротворяющие занятия, к которым разные человеколюбивые учреждения, просвещенные администраторы и находчивые психиатры приобщают больных полиомиелитом, сумасшедших и заключенных, вроде переплетного дела или шпигования голубыми бусинами пустых глазниц кукол, сделанных другими преступниками, калеками и безумцами.

Сперва он тешил себя мыслью, что убьет противника наповал: в количественном отношении это принесло бы ему наибольшее удовлетворение, но в качественном предполагало всякие осложнения морально-юридического порядка. Простое ранение казалось неуместным паллиативом. Он решил выкинуть что-нибудь артистичное и затейливое, к примеру, выбить пулей пистолет из руки супостата или разделить посередке пробором густую копну его волос.

Возвращаясь в мрачный «Мажестик», он накупил всяких мелочей: три круглых куска мыла в продолговатой коробке, крем для бритья в прохладном эластичном тюбике, десять лезвий для безопасной бритвы, большую губку и резиновую губку поменьше, лосьон для волос, расческу, бальзам Скиннера, зубную щетку в пластиковом футлярчике, зубную пасту, ножницы, перьевую ручку, карманный дневник — что еще? — да, портативный будильник, чье успокоительное присутствие, впрочем, не помешало ему сказать консьержу, чтобы он разбудил его в пять часов утра.

Этот необыкновенно длинный день в конце лета подходил к концу, но было всего девять часов вечера, и Ван не удивился бы, если бы ему сказали, что сейчас полночь и октябрь. В голове не укладывалось, что этим утром, на заре, в садовой кладовой Ардиса, он внимал призрачному персонажу из какого-то романа Дормилоны для горничных, дрожащему и полуголому. Он спрашивал себя, все ли еще стоит на том месте та, другая девушка, прямая как стрела, ненаглядная и ненавистная, бездушная и душераздирающая, прижавшись спиной к стволу шелестящего дерева? Он думал и о том, не следует ли ему, принимая во внимание завтрашнюю partie de plaisir, составить для нее «когда-ты-получишь-эту» записку, шутливо-дерзкую, леденяще-жестокую, острую, как сосулька? Нет. Лучше написать Демону.

Дорогой папа,

вследствие пустяковой ссоры с капитаном Таппером, хозяином «Виллы Виола», на которого я случайно наступил в коридоре поезда, сегодня утром я стрелялся на дуэли в лесу под Калугано и был убит. Хотя обстоятельства моей кончины могут счесть формой несложного самоубийства, ни эта стычка, ни сам невозможный капитан никак не связаны со Страданиями Юного Вина. В 1884 году, в первое свое лето в Ардисе, я соблазнил твою дочь, которой тогда было двенадцать лет. Наш пылкий роман продолжался до моего возвращения в Ривердейн и возобновился этим летом, в июне, четыре года спустя. Это счастье было величайшим событием моей жизни, и я ни о чем не жалею. Однако вчера я узнал, что она мне неверна, и мы расстались. Этот Таппер, кажется, тот самый малый, которого вышвырнули из одного твоего игорного клуба за попытку орального сношения с туалетным уборщиком, беззубым старым инвалидом, ветераном первой Крымской войны. Пожалуйста, побольше цветов!

Твой любящий сын

Ван

Он медленно перечитал письмо и медленно разорвал его на части. Записка, которую он в конце концов положил в карман своего пиджака, была намного короче.

Папа,

у меня вышла банальная ссора с незнакомцем, которого я ударил по лицу и который убил меня на дуэли вблизи Калугано. Прости!

Ван

Вана разбудил ночной портье. Он поставил чашку кофе с местной яичной плюшкой на столик у его кровати и ловко сцапал ожидаемый червонецъ. Наружностью он несколько походил на Бутейана, каким тот был лет десять тому назад и каким явился в только что виденном сне, который Вану удалось воссоздать в ретроспективном озарении лишь отчасти: бывший камердинер Демона объяснял Вану, что «дор» в названии дорогой его сердцу реки — это то же искаженное «гидро», что и в слове «дорофон». Ван часто видел словесные сны.

Он побрился, бросив два испачканных кровью безопасных лезвия в массивную бронзовую пепельницу, опорожнил кишечник структурно идеальным стулом, быстро принял ванну, быстро оделся, оставил свой чемодан у консьержа, заплатил по счету и ровно в шесть втиснулся в дешевый полугоночный «Парадокс» синещекого и дурнопахнущего Джонни, с которым пришлось сидеть плечо к плечу. Версты три дорога шла вкруг унылого озерного берега — угольные кучи, лачуги, лодочные сараи, длинная галечная отмель, черная от ила, а вдалеке, за изогнутой линией по-осеннему мглистой водной глади — огромные фабрики, окутанные бурым чадом.

«Где это мы, Джонни, приятель?» — спросил Ван, когда они отклонились от озерной орбиты и припустили по широкой загородной улице, с дощатыми домами среди сосен, соединенных бельевыми веревками.

«Дорофеева дорога, — перекрикивая мотор, ответил водитель. — Она ведет в лес».

Она привела. Ван почувствовал слабый укол в колене, которое расшиб о камень, когда на него напали сзади, неделю назад, в другом лесу. Ступив на покров из сосновых иголок, которыми была усеяна лесная дорога, он увидел пролетевшую мимо прозрачно-белесую бабочку и с кристальной ясностью понял, что жить ему осталось всего несколько минут.

Ван обернулся к своему секунданту и сказал так:

«Письмо в этом красивом конверте отеля “Мажестик”, на котором уже имеется почтовая марка, адресовано, как видите, моему отцу. Я перекладываю его в задний карман брюк. Пожалуйста, отправьте его немедленно, если капитан, который как раз подъехал в похоронного вида лимузине, ненароком меня прикончит».

Нашли подходящую прогалину. Противники, держа пистолеты в руках, стали лицом к лицу на расстоянии около тридцати шагов,

приготовившись к тому виду «поединка чести», который описан большинством русских романистов и практически всеми русскими писателями знатного происхождения. Когда Арвин хлопком ладоней без лишних церемоний подал сигнал, позволяющий противникам стрелять по своему усмотрению, Ван заметил справа от себя подвижные тени, двух маленьких зрителей: толстую девочку и мальчишку в матроске и очках, державших между собой корзину грибов. То не был сластена из купе Кордулы, но разительно похожий на него мальчик, и едва Ван отметил это обстоятельство, как ощутил удар пули, оторвавшей, так ему показалось, всю левую половину его торса. Он пошатнулся, но устоял на ногах и с большим достоинством разрядил свой пистолет в пронизанный ранними солнечными лучами воздух.

Сердце билось ровно, слюна была чистой, легкие, похоже, не задеты, но где-то пониже левой подмышки полыхало пламя боли. Кровь сочилась сквозь одежду и стекала по штанине. Он сел на землю, медленно, осторожно, и оперся на правую руку. Он боялся потерять сознание, но, возможно, все же на минуту забылся, поскольку в следующий миг Джонни уже держал в руках его письмо, собираясь спрятать его в свой карман.

«Порви его, болван», сказал Ван с непроизвольным стоном.

Подошел капитан и несколько дрожащим голосом осведомился: «Держу пари, вы не в состоянии продолжать, не так ли?»

«Держу пари, вы только и ждете…», начал Ван, который хотел сказать «только и ждете от меня новой пощечины», но рассмеялся на слове «ждете», и мышцы веселья дрогнули с такой нестерпимой болью, что он умолк на полуслове, склонив росистое от пота чело.

Тем временем Арвин превращал лимузин в карету скорой помощи. Обивку обложили расчлененными газетами, к которым суетливый капитан прибавил пустой картофельный мешок или нечто в этом роде, гнившее у него в багажнике, после чего, вновь покопавшись в нем и проворчав об «убийственном беспорядке» (как нельзя более уместный оборот), решил пожертвовать допотопным грязным макинтошем, на котором когда-то издох его незабвенный дряхлый пойнтер по дороге в ветеринарную клинику.

С минуту Вана не покидала уверенность, что он все еще лежит в автомобиле, в то время как он находился в общей палате «Приозерного» госпиталя («Приозерный»!), между двух рядов по-разному забинтованных, бредящих, храпящих и стенающих мужчин. Осознав это, Ван первым делом возмущенно потребовал, чтобы его поместили в самую лучшую отдельную палату и доставили из «Мажестика» его чемодан и альпеншток. Вторым делом он потребовал, чтобы ему сказали, насколько серьезна его рана и как долго он будет прикован к постели. Третье его действие было связано с возобновлением поисков, составлявших единственную цель его визита в Калугано (визита в Калугано!). Новое обиталище Вана, в котором останавливались (проездом) страдающие разбитым сердцем короли, оказалось точной копией его гостиничных апартаментов, только в белом цвете: белая мебель, белый ковер, белый полог над постелью. Вставкой, так сказать, была Татьяна, неотразимая и гордая молодая сиделка с черными волосами и фарфоровой кожей.

(Кое-какие ее позы и жесты и та гармония между шеей и глазами, которая составляет особую, еще не раскрытую тайну женской грации, странным и болезненным образом напоминали ему Аду, и он искал спасения от этого наваждения в мощном отзыве своего естества на прелести этой Татьяны, тоже ангела-мучителя в своем роде. Вынужденная неподвижность не позволяла ему играть с ней в кошки-мышки мультипликационных погонь и засад. Он умолял ее помассировать ему ноги, но Татьяна, испытующе взглянув на него своими серьезными темными глазами, поручила эту задачу Дорофею, здоровенному санитару, который мог вынести Вана из постели, как больного ребенка, обхватившего руками могучую выю. Когда Ван однажды изловчился похлопать ее по упругим ягодицам, она заверила его, что пожалуется, если он хотя бы еще раз повторит свою попытку «приударить» — как она, сама того не сознавая, весьма подходяще назвала его действия. Демонстрация его состояния с кротким прошением об исцеляющей ласке вызвала у нее лишь сухое замечание о том, что почтенные господа надолго попадают в тюрьму за такого рода вещи в публичных парках. Много позже, однако, она написала ему очаровательное и печальное письмо красными чернилами на розовой бумаге, но к тому времени вмешались другие чувства и обстоятельства, и ему не было суждено увидеть ее вновь.) Чемодан доставили из гостиницы без проволочек, но палку не нашли (теперь она, должно быть, поднимается на гору Веллингтона или, кто знает, сопутствует какой-нибудь леди в «ожинных» прогулках в Орегоне), и посему госпиталь снабдил его Третьей Тростью, довольно привлекательным, сучковатым, темно-вишневым предметом с деревянной ручкой крючком и твердой пятой из черной резины. Доктор Фицбишоп поздравил его с тем, что он отделался поверхностной мышечной раной, пуля слегка рассекла или, если он может так выразиться, оцарапала серратус, переднюю зубчатую мышцу. Док Фиц отметил впечатляющую способность организма своего пациента к быстрому заживлению и восстановлению сил и пообещал полностью избавить Вана от бинтов и дезинфекций дней через десять или даже раньше, при условии, что первые три дня он пролежит неподвижно, как бревно. Любит ли Ван музыку? Спортсмены обычно любят, разве нет? Если он пожелает, у его кровати поставят «Сонородолу». Нет, Ван терпеть не может музыку, но не знает ли доктор, будучи завсегдатаем концертных залов, где найти одного местного музыканта по фамилии Рак? «Отделение номер пять», быстро ответил доктор. Ван решил, что это название какого-то музыкального опуса, и повторил свой вопрос: что если справиться в музыкальном магазине Харпера? Собственно, сказал доктор, Раки снимали дом в конце Дорофеевой дороги, рядом с лесом, но туда уже въехали другие жильцы. В пятом отделении лежат безнадежные больные. В придачу к тому, что у бедняги всегда была нездоровая печень и очень слабое сердце, в его организме нашли яд; здешняя лаборатория так и не смогла установить, какой именно, и теперь мы ждем заключения от специалистов из Луги, изучивших его диковинные лягушачьи фекалии. Если Рак сам себя отравил, то он молчит об этом, как рыба; но вернее всего, это дело рук его женушки, которая баловалась индо-андским вудуизмом и у которой только что в родильном отделении случился выкидыш, трудный случай. Да, тройня, как он догадался? Что ж, если Вану так не терпится проведать своего старого сотоварища, Дорофей доставит его к нему в инвалидном кресле, как только Ван будет в состоянии совершить эту поездку. Так что Вану стоит применить немного вуду, ха-ха, к собственной ране.

Этот день наступил довольно скоро. Сначала катили долгими коридорами, мимо шустрых хорошеньких сестер, стряхивавших градусники, затем поднялись и спустились на двух разных лифтах, во втором, очень просторном, к стенке была прислонена черная гробовая крышка с металлическими рукоятками, а пахнущий карболкой пол усеивали обломанные веточки остролиста или лавра; наконец, Дорофей, как онегинский кучер, сказал «Приехали» и плавно прокатил Вана мимо двух отгороженных ширмами коек к третьей, у окна. Там он оставил Вана, а сам уселся за столик в углу перед дверью и неторопливо развернул русскую газету «Голосъ» («Логос»).

«Я Ван Вин, сообщаю это на тот случай, если вы уже недостаточно ясно мыслите, чтобы узнать человека, которого видели лишь дважды. В больничной карточке указано, что вам тридцать лет. Я полагал, что вам меньше, но все равно, в этом возрасте человеку еще слишком рано умирать, кем бы этот человек ни был, твою мать, недоразвитым гением или законченным негодяем, или тем и другим сразу. Как вы можете догадаться по скупой, но многозначительной обстановке этой тихой комнаты, вы, господин Рак, на одном жаргоне — безнадежный случай, а на другом — крысиная падаль. Никакой кислородный аппарат не поможет вам избежать “агонии агонии” — удачный плеоназм профессора Ламорта. Телесные страдания, которые вы перенесете или уже переносите, могут быть непомерными и чудовищными, но они ничто в сравнении с теми муками, которые ожидают вас во вполне возможном мире ином. Человеческий разум, монистичный по своей природе, не в состоянии принять два небытия; ему известно, что было одно ничто, его биологическое небытие в бесконечном прошлом, поскольку в его памяти нет ни малейшего следа, указывающего на обратное, и что это небытие, будучи как бы истекшим, не так уж и трудно вынести. Но второе небытие, которое, возможно, столь же легко переносимо, логически неприемлемо. Говоря о пространстве, мы можем представить живую частичку в безграничном единстве вселенной; но по отношению к нашей короткой жизни во времени такой аналогии предложить нельзя, ибо, сколь бы ни была она короткой (а тридцатилетний отрезок краток до неприличия!), наше осознание собственного бытия — это не точка в вечности, но щель, трещина, расселина, проходящая по всей ширине метафизического времени, делящая его на две половины и сияющая — неважно насколько узкой полоской — между задней и передней панелями. Вот почему, господин Рак, мы можем говорить о прошлом и, менее определенно, хотя и в том же привычном значении, о будущем, но попросту неспособны представить второе небытие, вторую пустоту, второй пробел. Забвение — это спектакль, идущий лишь один раз; мы на нем уже были; повтора не будет. Следовательно, мы должны предполагать возможность некой длящейся формы разобщенного сознания, что приводит меня, господин Рак, к моей главной мысли. Вечный Рак, бесконечная “раковость”, может быть чем-то незначительным, но одно несомненно: единственное сознание, которое сохраняется в мире ином, — это сознание боли. Маленький Рак, рачок сегодня, — это бесконечно растущая раковая опухоль дня завтрашнего — ich bin ein unverbesserlicher Witzbold. Мы можем вообразить — полагаю, мы должны вообразить — крошечные скопления частиц, все еще сохраняющих в своей совокупности личность Рака, стекающихся, вроде намагниченной металлической пыли, здесь и там в нездешнем и тамошнем мире, как-то,

где-то сочетающихся друг с другом, образующих то цепочку, составленную из всех случаев испытанной Раком зубной боли, то полный набор виденных Раком кошмаров — совсем как кучки безвестных беженцев из какой-то погубленной страны, которые жмутся друг к дружке, чтобы немного согреться в общем смраде, сбиваются вместе ради неопрятного сострадания или общих воспоминаний о невыразимых пытках в лагерях Татарии. Что за изощренное истязание для старика томиться в конце длинной-предлинной очереди к такому еще далекому нужнику. Так вот, герр Рак, я предлагаю вам представить себе, что продолжающие свое существование клетки вызревающей раковости сложатся вот в такую вереницу мучений, никогда, никогда не достигая вожделенной грязной дыры среди ужаса и страданий бесконечной ночи. Вы, разумеется, можете на это ответить, если читали современные романы и вам по душе жаргончик англоязычных писателей, что настройщик роялей “из низов среднего класса”, который влюбился в легкомысленную девушку из “высшего общества” и тем самым разрушил собственный брак, не совершил преступления, заслуживающего сурового наказания, о котором незваный гость —»

Уже привычным жестом Ван порвал заготовленную речь и сказал:

«Господин Рак, откройте глаза. Я Ван Вин, посетитель».

Мгновение восково-бледное лицо с ввалившимися щеками, вытянутой челюстью, крупным носом и маленьким круглым подбородком оставалось лишенным всякого выражения, но красивые, прозрачно-янтарные, выразительные глаза с трогательно длинными ресницами открылись. Затем по его губам скользнула улыбка, и он, не поднимая головы от накрытой клеенкой подушки (зачем клеенка?), подал руку.

Ван со своего кресла протянул конец трости, которую Рак ухватил слабой рукой и вежливо ощупал, приняв жест Вана за благонамеренное предложение помощи. «Нет, я еще не могу вставать», довольно отчетливо сказал он с немецким акцентом, который, вероятно, составит его самую стойкую группу мертвых клеточек.

Ван убрал бесполезное оружие. Стараясь держать себя в руках, он стукнул им о подножку своего инвалидного кресла. Дорофей поднял глаза над газетой и сразу вернулся к увлекшей его заметке: «Смышленый поросенок (из воспоминаний дрессировщика)» или «Крымская война: татарские партизаны вызволяют китайский взвод». Одновременно из-за дальней ширмы вышла миниатюрная сиделка и снова исчезла.

Станет просить, чтобы я передал записку? Отказать? Согласиться и не передать?

«Они все уже уехали в Голливуд? Пожалуйста, скажите мне, барон фон Виен».

«Я не знаю, — сказал Ван. — Полагаю, что уехали. Я действительно —»

«Потому что я отослал свою последнюю пьесу для флейты и еще письмо, адресованное всем членам семьи, но ответа не последовало. Меня сейчас вырвет. Я сам позвоню».

Миниатюрная сиделка на необыкновенно высоких белых каблуках выдвинула ширму, отделяя Рака от печального, легко раненного, зашитого, чисто выбритого молодого денди; Ван отъехал от загороженной койки и был увезен к себе деловитым Дорофеем.

Вернувшись в свои прохладные и светлые покои, за раскрытым окном которых летал слепой дождь, Ван на зыбких ногах подошел к зеркалу, приветственно себе улыбнулся и без помощи Дорофея лег в постель. Тихо вошла очаровательная Татьяна и спросила, не желает ли он чаю.

«Милая моя, — сказал он, — я желаю тебя. Взгляни только на эту дорическую колонну!»

«Если бы вы знали, — бросила она через плечо, — сколько похотливых пациентов оскорбляли меня — точно таким же образом».

Он написал Кордуле короткое письмо, сообщив, что с ним произошел небольшой несчастный случай, что он находится в апартаментах для поверженных князей в «Приозерном» госпитале, Калугано, и припадет к ее ногам во вторник. Затем он написал Марине, еще короче и по-французски, благодаря ее за чудесное лето. Это второе письмо он решил послать из Манхэттена в «Палас-отель Пизанг», Лос-Анджелес. Третье письмо он адресовал Бернарду Раттнеру, своему лучшему другу в Чузе и племяннику великого Раттнера. «Твой дядя человек самых честных правил, — писал он кроме прочего, — но скоро я разгромлю его в пух и прах».

В понедельник, около полудня, ему разрешили понежиться в шезлонге на лужайке, которую он уже несколько дней жадно озирал из своего окна. Потирая руки, доктор Фицбишоп сказал, что по заключению Лужской лаборатории мы имели дело с не всегда смертельными «аретусоидами», но теперь толку от этого мало, потому что несчастный учитель музыки и композитор не протянет на Демонии и дня, и как раз успеет на Терру, ха-ха, к тамошней вечерне. Док Фиц был пошлякъ, как таких людей называют русские, и в каком-то неясном противодействии Ван испытал облегчение от того, что не смог позлорадствовать над мученичеством жалкого Рака.

Раскидистая сосна укрывала Вана и его книгу своей сенью. Этот одинокий номер «Журнала современной науки» с трудной статьей Рипли «Структура пространства» он позаимствовал с полки, уставленной медицинскими пособиями, потрепанными уголовными романами и сборником рассказов Монпарнас («Rivière de Diamants»). Несколько дней Ван вникал в ее фальшивые формулы и схемы и теперь понял, что не успеет полностью разобрать их до завтра, когда он покинет госпиталь.

Горячий луч солнца добрался до него, и он, сбросив на землю красный том, поднялся из кресла. С возвращением сил образ Ады накатывал все чаще и настойчивей, как ослепительная и горькая волна, которая может накрыть с головой. Повязки и бинты с него сняли; ничего, кроме специального фланелевого жилета, тесно облегавшего торс, не стесняло его, и хотя жилет был из плотной ткани, он больше не защищал Вана от ядовитого острия Ардиса. Поместье Стрелы. Le Château de la Flèche,

Flesh Hall.

Он прогуливался по рассеченной тенями лужайке, томясь от жары в черной пижаме и темно-красном халате. Кирпичная стена отделяла эту часть сада от улицы, а чуть дальше гостеприимно раскрытые ворота впускали к главному входу в длинное здание госпиталя дугой идущую асфальтированную аллею. Ван было повернул назад, к своему шезлонгу, когда в ворота въехал элегантный светло-серый четырехдверный седан и остановился перед ним. Дверца распахнулась до того, как пожилой шофер в мундире и бриджах успел подойти, чтобы подать руку Кордуле, которая уже спешила к Вану, как балерина. Он обнял ее в неистовом приветствии, целуя ее разгоряченное румяное лицо, тиская ее мягкое кошачье тело под черным шелковым платьем: какой дивный сюрприз!

Она примчалась из самого Манхэттена без остановок со скоростью сто километров в час — боялась, что не застанет его, хотя он и написал, что уедет только завтра.

«Идея! — воскликнул он. — Едем вместе обратно, прямо сейчас. Да, в халате!»

«Окэй, — сказала она, — поехали, остановишься в моей квартире, у меня есть сказочная гостевая комната для тебя!»

Она была девчонка что надо, эта малютка Кордула де Пре. В следующий миг он уже сидел рядом с ней в машине, сдававшей назад к воротам. За ними, отчаянно жестикулируя, бежали две медицинские сестры, и шофер спросил по-французски, желает ли графиня, чтобы он остановился.

«Non, non, non!» — крикнул Ван с чувством пьянящего ликования, и они умчались.

Кордула перевела дух и сказала:

«Мне позвонила мать из Малорукино (их поместье в Мальбруке, Майн): в местных газетах сообщают, что ты дрался на дуэли. Ты просто излучаешь здоровье, как я рада! Я знала, что произойдет что-то дурное, потому что крошка Рассел, внук доктора Платонова, помнишь, видел из окна, как ты на платформе избил офицера. Но я хотела начать с другого, нет, пожалуйста, он нас видит (прибавила она по-русски), у меня для тебя очень плохие новости. Молодой Фрейзер, который только что вернулся из Ялты, рассказал, что у него на глазах убили Перси, на второй день после высадки, меньше чем через неделю после их отлета из аэропорта Гудсона. Он сам тебе опишет, как это было, его история с каждым разом обрастает все новыми и новыми ужасными подробностями. Фрейзер, кажется, повел себя не лучшим образом в этой неразберихе, вот почему, я думаю, он задним числом вносит поправки».

(Билль Фрейзер, сын судьи Фрейзера из Веллингтона, наблюдал за гибелью лейтенанта де Пре из благословенной траншеи, заросшей кизилом и мушмулой, и, конечно, ничего не мог сделать, чтобы помочь командиру своего взвода, причем по ряду причин, которые добросовестно перечислены в его рапорте, но приводить которые здесь было бы слишком утомительно и неловко. Перси ранили в бедро во время

стычки с отрядом хазарских партизан в ущелье близ «Chew-foot-Calais», как американские солдаты произносят «Чуфут-Кале», название укрепленной скалы. С тем загадочным облегчением, какое испытывает обреченный человек, он немедленно уверил себя в том, что отделался неопасным ранением в мягкие ткани. Начав ползти или, скорее, извиваться по-пластунски к тенистому укрытию дубовой рощицы и колючих кустарников, где удобно расположился другой раненый боец, он потерял сознание из-за потери крови, как было и с нами. Когда же, несколько минут спустя, Перси — все еще граф Перси де Пре — очнулся, он уже был не один на своем грубом ковре из мелких камней и жесткой травы. Старик-татарин, в синих американских джинсах, неуместных при его бешмете, но отчего-то успокоительно подействовавших на раненого, улыбаясь, сидел рядом с ним на корточках. «Бедный, бедный, — говорил добряк, качая бритой головой и сочувственно цокая языком. — Больно?» Перси ответил на своем довольно примитивном русском, что рана, похоже, не слишком серьезная. «Карашо, карашо, не больно», сказал добрый старик и, подняв оброненный Перси армейский пистолет, с простодушным удовольствием осмотрел его, после чего выстрелил ему в висок.

Вот бы узнать, всегда хочется знать те короткие быстрые серии образов, которые проносятся в голове казнимого и которые хранятся где-то, как-то, в какой-то обширной библиотеке микрофильмированных Последних Мыслей — ограниченных, в данном случае, двумя моментами: восприятием нашим другом этих приятных морщинок псевдокраснокожего, лучащихся на него с безоблачных небес, не слишком отличных от ладорских, и затем ощущением того, как яростно стальное дуло пробивает нежную кожу и лопается кость. Не могут ли они походить на своего рода сюиту для флейты, на серию «движений», музыкальных «movements»? Таких, к примеру: я жив — кто это? — гражданский — сочувствие — жажда — дочка с кувшином — это мой чортов пистолет — о, нет… и так далее, или, скорее, и ничего далее… пока траншейный Билль-Сломанная-Рука, дрожа от страха, молился своему католическому хосподибоже, чтобы татарин поскорее сделал свое дело и убрался. Но, конечно, ценнейшим алмазом в этой россыпи мыслей стал бы — возможно, после кувшинной пери — проблеск, луч, кинжальный удар Ардиса.)

«Как странно, как странно», проговорил Ван, когда Кордула закончила излагать свою намного менее подробную версию отчета, позднее услышанного Ваном от самого Билля Фрейзера.

Какое странное совпадение! То ли смертоносные стрелы Ады поразили свои цели, то ли он, Ван, затеяв дуэль с подставным лицом, каким-то образом сумел разом уничтожить двух ее гнусных любовников.

Странно было и то, что, слушая малютку Кордулу, он оставался безучастным, не испытывая ничего, кроме, возможно, сдержанного удивления. В эту минуту странного Вана, сына странного Демона, юношу прямолинейного в вопросах нежной страсти, гораздо больше увлекала перспектива насладиться Кордулой при первой же человеческой и гуманной возможности, при первом же дьявольском и дорожном попустительстве, чем сокрушаться о судьбе едва знакомого молодчика; и хотя в синих глазах Кордулы раз-другой мелькнула слезинка, он отлично знал, что она редко видалась со своим троюродным братом и,

говоря начистоту, его скорее недолюбливала.

Кордула сказала Эдмонду: «Arrêtez près de как там его, да, “Альбион”, магазин готового платья pour messieurs в Луге», и поскольку раздосадованный Ван начал протестовать, твердо сказала ему: «Ты не можешь вернуться в цивилизованный мир в пижаме. Куплю тебе кое-что из одежды, пока Эдмонд выпьет чашку кофе».

Она купила ему брюки и плащ. Сгорая от нетерпения, он дожидался ее в припаркованном автомобиле, и теперь под предлогом, что ему нужно переодеться в его новые вещи, уговорил свою подружку отъехать на какие-нибудь задворки, пока Эдмонд, где бы он ни был, пьет вторую чашку.

Лишь только они подыскали подходящее место, он усадил Кордулу себе на колени и овладел ею со всеми удобствами и с таким ревом наслаждения, что она почувствовала себя тронутой и польщенной.

«Ах, бесшабашная Кордула, — весело сказала бесшабашная Кордула, — похоже, тебя ждет новый аборт — encore un petit enfantôme, как всякий раз в таких случаях причитала горничная моей бедной тетки. Что-то не так сказала?»

«Все так», ответил Ван, нежно целуя ее, и они двинулись обратно к закусочной.

43

Ван провел оздоровительный месяц в манхэттенской квартире Кордулы на Алексис-авеню. Прилежно, не реже двух раз в неделю, она навещала свою мать в их фамильном замке в Мальбруке, куда ездила одна, без Вана. Не сопровождал он ее и на бесчисленные светские «скитания» в городе, заключавшиеся в беспрестанном перемещении по кафе и знакомым — очаровательная Кордуленька, девица легкого нрава, любящая развлечения, всюду была желанной гостьей; впрочем, некоторые вечеринки она посещать перестала, избегая своего последнего любовника, модного психотехника д-ра Ф. З. Фрейзера, кузена того самого счастливого соратника погибшего П. де П. Несколько раз Ван сносился с отцом по дорофону (Демон в это время занимался всесторонним изучением мексиканских спа, специй и цыпок) и выполнял в городе кое-какие его поручения. Ван часто водил Кордулу во французские рестораны, на английские фильмы и варяжские трагедии, и все им было в радость, потому что она наслаждалась каждым блюдом, каждым глотком, каждой остротой и каждым всхлипом, а он упивался бархатистым румянцем ее щечек, лазурной прозрачностью ее празднично подведенных глаз, которым удлиненные, густые, иссиня-черные ресницы, загнутые кверху по внешним краям, придавали то, что модницы называли «узким арлекинским разрезом».

Как-то в воскресенье, пока Кордула еще нежилась в пенной ванне (чарующее, невиданное им доселе зрелище, которым он наслаждался дважды в день), Ван, «в обнаженном виде» (как его новая пассия иронично облагораживала слово «голышом»), впервые после месячного воздержания попробовал пройтись на руках. Он чувствовал себя сильным

и свежим и с беспечной уверенностью поднял тело в «первую позицию» посреди залитой солнцем террасы. В следующий миг он растянулся на спине. Он сделал новую попытку и сразу потерял равновесие. Его охватило ужасное, хотя и обманчивое ощущение, будто его левая рука стала короче правой, и Ван с кривой усмешкой подумал, что о танцах на руках, пожалуй, придется забыть. Кинг Винг предупреждал его, что если не практиковаться два-три месяца, то это редкое искусство можно утратить безвозвратно. В тот же день (два этих неприятных события так и остались навсегда связанными в его памяти) Ван случайно ответил на звонок — глубокий хриплый голос спрашивал Кордулу, и он принял звонившего за мужчину, но оказалось, что то была ее старая одноклассница, и Кордула с притворной патокой ответила ей, в то же время закатывая глаза поверх трубки и выдумывая множество малоубедительных срочных дел.

«Ужасная особа! — выдохнула она после мелодичного адьё. — Некто Ванда Брум, и я только недавно узнала то, о чем даже не догадывалась в школе, что она обычная трибадка — бедная Грейс Эрминина рассказала мне, что эта Ванда не давала проходу ей и… еще одной девочке. Вот ее карточка», прибавила Кордула, быстро сменив тон и беря из ящика со вкусом переплетенный и изысканно отпечатанный выпускной альбом «Весенний семестр 1887 года», который Ван уже видел в Ардисе, но листая который не обратил внимание на угрюмое, нахмуренное, понурое лицо названной девочки, а теперь это уже не имело значения, и Кордула быстро грохнула тяжелый том обратно в ящик комода. Ван, однако, прекрасно помнил, что среди прочих, более или менее жеманных сочинений других девочек альбом содержал остроумную пародию Ады Вин на свойственный Толстому ритм длинных предложений и концовок глав; он ясно видел ее чопорный снимок, под которым она написала один из своих характерных аллитерационных стишков:

В старом поместье пародией я

Наградила чуланы, веранды

И ряд жакаранд, цветущих в Стреле

В сверхъестественном одеяньи.

Всё в прошлом, всё это в прошлом. Уничтожь и забудь! Но бабочка в парке, орхидея в витрине могли все оживить, пронзив душу ослепительным разрядом отчаяния.

Большую часть времени он отдавал усердным изысканиям в громадной, украшенной гранитными колоннами Публичной Библиотеке, в этом дивном и торжественном дворце в нескольких кварталах от уютной квартиры Кордулы. Трудно удержаться от того, чтобы не сравнить с вынашиванием плода эти странные, эти неодолимые желания и тошные припадки малодушия, которые сопровождают отягощенную разными упоительными осложнениями работу молодого автора над первой книгой. Ван покамест

пребывал на стадии свадебных хлопот, затем, если развить метафору, его ожидал спальный вагон неряшливой утраты девственности, а потом — первый балкон новобрачных завтраков с первой осой. Язык не поворачивается назвать Кордулу писательской музой, но неспешные вечерние возвращения в ее апартаменты бывали приятно проникнуты отсветом и сознанием выполненной задачи и предвкушением ее ласк; его душу особенным теплом согревали мысли о тех вечерах, когда они устраивали изысканную трапезу, заказывая снедь в «Монако», первоклассном ресторане на первом этаже их высокого здания, увенчанного ее пентхаусом и просторной террасой. Милая обыденность их тихого сожительства умиротворяла его гораздо надежнее общества всегда экзальтированного и пламенного Демона, с которым Ван изредка видался в городе и с которым должен был провести две недели перед следующим семестром в Чузе. Кроме сплетен — сплетенных паутинок сплетен — Кордула с ним ничего не обсуждала, что тоже благотворно действовало на него. Она очень быстро смекнула, что ей никогда не следует упоминать Аду или Ардис. Он, в свою очередь, вполне отдавал себе отчет в том, что она его по-настоящему не любит. Гладить ее небольшое, вымытое, мягонькое и ладно-округлое тело было сущим наслаждением, а ее простосердечное изумление, вызываемое разнообразием и силой его постельных приемов, умащивало то, что все еще оставалось от молодой мужской гордости бедного Вана. Она могла задремать между двух объятий. Когда же ему не спалось, как это теперь часто случалось, он усаживался в гостиной делать пометки и выписки из набранных книг или, строго ограничивая свои размышления рамками ученого предмета, прохаживался по террасе под звездной мглой, пока из светающей бездны города не доносились трель и скрежет первого трамвая.

Когда в начале сентября Ван Вин уехал из Манхэттена в Люту, плод зрел в его чреве.

Часть вторая

1

В одном из зеркал в золоченой раме старомодного зала ожидания аэропорта Гудсона Ван заметил шелковый цилиндр отца. Демон ждал его, сидя в кресле из поддельного мраморного дерева за раскрытой газетой: «Капитуляция Крыма» — вывернутыми буквами гласил заголовок передовицы. В ту же минуту к Вану подошел человек в плаще с располагающим и немного поросячьим розовым лицом. Он представился служащим известного международного агентства «Бок о Бок» (БОК), обеспечивающего Безопасный Обмен Корреспонденцией. Сперва удивившись, Ван быстро сообразил, что Ада Вин, его недавняя любовница, избрала поистине блестящий (во всех смыслах этого слова) способ доставить ему письмо, поскольку фантастически дорогие и феноменально востребованные услуги «боковой» почты гарантировали

абсолютную секретность, которую в мрачные дни 1859 года не способны были нарушить ни пытки, ни месмеризм. Поговаривали, будто сам Гамалиил, приезжая в Париж (теперь, увы, все реже и реже), и король Виктор во время собственных, по-прежнему довольно регулярных визитов на Кубу или Гекубу, и, конечно, энергичный и полнокровный лорд Гоуль, вице-король Франции, когда пускался в свои похождения по всей Канадии, предпочитали полагаться на исключительно надежную и даже пугающе безупречную расторопность «боковиков», чем на те официальные средства связи, которыми пользуются распутные властители, чтобы дурачить своих жен. Подошедший к Вану посыльный назвался Джеймсом Джонсом — сочетание до того обезличенное, что могло бы стать образцовым псевдонимом, кабы не представляло собой его настоящего имени. В зеркале началось волнение и хлопанье крыльями, но Ван не стал спешить. Дабы выиграть время (когда посыльный показал ему герб Ады на отдельной карточке, Ван спросил себя, следует ли ему принимать от нее письмо или нет), он внимательно оглядел похожий на туза червей жетон, предъявленный ему Дж. Дж. с простительной гордостью. Последний попросил Вана вскрыть письмо, убедиться в его подлинности и подписать карточку, которую молодой детектив затем вернул в потайную полость или пазуху в глубине своего облачения или анатомии. Приветственные возгласы и нетерпение Демона, надевшего для полета во Францию черную пелерину на алой шелковой подкладке, вынудили Вана проститься с Джеймсом и спрятать письмо в карман (чтобы пробежать его несколько минут спустя в уборной перед тем, как сесть в аэроплан).

«Котировки, — сказал Демон, — взлетели до небес. Наши территориальные триумфы и все такое. Американского губернатора и моего друга Бессбородко назначат главой Бессарабии, а британский губернатор Армборо будет править Арменией. Видел, как ты миловался со своей маленькой графиней на стоянке. Если ты на ней женишься, я лишу тебя наследства. Они на целую ступень ниже нашего круга».

«Через год-другой, — сказал Ван, — я окунусь в собственные маленькие миллионы (имея в виду состояние, оставленное ему Аквой). Но вам не стоит беспокоиться, сэр, мы с ней расстались на время — до тех пор, пока я не вернусь в ее girlinière (канадийский сленг)».

Щеголяя своей проницательностью, Демон желал знать, у кого именно, у Вана или у его poule, нелады с полицией (кивает в сторону Джима или Джона, который сидел в ожидании другого клиента, читая о «Криминальной Копуляции Бессармении»).

«Poule», ответил Ван с уклончивой немногословностью римского раввина, защищающего Варраву.

«Почему серый? — спросил Демон, указывая на макинтош Вана. — И почему так коротко острижен? Идти на фронт поздновато».

«Мне бы все равно отказали в призывном участке».

«Как рана?»

«Комси-комса. Выяснилось, что калуганский хирург обошелся со мной

как коновал. Разошедшийся шов вдруг покраснел и закровоточил, а в подмышке выскочила шишка. Теперь за меня возьмется другой эскулап, на сей раз в Лондоне, тамошние мясники режут намного лучше. Где тут местечко? А, вижу. Затейливо. Иван да Марья (на одной двери был нарисован иванов цвет, на другой — марьин башмачок: так сказать, гербарий по нужде)».

Он оставил ее письмо без ответа, и через две недели Джон Джеймс, теперь в образе немецкого туриста, весь в клетчатом псевдотвиде, вручил Вану второе послание — в Лувре, прямо у «Bateau Ivre» Босха, той, со штукарем, пьющим на вантах (бедный старый Данила полагал, что эта картина имеет что-то общее с сатирической поэмой Бранта!). Ответа не будет — даже несмотря на то, что доставка ответного письма, как сообщил Вану честный посыльный, оплачена наперед, вместе с его обратным билетом.

Хотя снег валил хлопьями, Джеймс в порыве отвлеченного удальства стоял, обмахиваясь третьим конвертом, на крыльце cottage orné Вана на Ранта-ривер, близ Чуза, и Ван сказал, чтобы он перестал приносить ему письма.

В следующие два года ему вручили еще два письма, оба в Лондоне и оба в холле «Палас-отеля Албания», однако доставлял их другой агент БОК, пожилой господин в котелке, чей прозаический вид, отдающий похоронным бюро, должен был, по мнению скромного и чувствительного Джима, меньше раздражать Вана, нежели флер частного сыщика из романа. Шестое письмо пришло обычной почтой на Парк-лейн. Вся серия (кроме последнего письма, посвященного исключительно сценическим занятиям Ады) приводится здесь без изъятий. Ада не датировала письма, однако место и время можно установить с той или иной степенью точности.

[Лос-Анджелес, начало сентября 1888 г.]

Ты должен простить мне, что я прибегаю к столь дошлому (а также и пошлому) способу доставки писем, но мне не удалось найти более надежной службы.

Когда я сказала, что не могу объяснить свои поступки и лучше изложу их на бумаге, я имела в виду, что мне не по силам с ходу подобрать верные слова. Умоляю тебя. Я чувствовала, что не смогу их сложить и устно расположить в верном порядке. Умоляю тебя. Я чувствовала, что одно неверное и не так сказанное слово может стать роковым и ты просто повернешься, как ты и сделал, и снова уйдешь от меня, снова и снова. Умоляю тебя о вздохе <sic! Ред.> понимания. Но теперь я думаю, что мне все же следовало отважиться на разговор, на спотычки речи, потому что сейчас я вижу, что перенести свое сердце и честь на бумагу тоже ужасно трудно и даже еще труднее, поскольку говорящий всегда может воспользоваться оговоркой как отговоркой и укрыться за сумбуром слов, как истекающий кровью заяц с отстреленной половиной рта, или отскочить назад, чтобы исправить неточность; но белоснежную, даже синевато-снежную поверхность этой почтовой бумаги

ошибки пятнают непоправимым багрянцем. Умоляю тебя.

В одном не стоит сомневаться ни при каких обстоятельствах. Я любила, люблю и буду любить только тебя. Я умоляю тебя и люблю тебя, жизнь моя, с бесконечной болью и страданием. Ты тутъ стоялъ, въ этомъ каравансарае, ты в самом центре всего, всегда, когда мне было только семь или восемь лет, ведь так?

[Лос-Анджелес, середина сентября 1888 г.]

Это второй стон изъ ада. Так странно, я в один и тот же день узнала из трех разных источников о твоей дуэли в К., о смерти П. и о том, что ты оправляешься после раны в доме его кузины («поздравленьице!» — как мы с ней выражались в школьные годы). Я позвонила ей, но она сказала, что ты уехал в Париж и что Р. тоже умер — не твоих рук дело, как я сперва подумала, а его жены. Формально ни он, ни П. не были моими любовниками, но теперь они оба на Терре, так что это не имеет значения.

[Лос-Анджелес, 1889 г.]

Мы все еще в карамельно-розовом и пизангово-зеленом albergo, где ты когда-то останавливался с отцом. Он, между прочим, страшно мил со мной. Мне нравится ездить с ним по всяким местам. Мы с ним делали ставки в Неваде — название рифмуется с моим именем, но твое тоже присутствует в нем, как и легендарная старорусская река. Да. Ох, напиши мне, одну крошечную записку, я так стараюсь тебе угодить! Хочешь еще немного (отчаянных) весточек? Новый постановщик артистического мировоззрения Марины определяет Бесконечность как самую удаленную от камеры точку, которая все еще находится в фокусе. Ей досталась роль глуховатой монахини Варвары (в некоторых отношениях наиболее занятной в чеховских «Четырех сестрах»). Она следует методу Стана, по которому lore и rôle перетекают в повседневную жизнь, настаивает на том, чтобы не выходить из образа и в отельном ресторане, где пьет чай въ прикуску и в эксцентричной манере строящей из себя дуру Варвары притворяется, будто не понимает каждый второй обращенный к ней вопрос. Такое ее поведение приводит к двойной путанице, раздражающей посторонних, а у меня отчего-то вызывает стойкое ощущение, что она — моя мать, намного более стойкое, чем во времена Ардиса. В целом, она здесь пользуется большим успехом. В Юниверсал-Сити ей предоставили (боюсь, не совсем безвозмездно) отдельное бунгало с табличкой «Марина Дурманова». Я же всего только эпизодическая подавальщица в последнего разбора вестерне, вихляющая бедрами между пьянчугами, хлопающими по столу, и все же я скорее наслаждаюсь атмосферой Houssaie, послушным искусством, вьющимися по холмам дорогами, воссозданием целых улиц с обязательной площадью и лиловой вывеской галантереи на резном фасаде, под которой около полудня толпа статистов в старинных одеждах выстраивается в очередь к стеклянной кабине с аппаратом, но мне поворковать не с кем.

Кстати о птичках: недавно вечером мы с Демоном посмотрели действительно замечательный фильм, орнитологический. Я и не догадывалась, что палеотропические нектарницы (справься о них!) являются «мимотипами» новосветных колибри, и все мои мысли, о, любовь моя, только мимотипы твоих. Я знаю, я знаю! Я даже знаю, что ты перестал читать на слове «догадывалась» — как в прежние дни.

[Калифорния? 1890 г.]

Я люблю только тебя, я счастлива только в мечтах о тебе, ты моя радость и мой мир, это так же непреложно и очевидно, как уверенность в том, что живешь, но… о, я не обвиняю тебя! — но, Ван, это ты виноват (или действовавший через тебя Фатум, ce qui revient au même), что когда мы еще были детьми, ты пробудил во мне какое-то безумие, плотскую алчность, неутолимый зуд. Тобою добытое трением пламя клеймило самое уязвимое, срамное и нежное место моего тела. И теперь я расплачиваюсь за то, что ты слишком рьяно и слишком рано поскоблил рдяную сыпь, как обугленное дерево расплачивается за полымя. Оставаясь без твоих ласк, я теряю власть над собой, ничего больше не существует, кроме блаженства трения, неизменного действия твоего жала, твоего сладкого яда. Я тебя не виню, но именно по этой причине я изнываю и не могу устоять перед воздействием чужой плоти, из-за этого от нашего сочлененного прошлого расходится рябь безбрежных измен. Ты волен диагностировать мое состояние как случай прогрессирующей эротомании, но здесь что-то большее, поскольку существует простое средство от всех моих maux и мук, и средство это — вытяжка из алого ариллуса, мякоть ванили, одной только Вановой ванили. Je réalise, как говорила твоя милашка Синдерелла де Торф (ныне мадам Фартуков, жена Трофима), что веду себя жеманно и непристойно. Но все это подготавливает важное, важное предложение! Ван, je suis sur la verge (снова Бланш) отвратительной любовной авантюры. Ты можешь немедленно спасти меня. Возьми напрокат самую быструю летающую машину, которая может доставить тебя прямиком в Эль-Пасо, — твоя Ада будет ждать тебя там, маша, как сумасшедшая, и мы продолжим путь на экспрессе «Новый Свет», в покоях, которые я заполучу, на пылающий кончик Патагонии, рог Горн капитана Гранта, виллу в Верна, моя драгоценность, моя агония. Отправь мне аэрограмму с одним только русским словом — последним слогом моего имени, последней опорой зашедшему за разум уму.

[Аризона, лето 1890 г.]

Жалость, простая жалость русской девушки сблизила меня с Р. (которого сейчас «открыли» музыкальные критики). Он знал, что умрет молодым, да, собственно, и был живым трупом, ни разу, я клянусь, не оказавшимся на высоте, даже когда я открыто обнаруживала перед ним свою сострадательную покорность, ведь меня, увы, просто распирало изнутри в без-Ванову пору, я даже подумывала заплатить за определенные услуги какому-нибудь грубому, чем грубее, тем лучше,

молодому мужику. А что до П., то я могла бы объяснить свою уступчивость его поцелуям (сперва нежным и бесхитростным, позже ставшим яростно изощренными и наконец отдававшими мною, когда он возвращался к моим губам, — порочный круг, закрутившийся в начале таргелиона 1888 года), сказав, что в случае моего отказа приходить к нему на свидания он раскрыл бы Марине глаза на связь ее дочери с кузеном. Он сказал, что может привести свидетелей, сестрицу твоей Бланш и мальчишку с конюшни, которого, подозреваю, изображала младшая из трех девиц де Турбье, все три чертовки, — но довольно об этом. Ван, я легко могла бы раздуть эти угрозы, оправдывая то, как я с тобой поступила. Я бы, разумеется, не стала упоминать, что произносились они шутливым тоном, едва ли подобающим завзятому шантажисту. Не стала бы я распространятся и о том, что даже если бы он продолжил рекрутировать анонимных гонцов и соглядатаев, то сам бы получил на орехи и погубил собственную репутацию, поскольку мотивы и прорехи его поступков <sic! «прорехи» на ее синем чулке. Ред.> в конечном просчете неминуемо вышли бы наружу. Словом, я бы скрыла, что отдавала себе отчет в том, что с помощью грубого подтрунивания он лишь ритмично добивался твоей бедной хрупкой Ады, — поскольку, при всей своей грубости, он обладал обостренным чувством чести, каким бы диким это ни представлялось тебе и мне. Нет. Я бы полностью сосредоточилась на впечатлении, произведенном этой угрозой на человека, готового скорее смириться с любой низостью, чем оказаться на грани разоблачения, ибо (и этого, разумеется, ни он, ни его информаторы знать не могли), каким бы шокирующим ни казался роман кузена с кузиной всякой законопослушной семье, боюсь даже представить (как мы с тобой всегда боялись), как бы Марина и Демон отнеслись к «нашему» случаю. По тому, как трясет и швыряет мой синтаксис, ты видишь, что я не в силах удержать объяснение своих поступков в логической колее. Не стану отрицать, что я испытывала странную слабость во время рискованных свиданий, которыми я его задабривала, как будто его животное желание зачаровывало не только мои пытливые чувства, но и мой протестующий рассудок. Могу присягнуть, однако, торжественная Ада может присягнуть, что во время наших «лесных рандеву», до и после твоего возвращения в Ардис, мне удавалось избежать если не осквернения, то, по крайней мере, обладания, кроме одного грязного раза, когда он практически взял меня силой — чрезмерно пылкий мертвец.

Пишу на ранчо «Марина», недалеко от оврага, в котором умерла Аква и в который мне самой однажды захочется забраться. Пока же ненадолго возвращаюсь в «Отель Пизанг».

Приветствую хорошего слушателя.

Когда в 1940 году Ван извлек из сейфа своего швейцарского банка, где они хранились ровно полвека, эту тонкую пачку из пяти писем (каждое в розовом БОК-конверте из шелковой бумаги), его озадачило их малое количество. Расширение прошлого, буйная поросль памяти умножили это число по крайней мере до пятидесяти. Он вспомнил, что использовал в качестве тайника также письменный стол в своем кабинете на Парк-лейн, но был уверен, что хранил там только невинное шестое письмо

(Думы о Драме) 1891 года, пропавшее вместе с ее зашифрованными записками (1884–88), когда в 1919 году невосстановимое маленькое палаццо было сожжено дотла. Молва приписывала этот яркий поступок отцам города (трем бородатым старейшинам и молодому голубоглазому мэру с невиданным количеством передних зубов), которые более не могли сдерживать своего желания завладеть местом, занимаемым крепким карликом промеж двух алебастровых великанов; но вместо того, чтобы уступить им, как ожидалось, почерневший участок, Ван жизнерадостно возвел на нем свою знаменитую «Виллу Люцинду», миниатюрный музей всего в два этажа, со все еще растущей коллекцией микрофильмированных полотен из всех публичных и частных пинакотек мира (не исключая Татарии) на одном этаже и похожими на медовые соты кабинками с проекционными аппаратами на другом: чарующий маленький мемориал из паросского мрамора, обслуживаемый многочисленным персоналом, охраняемый тремя отлично вооруженными молодцами и открытый для посещений только по понедельникам за символическую плату в один золотой доллар, независимо от возраста и состояния.

Удивительное умножение этих писем задним числом объясняется, без сомнения, тем, что каждое из них накрывало мучительной тенью, подобной тени лунного вулкана, несколько месяцев его жизни и сужалось до точки, лишь когда начинало заниматься не менее мучительное предчувствие следующего сообщения. Но много лет спустя, работая над «Текстурой времени», Ван нашел в этом феномене дополнительное подтверждение тому, что реальное время таится в интервалах между событиями, а не в их «течении», что оно не связано ни с их смешением, ни с их затенением промежутка, в котором проявляется чистая и непроницаемая текстура времени.

Он сказал себе, что останется тверд и будет страдать, сохраняя молчание. Самолюбие было удовлетворено: умирающий дуэлянт умирает человеком более счастливым, чем суждено когда-либо стать его живому противнику. Однако мы не должны винить Вана за то, что он не сдержал данного себе слова, ибо нетрудно понять, почему седьмое письмо (переданное ему Адиной и его полусестрой в Кингстоне в 1892 году) пошатнуло его решимость. Потому что он знал, что это последнее. Потому что оно было послано из кроваво-красных érable беседок Ардиса. Потому что сакраментальный четырехлетний период равнялся сроку их первой разлуки. Потому что вопреки всем доводам и против воли Люсетта оказалась безупречной свахой.

2

Письма Ады дышали, корчились, жили; «философский роман» Вана «Письма с Терры» не обнаруживал никаких признаков жизни.

(Я с этим не согласна, это милая, милая книжечка! Приписка рукой Ады.)

Он сочинил ее, так сказать, нечаянно, не бросив и ломаного гроша в копилку своей литературной славы. И псевдонимность не тешила его задним числом, как то было, когда он танцевал на руках. Хотя «чванство Вана Вина» не так уж редко всплывало в гостинных пересудах овеянных веерами дам, в этот раз его длинные сизые перья гордости

распущены не были. Что же в таком случае побудило его задумать роман на тему, до смерти наскучившую после всяких «Космосодомов» и «Астромонстров»? Мы — кем бы «мы» ни были — могли бы определить это побуждение как приятное стремление выразить посредством словесных образов совокупность некоторых необъяснимо взаимосвязанных причуд, отмеченных им у душевнобольных в разное время, начиная с его первого года в Чузе. Ван питал страсть к сумасшедшим, как иные питают страсть к арахнидам или орхидеям.

У Вана имелись веские причины к тому, чтобы опустить технические детали, раскрывающие способ сообщения между Террой Прекрасной и нашей страшной Антитеррой. Его познания в физике, механике и тому подобных вещах ограничивались царапинами на доске частной школы. Он утешал себя мыслью, что ни один цензор в Америке или Великобритании не пропустит даже мимолетного упоминания «магнитных» безделушек. Без лишних хлопот он позаимствовал то, что его величайшие предшественники (Контрштейн, к примеру) представляли себе в качестве движителя пилотируемой капсулы, в том числе блестящую идею возрастания (под влиянием контрштейновского типа промежуточной среды между единородными галактиками) начальной скорости в несколько тысяч миль в час до нескольких триллионов световых лет в секунду, с последующим безопасным уменьшением до плавного парашютного спуска. Вновь разводить в иррациональных измышлениях всю эту Сиранометрию и «научную фантастику» было бы не только скучно, но и нелепо, ибо никто не знал, насколько удалены Терра или другие бесчисленные планеты с колокольнями и коровами во внешнем или внутреннем пространстве: «внутреннем», потому что нельзя отрицать возможности их микроскопического присутствия в золотистых глобулах, быстро поднимающихся в этом высоком бокале Моэта или в корпускулах моего, Вана Вина —

(или моего, Ады Вин)

— кровотока, или в гное спелого фурункула господина Некто, только что вскрытого на Некторе или Нектоне. К тому же, хотя на полках библиотек в доступном и чрезмерном изобилии имелись всевозможные пособия, никакими путями нельзя было добраться до запрещенных или сожженных книг трех космологов — Эртиньи, Ютса и Язина (псевдонимы), опрометчиво положивших начало всей этой катавасии полвека тому назад, вызвав и поощрив смятение, безумие и отвратительные романчики. Ко времени «Писем» все трое ученых сгинули: Э. покончил с собой, Ю. был похищен банщиком и вывезен в Татарию, Я. — румяный, седоусый старик — доводил до помешательства своих якимских тюремщиков необъяснимым треском, неутомимым изобретением невидимых чернил, хамелеонской маскировкой, нервными сигналами, спиральными световыми излучениями и чревовещательными трюками с имитацией пистолетной пальбы и воя сирен.

Бедный Ван! Стремясь изо всех сил отделить террийскую корреспондентку от образа Ады, он вызолотил и нарумянил свою Терезу до того, что она стала олицетворением само́й банальности. Героиня его романа сводила с ума своими посланиями одного ученого на нашей легко сходящей с ума планете; его похожее на анаграмму имя, Сиг Лэмински, Ван частично позаимствовал у последнего врача Аквы. Когда страстное

увлечение Сига перешло в любовь, а сочувствие читателя сосредоточилось на его очаровательной, меланхоличной, обманутой жене (в девичестве Антилия Глемс), наш автор столкнулся с новой мучительной задачей — искоренить в этой Антилии, природной брюнетке, все черты Ады, превратив тем самым еще одного персонажа в куклу с обесцвеченными волосами.

Передав Сигу дюжину сообщений со своей планеты, Тереза прилетела к нему, и нашему ученому пришлось поместить ее в своей лаборатории на предметное стекло под мощным микроскопом, дабы рассмотреть крошечные, хотя в остальном совершенные формы своей малютки-возлюбленной, грациозного микроорганизма, протягивающего прозрачные придатки к его огромному влажному глазу. Увы, тестибулу (т. е. пробирку, не путать с тестикулой, орхидеей) с микрорусалкой Терезой, плавающей внутри, «случайно» выбросила ассистентка профессора Лэмина (он к тому времени подрезал свое имя) Флора, первоначально черноволосая, с мраморно-белой кожей роковая красавица, которую спохватившийся автор преобразил в третью безликую куклу с пучком мышиного цвета волос.

(Антилия позднее вернет себе мужа, а Флора будет устранена. Приписка Ады.)

На Терре Тереза разъезжала по разным странам как репортер американского журнала, что позволило Вану обрисовать политическую жизнь родственной планеты. С этим Ван справился без большого труда, поскольку картина представляла собой мозаику тщательно составленных фрагментов из его собственных отчетов о «трансцендентальном бреде» наблюдавшихся им пациентов. Не все можно было разобрать, имена собственные часто искажались, в хаотичном календаре путались события, но в целом яркие крапины действительно складывались в своего рода геомантический рисунок. Как и предполагали более ранние исследователи, наши летописи следовали за террийскими на мостах времени с полувековым опозданием, но обошли некоторые из ее подводных течений. Ко времени действия нашей печальной истории король террианской Англии, еще один Георг (предположительно не менее полудюжины его предшественников носили то же имя), правил или только что утратил власть в империи, несколько более пестрой и разрозненной (с чужеродными вкраплениями и пустотами между Британскими островами и Южной Африкой), чем прочный конгломерат на нашей Антитерре. Особенно впечатляющее расхождение обнаруживалось в Западной Европе: начиная с восемнадцатого века, когда практически бескровная революция свергла с престола Капетингов и отразила всех захватчиков, Франция Терры процветала при двух императорах и нескольких буржуазных президентах, из которых нынешний, Думерси, выглядел уж куда привлекательнее нашего милорда Гоуля, губернатора Люты! На востоке, вместо хана Соссо и его жестокого Совьетнамурского ханства, в Поволжье и схожих многоводных областях, господствовала обширная Россия, управляемая Союзом Суверенных Социологических Республик (во всяком случае, в таком виде это название дошло до нас), сменившим династию царей, завоевателей Татарии и Трста. И последнее, но не менее важное: Атаульф Фурор, белокурый гигант в ловко сидящей униформе, предмет тайной страсти многих британских аристократов, почетный капитан французской полиции и щедрый союзник Руси и Рима,

превращал, как о том сообщалось, пряничную Германию в великое государство скоростных шоссе, безупречных солдат, духовых оркестров и модернизированных бараков для негодных к работе, вместе с их чадами.

Бесспорно, бóльшая часть этих сведений, тщательно собранных нашими террапевтами (как окрестили коллег Вана), дошла в подпорченном виде; но неизменной и доминирующей нотой в них оставалось мелодичное звучание тихого счастья. Дальнейшее повествование делало резкий поворот к предположению, что Терра обманула, что она вовсе не рай, что, возможно, в некотором смысле человеческие умы и человеческая плоть подвергаются на родственной планете еще худшим мучениям, чем на нашей сильно оклеветанной Демонии. В своих первых письмах, посланных до отлета с Терры, Тереза только расхваливала ее правителей, особенно русских и немецких. В своих более поздних сообщениях, отправленных из космоса, она призналась, что преувеличила всеобщее благоденствие, сделавшись, по сути, орудием «межпланетной пропаганды» — смелое признание, поскольку террийские агенты могли выхватить ее из пространства и вернуть обратно или уничтожить прямо в полете, если бы им удалось перехватить ее незащищенные солитоны, передававшиеся теперь преимущественно в одном направлении, в нашу сторону, не спрашивайте Вана, каким способом или прибором. К сожалению, ни механизаторство, ни морализаторство нельзя было назвать сильными сторонами нашего автора, и то, что мы передали здесь несколькими неспешными фразами, потребовало от него для изложения и раскраски двухсот страниц. Следует помнить, что ему было всего двадцать лет; что его молодая и гордая душа пребывала в горестном смятении; что он слишком много читал и слишком мало сочинял; и что блистательные миражи, возникшие перед ним на террасе Кордулы при первых толчках зародившейся книги, теперь потускнели и рассеялись под действием здравого смысла, как те дивные дива, о которых средневековые путешественники, вернувшись из Катая, боялись рассказать венецианскому капеллану или фламандскому филистеру.

Превращение жутковатых каракуль в беловик отняло у него в Чузе два месяца; затем он испещрил рукопись новыми обильными правками, так что окончательный манускрипт выглядел как первый черновик, когда он отнес его в безвестное агентство в Бедфорде для тайной перепечатки в трех экземплярах. Машинописный текст он вновь изуродовал во время своего плавания обратно в Америку на борту «Королевы Гвиневры». Наконец, манхэттенским печатникам пришлось дважды набирать гранки — не только из-за множества новых переделок, но и по причине эксцентричности Вановых корректурных знаков.

«Письма с Терры» Вольтеманда увидели свет в 1891 году, в день, когда Вану исполнился двадцать один год; на титульном листе значились два фиктивных издательских дома: «Абенсераг», Манхэттен, и «Зегрис», Лондон.

(Если бы книга попалась мне на глаза, я бы тотчас распознала шатобрианову лапочку, а значит, и твою лапку.)

Новый адвокат Вана, господин Громвель, чье красивое растительное имя каким-то образом отвечало его невинным глазам и мягкой светлой

бороде, приходился племянником выдающемуся Громбчевскому, который последние три десятка лет с примерным тщанием и осмотрительностью вел некоторые дела Демона. Громвель пестовал личное состояние Вана не менее трепетно, но в тонкостях книгоиздания он разбирался слабо, а Ван и вовсе ничего не смыслил в этом, не зная, к примеру, что следует рассылать редакторам различных периодических изданий «экземпляры для отзыва» или что за анонсы и рекламные объявления нужно платить и что не стоит ожидать их самозарождения и созревания до размеров целой полосы среди других броских аннотаций, расхваливающих «Одержимых» мисс Лав и «Толкача» мистера Дюка.

За кругленькую сумму Гвен, одной из служащих г-на Громвеля, поручили не только развлекать нашего автора, но и пристраивать в манхэттенские книжные магазины половину напечатанных экземпляров, в то время как ее прежнего английского любовника подрядили разместить остальное в книжных магазинах Лондона. Мысль о том, что человек, настолько любезный, что согласен заниматься продажей его книг, не может оставить себе те приблизительно десять долларов, которые были потрачены на изготовление каждого экземпляра, казалась Вану несправедливой и нелогичной. И потому, изучив присланный ему помощниками в феврале 1892 года отчет, из которого следовало, что за двенадцать месяцев было продано всего шесть экземпляров, два в Англии и четыре в Америке, он испытал чувство вины за все те тяготы, которые, бесспорно, пришлось вынести низкооплачиваемым, утомленным, голоруким, черноволосым и бледнокожим продавщицам, пытавшимся прельстить суровых уранистов его произведением («А вот довольно оригинальный роман о девушке по имени Терра»). Говоря статистически, никаких рецензий ожидать не приходилось, учитывая своеобычность обстоятельств, при которых обрабатывалась корреспонденция бедняжки Терры. Как ни странно, появилось целых две. Сначала Первый Клоун «Эльсинора», известного лондонского еженедельника, прошелся по «Письмам» в своем обзоре, озаглавленном с чисто британским журнальным пристрастием к такого рода фальшивой игре слов «Terre à terre, 1891» и посвященном «Космическим романам» года, число коих к тому времени пошло на убыль. Назвав книгу Вольтеманда лучшей из всех представленных, он сквозь зубы (или, скорее, клыки) охарактеризовал ее (увы, с безошибочным чутьем) «роскошной выделки безделушкой, избитой, скучной и темноватой небылицей с несколькими совершенно восхитительными метафорами, только вредящими в остальном беспомощному повествованию».

Вторым и последним комплиментом бедного Вольтеманда удостоил в тощем манхэттенском журнале «Высокобровый горожанин» поэт Макс Миспел (еще одно ботаническое имя — Mespilus germanica, мушмула германская), профессор немецкого отделения Коломбинского университета. Герр Мушмула, любивший выставлять напоказ своих авторов, обнаружил в «Письмах с Терры» влияние Осберха (испанского сочинителя вычурных сказок и мистико-аллегорических историй, высокоценимого скорыми на выводы доктринерами), а также непристойного древнего араба, толкователя анаграмматических сновидений Бен Сирина, как передает его имя капитан de Roux, согласно Бёртону в его переложении трактата Нефзави о лучшем способе совокупления с тучными или горбатыми женщинами («Благоухающий сад», издательство «Барс», с. 187 в экземпляре, подаренном девяностотрехлетнему барону Вану Вину его

врачом профессором Лагоссом, большим похабником). Критика Миспела кончалась так: «Если г-н Вольтеманд (или Вольтиманд, или Мандалатов) психиатр, кем, полагаю, он вполне может оказаться, то я столь же сочувствую его пациентам, сколько восхищаюсь его талантом».

Прижатая к стенке Гвен, кругленькая филь де жуа (по склонности, если не по роду занятий), выдала одного из своих новых ухажеров, признавшись, что она упросила его написать эту статью, потому что не могла вынести «кривой ухмылки» Вана, узнавшего, как возмутительно пренебрегают его красиво переплетенной и снабженной футляром книгой. Еще она клялась, что Макс Мушмула не только не имел ни малейшего представления о том, кто такой Вольтеманд, но даже не читал роман Вана. Некоторое время Ван тешил себя мыслью вызвать г-на М. (который, как он надеялся, выберет шпаги) на дуэль — при рассветных лучах, в укромном уголке Парка, центральную лужайку которого он мог видеть с террасы пентхауса, где он дважды в неделю фехтовал с гуттаперчевым французом-тренером — единственное упражнение, кроме верховой езды, которое он все еще себе позволял; но к его удивлению и облегчению (поскольку ему было чуточку стыдно защищать свою «повестушку» и хотелось поскорее забыть ее, как другой Вин, не имеющий к Вану отношения, мог бы, пожалуй, осудить — кабы ему посчастливилось прожить подольше — свою юношескую фантазию об идеальных борделях), М.М. ответил на расплывчатый картель Вана добродушным обещанием прислать ему свою следующую статью «Сорняк изгоняет цветок» (издательство «Мелвилл и Марвелл»).

Чувство опустошенности — вот и все, что Ван вынес из своего приобщения к Литературе. Еще до завершения книги он с болью осознал, как, в сущности, мало он знает собственную планету, пытаясь собрать воедино чужую из зубчатых осколков, стянутых из спутанных умов. Ван решил, что после окончания медицинского факультета Кингстона (который он нашел более подходящим для себя, чем старый добрый Чуз) он отправится в долгие странствия по Южной Америке, Африке, Индии. Пятнадцатилетним мальчиком (возраст расцвета Эрика Вина) он с поэтической страстью изучал расписание и пути сообщения трех великих американских трансконтинентальных поездов, на которых однажды двинется в путь, притом не в одиночестве (теперь — в одиночестве). Отправляясь из Манхэттена через Мефисто, Эль-Пасо, Мексиканск и Панамский Чаннель, вишневый Экспресс Новый Свет достигал Бразилии и Ведьмы (основанной русским адмиралом). Там он разделялся на две части — восточный состав следовал дальше, к Горну Гранта, а западный возвращался на север через Вальпараисо и Боготу. В другие дни волшебное путешествие начиналось в Юконске, откуда один поезд следовал к атлантическому побережью, а другой через Калифорнию и Центральную Африку мчал в Уругвай. Сливово-синий Африканский Экспресс отправлялся из Лондона и достигал мыса Доброй Надежды тремя различными маршрутами, через Нигеро, Родозию или Эфиопию. Наконец, шоколадный Восточный Экспресс, проходя через Турцию и несколько Чаннелей, соединял Лондон с Цейлоном и Сиднеем. Когда засыпаешь, кажется таким странным, что все континенты, кроме твоего, начинаются на «А».

В каждом из трех восхитительных поездов имелись по крайней мере два вагона, в которых привередливый путешественник мог взять спальню с

отдельной ванной и ватерклозетом, а также гостиную с фортепиано или арфой. Продолжительность путешествия варьировалась в зависимости от настроения Вана, когда в возрасте Эрика он воображал себе пейзажи, непрерывно расстилающиеся перед его покойным, слишком покойным креслом. По тропическим лесам, горным каньонам и другим увлекательным местам (о, назови их! Не могу — засыпаю) комната катила не быстрее пятнадцати миль в час, зато, проходя через пустыни или земледельческое уныние, достигала семидесяти, уснидесяти, спидесяти, ста —

3

Весной 1869 года Давид ван Вин, состоятельный архитектор фламандского происхождения (никоим образом не связанный с Винами нашей путаной любовной истории), отделался легкими ушибами, когда у автомобиля, которым он правил, направляясь из Канн в Кале, на подмороженной дороге лопнуло переднее колесо и он врезался в мебельный фургон, припаркованный на обочине; его дочь, сидевшая рядом с ним, была мгновенно убита чемоданом, ударившим сзади и сломавшим ей шею. Муж погибшей, неуравновешенный и неудачливый художник (на десять лет старше своего тестя, которому он завидовал и которого презирал), застрелился в своей лондонской мастерской, получив каблограмму из нормандской деревни с ужасным названием Deuil.

На этом роковая инерция не сбавила ходу, потому что Эрику, мальчику пятнадцати лет, несмотря на всю заботу и обожание, которыми его окружил дед, тоже не удалось избежать каверзной участи, странно схожей с судьбой его матери.

Переведенный из Ноты в небольшую частную школу в кантоне Во, Эрик провел чахоточное лето в Приморских Альпах, после чего был отвезен в Экс-ан-Вале, кристальный воздух которого, как считалось в то время, укрепляет молодые легкие. Вместо этого разыгравшаяся буря, невиданная доселе в этих краях, швырнула в сироту черепицей, насмерть проломив мальчугану череп. Среди его вещей Давид ван Вин нашел несколько стихотворений и черновик сочинения под названием «Вилла Венус, Сон Наяву».

Говоря без экивоков, наделенный богатым воображением Эрик явно искал выхода для своих первых плотских томлений, и в подробно изложенном им проекте (навеянном невоздержанным чтением бесчисленных эротических опусов, найденных в меблированном доме, который его дед купил недалеко от Ванса у графа Толстого, русского или поляка) содержалось описание сети роскошных борделей, возвести которую «на двух полушариях нашего каллипигийского глобуса» позволило бы ему полученное наследство. Эрик представлял себе что-то вроде фешенебельного клуба с отделениями или, по его поэтическому выражению, «амурантами», расположенными в окрестностях городов и курортов. Членами «Виллы Венус» могли быть исключительно люди благородного происхождения, «красивые и здоровые», не старше пятидесяти лет (похвальное великодушие со стороны бедного мальчика), платящие ежегодный взнос в размере 3650 гиней, не считая расходов на букеты, драгоценности и другие галантные подношения. Постоянно

находящимся при отделениях женщинам-врачам, красивым и молодым («напоминающим американских секретарш или ассистенток дантистов»), надлежало проверять интимное физическое состояние «ласкающего и ласкаемого» (еще одна удачная формула), а также осматривать друг друга, ежели в том «возникнет необходимость». Один пункт в Правилах Клуба как будто указывал на то, что Эрик, несмотря на бурлящее в нем вожделение к женскому полу, вкусил удовольствия эрзац-возни со своими однокашниками в Ноте (известного тона подготовительной школе-пансионе): из не более чем пятидесяти постояльцев главных амурантов по крайней мере двое могли быть прелестными фавненками в коротких хитонах и головных повязках — белокурые не старше четырнадцати лет, темненькие — двенадцати. Однако, дабы исключить постоянный поток «закоренелых уранистов», пресыщенный гость мог ублажаться с мальчишкой только в перерыве между двумя сериями по три девушки в каждой и только в том случае, если все эти посещения происходили в течение одной недели — несколько комичное, но не лишенное практической сметки условие.

Претендентки для каждого амуранта отбирались Комитетом Членов Клуба, принимавшим во внимание годовой свод отзывов и предложений, заносившихся гостями в особую «Розовую Книгу». «Краса и нежность, грация и покорность» — таковы необходимые и главные достоинства соискательниц от пятнадцати до двадцати пяти лет в случае «стройных нордических куколок» и от десяти до двадцати лет в случае «пышных южных чаровниц». Они бы резвились и нежились в «будуарах и оранжереях», неизменно обнаженные и готовые к соитию; другое дело приставленные к ним в услужение субретки, привлекательно одетые служанки более или менее экзотического происхождения, «недоступные для желаний членов Клуба без специального дозволения Правления». Мой любимый пункт (поскольку располагаю фотостатом с каллиграфического оригинала, созданного бедным подростком) гласил, что любая девица для утех во время менструального периода могла избираться Госпожой своего амуранта. (Из этого, разумеется, ничего не вышло, и Комитет пошел на компромисс, поставив во главе персонала каждого дома красивой наружности лезбиянку и добавив упущенного Эриком вышибалу.)

Эксцентричность — великое средство от великого горя. Дед мальчика немедленно принялся претворять в кирпич и камень, в бетон и мрамор, в плоть и кровли фантазию Эрика. Он дал себе обет первым испробовать первую гурию, которую наймет для последнего из построенных домов, а до того часа жить в непрестанных трудах и суровом воздержании.

Он, должно быть, являл собой трогательное и величавое зрелище, этот пожилой, но еще полный энергии голландец с изрезанным морщинами рептильим лицом и седой шевелюрой, проектирующий с участием левацких декораторов тысячу и один мемориальный амурант, которые он вознамерился возвести по всему миру — возможно даже в брутальной Татарии, несмотря на то, что ею управляли, как он считал, «Американизированные Евреи», но ведь «Искусство искупает Политику» — весьма свежая мысль, которую мы должны простить славному старому сумасброду. Он начал с сельской Англии и прибрежных районов Америки, и когда строил дворец в стиле Роберта Адама (цинично прозванный местными острословами «Мадам-Адам Хауз»), недалеко от Ньюпорта, на острове Родос, — сооружение в несколько сенильном стиле, с

мраморными колоннами, поднятыми со дна классических морей и сохранившими инкрустацию этрусскими устричными раковинами, — внезапно умер от апоплексического удара, помогая подпирать пропилеи. То был лишь его сотый чертог!

Его племянник и наследник, честный, но карикатурно пуританский суконщик из Рюинена (недалеко от Зволле, как мне сказали), обремененный большой семьей и небольшой торговлей, тревожился напрасно: он не лишился миллионов гульденов, безумную растрату которых он последние лет десять обсуждал со специалистами по душевным болезням. Все сто амурантов открылись в один день, 20 сентября 1875 года (и по очаровательному совпадению, старое русское название сентября, «рюень», что могло означать «крушение», «руины», также отзывалось в названии родного города экстатического нигдерландца). К началу нового века венерианские доходы уже текли рекой (правда, последним потоком). В одном болтливом бульварном журнальчике сообщалось, около 1890 года, что «Вельветовый» Вин, из любопытства и чувства благодарности, как-то посетил — только однажды и со всем семейством — свой ближайший амурант и что будто бы небезызвестная Гийом де Монпарнас гневно отвергла предложение голливудской студии написать сценарий об этой помпезной и уморительной экскурсии. Всего только слухи, конечно.

Дед Эрика перепробовал, кажется, все — от ар-декорума до ура-декаданса, от леденящего ампира до «пламенеющей» готики. В своих пародиях на парадиз он даже позволил себе, всего несколько раз, выразить зодческими средствами прямолинейный хаос кубизма (превратив «абстракцию» в «конструкцию»), подражая — в том смысле, который так хорошо раскрыт в Вулнеровской «Истории английской архитектуры», подаренной мне (дешевое издание в бумажной обложке) добрейшим д-ром Лагоссом, — таким ультраутилитарным кирпичным кубам, как maisons closes Эль Фрейда в австрийском Любеткине или отхожие флигели Дюдока в серой Фрисландии.

Но в целом он предпочитал идиллию и романтику. Утонченных английских джентльменов ожидало немало удовольствий в Летчуэртском Тереме, настоящем деревенском доме, оштукатуренном до бычьих глаз, или в Итченорском Шато, с грубой каминной полкой и шатровой крышей. Нельзя не восхищаться мастерством Давида ван Вина, придавшего своему новехонькому особняку в стиле Регентства облик отремонтированной фермы или устроившего новообращенный женский монастырь на прибрежном островке с таким волшебством, что нельзя было отличить арабески от арбутуса, искуса от искусства, золы от лозы. Мы всегда будем помнить Литтль-Лемантри под Ранчестером или Псевдотерм в живописном тупиковом ущелье к югу от виадука сказочной Палермонтовии. Мы высоко ценили то, как он соединял местную банальность (шато в окружении каштанов, кастелло под защитой кипарисов) с внутренним убранством, побуждавшим предаваться всевозможным оргиям, отражаемым в потолочных зеркалах эрогения юного Эрика. Лучше всего, в практическом отношении, архитектору удавалось обеспечить уединенность своих сооружений, которые как бы отступали от окружающих открытых пространств. Гнездилась ли «Вилла Венус» в лесистых долинах, была ли окружена обширным парком, смотрела ли на террасные сады и рощи, подступ к ней начинался с частной дороги и тянулся через лабиринт

живых изгородей и стен с неприметными дверями, ключи от которых имелись только у гостей и охранников. Умело расставленные прожекторы сопутствовали блужданиям вельмож, в плащах и масках, по петляющим темным дорожкам среди зарослей — ибо одно из условий Эрика состояло в том, что «каждое заведение должно открываться только с наступлением ночи и закрываться с восходом солнца». Система звонков, которую Эрик, возможно, изобрел самостоятельно, хотя она стара, как баутта и вышибала, не позволяла посетителям виллы натыкаться друг на друга, и сколько бы дворян ни ожидало или ни распутничало в любой части амуранта, каждый чувствовал себя единственным петухом в курятнике, поскольку вышибала, молчаливый и вежливый человек, напоминающий манхэттенского приказчика в универсальном магазине, в счет, разумеется, не шел: подчас его случалось видеть, когда возникала заминка с удостоверением личности или наличности, но ему редко приходилось применять грубую силу или вызывать помощника.

Согласно проекту Эрика, подбором девиц ведали Благородные Собрания Старейшин. Изящной формы фаланги, хорошие зубы, безупречная кожа, не знавшие краски волосы, совершенные ягодицы и грудь, а также непритворная жажда любострастных утех были непременными предпосылками, которых требовали Старейшины по предписанию Эрика. «Интакты» принимались только отроческих лет; с другой стороны, ни одна женщина, родившая ребенка (даже в детские годы), в гетеры не допускалась, и отсутствие каких-либо изъянов, вызываемых материнством, не имело значения.

Сословный ценз оговорен не был, но Комитеты первоначально и теоретически склонялись к тому, чтобы принимать девиц более или менее благородного происхождения. Дочери художников в целом имели преимущество перед дочерями биндюжников. Неожиданно много оказалось детей озлобленных лордов из промозглых замков или разорившихся баронесс из обшарпанных гостиниц. Просматривая список из приблизительно двух тысяч проституток, состоявших во всех амурантах на 1 января 1890 года (то был рекордный год в анналах «Виллы Венус»), я насчитал целых двадцать два имени, восходивших к королевским семьям Европы, но вместе с тем около четверти всех девиц принадлежали к плебейским слоям. В силу какой-то задорной встряски в генетическом калейдоскопе или простой покерной удачи, или безо всякой причины, дочурки крестьян, коробейников и водопроводчиков часто превосходили в элегантности и грации своих товарок из зажиточного среднего класса или самого высшего общества — занятный факт, который порадует моих неродовитых читателей не менее того обстоятельства, что прислужницы, стоявшие «ниже» восточных чаровниц (они ассистировали клиенту и его потаскухам в различных ритуалах с серебряными тазами, вышитыми полотенцами и бесперспективными улыбками), нередко спускались с украшенных фамильными гербами княжеских высот.

Отец Демона (и очень скоро сам Демон), и лорд Эрминин, и некто г-н Ритков, и граф Петр де Пре, и Mire de Mire, Esq., и барон

Аззуроскудо — все состояли членами первого Совета Венерианского Клуба, но лишь визиты застенчивого, тучного и большеносого г-на Риткова по-настоящему будоражили девиц и наполняли окрестности агентами, старательно изображавшими садовников, конюхов, лошадей, рослых доярок, новые статуи, старых пропойц и так далее, пока Его Величество в специально сооруженном для его веса и прихотей кресле изволили развлекаться с тем или иным погибшим, но милым подданным державы — белым, черным или коричневым.

Поскольку тот достопамятный первый амурант, который я посетил, став членом клуба «Вилла Венус» (незадолго до второго лета с моей Адой в садах Ардиса), теперь, после всех превратностей судьбы, представляет собой очаровательный загородный дом почитаемого мною чузского профессора и его очаровательного семейства (очаровательная жена и троица очаровательных двенадцатилетних дочурок: Ала, Лола́ и Лалага — особенно Лалага), я не могу сообщить его названия, хотя моя дражайшая читательница уверяет, что я все-таки имел неосторожность упомянуть его где-то раньше.

Я стал завсегдатаем борделей с шестнадцати лет, и хотя несколько лучших, особенно французских и ирландских домов были отмечены тройным красным символом в путеводителе Нагга, ничто в них не предвещало роскоши и неги моей первой «Виллы Венус». Они отличались друг от друга, как райские кущи и портовые трущобы.

Три египетские скво, послушно держащиеся все время в профиль (вытянутые эбеновые глаза, прелестные узкие носы, заплетенные черные гривы, фараонские фуро медового цвета, тонкие янтарные руки, негритянские браслеты, большие золотые серьги-кольца, полускрытые ниспадающими прядями, налобные повязки, как у краснокожих, украшенные орнаментом нагрудники), любовно позаимствованные Эриком Вином из репродукции фиванской фрески (без сомнений, вполне заурядной в 1420 году до нашей эры), напечатанной в Германии (Künstlerpostkarte № 6034, сообщает ехидный д-р Лагосс), готовили меня (посредством того, что Эрик запекшимися губами называл «утонченными манипуляциями с определенными нервными окончаниями, положение и силу которых ведали лишь немногие древние сексологи», вкупе с не менее изысканным применением некоторых масел, туманно упомянутых в ориенталии Эриковой порнологии) к принятию испуганной девственной малютки, в жилах которой текла кровь ирландских королей, как о том рассказал Эрику в его последнем сне в Эксе, Швейцария, устроитель скорее похоронных, чем похотливых церемоний.

Эти приготовления протекали в таком медленном, невыносимо упоительном ритме, что умиравший во сне Эрик и умащенный Ван, трепещущий от низменного желания на рококошной кушетке (в трех верстах к югу от Бедфорда), не могли себе представить, как эти три молоденькие леди, внезапно лишившиеся одежды (хорошо известный онирическо-эротический прием), все еще ухитрялись длить прелюдию, удерживая меня на самом краю разрешения. Я лежал навзничь и чувствовал себя вдвое больше, чем когда-либо (сенильный нонсенс, сообщает наука!), когда наконец три пары нежных ручек попытались деликатно насадить la gosse, эту дрожащую Ададу, на устрашающего вида инструмент. Из-за глупой жалости — редко посещающее меня

чувство — моя твердыня пошатнулась и поникла, и я увлек девчонку на пир с персиковыми тартинками и сливками. Египташки сперва приуныли, но очень скоро вновь оживились. Я потребовал, чтобы все двадцать камелий дома (в том числе сладкогубая, с лоснящимся подбородком милашка) предстали перед моей воскресшей персоной. После тщательного осмотра, расточив щедрые похвалы их бедрам и шейкам, я выбрал золотистую Гретхен, бледную андалузку и черную красавицу из Нового Орлеана. Набросившись на них, как пантеры, служанки не без лезбийского пыла напудрили молодые тела и оставили трех довольно меланхоличных граций в моем распоряжении. Полотенце, данное мне, чтобы отереть пот, пленкой покрывавший лицо и щипавший глаза, могло быть и почище. Я прикрикнул, я заставил строптивую створку распахнуться настежь. В грязи закрытой для проезда недостроенной дороги застрял грузовик, и его стоны и рывки рассеяли странное уныние. Только одна из девушек пронзила меня в самую душу, но я перепробовал всех трех, хмуро и неторопливо, «меняя лошадей на переправе» (как советовал Эрик), прежде чем каждый раз заканчивать в объятиях горячей ардиллюзийки, сказавшей мне, когда мы разлепились после самого последнего спазма (хотя судачить о чем-либо, кроме предметов эротических, строго запрещалось), что это ее отец построил бассейн в поместье кузена Демона Вина.

На том все и закончилось. Грузовик уехал или утонул, а Эрик был скелетом в самом дорогом углу кладбища Экса («Но, с другой стороны, все кладбища — экс», заметил как-то жовиальный «протестантский» духовник), между безымянным альпинистом и моим мертворожденным двойником.

Черри, единственный отрок в нашем следующем (американском) амуранте, шропширский паренек лет одиннадцати-двенадцати, выглядел так трогательно со своими медными кудряшками, мечтательными глазами и эльфийскими скулами, что двоица исключительно игривых куртизанок, развлекавшая Вана, в один из вечеров уговорила его попробовать мальчика. Их совокупные усилия, однако, не возымели действия на хорошенького катамита, изнуренного множеством недавно оказанных услуг. Его девичий крупик оказался прискорбным образом обезображен разноцветными отпечатками звериных когтей, шлепков и щипков; но хуже всего было то, что парнишка не мог скрыть острого расстройства желудка, отмеченного неаппетитными дизентерийными проявлениями, покрывавшими древко его любовника горчицей и кровью — следствие, очевидно, безудержного поедания зеленых яблок. Раньше или позже его пришлось бы прикончить или изгнать.

Вообще говоря, участие мальчиков следовало запретить. Великолепный французский амурант пришел в упадок после того, как граф Лангбургский обнаружил в нем своего похищенного сына, хрупкого зеленоглазого фавненка, которого осматривал ветеринар, тут же и пристреленный графом по ошибке.

В 1905 году «Виллу Венус» постигло два других несчастья. Особа, которой мы дали имя Ритков или Вротик, вследствие старческих недугов вынуждена была оставить Клуб без своего покровительства. Однако как-то ночью он неожиданно нагрянул, сияющий с виду, как пресловутое красно солнышко, но после того, как все без исключения служащие его

любимого амуранта близ Бата впустую провозились с ним до того часа, когда ироничная Веспер взошла на будничном небе молочников, несчастный властелин половины мира сказал, чтобы ему подали «Розовую Книгу» и записал в нее строку, сочиненную некогда Сенекой:

subsidunt montes et juga celsa ruunt,

— а затем удалился, рыдая. Примерно в то же время одна почтенная лезбиянка, управлявшая «Виллой Венус» в Сувенире, чудесном курорте Миссури, собственными руками задушила (она была русской штангисткой) двух своих самых прелестных и ценных подопечных. Все это было довольно грустно.

Однажды начавшись, упадок Клуба продолжился с удивительной быстротой по нескольким независимым направлениям. Выяснилось, что некоторые девицы с безупречной родословной находятся в розыске как подельницы гангстеров с гротескными челюстями или как самостоятельные злоумышленницы. Продажные врачи выдавали патенты увядшим блондинкам, матерям полдюжины детей, часть которых уже готова была поступить в какой-нибудь отдаленный амурант. Гениальные косметологи придавали сорокалетним матронам облик и запах школьниц на первом балу. Высокородные господа, судьи лучезарной честности, смиренные ученые мужи на поверку оказывались настолько неистовыми совокупителями, что некоторых из их жертв помоложе пришлось госпитализировать и сбыть в обычные лупанарии. Анонимные покровители куртизанок подкупали медицинских инспекторов, и раджа Кашу (самозванец) подхватил венерическую заразу от (настоящей) правнучки императрицы Жозефины. В то же время экономические катаклизмы (бессильные против финансовых или философских возможностей неуязвимого Демона и его сына, но подкосившие многих людей их круга) начали понижать эстетические активы «Виллы Венус». Отвратительные сутенеры с подобострастными ухмылками, обнажавшими прорехи в рядах рыжеватых зубов, выскакивали из розовых кустов и совали вам иллюстрированные буклеты, а были еще пожары и землетрясения, и совершенно неожиданно из ста первых палаццо уцелела только дюжина, да и те вскоре опустились до уровня затхлых борделей, и к 1910 году всех покойников английского кладбища в Эксе пришлось перезахоронить в общей могиле.

Ван, впрочем, не пожалел о своем последнем посещении последней «Виллы Венус». Оплывшая и похожая на цветную капусту свеча коптила в оловянной плошке, стоявшей на подоконнике рядом с завернутым гитарообразным букетом длинных роз, для которых никто не потрудился или не смог найти вазу. В некотором отдалении, на кровати, лежала беременная женщина, курила — одно колено поднято, рука мечтательно почесывает коричневый пах, — глядя на поднимающийся дым, сизые перья которого сливались с потолочными тенями. Еще дальше, позади нее, приоткрытая дверь выходила на то, что можно было принять за освещенную луной галерею, но на самом деле то была запущенная, полуразрушенная грандиозная гостиная с обвалившейся наружной стеной, зигзагообразными трещинами в полу и черным призраком раскрытого

рояля, издающего, словно сам собой, зловещие глиссандо посреди ночи. По ту сторону громадного зияния в оштукатуренной под мрамор кирпичной кладке голое море, не видимое, но слышимое, как тяжело дышащее пространство, отделенное от времени, глухо рокотало, глухо оттаскивало свою полную гальки миску, и вместе с этими дробными звуками вялые порывы теплого бриза достигали не защищенных стенами комнат, колыша теневые перья над лежащей женщиной и клочок грязного пуха, слетевший на ее бледный вздутый живот, и даже отражение свечи в треснувшем стекле синеватого окна. Под ним на грубом, колющем зад диване раскинулся Ван, задумчиво-хмурый, задумчиво оглаживающий прелестную головку у себя на груди, залитой черными волосами этой младшей, о, значительно более младшей сестры или кузины несчастной флоринды на смятой постели. Глаза девочки были закрыты, и всякий раз, как он целовал их влажные выпуклые веки, ритмичное вздымание ее слепых грудок замедлялось или вовсе замирало и вскоре возобновлялось.

Его разбирала жажда, но принесенное им вместе с мягко шуршащими розами шампанское оставалось запечатанным, и у него не хватало духу убрать милую шелковую головку с груди, чтобы заняться взрывоопасной бутылкой. За последние десять дней он много раз ласкал и осквернял ее, но все же не был уверен, что ее вправду звали Адорой, как все ему говорили — и она сама, и другая девица, и третья (служанка, княжна Качурина), которая, казалось, так и родилась в линялом купальном трико, ничего другого не надевая, и которая, похоже, умрет, не дождавшись совершеннолетия или первой по-настоящему холодной зимы — на своем пляжном матрасе, на котором она сейчас стонала в наркотическом оцепенении. А если это дитя действительно звали Адорой, то кто она? Не румынка, не далматинка, не сицилийка, не ирландка, хотя отголосок провинциального акцента можно было уловить в ее ломаном, но не слишком иностранном английском. Было ли ей одиннадцать, четырнадцать или все пятнадцать лет? В самом ли деле сегодня был ее день рождения — двадцать первого июля девятьсот четвертого, или восьмого, или даже на несколько лет более позднего года, здесь, на скалистом средиземноморском полуострове?

Где-то очень далеко часы на церковной башне, слышимые лишь по ночам, дважды прозвенели и прибавили четверть.

«Smorchiama la secandela», на местном диалекте, который Ван понимал лучше итальянского, проговорила лежащая на кровати бандерша. Девочка вздрогнула у него на груди, и он накрыл ее своим оперным плащом. В пропахшем салом мраке, на каменном полу, рядом с навсегда сброшенной им полумаской и его ступней в бальной туфле, появился призрачный узор лунного света. То был не Ардис, то была не библиотека, то была даже не комната, предназначенная для людей, а просто грязная ниша, в которой спал вышибала до своего возвращения к должности тренера по регби в муниципальной школе где-то в Англии. Рояль, единственный предмет в пустом зале, играл, казалось, непроизвольно, но на самом деле его внутренности теребили крысы, искавшие сочных отбросов, положенных туда служанкой, которая любила немного музыки, когда ее перед рассветом привычно будил острый укол в пораженной раком матке. Разрушенная вилла утратила всякое сходство с увиденным Эриком «сном наяву», но маленьким нежным существом в отчаянных объятиях Вана была

Ада.

4

Что такое сны? Случайная череда сцен, тривиальных или трагичных, подвижных или статичных, невероятных или привычных, с более или менее правдоподобными событиями, дополненными разными диковинными деталями, сцены, в которых умершие исполняют новые роли в новых костюмах и декорациях.

Обозревая свои более или менее памятные сны, виденные в продолжение прошедших девяти десятков лет, я могу разделить их по содержанию на несколько разрядов, два из которых превосходят прочие своей характерной определенностью. Я имею в виду сны профессиональные и эротические. В двадцать лет видения первого рода повторялись почти столь же часто, как и второго, причем и те и другие предварялись бессонницами, вызванными или десятичасовым разливом профессиональных занятий, или воспоминаниями об Ардисе, этой занозе, сводившей меня с ума в дневные часы. После работы мне приходилось обуздывать мощное течение своих мыслей, но плеск сочинения, напор требующей воплощения фразы не могли остановить и целые часы, проведенные во мраке и тревоге, и когда мне удавалось добиться хотя бы небольшой уступки, поток все так же продолжал струиться за стеной, даже если я самогипнозом (ни обычное усилие воли, ни снотворные пилюли уже не действовали) заключал свое сознание в границах какого-нибудь иного образа или предмета мыслей — только не об Ардисе, не об Аде, поскольку это означало бы утонуть в стремнине еще худшего бдения, полного ярости и раскаяния, желания и отчаяния, несших меня в бездну, где предельное физическое изнеможение наконец нокаутировало меня забытьем.

В писательских снах, особенно досаждавших мне в ту пору, когда я занимался своей самой ранней беллетристикой и униженно добивался расположения очень капризной музы («на коленях, ломая руки», как тот достославный Мармлед в пыльных штанах перед своей Мармледи у Диккенса), я мог, к примеру, видеть, что правлю гранки, но книга каким-то образом (великое «каким-то образом» сновидений!) уже вышла в свет, в буквальном смысле «в свет» — вынутая из мусорной корзины и протянутая мне чьей-то рукой — во всем своем окончательном и кошмарном несовершенстве, с опечаткой на каждой странице, вроде таких глумливых подмен, как «махал он» вместо «махаон» или бессмысленного «атомная» вместо «томная». Или же я мог спешить на собственный литературный вечер и гневаться из-за людской толпы и вереницы автомобилей, запрудивших улицу, после чего с внезапным облегчением понимал, что мне всего лишь нужно вычеркнуть в рукописи два слова «запрудивших улицу». Та разновидность снов, которую я могу определить как «сны-небоскопы» (не «небоскребы», как, вероятно, запишут две трети класса), относится к подразделу моих профессиональных видений или, лучше сказать, служит предисловием к ним, потому что уже с раннего отрочества редкая ночь проходила без того, чтобы какое-нибудь старое или новое впечатление не вступало в мягкую потаенную связь с моим пока еще безмолвным гением (ибо мы «ван», что рифмует и, собственно, означает «one» в Маринином отрывистом, с низко звучащей гласной русском произношении). На

явление или обещание искусства в такого рода снах указывал образ пасмурного неба, затянутого многослойными облаками, неподвижными, но обнадеживающе белесыми или безнадежно серыми, но зато непрерывно плывущими, обнаруживающими художественные признаки прояснения, и вот сияние бледного солнца пробивается сквозь самый тонкий слой, — но лишь для того, чтобы порыв ветра вновь накинул на него куколь, поскольку я еще не был готов.

К писательским и профессиональным снам примыкают «мрачно-безысходные» видения: пророческого уклона кошмары, таламические катаклизмы, зловещие загадки. Угроза нередко могла быть хорошо спрятана, и какое-нибудь невинное происшествие, если я его отмечал в своем дневнике и позднее возвращался к нему, только задним числом обнаруживало тот провидческий отпечаток, который Дунн объясняет действием «обратной памяти»; но сейчас я не намерен вдаваться в обсуждение сверхъестественного элемента, присущего снам, замечу лишь, что нам недостает некоего логического закона, определяющего допустимое число совпадений в данной области, в случае превышения которого совпадение перестает быть таковым и образует живой организм новой истины («Скажите, — спрашивает гитаночка Осберха двух мавров, Эль-Мотеля и Рамера, — каким в точности должно быть наименьшее число волосков на теле, чтобы его можно было назвать “волосатым”?»).

Между мрачно-безысходными и мучительно-чувственными снами я, пожалуй, помещу «млеко» эротической нежности и щемящего сердце очарования; случайные frôlements незнакомок на условных вечеринках, полуулыбки влечения или уступчивости — предвестники или отголоски тягостных и горьких снов, в которых череда отступающих Адушек исчезает в безмолвном укоре; и слезы, еще более жгучие, чем те, которые я проливал наяву, душили и обжигали бедного Вана и вспоминались затем спустя дни и недели в самые неожиданные моменты.

Неловко описывать эротические сны Вана в семейной хронике, которую могут раскрыть и очень юные читатели после смерти очень старого автора. Двух образчиков, более или менее прозрачных, будет довольно. В замысловатом расположении тематических воспоминаний и автоматических фантазмов Аква, изображающая Марину, или Марина, загримированная под Акву, прибывает с радостным известием для Вана: Ада только что разрешилась девочкой, которой он как раз собирался овладеть на жесткой садовой скамье, в то время как стоящий под сосной отец, а может быть и облаченная во фрак мать, пытается установить трансатлантическое соединение, дабы из Ванса немедленно прислали карету неотложной помощи. Другой сон, повторяющийся в своей неизменной и неудобосказуемой основе с 1888 года и до глубин этого века, содержал, по существу, тройственную и в некотором роде трибадийскую тему. Нехорошая Ада и распутная Люсетта нашли спелый, очень спелый кукурузный початок. Ада берет его за края, как свирель, и початок теперь оказывается свирелью; она проводит своими приоткрытыми губами вдоль инструмента, полируя его стержень, и пока она заставляет его испускать трели и стоны, конец этого органа исчезает во рту Люсетты. Прелестные и алчные юные лица сестер теперь приближены друг к другу — печальные и задумчивые в их медленной, почти апатичной игре; их языки, соприкасаясь, быстро, толчками, вытягиваются, как пламя, и втягиваются обратно; их распущенные

волосы, бронзово-рыжие и бронзово-черные, чарующе смешиваются, а их лоснящиеся зады высоко подняты кверху, пока они утоляют жажду из лужи его крови.

У меня здесь имеются кое-какие заметки об общих свойствах сновидений. Одна озадачивающая особенность моих снов — это множество совершенно незнакомых мне людей с отчетливыми, но никогда более не возникающими чертами; они сопровождают, встречают, провожают меня, докучают длинными нудными рассказами о других незнакомцах, — и все это в памятных местах и среди людей, покойных или живых, которых я хорошо знал или знаю; или те забавные трюки одного из приказчиков Хроноса: очень ясное сознание времени, которое показывают часы, со всеми тревогами, какие переживает опаздывающий человек (на деле вызванными, быть может, переполненным мочевым пузырем), и эта часовая стрелка передо мной, исполненная числового значения, с точки зрения механики вполне убедительная, но соединившаяся — что и составляло курьезную часть сна — с крайне туманным и едва ли существующим ощущением течения времени (эту тему я тоже приберегу до другой части). На все сны влияют переживания и впечатления настоящего, как и детские воспоминания; все они отражают — в образах или ощущениях — сквозняк, свет, обильную еду или острое пищевое отравление. Я обращаю внимание своих студентов на то, что, вероятно, наиболее характерной чертой практически всех сновидений, рядовых или поразительных — и это несмотря на возможность связного или отрывочного, но довольно логичного (в определенных пределах) обдумывания и истолкования (часто абсурдного) увиденных во сне событий, — является удручающее ослабление интеллектуальных способностей сновидца, который совсем не потрясен встречей с давно умершим другом. У сновидца на глазах в лучшем случае полупрозрачные шоры, в худшем же — он умственно отсталый человек. Учащимся (1891, 1892, 1893, 1894 и других лет) следует слово в слово записать (шелест тетрадей), что в силу самой их природы, этой присущей им интеллектуальной вялости и рассеянности, из снов нельзя вывести никакого подобия притчи, символа, аллегории или греческого мифа, если, разумеется, сновидец не грек и не мифолог. Метаморфозы во снах так же обычны, как метафоры в стихах. Писатель, рассматривающий, положим, то обстоятельство, что воображение тускнеет медленнее памяти, и проводящий аналогию с более медленным убыванием начертательного кончика карандаша в сравнении с его резиновой верхушкой, сопоставляет две реальные, определенные, существующие вещи. Хотите, чтобы я это повторил? (Крики: «да!», «да!») Извольте: карандаш в моей руке все еще удобно-длинен, хотя и послужил мне изрядно, но его резиновый наконечник практически стерт вследствие слишком частого использования. Мое воображение не утратило своей силы и работает исправно, но память моя становится все короче и короче. Я сравниваю свой реальный опыт с состоянием этого реального обыденного предмета. Ни один не является символом другого. Схожим образом, когда бакалейный острослов замечает, что небольшое коническое лакомство с комичной вишенкой сверху напоминает то-то и то-то (отдельные смешки среди слушателей), он превращает розовое пирожное в розовую грудь (дикий хохот) в похожей на фрезу оборке или в оборванной фразе (гробовое молчание). Оба предмета реальны, они не могут заменить друг друга, не означают что-то третье, скажем, обезглавленное тело Волтера Рэли, все еще венчаемое образом его

кормилицы (одинокий гоготок). И потому главное заблуждение, неприличное, нелепое и вульгарное заблуждение аналитиков Синьи-Мондьё, состоит в том, что они рассматривают реальный объект, например, помпон или баллон (действительно виденный пациентом во сне) как его многозначительную абстракцию, как бонбон болвана или половину бюста, если вы понимаете, что я имею в виду (разрозненное хихиканье). Нет никаких иносказаний или знаков ни в грезах сельского идиота, ни в недавних снах любого из нас в этом зале. Ничто в этих случайных видениях — подчеркните «ничто» (горизонтальный скрип) — нельзя трактовать как нечто, подлежащее расшифровке знахарем, который затем излечивает душевнобольного или утешает убийцу посредством возложения вины на чересчур ласкового, или чересчур строгого, или вовсе безразличного родителя — тайные гнойные язвы, которые этот по-отечески заботливый шарлатан якобы исцеляет на своих дорогостоящих исповедальных сатурналиях (общий смех и аплодисменты).

5

Осенний семестр 1892 года Ван провел в Кингстонском университете (Майн), который не только располагал отличной клиникой для сумасшедших, но и славился отделением Террапии, и в котором он теперь вернулся к одному из своих старых замыслов, получивших воплощение в работе «Идея функции времени и умственная дисфункция» («Вы так и “sturb”, Ван, с каламбуром на устах», шутил старик Раттнер, местный гений-пессимист, для которого жизнь была лишь «нарушением» раттнертерологического порядка вещей — от «нерторос», а не «терры»).

Ван Вин <как и на свой скромный лад редактор «Ады»> любил менять жилище по завершении каждого раздела, главы и даже параграфа, и он почти закончил трудную часть, посвященную разрыву между временем и содержанием времени (речь о воздействии на материю, в пространстве, и природе пространства как такового), и подумывал о переезде в Манхэттен (такой переход стал бы отражением ментальной рубрикации, а не уступкой какому-нибудь фарсовому «влиянию среды», одобренному Марксом-père, популярным автором «исторических пьес»), когда неожиданно зазвонил дорофон, всколыхнувший и большой, и малый круги его кровообращения.

Никто, даже его отец, не знал, что он недавно приобрел пентхаус Кордулы в небоскребе между Манхэттенской Библиотекой и Парком. Помимо того, что квартира представляла собой идеальное место для работы, с ее террасой ученого уединения, подвешенной в небесной пустоте, и этим шумноватым, но удобным городом, плещущим в подножие нерушимой скалы его интеллекта, она была тем, что в свете называлось «холостяцкой прихотью» или «гнездышком», в котором он мог сколько угодно и как угодно развлекать любую приглянувшуюся девушку или девушек. (Одна из них назвала апартаменты так: «твое крыло à terre».) Но в тот ясный ноябрьский день, когда он согласился принять Люсетту, он все еще обретался в довольно убогих комнатах Кингстона, напоминавших его чузское жилище.

Он не видел ее с 1888 года. Осенью 1891 она послала ему из Калифорнии бессвязное, неприличное, безумное, почти дикое признание

в любви на десяти страницах, не подлежащих обсуждению в настоящих мемуарах <См., впрочем, чуть дальше. Ред.>. Она теперь изучала историю искусств («последнее пристанище посредственности», сказала она) в соседнем Куинстонском Колледже для Гламурныхъ и Глуповатыхъ Девиц. Когда она позвонила ему и уговорила встретиться (новым, более густым голосом, мучительно напомнившим Адин), то намекнула, что привезет важное сообщение. Он подозревал, что это будет еще одно излияние ее безответной страсти, но в то же время чувствовал, что ее визит вызовет адское пламя.

Пока он ожидал ее, прохаживаясь взад и вперед по всей длине своих апартаментов, устланных коричневыми коврами — то рассматривая в северо-восточном окне в конце коридора не по сезону пышные, залитые лучами деревья, то возвращаясь в гостиную, выходившую окнами на окаймленный солнцем зеленый Суконный Двор, — он старался не подпускать мыслей об Ардисе, с его садами и орхидеями, подготавливая себя к предстоящему испытанию, подумывая о том, чтобы вовсе отменить ее визит или велеть слуге принести извинения за внезапность его спешного и вынужденного отъезда, в то же время отлично сознавая, что этого свидания не избежать. Что до самой Люсетты, то она лишь скользила по самому краю его размышлений: она жила в том или этом солнечном зайчике, не более, но и отбросить ее вместе со всем испещренным солнцем Ардисом он не мог. Мимоходом ему вспомнилось приятное ощущение на коленях, ее круглый задок, ее глаза цвета дикого лука, когда она повернулась к нему и убегающей дороге. Стала ли она усеянной веснушками толстухой — беспечно думал он — или присоединилась к группе грациозных нимф из рода Земских? Он оставил приоткрытой ту дверь гостиной, которая вела на лестничную площадку, и все же пропустил стук ее высоких каблучков, взбегавших по ступеням (или не отличил его от ударов собственного сердца), находясь на середине своей двадцатой прогулки «обратно, к садам и усладам! Эрос, qui prend son essor! К искусства сквозным анфиладам: Эрос, здесь розы узор». Не даются мне эти размеры, но даже рифмовать легче, чем немой прозой «вымести прошлого сор». Кто это написал? Вольтиманд или Вольтеманд? Или Бурный Сукин Свин. Пусть моль изъест его анапест! «Все, кого раньше любили, — почили, иль жены чужие». Все, по кому мы скорбим, — девственницы или шлюхи.

Черный медведь с ярко-рыжими кудрями (солнце уже добралось до первого окна гостиной) стоял и ждал его на пороге. Да, ген Z победил. Стройная незнакомка. Зеленые глаза стали больше. В свои шестнадцать лет она выглядела несравнимо более искушенной, чем ее сестра в том же роковом возрасте. Черные меха и без шляпы.

«Моя радость!» — сказала Люсетта, именно так; он ожидал чуть большей сдержанности: в конце концов, он едва знал ее раньше, разве что как рдяное чадо.

Глаза плавно задвигались, коралловые ноздри напряглись, красный рот угрожающе обнажил язык и зубки, и Люсетта, заранее ощерившись (так домашний зверь предупреждает, что может слегка укусить), приблизила к нему личико в оцепенении подступающей неги, пригласительной ласки — аврора, которая знает (она знала) о начале новой жизни для нее и для него.

«Только в скулу», остерег Ван молодую леди.

«Ты предпочитаешь скелетики», пролепетала она, когда Ван коснулся мягкими губами (ставшими вдруг еще суше, чем обычно) жаркого твердого маслачка кузины. Он не мог не вдохнуть ее de Grasse, модных, хотя и откровенно игривых («пафосских») духов, и сквозь них ощутить пламя ее Маленькой Larousse, как он и та, другая, сказали, решив заточить ее в ванне с водой. Да, очень порывистая и душистая. Бабье лето — слишком теплое для мехов. Крестъ холеной рыжеволосой (rousse) девушки, его четыре горящие конечности. Потому что нельзя вот так погладить (как он сейчас) медную маковку, не представив себе сразу нижнего лисенка и парных угольков.

«Так вот где он живет», сказала она, озираясь, поворачиваясь, пока он с удивлением и грустью помогал ей высвободиться из ее мягкой, просторной, черной шубы, гадая между тем (он любил меха): котик? Нет, выхухоль. Услужливый Ван восхитился изяществом ее стана, сшитым у портного серым костюмом, дымчатым фишю, а когда последний соскользнул и растаял в воздухе — ее длинной белой шеей. Сними жакет, сказал он или подумал, что сказал (стоя с разведенными в стороны руками, в антрацитовом костюме, самовозгораясь посреди мрачной гостиной этого мрачного дома, англофильски названного «Вольтеманд-Холл», в Кингстонском университете, осенний семестр 1892 года, около четырех пополудни).

«Пожалуй, сниму жакет, — сказала она, на мгновенье нахмурившись со свойственной женщинам озабоченностью, сопровождающей такого рода намерения. — У тебя центральное отопление, а у нас, девочек, только утлые камины».

Она сняла его, оставшись в белой сборчатой блузке без рукавов. Она подняла руки, чтобы запустить пальцы в свои яркие локоны, и он увидел ожидаемые яркие впадины.

Ван сказал: «Все три створки pourtant открыты и могут открываться шире, но все они выходят на запад, а этот заросший травой двор внизу — молитвенный коврик вечернего солнца, — от чего гостиная только сильнее нагревается. Как это ужасно для оконницы — не иметь возможности повернуть свою парализованную амбразуру и увидеть, что там, на другой стороне дома».

Рожденный Вином, Вином и помрет.

Она щелкнула замком черного шелкового ридикюля, выудила из него носовой платок и, оставив сумочку с разинутой пастью на краю буфета, отошла к дальнему окну и стала там, ее хрупкие плечи душераздирающе вздрагивали.

Ван заметил длинный, синий, с фиолетовой печатью конверт, торчащий из сумочки.

«Люсетта, не плачь. Это слишком легко».

Она вернулась, вытирая нос, обуздывая влажные детские всхлипы, все еще надеясь на решительное объятие.

«Вот, выпей бренди, — сказал он. — Садись. А где остальные члены семьи?»

Она вернула скомканный платок многих старых романов в свою сумочку, которая, впрочем, осталась открытой. У чау тоже синие языки.

«Мама пребывает в своей частной Сансаре. У папы снова был удар. А sis [т. е. sister — сестра] вернулась в Ардис».

«Sis! Cesse, Люсетта! Нам здесь только змеенышей не хватало».

«Змееныш не вполне понимает, какой тон взять с доктором В.В. Сектором. Ты ничуть не изменился, мой бледный дружок, если не обращать внимания на то, что без своего летнего Glanz ты выглядишь будто призрак, которому не мешало бы побриться».

И без летней Mädel. Он заметил, что письмо в длинном синем конверте теперь лежит на буфете из красного дерева. Он стоял посреди гостиной, потирая лоб, и не смел, не смел, видя, что почтовая бумага была ее, Ады.

«Хочешь чаю?»

Она покачала головой. «Я не могу долго оставаться. К тому же ты, кажется, сказал по дорофону, что будешь занят сегодня. Вот так навалятся вдруг дела после четырех совершенно пустых лет» (он бы тоже расплакался, если бы она не перестала).

«Да. Не знаю. У меня назначена встреча около шести».

Две мысли парой кружились в медленном танце, в механическом менуэте, с поклонами и реверансами, одна такая: «сколько-всего-нам-надо-сказать», а другая такая: «нам-совершенно-нечего-сказать». Но такого рода вещи способны перемениться во мгновение ока.

«Да, я должен встретиться с Раттнером в половине седьмого», сказал Ван, сверившись с календарем невидящим взором.

«Раттнер о Терре! — воскликнула Люсетта. — Ван читает Раттнера о Терре. Тушка никогда, никогда не должна беспокоить его и меня, когда мы читаем Раттнера!»

«Умоляю тебя, дорогая моя, не нужно никого изображать. Не будем превращать приятную встречу во взаимную пытку».

Чем она занимается в Куинстоне? Она уже рассказывала ему. Ах да. Трудный курс? Нет. Что ж… Время от времени оба искоса поглядывали на письмо, проверяя, как оно себя ведет — не болтает ли ножками, не ковыряет ли в носу.

Вернуть не вскрывая?

«Скажи Раттнеру, — сказала она, глотая третью рюмку бренди так же просто, как если бы это была подкрашенная вода, — скажи ему (спиртное развязало ее прелестный гадючий язычок) —

(Гадючий? У Люсетты? Моей милой мертвой душки?)

— скажи ему, что когда давным-давно ты и Ада —

Имя раскрылось как черный дверной проем, затем дверь хлопнула.

— бросали меня ради него, а потом возвращались, я всякий раз знала, что вы всё сделали (утолили свою похоть, усмирили свой жар)».

«Кое-кому эти мелочи слишком глубоко запали в память, Люсетта. Пожалуйста, довольно».

«Кое-кто, Ван, помнит эти мелочи намного отчетливее, чем всякие важные происшествия. К примеру, во что вы были одеты в разные дни, в каждый долгий, щедрый день, с солнечными лучами на стульях и на полу. Я-то была практически голой, будучи всего лишь бесполым невинным ребенком. Она же надевала мальчишескую рубашку и короткую юбку, а ты носил только мятые запачканные шорты, еще даже shorter [короче], оттого что измятые, и они всегда пахли одинаково после того, как ты с Адой побывал на Терре, с Раттнером на Аде, с Адой на Антитерре в Лесу Ардиса. О, от них определенно несло, знаешь ли, от твоих штанишек, лавандовой Адой и ее кошачьим кормом и затхлостью твоего рожкового стручка!»

Должно ли письмо, теперь лежащее рядом с бренди, слушать все это? Было ли оно в самом деле от Ады (адрес не указан)? Потому что сейчас звучало безумное, пугающее любовное письмо Люсетты.

«Ван, это заставит тебя улыбнуться» <так в рукописи. Ред.>.

«Ван, — сказала Люсетта, — это заставит тебя улыбнуться (не заставило: такого рода посулы редко сбываются), но если ты задашь знаменитый Вопрос Вана, я отвечу утвердительно».

Вопрос, заданный им малышке Кордуле. В том книжном магазине, за вращающейся стойкой с дешевыми книжками в мягких обложках: «Гитаночка», «Наши парни», «Клише в Клиши», «Шесть шипов», «Библия без сокращений», «Мертваго навсегда», «Гитаночка»… В beau monde он был известен тем, что задавал этот вопрос при первом же знакомстве со всякой молодой леди.

«О, не думай, что это было легко! В припаркованных автомобилях и на шумных вечеринках приходилось все время быть начеку, отшивать приставал! И только прошлой зимой на Итальянской Ривьере был один мальчик лет четырнадцати или пятнадцати, такой не по годам развитый, но ужасно застенчивый и неврастеничный молодой скрипач, напоминавший Марине ее брата… И вот почти три месяца, каждый благословенный вечер я позволяла ему трогать себя, а сама трогала его, после чего наконец могла спать без снотворного, но, не считая его, я ни разу не

поцеловала мужского эпителия за всю свою любовь, то есть жизнь. Слушай, я готова поклясться, что никогда этого не делала, клянусь… клянусь Вильямом Шекспиром (драматически воздевает руку к полке с длинным рядом толстых красных томов)».

«Погоди! — крикнул Ван. — Это собрание сочинений Фолкнерманна, брошенное прежним жильцом».

«Пах!» — произнесла Люсетта.

«И пожалуйста, обходись без этого словца».

«Прости — о, я знаю, о, я не буду».

«Конечно ты знаешь. И все-таки ты очень милая. Я рад, что ты пришла».

«Я тоже рада. Но Ван! Даже не думай, что я преследую тебя, чтобы твердить, как безумно и несчастно я в тебя влюблена и что ты можешь делать со мной все, что захочешь. Если я просто не нажала на кнопку звонка и не сунула это письмо в горящую щель, чтобы тут же бежать, то это потому, что мне нужно было тебя увидеть, потому что есть еще кое-что, о чем тебе следует знать, даже если ты станешь презирать и ненавидеть меня и Аду. Отвратительно трудно объяснить, особенно для девственницы — во всяком случае, в формальном отношении, kokotische девственницы, полу-poule, полу-puella. Отдаю себе отчет в деликатности темы, это такие секреты, которые не следует обсуждать даже с единовагинным братом — секретные не только в их моральном и мистическом планах —»

Единоутробным — хотя и достаточно близко. Выражение, конечно, подхватила от своей сестрицы. Знакомый строй и крой. «Твоя синяя тень, платье модного кроя» (пошлая песенка, звучавшая из «Сонаролы»). До посинения просила RSVP.

«— но также и в прямом плотском отношении. Потому что, дорогой Ван, в этом прямом плотском отношении я знаю нашу Аду не хуже твоего».

«Выкладывай», устало сказал Ван.

«Она не писала тебе об этом?»

Отрицательный Горловой Звук.

«О том, что мы называли Прижимать Пружинку?»

«Мы?»

«Она и я».

О. Г. З.

«Помнишь бабушкин эскритуар между глобусом и геридоном? В библиотеке?»

«Я даже не знаю, что такое эскритуар, и не могу представить себе никакого геридона».

«Но ты помнишь глобус?»

Пыльная Татария и пальчик Сандрильоны, протирающий место, где предстояло погибнуть захватчику.

«Да, помню; и что-то вроде подставки, разрисованной золотыми драконами».

«Вот это геридон и есть. На самом деле то была китайская подставка, которой красный лак придал японский вид, а между ними стоял эскритуар».

«Между Китаем и Японией? Выражайся яснее. Я все еще не знаю, как выглядит этот твой загадочный маскитуар. Я хочу сказать, выглядел в 1884 или в 1888 году».

Эскритуар. Почти так же плохо, как у другой, с ее Блемолопиями и Молоспермами.

«Ван, Ваничка, мы отвлеклись от главного. А главное заключается в том, что бюро или, если тебе больше нравится, секретер —»

«Ни то ни другое не нравится, но он стоял в изголовье черного дивана».

Таким образом впервые упомянутого — хотя оба молчаливо использовали его как ориентатор или как правую руку, нарисованную на прозрачной вывеске, которую лишенное границ око философа, облупленное, сваренное вкрутую яйцо, свободно курсирующее, но ощущающее, какой из его концов ближе к фантомному носу, видит висящей в бесконечном пространстве; после чего свободное это око с германской грацией плавно заходит за стеклянную вывеску и видит просвечивающую сквозь нее левую руку, — вот оно, решение! (Бернард сказал, в шесть тридцать, но я могу немного опоздать.) Ментальное в Ване всегда обрамляло чувственное: незабываемый, грубоватый, пушистый велюр Вильявисьосы.

«Ван, ты намеренно обходишь предмет —»

«Не все предметы обходимы».

«— потому что на другом, пяточном конце Ваниадского дивана — помнишь? — стоял только шкаф, в котором вы двое запирали меня раз десять, не меньше».

«Ну уж и десять. Только однажды — и никогда больше. В нем была замочная скважина, размером с глаз Канта. Кант был знаменит своими огуречного цвета райками».

«Хорошо, так вот этот секретер, — продолжила Люсетта, скрестив

прелестные ноги и рассматривая свою левую туфельку, свою необыкновенно элегантную, лакированной кожи “Хрустальную” туфельку, — этот секретер имел секретик. Внутри него был раскладной карточный столик и потайной ящик. И тебе взбрело в голову, кажется, что он набит любовными письмами нашей бабушки, написанными ею в двенадцать или тринадцать лет. А наша Ада знала, о, она знала, что ящичек точно есть, но забыла, как добиться оргазма или как это там называется у карточных столов и конторок».

Как это там называется.

«Мы бросили тебе вызов, чтобы ты нашел тайное чувствилище, сенсориум, и заставил его сработать. Тем летом Белль растянула поясницу, и когда нас предоставили самим себе, я не знала, куда деться, вы-то с Адой отлично знали, а в моем случае particule еще сберегалась в трогательной чистоте. Ты все нашаривал и нащупывал маленький орган, оказавшийся податливым бугорком на палисандре, скрытой под сукном пружинкой, и Ада рассмеялась, когда ящик выскочил».

«И в нем ничего не было», сказал Ван.

«Не совсем. В нем была крошечная красная пешка, вот такого размера (показывает пальцами высоту ячменного зернышка — над чем? Над кистью Вана). Я сохранила ее на счастье; она, должно быть, до сих пор лежит у меня где-то. Так или иначе, этот случай предобусловил, как выражается мой профессор Орнамента, развращение твоей бедной четырнадцатилетней Люсетты в Аризоне. Белль вернулась в Канадию, потому что Вронский искалечил “Обреченных детей”; ее преемница сбежала с Демоном; рара путешествовал на Востоке; maman редко возвращалась домой до рассвета; служанки по ночам разбредались кто куда со своими любовниками, а я терпеть не могла спать одна в отведенной мне угловой комнате, даже если не гасила розовый фарфоровый ночник с просвечивающей картинкой заблудшего ягненка, потому что боялась пум и змей <здесь, по всей видимости, передана не ее речь, а отрывок из письма или писем. Ред.>, вою и погремушкам которых Ада подражала с большим искусством, и, полагаю, намеренно, подкрадываясь во мраке пустыни под окно моей спальни на первом этаже. Так вот <здесь, судя по всему, вновь включается записанная речь>, если говорить по телу —»

Шутливая присказка старой графини де Пре, расхваливавшей хромую кобылу в своей конюшне в 1884 году, подхваченная ее сынком, перешедшая к его любовнице, от которой ее и переняла единоутробная сестра. Сидевший в красном плюшевом кресле Ван, пальцы рук сложены шатром, мгновенно вывел эту цепочку.

«— я пришла со своей подушкой в спальню Ады, где ночник, похожий на мой, высвечивал светлобородого чудака в махровом халате, обнимающего найденного ягненка. Ночь стояла горячая, как жаровня, и мы были совсем голые, если не считать кусочка пластыря на том месте, где доктор погладил и уколол мою руку, и Ада была олицетворением черно-белой красы, pour cogner une fraise, тронутой земляничной алостью в четырех местах, симметричная дама червей».

В следующий миг они прижались друг к дружке и испытали столь восхитительное удовольствие, что стало ясно — они всегда будут так делать вместе, в гигиенических целях, восполняя отсутствие любовника и усмиряя плотский жар.

«Она научила меня вещам, о которых я даже не подозревала, — вновь переживая былое удивление, призналась Люсетта. — Мы сплетались, как змеи, и рыдали, как пумы. Мы были монгольскими акробатками, монограммами, анаграммами, адалюциндами. Она целовала мой крестик, а я ее, и наши головы были зажаты в таких причудливых положениях, что у Бриджет, маленькой горничной, случайно вошедшей к нам со свечой, мелькнула нелепая мысль, хотя она сама не прочь развлечься, что мы одновременно рожаем девочек, твоя Ада разрешается une rousse, а ничья Люсетта — une brune. Только представь».

«И смех и грех».

«О, это продолжалось на ранчо Марины чуть ли не каждую ночь и нередко еще во время сиесты. При всем том, в промежутках между этими vanouissements — ее выражение — или во время менструаций, которые, веришь или нет —»

«Я могу поверить во что угодно», сказал Ван.

«— у нас с ней всегда совпадали, мы оставались обычными сестрами, ведущими рутинные разговоры, имеющими мало общего друг с другом — она собирала кактусы или повторяла свои реплики для следующего прослушивания в Стерве, а я много читала или срисовывала красивые эротические картинки из альбома Запрещенных Шедевров, который мы нашли, апропо, в оставленной Белль коробке корсетов и хрестоматий, и я могу заверить тебя, что они были намного реалистичнее свитков Монга Монга, очень плодовитого в 888 году, за тысячу лет до того, как Ада сказала, что они иллюстрируют восточную гимнастику, когда я случайно наткнулась на них в углу одного из своих укрытий. Так проходил день, а потом зажигалась звезда и огромные ночницы на шестереньках карабкались вверх по оконным стеклам, и мы сплетались и сливались, пока не забывались сном. И вот так я научилась…», закончила Люсетта, смежив веки и заставив Вана всего сжаться из-за дьявольски точного повторения сдержанного тихого хныканья, каким у Ады сопровождался миг высшего наслаждения.

В эту минуту, как в умело состряпанной пьесе, прослоенной для разрядки комичными сценками, загудел медный кампофон, и не только закулдыкали радиаторы отопления, но и содовая в открытой бутылке участливо зашипела.

Ван (раздраженно): Не разобрал первое слово… Как-как? L’adorée? Минуту. (К Люсетте.) Пожалуйста, не уходи. (Люсетта шепотом произносит французское детское слово с двумя «п».) Окэй (указывает в

сторону коридора). Простите, Полли. Итак, вы сказали l’adorée? Нет? Прочитайте все предложение. Ах, la durée. La durée это не… какое еще либидо? А, либо «длительность». Синонимы? Еще раз прошу меня извинить, я должен заткнуть этот газированный фонтан. Не кладите трубку. (Кричит в сторону «cory door», как они называли длинный проход на втором этаже Ардис-Холла.) Люсетта, пусть переливается, все равно!

Он наполнил себе вторую рюмку бренди и на одну дурацкую секунду задумался, от чего он, чорт возьми, только что отвлекся. Ах да, поллифон.

Трубка не подавала признаков жизни, но едва он повесил ее, как аппарат вновь загудел, и одновременно Люсетта несколько раз раздельно стукнула в дверь.

Ван: La durée… Господи, да входи без стука… Нет, Полли, стук к вам не относится: это моя маленькая кузина. Продолжим. La durée никакой не синоним длительности, хотя термин и проникнут, да, как “проникать”, именно этим представлением философа. Что снова не так? Не уверены, что речь идет о durée, а не о dorée? D, u, r. Я полагал, что вы владеете французским. Ах, вот как. До свидания.

«Моя машинистка, заурядная, но всегда доступная блондинка, не смогла разобрать “durée”, отчетливо написанный у меня термин, поскольку, по ее словам, она знает французский, но не научный французский».

«По-моему, — заметила на это Люсетта, смахивая с длинного конверта каплю содовой, — Бергсон годится или для совсем юных, или для очень несчастных людей, вроде стоящей перед тобой всегда доступной rousse».

«За распознание Бергсона, — сказал греходаватель, — ставлю четверку с минусом dans ton petit cas, не больше. Или мне вознаградить тебя поцелуем в крестик, чем бы он ни оказался?»

Морщась, иначе скрещивая ноги, наш молодой Вандемонианец проклинал про себя то состояние, в которое его вверг образ четырех угольков лисицы, расположенных крестом. «Состояние» — один из синонимов к слову «положение», а прилагательное «человеческий» может быть истолковано как «мужской» (поскольку L’Humanité означает «Mankind» — «человечество» по-английски, но также и «мужской пол»!), и вот так, милые мои, Лоуден недавно перевел название дешевого романа malheureux Помпье «La Condition Humaine», в котором, между прочим, термин «Вандемонианец» снабжен следующим вздорным пояснением: «Koulak tasmanien d’origine hollandaise». Выпроводи ее, пока не поздно.

«Если ты серьезно, — сказала Люсетта, проведя язычком по губам и прищурив потемневшие глаза, — то, радость моя, ты можешь сделать это прямо сейчас. Но если ты смеешься надо мной, то ты отвратительно жестокий Вандемонианец».

«Будет, будет, Люсетта, крестик всего лишь означает маленький крест,

ничего другого, что еще? Это какой-нибудь талисман? Ты только что говорила о красной кнопке или пешке. Это то, что ты носишь или носила на шейной цепочке? Маленький коралловый желудь, glandulella весталок Древнего Рима? Что с тобой, девочка?»

Все так же с прищуром глядя на него: «Воспользуюсь случаем, — сказала она, — объясню, хотя это всего лишь одно из “ласкательно-башенных” словечек нашей сестры, а я думала, что ты знаком с ее словарем».

«Ах, я знаю, — воскликнул Ван (дрожа от злого сарказма, кипя от таинственной ярости, вымещая ее на рыжем козленке, наивной Люсетте, преступление которой состояло лишь в том, что она вся была покрыта неисчислимыми призрачными поцелуями той, другой). — Конечно, теперь я вспомнил. Скверное пятно в единственном числе может быть священным законом во множественном. Ты, разумеется, имеешь в виду стигматы между бровями у целомудренных и юных болезненных монашек, которых священники крестообразно миропомазывали по этим или другим местам».

«Нет, намного проще, — сказала терпеливая Люсетта. — Давай вернемся в библиотеку, где ты нашел ту крошечную штучку, все еще стоящую в ящике стола —»

«Z относится к Земский. Мои надежды оправдались: ты вылитая Долли, которая, еще облаченная в свои прелестные панталончики, держит в руках фламандскую гвоздику на портрете, висящем в библиотеке над ее секретным секретером».

«Нет, нет, — сказала Люсетта, — это посредственное полотно присматривало за твоими шалостями и занятиями с другого конца комнаты, рядом со шкафом, будучи повешенным над застекленным книжным стеллажом».

Когда эта пытка закончится? Не могу же я вскрыть письмо у нее на глазах и прочитать его вслух, к удовольствию почтенной публики. Я не владею искусством размерять свои вздохи.

«Как-то раз в библиотеке, стоя на коленях на желтой подушке, положенной поверх сиденья чиппендейловского кресла, стоящего у овального стола с львиными лапами —»

<Обилие эпитетов не оставляет сомнений в том, что эта речь имеет эпистолярный источник. Ред.>

«— я застряла со своими шестью Buchstaben в последнем раунде “Флавиты”. Не забывай, мне было всего восемь, и я еще не изучала анатомию, но изо всех своих слабых сил старалась не отставать от двух Wunderkinder. Взглянув и пробежав пальцами по моему лотку, ты быстро перестроил бессмысленный ряд букв, что-то вроде, скажем, ЛИКРОТ или РОТИКЛ, и Ада накрыла нас с тобой потоком своих вороных шелков, тоже посмотрев поверх наших голов, и когда ты закончил перестановку, вы оба зашлись в одновременном экстазе, si je puis le mettre comme ça (канадийский французский), повалились на черный ковер в припадке непонятного мне веселья, так что я, наконец, тихо

составила РОТИК и осталась при своем единственном и малоценном инициале. Надеюсь, я основательно сбила тебя с толку, Ван, потому что la plus laide fille du monde peut donner beaucoup plus qu’elle n’a, а теперь давай скажем: прощай, твой навсегда».

«Пока этот механизм ему принадлежит», пробормотал Ван.

«Гамлет», сказала самая способная ученица нашего преподавателя.

«Хорошо, хорошо, — ответил ее и его мучитель, — но, знаешь, не чуждому медицины английскому флавитисту потребовались бы еще две буквы, чтобы составить, к примеру, STIRCOIL, известный стимулятор потовых желез, или CITROILS, которым конюхи натирают кобыл».

«Прошу, умолкни, Вандемонианец, — простонала она. — Прочти ее письмо и подай мне шубу».

Но он продолжал с искаженным лицом:

«Я изумлен! Я и представить не мог, что получившая домашнее воспитание девица, среди предков которой скандинавские цари, русские великие князья и ирландские бароны, способна обращаться к языку пресловутых трущоб. Да, ты права, ты ведешь себя как кокотка, Люсетта».

В грустной задумчивости Люсетта сказала: «Как отвергнутая кокотка, Ван».

«О моя душенька! — воскликнул Ван, пораженный собственной черствостью и жестокостью. — Пожалуйста, прости меня! Я нездоров. Последние четыре года я страдаю от единокровнеоканцероза, таинственной болезни, описанной Конильетто. Не клади свою холодную ручку на мою лапу — это может только ускорить и твой, и мой конец. Продолжай свой рассказ».

«Что ж, обучив меня простым гаммам для одной руки, которые я могла разыгрывать самостоятельно, жестокая Ада меня бросила. Правда, мы никогда не переставали делать это вместе, время от времени — на ранчито каких-нибудь знакомых после вечеринки, в белом седане, которым она учила меня управлять, в спальном вагоне, мчащем по прерии, в печальном, печальном Ардисе, где я провела с ней одну ночь перед отъездом в Куинстон. О, я обожаю ее руки, Ван, потому что на них такая же родинка, потому что пальцы такие же длинные, потому что они, в сущности, Вановы в отражении, в уменьшительно-ласкательной форме — ручки (разговор, как то нередко случалось в эмоциональные моменты у представителей Вин-Земской ветви этого странного семейства, благороднейшего в Эстотиландии, знатнейшего на Антитерре, пестрел русскими оборотами — особенность, не слишком последовательно переданная в этой главе — читатели сегодня беспокойны). Она бросила меня, — продолжала Люсетта, издав одной стороной рта щелкающий звук и оглаживая задумчивой ладонью телесного цвета чулок. — Да, она ввязалась в довольно безотрадную интрижку с Джонни, молодой звездой с Фуэртевентуры, c’est dans la famille, своим точным однолеткой, к тому же очень похожим на нее, родившимся в тот же год, день, миг —»

Здесь глупенькая Люсетта допустила промашку.

«Ах, этого не может быть, — прервал ее помрачневший Ван, раскачиваясь из стороны в сторону со сложенными на груди руками и нахмуренными бровями (страшно хотелось прижать смоченную в кипятке Wattebausch — как жалкий Рак называл ее клавишамкающие арпеджио — к этому наливному прыщу на правом виске). — Этого просто не может быть. Ни единый проклятый близнец не в состоянии так сделать. Даже те, которых видела Бриджет, миленькая штучка, как я ее себе представляю, с этим свечным пламенем, играющим между ее оголенных сосочков. Обычно близнецы появляются на свет с разницей во времени, — продолжал он голосом помешанного, столь хорошо контролируемым, что он звучал скорее надменно, — редко составляющей менее четверти часа, — время, необходимое работающей матке для восстановления сил и расслабления с женским журнальчиком перед возобновлением своих довольно неаппетитных схваток. В очень редких случаях, когда матка просто продолжает автоматически сокращаться, акушер может воспользоваться этим, чтобы извлечь второе отродье, которое, таким образом, считается, скажем, тремя минутами моложе первого, что в случае династически счастливых разрешений от бремени, вдвойне счастливых, так сказать, — весь Египет сгорает от нетерпения, — может иметь, и имело, даже более важное значение, чем в финише марафона. Но живые создания, сколь бы многочисленными они ни были, никогда не рождаются à la queue-leu-leu. “Одновременные близнецы” — противоречие в определении».

«Ну уж не знаю, — протянула Люсетта (точно воспроизведя унылую интонацию своей матери, произносившей эту же фразу так, как будто подразумевала признание своей ошибки и невежества, но каким-то образом придавала, благодаря едва заметному кивку скорее снисходительности, чем согласия, справедливому возражению собеседника налет трюизма и скуки). — Я только хотела сказать, — продолжила она, — что он был красивым испано-ирландским юношей, темноволосым и белокожим, и люди принимали их за близнецов. Я не говорила, что они действительно были близнецами. Или “дройней”».

Дробней? Как две дробинки? Двоицей? И кто это так произносил? Кто? Кто? Капающая свечка-овечка во сне? Живы ли сиротки? Но мы должны выслушать Люсетту.

«Спустя год или около того она узнала, что Джонни находится на содержании у старого педераста, и порвала с ним, а тот выстрелил себе в голову на пляже во время прилива, но серфингисты и хирурги спасли его, и теперь его мозг поврежден, он больше не сможет говорить».

«К немым всегда можно обратиться в крайнем случае, — мрачно заметил Ван. — Он мог бы сыграть безъязыкого евнуха в фильме “Стамбул, мой буль-буль” или конюшенного, переодетого дворовой девочкой, приносящей письмо».

«Ван, я тебе сильно наскучила?»

«Ах, глупости, это пикантная и волнующая история болезни».

Потому что вышло в самом деле преотлично: за три года изничтожить трех, да к тому же ранить четвертого. Какой выстрел, Адиана! Любопытно, кто будет следующим?

«Не требуй подробностей о наших сладостных, жарких и гадких ночах с Адой, перед тем, как возник этот бедный мальчик, и до того, как объявился следующий самозванец. Если бы моя кожа была холстом, а ее губы — кистью, ни единый вершок не остался бы неокрашенным, и наоборот. Ты шокирован, Ван? Ненавидишь нас?»

«Напротив, — ответил Ван, сносно изображая непристойную веселость. — Кабы я не был женопоклонником мужского пола, то стал бы лезбиянкой».

Его пошлая реакция на ее представление, тщательно подготовленную эффектную сцену, на ее продиктованное отчаянием коварство заставила Люсетту сникнуть, иссякнуть, умолкнуть перед черным провалом, где в невидимой и вечной зале угрюмо покашливали зрители. Он в сотый раз скользнул взглядом по голубому конверту, ближайший длинный край которого лежал не совсем параллельно краю глянцевитой полки из красного дерева, а левый верхний угол был полускрыт подносом с бренди и содовой, в то время как правый нижний уголок указывал на любимый Ванов роман «Изменчивые грани», лежавший на буфете.

«Хочу поскорее увидеть тебя снова, — сказал Ван, покусывая большой палец, размышляя, проклиная повисшую паузу, изнывая по содержимому голубого конверта. — Ты должна погостить в моей новой квартире на Алекс-авеню. Я обставил гостевую комнату всякими bergères и torchères и креслами-качалками. Она похожа на будуар твоей матери».

Люсетта сделала реверанс уголками печального рта, à l’Américaine.

«Приедешь ко мне на несколько дней? Обещаю вести себя подобающим образом. Условились?»

«Мое представление о подобающем может не совпадать с твоим. А что же Кордула де Пре? Она не станет возражать?»

«Квартира моя, — сказал Ван, — да к тому же Кордула теперь замужем за Иваном Дж. Тобаком. Они сейчас транжирят денежки во Флоренции. Вот ее последняя открытка. Портрет Владимира Христиана Датского, который просто “одно лицо”, как она уверяет, с этим ее Иваном Джиовановичем. Взгляни».

«Да кому есть дело до Сустерманса», заметила Люсетта, что напомнило манеру ее единоутробной сестры уклончиво отвечать ходом коня, а также ловкую rovesciata латиноамериканского футболиста.

Нет, это вяз. Полтыщи лет тому назад.

«Его предком, — скороговоркой продолжал Ван, — был знаменитый или, по крайней мере, fameux русский адмирал, дравшийся на épée дуэли с Жаном Нико, а еще его именем названы острова Тобаго или Тобакофф, не

помню, какие именно, это было так давно, пятьсот лет тому назад».

«Я упомянула ее только потому, что прежнюю возлюбленную легко раздражают неверные выводы, за которые она цепляется, как кошка, которая, не одолев изгороди, отбегает, не делая новой попытки, и останавливается, чтобы оглянуться».

«От кого ты узнала об этой похотливой корделюдии, я хотел сказать, интерлюдии?»

«От твоего отца, mon cher, мы с ним часто виделись на Западе. Ада сперва решила, что Таппер — вымышленное имя и что ты дрался на дуэли не с ним, но это было еще до того, как пришло известие о смерти другого человека в Калугано. Демон сказал, что ты должен был просто отколотить его палкой».

«Я не мог, — сказал Ван, — крыса уже подыхала на больничной койке».

«Но я говорю о Таппере! — воскликнула Люсетта, превратившая свой визит в кошмарную чехарду. — Не о своем бедном, обманутом, отравленном, ни в чем не повинном учителе музыки, которого даже Ада, если не врет, не смогла излечить от импотенции».

«Дройня», сказал Ван.

«Не обязательно его, — возразила Люсетта. — Любовник его жены играл на виоль д'амур в концерте для трех скрипок. Слушай, я возьму что-нибудь почитать (просматривает корешки на ближайшей полке: "Гитаночка", "Клише в Клиши", "Мертваго навсегда", "Гадкий янки") и свернусь клубочком, комонди, в соседней комнате, пока ты… Ах, обожаю "Изменчивые грани"».

«Спешить некуда», сказал Ван.

Пауза (до конца действия остается около четверти часа).

«Когда мне было десять, — сказала Люсетта, чтобы прервать молчание, — я находилась на стадии Vieux-Rose Stopchin, а вот наша (используя в разговоре с ним, тем днем, в тот год, неожиданное, тронное, авторское, курьезное, технически неточное и запретное притяжательное множественное число) сестра прочитала в этом возрасте на трех языках намного больше книг, чем я к двенадцати годам. Но все же! После той ужасной болезни в Калифорнии я восстановила силы: Пионеры против Пиогенов, и бактерии потерпели поражение. Не хочу хвастать, но не знаком ли тебе случайно мой большой любимец Герод?»

«О да, — небрежно ответил Ван. — Грубоватый современник римского ученого Юстина. Да, отличный выбор. Ослепительная смесь утонченности и остроумной похабщины. Ты, милая, читала его в подстрочном французском переводе с греческим оригиналом en regard, не так ли? Но один мой здешний приятель показал мне фрагмент из новонайденной рукописи, ты не могла видеть, о двух детях, брате и сестре, которые делали это так часто, что в конце концов померли спаренными, и сколько их ни пытались разделить, ничего не выходило — он просто

тянулся и тянулся, всякий раз втягиваясь обратно, едва ошарашенные родители отпускали его. Ужасно неприлично и ужасно трагично и страшно смешно».

«Нет, я не знаю этого отрывка, — сказала Люсетта. — Но Ван, почему ты —»

«Сенная лихорадка, сенная лихорадка!» — крикнул Ван, обшаривая пять карманов одновременно в поисках носового платка. Ее сочувственный взгляд и бесплодные поиски вызвали такой прилив горя, что он предпочел выбежать из гостиной — на ходу схватил письмо, уронил его, поднял и, отойдя в самую дальнюю комнату (благоухающую ее «Деграсс»), вмиг прочитал его.

О дорогой Ван, это моя последняя попытка. Можешь назвать ее «распиской в безумии» или «покаянной рутой», но я хочу приехать и жить с тобой, где бы ты ни был, с тобой, до скончанья времен. Если ты отвергнешь деву у твоего окна, я пошлю аэрограмму о своем безотлагательном согласии на предложение руки и сердца, сделанное твоей бедной Аде месяц тому назад в штате Валентина. Он русский, из Аризоны, порядочный и покладистый, не слишком утонченный и совсем не светский человек. Единственное, что нас объединяет, это живой интерес ко многим растениям пустыни, имеющим такой воинственный вид, особенно к разновидностям агав, укрывающим гусениц благороднейших американских существ, мегатимид, именуемых по-английски Гигантскими Шкиперами (как видишь, Кролик снова роет норы). Он владеет лошадьми, полотнами кубистов, «буровыми скважинами» (чем бы они ни являлись — адский отче наш, тоже владеющий несколькими, не стал объяснять, отделавшись, по своему обыкновению, непристойными намеками). Я сказала своему терпеливому Валентинианцу, что дам твердый ответ после того, как снесусь с единственным мужчиной, которого я когда-либо любила или буду любить. Постарайся дозвониться до меня сегодня. На ладорской линии какие-то серьезные неполадки, однако меня заверили, что неисправность будет обнаружена и устранена до речного прилива. Твоя, твоя, твоя. А.

Ван вынул чистый платок из аккуратной плотной стопки в ящике комода — действие, которое он тут же повторил, выдернув листок из блокнота. Удивительно, насколько могут быть полезны в такие расколотые моменты эти машинальные ритмичные движения со схожими между собой (белизна, прямоугольность) случайными предметами. Он написал короткую аэрограмму и вернулся в гостиную. Там он увидел надевающую свои меха Люсетту и пятерых неотесанных ученых, которых впустил его идиот камердинер: в совершенном молчании они стояли вокруг любезной стройной красавицы, показывавшей моды зимнего сезона. Бернард Раттнер, черноволосый, краснощекий, крепкого сложения молодой человек в больших очках, приветствовал Вана с радостным облегчением.

«Гоже мой! — воскликнул Ван. — Я полагал, что мы встречаемся в доме твоего дяди».

Быстрым жестом он центрифугировал их по креслам и стульям гостиной и, невзирая на протесты своей очаровательной кузины («Всего двадцать минут пешком, не провожай меня»), вызвал по кампофону свой автомобиль. После чего он затопал, догоняя Люсетту, вниз по катаракте узкой лестницы, катракатра (quatre à quatre). Пожалуйста, дети, не нужно катракатра (Марина).

«Я также знаю, — сказала Люсетта, как если бы продолжала разговор, — кто это такой».

Она указала на надпись «Вольтеманд-Холл» на стенном выступе дома, из которого они вышли.

Ван бросил на нее быстрый взгляд, но она просто имела в виду придворного в «Гамлете».

Они прошли через темную сводчатую арку, и когда оказались на окрашенной нежным закатом улице, он остановил Люсетту и дал ей записку. В ней он призывал Аду нанять аэроплан и быть в его манхэттенской квартире завтра утром, неважно насколько рано. Он покинет Кингстон на автомобиле около полуночи. Он все еще надеется, что ладорский дорофон починят до его отъезда. Le château que baignait le Dorophone. Как бы там ни было, он предполагал, что аэрограмма дойдет до нее за несколько часов. Люсетта сказала «да ну», сперва она отправится в Монт-Дор, то есть Ладору, а если сделать пометку «срочно», то ее доставит ослепленный рассветными лучами посыльный, скачущий во весь опор на восток, верхом на искусанной блохами кляче почтмейстера, потому что по воскресеньям мотоциклы запрещены, старое местное предписание, l’ivresse de la vitesse, conceptions dominicales; но даже если так, у нее будет вдоволь времени, чтобы собрать вещи, отыскать коробочку голландских цветных карандашей, которые Люсетта просила ее привезти, если она приедет, и успеть к завтраку в недавней спальне Кордулы. В тот день ни кузен, ни кузина не были на высоте.

«Кстати, — сказал он, — давай условимся о дате нашей новой встречи. Ее письмо изменило мои планы. Давай пообедаем в “Урсусе” в следующий уик-энд. Я сообщу, в котором часу».

«Я знала, что это безнадежно, — сказала она, отводя взгляд. — Я очень старалась. Я подделала все ее штучки. Как актриса, я лучше ее, но этого недостаточно, я знаю. А теперь возвращайся, они упьются в стельку твоим коньяком».

Он засунул руки в теплые вульвы ее по-кротовьи мягких рукавов и с минуту сжимал внутри ее худенькие голые локти, с задумчивым желанием глядя вниз на ее накрашенные губы.

«Un baiser, un seul!» — взмолилась она.

«Обещаешь не открывать губ? Не обмякать? Не дрожать и не прижиматься?»

«Я не буду, я обещаю!»

Он колебался. «Нет, — сказал Ван, — это безумное искушение, но я не должен поддаваться. Я не переживу еще одну катастрофу, еще одну сестру, даже половину сестры».

«Такое отчаяние!» — простонала Люсетта, плотнее закутываясь в пальто, которое она инстинктивно распахнула, чтобы принять его.

«Утешит ли тебя признание, что я не жду ничего, кроме страданий, от ее возвращения? Что я считаю тебя настоящей райской птицей?»

Она покачала головой.

«Что мое восхищение тобой до боли крепко?»

«Я хочу Вана, — крикнула она, — а не эфемерного восхищения —»

«Эфемерного? Глупышка. Ты можешь измерить его, ты можешь разок прикоснуться к нему, легонько, костяшками пальцев в перчатке. Я сказал, костяшками. Я сказал, один раз. Довольно. Я не могу поцеловать тебя. Даже твое раскрасневшееся личико. До свидания, лисичка. Скажи Эдмонду, чтобы вздремнул, когда вернется. Он мне понадобится в два часа ночи».

6

Предметом той важной дискуссии было сопоставление различных записей относительно проблемы, которую Вану предстояло попытаться решить иным способом много лет спустя. Тщательное изучение нескольких случаев акрофобии в Кингстонской клинике имело целью установить наличие признаков или показаний, сопутствующих боязни времени. Тесты дали отрицательные результаты, но особенно любопытным представлялось то обстоятельство, что единственный доступный для анализа случай острой хронофобии по самой своей природе — метафизический тон, психологическая складка и тому подобное — отличался от боязни пространства. Правда, один пациент, повредившийся в уме из-за прикосновения к текстуре времени, представлял собой слишком малую выборку, чтобы противостоять большой группе говорливых акрофобов, и те читатели, которые упрекали Вана в опрометчивости и недомыслии (в вежливой терминологии младшего Раттнера), изменят о нем свое мнение в лучшую сторону, когда узнают, что наш молодой исследователь сделал все возможное, чтобы не допустить слишком скорого излечения господина Т.Т. (тот самый хронофоб) от его редкой и ценной болезни. Ван убедился, что она не имеет никакого отношения к часам или календарям, как и к любым измерениям или емкостям времени, подозревая и надеясь при этом (как может надеяться только первооткрыватель, чистый и страстный и не знающий жалости), что его коллеги установят, что боязнь высоты зависит главным образом от неверной оценки расстояний и что г. Аршин, их лучший акрофоб, боящийся сойти даже с подставки для ног, мог бы шагнуть в пустоту с вершины башни, если бы ему внушили каким-нибудь оптическим приемом, что ковер огней, раскинутый в пятидесяти метрах под ним, — это подстилка в дюйме от его ноги.

Ван велел принести им холодного мяса и галлон «Глагольного Эля» (с глаголем на этикетке), но его мысли были далеко, и он не блистал в ученом разговоре, который запечатлелся в памяти гризайлем бесплодной скуки.

Они ушли около полуночи; их топот и толки все еще доносились с лестницы, когда он принялся устанавливать соединение с Ардис-Холлом — тщетно, тщетно! Он продолжал теребить аппарат до рассвета, потом сдался, и после структурно совершенного стула (его крестовидная симметрия напомнила ему утро дуэли), не потрудившись повязать галстук (все любимые галстуки ждали его в новой квартире), поехал в Манхэттен. Заметив, что на покрытие четвертой части пути Эдмонду потребовалось сорок пять вместо тридцати минут, он сам сел за руль.

Все, что он хотел сказать Аде по немому дорофону, сводилось к трем словам по-английски, к двум по-русски и к полутора по-итальянски; Ада утверждала, что его отчаянные попытки дозвониться до нее привели лишь к такой буйной игре «eagre» (приливного вала в устье реки), что нагревательный бак в подвале не выдержал, и когда она встала с постели, в доме не было горячей воды — холодной, собственно, тоже; она надела свою самую теплую шубу и сказала Бутейану (сдержанно обрадованному старику Бутейану!), чтобы тот снес вниз ее чемоданы и отвез ее в аэропорт.

Ван тем временем добрался до Алексис-авеню, час пролежал в постели, после чего побрился, принял душ и, когда услышал звуки небесного мотора, так нетерпеливо дернул ручку двери, ведущей на террасу, что едва не оторвал ее.

Несмотря на свою атлетическую силу воли, ироничное отношение к чрезмерной эмоциональности и презрение к плаксивым слабакам, Ван знал, что с тех пор, как из-за разрыва с Адой он познал горчайшие муки, которых ни его гордость, ни самообладание никогда не могли предвидеть в его гедоническом прошлом, с ним случались припадки бурных рыданий, доходивших порой до эпилептических конвульсий, с внезапными завываниями, сотрясавшими его тело, и неиссякаемой слизью, затруднявшей дыхание. Маленький моноплан (зафрахтованный, как можно было заключить по его перламутровым крыльям и противозаконным, но безуспешным попыткам совершить посадку на центральной зеленой лужайке Парка, оставив которые он растаял в утренней дымке, отправившись на поиски другого насеста) исторг первый всхлип у Вана, стоявшего в своей «ряске» до колен (купальном халате) на террасе крыши, теперь украшенной кустами голубой спиреи в несокрушимом цвету. Он ждал в лучах холодного солнца до тех пор, пока не почувствовал, что его кожа под махровым покровом превращается в тазовые пластины броненосца. Чертыхаясь и потрясая поднятыми кулаками, он вернулся в тепло квартиры, опустошил бутылку шампанского и позвонил Розе, бойкой негритяночке-горничной, которую делил со знаменитым, недавно награжденным криптограмматиком мистером Дином, безупречным джентльменом, живущим этажом ниже. Со смешанными чувствами, с непростительным вожделением Ван наблюдал, как ее ладный зад перекатывается и напрягается под кружевным бантом, пока она перестилала постель, в то время как по трубам радиатора доносился

довольный речитатив ее нижнего любовника (он вновь сумел дешифровать татарскую дорограмму, сообщавшую китайцам, где мы планируем высадиться в следующий раз!). Быстро приведя комнату в порядок, Роза упорхнула, и едва сурдина Дина успела смениться (довольно бесхитростно для человека его профессии) крещендо интернациональных скрипов, которые и ребенок мог бы расшифровать, как в прихожей дзинькнул звонок, и в следующий миг Ада, с еще более белокожим лицом и красными губами, — Ада, ставшая четырьмя годами старше, стояла перед дрожащим, уже рыдающим, вечно юным Ваном, ее распущенные волосы мешались с черными мехами, которые были даже пышнее, чем у ее сестры.

Он заготовил одну из тех фраз, которые во сне звучат безупречно и так неудачны наяву: «Я видел, как ты кружила надо мной на стрекозьих крыльях», — но сбился на «озьих» и рухнул к ее ногам — к их голым подъемам в лаковых черных «Хрустальных» туфельках, в той самой позе, той самой грудой безнадежной нежности, самозаклания, осуждения злодейской судьбы, какой припадал задним числом в сокровеннейшей каморке своего рассудка всякий раз, как вспоминал ее невозможную полуулыбку, с какой она прижималась лопатками к стволу того, последнего дерева. Невидимый рабочий сцены подсунул под нее стул, и она заплакала, поглаживая его черные кудри, пока он переживал припадок горя, благодарности и сожаления. Он мог бы, пожалуй, затянуться, когда бы другой, плотский жар, со вчерашнего дня полыхавший в его крови, не принес благословенного отвлечения.

Как если бы она только что спаслась бегством из гибнущего царства и объятого пламенем дворца, Ада поверх измятой ночной рубашки надела темно-бурую, отливающую инеевым лоском шубу из меха калана — знаменитый камчатскiй бобръ купцов древней Эстотии, также известный на побережье Ляски под названием «lutromarina», «мой природный мех», как Марина с удовольствием отзывалась о своей дохе (доставшейся ей в наследство от бабушки Земской), когда на разъезде с зимнего бала какая-нибудь дама в куницах или нутриях или в скромном manteaux de castor (нѣмецкiй бобръ) со стоном восхищения отмечала эту бобровую шубу. «Старенькая», мягко возражая, прибавляла Марина (обычный эквивалент кокетливому «благодарю» бостонской дамы, чревовещавшей своей заурядной норкой или коипу в ответ на вежливую похвалу, — что не помешало ей потом обличать «бахвальство» этой «заносчивой актриски», которая на самом деле была наименее показной из двух). Этих бобровъ (королевское множественное число) Аде подарил Демон, который, как нам известно, в последнее время видался с нею в западных штатах намного чаще, чем в восточной Эстотии в пору ее детства. В его душе, человека странного и восторженного, развилась к ней та же tendresse, какую он всегда питал к Вану. Новое проявление его чувств по отношению к Аде выглядело со стороны достаточно пылким, чтобы настороженные болваны заподозрили старого Демона в том, что он «спит со своей племянницей» (на самом деле его все больше и больше увлекали юные испаночки, становившиеся с каждым годом все моложе и моложе, пока, к концу столетия, когда Демон достиг своего шестидесятилетия, с волосами, выкрашенными в темно-синий цвет, предметом его страсти не стала норовистая десятилетняя нимфетка). В свете так мало понимали истинное положение дел, что даже Кордула Тобак, урожденная де Пре, и Грейс Веллингтон,

урожденная Эрминина, судачили о Демоне Вине, с его модной эспаньолкой и оборчатым пластроном, как о «преемнике Вана».

Ни брат, ни сестра так и не смогли вспомнить (и все это, включая калана, не должно рассматриваться как увертка рассказчика — мы и не то проделывали в свое время), о чем говорили, как целовались, как унимали слезы, как он увлек ее к дивану, гордый своей готовностью немедленно явить галантный отклик на ее облачение, столь же скудное (под ее жаркими мехами), как в тот день, когда она пронесла свечу через то волшебное венецианское окно.

Неистово налакомившись ее горлом и сосками, он уже приступил было к следующей стадии безумного нетерпения, но она остановила его, объяснив, что должна сперва принять свою утреннюю ванну (это и вправду была новая Ада), а кроме того, ожидала, что с минуты на минуту ливрейное мужичье из вестибюля «Монако» (она ошиблась дверью, хотя Ван заплатил преданному привратнику Кордулы, чтобы тот буквально отнес Аду наверх) ввалится сюда с ее багажом. «Быстро-быстро, — сказала Ада, — да, да, Ада выйдет из пены, оглянуться не успеешь!» Но плохо владеющий собой, упрямый Ван сбросил свою рясу и последовал за ней в ванную, где она, перегнувшись через низкий край, открывала оба крана и еще наклонилась, чтобы вставить бронзовую затычку на цепочке; штуковина, впрочем, самостоятельно втянулась в отверстие, когда он удержал Адину прелестную лиру и через мгновение проник в замшево-мягкие ножны, обхватившие его, и оказался глубоко внутри между знакомых, несравненных губ с багряной подкладкой. Она ухватилась за оба крестообразных вентиля, невольно усилив сочувственный шум воды, и Ван издал протяжный стон освобождения, и вновь две пары их глаз смотрели в лазурь сбегавшего по Сосновому яру ручья, и Люсетта толкнула дверь, небрежно стукнув костяшками пальцев, и замерла, завороженная видом волосатого зада Вана и жуткого шрама вдоль всего его левого бока.

Руки Ады закрутили краны. Багаж грохотал по всей квартире.

«Я не смотрю, — глупо сказала Люсетта. — Я только зашла за своей коробочкой».

«Пожалуйста, дай им на чай, душка», сказал Ван, у которого по части чаевых был пунктик. «И подай мне то полотенце, — прибавила Ада, но служаночка склонилась к рассыпанным в спешке монетам, и теперь Ада в свою очередь увидела червленую лесенку Вановых рубцов. — Ох, бедный мой!» — воскликнула она, и из чистого сострадания позволила ему повторить сцену, едва не сорванную появлением Люсетты.

«Не уверена в том, что захватила ее чортову Кранахову пастель», минуту спустя сказала Ада с гримасой встревоженной лягушки. С чувством совершенного, благоухающего соснами блаженства он смотрел, как она выдавливает из упругого тюбика жемчужные струйки лосьона «Пеннсильвестрис» в наполненную ванну.

Люсетта ушла, оставив лаконичную записку с номером своей комнаты в отеле «Уинстер для Юных Леди», когда двое наших любовников, теперь слабоногих и прилично одетых, сели за прекрасный завтрак (хрустящий

бекон Ардиса! прозрачный мед Ардиса!), поднятый к ним на лифте Валерио, рыжеволосым пожилым римлянином, всегда плохо выбритым и мрачным, хотя и отличным малым (именно ему, раздобывшему в прошлом июне чистенькую Розу, платили за то, чтобы он держал ее исключительно для Вина и Дина).

Сколько радостных возгласов, сколько слез, сколько липких поцелуев, какая пестрядь несметных планов! И никакого риска, полная свобода в любовных утехах! Две цыганские блудницы, никак не связанные между собой, необузданная девица в цветастой лолите, с маковыми губами и черным пушком, подцепленная им в кафе между Грассом и Ниццей, и манекенщица, время от времени позирующая для журналов (ты видела, как она ласкает вертикально торчащий губной карандаш в рекламе «Феллата»), метко прозванная покровителями Норфолк-Броадского амуранта «златогубкой» (такая бабочка), независимо друг от друга назвали нашему герою одну и ту же причину, неупоминаемую в семейной хронике, в силу которой он, несмотря на всю свою удаль, мог не сомневаться в своей абсолютной бесплодности. Удивленный этим гекатовым диагнозом, Ван прошел определенные тесты, и хотя симптом был небрежно назван случайным, все доктора сошлись в едином мнении, что Ван Вин может оставаться любовником доблестным и долговечным, но рассчитывать на потомство ему не стоит. Как радостно малышка Ада захлопала в ладоши!

Хотела бы она пожить в этой квартире до весеннего семестра (он теперь мыслил в терминах семестров), а потом двинуть с ним в Кингстон, или она предпочла бы уехать за границу месяца на два — все равно куда, в Патагонию, Анголу, Гулулу в новозеландских горах? Пожить в этой квартире? Так она тебе по душе? За исключением кое-каких вещичек Кордулы, от которых следует избавиться: например, от этого лежащего на виду браунхильского «Альма Матер» с альмеями, оставленного раскрытым на портрете несчастной Ванды. Подруга ее подруги застрелила ее как-то звездной ночью в Рагузе, вот куда их занесло. Печально, сказал Ван. «Наша Люсетточка, конечно, поведала ему о поздних эскапакостях?» — «О том, как они в Офелиевом исступлении морочили каламбурами половые головки? Бредни про услады клиторизма?» — «N'exagérons pas, tu sais», похлопывая по невидимой воздушной подушке ладонями, как бы усмиряя ребенка, сказала Ада. «Люсетта уверяет, — продолжил он, — что ты выла, как пума».

Он — всеведующий сциентист. Еще лучше: инцестолог.

«Правильно, — сказала его всепомнящая подруга, — scient — incest».

И кстати, это Грейс, да, Грейс была настоящей любимицей Ванды, pas petite moi и мой крестик. Она (Ада) всегда умела, не правда ли, разглаживать складки прошлого — превращая флейтиста практически в импотента (но не в его сношениях с женой) и позволяя богатому землевладельцу всего одно объятие, с преждевременной эякуляцiей, одно из этих отвратительных русских заимствований? В самом деле, оно отвратительно, и все же она хотела бы вновь пофлавитничать, когда они обоснуются где-нибудь на веки вечные. Но где, как? И разве г-н Иван Вин с супругой не могли бы отлично устроиться где угодно? А как быть с «холост» и «не замужем» в их паспортах? Зайти в первое

попавшееся консульство и ревом возмущения и/или баснословной взяткой заставить их исправить на «женат» и «замужем» — раз и навсегда.

«Я хорошая, хорошая девочка. Вот ее коробочка с пастелью. С твоей стороны было очень любезно и в то же время мило пригласить ее на следующий уик-энд. По-моему, она любит тебя еще безумнее, чем меня, бедная тушка. Демон раздобыл их в Штрасбурге. В конце концов, она теперь полудевственница —»

«Слыхал, что ты с папой —», сказал Ван, но начало новой темы тут же оборвалось.

«— так что мы не должны больше тревожиться оттого, что она станет свидетелем наших ébats (произнося первую гласную à la Russe, с нарочитым, торжествующим вызовом, за что хвалят и мою прозу).

«Ты изображаешь пуму, — сказал он, — а она — блестяще! — мою любимую viola sordina. Между прочим, она первоклассная имитаторша, и если ты еще лучше —»

«Поговорим о моих талантах и трюках в другой раз, — сказала Ада. — Это болезненная тема. А теперь давай посмотрим эти снимки».

7

В один из дней ардисовского прозябания ее посетил сильно переменившийся и раздавшийся Ким Богарне. Под мышкой он держал альбом в оранжево-коричневом тканевом переплете, грязноватый оттенок, Аде никогда не нравился. За прошедшие два или три года, которые она его не видела, легконогий худощавый юнец с желтоватым лицом превратился в смуглого великана, напоминающего янычара из экзотической оперы, с топотом выходящего на сцену, чтобы объявить о вражеском вторжении или совершенной казни. Дядя Дан, которого красивая и надменная сиделка как раз выкатила в сад, где падали медные и кроваво-красные листья, громко потребовал, чтобы ему дали эту большую книгу, на что Ким сказал: «Может быть, позже», и присоединился к Аде в том углу холла, в котором принимали посетителей.

Он пришел не с пустыми руками, принес подарок — коллекцию фотографий, сделанных им в старые добрые времена. Он надеялся, что старые добрые времена еще вернутся, но так как он понимал, что mossio votre cossin (Ким изъяснялся на маловразумительном креольском языке, полагая, что он более уместен в торжественных случаях, чем его повседневный ладорский английский) в близком будущем не собирается приехать в замок и пополнения альбома новыми позициями и экспозициями ожидать не стоит, госпоже всего лучше pour tous les cernés (скорее «затененным», «окруженным», нежели «встревоженным») сохранить (или уничтожить и забыть, дабы никому не причинить вреда) сей иллюстрированный документ, который она держит в своих прелестных ручках. Сердито поморщившись при слове «jolies», Ада распахнула альбом на одной из бордовых закладок, многозначительно отмечавших особенно важные страницы, взглянула всего раз, защелкнула застежку, протянула осклабившемуся шантажисту тысячедолларовую купюру, кстати

оказавшуюся у нее в сумочке, вызвала Бутейана и велела ему вышвырнуть Кима вон. Грязного цвета альбом остался лежать на стуле под ее испанской шалью. Старый слуга шаркающим пинком вышиб лист болотного тюльпана, занесенный сквозняком, и снова закрыл парадную дверь.

«Mademoiselle n'aurait jamais dû recevoir ce gredin», проворчал он на обратном пути через холл.

«Именно это я и хотел заметить, — сказал Ван, поскольку Ада закончила свой рассказ о гнусном вымогателе. — Что, снимки оказались достаточно скабрезными?»

«Хуже», выдохнула Ада.

«Эти деньги могли бы пойти на что-нибудь более достойное, на нужды Приюта для Слепых Жеребят или Стареющих Золушек».

«Странно, что ты так сказал».

«Почему же?»

«Не важно. Как бы там ни было, мерзкий предмет теперь никому не навредит. Мне пришлось заплатить за него, иначе он показал бы бедной Марине Вана, совращающего свою малютку-кузину Аду, что было бы достаточно плохо; собственно, будучи гениальным хищником, он мог разнюхать всю подноготную».

«Так ты вправду думаешь, что, купив у него альбом за жалкую тысячу долларов, ты уничтожила все улики и больше волноваться не о чем?»

«Ну да. А что, сумма, по-твоему, слишком мала? Я могу послать ему еще. Я знаю, где его найти. Он, с твоего позволения, читает лекции по Искусству Прицельной Съемки в Школе Фотографии в Калугано».

«Подходящее место для прицельной стрельбы, — сказал Ван. — Стало быть, ты вполне уверена, что "мерзкий предмет" теперь в твоем распоряжении?»

«Разумеется, я уверена. Он при мне, на дне того сундука, сейчас покажу тебе».

«Скажи, любовь моя, какой коэффициент умственного развития был у тебя, когда я впервые с тобой встретился?»

«Двести с лишком. Феноменально много».

«Что ж, с тех пор он резко снизился. Следопыт Ким оставил у себя все негативы, да еще пачку снимков, которые он со временем вклеит в другой альбом или пришлет по почте».

«Ты хочешь сказать, что мой коэффициент снизился до уровня Кордулы?»

«Ниже. А теперь давай поглядим на эти снимочки — перед тем, как

определить сумму месячного жалованья нашего фотолюбителя».

Злонамеренная серия открывалась снимком, передававшим одно из первых впечатлений Вана от усадьбы Ардис, но под углом, отличавшимся от его воспоминаний. Объектив захватил участок между тенью calèche на гравии и ослепительно-белой от солнца ступенью колонного крыльца. Марина, одна рука еще в рукаве пыльника, который ей помогает снять лакей (Прайс), стоит, маша свободной рукой в театральном жесте приветствия (совершенно не вязавшимся с гримасой беспомощного блаженства, исказившей ей лицо), в то время как Ада в черной хоккейной куртке, принадлежавшей на самом деле Ванде, присев и накрыв волосами свои голые коленки, слегка охаживала цветами Дака, чтобы тот перестал заходиться лаем.

Затем последовало несколько подготовительных видов на ближайшие окрестности: высаженные в круг пузырники, аллея, черное О грота и холм, большая цепь вокруг ствола редкого дуба, Quercus ruslan Chât., и ряд других мест, которые составителю иллюстрированной брошюры казались живописными, но которые производили несколько тягостное впечатление вследствие его фотографической беспомощности.

Качество снимков постепенно улучшалось.

Другая девушка (Бланш!), в точности как Ада (и даже мало отличаясь от нее наружностью), склонилась и присела на корточки над раскрытым на полу саквояжем Вана, «пожирая глазами» силуэт Айвори Ревери на парфюмерной рекламе. Затем — крест и тень ветвей над могилой Марининой дражайшей экономки Анны Пименовны Непраслиновой (1797–1883).

Пропустим снимки природы — похожих на скунсов белок, полосатой рыбки в резервуаре с пузырьками воздуха, канарейки в ее хорошенькой тюрьме.

Сильно уменьшенный овальный портрет княгини Софьи Земской в возрасте двадцати лет (1775 год) с двумя ее детьми, дедом Марины, родившимся в 1772 году, и бабкой Демона, появившейся на свет в 1773 году.

«Не припоминаю эту картину, — сказал Ван. — Где она висела?»

«В будуаре Марины. А знаешь ли, кто этот шалопай в сюртуке?»

«По-моему, это похоже на скверную гравюру, вырезанную из журнала. Кто?»

«Сумеречников! Он сделал сумерографии дяди Вани когда-то очень давно».

«Сумерки перед Люмьерами. Смотри-ка, Алонсо, эксперт по плавательным бассейнам. Я как-то встретил его очаровательную и печальную дочь среди других киприд на одной из вечеринок — она была на ощупь, а также пахла и таяла совсем как ты. Сильнейшие чары совпадения».

«Меня это не интересует. А вот и мальчик».

«Здрасте, Иван Дементьевич», сказал Ван себе четырнадцатилетнему — без рубашки, в шортах, целящемуся коническим снарядом в молодую мраморную крымчанку на переднем плане, обреченную вечно предлагать из простреленного пулей кувшина глоток мраморной воды умирающему солдату морской пехоты.

Проскакиваем Люсетту со скакалкой.

О, тот самый первый зяблик.

«Нет, это китайская пуночка. Села на порог двери, ведущей в подвал. Дверь приоткрыта, внутри садовые инструменты и крокетные молотки. Ты ведь помнишь, сколько всяких экзотических — альпийских и полярных — животных обитает среди обычных тварей в нашей округе».

Время обеда. Низко склонившись, Ада поглощает сочащийся персик с кое-как содранной шкуркой (снято из сада через французское окно).

Драма и комедия. Бланш схватилась с двумя страстными цыганами в обсаженной пузырником беседке. Дядя Данила невозмутимо читает газету в своем красном двухместном автомобиле, безнадежно застрявшем в черной грязи ладорской дороги.

Две огромные павлиноглазки в момент спаривания. Год за годом конюхи и садовники приносили Аде этих ночниц; что в некотором отношении напоминает нам о тебе, нежный Марко д'Андреа, или о тебе, рыжий Доменико Бенчи, или о тебе, темноволосый и задумчивый Джиованни дель Брина (полагавший, что это летучие мыши), или о том, чье имя я назвать не смею (поскольку это Люсеттин научный вклад — так легко извращаемый после смерти ученого) и кто майским утром 1542 года, недалеко от Флоренции, также мог снять с парапета садовой ограды, не заросшей глицинией, еще не завезенной в эти края (добавление ее сестры), чету павлиноглазок грушевых in copula, самца с перистыми усиками, самочку с обычными ворсинками, чтобы удивительно точно изобразить их среди жалких, условных насекомых на одной из сторон фенестральной ниши в так называемом «Зале Четырех Стихий» Палаццо Веккьо.

Рассвет в Ардисе. Поздравленьице: голый Ван все еще простерт, как куколка в коконе, в своем гамаке под «лениводендронами», как они в Ладоре называли лириодендроны, — не совсем lit d'édredon, хотя и заслуживает аврорального каламбура и определенно способствует физическому выражению фантазии молодого мечтателя, не скрываемому сеткой.

«Поздравляю, — повторил Ван мужским языком. — Первая похабная карточка. Не сомневаюсь, что наш поганец Богарне приберег для личной коллекции увеличенную копию».

Вооружившись лупой (которой Ван пользовался, разбирая некоторые детали рисунков своих безумцев), Ада осмотрела узор гамака.

«Боюсь, дальше — больше», заметила она с запинкой, и, воспользовавшись тем, что они листали альбом в постели (что нам теперь представляется сомнительным в рассуждении хорошего тона), странная эта Ада применила увеличительное стекло к живому Вану, что она проделывала много раз, будучи в тот благодатный год, к которому относился снимок, ребенком по-научному любознательным и артистично порочным.

«Подыщу мушку и приклею на это место, — сказала она, вновь обращаясь к прищуренной карункуле за нескромной сеткой. — Между прочим, у тебя в комоде с зеркалом полно черных масок».

«Для маскарадов (bals-masqués)», пробормотал Ван.

Следующий снимок был под стать: щедро оголившиеся белые ляжки Ады (надетая ею в день рождения юбка запуталась в листьях и сучьях), оседлавшие черную ветвь Эдемского дерева. Затем: несколько снимков пикника 1884 года, среди прочего Ада и Грейс, отплясывающие лясканскую кадриль, и Ван, вверх тормашками, прикусивший ромашковую астру (предположительно распознанную как таковую).

«С этим пришлось покончить, — сказал Ван. — Бесценная левая связка перестала работать. Я все еще могу фехтовать и нанести весьма чувствительный прямой в челюсть, но хождение на руках исключено. Не всхлипывай, Ада. Ада не станет всхлипывать и причитать. Кинг Винг говорит, что в мои годы великий Векчело стал обычным человеком, а значит, так тому и быть. Ах, смотри, пьяный Бен Райт пытается изнасиловать Бланш в конюшне — у девчонки довольно заметная роль в этом варьете».

«Ничего такого он не делает. Ты же отлично видишь, что они танцуют. Как Чудовище и Красавица на балу, на котором Золушка потеряла подвязку, а Принц — свой прелестный хрустальный гульфик. Здесь еще можно различить господина Уорда и госпожу Франш, сошедшихся в брейгелевской кимбо — крестьянской пляске — в дальнем конце зала. Все эти сельские изнасилования в наших краях были сильно преувеличены. D’ailleurs, то была последняя петарда Бена Райта в Ардисе».

Ада на балконе (снятая нашим акробатическим voyeur с края крыши) рисует один из своих любимых цветков, ладорскую орхидею-сатирион, шелковистую, мясистую, вертикально торчащую. Вану показалось, что он вспомнил тот пронизанный солнцем вечер, волнение, мягкость и несколько между прочим произнесенных ею слов (в ответ на его глупый ботанический комментарий): «мой цветок раскрывается только в сумерках». Тот, который она покрывала влажной лиловой краской.

Отдельную страницу занимал официальный снимок: Адочка, хорошенькая и непристойная в своем тонком облачении, и Ваничка в сером фланелевом костюме и школьном галстуке в косую полоску, оба обращены лицом к кимере (химере, камере), стоят рядышком по стойке «смирно», он — с

тенью вымученной улыбки, она — без какого-либо выражения на лице. Им вспомнилось и время этого снимка (между первым крестиком и целым кладбищем поцелуев), и повод: фотографию пожелала иметь Марина, которая подыскала ей подходящую рамку и место у себя в спальне, рядом с карточкой своего брата, отрока лет двенадцати или четырнадцати, одетого в байронку (рубашку с открытым воротом) и держащего в ложбинке соединенных у живота рук морскую свинку; все трое казались братьями и сестрами, из которых умерший мальчик обеспечивал вивисекционное алиби.

Следующая фотография была сделана при тех же обстоятельствах, но по какой-то причине капризная Марина ее отвергла: Ада читает за треножником, прикрыв ковшиком ладони нижнюю часть страницы. Очень редкая, лучистая, с виду неуместная улыбка играла на ее почти мавританских губах. Ее волосы струились частью по ключице, частью по спине; Ван стоял, склонив над ней голову, и невидящим взглядом смотрел в раскрытую книгу. Сосредоточенно и намеренно в момент скрытого под черной накидкой щелчка он соединил недавнее прошлое с неминуемым будущим и сказал себе, что это и есть объективное восприятие реального настоящего и что он должен помнить запах, вспышку, плоть настоящего (как он действительно помнил это полдюжины лет спустя — и хранит в памяти по сей день, во второй половине следующего столетия).

Но чем было вызвано то редкостное сияние на этих обожаемых губах? Веселая насмешка легко может перерасти, в градациях ликования, в подобие экстаза:

«Знаешь, Ван, что то была за книга — рядом с зеркальцем Марины и пинцетом? Я скажу тебе. Один из самых безвкусных и réjouissants романов, когда-либо “украшавших” первую страницу книжного обозрения в манхэттенском “Таймс”. Уверена, что твоя Кордула сберегла его в своем уютном уголке, где вы сидели, прижавшись висками, после того как ты меня бросил».

«Кошка», сказал Ван.

«Ох, гораздо хуже. “Полосатая Кошка” старика Бекстейна шедевр в сравнении с этим, этой “Любовью под Липами” некоего Ильманна, перетащенной на английский Томасом Гладстоуном, который, как кажется, служит в конторе “Паковщиков и Портер”, потому что на странице, которую смакует здесь Адочка, адова дочка, “автомобиль” переводится как “фургон”. И представь, представь только, что малышке Люсетте на курсе литературы в Лос-Анджелесе пришлось изучать этого Ильманна, вкупе с тремя топорными Тóмами!»

«Тебе запомнился этот вздор, а я помню, что сразу после этого мы три часа кряду целовались Под Соснами».

«Смотри следующую иллюстрацию», мрачно сказала Ада.

«Вот мерзавец! — вскричал Ван. — Похоже, он полз за нами на брюхе со всей своей аппаратурой. Мне придется его убить».

«Довольно убийств, Ван. Только любовь».

«Но смотри, девочка, вот я втягиваю твой язык, вот присасываюсь к твоему надгортаннику, а вот —»

«Антракт, — взмолилась Ада, — быстро-быстро».

«Всегда к твоим услугам до девяноста лет, — сказал Ван (вульгарность сладострастного подглядывания оказалась прилипчивой), — девяносто раз в месяц по грубому расчету».

«Давай еще грубее, о, намного грубее, скажем, сто пятьдесят, и тогда выходит, выходит —»

Но налетевший ураган смел калькуляцию к каникулярным чертям.

«Что ж, — сказал Ван, придя в себя, — вернемся к нашему обезображенному детству. Мне не терпится (подбирает альбом с ковра у кровати) избавиться от этого бремени. О, новое лицо. Подпись гласит: доктор Кролик».

«Погоди минутку, возможно, это самый лучший Исчезающий Ван, но все равно пачкает ужасно. Теперь все в порядке. Да, это мой бедный учитель естествознания».

В бриджах и панаме, вожделеющий к своей бабочке. Страсть, болезнь. Что Диана могла знать об этой ловитве?

«Так странно, в том виде, в каком его запечатлел Ким, он совсем не кажется таким пушистым и жирным, как я себе представлял. На самом деле, дорогая, это большой, крепкий, привлекательный и старый Мартовский Заяц! Объясни!»

«Тут нечего объяснять. Я как-то попросила Кима помочь мне перенести несколько коробок, и вот наглядное тому подтверждение. Кроме того, это не мой Кролик, а его брат Кароль (или Карапарс) Кролик. Кандидат наук, родился в Турции».

«Мне нравится, как ты проказливо щуришься, когда лжешь. Далекий мираж в Малой Проказии».

«Я не лгу! — воскликнула она и прибавила с очаровательным достоинством: — Он в самом деле кандидат наук».

«Ван ist auch one», пробурчал Ван, произнося последнее слово, как «wann» (что по-немецки значит «когда»).

«Нашей заветной мечтой, — продолжала она, — моей и Кролика заветной мечтой, было описать и изобразить ранние стадии, от яйца до куколки, всех известных нимфалид, крупных и мелких, начиная с обитающих в Новом Свете. Я должна была позаботиться об устройстве аргиннинариума (защищенного от паразитов питомника с температурными режимами и другими усовершенствованиями, среди которых фоновые ночные ароматы и крики ночных животных, создающие в некоторых сложных случаях

естественную обстановку) — гусеницы нуждаются в изысканном уходе! На обоих полушариях существуют сотни видов и хороших подвидов, но, как я сказала, мы бы начали с Америки. Живые яйцекладущие самки и живые кормовые растения, как, например, фиалки различных видов, доставлялись бы по воздуху отовсюду, хоть с арктических ареалов, почему бы нет, — Ляска, Le Bras d'Or, остров Виктора. Шелкопрядная ферма была бы также виолариумом, полным прелестных цветущих растений, от endiconensis, вид северной болотной фиалки, до крохотной, но восхитительной Viola kroliki, недавно описанной профессором Холлом из Гудсон-Бэй. Мой вклад состоял бы в серии цветных рисунков всех стадий созревания гусеницы и карандашных изображений совершенных гениталий насекомого, помимо других деталей его строения. Упоительная была бы работа».

«Которой ты бы страстно отдалась», сказал Ван и перевернул страницу.

«Как жаль, что мой дорогой сотрудник умер, не оставив завещания! Кроличий садок его дальних родственников уступил все его коллекции, включавшие также и мою небольшую часть, немецким посредникам и татарским торгашам. Позорно, несправедливо и так грустно!»

«Мы подыщем тебе другого научного руководителя. Так, а это что?»

Трое слуг, Прайс, Норрис и Уорд, наряженные гротескными пожарными. Молодой Бут истово целует хорошенькую голую ступню в жилках, высоко поднятую и поставленную на балюстраду. Ночной снимок из сада: два маленьких белых призрака внутри дома прижимаются носами к окну библиотеки.

Художественно расположенные веером на одной странице семь снимков, сделанные за столько же минут из довольно отдаленного укрытия, окруженного высокой травой, дикими цветами и нависающей листвой. Тень листьев и прихоть цветоножек деликатно скрывают главные детали, позволяя предположить, что двое полураздетых детей предаются чему-то большему, чем обычной борьбе.

На миниатюре, помещенной в центре фотокомпозиции, единственной видимой частью тела Ады была ее тонкая рука, держащая, будто знамя, свое сброшенное платье над усыпанной маргаритками муравой. Извлеченная теперь из-под простыни лупа позволила разглядеть на верхнем снимке торчащую над маргаритками разновидность тугошляпной поганки, названной в шотландских уложениях (с тех пор, как колдовство попало под запрет) «Владыкой Эрекции». На растительном горизонте третьего снимка можно было разглядеть еще одно примечательное растение, Дыню Марвелла, изображающую зад занятого делом юнца. На трех следующих карточках la force des choses («горячка совокупления») настолько уже разметала пышную траву, что можно было различить детали запутанного сочленения, образованного неуклюжими цыганскими захватами (борцовское удержание) и запрещенными нельсонами. Наконец, на последнем снимке, нижнем в веерообразной череде, Ада была явлена парой рук, оправляющих волосы, в то время как ее Адам стоял над ней, а вытянутый лист или соцветие прикрывали его бедро с мнимой небрежностью Старого мастера, оберегающего целомудрие Эдема.

Столь же небрежным тоном Ван сказал: «Дорогая, ты слишком много куришь, мой живот усыпан твоим пеплом. Полагаю, Бутейану известен точный адрес профессора Богарне в Афинах его Изобразительных Искусств?»

«Ты не станешь его убивать, — сказала Ада. — Он ненормален, он, возможно, склонен к шантажу, но в его пачкотне есть истошный стон искалеченного искусства. К тому же это единственная по-настоящему грязная страница. И давай не будем забывать, что восьмилетняя медноголовка тоже устраивала засады в кустах».

«Искусство, my foute! Паскудство, а не искусство. Туалетная катушка из Carte du Tendre! Нам не стоило смотреть его альбом. Это животное испакостило наши собственные ментальные снимки. Либо хлыстом выбью ему глаза, либо искуплю наше детство, написав о нем книгу: “Ардис, семейная хроника”».

«О да, напиши! — сказала Ада, пролистывая еще один омерзительный ракурс — судя по всему, через дыру в досках чердака. — Смотри, а это наш островок Калифа!»

«Не хочу я больше смотреть. Боюсь, ты находишь эту гнусность возбуждающей. Иные болваны распаляются от авто-мото-бикини комиксов».

«Пожалуйста, Ван, взгляни! Вот наши ивы, помнишь?»

«“В тот замок плещется Адур:

Рекомендуем этот тур”».

«Единственный цветной снимок из всех. Ивы кажутся покрытыми зеленью, потому что сами ветви зеленоватые, но на деле они здесь голые, снято ранней весной, и сквозь заросли камыша можно разглядеть нашу красную лодку Souvenance. Ну вот и последняя — Кимовский апофеоз Ардиса».

Служащие в полном составе стояли несколькими рядами на ступенях колонного крыльца позади Президента банка баронессы Вин и Вице-президента Иды Ларивьер. По обе стороны от названных особ располагались две самые хорошенькие машинистки — Бланш де ла Турбери (воздушная, заплаканная, исключительно прелестная) и чернокожая девушка, нанятая за несколько дней до отъезда Вана помогать Франш, довольно угрюмо возвышавшейся над ней во втором ряду, точкой фокуса которого был Бутейан, все еще в costume sport, в котором он правил автомобилем, когда отвозил Вана (тот снимок или не вышел, или не был помещен в альбом). По правую руку от дворецкого стояли три лакея, по левую — Бут (камердинер Вана), затем толстый, мучнисто-бледный повар (отец Бланш) и, рядом с Франш, — ужасно твидовый джентльмен с навешанным на ремнях через плечо снаряжением для праздного шатания

по достопримечательностям: действительно (ежели верить Аде) турист, притащившийся из Англии, чтобы увидеть Замок Бриана, но съехавший на велосипеде не на ту дорогу и убежденный в момент съемки, что примкнул к группе таких же, как он, туристов, посетивших какое-то другое старинное поместье, тоже стоящее осмотра. Задние ряды состояли из мелкой дворни и поварят, а также из садовников, конюхов, кучеров, теней колонн, прислужниц служанок, ключниц, прачек, портних, других — всё менее и менее различимых, как на тех банковских рекламах, где смутные фигуры незначительных клерков затираются более удачливыми плечами, но все еще заявляют о себе, все еще улыбаются в процессе смиренного растворения.

«Это не астматичный ли Джонс во втором ряду? Мне всегда нравился этот старик».

«Нет, — ответила Ада, — это Прайс. Джонс появился четыре года спустя. Теперь он видный полицейский служащий в Нижней Ладоре. Что ж, вот и все».

Ван невозмутимо вернулся к ивам и сказал:

«Все снимки в альбоме, кроме этого, были сделаны в 1884 году. Я ни разу не катал тебя в лодке по Ладоре ранней весной. Приятно отметить, что ты не утратила своей замечательной способности густо краснеть».

«Это его ошибка. Он, должно быть, добавил фоточку, сделанную позже, возможно, в 1888. Вырви ее, если хочешь».

«Дорогуша, — сказал Ван, — вырван весь 1888 год. Не нужно быть сыщиком из уголовного романа, чтобы заметить, что в альбоме не хватает по крайней мере столько же страниц, сколько в нем осталось. Меня это устраивает, я хочу сказать, что у меня нет никакого желания видеть, как Knabenkräuter и другие подвески твоих друзей ботанизируют вместе с тобой; но 1888 год отложен, и он объявится с ним, когда истратит первую тысячу».

«Я сама уничтожила 1888 год, — горделиво призналась Ада, — но клянусь, торжественно клянусь, что твидовый человек за спиной Бланш на снимке с колоннами был и остается совершенно неведомым мне чужаком».

«К счастью для него, — заметил Ван. — Собственно, это не важно. Изгажено и оболгано все наше прошлое. Пожалуй, я не стану писать эту семейную хронику. Кстати, а где теперь моя бедная малышка Бланш?»

«О, на ее счет можешь не волноваться. Куда ж она денется. Знаешь, она вернулась после того, как ты ее похитил. Вышла за нашего русского кучера, того самого, который сменил Бенгальского Бена, как его называли слуги».

«А, вот как? Это мило. Мадам Трофим Фартуков. Никогда бы не подумал».

«У них родился слепой ребенок», сказала Ада.

«Любовь слепа», отозвался Ван.

«Она говорила мне, что ты пытался ее соблазнить в первое же утро после приезда в Ардис».

«Кимом не задокументировано, — сказал Ван. — Их ребеночек так и останется слепым? Я хочу сказать, все ли ты сделала, чтобы найти действительно первоклассного врача?»

«Ох, да, малыш неизлечим. Но говоря о любви и связанных с нею мифах, сознаешь ли ты — поскольку я не сознавала, пока не поговорила с Бланш года два тому назад, — что люди, ставшие свидетелями нашего романа, отличались острым зрением? Оставим Кима, он всего лишь непременный клоун представления, но понимаешь ли ты, что вокруг нас с тобой, пока мы играли и тешили друг друга, росла настоящая легенда?»

Она и помыслить не могла, повторяла она снова и снова (как будто надеясь вызволить прошлое из обыденной пошлости альбома), что их первое лето в садах и орхидариумах Ардиса стало в округе священной тайной и вероучением. Романтически настроенные горничные, чтение которых сводилось к «Gwen de Vere» и «Кларе Мертваго», дивились Вану, дивились Аде, дивились отраде ардисовского парадиза. Их собственные парубки-хахали, наигрывая баллады на семиструнных русских лирах под цветущей черемухой или в старых розариях (пока одно за другим гаснут окна господского дома), прибавляли к циклическим народным песням свежесочиненные строки — наивные, лакейски-возвышенные, но проникновенные. Эксцентричных околоточных очаровал романтический ореол инцеста. Садовники перефразировали пышные персидские стихи об орошении и Четырех Стрелах Любви. Ночные сторожа боролись с бессонницей и трипперным жжением посредством «Приключений Ваниады». Пощаженные молниями пастухи на отдаленных склонах холмов применяли свои огромные «стонущие рога» в качестве слуховых труб, чтобы улавливать ладорские напевы. Девственницы-шатлены в мощеных мрамором поместьях ласкали свое одинокое пламя, раздуваемое любовной историей Вана. А пройдет еще одно столетие, и цветистое слово будет отретушировано еще более сочной кистью времени.

«Все это, — сказал Ван, — означает только то, что наше положение отчаянное».

8

Зная, как его сестры любят русскую кухню и русское кабаре, Ван повел их в субботу вечером в «Урсус», лучший франко-эстотийский ресторан Большого Манхэттена. Наши молоденькие леди надели очень короткие и открытые вечерние платья, которые Васс «миражировала» в том сезоне, по выражению того же сезона: Ада — сквозисто-черное, Люсетта — переливчатое, цвета шпанской мушки. Их губы «аукались» тонами (но не оттенками) помад, глаза были подведены в стиле «удивленной райской птицы», который считался непревзойденно шикарным и в Лосе, и в Люте.

Скрещенные метафоры и двусмысленные речи всегда очень шли всем трем Винам, детям Венеры.

Уха, шашлык, Аи доставили легкое и привычное удовольствие; однако старые песни звучали особенно пикантно благодаря лясканскому контральто и басу из Банфа, — известным исполнителям русских романсов, камерных вокальных пьес с налетом душераздирающей цыганщины, столь заметной у Григорьева и Глинки, — и присутствию Флоры, стройненькой, едва ли старше шестнадцати лет полуобнаженной мюзик-холльной танцовщицы неясного происхождения (румынка? цыганка? рамсейка?), восхитительными услугами которой Ван пользовался несколько раз осенью того же года. Как «человек светский», Ван с вежливым (возможно, чересчур вежливым) равнодушием взглянул на талантливо расточаемые ею чары, но они, несомненно, послужили тайной приправой к состоянию эротического возбуждения, охватившему его с той минуты, как его прелестные спутницы скинули меха и расположились перед ним посреди красочного великолепия многолюдного пиршества; это волнение было еще каким-то образом усилено замеченным им (на старательно обращенных в профиль, намеренно бесстрастных лицах) скрытым, ревнивым, интуитивным подозрением, с каким Ада и Люсетта без улыбки следили за его мимической реакцией на потупленный взгляд профессионального узнавания со стороны сновавшей мимо их столика «блядушки», как наши девушки с напускным безразличием назвали очень дорогую и совершенно восхитительную Флору. Скоро протяжные рыдания скрипок разбередили душу Вана и Ады — юношеский условный рефлекс на чувственную мольбу, который в конце концов заставил готовую расплакаться Аду удалиться, чтобы «припудрить носик», в то время как Ван встал с судорожным всхлипом, кляня его, но не умея сдержать. Он вернулся к утратившей всякий вкус еде и безжалостно погладил покрытое абрикосовым пушком плечо Люсетты.

«Я пьяна и все такое, — заговорила она, — но я обожаю, я обожаю, я обожаю больше жизни тебя, тебя, я тоскую по тебе невыносимо, и, пожалуйста, не позволяй мне больше хлестать шампанское, не только потому, что я брошусь в Гудсон, если потеряю надежду заполучить тебя, и не только из-за плотского красного цветка — твое сердечко едва не выскочило, мой бедный душенька, и по-моему, он у тебя не меньше восьми дюймов —»

«Семь с половиной», вставил скромный Ван, плохо слышавший ее из-за музыки.

«— но поскольку ты Ван, от головы до пят Ван, и не кто иной, как Ван, кожа и рубцы, единственная истина нашей единственной жизни, моей проклятой жизни, Ван, Ван, Ван».

Тут Ван вновь поднялся, когда Ада, изящно обмахиваясь черным веером и провожаемая сотнями глаз, присоединилась к ним, в то время как вступительные такты романса (знаменитого фетовского «Сіяла ночь…») уже побежали по клавишам, и бас, перед тем как начать, кашлянул в кулак à la russe:

Сіяла ночь; луной былъ полонъ садъ. Лежали

Лучи у нашихъ ногъ въ гостиной безъ огней.

Рояль былъ весь раскрытъ, и струны въ немъ дрожали,

Какъ и сердца у насъ за пѣснею твоей.

Затем Баноффски с энтузиазмом принялся за великие амфибрахии Глинки (Михаил Иванович однажды летом гостил в Ардисе, еще при жизни их дяди, — сохранилась зеленая скамья, на которой композитор любил сидеть под псевдоакациями, отирая платком широкий лоб):

Уймитесь, волненія страсти!

Следом другие певцы подхватили все более и более грустные баллады — «Забыты нѣжныя лобзанья…», «То было раннею весной, / Трава едва всходила…», «Много пѣсенъ слыхалъ я въ родной сторонѣ, / Какъ ихъ съ горя, какъ съ радости пѣли…», и притворно-народническую —

Есть на Волгѣ утесъ, дикимъ мохомъ оросъ

Онъ съ боковъ, отъ подножья до края…

И несколько дорожных стенаний, как, например, такие более сдержанные анапесты:

Однозвучно гремитъ колокольчикъ,

И дорога пылится слегка…

И ту солдатскую песню исключительного гения —

Надежда, я вернусь тогда,

Когда трубачъ отбой сыграетъ…

И единственное памятное стихотворение Тургенева, начинающееся словами

Утро туманное, утро сѣдое,

Нивы печальныя, снегомъ покрытыя…

И, само собой, знаменитую псевдоцыганскую гитарную пьесу Аполлона Григорьева (еще одного приятеля дяди Ивана):

О, говори хоть ты со мной,

Подруга семиструнная!

Душа полна такой тоской,

А ночь въ каньоне лунная!

«Я заявляю, что мы пресытились лунным светом и клубничным суфле — последнее, боюсь, не совсем “поднялось” на высоту обстоятельств, — заметила Ада в своей архаичной стародевичьей манере героини Джейн Остин. — Предлагаю всем отправиться спать. Ты видела нашу огромную кровать, тушка? Смотри, наш кавалер так зевает, что “жвалы трещат”».

«Очень (долгое “о” — подъем на гору Зевоты) точно», выдавил Ван, перестав ощупывать бархатистую щечку купидонового персика, который он примял, но не попробовал.

Метрдотель, виночерпій, шашлычник и шайка официантов, глубоко польщенные количеством зернистой икры и Аи, которое поглотили такие воздушные с виду Вины, не спускали многочисленных глаз с подноса, незаметно возвращенного Вану со сдачей золотыми монетами и банкнотами.

«Скажи, отчего, — спросила Люсетта, целуя Аду в щеку, когда обе поднялись (делая плавательные движения руками за спиной в поисках своих мехов, запертых в специальном хранилище или где-то еще), — первая песня, “Уж гасли в комнатах огни” и “благоухающие розы” тронула тебя сильнее твоего любимого Фета и той, про острый локоть трубача?»

«Ван тоже был тронут», туманно ответила Ада и коснулась наново подкрашенными губами самой причудливой веснушки хмельной Люсетты.

Отрешенно, без какой-либо задней мысли, простым тактильным жестом,

как если бы он встретил двух этих неспешно идущих, качающих бедрами граций только сегодня вечером, Ван, ведя их через дверной проем (навстречу шиншилловым мантильям, с которыми к ним устремились многочисленные, новые, желающие услужить, несправедливо, необъяснимо нуждающиеся люди), положил одну ладонь, левую, на длинную голую спину Ады, а другую — на спину Люсетты, столь же щедро обнаженную и долгую (что она имела в виду — ветчинку шрамов или его тычинку? Обмолвка лепечущих губ?). Все так же отрешенно он обдумал и перепроверил сперва первое ощущение, затем второе. Поясничная ложбинка его любовницы была как горячая слоновая кость; у Люсетты — пушистая и влажная. Он тоже испил почти всю свою «полную чашу» шампанского, а именно четыре из полудюжины бутылок, «минус йота» (как мы говорили в старом Чузе), и теперь, следуя за их голубоватыми мехами, он, как болван, вдохнул запах со своей правой ладони, прежде чем натянуть на нее перчатку.

«Скажи-ка, Вин, — послышался гнусавый шепот у него за спиной (кругом было полно развратников), — тебе ведь и одной хватит, а?»

Ван повернулся, готовый наброситься на хама, но то была всего лишь Флора, ужасная задира, виртуозно имитирующая чужие голоса. Он хотел было сунуть ей банкноту, но она унеслась, сверкнув браслетами на запястьях и звездами на груди в знак нежного прощания.

Как только Эдмунд (а не Эдмонд, которого по соображениям безопасности — он знал Аду — пришлось отправить обратно в Кингстон) доставил их домой, Ада надула щеки, сделала большие глаза и ушла в ванную Вана. Собственную уборную она предоставила нетвердо ступавшей гостье. В географической точке, расположенной чуть ближе к старшей девушке, Ван воспользовался для непрерывного излияния удобствами тесного vessie (канадийский термин от W.C.), смежного с его гардеробной. Он снял смокинг и галстук, расстегнул воротник шелковой рубашки и замер в мужественном раздумье: Ада, отделенная их спальней и гостиной, наполняла ванну; слышанный в ресторане гитарный ритм акватически приноравливался к глухому шуму воды (тот редкий момент, когда ему вспомнилась она и ее совсем разумные слова в последнем санатории в Агавии).

Он облизнул губы, прочистил горло и, решив убить двух дубоносов одной еловой шишкой, прошел через boudery и manger зал (нам всегда на язык просится канадийский, когда мы haut) в другую, южную, оконечность квартиры. В гостевой спальне Люсетта, стоя к нему спиной, натягивала через голову бледно-зеленую ночную рубашку. Ее узкие бедра были обнажены, и нашего законченного распутника не могла не тронуть идеальная симметрия двух изящных ямочек в крестцовой области красы, которые отличают лишь безупречно сложенных юных особ. О, они были даже совершеннее Адиных! К счастью, она обернулась, приглаживая растрепавшиеся рыжие локоны, и подол ее сорочки упал до колен.

«Дорогая моя, — сказал Ван, — не поможешь мне? Она упомянула своего валентинианца эстансьеро, но имя вылетело из головы, а спрашивать у нее не хочу».

«Как же, — ответила лояльная Люсетта, — ничего она не упоминала, так что вылетать нечему. Нет уж, я не стану так поступать с твоей и моей душенькой, потому что мы знаем, что ты можешь попасть из пистолета в замочную скважину».

«Прошу тебя, лисичка! В награду получишь редкостный поцелуй».

«Ох, Ван, — сказала она, глубоко вздохнув. — Обещаешь, что не скажешь ей, что узнал от меня?»

«Обещаю. Нет-нет-нет, — начал он скороговоркой на русский манер, когда она, поддавшись любовному порыву, собралась прижаться к нему животиком. — Никак-с нет: ни губ, ни надгубия, ни кончика носа, ни заплаканных глаз. Подмышка лисички — и только — если — (отступает в притворной нерешительности) — а ты вообще бреешь там?»

«Когда брею, то запах еще хуже», призналась простушка Люсетта и покорно обнажила одно плечико.

«Подними руку! Укажи на рай! Терра! Венера!» — скомандовал Ван и на несколько синхронных ударов двух сердец припал работающими губами к горячей, влажной, опасной впадинке.

Она с грохотом упала на стул, прижав одну руку ко лбу.

«Можете выключить софиты, — сказал Ван. — А теперь назови его имя».

«Вайнлендер», ответила она.

Он услышал голос Ады Вайнлендер, просящей принести ее Хрустальные ночные туфельки (которые, как было и в царствование Кордуленьки, он с трудом отличал от обычной бальной пары), и минуту спустя, не дав ослабнуть возникшему напряжению, Ван уже в пьяном сне неистово овладевал Розой — нет, Адой, но на розовый манер, на чем-то вроде низкого туалетного столика. Она жаловалась, что он причиняет ей боль, «как Турок Тигр». Он лег в постель и собрался было уснуть окончательно, когда она встала со своей стороны кровати. Куда это она собралась? Тушка хочет посмотреть альбом.

«Лобызну и улизну, — сказала она на жаргоне школьниц-трибадок, — так что не усни. Кстати, отныне нашим обычным положением будет Chère-amie-fait-morata (игра с родовыми и видовыми названиями той самой мухи) — впредь до дальнейших указаний».

«Но никаких сапфических форшмаков», пробурчал в подушку Ван.

«Ах, Ван, — сказала она, обернувшись и качая головой, не отрывая руки от опаловой дверной ручки в конце бесконечной комнаты. — Сколько раз мы уже говорили об этом! Ты ведь знаешь, что я всего-то бледная дикарка с волосами цыганки из бессмертной баллады, в нуливерсуме, в раттнеровском “пестром мироздании”, единственным законом которого является произвольная изменчивость. Ты не можешь требовать, — продолжала она где-то между щеками его подушки (поскольку Ада давно исчезла со своей кроваво-бурой книгой), — ты не

можешь требовать благопристойности от дельфинетки! Тебе известно, что я по-настоящему люблю только мужчин и, к сожалению, только одного мужчину».

В намеках Ады на ее плотские приключения всегда было что-то красочно-импрессионистическое, но также и ребячливое, напоминающее камуфляжную окраску, или крохотные стеклянные лабиринты с двумя горошинами, или ардисовскую механическую катапульту — помнишь? — швырявшую вверх глиняных голубей и сосновые шишки, чтобы в них стреляли из ружья, или кокамару (русскую «биксу»), в которой орудуют миниатюрным кием на выстланной бильярдным сукном продолговатой доске, с лунками и обручами, колокольчиками и шпильками, между которых зигзагообразно скачет, звонко стукаясь, небольшой, как в пинг-понге, шарик цвета слоновой кости.

Образы — это грезы речи. Пройдя самшитовый лабиринт и багательные арки Ардиса, Ван углубился в сны. Когда он открыл глаза, было девять часов утра. Она лежала на боку, в согнутом положении, затылком к нему, и после этой открытой скобки ничего не было, содержимое еще не было готово к закрытию, и любимые, прекрасные, предательские, иссиня-черно-бронзовые волосы пахли Ардисом, но также и «Oh-de-grâce» Люсетты.

Послала ли она ему телеграмму? Отказала или отсрочила? Госпожа Винер — нет, Вингольфер, нет, Вайнлендер — первый русский, отведавший лабруску.

«МнЂ снится саПЕРникъ ЩАСТЛИИВОЙ!» (Михаил Иванович, сгорбившись на своей любимой скамье под сочными гроздьями, рисует тростью арки на песке).

Тем временем препоручу себя д-ру Похмелову и его сильнейшей кофеиновой пилюле.

В двадцать лет Ада долго спала по утрам, так что в пору их новой жизни вдвоем он обычно принимал душ до ее пробуждения и, бреясь, звонил из ванной, чтобы доставили завтрак, который Валерио вкатывал на сервированном столике из лифта в гостиную, примыкающую к их спальне. Однако в то самое воскресенье, не зная, чего бы хотелось Люсетте (он помнил, что в детстве она любила какао), и желая еще до начала дня соединиться с Адой — даже если придется вторгнуться в ее теплую дрему, — Ван ускорил омовение, крепко вытерся полотенцем, припудрил пах и, не потрудившись прикрыть наготу, во всем своем великолепии вернулся в спальню — только чтобы найти взъерошенную и нахмуренную Люсетту, все еще в ивовой ночной сорочке, сидящую на дальнем крае матриминимального ложа, в то время как Ада, с набухшими сосцами, уже надевшая из ритуальных и провидческих соображений его алмазное ожерелье, затягивалась своей первой папиросой и выпытывала у сестренки ответа на вопрос, желает ли она вкусить «Монакских» оладий с потомакским сиропом или, может быть, предпочитает попробовать их несравненный янтарно-рубиновый бекон? Увидев Вана, который, не дрогнув ни единым мускулом своего недюжинного самообладания, утвердил полноправное колено на ближней стороне огромной кровати (Роза Миссисипи как-то разместила в ней, в

наглядно-просветительских целях педоцентризма, двух своих младших сестричек, цвета молочных ирисок, и еще ростовую куклу, им под стать, но белую), Люсетта пожала плечиками и сделала вид, что уходит, но жадная Адина рука удержала ее.

«Побудь с нами, тушка (от Люсеттушка и “простушка” — ее ласковое прозвище с того дня, как малышка, приблизительно в 1882 году, негромко пустила ветры за столом, — “петарду”, как это называла Ада). А ты, Садовый Бог, позвони консьержу: три кофе, шесть яиц всмятку, побольше тостов с маслом, гору —»

«Ну нет! — перебил ее Ван. — Два кофе, четыре яйца, et cetera. Не хочу, чтобы служащие знали, что у меня в постели две девушки. Для моих скромных нужд и одной довольно (teste Флорой)».

«Скромных нужд! — фыркнула Люсетта. — Пусти меня, Ада. Мне нужна ванна, а ему нужна ты».

«Тушка никуда не пойдет!» — объявила дерзновенная Ада и одним изящным движением сорвала с сестры ночную рубашку. Люсетта невольно склонила голову, согнув хрупкий позвоночник, и откинулась на край Адиной подушки в застенчивом обмороке мученицы, рассыпав ранжевый жар волос по черному бархату мягкого изголовья.

«Разведи руки, дурочка», приказала Ада и сбросила верхнюю простыню, прикрывавшую три пары ног. Одновременно, не поворачивая головы, она оттолкнула вороватого Вана от своего зада, а другой рукой проделала магические пассы над маленькими, но необыкновенно красивыми грудками Люсетты, блестевшими капельками пота, после чего провела вдоль плоского трепещущего живота этой выброшенной на берег русалки к однажды уже виденной Ваном жар-птичке, теперь вполне оперившейся и по-своему столь же дивной, как и сизый ворон его любимой. Чародейка! Акразия!

Перед нами не столько «казановanская» сцена (тот двуличный дамский негодник владел лишь однотонным карандашом, не выделяясь из ряда прочих мемуаристов своей тусклой эпохи), сколько гораздо более раннее полотно венецианской (sensu largo) школы, воспроизведенное (в «Запретных Шедеврах») достаточно искусно, чтобы выдержать взыскательный разбор бордельного vue d’oiseau.

Вид сверху, как бы отраженный в «небесном» зеркале, простодушно «придуманном» Эриком в его кипридских грезах (на самом деле потолок скрыт тенью, потому что жалюзи все еще опущены и закрывают серенькое утро), являет большой остров кровати, освещенный слева от нас (справа от Люсетты) лампой, горящей с жужжащим накалом на ночном столике с западной стороны. Верхняя простыня и стеганое одеяло отброшены к южной оконечности острова — лишенному доски изножию, откуда только что обращенный взгляд начинает свой путь на север, вверх по насильно раздвинутым ногам младшей мисс Вин. Росинка на рыжем мху в конце концов находит стилистический отклик в аквамариновой слезинке на ее рдяной скуле. Другой маршрут от пристани в глубь территорий позволяет осмотреть долгую белую ляжку (левую) лежащей посередине девушки; мы посещаем сувенирные лавки:

покрытые красным лаком когти Ады, которые ведут притворно-непокорную, простительно-уступчивую мужскую ладонь из тускло-восточной в ярко-карминовую западную область, а ее сыплющее искры алмазное ожерелье в данном особом случае не намного ценнее аквамаринов на другой (западной) стороне галантерейного переулка Нового Романа. Обезображенный шрамами голый мужчина на восточном побережье острова наполовину затенен и в целом менее любопытен, хотя и находится в состоянии возбуждения, значительно превышающем то, которое полезно ему или определенного рода туристам. Недавно оклеенная новыми обоями стена, строго на запад от еще громче жужжащей (et pour cause) дороценовой лампы, украшена в честь центральной девушки перуанской «жимолостью», на которую садятся (боюсь, не только ради нектара, но и ради микроскопических существ, завязших в нем) чудесные колибри лоддигезии, в то время как на другой стороне ночного столика покоится прозаический коробок спичек, сигаретный караванчикъ, «Монакская» пепельница, экземпляр жалкого триллера Вольтеманда и жутковатая орхидея Oncidium luridum в аметистовой вазочке. На парном ночном столике с Вановой стороны стоит такая же мощная, но незажженная лампа, дорофон, коробка гигиенических салфеток «Лоск», лупа для чтения, возвращенный ардисовский альбом и оттиск статьи д-ра Фурункула (озорной псевдоним молодого Раттнера) «Легкая музыка как причина опухолей мозга». Каждый звук окрашен по-своему, а у каждого цвета свой запах. Жар Люсеттиного янтаря пересекает черную ночь ароматов и отрады Ады и, доходя до Вана, пахнущего козлом и лавандой, пропадает. Десять жадных, губительных, любящих, длинных пальцев, принадлежащих двум разным молодым демонам, ласкают своего беспомощного постельного питомца. Распущенные черные волосы Ады ненароком щекочут местную диковинку, которую она держит в левом кулачке, великодушно демонстрируя свое приобретение. Без подписи и рамы.

Вот, пожалуй, и все, поскольку волшебная безделушка сразу разжижилась, и Люсетта, схватив ночную рубашку, сбежала в свою комнату. То был всего лишь один из тех лабазов, в которых ювелир знает, как можно кончиками пальцев нежно придать пустячку еще большую ценность, делая мелкие движения, напоминающие чем-то потирание задних крылышек сидящей голубянки или фроттаж большого пальца фокусника, пальмирующего монету; но именно в таких лабазах анонимные картины, приписываемые Грилло или Обьето, капризу или замыслу, Ober- или Unterart, как раз и обнаруживаются рыщущим художником.

«До чего же она нервозна, бедная девочка, — заметила Ада, потянувшись через Вана к “Лоску”. — Можешь теперь заказать завтрак, если только… Ах, какое прекрасное зрелище! Орхидеи. Никогда не видела, чтобы к мужчине так быстро возвращались силы».

«Сотни шлюх и десятки кошечек, более опытных, чем будущая госпожа Вайнлендер, говорили мне это».

«Может, я и не такая умная, как раньше, — с грустью сказала Ада, — но я знаю кое-кого, кто не просто кошка, а настоящий хорек, и это Кордула Тобакко, она же Madame Perwitsky. Я прочитала в этой утренней газете, что девяносто процентов кошек во Франции умирают от

рака. Не знаю, как с этим обстоят дела в Польше».

Некоторое время спустя он наслаждался адски <sic! Ред.> вкусными оладьями. Люсетта, однако, не появилась, и когда Ада, так и не сняв ожерелье (намекая тем самым на то, что перед своей утренней ванной она рассчитывает на еще одного caro Вана и «Дромадера»), заглянула в гостевую спальню, она обнаружила, что белый чемодан и голубые меха исчезли. К подушке была приколота записка, наспех начертанная «Зеленой Арленовой Тенью для Век»:

Сойду с ума если останусь еще на ночь поеду кататься на лыжах в Верма с другими жалкими шерстяными червяками недели на три или так печально

Pour Elle

Ван прошел к монастырскому аналою, который приобрел для сочинения в вертикальном положении становой мысли, и написал следующее:

Poor L.

Нам жаль, что ты так скоро уехала. Нам еще жальче оттого, что мы завлекли нашу Эсмеральду и русалочку в озорную проделку. Мы никогда больше не станем с тобой играть в такие игры, дорогая жар-птица. Прими наши apollo [apologize, извинения]. Дурманы, раны и мембраны красоты лишают художников и болванов способности владеть собой. Пилоты огромных дирижаблей и даже грубые, смердящие ямщики, как известно, теряли голову из-за пары зеленых глаз и медного локона. Мы хотели полюбоваться тобой и позабавить тебя, милая РП (райская птица). Мы зашли слишком далеко. Я, Ван, зашел слишком далеко. Мы сожалеем об этом постыдном, хотя по сути своей невинном эпизоде. Сейчас время эмоционального потрясения и восстановления сил. Уничтожь и забудь.

Нежно твои А и В

(в алфавитном порядке)

«Какой напыщенный пуританский вздор! — сказала Ада, ознакомившись с посланием. — Почему это мы должны apollo за то, что она испытала сладкую спазмочку? Я люблю ее и никогда не допущу, чтобы ты ей навредил. И вот что занятно, знаешь, что-то в тоне твоей записки заставляет меня по-настоящему ревновать, впервые в моей жажде <так в рукописи, вместо “жизни”. Ред.>. Ван, Ван, где-нибудь, когда-нибудь, после пляжа или дансинга, ты переспишь с ней, Ван!»

«Если только иссякнет твое любовное зелье. Ты позволишь мне послать ей эту записку?»

«Позволю, но я хочу прибавить несколько слов».

Ее P.S. гласил:

Под составленной Ваном декларацией я подписываюсь неохотно. Она напыщенная и пуританская. Я обожаю тебя, mon petit, и никогда не позволю ему причинить тебе боль, какой бы нежной или грубой она ни была. Когда тебе наскучит Куин, почему бы не слетать в Голландию или Италию?

А.

«А теперь отправимся на прогулку, — предложил Ван. — Прикажу, чтобы седлали Пардуса и пегого Пега».

«Прошлым вечером меня узнали двое, — сказала она. — Незнакомые друг с другом калифорнийцы. Они не решились поклониться, потому что меня сопровождал бретер в шелковом смокинге, бросавший по сторонам свирепые взгляды. Один — Анскар, фильмовый продюсер, другой, с кокоткой, — Пол Винниер, лондонский приятель твоего отца. Я, признаться, надеялась, что мы вернемся в постель».

«Мы сейчас поедем в Парк на конную прогулку», твердо сказал Ван и первым делом позвонил воскресному посыльному, чтобы тот доставил письмо в гостиницу Люсетты или на курорт Верма, если она уже уехала.

«Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь?» — заметила Ада.

«Да», ответил он.

«Ты разбиваешь ей сердце», сказала Ада.

«Ада, девочка, обожаемая моя девочка, — воскликнул Ван, — я сияюще пуст. Я прихожу в себя после долгой и ужасной болезни. Ты плакала из-за моего неблаговидного шрама, но теперь жизнь будет состоять из любви, смеха и зерен консервированной кукурузы. Не могу я думать о разбитых сердцах, мое собственное только что починили. Ты наденешь синюю вуаль, а я накладные усы, которые делают меня похожим на Пьера Леграна, моего учителя фехтования».

«Au fond, — сказала Ада, — двоюродные имеют полное право выезжать вместе верхом. И даже танцевать или кататься на коньках, если захотят. В конце концов, кузены почти брат и сестра. Сегодня синий, ледяной, безветренный день».

Вскоре она была готова, и перед тем, как расстаться на несколько минут, они нежно поцеловались в коридоре между лифтом и лестницей.

«Башня, — негромко сказала она в ответ на его вопросительный взгляд, точно так же, как делала в те медовые утра в прошлом, проверяя свое счастье. — У тебя?»

«Настоящий зиккурат».

9

Наведя справки, они выяснили, где проходит повторный показ «Юных и Про́клятых» (1890) — в захудалом кинозале, главной специальностью которого были Цветистые Вестерны (как раньше называли эти пустыни неискусства). Так вот во что в конце концов выродились «Enfants Maudits» (1887) м-ль Ларивьер! У нее двое подростков во французском замке отравили свою овдовевшую мать, которая соблазнила молодого соседа, любовника одного из ее отпрысков-близнецов. Наша авторша сделала много уступок свободе нравов того времени и грязной фантазии сценаристов; но и она, и исполнительница главной роли отреклись от конечного результата многочисленных манипуляций с сюжетом, ставшим историей убийства в Аризоне вдовца, собиравшегося жениться на спившейся проститутке, играть которую Марина вполне благоразумно отказалась. Но бедная Адочка держалась за свою маленькую роль, двухминутную сцену в трактире. Во время репетиций ей казалось, что она неплохо справляется с образом коварной буфетчицы — пока режиссер не отчитал ее за то, что она двигается, как угловатый подросток. Она не снизошла до просмотра законченной картины и нисколько не стремилась к тому, чтобы Ван посмотрел ее теперь, но он напомнил ей, как тот же постановщик, Г. А. Вронский, сказал ей, что она достаточно хороша собой, чтобы однажды стать дублершей Леноры Коллин, которая в двадцать лет была такой же привлекательно неуклюжей и так же напрягала и поднимала плечи, когда пересекала комнату. Просмотрев предваряющую фильм еженедельную программу, они наконец дождались «Юных и Про́клятых», но лишь для того, чтобы обнаружить, что вся сцена в трактире была вырезана — за исключением совершенно отчетливой тени Адиного локтя, как добродушно утверждал Ван.

На другой день в их небольшой гостиной с черным диваном, желтыми подушками и защищенным от сквозняков эркером, новое окно которого, казалось, увеличивало медленно и ровно падавшие снежинки (по совпадению, их стилизованное изображение украшало обложку свежего номера «Денди и бабочки», лежавшего на подоконнике), Ада принялась обсуждать свою «драматическую карьеру». Ван скрывал, что этот предмет вызывает в нем тошную скуку (в то время как ее страсть к естествознанию, напротив, приобрела для него ностальгическое очарование). Изложенное на бумаге существовало для Вана только в своей отвлеченной чистоте, в своей неповторимой притягательности для столь же идеального ума. Оно всецело принадлежало своему создателю и не могло быть продекламировано или исполнено имитатором (на чем настаивала Ада) без того, чтобы смертельный удар чужого сознания не

прикончил художника в самом логове его искусства. Написанная драматургом пьеса по определению превосходит самое лучшее ее исполнение, даже если автор самолично выступит ее постановщиком. Со всем тем, Ван соглашался с Адой, что звучащий экран, бесспорно, предпочтительнее живого театрального представления по той простой причине, что посредством первого режиссер может воплотить и сохранить для последующего неограниченного воспроизведения свое наивысшее достижение.

Ни он, ни она не могли представить себе разлук, которых могло бы потребовать ее профессиональное пребывание «на натурных съемках», как не могли они вообразить и совместных поездок в полные любопытных глаз места, жизни вдвоем в Голливуде, С.Ш.А., или в Айвиделле, Англия, или в сахарно-белом «Отеле Конриц» в Каире. По правде говоря, они вовсе не представляли себе какой-либо другой жизни, кроме теперешней tableau vivant, высоко в дивном сизом небе Манхэттена.

Четырнадцатилетняя Ада твердо верила, что быстро станет звездой, и там, в зените славы, с оглушительным громом разразится призматическими слезами триумфа. Она посещала специальные курсы. Неудачливые, но одаренные актрисы, а также Стан Славский (не родственник и не сценический псевдоним) давали ей частные уроки драмы, отчаяния и надежды. Ее дебют стал тихой маленькой катастрофой; последующим выступлениям искренне аплодировали только близкие друзья.

«Первая любовь, — сказала она Вану, — это твоя первая овация, и именно она создает великих артистов — убеждал меня Стан, которому вторила его пассия, сыгравшая мисс Блестку Треугольникову в “Гимнастических кольцах”. Настоящее признание может прийти только с последним венком».

«Bosh! [Чушь!]» — сказал на это Ван.

«Вот именно, его тоже освистали наемные писаки-капюшонники в гораздо более старых Амстердамах, и посмотри, как триста лет спустя каждый попка-дурак из поп-группы копирует его! Я и сейчас думаю, что не лишена дарования, но, кто знает, не путаю ли я верный подход с талантом, который не даст и ломаного гроша за правила, выведенные из искусства прошлого».

«Что ж, по крайней мере ты это понимаешь, — сказал Ван, — и ты подробно изложила все это в одном из своих писем».

«Я как будто всегда чувствовала, к примеру, что актерская игра должна быть сосредоточена не на “характерах”, не на тех или иных “типах”, не на фокусе-покусе общественной темы, а исключительно на индивидуальной и неповторимой поэзии автора, поскольку драматурги, как показал величайший из них, ближе к поэтам, чем к романистам. В “реальной” жизни мы случайные создания в абсолютной пустоте — если, конечно, мы сами не создатели-художники; но в хорошей пьесе я чувствую себя автором, чувствую, что допущена советом цензоров, я чувствую себя в безопасности, передо мной только дышащая чернота

(вместо нашего Времени с его Четвертой Стеной), я чувствую себя в объятиях озадаченного Уилла (он думал, что обнял тебя) или намного более нормального Антона Павловича, всегда страстно любившего длинные черные волосы».

«Об этом ты тоже писала мне как-то».

Начало сценической жизни Ады в 1891 году совпало с завершением двадцатипятилетней карьеры ее матери. Мало того, обе сыграли в чеховских «Четырех сестрах». Ада получила роль Ирины на скромной сцене Якимской Академии Драмы в несколько урезанной версии пьесы, в которой, к примеру, сестра Варвара, болтливая «оригиналка» (как называет ее Маша), только упоминается, но не появляется, так что этот спектакль мог бы называться «Три сестры», как его и окрестили в местных рецензиях, из тех, что позанятнее. Марина же исполнила (несколько расширенную) роль монахини в толково снятой кинематографической версии пьесы; и картина, и Марина удостоились немалого числа незаслуженных похвал.

«С того дня, как я решила стать актрисой, — сказала Ада (приводим выдержки из ее записок), — меня преследовала Маринина заурядность, au dire de la critique, которые либо не замечали ее, либо сваливали в общую могилу с другими “подходящими участниками”; а если ей доставалась более заметная роль, гамма оценок расширялась от “топорно” до “чутко” (высшая похвала из когда-либо полученных ею). И вот она, в самый деликатный момент моей карьеры, принялась множить и рассылать друзьям и недругам такие раздражающие отзывы, как: “образ истеричной монахини удался Дурмановой на славу, превратившей по сути статичную и эпизодическую роль в — et cetera, et cetera, et cetera”. Разумеется, кинематограф не знает языковых проблем, — продолжала Ада (и Ван скорее проглотил, чем подавил зевок). — Марина и еще трое из мужской части актеров не нуждались в том превосходном doublage, без которого не могли обойтись прочие исполнители, не владеющие русским; наша же ничтожная якимская постановка располагала лишь двумя русскими: Альтшулером (протеже Стана) в роли барона Николая Львовича Тузенбаха-Кроне-Альтшауера, да мной в роли Ирины, la pauvre et noble enfant, которая в одном действии служит телеграфисткой, в другом — в городской управе, а в конце становится школьной учительницей. Речь остальных актеров являла собой мешанину акцентов — английского, французского, итальянского. Кстати, как по-итальянски сказать “окно”?»

«Finestra, сестра», шепнул Ван, изображая сумасшедшего суфлера.

«Ирина (рыдая). Куда? Куда все ушло? Где оно? О, Боже мой, Боже мой! Я все забыла, забыла… у меня перепуталось в голове… Я не помню, как по-итальянски потолок или вот окно».

«Нет, сначала окно, — сказал Ван, — потому что она оглядывается вокруг, а затем поднимает глаза вверх, в естественном движении мысли».

«Да, конечно: вспоминая, как будет “окно”, она смотрит вверх, и ее взгляд упирается в столь же загадочный “потолок”. Уверена, что я

играла в этом твоем психологическом русле, но какое это имеет значение, какое это имело значение? — спектакль вышел хуже некуда, мой барон перевирал каждую вторую реплику, — но Марина, о, Марина была великолепна в своем мире теней! “Уж десять лет да еще год прошли-пролетели с тех пор, как я покинула Москву”, — изображая теперь Варвару, Ада воспроизвела пѣвучій тонъ богомолки (согласно чеховской ремарке), с такой раздражающей точностью переданный Мариной. — “Старая Басманная улица, на которой ты (обращается к Ирине) родилась два десятка годков тому назад, нынче называется Басман-роуд, всё автобусные гаражи да мастерские по обе стороны (Ирина старается сдержать слезы). Почему же, скажи на милость, ты хочешь вернуться, Аринушка? (Ирина всхлипывает в ответ)”. Само собой, как всякая хорошая актриса, мама, храни ее Господь, немного импровизировала. К тому же ее голос — так молодо и мелодично звучащий русский! — был заменен грубоватым и провинциальным английским Леноры».

Ван смотрел этот фильм, и он ему понравился. Ирландская девушка, бесконечно пленительная и меланхоличная Ленора Коллин, —

Oh! qui me rendra ma colline

Et le grand chêne and my colleen!

— необыкновенно напоминала ардисовскую Аду, как она вышла на снимке (вместе с матерью) в «Белладонне», пестром киножурнальчике, который ему прислал Грег Эрминин, полагавший, что Вану приятно будет увидеть тетушку и кузину вдвоем, в калифорнийском патио, накануне премьеры. Варвара, старшая дочь покойного генерала Сергея Прозорова, в первом действии приезжает из своего далекого женского монастыря Цицикар в Пермь (иначе называемую Пермацетом), захолустный городок на Акимском заливе Северной Канадии, чтобы почаевничать с Ольгой, Машей и Ириной в день именин последней. К великому огорчению монашки, три ее сестры мечтают лишь о том, чтобы уехать из холодного, сырого, кишащего москитами, хотя в остальном приятного патриархального «Перманента», как шутливо прозвала этот город Ирина, ради светской жизни в далекой и грешной Москве (Айдахо), бывшей столице Эстотиландии. Первое издание своей пьесы, которой недостает самой малости, чтобы ее можно было с тихим стоном назвать шедевром, Tchechoff (как он писал свое имя, живя в том году в затрапезном Русском Пансионе, Ницца, улица Гуно, 9) обременил нелепой двухстраничной сценой, содержащей все те сведения, от которых он хотел поскорее отделаться — большие ломти воспоминаний и важные даты — слишком тяжкое бремя, чтобы взваливать его на хрупкие плечи трех несчастных эстотиек. Впоследствии он наполнил этими сведениями, распределив их между персонажами, значительно более длинную сцену, в которой приезд монашки Варвары предоставил автору удобную возможность удовлетворить беспокойное любопытство публики. То был ловкий драматургический прием, но, к несчастью (как это нередко случается с героями, введенными с техническими целями), монашка осталась, и только к концу третьего,

предпоследнего действия автору удалось выдворить ее обратно в монастырь.

«Полагаю, — сказал Ван (зная свою девочку), — что ты не желала принимать никаких советов от Марины для своей Ирины?»

«Это привело бы только к ссоре. Ее подсказки всегда сердили меня, потому что она делала их в саркастичной, оскорбительной манере. Я слышала, что птицы-матери доходят до невротических припадков ярости и глумления, когда их бесхвостые беднячки медленно учатся летать. Увольте. Вот, кстати, программка моего провала».

Ван пробежал список исполнителей и действующих лиц и обратил внимание на две занятные детали: роль офицера-артиллериста Федотика (комедийный орган которого состоял из постоянно щелкающей камеры) исполнял «Ким (сокращение от Яким) Эскимософф», а некто по имени Джон Старлинг играл Скворцова (секунданта на довольно любительской дуэли в последнем действии). Когда он между прочим заметил, что у Старлинга самая подходящая для такой роли фамилия (скворец по-английски «starling»), Ада густо покраснела, точь-в-точь как в Прежние Времена.

«Да, — сказала она, — Джон был очень милым юношей, и я слегка увлеклась им, однако он не вынес волнений и разлада: еще с отроческих лет он был puerulus жирного балетмейстера Делягилева и в конце концов покончил с собой. Видишь (“румянец сменился матовой бледностью”), я не скрываю ни единого пятнышка того, что рифмуется с Пермью».

«Вижу. А Яким —»

«Ох, с ним ничего».

«Нет, я имею в виду, Яким-то хотя бы не делал, как его рифменный тезка, снимков твоего брата, обнимающего свою девочку? В роли Зара д’Лер».

«Не могу сказать. Припоминаю, что наш режиссер не возражал против небольшой комической разрядки».

«Заря en robe rose et verte, в конце первого действия».

«Кажется, я слышала щелчок за кулисами и здоровый смех в зале. Вся роль бедняжки Старлинга сводилась к тому, чтобы, сидя в лодке на реке Каме, крикнуть из-за сцены, подавая сигнал моему жениху, что пора идти на дуэльную поляну».

Но перейдем теперь к нравоучительной метафорике друга Чехова, графа Толстого.

Мы все знаем эти старые платяные шкапы в старинных отелях субальпийской зоны Старого Света. Сперва открываешь их с величайшей осмотрительностью, очень медленно, в тщетной надежде приглушить душераздирающий скрип, нарастающий крик, издаваемый дверцей на

половине своего пути. Однако вскоре обнаруживаешь, что если дверцу открывать или закрывать одним быстрым и решительным движением, то кошмарные петли будут застигнуты врасплох и торжествующая тишина останется нерушимой. Несмотря на редкостное и яркое блаженство, которое охватывало и наполняло их (и мы подразумеваем здесь не один лишь розовый узор Эроса), Ван и Ада знали, что некоторые воспоминания следует держать взаперти, дабы они не терзали каждый нерв души своими жуткими стонами. Но если быстро провести операцию, если неизгладимое зло упомянуть промеж двух мимоходом сказанных колкостей, то есть надежда, что анестетик самой жизни смягчит страшную боль в процессе распахивания ее створки.

Время от времени она проходилась насчет его постельных грешков, хотя обычно старалась о них не вспоминать, молчаливо намекая на то, что рассчитывает на такую же снисходительность в отношении ее собственной слабости. Он был любознательнее Ады, но едва ли мог почерпнуть из ее уст больше того, что знал из ее писем. Своим поклонникам Ада приписывала все те свойства и недостатки, которые нам уже были известны: неуклюжесть исполнения, скудость и тупость; для себя же она не оставляла ничего, кроме легкого женского сострадания и таких соображений гигиены и здравомыслия, которые ранили Вана сильнее дерзкого признания в страстной неверности. Ада решила подняться над окаянством его и своих плотских грехов: эпитет казался едва ли не синонимом «идиотских» и «скотских», а потому не был представлен в невыразимом загробном мире, в существование которого наши молодые люди верили безмолвно и робко. Ван старался следовать той же логике, но не мог забыть позора и муки, даже когда достиг высот счастья, которых не знал и в самый светлый час перед своей самой мрачной порой в прошлом.

10

Они приняли все мыслимые меры предосторожности — и всё понапрасну, ибо ничто не в силах изменить окончания этой главы (уже написанной и добавленной к остальным). Адрес Вана не был известен никому, кроме Люсетты и агентства, пересылавшего ему и Аде корреспонденцию. У любезной фрейлины при банке Демона Ван выведал, что отец вернется в Манхэттен не раньше 30 марта. Они никогда не выходили и не возвращались вместе, договариваясь о встрече в Библиотеке или в большом универсальном магазине, откуда и начинали свои дневные прогулки — и надо же было так случиться, что в тот единственный день, когда они нарушили это правило (Ада застряла в лифте на несколько панических минут, а он беспечно сбежал вниз по лестнице с их общей вершины), Вана и Аду заметила старушка Лачетри, проходившая мимо парадного их дома со своей маленькой рыжевато-серой собакой, длинношерстным йоркширским терьером. Синхронная ассоциация была мгновенной и точной: она давно знала обе семьи и теперь охотно внимала скорее трепету, чем трепотне Ады, сообщавшей, что Ван очень кстати оказался в городе, когда она вернулась с Запада; что Марина здорова; что Демон находится то ли в Мехико, то ли в Химерико; и что у Леноры Коллин такой же очаровательный питомец с таким же очаровательным пробором вдоль спины. В тот же день (3 февраля 1893 года) Ван еще раз задобрил швейцара, и так уже раздобревшего от щедрых подачек, и велел ему на все вопросы любых посетителей (и

особенно вдовы дантиста с похожей на гусеницу собачкой) относительно Вина или Винов отвечать кратким заверением в полном своем неведении. Единственным персонажем, не принятым ими во внимание, был старый негодяй, обыкновенно изображаемый в виде скелета или ангела.

Отец Вана только что покинул один Сантьяго, чтобы осмотреть последствия землетрясения в другом, когда из ладорского госпиталя пришла телеграмма, что Дан при смерти. Он немедленно вылетел в Манхэттен — очи сверкают, крылья свистят. В его жизни осталось не так уж много вещей, которым он придавал важность.

В аэропорту залитого лунным светом белого городка на севере Флориды, который мы называем Тентом, а матросы Тобакова, заложившие его, называли Палаткой, и в котором из-за поломки двигателя ему пришлось пересесть на другой аэроплан, Демон по междугородней линии снесся с госпиталем и получил от необыкновенно обстоятельного д-ра Никулина (внука великого родентолога Куникулинова — никак мы не избавимся от латука) детальный отчет о кончине Волтера Даниэля Вина. Жизнь Данилы была смесью банальности и гротеска, однако артистическая жилка все же проявилась в его смерти, поскольку в ней отразилась (как мгновенно стало ясно его кузену, а не врачу) охватившая беднягу в последнее время страсть к полотнам — подлинным и поддельным, — связанным с именем Иеронима Босха.

На другой день, 5 февраля, около девяти утра по манхэттенскому (зимнему) времени, направляясь к адвокату Дана, Демон заметил на своей стороне улицы (он как раз собирался перейти Алексис-авеню) идущую к нему навстречу с той-терьером госпожу Лачетри, старую, но незначительную знакомую. Не сбавляя шага, Демон сошел с панели и, не имея шляпы, которую можно было приветственно приподнять (шляпы с макинтошем не носили, к тому же он только что принял очень экзотичную и мощную пилюлю, дабы вынести хлопоты дня, выпавшие на него в довершение к бессонному путешествию), ограничился — достаточно любезным — взмахом своей зонтичной трости; с приятным интимным покалыванием он вспомнил одну из ассистенток-полоскательниц в зубоврачебном кабинете ее покойного мужа и плавно проскочил перед медленной повозкой с овощами, оказавшись вне досягаемости г-жи Л-4. Но как раз на случай такого поворота событий Фатум заготовил запасной ход. Несясь (или фланируя, если оперировать терминами его состояния, вызванного снадобьем) мимо «Монако», где он часто завтракал, Демон подумал, что его сын (с которым он безуспешно пытался «связаться»), быть может, все еще живет со своей скучной маленькой Кордулой де Пре в верхних апартаментах этого прекрасного здания. Он ведь не посещал Вана в этой квартире — или посещал? Для делового разговора? На залитой солнцем террасе? Со стаканчиком туманного напитка? (Посещал, верно, но Кордула вовсе не была скучной и не присутствовала.)

С простой и, комбинаторно говоря, ясной мыслью, что, в конце концов, над всеми нами только небо (белесое, с крошечными многоцветными оптическими искрами), Демон поспешил войти в холл и в кабину лифта, присоединившись к рыжеволосому официанту, вкатившему туда столик, сервированный завтраком на две персоны и с манхэттенской «Таймс» между сверкающих, слегка поцарапанных серебряных куполов.

«Мой сын все еще живет здесь?» — машинально спросил Демон, кладя рядом с куполами монету более благородного металла.

«Si, — подтвердил осклабившийся кретин, — он прожил здесь всю зиму со своей леди».

«Значит, мы попутчики», сказал Демон, не без алчного предвкушения гурмана вдыхая аромат «Монакского» кофе, усиленный тенями тропической травки, колышимой бризом его мозга.

В то памятное утро Ван, заказав завтрак, уже вылез из ванны и облачился в клубнично-красный махровый халат, когда ему показалось, что из соседней гостиной доносится голос Валерио. Туда он и направился, перевирая какую-то мелодию, предвкушая еще один день растущего счастья (с еще одной разглаженной складкой, еще одним грубым швом прошлого, перекроенным таким образом, чтобы соответствовать новому великолепному фасону).

Демон, одетый во все черное, в черных гетрах, черном кашне, с моноклем на черной, шире обычного, ленте, восседал за накрытым к завтраку столом, держа в одной руке чашку кофе, а в другой сложенную для удобства «Таймс», раскрытую на странице финансовых сводок.

Он слегка вздрогнул и довольно резко поставил чашку на стол, заметив совпадение цвета со стойкой деталью в освещенном нижнем левом углу картины, воспроизведенной в богато иллюстрированном каталоге его занятого текущими мыслями ума.

«Я не один (je ne suis pas seul)» — все, что Ван нашелся сказать, но Демона распирали принесенные им дурные вести, и он не уловил намека в словах дурака, которому следовало просто уйти в соседнюю комнату и через минуту вернуться (заперев за собой дверь, заперев многие годы потерянной жизни), вместо того чтобы так и стоять рядом с отцовским стулом.

По словам Бесс (ее имя произносили как русское «бес»), пышногрудой, но в остальном омерзительной сиделки Дана, которую он предпочитал всем остальным и вызвал в Ардис, потому что ей удалось орально извлечь из его бедного тела несколько последних капель «плезира» («play-zero», ставь на зеро, как это называла старая шлюха), он уже некоторое время, еще до внезапного отъезда Ады, жаловался, что дьявол в образе полулягушки, полугрызуна хочет взнуздать его и отвести в пыточный застенок вечности. Доктору Никулину он описал своего всадника так: черный, белобрюхий, с черным баклером за спиной, блестящим, как панцирь навозного жука, держащий нож в поднятой передней конечности. Очень холодным утром в конце января Дану удалось каким-то образом сбежать через подвальный лабиринт и садовую кладовую в бурые кустарниковые заросли Ардиса. На нем ничего не было, кроме красного полотенца, свисавшего с его зада, как попона, и, несмотря на ухабы и комья мерзлой земли, он далеко забрался в лес на четвереньках, как покалеченный конь под невидимым седоком. С другой стороны, если бы он поддался искушению предупредить Аду, она могла бы громко зевнуть и сказать что-нибудь

непоправимо домашнее в тот миг, когда он откроет толстую звуконепроницаемую дверь.

«Прошу вас, сэр, — сказал Ван, — сойдите вниз, а я присоединюсь к вам в баре, как только оденусь. Я в щекотливом положении».

«Ничего, ничего, — возразил Демон, роняя и возвращая на место монокль, — Кордула не станет гневаться».

«Здесь другая, намного более застенчивая девушка, — продолжал он свое ужасное бормотание. — Оставим Кордулу в покое! Кордула теперь госпожа Тобак».

«Ах да, конечно! — воскликнул Демон. — Как глупо с моей стороны! Помню, как жених Ады рассказывал мне, что они с молодым Тобаком некоторое время служили вместе в одном банке в Фениксе. Ну конечно. Славный, широкоплечий, голубоглазый и светловолосый малый. Тобакович из Бэк-Бей!»

«Какое мне дело, — сказал застывший на месте Ван, — даже если он выглядит как покалеченная, замученная жаба-альбинос. Прошу, папа, я действительно должен —».

«Занятно, что ты сказал так. Я зашел только для того, чтобы сообщить тебе, что мой бедный кузен Данила умер престранной босховской смертью. Ему мерещилось, что фантастический грызун, сев на него верхом, ускакал на нем из дома. Когда его нашли, было уже слишком поздно. Он скончался в клинике Никулина, бредя этой самой деталью картины. Придется потратить уйму времени, чтобы собрать семью. Картина сейчас хранится в Венской академии изобразительных искусств».

«Соболезную, отец, но я пытаюсь тебе объяснить —»

«Кабы я владел пером, — размышлял Демон, — я бы описал — слишком многословно, конечно, — как страстно, как пылко, как кровосмесительно — c’est le mot — искусство и наука сочетаются в насекомом, в дрозде, в чертополохе того герцогского боскета. Ада выходит за человека, много времени проводящего под открытым небом, при том что ее собственный разум как закрытый музей; они с милой Люсеттой однажды обратили мое внимание — вот кошмарное совпадение — на некоторые детали другого триптиха, того грандиозного сада лукавых наслаждений, созданного около 1500 года, а именно на бабочек — самочку воловий глаз, в центре правой панели, и крапивницу в срединной панели, показанную так, как будто она просто сидит на цветке — заметь это “как будто”, ибо здесь две наши обожаемые девочки преподают нам урок точного знания, поскольку они утверждают, что художник изобразил не ту сторону бабочки: если смотреть на нее в профиль, как она показана на картине, то мы должны видеть испод ее крыльев, однако Босх, по-видимому, нашел крылышко или пару крыльев в угловой паутине своего окна и скопировал их более красочную внешнюю сторону, изображая свое вывернутое насекомое. Я хочу сказать, что мне плевать на эзотерическую подоплеку, на стоящий за мотыльком мотив или миф, на препаратора шедевров, заставляющего Босха выражать

тот или иной вздор своего времени, у меня аллергия на аллегории, и я нисколько не сомневаюсь, что он просто наслаждался, скрещивая случайные фантазии из одного только удовольствия от контура и цвета, и то, что нам следует изучать, говорил я твоим кузинам, это именно радость зрения, ощущение и вкус клубничины размером с женщину, которую ты обнимаешь вместе с ним, или изысканный сюрприз необычного отверстия — но ты не слушаешь меня, ты ждешь, когда я уйду, чтобы проникнуть в ее освежающий сон, о, счастливое чудовище! A propos, я не успел оповестить Люсетту, она где-то в Италии, но мне удалось проследить Марину до Цицикара, — флиртует там с епископом Белоконска, — она прибудет сегодня ближе к вечеру, облаченная, конечно, в pleureuses, ей очень к лицу, а потом мы отправимся в Ладору à trois, потому что не стоит —»

Уж не одурманен ли он каким-нибудь ярким чилийским наркотиком? Этот поток просто неудержим, обезумевший дух, говорящая палитра —

«— нет, правда, не стоит тревожить Аду в ее Агавии. Он — я говорю о Вайнлендере — десцендент, д, е, с, ц, е, н, одного из тех великих варягов, которые покорили Медных Татар или Красных Монголов, или как их там, которые, в свою очередь, одолели каких-то еще более ранних Бронзовых Всадников — до того, как мы ввели нашу русскую рулетку и ирландскую мушку в один прекрасный день в истории западных игорных домов».

«Мне ужасно, мне необыкновенно жаль, — сказал Ван, — что дядя Дан умер и что вы, сэр, так взволнованы, но кофе моей подруги остывает, и я не могу ввалиться в нашу спальню со всей этой инфернальной парафернaлией».

«Ухожу, ухожу. В конце концов, мы не виделись — с каких же пор? С августа? Во всяком случае, я надеюсь, что она красивее той Кордулы, которая была у тебя здесь раньше, мой вольный волокита!»

Может быть, волатина? Или драгонара? От него определенно несет эфиром. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, уходи.

«Мои перчатки! Плащ! Благодарю. Могу ли я воспользоваться твоим ватерклозетом? Нет? Хорошо. Найду другой где-нибудь. Присоединись ко мне, как только сможешь, и мы встретим Марину в аэропорту около четырех, а затем помчим на поминки и —»

И тут вошла Ада. Не голая, о, нет; в розовом пеньюаре, дабы не смущать Валерио, вошла, по-домашнему расчесывая волосы, сладкая и сонная. Она совершила ошибку, воскликнув «Боже мой!» и бросившись обратно в сумрак спальни. Все было потеряно в один этот секундный промельк.

«Или лучше — приходите немедленно, вы оба, потому что я отменю свою встречу и прямиком отправлюсь домой». Он говорил или думал, что говорит, с тем самообладанием и отчетливостью речи, которые так пугали и гипнотизировали бездельников, хвастунов, болтливого маклера, провинившегося школьника. Особенно теперь — когда все полетело к чертям собачьим Еруна Антонисона ван Акена и molti

aspetti affascinanti его enigmatica arte, как Дан с последним вздохом объяснил доктору Никулину и медицинской сестре Беллабестии («Бесс»), которой он завещал кипу музейных каталогов и свой второй по качеству катетер.

11

Драконий наркотик выветрился; его неприятные последствия сочетают упадок сил с некоторой однотонностью мысли, как если бы из сознания исчезли все краски. Демон в сером халате лежал на серой кушетке своего кабинета на третьем этаже. Его сын стоял у окна, спиной к молчанию. Ада, приехавшая вместе с Ваном несколько минут назад, ждала в обитой камчатой тканью комнате этажом ниже, прямо под кабинетом. В соседнем небоскребе, как раз напротив кабинета, было отворено окно, за которым человек в фартуке устанавливал мольберт и наклонял голову в поисках нужного ракурса.

Демон начал так:

«Я настаиваю, чтобы ты смотрел на меня, когда я с тобой разговариваю».

Ван понял, что судьбоносный разговор уже идет в сознании его отца, поскольку требование прозвучало так, словно Демон сам себя перебил, и в ответ, слегка поклонившись, сел у стола.

«Однако, прежде чем я сообщу тебе об этих двух обстоятельствах, я хочу знать, сколько вы, сколько это…» («тянется», хотел он, вероятно, закончить, или как-нибудь в том же банальном роде — но если на то пошло, разве не все концовки банальны — петля, железное жало Нюрнбергской Старой Девы, пуля в лоб, последние слова, произнесенные в новеньком ладорском госпитале, падение с тридцати тысяч футов в пустоту, принятую за уборную самолета, яд из рук собственной жены, ожидание толики крымского гостеприимства, поздравление господина и госпожи Вайнлендеров —)

«Без малого девять лет, — ответил Ван. — Я совратил ее летом восемьдесят четвертого года. Не считая одного случая, у нас не было близости до лета восемьдесят восьмого года. После долгой разлуки мы провели вместе одну зиму. В общем, я полагаю, что обладал ею около тысячи раз. Она — вся моя жизнь».

В ответ на его хорошо отрепетированную речь последовала долгая пауза, вроде ступора сценического партнера.

Наконец, Демон продолжил:

«Второе обстоятельство может тебя ужаснуть даже сильнее первого. Я отдаю себе отчет в том, что оно доставило мне гораздо более глубокое беспокойство — морального, конечно, а не материального свойства, — чем случай Ады, о котором ее мать в конце концов сообщила кузену Дану, так что в некотором смысле —»

Пауза с потаенным журчанием.

«Я расскажу тебе о Черном Миллере как-нибудь в другой раз; не сегодня; слишком по́шло».

(Жена д-ра Лапинера, урожденная графиня Альп, не только бросила мужа в 1871 году, сойдясь с Норбертом фон Миллером, поэтом-любителем, русским переводчиком в итальянском консульстве Женевы и профессиональным контрабандистом неонегрина — встречается лишь в Вале, — но и поведала своему сожителю мелодраматические подробности уловки, которую добросердечный доктор счел благом для одной дамы и благословением для другой. Разносторонний Норберт изъяснялся по-английски с экстравагантным акцентом, бесконечно восхищался богачами, и когда упоминал имя, не мог удержаться, чтобы не сказать о таком человеке, что он, дескать, «неумоверно богат» — в благоговейном любовным упоении откидываясь на спинку стула и разведенными напряженными руками обнимая невидимое, но баснословное состояние. У него была круглая и голая, как колено, голова, нос-пуговка мертвеца и очень белые, очень вялые, очень влажные ладони, обильно украшенные самоцветами. Любовница его вскоре оставила. Д-р Лапинер умер в 1872 году. Приблизительно в то же время барон женился на невинной дочери трактирщика и начал шантажировать Демона Вина; вымогательство продолжалось почти двадцать лет, пока постаревшего Миллера не пристрелил итальянский полицейский на козьей пограничной тропе, которая с каждым годом как будто становилась все круче и грязнее. Из чистого милосердия или же в силу привычки Демон велел своему адвокату продолжать посылать вдове миллеровские деньги, простодушно принятые ею за страховые выплаты — поступавшая раз в три месяца сумма все прошлые годы увеличивалась с каждой новой беременностью плодовитой швейцарки. Демон говорил, что однажды опубликует четверостишия «Черного Миллера», скрашивавшие его письма бренчаньем рифм на календарных листках:

Жена брюхата, вот судьбина!

Грядет еще один бамбино.

Будь добр, как я, мой глас не нов:

В большую печь — побольше дров.

Закрывая эти поучительные скобки, мы можем прибавить, что в начале февраля 1893 года, вскоре после смерти нашего рифмоплета, два других, менее удачливых шантажиста, ждали своего часа: Ким, который нипочем не оставил бы Аду в покое, если бы его не вынесли из его дома, с одним глазом, повисшим на красной ниточке, и другим, залитым кровью; и сын одного бывшего служащего знаменитого агентства тайных сообщений, после того как власти С.Ш.А. прикрыли его в 1928 году, когда прошлое перестало что-либо значить и не нашлось ничего, кроме тюремной соломы, чем можно было вознаградить ожидания мошенников второго поколения.)

Самая долгая из нескольких пауз прошла своим мрачным чередом, и вновь зазвучал голос Демона, на этот раз с энергией, которой ему недоставало ранее:

«Ван, ты принимаешь сообщаемые мною вести с непостижимым спокойствием. Я не припомню ни единого случая в реальной или вымышленной жизни, чтобы отцу приходилось говорить сыну подобные вещи при подобных обстоятельствах. Ты же вертишь в пальцах карандаш и выглядишь таким невозмутимым, как будто мы обсуждаем твои карточные долги или жалобы залетевшей птички».

Сказать ему о гербарии на чердаке? О неосмотрительности (анонимных) слуг? О фальшивой дате свадьбы? Обо всем, что так жизнерадостно сумели собрать двое умных детей? Скажу. Сказал.

«Ей было двенадцать, — прибавил Ван, — а я был самцом-приматом четырнадцати с половиной лет, и нас попросту не тревожили последствия. А теперь уже слишком поздно волноваться».

«Слишком поздно?» — крикнул его отец, садясь на кушетке.

«Пожалуйста, папа, не выходи из себя, — сказал Ван. — Природа, как я однажды признался тебе, оказалась ко мне благосклонной. Мы можем позволить себе быть беспечными во всех значениях этого слова».

«Меня волнует не семантика — или осеменение. Важна лишь одна-единственная вещь: еще не слишком поздно прервать эту постыдную связь —»

«Не стоит кричать и прибегать к обывательским эпитетам», перебил его Ван.

«Хорошо, — сказал Демон, — я беру назад свой эпитет и вместо этого спрашиваю: разве слишком поздно помешать твоему роману с сестрой разрушить ее жизнь?»

Ван знал, что дойдет и до этого. Я знал, сказал он, что дойдет и до этого. С «постыдной» расквитались; не сочтет ли за труд его обвинитель пояснить, что он подразумевает под «разрушить»?

После этого разговор принял отвлеченный характер, что было намного страшнее вступительного признания в совершенных грехах, которые наши юные любовники давно уже простили своим родителям. Как Ван себе представляет продолжение сценической карьеры своей сестры? Понимает ли он, что все будет разрушено, если они продолжат свои отношения? Так ли уж ясно рисуется ему уединенная жизнь в роскошном изгнании? Готов ли он лишить ее обычных интересов и нормального брака? Детей? Обычных развлечений?

«Не забудь “обычный адюльтер”», заметил Ван.

«Насколько это было бы лучше! — сказал поникший Демон, который сидел на краю кушетки, уперев локти в колени и обхватив голову руками. —

Катастрофичность этого положения как бездна, которая становится тем глубже, чем больше я о ней думаю. Ты заставляешь меня прибегать к самым затасканным понятиям: “семья”, “честь”, “положение в обществе”, “закон”… Признаю, в своей бурной жизни я подкупил немало чиновников, но ни ты, ни я не сможем подкупить целую цивилизацию, целую страну. И душевное потрясение от одной мысли, что почти десять лет и ты, и это прелестное дитя обманывали своих родителей —»

Тут Ван ожидал, что отец продолжит в русле «это-убьет-твою-мать», но Демон был достаточно умен, чтобы воздержаться от этого. Марину ничто не могло «убить». Если до нее и дойдут слухи об инцесте, она ради заботы о своем «внутреннем покое» пропустит их мимо ушей или, на худой конец, окружит ореолом романтики, вытеснив их тем самым за пределы реальности. И сын, и отец хорошо понимали все это. Ее образ возник на мгновение и сразу исчез.

Демон продолжил так:

«Лишив тебя наследства, я ничего не добьюсь: Аква оставила тебе прочный “трон” и недвижимое имущество, так что это традиционное наказание теряет смысл. И я не могу донести на тебя властям, не упомянув своей дочери, которую я намерен защитить любой ценой. И все же я могу правильно поступить с тобой — я могу проклясть тебя, я могу сделать это нашим последним, нашей последней —»

Ван, без конца скользивший пальцем взад и вперед по безответному, но успокоительно гладкому краю письменного стола из красного дерева, с ужасом услышал всхлип, сотрясший Демона, а затем увидел, как по его загорелым впалым щекам потекли слезы. Пятнадцать лет тому назад, в любительской пародии, разыгранной во время застолья по случаю дня рождения сына, Демон, изображая Бориса Годунова, разразился странными, пугающими, черными, как вакса, слезами, перед тем как скатиться по ступеням бурлескного престола в полной капитуляции смерти перед гравитацией. А теперь, в этом представлении, отчего на его щеках появились черные дорожки? Не оттого ли, что он подводил тушью глазницы, веки, ресницы, брови? Зловещий игрок… бледная роковая девушка в другой известной мелодраме… В этой самой. Ван протянул ему чистый платок взамен его испачканной тряпки. Собственное мраморное хладнокровие Вана нисколько не удивило. Общие с отцом рыдания выглядели бы комично, и потому его естественные каналы для выхода чувств оставались надежно перекрытыми.

К Демону вернулось самообладание (если не его моложавый вид), и он сказал:

«Я верю в тебя и в твой здравый смысл. Ты не позволишь старому развратнику отречься от единственного сына. Если ты любишь ее, то желаешь ей счастья, а она не будет так счастлива, как могла бы, если бы ты ее оставил. Теперь можешь идти. Спускаясь, скажи ей, чтобы она пришла сюда».

Спускаюсь. Мое первое — движение ног в танце, мое второе — старое манхэттенское жаргонное словцо, означающее «богатство», а мое целое любит цель.

Проходя по лестничной площадке второго этажа, он увидел в конце галереи двух комнат, соединенных сводчатым проходом, Аду в черном платье, стоящую спиной к нему у овального окна будуара. Он поручил лакею передать ей просьбу отца и почти бегом пересек знакомые отголоски выложенного каменными плитами вестибюля.

Мое первое — это также краткая форма детского слова. Искомое — в нижнем правом ящике моего практически нетронутого нового стола — не менее просторного, чем у папы: Зиг бы похвалил.

Он рассудил, что в это время дня ему потребуется столько же времени, чтобы поймать такси, сколько и для того, чтобы своей обычной машистой походкой пройти десять кварталов до Алекс-авеню. Он был без пальто, без галстука, без шляпы; режущий лицо сильный ветер затуманивал его взор солоноватой изморозью и трепал Медузовую копну его черных локонов. Войдя в последний раз в свою идиотически радостную квартиру, он сразу же сел за этот действительно великолепный стол и написал следующую записку:

Сделай так, как он говорит. Его аргументы звучат несуразно, образумевая <sic!> представления той смутной «викторианской» эпохи, которая сейчас, согласно «моему психу» <?>, царит на Терре, но во вспышке <нрзб.> я вдруг понял, что он прав. Прав, да, его слова верны то тут, то там, а не ни тут и ни там, как в большинстве случаев. Вот, девочка, такая картина, и другой нет. В последнем окне, вид из которого мы с тобой разделили, мы оба смотрели на человека, рисовавшего <нас?>, но с уровня второго этажа ты, вероятно, не могла разглядеть, что на нем было что-то похожее на сильно измазанный фартук мясника. Прощай, девочка.

Ван запечатал письмо, извлек из того места, которое так ясно себе представил, свою автоматическую «Грозу», вставил один патрон в магазин и перевел его в патронник. Затем, стоя перед зеркалом платяного шкапа, он приставил пистолет к голове, в ту точку черепа, которая называется птерион, и нажал на удобно вогнутый спусковой крючок. Ничего не произошло — или, может быть, все произошло, и его судьба просто раздвоилась в этот миг, как это, вероятно, происходит иногда по ночам, особенно в чужой постели, в моменты великого счастья или великого горя, когда мы, случается, умираем во сне, но с наступлением тщательно подготовленного утра продолжаем наше привычное существование без сколько-нибудь ощутимого разрыва в будто бы непрерывной, а на самом деле фальшивой серии, с незаметно, но прочно приделанным ложным прошлым. Как бы там ни было, в правой руке он держал уже не пистолет, а карманную расческу, которой провел по волосам на висках. Они поседели к тому времени, когда Ада, перевалившая за тридцать, вспоминая их добровольное расставание, заметила:

«Я бы тоже наложила на себя руки, увидев, как Роза рыдает над твоим

телом. “Secondes pensées sont les bonnes”, как говаривала твоя другая, белокожая bonne на своем очаровательном наречии. Относительно фартука ты был совершенно прав. А вот ты не разглядел, что художник почти закончил большую картину с твоим скромным маленьким палаццо, стоящим между двух гигантских стражников. Возможно, она предназначалась для обложки журнала, который ее отверг. Но, знаешь, об одной вещи я сожалею, — прибавила она, — что ты использовал альпеншток, когда дал выход животной ярости, — не своей, не моего Вана. Мне не следовало рассказывать тебе о ладорском полицейском, а тебе не следовало посвящать его в свои личные дела и становиться его соучастником в сжигании тех папок — и большей части калуганского соснового леса. Это унизительно».

«Я загладил свою вину, — ответил располневший Ван с усмешкой толстяка. — Я держу Кима в безопасности и уюте в приятном Доме для Увечных Лиц Свободной Профессии, где он получает от меня стопками книги о новшествах в области цветной фотографии, дивно набранные брайлевским шрифтом».

Есть другие возможные ответвления и продолжения, которые приходят в голову сновидцу, однако этих довольно.

Часть третья

1

Он путешествовал, он исследовал, он преподавал.

При полной луне, серебрившей пески, проложенные острыми черными тенями, он осматривал пирамиды Ладораха (посещенные главным образом ради их названия). Он охотился на озере Ван с британским губернатором Армении и его племянницей. С балкона отеля в Сидре управляющий показал ему след гаснущего зарева оранжевого заката, преобразившего рябь лавандового моря в чешую золотой рыбки, и это зрелище полностью искупило все неудобства обклеенных полосатыми обоями комнатушек, которые он делил со своей секретаршей, молоденькой леди Бедлам. На другой террасе, обращенной к другому сказочному заливу, Эбертелла Браун, любимая танцовщица местного шаха (простодушное юное создание, полагавшее, что «крещение желанием» имеет отношение к постели), расплескала свой утренний кофе, заметив гусеницу длиной в шесть дюймов, с сегментами, покрытыми чем-то вроде лисьего меха, qui rampait, заблудившись, по балюстраде, и обморочно свернулась, когда Ван снял ее голыми руками и отнес это красивое существо в кусты, после чего битый час мрачно выщипывал пинцетом девушки зудящие яркие ворсинки из кончиков пальцев.

Он научился ценить то своеобразное легкое волнение, какое охватывает одинокого мужчину в темных закоулках чужих городов, хорошо зная, что

не найдет ничего, кроме грязи и скуки, и брошенных пивных «merry-cans» с «Биллем» на ярлыках, и джунглевых взвизгов завозного джаза, доносящихся из сифилитичных кафе. Он часто ловил себя на мысли, что известные города, музеи, древние пыточные застенки и висячие сады — всего лишь точки на карте его безумия.

Ему нравилось сочинять свои произведения («Неразборчивые подписи», 1895; «Ясновизионизм», 1903; «Меблированное пространство», 1913; «Текстура времени», начата в 1922 году) — в горных приютах, в салонах великих экспрессов, на солнечных палубах белых кораблей, за каменными столами латиноамериканских публичных парков.

Раскручивая кольца сознания после бесконечно долгого оцепенения, он с удивлением замечал, что лайнер идет в противоположном направлении или что персты его левой руки расположены в обратном порядке, начинаясь теперь, по часовой стрелке, с большого пальца, как на правой руке, или что мраморный Меркурий, неотрывно смотревший из-за его плеча, оборотился внимательным кипарисом. Он мгновенно осознавал, что три, семь, тринадцать лет в одном цикле разлуки, а затем четыре, восемь, шестнадцать — в другом, прошли с тех пор, как он в последний раз обнимал, прижимал и окроплял слезами Аду.

Казалось, числа, ряды, периоды — кошмар и проклятие, терзающие чистую мысль и чистое время, — стремились автоматизировать его разум. Три стихии, огонь, вода и воздух, уничтожили (в этой последовательности) Марину, Люсетту и Демона. Терра ждала.

Выбросив из головы, как никчемную подробность, свою жизнь с благополучно сошедшим в могилу Даном и удалившись на все еще ослепительную, все еще волшебно содержащуюся первоклассными слугами виллу на Лазурном берегу (ту самую, подаренную ей некогда Демоном), мать Вана в продолжение семи лет страдала от различных «неизвестных» болезней, которые все считали выдуманными или талантливо симулированными и от которых, как она утверждала, можно было излечиться усилием воли — что ей отчасти и удалось. Ван навещал ее реже примерной Люсетты, с которой столкнулся в доме матери два или три раза; а однажды, в 1899 году, пройдя в сад земляничных и лавровых деревьев виллы «Армина», он видел, как бородатый старик-священник православной конфессии в нейтрально черном облачении отъехал на мотороллере от дома, направляясь в Ниццу, где рядом с теннисными кортами находился его приход. Марина говорила с Ваном о Теологии, о Терре, о Театре, но никогда — об Аде, и так же, как он не подозревал, что ей все известно о страхах и страстях Ардиса, никто и предположить не мог, какую боль в кровоточащих кишках она пыталась унять заклинаниями и «самоконцентрацией» или противоположным приемом — «саморастворением». С загадочной и несколько самодовольной улыбкой она призналась, что, сколь бы ей ни нравились ритмичные голубоватые клубы ладана и сочный рык дьякона с амвона, да маслянисто-коричневые иконы в защитных филигранных окладах, к которым прихожане прижимаются губами, ее душа, наперекоръ Даше Вайнлендер, остается безраздельно преданной высшей мудрости индуизма.

В начале 1900 года, за несколько дней до того, как он в последний

раз увидел Марину в госпитале Ниццы (где он впервые узнал название ее болезни), Вану приснился «вербальный» кошмар, вызванный, быть может, мускусным ароматом «Виллы Венус» в Мирамасе (Bouches Rouges-du-Rhône). О чем-то спорили двое — бесформенные, толстые, прозрачные, — один все повторял: «Я не могу!» (имея в виду «не могу умереть» — выполнить такую процедуру спонтанно, не прибегая к помощи кинжала, пули или яда, в самом деле нелегко), а другой утверждал: «Вы можете, сударь!» Марина умерла две недели спустя, тело было сожжено в соответствии с ее инструкциями.

Ясно мыслящий Ван отдавал себе отчет в том, что наделен скорее физической, чем нравственной смелостью. Всю жизнь (продлившуюся уже до середины шестидесятых годов) он старался забыть, словно желая выдавить из своего сознания мелочный, трусливый и глупый поступок (ибо, как знать, быть может, разросшиеся позднее оленьи рога удалось бы наставить уже тогда, под зелеными фонарями, зеленящими зеленые заросли перед отелем, в котором остановились г-н и г-жа Вайнлендеры), свой обмен телеграммами с Люсеттой. На пришедшую от нее из Ниццы каблограмму («Мама умерла этим утром похороны тире кремация тире состоятся послезавтра на закате») он ответил из Кингстона просьбой сообщить («сообщи пожалуйста»), кто еще ожидается на церемонии, и, узнав из ее быстрого извещения, что Демон уже прибыл вместе с Андреем и Адой, телеграфировал так: «Désolé de ne pouvoir être avec vous».

Он бродил по кингстонскому Каскадилла-парку в душистых, деятельно кишащих насекомыми весенних сумерках, намного более серафических, чем этот шквал каблограмм. В тот последний раз, когда он навестил иссохшую Марину, мумию мамы, и сказал ей, что должен вернуться в Америку (куда его, правда, ничто не поторапливало — кроме тяжелого запаха в ее больничной палате, которого не мог развеять никакой бриз), она спросила его со своим новым, нежным, близоруким (из-за обращенности в себя) выражением: «Не подождешь, пока я умру?»; а он ответил: «Я вернусь двадцать пятого. Я должен выступить с речью о психологии самоубийства», на что она сказала, подчеркивая теперь, когда все было трипитака (благополучно упаковано), свое истинное родство с ним: «Непременно расскажи им о своей глупой тетке Акве», и он с дурацкой ухмылкой кивнул, вместо того чтобы ответить: «Да, мама». Сгорбившись в последней полосе заходящего солнца, на той скамье, на которой он недавно ласкал и осквернял свою любимую, долговязую, угловатую чернокожую студентку, Ван терзал себя мыслями о недостаточной сыновьей привязанности — долгой истории душевной черствости, насмешливого презрения, физического отвращения и привычного отчуждения. Он огляделся вокруг, истово каясь и казнясь, моля, чтобы ее дух подал ему недвусмысленный и действительно решающий знак того, что существование продолжится за завесой времени, за плотью пространства. Но ответа не последовало, ни один лепесток не упал на его скамью, ни один комар не сел на его руку. Что же тогда, в самом деле, гадал он, поддерживает его жизнь на ужасной Антитерре, где Терра — миф, а все искусство — игра, если ничто уже не имело значения с того дня, как он ударил Валерио по теплой щетинистой щеке; и откуда, из какого глубокого колодца надежды, он все еще черпал дрожащую звезду, когда все было на грани мучения и отчаяния, а в каждой спальне с Адой был другой мужчина?

2

Пасмурным парижским утром в самом конце весны 1901 года, когда Ван, в черной шляпе, одной рукой бренча теплой мелочью в кармане пальто, а другой, в замшевой перчатке, взмахивая свернутым английским зонтиком, проходил мимо особенно непривлекательного уличного кафе в ряду множества других, протянувшихся вдоль авеню Гийома Питта, из-за столика поднялся и окликнул его круглолицый лысый человек в измятом коричневом костюме и в жилете, на котором поблескивала цепочка часов.

Ван оглядел эти красные круглые щеки и черную эспаньолку.

«Не узнаешь?»

«Грег! Григорий Акимович!» — воскликнул Ван, срывая перчатку.

«Прошлым летом я носил настоящий Vollbart. Ты бы нипочем не узнал меня. Пива? Интересно, что ты делаешь, чтобы выглядеть таким мальчишкой, Ван?»

«Пью шампанское и не пью пиво, такая диета, — сказал профессор Вин, надевая очки и подавая официанту знак изогнутой ручкой своей антуки. — От прибавления в весе не избавляет, зато сберегает мощь в мошне».

«Я тоже очень толстый, да?»

«А Грейс? Не могу себе представить ее располневшей».

«Близнецы есть близнецы, это неисправимо. Моя жена тоже довольно упитанная дама».

«Так ты женат? Не знал. Давно ли?»

«Около двух лет».

«На ком?»

«Мод Свин».

«Дочь поэта?»

«Нет, нет, ее мать из рода Брумов».

Мог бы ответить «Ада Вин», не окажись господин Вайнлендер более проворным поклонником. Брум? Кажется, я видел этот кузов. Впрочем, Бог с ней. Вероятно, унылейший союз: здоровенная властная жена и он, еще зануднее прежнего.

«Последний раз я видел тебя тринадцать лет тому назад, верхом на черной лошади — нет, на черном “Силентиуме”. Боже мой!»

«Да — Боже мой, ты можешь так сказать. Те прекрасные, прекрасные

муки в прекрасном Ардисе! О, я был абсолютно безумно влюблен в твою кузину!»

«Ты говоришь о мисс Вин? Не знал. Как долго —»

«И она не знала. Я был ужасно —»

«Как долго ты пробудешь в —»

«— ужасно застенчив, ведь я отлично понимал, что не могу соперничать с ее многочисленными ухажерами».

Многочисленными? Двумя? Тремя? Возможно ли, чтобы он никогда не слыхал о главном из них? Каждая розовая изгородь знала и каждая служанка во всех трех поместьях. Благородная сдержанность тех, кто приводит в порядок наши постели.

«Как долго ты пробудешь в Люте? Нет, Грег, эту я заказал. Ты заплатишь за следующую бутылку. Скажи мне —»

«Так странно вспоминать! Это было безумие, это была мечта, это была реальность в степени х. За право поцеловать ее щиколотку, должен заметить, я бы согласился подставить шею под топор татарского палача. Ты-то был ей кузеном, почти братом, где тебе понять эту одержимость. Ах, эти пикники! И что — Перси де Пре, который хвастал ею передо мной, а я сходил с ума от зависти и жалости, и доктор Кролик, который тоже, поговаривали, любил ее, и Фил Рак, гениальный композитор, — они мертвы, мертвы, все мертвы!»

«Я очень плохо разбираюсь в музыке, но получил истинное наслаждение, когда заставил твоего приятеля выть. Сожалею, у меня назначено деловое свидание через несколько минут. За твое здоровье, Григорий Акимович».

«Аркадьевич», сказал Грег, в первый раз пропустивший ошибку мимо ушей, но теперь машинально поправивший Вана.

«Ах да! Глупая оговорка небрежной речи. Как поживает Аркадий Григорьевич?»

«Он умер. Он умер за несколько дней до твоей тети. По-моему, газеты очень мило отдали дань ее таланту. А где же теперь Аделаида Даниловна? Вышла ли она за Кристофера Вайнлендера или его брата?»

«Она то ли в Калифорнии, то ли в Аризоне. Сколько помню, его имя Андрей. Впрочем, могу ошибаться. В сущности, я никогда не был особенно близок с кузиной: я ведь всего дважды гостил в Ардисе, да и то оба раза по нескольку недель, давным-давно».

«Я слышал от кого-то, что она стала киноактрисой».

«Понятия не имею. Я никогда не видел ее на экране».

«О, это было бы ужасно, должен заметить, — включить доровизор и

вдруг увидеть ее. Как тонущий видит все свое прошлое, и деревья, и цветы, и таксу в венчике. Ее, должно быть, ужасно потрясла ужасная смерть матери».

Любит он слово «ужасный», должен заметить. Ужасный костюм, ужасная высокопарность. Почему я должен терпеть все это? Отвратительно — и в то же время странно-притягательно: моя болтливая тень, мой фарсовый двойник.

Ван уже собирался уходить, когда к ним подошел шофер в элегантной форменной паре и сообщил «милорду», что его госпожа припаркована на углу рю де Сайгон и зовет его присоединиться.

«Ага, — сказал Ван, — вижу, ты пользуешься своим британским титулом. Твой батюшка предпочитал слыть чеховским полковником».

«Мод англо-шотландского происхождения, и, в общем, ей это нравится. Думает, что титулованных особ за границей лучше обслуживают. Кстати, кто-то говорил мне — да, Тобак! — что Люсетта остановилась в “Альфонсе Четвертом”. Я еще не спрашивал, как поживает твой отец? Он в добром здравии? (Ван поклонился.) А что гувернантка беллетристка?»

«Ее последний роман называется “L’ami Luc”. Она только что удостоилась премии Ле Бонской Академии за свою обширную дребедень».

Они простились, смеясь.

Минуту спустя, как нередко случается в фарсах и заграничных городах, Ван столкнулся с еще одним старым другом. С приливом восторга он завидел Кордулу в узкой алой юбке, склонившуюся с ласковыми словами утешения над двумя несчастными маленькими пуделями, привязанными к поручню у входа в мясную лавку. Ван погладил ее кончиками пальцев, и когда она с негодованием распрямилась и обернулась (негодование мгновенно сменилось веселым узнаванием), он процитировал несвежие, но уместные строчки, которые помнил с тех пор, как одноклассники надоедали ему, повторяя:

Вины знаются только с Тобáковыми,

Но Тобаковы — только с собаками.

Прошедшие годы лишь отполировали ее красоту, и хотя с 1889 года сменилось несколько модных течений, так случилось, что он повстречал ее именно в тот сезон, когда прически и юбки ненадолго вернулись (другая, намного более элегантная леди уже опередила ее) к фасонам двенадцатилетней давности, упразднив промежуток времени, отделявший их от памятных комплиментов и удовольствий. Она пустилась в вежливые расспросы — но у него было к ней более важное дело, требовавшее немедленного разрешения, пока пламя еще продолжало мерцать.

«Не будем сливать полную чашу обретенного времени, — сказал он, — в поток пустой болтовни. Меня переполняет энергия, если это то, что ты хочешь знать. Теперь слушай. Это может показаться глупым и дерзким, но у меня к тебе настоятельная просьба. Согласна ли ты посодействовать мне в одном деле — наградить твоего мужа рогами? Мы просто не можем упустить такой случай!»

«Знаешь, Ван! — вскричала не на шутку рассерженная Кордула. — Ты заходишь слишком далеко. Я счастливая жена. Мой Тобачок меня обожает. У нас было бы уже с десяток детей, не будь я начеку с ним и с прочими».

«Ты будешь рада узнать, что стоящий перед тобой прочий признан совершенно стерильным».

«Что ж, обо мне этого не скажешь. Даже мул, наверное, ожеребится, если я на него посмотрю. Кроме того, я сегодня обедаю с Гоулями».

«C’est bizarre — прелестная малышка, которая умеет так нежно обходиться с пуделями, отвергает бедного, толстого, напряженного старину Вина».

«Вины намного блудливей собак», заметила г-жа Тобак.

«Раз уж ты коллекционируешь поговорки, — не унимался Ван, — позволь привести одну арабскую. Рай находится всего в одной асбе на юг от кушака красавицы. Eh bien?»

«Ты неисправим. Где и когда?»

«Где? В том унылом отельчике через дорогу. Когда? Прямо сейчас. Никогда еще не видел, как ты скачешь верхом, поскольку это именно то, что обещает нам tout confort — и не более того».

«Я должна быть дома не позднее половины двенадцатого, сейчас почти одиннадцать».

«Нам хватит пяти минут. Прошу тебя!»

Сидя верхом, она походила на ребенка, впервые отважившегося прокатиться на карусельной лошадке. Это тривиальное устройство она осваивала с прямоугольной moue на лице. Унылые и угрюмые уличные девки делают это с бесстрастными лицами, плотно сжав губы. Она прокатилась дважды. Их проворный заезд и его повторение заняли пятнадцать, а не пять минут. Очень довольный собой, Ван немного прошелся с ней по буро-зеленому Буа-де-Белло в сторону ее особнячка.

«Вот о чем я подумал, — сказал он, — я больше не пользуюсь нашими апартаментами на Алексис-авеню. Последние семь или восемь лет их занимала бедная семья одного полицейского, бывшего слуги в поместье дяди Дана. Он уже умер, а его вдова и трое сыновей вернулись в Ладору. Хочу избавиться от этой квартиры. Примешь ли ты ее в виде запоздалого свадебного подарка от поклонника? Отлично. Нам стоит как-нибудь повторить наше свидание. Завтра я должен быть в Лондоне,

и третьего на моем любимом лайнере «Адмирал Тобаков» отправлюсь в Манхэттен. Au revoir. Скажи ему, чтобы остерегался низких проемов. Молодые рога необыкновенно чувствительны. Грег Эрминин рассказал мне, что Люсетта остановилась в “Альфонсе Четвертом”. Верно?»

«Да, верно. А где ее сестра?»

«Пожалуй, нам лучше расстаться здесь. Уже без двадцати двенадцать, тебе пора».

«Au revoir. Ты очень плохой мальчик, а я очень плохая девочка. Но мы весело провели время — хотя ты и обращался со мной не как со светской подругой, а как ты, наверное, обращаешься со своими шлюшками. Погоди. Вот совершенно секретный адрес, по которому ты всегда (роется в сумочке) можешь связаться со мной (находит визитную карточку с гербом мужа и строчит почтовую криптограмму) — это в Мальбруке, Майн, где я провожу каждый август».

Она огляделась, поднялась на цыпочки, как балерина, и поцеловала его в губы. Душечка Кордула!

3

Неопределенного возраста, темноволосый, прилизанный, с подбородком Бурбона консьерж, прозванный Ваном в его лучшие дни Альфонсом Пятым, полагал, что только что видел мадемуазель Вин в салоне госпожи Рекамье, где были выставлены золотые вуали Вивиан Вейл. Взмахнув фалдами и стукнув распашными дверками, Альфонс выскочил из сторожки и убежал проверить свое предположение. Поверх гнутой ручки зонтичной трости Ван оглядел карусель «Дятловых» книжек в мягких обложках (с этим крошечным пестрым вудпекером на каждом корешке): «Гитаночка», «Зальцман», «Зальцман», «Зальцман», «Приглашение к кульминации», «Экстаз», «Диско-банда», «Порог боли», «Куранты Чуза», «Гитаночка» — в этот момент мимо прошли двое (не узнав благодарного Вана, хотя его и выдало сразу несколько зеркал): пожилой Китар К.Л. Свин, весьма «патрицианский» коллега Демона по Уолл-стрит, писавший стихи, в обществе еще более старого Мильтона Элиота, влиятельного торговца недвижимостью.

Консьерж вернулся, качая головой. По доброте своей души Ван дал ему гоулевскую гинею, сказав, что позвонит снова в половине второго. Он прошел через вестибюль (где автор «Агонических линий» и г-н Элиот, affalés dans des fauteuils, с поднявшимися на плечах пиджаками, сравнивали сигары) и, покинув отель через боковой вход, пересек улицу Юных Мучеников, чтобы выпить у Овенмана.

Войдя, он отдал пальто, оставшись, однако, при черной шляпе и зонтичной трости, как поступал его отец в такого рода вульгарных, хотя и модных заведениях, куда приличные женщины не заходят, во всяком случае без сопровождения. Он направился к бару и, пока протирал стекла очков в черной оправе, заметил сквозь оптическую мглу (недавняя месть Пространства!) девушку, чей силуэт, как ему вспомнилось, он не раз уже видел (гораздо отчетливее!) то тут, то там, с самого отрочества, — одиноко проходящую мимо, одиноко сидящую

за бокалом, всегда одну, как блоковская «Незнакомка». Такое странное чувство — как будто что-то еще раз воспроизвели по ошибке, часть предложения, переставленная в корректурных гранках, преждевременно начатая сцена, повторяющийся дефект, неправильный поворот времени. Он поспешил оснастить свои голые уши широкими черными дужками очков и молча подошел к ней. С минуту он стоял у нее за спиной, боком к воспоминанию и читателю (как и она — по отношению к нам и к бару), высоко, почти у самых губ, держа обращенную в профиль гнутую ручку своей обтянутой шелком трости. Вот она, на фоне сусального задника экрана-циклорамы, скользит вдоль бара, еще прямо держащая спину, выбирающая место, чтобы сесть, уже положившая руку в белой перчатке на стойку. Романтическое черное платье с высоким глухим вырезом и длинными рукавами, пышной юбкой, облегающим лифом и гофрированным воротничком, похожим на мягкий черный венчик, обхвативший ее изящную длинную шею. Мрачным взглядом повесы мы прослеживаем чистую и гордую линию этого горла, этого вздернутого подбородка. Глянцевитые алые губы приоткрыты, алчно и загадочно, являя боковой проблеск крупных верхних зубов. Мы знаем, что нам нравится эта высокая скула (с атомом пудры, приставшим к горячей розовой коже), решительно изогнутые кверху черные ресницы и подведенный кошачий глаз — она обращена к нам в профиль, деликатно напоминаем мы. Из-под волнистых широких полей ее мягкой шляпы из черного фая, увенчанной большим черным бантом, по рдяной щеке ниспадает спираль намеренно растрепанной, искусно завитой яркой меди, и свет «алмазных огней» бара играет на ее bouffant челке, которая, как видно сбоку, спускаясь от переднего края экстравагантной шляпы, дугообразно накрывает лоб, до само́й длинной тонкой брови. Надеюсь, что почитатели моих мемуаров воспримут ее ирландский профиль, слегка сглаженный очерком русской мягкости, сообщающей ее красоте выражение таинственного ожидания и мечтательного удивления, как истинный шедевр, несравнимо более прекрасный и свежий, чем известный портрет (в той же позе) гнусной старой шлюхи с ее парижским gueule de guenon, намалеванной для Овенмана на паршивой афише одним окончательно разложившимся художником.

«Алло, Эд!» — сказал Ван бармену, и она обернулась на звук его дорогого хриплого голоса.

«Не ожидала увидеть тебя в очках. Я едва не задала тебе le paquet, предназначенный для мужлана, предположительно “пялившегося” на мою шляпу. Милый Ван! Душка мой!»

«Твоя шляпа, — сказал он, — положительно лотреамонская — я хочу сказать, лотрекаковская — нет, не могу образовать прилагательное».

Эд Бартон подал Люсетте что-то, названное ею «Шамберизеттой».

«Джину и горькой настойки для меня».

«Мне так хорошо и грустно, — шепнула она. — Мое горькое счастье! Надолго ли ты в старую добрую Люту?»

Ван сказал, что уже завтра двинется в Англию, а оттуда 3 июня (сегодня было 31 мая) отправится обратно в Штаты на «Адмирале

Тобакове». Поеду с тобой, воскликнула она, это чудесная идея, ей все равно куда плыть — на Запад, на Восток, в Тулузу, Лос-Текес. Ван заметил, что уже слишком поздно искать каюту на этом не таком уж большом корабле, намного меньше «Королевы Гвиневры», и сменил тему.

«В последний раз я видел тебя, — сказал он, — два года тому назад на железнодорожной станции. Ты только что покинула виллу «Армина», а я только что приехал. На тебе было платье в цветах, они смешивались с букетом в твоих руках, поскольку ты очень спешила — выскочила из зеленой коляски и вскочила на подножку Авзонского экспресса, который доставил меня в Ниццу».

«Très expressioniste. Я тебя не заметила, иначе остановилась бы поделиться тем, что я только что узнала. Представляешь, маме все было известно, твой речистый отец все ей разболтал про тебя и Аду!»

«Но не про тебя с ней».

Люсетта попросила его не упоминать этой противной, сводящей с ума девушки. Она злилась на Аду и ревновала ее через посредника. Андрей, муж Ады, или, вернее, сестра Андрея по его поручению (он был слишком глуп даже для этого) собирала коллекцию прогрессивного мещанского Искусства, ну, ты знаешь, холсты, измазанные гуталином и экскрементами, имитация каракулей кретина, примитивные идолы, маски аборигенов, objets trouvés или, скорее, troués, полированное бревно с полированным дуплом à la Генрих Хайделанд. Молодая жена, приехав на ранчо, обнаружила, что во дворе красуется скульптура, если это подходящее слово, работы самого старика Генриха и четырех его дюжих подручных — громадная отвратительная глыба из буржуазного красного дерева, высотой футов в десять, под названием «Материнство», — прародительница (задним числом) всех гипсовых гномов и чугунных поганок, которые прежние Вайнлендеры понаставили перед своими дачами в Ляске.

Бармен, бесконечным и однообразным движением протирая бокалы, слушал Люсеттин разнос с беспомощной улыбкой совершенного восхищения.

«Однако, — сказал Ван по-русски, — тебе там понравилось, в 1896 году, так мне сказала Марина».

«Ничего подобного! Я сбежала из Агавии среди ночи, забыв о багаже и взяв с собой рыдающую Бриджет. Никогда не видела, чтобы так жили. Ада превратилась в глупую brune. Застольные разговоры ограничивались тремя “К” — кактусы, коровы, кулинария, да еще Дороти отпускала комментарии насчет кубомистицизма. Он из тех русских, которые шлепают в уборную босиком, бреются в нижнем белье, носят подвязки, считают неприличным подтягивать штаны, но, вынимая монеты, придерживают правый карман брюк левой рукой, или наоборот, что не только неприлично, но и вульгарно. Демон, похоже, разочарован тем, что у них нет детей, хотя, после первого прилива теплых родственных чувств, к зятю “простыл”. Что касается Дороти, то это ханжеское и набожное чудовище, она приезжает погостить на несколько месяцев, решает, что есть, что пить, держит при себе связку ключей от комнат прислуги — о чем нашей поглупевшей брюнетке следовало бы знать, — к

тому же имеет и другие ключики, отпирающие людские сердца — она, между прочим, пыталась наставить на путь истинной веры не только каждого американского негра, которого ей удавалось поймать, но и нашу достаточно православную мать, добившись, правда, лишь подъема акций Тримурти. Одной прекрасной ностальгической ночью —», продолжила Люсетта, переходя на английский.

«По-русски», сказал Ван, заметив, что английская пара заказала напитки и уселась поудобнее, навострив уши.

«Как-то ночью, когда Андрея не было дома (ему удаляли миндалины или что-то в этом роде), дражайшая бдительная Дорочка пришла проверить подозрительный шум в комнате моей горничной и нашла бедняжку Бриджет спящей в кресле-качалке, а меня и Аду, тряхнувших стариной, в одной постели. Вот тогда-то я и сказала Доре, что не намерена терпеть ее надзора, и немедленно уехала к Монарховому заливу».

«Некоторые люди определенно очень странные, — сказал Ван. — Если ты покончила со своей приторной канителью, давай вернемся в твой отель и закусим».

Она выбрала рыбу, он остановился на холодном мясе и салате.

«Знаешь, кого я повстречал сегодня утром? Старину Грега Эрминина. Это он сказал мне, что ты здесь. Его жена est un peu snob, правда?»

«Каждый un peu snob, — ответила Люсетта. — Твоя Кордула, которая тоже здесь, не может простить Шуре Тобаку, скрипачу, что в телефонной книге его имя стоит рядом с ее мужем. Сразу после ленча мы поднимемся ко мне в апартаменты, номер двадцать пять — мой возраст. У меня там роскошный японский диван и уйма орхидей, только что присланных одним из моих воздыхателей. Ах, Боже мой, мне только что пришло в голову — надо было взглянуть, нет ли карточки, — что они, быть может, предназначены Бриджит, которая послезавтра в половине четвертого, в Отёй, выходит замуж за метрдотеля “Альфонса Третьего”! Как бы там ни было, они зеленоватые, с оранжевыми и лиловыми пятнами, какая-то разновидность изысканных Oncidium, “кипарисовые лягушки” — одно из этих дурацких коммерческих названий. Я вытянусь на диване, как мученица, помнишь?»

«А ты все еще полумученица, то есть полудевственница?» — спросил Ван.

«Осталась половина от половины, — ответила Люсетта. — О, попробуй меня, Ван! Мой диван черный с желтыми подушками».

«Могу позволить тебе немного посидеть у меня на коленях».

«Соглашусь при условии, что мы оба разденемся и ты насадишь меня на кол».

«Милая моя, как я не раз напоминал тебе, ты принадлежишь к княжескому роду, а выражаешься, как самая распущенная Люцинда на свете. Так, что ли, принято нынче в твоем кругу?»

«Нет у меня никакого круга, я одна-одинешенька. Время от времени я встречаюсь с двумя дипломатами, греком и англичанином, позволяю им лапать меня и ублажать друг друга. Один бездарный светский художник работает над моим портретом и ласкает меня вместе с женой, когда я в настроении. Твой приятель Дик Чешир шлет мне подарки и советы, как выигрывать в тотализаторе. Такая безотрадная жизнь, Ван».

«Я люблю — ах, множество вещей, — продолжила она печально и задумчиво, трогая вилкой голубую форель, которую, судя по ее изогнутому телу и выпученным глазам, изжарили живьем, пока она корчилась в конвульсиях. — Я люблю фламандскую и голландскую живопись, цветы, разную снедь, Флобера, Шекспира, люблю шататься по магазинам, кататься на лыжах, плавать, целовать красавиц и зверей, — но почему-то все это, этот соус и все сокровища Голландии, образуют только тоненький-тоненький слой, под которым абсолютная пустота, ничего нет, кроме, конечно, тебя, твоего образа, и от этого пустота с ее форелевыми страданиями становится еще глубже. Я как Долорес, когда она говорит о себе: “я только картина, написанная в воздухе”».

«Так и не смог дочитать этот роман — слишком претенциозно».

«Претенциозно, но точно. У меня именно такое ощущение от собственного бытия — фрагмент, красочная дымка. Давай отправимся вместе куда-нибудь в далекие края, где есть фрески и фонтаны, почему мы не можем поехать в какой-нибудь отдаленный город с древними фонтанами? На корабле? В спальном вагоне?»

«Быстрее и безопаснее аэропланом, — сказал Ван, и поскольку последние слова она произнесла по-английски, прибавил: — И ради Лога, говори по-русски».

Мистер Свин, обедавший в обществе юноши, щеголявшего бакенбардами тореадора и другими прелестями, с важным видом поклонился в сторону их стола; затем проходивший мимо морской офицер в лазурной форме гвардейцев Гольфстрима, следовавший за своей спутницей, темноволосой и белокожей, сказал: «Привет, Люсетта, Ван».

«Здравствуй, Альф», сказал Ван, в то время как Люсетта ответила на приветствие рассеянной улыбкой: поставив локти на стол и сцепив пальцы рук, она насмешливым взглядом проследила за удаляющейся дамой. Ван прочистил горло и мрачно посмотрел на кузину.

«Ей, должно быть, не меньше тридцати пяти, — проговорила Люсетта, — а все еще надеется стать его королевой».

(Его отец, Альфонс I Португальский, марионеточный правитель, руководимый дядей Виктором, недавно последовал совету Гамалиила и отрекся от престола в пользу республиканского режима, но Люсетта говорила о скоротечности красоты, а не о переменчивости политики.)

«Это была Ленора Колин. Что не так, Ван?»

«Кошкам не стоит глазеть на звезды, дурной тон. Сходство уже не

столь разительное, как раньше, хотя, конечно, я не следил за переменами в облике оригинала. A propos, как продвигается карьера?»

«Если ты об Адиной карьере, то я надеюсь, что она потерпела такое же фиаско, как и ее замужество. Так что Демону только на руку, если я заполучу тебя. Я редко бываю в кино, и я отказалась говорить с Дорой и Адой на похоронах, посему не имею ни малейшего представления о ее сценических или экранных подвигах в последнее время».

«А эта Дора поведала своему братцу о ваших невинных забавах?»

«Разумеется, нет! Она дрожит над его благополучием. Но я уверена, что это она заставила Аду написать мне, что мне “никогда больше не следует пытаться разрушить счастливый брак”, — я могу простить такое Дарьюшке, прирожденной шантажистке, но не Адочке. Мне совсем не нравится твой кабошон. То есть я хочу сказать, пусть он красуется на твоей милой волосатой руке, но, знаешь, папа носил очень похожий на своей поганой розовой лапе. Он был из тех, кто сопит и шарит. Как-то раз он повел меня на хоккейное состязание школьниц, и мне пришлось остеречь его, что я закричу, если он не прекратит своих поисков».

«Das auch noch», вздохнул Ван, пряча в карман перстень с темным сапфиром. Он бросил бы его в пепельницу, не будь это последний подарок Марины.

«Слушай, Ван, — сказала она, допивая четвертый бокал, — почему бы не рискнуть? Все довольно просто. Ты женишься на мне. Получаешь в приданое мой Ардис. Мы живем там, ты сочиняешь свои книги. Я где-то на заднем плане, тебе нисколечко не досаждаю. Мы приглашаем Аду — одну, разумеется, — провести время в ее усадьбе, поскольку я всегда была уверена, что мама оставит Ардис ей. Пока Ада гостит, я уезжаю в Аспен, или Гштад, или в Шиттау, и ты живешь с ней в хрустальном яйце с вечно падающим снегом, pendant que je ношусь по крутым склонам Аспениса. После чего я скоренько возвращаюсь, что вовсе не означает, что ей пора уезжать, и держусь поблизости на случай, если вы двое захотите меня. А потом она едет обратно к мужу на несколько унылых месяцев, что скажешь?»

«Да, отличный план, — сказал Ван. — Беда лишь в том, что она никогда не приедет. Сейчас три часа, мне нужно встретиться с человеком, взявшимся отремонтировать виллу «Армина», которую унаследовал я и в которой собираюсь разместить один из моих гаремов. Вот так шлепать человека по запястью не лучшая из твоих ирландских привычек. А теперь я провожу тебя в номер. Тебе не мешало бы соснуть».

«Я должна сделать один важный-преважный звонок, но не хочу говорить при тебе», сказала Люсетта, роясь в черной сумочке в поисках ключа.

Они вошли в прихожую ее апартаментов. Там, дав себе слово уйти через минуту, он снял очки и прижался губами к ее губам — совсем такой же вкус, какой бывал у Ады в Ардисе в начале дня: сладковатая слюна, солоноватый эпителий, вишни, кофе. Если бы он не развлекся так бурно и так недавно, то, возможно, не совладал бы с искушением, с непростительным трепетом. Она схватила его за рукав, когда он начал

пятиться к двери.

«Давай еще раз поцелуемся, еще раз поцелуемся!» — повторяла она по-детски, глотая окончания, едва шевеля приоткрытыми губами в бестолковой суете восторженного помрачения, делая все, что в ее силах, чтобы не дать ему опомниться и сказать нет.

Он сказал, что этого довольно.

«О, ну почему? О, прошу тебя!»

Он сбросил ее холодные дрожащие пальцы.

«Почему, Ван? Почему, почему, почему?»

«Ты прекрасно знаешь почему. Я люблю ее, а не тебя, и я просто отказываюсь усложнять положение еще одной кровосмесительной связью».

«Да неужели! — сказала Люсетта. — Ты несколько раз заходил со мной довольно далеко, когда я была еще ребенком; твой отказ идти дальше всего лишь отговорка, а кроме того, кроме того, — ты же изменял ей с тысячью девок, ты, грязный обманщик!»

«Ты не будешь говорить со мной в таком тоне», сказал Ван, подло воспользовавшись ее беспомощным обвинением как предлогом уйти.

«I apollo [я прошу прощения], я люблю тебя», отчаянно прошептала она, пытаясь крикнуть ему во след шепотом, потому что коридор был полон дверей и ушей, но он продолжал идти, и только поднял, не оборачиваясь, обе руки, достаточно, впрочем, примирительным жестом, и так скрылся из глаз.

4

Присутствия д-ра Вина в Англии требовал один дразняще-трудный случай.

Старый Паар Чузский написал ему, что «Клиника» хотела бы вверить его ученому рассмотрению одного пациента, страдающего редкой формой хроместезии, присовокупив, что в силу кое-каких странностей, отличающих этот случай (как, например, слабая вероятность обмана), Вану лучше приехать и самому решить, стоит ли ему устраивать перевозку этого пациента в Кингстон для дальнейшего обследования. Некто Спенсер Мальдун, слепорожденный, сорока лет, не женатый, одинокий (и третий слепой персонаж нашей хроники), отличался тем, что припадки жестокой паранойи сопровождались у него видениями, во время которых он выкрикивал названия тех предметов и веществ, которые он научился распознавать на ощупь, или думал, что узнает по страшным описаниям в книгах (поваленные деревья, вымершие ящеры), и которые, как ему казалось, надвигались на него со всех сторон. Припадки чередовались периодами оцепенения, после чего неизменно следовало возвращение к нормальному состоянию, когда в течение недели или двух он прочитывал пальцами свои слепые книги или слушал, блаженно погруженный в свое красноватое марево, записанные на пленку

музыкальные сочинения, голоса птиц и ирландские стихи.

Его способность вычленять в пространстве ряды и группы «сильных» и «слабых» вещей — в том, что казалось столь же однообразным, как сплошной узор обоев, — оставалась загадкой до того вечера, когда студент-адъюнкт (С.-А. — он предпочел остаться обезличенным), намеревавшийся проверить некоторые графики, связанные с метабазисом другого пациента, случайно оставил в пределах досягаемости Мальдуна одну из тех продолговатых коробок с новыми, еще неочиненными цветными меловыми карандашами, одна мысль о которых (Розовый Анадель Диксона!) заставляет память говорить на языке радуг — полированные и окрашенные в свой цвет древесные стволы располагались в спектральном порядке в своем аккуратном жестяном футляре. Детство несчастного Мальдуна не принесло ему ничего, что могло бы относиться к таким иридианским воспоминаниям, но когда его пальцы ощупью открыли коробку и стали перебирать карандаши, на его пергаментно-бледном лице появилось выражение чувственного наслаждения. Заметив, что брови слепого слегка поднялись, когда он провел пальцами по красному карандашу, поднялись еще выше на оранжевом, достигли физического предела на пронзительном крике желтого, а затем сошли вниз по всему остальному призматическому спектру, С.-А. буднично сказал ему, что древесина каждого предмета имеет свой окрас — красный, оранжевый, желтый и так далее, и столь же буднично Мальдун ответил, что ощущаются они тоже по-разному.

В ходе нескольких тестов, проведенных С.-А. и его коллегами, Мальдун объяснил, что, поглаживая карандаши один за другим, он испытывает гамму «ожогов» или «укусов», особых ощущений, чем-то напоминающих вызываемый крапивой кожный зуд (он вырос в деревне, где-то между Ормой и Армой, и в своем полном опасностей детстве часто падал, бедный мальчишка в неуклюжих сапогах, в канавы и даже овраги), и странно говорил об «остром» зеленом жале полоски промокательной бумаги или о влажном и слабом розовом жжении при ощупывании покрытого испариной носа медицинской сестры Лангфорд, самостоятельно сверяя эти цвета с теми, которые исследователи применили к исходным карандашам. Результаты проведенных опытов давали основание полагать, что кончики человеческих пальцев способны передавать в мозг «тактильную транскрипцию призматического спектра», как это явление охарактеризовал Паар в своем детальном отчете Вану.

Когда последний прибыл в клинику, Мальдун еще не вполне оправился от своей очередной прострации, продлившейся дольше всех предыдущих. Ван отложил осмотр пациента и провел восхитительный день, беседуя с группой психологов, внимавших каждому его слову. Он с интересом поймал среди медицинских сестер знакомый прищуренный взгляд Элси Лангфорд, костлявой девицы с лихорадочным румянцем на щеках и выступающими зубами, имевшей какое-то смутное касательство к происшествию с «полтергейстом» в другом госпитале. Он отобедал со стариком Пааром в его апартаментах в Чузе и сказал ему, что хотел бы переправить Мальдуна в Кингстон вместе с мисс Лангфорд — как только бедняга будет в состоянии совершить это путешествие. Бедняга той же ночью скончался во сне, оставив свой удивительный случай висеть в воздухе в ореоле красочной неразрешимости.

Ван, которого цветущие розовые каштаны Чуза всегда настраивали на любовный лад, решил до отъезда в Америку потратить нежданную премию, выписанную ему самим временем, на суточный курс оздоровительных процедур в са́мом фешенебельном и эффективном амуранте из всех Венерианских вилл Европы; однако во время долгой поездки в старинном, покойном, чем-то слабо пропахшем (мускус? турецкий табак?) лимузине, который он обычно получал в «Албании», своем лондонском отеле, для поездок по Англии, добавились тревожные чувства, не рассеявшие его угрюмой похоти. Мягко покачиваясь, поставив ногу в ночной туфле на подставку и продев руку в петлю, он вспоминал свою первую поездку в Ардис на поезде и пытался выполнить то, что иногда советовал делать своим пациентам для тренировки «мышц сознания», а именно — вернуть себя не просто в то состояние ума, которое предшествовало кардинальному изменению в жизни, но в состояние полного неведения относительно этой перемены. Он знал, что добиться этого нельзя, что можно только предпринимать все новые и новые попытки, поскольку он нипочем не запомнил бы предисловия к Аде, если бы жизнь не перевернула следующую страницу, заставляя теперь ее сияющий текст проноситься сквозь все грамматики и времена его разума. Запомню ли я эту, относящуюся к настоящему времени ординарную поездку? — спрашивал он себя. В вечернем воздухе дрожала поздняя английская весна, пронизанная литературными ассоциациями. Встроенный в панель «канорио» (старомодное музыкальное устройство, запрет на использование которого был лишь недавно снят Англо-Американской Комиссией) транслировал душераздирающую итальянскую песню. Кто же он такой? Что же он такое? Почему он существует? Он размышлял о своей слабости, неуклюжести, нерадивости духа. Он думал о своем одиночестве, о выпавших на его долю страстях и опасностях. Сквозь стеклянную перегородку он видел жирные, надежные, излучающие здоровье складки шеи своего возницы. Праздные образы возникали один за другим — Эдмунд, Эдмонд, простенькая Кордула, удивительно сложная Люсетта и, по дальнейшей машинальной ассоциации, — Лизетта, порочная девочка в Каннах, с грудками, похожими на восхитительные нарывы, чьими хрупкими прелестями торговал ее вонючий старший брат в обшарпанной пляжной кабине на колесах.

Он выключил канорио, отыскал за раздвижными створками бренди и принялся отхлебывать прямо из бутылки, потому что все три стакана оказались грязными. Он чувствовал себя окруженным огромными падающими деревьями и чудовищными тварями нерешенных, а может быть, и неразрешимых задач. Одной из таких задач, от которой, как он знал, он никогда не отступится, была Ада; именно ей он вверит остатки своего «я» при первых же трубных звуках судьбы. Другой задачей была его философская работа, так странно обремененная собственным достоинством — той оригинальностью литературного стиля, которая составляет единственную подлинную доблесть писателя. Он должен был выполнить ее по-своему, но коньяк был ужасен, а история человеческой мысли кишела клише, и именно эту историю ему требовалось переписать.

Ван знал, что он не вполне ученый, но настоящий художник. Парадоксальным и необязательным образом присущая ему артистичность проявилась как раз в его «академической карьере», в его небрежных и высокомерных лекциях, в том, как он вел семинары, в его статьях о больных умах, во всем том, что, начавшись как увлечение вундеркинда,

еще не достигшего двадцати лет, к тридцати одному году принесло ему «почести» и «репутацию», которых многие поразительно трудолюбивые люди не приобретают и к пятидесяти. В такие печальнейшие моменты жизни, как этот, он приписывал по крайней мере часть своего «успеха» занимаемому им положению в обществе, своему богатству, своим многочисленным пожертвованиям (своего рода продолжение и развитие его привычки одаривать царскими чаевыми всех этих осунувшихся бедняков, убиравших комнаты, управлявших лифтами, улыбавшихся в отельных коридорах), неустанно расточаемым им разным достойным учреждениям и студентам. Быть может, Ван Вин не слишком сильно заблуждался в своей саркастичной догадке; ибо на нашей Антитерре (как и на Терре, согласно его собственным изысканиям) трудящаяся в поте лица Администрация предпочитает (если только ее не растрогать неожиданным возведением нового здания или бурным денежным потоком) безопасную серость академической посредственности подозрительному блеску В.В.

Когда он достиг сказочной и постыдной цели своего путешествия, уже вовсю заливались соловьи. Он, как всегда, испытал прилив животного вожделения, когда автомобиль свернул на дубовую аллею между двух рядов фаллофорических, одинаково вздыбленных статуй, напоминавших строй солдат, взявших свои стволы на караул. Желанный завсегдатай с пятнадцатилетним стажем, он не потрудился «телефонировать» (новый официальный термин) о своем визите. Луч прожектора осадил его: увы, он попал на гала-вечер!

Доставивший члена клуба водитель обычно оставлял автомобиль в специальном загоне у сторожки охранников, подле уютной закусочной для прислуги, с безалкогольными напитками и несколькими невзрачными и недорогими шлюхами. Но в ту ночь огромные полицейские машины, не уместившись под гаражным навесом, заняли не только стоянку, но и примыкающую к ней перголу. Велев Кингсли подождать под дубами, Ван надел баутту и отправился на разведку. Его любимая дорожка вдоль стены вскоре привела его к одной из широких лужаек, служивших бархатистым преддверием к самому поместью. Аллеи перед домом были ярко освещены и столь же многолюдны, как Парк-авеню, — сравнение вполне уместное, поскольку принятый ушлыми шпионами способ маскировки напомнил Вану его родину. Кое-кого из этих людей он даже знал в лицо — они надзирали за манхэттенским клубом его отца всякий раз, как добрейший Гамалиил (не переизбранный после четвертого срока) изволил в нем обедать во всей красе своих неформальных гагалий. Агенты изображали тех, кого привыкли изображать, — торговцев помпельмусами, чернокожих лоточников с бананами и банджо, отживших или, по крайней мере, неурочных «переписчиков», неубедительно спешивших по круговым траекториям в маловероятные конторы, а также перипатетических читателей русских газет, замедлявших шаг до трансовой остановки и затем возобновлявших прогулку, зарывшись в свои «Эстотийскія Вѣсти». Тут Ван вспомнил, что г-н Александр Скрипач, новоизбранный президент Соединенных Америк и полнокровный русский, прилетел с визитом к королю Виктору,

и справедливо заключил, что оба теперь предаются любовной неге. Комичная сторона шпионского спектакля (быть может, в точности отвечавшего их устаревшему представлению об американском тротуаре, но едва ли подходившего для причудливо освещенного лабиринта английских изгородей) смягчила его разочарование, когда он брезгливо содрогнулся при мысли о том, чтобы разделить утехи с историческими фигурами или довольствоваться храбрящимися девицами, которых они взяли на пробу и отвергли.

Едва он успел подумать об этом, как укрытая простыней статуя со своего мраморного пьедестала попыталась истребовать у него пропуск, но поскользнулась и сверзилась навзничь в заросли папоротника. Не обращая внимания на распростертого бога, Ван вернулся ко все еще дрожавшему «Джолс-Джойсу». Багровощекий Кингсли, старый преданный друг, предложил отвезти его в другой дом, девяносто миль на север, но Ван отказался из принципа и был возвращен в «Албанию».

5

Третьего июня, в пять пополудни, его корабль отплыл из Гавра-де-Грас; вечером того же дня Ван взошел на него в Олд-Гентспорте. Остаток дня он провел играя в теннис с Делорье, знаменитым негритянским тренером, и чувствовал себя разбитым и сонным, наблюдая, как в нескольких змеисто-морских ярдах от правого борта страстное пламя заходящего солнца распадается на зеленовато-золотистые пятна по внешнему склону носовой волны. Наконец он решил завалиться спать, сошел на палубу первого класса, истребил часть фруктового натюрморта, составленного для него в гостиной его каюты, начал проверять гранки эссе, написанного им для фестшрифта по случаю восьмидесятилетия профессора Контрштейна, но бросил это занятие и уснул. К полуночи волнение на море перешло в штормовые конвульсии, но, несмотря на качку и скрипы («Тобакофф» был старой ворчливой посудиной), Ван спал как младенец, и единственным откликом его дремлющего сознания стал увиденный во сне образ водяного павлина, медленно опускавшегося в воду перед кувырком, как ныряющая чомга, — у берега озера, носящего его имя, в древнем царстве Аррорут. Обдумав этот яркий сон, Ван нашел его источник в своей недавней поездке в Армению, куда он отправился поохотиться вместе с г-ном Армборо и его необыкновенно уступчивой и способной племянницей. Желая записать увиденное, он с удивлением обнаружил, что все три карандаша не только скатились с ночного столика, но и ровнехонько выстроились в ряд, кончиками к основаниям, вдоль порога двери смежной комнаты, у противоположной стены, проделав немалый путь по синему ковролину в своей неудавшейся попытке бегства.

Стюард принес ему «континентальный» завтрак, судовую газету и список пассажиров первого класса. В разделе «Туризм в Италии» листок сообщил ему, что некий фермер в Домодоссоле откопал кости и парадную сбрую одного из слонов Ганнибала и что в горах Бокалетто двое американских психиатров (имена не сообщались) скончались при странных обстоятельствах: первый, старший, умер от сердечной недостаточности, а его любовник покончил с собой. Подивившись нездоровому интересу Адмирала к итальянским горам, Ван вырезал эту заметку и перешел к списку пассажиров (приятно увенчанному тем же

гербом, который украшал почтовую бумагу Кордулы), чтобы удостовериться, что в нем нет тех, кого придется избегать в ближайшие дни. В списке значилась чета Робинзонов, Роберт и Рейчель, старинные зануды семьи (Боб вышел в отставку после многих лет безупречной службы главой одного из предприятий дяди Дана). Сбегавший вниз взгляд Вана споткнулся о д-ра Ивана Вина и замер на следующем имени. Отчего так сжалось его сердце? Почему он провел языком по своим толстым губам? Пустые фразы, приличествующие всяким важным романистам прошлого, полагавшим, что им под силу объяснить всё и вся.

Линия поверхности воды в ванне кренилась и колебалась, имитируя медленные качели ярко-голубого, белопенного моря в иллюминаторе его спальни. Он позвонил мисс Люсинде Вин, каюта которой находилась на главной палубе в середине корабля, точно над его апартаментами, но никто не снял трубку. Надев белый вязаный свитер с высоким воротом и солнечные очки, он отправился на ее поиски. Люсетты не было на Игровой палубе, с которой он смотрел вниз на другую рыжеволосую девушку, сидевшую в парусиновом кресле на палубе Солнечных Ванн и со страстной скоростью писавшую записку — если он когда-нибудь переключится с тяжеловесной фактологии на легкую фикцию, подумал Ван, он выведет ревнивого мужа, использующего бинокль, чтобы с этого места разобрать подобное излияние незаконной любви.

Люсетты не было и на Прогулочной палубе, где закутанные в одеяла старики читали главный бестселлер сезона «Зальцман» и с борборигмическим предбурчанием в желудке ожидали одиннадцатичасового бульона. Он прошел к Грилю, где заказал столик на двоих. Оттуда направился к бару и тепло поздоровался с лысым толстым Тоби, служившем на «Королеве Гвиневре» в 1889, 1890 и 1891 годах, когда Ада еще не была замужем, а он был обиженным дураком. Им ничего не стоило удрать в Лопадузу под личинами мистера и миссис Даирс или Сарди!

Он выследил свою и Ады полусестру на носовой палубе, опасно хорошенькую в открытом, ярко-цветочном, треплемом ветром платье: она разговаривала с бронзовыми от солнца, но все же очень старыми Робинзонами. Она обернулась к нему, откинув с лица летящие волосы с выражением, в котором смешалось торжество и смущение, и вскоре они распрощались с Рейчель и Робертом, которые сияли им вслед, одинаково маша поднятыми руками — ему, ей, жизни, смерти, давно минувшей славной поре, когда Демон заплатил по всем карточным долгам их сына, всего за день до его гибели в лобовом автомобильном столкновении.

Она с благодарностью отправила пожарскiя котлеты по назначению: он не бранил ее за то, что она вдруг появилась на корабле, словно трансцендентальный (а не трансатлантический) безбилетный пассажир, и что, горя от нетерпения увидеть его, она пропустила завтрак, не успев поужинать накануне. Умевшая извлекать острое удовольствие от скатов и круч моря во время спортивных игр на воде или от взмываний и обмираний во время полетов в небе, Люсетта постыдно занемогла на борту этого своего первого лайнера. На выручку пришли Робинзоны, давшие ей чудо-пилюли, от которых она проспала десять часов кряду в объятиях Вана. Теперь же она надеялась, что он и она вполне сносно

бодрствуют, если не считать размытости контуров, вызванных Робинзоновым снадобьем.

Он довольно любезно осведомился, куда она, по ее мнению, направляется.

В Ардис, с ним, — последовал быстрый ответ, — навсегда. Дед Робинзона умер в Аравии в возрасте ста тридцати одного года, так что у Вана до него еще целое столетие; она возведет в парке несколько павильонов, чтобы разместить череду его обновляемых гаремов, которые постепенно станут превращаться, в той же последовательности, в дома для престарелых весталок, а затем в усыпальницы. Над ложем дражайшей Кордулы и ее мужа, сказала она, в их роскошном люксе, который Люсетта «выклянчила у них за минуту», висит ипподромная картина «Том Кокс верхом на Бледном Огне», — вот любопытно, как именно она способствует любовной жизни четы Тобаковых во время их морских вояжей? Ван прервал лихорадочную болтовню Люсетты, спросив, имеются ли на водопроводных кранах в ее ванной те же надписи, что и на его: Горячая Резервуарная, Холодная Соленая? Да, воскликнула она, Голодная Соленая, Голодный Старик Зальцман, Горячая Горничная, Коматозный Капитан!

Они снова встретились после полудня.

Большинству пассажиров первого класса тот день, 4 июня 1901 года, проходивший посреди Атлантики, на меридиане Исландии и широте Ардиса, показался малоподходящим для развлечений на открытом воздухе. Ледяные порывы ветра то и дело охлаждали зной лазурного неба, и вода в старомодном бассейне ритмично заливала зеленый кафель; однако Люсетта была девушкой отважной, привыкшей к бодрящим ветрам не меньше, чем к скверному солнцу. Весна в Фиальте и жаркий май на Минотаоре, известном искусственном острове, придали ее конечностям нектариновый оттенок; из-за влаги они казались будто облитыми лаком того же цвета, но когда бриз высушивал ее кожу, снова обретали свой природный тон. С сияющими скулами и этим медным мерцанием на лбу и затылке, проглядывающим из-под тугой резиновой шапочки, она напоминала Ангела в Шлеме на Юконской иконе, чудотворная сила которой, как было принято считать, превращала анемичных белокурых девиц в конскихъ дѣтей, веснушчатых рыжеволосых подростков, отпрысков Солнечного Коня.

Поплавав немного, она вернулась на солнечную террасу, где лежал Ван, и сказала:

«Ты не можешь себе представить —»

«Я могу представить что угодно», возразил он.

«Хорошо, ты можешь себе представить, какие озера лосьонов и реки кремов я вынуждена использовать — в уединении балконов или в глубине пустынных морских пещер, — прежде чем явить стихиям свое тело. Я всегда балансирую на тонкой грани между “загореть” и “обгореть” — или между лобстером и Obst, как пишет Херб, мой любимый художник, — я читаю его дневники, опубликованные его последней герцогиней, они

написаны на трех языках вперемешку, и это что-то, я дам тебе почитать. Видишь ли, душка, я бы считала себя пятнистой мошенницей, если бы те небольшие участки моего тела, которые я скрываю на публике, отличались бы цветом от выставленных напоказ».

«Во время осмотра в 1892 году ты показалась мне сплошь красновато-песочного цвета», сказал Ван.

«Перед тобой теперь совершенно новая девочка, — прошептала она. — Счастливая новая девочка. Наедине с тобой, на брошенном корабле, а впереди еще по меньшей мере десять дней до моих следующих регулов. Я послала тебе глупую записку в Кингстон, на случай, если ты не появишься».

Они лежали на циновке у бассейна лицом к лицу, в симметричных позах, он — положив голову на правую руку, она — опершись на левый локоть. Бридочка ее зеленого бюстодержателя соскользнула с плеча на ее тонкую руку, обнажив капли и струйки воды у основания ее соска. Пропасть в несколько вершков отделяла его свитер от ее голого животика, черную шерсть его купальных трусиков от ее промокшей зеленой лобковой маски. Солнце покрыло ее выступающую бедренную кость глянцем; затененный провал вел к пятилетней давности шраму аппендэктомии. Ее взгляд из-под опущенных ресниц остановился на нем с угрюмым тусклым огнем желания, и она была права, они действительно были совершенно одни, он обладал Марион Армборо за спиной ее дядюшки в гораздо менее располагающих к этому обстоятельствах, когда моторная лодка подскакивала, как летучая рыба, а подле штурвала его гостеприимного хозяина торчало охотничье ружье. Он безрадостно почувствовал, как толстый змей желания начинает тяжело разматывать свои кольца; он мрачно посетовал про себя на то, что не обессилил беса на «Вилле Венус». Он не стал противиться прикосновению ее слепой руки, пробиравшейся вверх по его бедру, и проклял природу за то, что она посадила в мужскую промежность разбухший от мерзостного сока сучковатый ствол. Люсетта вдруг отстранилась, выдохнув благовоспитанное «merde». Эдем был полон людей.

Двое полуголых малюток с визгливым ликованием подбежали к краю бассейна. За ними гналась чернокожая нянька, сердито размахивая их миниатюрными бюстгальтерами. В результате самозарождения из воды появилась лысая голова и громко фыркнула. Из раздевалки вышел инструктор по плаванию и одновременно высокое и роскошное создание с тонкими лодыжками и отталкивающе-мясистыми ляжками прошествовало мимо Винов, едва не наступив на украшенный изумрудами портсигар Люсетты. Если не считать золотистой ленты и выбеленной гривы, ее длинная складчатая бежевая спина была обнажена от верхних позвонков до самого начала соблазнительно-вальяжно перекатывавшихся ягодиц, попеременно показывавших свои нижние выпуклости из-под набедренной повязки-ламе́. Прежде чем исчезнуть за скругленным белым углом, эта Тицианова Титанша обратила в профиль свое коричневое от солнца лицо и поздоровалась с Ваном зычным «Привет!».

Люсетта желала знать: «Кто сия пава?»

«Мне кажется, она обратилась к тебе, — ответил Ван. — Я не

рассмотрел ее лицо и не помню этого зада».

«Она одарила тебя широкой тропической улыбкой», сказала Люсетта, поплотнее натянув свой зеленый шлем трогательно-изящным движением поднятых крыльев и трогательно сверкая рыжим оперением подмышек.

«Идем со мной, а?» — позвала она Вана, поднимаясь с циновки.

Он покачал головой, глядя на нее снизу вверх: «Ты встаешь, как Аврора», сказал он.

«Его первый комплимент», сказала Люсетта, слегка откинув голову, словно обращаясь к невидимой наперснице.

Надев затемненные очки, он смотрел, как она стоит на подкидной доске, как проступили ее ребра вокруг впадины живота, когда она набрала воздуху, изготовившись нырнуть в янтарь. Он задался вопросом, в мысленном примечании, которое могло бы однажды пригодиться, не влияют ли солнцезащитные очки или любые другие разновидности измененного зрения, существенно искажающие наше представление о «пространстве», также и на форму нашей речи? Две ладные девчонки, нянька, похотливый водяной, учитель плавания — все смотрели туда же, куда и Ван.

«Вот тебе и второй комплимент, — сказал он, когда она вернулась. — Ты божественно ныряешь. Я вхожу в воду с безобразным плеском».

«Зато ты плаваешь быстрее, — вздохнула она, стягивая с плеч бридочки и ложась ничком. — Между прочим, правда ли, что матросов во времена Тобакова не учили плавать, чтобы они не умерли полоумными от страха, если корабль затонет?»

«Возможно, простых моряков, — сказал Ван. — Когда сам мичман Тобаков оказался на тонущем корабле вблизи Гаваилль, он много часов преспокойно держался на воде, отпугивая акул обрывками старых песен и тому подобным, пока его не спасла рыбацкая лодка — одно из тех чудес, которые требуют, как я полагаю, минимального содействия со стороны всех участников».

В прошлом году, на похоронах, сказала она, Демон упомянул между прочим, что купил остров в Гаваиллях («Неисправимый мечтатель», поворчал Ван). У него в Ницце слезы «лились ручьем», но еще пуще того он рыдал в Валентине, на предыдущей церемонии, которой бедная Марина тоже не могла посетить. Венчание (по православному обряду, с твоего позволения) выглядело плохой пародией на сцену в старом фильме: батюшка — гага, дьякон — пьян, а белая вуаль Ады, возможно к счастью, была такой же плотной, как вдовий траур. Ван сказал, что довольно, не хочет слушать этого.

«Но ты должен, — возразила она, — хотя бы потому, что один из ее шаферов своим бесстрастным профилем и горделивой осанкой (он все время поднимал тяжелый металлический венец слишком высоко, так атлетически высоко, как если бы нарочно старался держать его подальше от ее головы) на миг показался ей вылитым Ваном, бледным,

плохо выбритым близнецом, делегированным тобой из тех мест, где ты тогда находился».

В городке с очаровательным названием Агония, в Терра-дель-Фуэго. Он ощутил странный трепет, вспомнив, что когда он получил в том далеком краю свадебное приглашение (посланное по воздушной почте зловещей сестрой жениха), его несколько ночей кряду преследовал один и тот же, с каждым разом тускневший сон (в точности как та кинокартина с ее участием, за которой он позднее следовал по череде мерцающих залов), в котором он держал над ней этот венчальный венец.

«Твой отец, — прибавила Люсетта, — заплатил человеку из “Белладонны”, чтобы он сделал снимки, но, разумеется, настоящая слава приходит лишь тогда, когда твое имя появляется в крестословице на страницах этого киножурнальчика. И мы все знаем, что этому никогда не бывать, никогда! Теперь ты зол на меня?»

«Нисколько, — сказал он, проводя рукой по ее нагретой солнцем спине и потирая ей копчик, чтобы киска замурлыкала. — Увы, нисколько не сержусь! Люблю тебя любовью брата, и, может быть, еще нежней. Хочешь, я закажу чего-нибудь выпить?»

«Хочу, чтобы ты не останавливался», проговорила она, уткнувшись носом в резиновую подушку.

«К нам идет официант. Что выберем — коктейль Гоновульва?»

«Выпьешь его с мисс Кондор (произнося первый слог в нос), когда я уйду одеваться. Сейчас я хочу только чаю. Не стоит смешивать зелье с алкоголем. Мне еще нужно будет принять знаменитую Робинзонову пилюлю позже вечером. Позже вечером».

«Чай для нас, пожалуйста».

«И побольше сандвичей, Джордж. Фуа-гра, ветчина, что угодно».

«Это очень дурной тон, — заметил Ван, — придумывать имя для бедняги, который не может ответить: “Да, мадемуазель Кондор”. Между прочим, это лучший франко-английский каламбур, который мне приходилось слышать».

«Но его действительно зовут Джорджем. Он был так добр ко мне вчера вечером, когда меня вырвало посреди чайного салона».

«Для милой все мило», проговорил Ван.

«И старики Робинзоны тоже, — продолжала она бессвязно. — Не так уж много шансов, что они сюда придут, правда? С того времени, как мы оказались за одним обеденным столом в поезде, доставившим нас в порт, они как-то потихоньку всё ходят за мной, очень трогательно; я, конечно, сразу их вспомнила и была уверена, что они нипочем не узнают маленькую пухлую девочку, которую видели в восемьдесят пятом или шестом году, но они гипнотически разговорчивые — мы сперва решили, что вы француженка, этот лосось такой вкусный, а где вы

родились? — а я вежливенькая дура, и вот, слово за слово… Одно дело молодые люди, движение времени их не так сбивает с толку, как пожилых, которые мало меняются с годами и с трудом свыкаются с переменами в жизни молодых, которых они давно не видели».

«Это очень умное замечание, лапочка, если не считать того, что время само по себе неподвижно и неизменно».

«Да, это неизменно я сижу у тебя на коленях, а дорога скользит мимо. Дороги движутся?»

«Дороги движутся».

Допив чай, Люсетта спохватилась, что ее ждет парикмахер, и поспешила уйти. Ван стянул свитер и некоторое время сидел в задумчивости, теребя украшенный зелеными камнями плоский портсигар с пятью папиросами «Розовые лепестки» и пытаясь насладиться теплом платинового солнца в его ауре «цветного фильма», но преуспел лишь в раздувании — с каждым содроганием и вздыманием судна — неумолимого пламени губительного соблазна.

Мгновение спустя, как если бы она шпионила за его одиночеством, та самая пава появилась вновь, на сей раз с извинениями.

Воспитанный Ван, вскочив на ноги и подняв на лоб очки, начал извинятся в ответ (за то, что невольно ввел ее в заблуждение), но его короткая речь почти сразу оборвалась из-за охватившего его изумления, когда он внимательнее посмотрел на ее лицо и увидел в нем грубую и гротескную карикатуру на незабвенные черты. Эта кожа мулатки, эти серебристо-русые волосы, эти толстые багровые губища преображали в вульгарный негатив ее слоновую кость, ее вороные шелка, ее бледные пухлые губы.

«Мне сказали, — пояснила она, — что один мой большой друг, Вивиан Вейл, известный кутурай — вузавай entendue? — сбрил бороду, а без нее он просто вылитый вы, верно?»

«С точки зрения логики, нет, мэм», ответил Ван.

Она призадумалась на один взмах секунды, облизывая губы, решая, грубит ли он или заигрывает, — и тут Люсетта вернулась за портсигаром.

«Увидимся апрей», сказала мисс Кондор.

Люсетта проводила красноречивым взглядом «скатертью дорожка» ленивое-ритмичное движение этих ягодичных долей и складок.

«Ты обманул меня, Ван. Эта, это все-таки одна из твоих жутких девок!»

«Клянусь, — сказал Ван, — я вижу ее в первый раз. Я бы не стал тебя обманывать».

«Ты обманывал меня много-много раз, когда я была ребенком. Если ты соврал и сейчас, tu sais que j’en vais mourir».

«Ты обещала мне гарем», мягко упрекнул ее Ван.

«Не сегодня, не сегодня! Сегодняшний день священен».

Вместо щеки, которую он хотел поцеловать, оказались ее быстрые безумные губы.

«Пойдем посмотришь мою каюту, — взмолилась она, когда он оттолкнул ее с такой силой, как будто это был его животный отклик на жар ее язычка и уст. — Я просто обязана показать тебе их подушки и рояль. Там из каждого ящика несет Кордулой. Умоляю тебя!»

«А теперь уходи, — сказал Ван, — ты не можешь дразнить меня так. Если не перестанешь, я найму мисс Кондор сопровождать меня. Ужин в семь пятнадцать».

В спальне он нашел несколько запоздалое приглашение на обед к капитанскому столику. Оно было адресовано д-ру Ивану Вину и его жене. Однажды он уже путешествовал на этом корабле, между двух рейсов на «Королеве», и капитан Коули запомнился ему пустозвоном и невеждой.

Он вызвал стюарда и велел ему отнести приглашение обратно, нацарапав на нем карандашом три слова: «Такой пары нет». Он двадцать минут пролежал в ванне. Он постарался сосредоточиться на чем-нибудь еще, кроме тела истеричной девственницы. Взявшись после ванны за гранки, он обнаружил коварный пропуск, не хватало целой строки, причем искаженный пассаж, на взгляд машинального читателя, выглядел вполне исправным, поскольку усеченный конец одного предложения и начало другого (со строчной буквы), теперь соединившиеся, образовали синтаксически правильный отрывок, безвкусицу которого он, возможно, нипочем бы не заметил (в том взбудораженном состоянии, в котором находился), если бы не вспомнил (воспоминание, подтвержденное рингтонированной копией его статьи), что здесь у него приводилась довольно уместная (во всех отношениях) цитата: «Insiste, anime meus, et adtende fortiter» («Будь настойчива, душа моя, напрягай сильнее»).

«Ты уверена, что не хочешь пойти в ресторан? — спросил он, когда Люсетта, казавшаяся в коротком вечернем платье еще более голой, чем в бикини, присоединилась у нему у дверей Гриля. — Там людно, и весело, и джаз вовсю мастурбирует. Нет?»

Она нежно покачала украшенной драгоценностями головой.

Им подали огромных сочных «креветок гругру» (желтые личинки красного пальмового долгоносика) и зажаренного медвежонка à la Tobakoff. Занято было около полудюжины столиков и, не считая отвратительного шума работающих двигателей, которого они не заметили за ленчем, все было приглушенным, мягким и покойным. Он воспользовался ее странным застенчивым молчанием, чтобы подробно рассказать об умершем

перцептисте цветных карандашей г-не Мальдуне, а также о кингстонском случае глоссолалии, которым страдала одна юконка, говорившая на нескольких языках, напоминавших славянские, — какими, возможно, пользуются на Терре, но уж точно не в Эстотии. Увы, другой казус (с игрой слов на cas) завладел его вниманием на вневербальном уровне.

Она задавала вопросы с очаровательным видом по-ланьи преданной студентки, учащейся в заведении смешанного типа, однако от профессора не требовалось большой научной подготовки, чтобы понять, что ее прелестное смущение и пушистые низкие нотки ее голоса были столь же наигранными, как и ее полуденная экзальтация. На самом деле Люсетту терзали муки душевной смуты, совладать с которыми, приложив героические усилия, могла лишь аристократка-американка. Уже очень давно она внушила себе, что если заставит мужчину, в которого глупо, но непоправимо влюблена, переспать с ней хотя бы один раз, то ей каким-то чудом, с помощью какого-то редкостного содействия со стороны природы удастся превратить краткое тактильное событие в вечную духовную связь; но она сознавала и другое, что если этого не произойдет в первую же ночь их путешествия, их отношения вновь соскользнут к изнуряющей, безнадежной, безнадежно знакомой форме непрестанных взаимных пикировок и шуточек, с их всегдашней эротической подоплекой, ставшей хотя и привычной, но оттого не менее мучительной, чем всегда. Он проникся ее состоянием или, по крайней мере, в отчаянии полагал, что он понял его ретроспективно, к тому времени, когда в аптечном ящике прошлого, с хлопающей дверцей и падающей зубной щеткой, не нашлось другого лекарства, кроме бальзама атлантической прозы д-ра Генри.

Сумрачно глядя на ее худые обнаженные плечи, такие подвижные и гибкие, что казалось, она могла бы скрестить их перед собой, как стилизованные крылья ангела, Ван покорно думал о том, что если он продолжит следовать своему сокровенному кодексу чести, то ему придется вынести еще пять таких дней зудливого соблазна — и не только потому, что она была прелестна и удивительна, но и потому, что он никогда не мог продержаться без женской ласки дольше сорока восьми часов. Он боялся именно того, чего она так горячо желала: что как только он испробует ее рану и хватку этой раны, она будет держать его в ненасытном плену неделями, может быть, месяцами, а может быть, и дольше, но что неизбежно наступит жестокая разлука, с новой надеждой и старым отчаянием, которые никогда не обретут равновесия. А хуже всего было то, что, сознавая и стыдясь своего вожделения к больному ребенку, он чувствовал, что в темном сплетении древних эмоций этот стыд лишь обострял его похоть.

Они пили сладкий густой турецкий кофе, и Ван украдкой взглянул на свои ручные часики, чтобы установить — что? Как долго можно терпеть эту пытку самоотречения? Как скоро начнутся объявленные развлечения — танцевальное состязание или что там у них в программе? Ее возраст? (Люсинде Вин было всего пять часов от роду, если обратить вспять человеческое «течение времени».)

Она была такой трогательной душкой, что когда они выходили из Гриля, он не мог удержаться — ибо чувственность лучший питательный бульон роковой ошибки, — чтобы не погладить ее глянцевитое молодое плечо,

идеальная бильбоковая округлость которого на одно мгновение, счастливейшее мгновение в ее жизни, попала в чашечку его ладони. Затем она пошла впереди него, так ощущая на себе его пристальный взгляд, как если бы выигрывала приз «за выдержку». Он мог описать ее платье лишь как ворох перьев (если у страусов бывают медно-рыжие завитки), подчеркивающих длину ее ног в нииоиовых чулках и свободу ее широкой походки. Объективно говоря, элегантность Люсетты отличалась большей остротой, чем у ее «вагинальной» сестры. Когда они переходили от палубы к палубе, пересекали площадки, где русские матросы, одобрительно поглядывая на красивую пару, говорящую на их несравненном языке, споро натягивали бархатные канаты, Люсетта казалась ему каким-то акробатическим существом, нечувствительным к буйству моря. С негодованием джентльмена он обратил внимание на то, что ее надменно поднятый подбородок, черные крылья и легкая походка привлекали к себе не только невинные голубые взоры, но и дерзкие взгляды похотливых попутчиков. Он во всеуслышанье объявил, что следующий же нахальный примат получит пощечину, и, невольно попятившись назад, все еще нелепо-воинственно жестикулируя, упал в палубный шезлонг (он тоже слегка прокрутил катушку времени вспять), вызвав у нее звонкий смех. Чувствуя себя теперь намного более счастливой, наслаждаясь его галантной шампанской вспыльчивостью, она увела Вана прочь от миража своих поклонников, обратно к лифту.

Без особого интереса они осмотрели выставленные в витрине предметы роскоши. Люсетта усмехнулась, увидев купальный костюм из ткани с золотыми нитями. Вана озадачило наличие среди вещей нагайки и кирки. Полдюжины экземпляров «Зальцмана» в глянцевитых обложках импозантно возвышались между портретом красивого, задумчивого, теперь совершенно забытого автора и Минго-Бинговой вазой с иммортелями.

Он ухватился за красный канат, и они вошли в салон.

«На кого же она похожа? — спросила Люсетта. — En laid et en lard?»

«Не знаю, — солгал он. — На кого?»

«Это не важно, — сказала она. — Сегодня ты мой. Мой, мой, мой!»

Она цитировала Киплинга, ту строчку, с которой Ада, случалось, обращалась к Даку. Он огляделся в поисках соломинки прокрустовой прокрастинации.

«Пожалуйста, — сказала Люсетта, — я устала ходить, я слаба, меня лихорадит, я ненавижу штормы, давай уже пойдем в постель!»

«Эй, смотри-ка! — воскликнул он, указывая на афишу. — Здесь показывают нечто под названием “Последняя интрижка Дон Жуана”. Предварительный показ и только для взрослых. Прогрессивный “Тобаков”!»

«Это будет неденатурированная скука», сказала Люси (Школа Houssaie, 1890), но он уже отвел драпировку и вошел в зал.

Они попали к началу короткой вступительной картины о гренландском

круизе, с бурными морями в преувеличенно-ярких цветах техниколора; не слишком занимательный сюжет, если учесть, что их «Тобаков» не собирался заходить в Годхавн, а кроме того, сам кинозал качался в ритме, противоположном кобальтово-изумрудным хлябям на экране. Не удивительно, что в зале было «эмптовато», как заметила Люсетта, присовокупив, что Робинзоны просто спасли ей жизнь, снабдив накануне полной трубочкой пилюль «Упокой».

«Хочешь попробовать? Кто штучку одну принимает, тот ношу на день забывает. Игра слов. Их можно жевать, они сладкие».

«Название — закачаешься. Нет, спасибо, сладкая моя. К тому же у тебя осталось всего пять».

«Не беспокойся, я все спланировала. Возможно, впереди меньше пяти дней».

«На самом деле больше, но это не важно. Наши измерения времени лишены смысла; самые точные часы это всего лишь анекдот; когда-нибудь прочитаешь об этом, тебе нужно просто подождать».

«Может быть, и нет. То есть, возможно, у меня не хватит терпения. Я хочу сказать, что служанка Леонардо так и не смогла закончить чтение его ладони. Я могу уснуть до того, как прочитаю твою новую книгу».

«Легенда из курса истории искусств», сказал Ван.

«Судя по музыке, это последний айсберг. Идем, Ван! Или ты правда хочешь увидеть Гуля в роли Гуана?»

В темноте она коснулась губами его щеки, взяла его руку, поцеловала костяшки пальцев, и он вдруг подумал: в конце концов, почему бы и нет? Сегодня? Сегодня.

Он наслаждался ее нетерпением, идиот позволил себе распалиться из-за этого нетерпения, кретин шепнул ей, усиливая свободное, новое, абрикосовое пламя предвкушения:

«Если будешь хорошей девочкой, мы выпьем в моей гостиной в полночь».

И тут начался фильм. В трех главных ролях — смертельно-бледного Дон Жуана, пузатого Лепорелло на осле и не столь уж неотразимой, заметно сорокалетней Донны Анны — были заняты первоклассные актеры, силуэты которых проходили в кадрах «двойной экспозиции» или, как их еще называют, в «полупрозрачных планах» короткого вступления. Вопреки ожиданиям, картина оказалась довольно удачной.

По пути в отдаленный замок, в котором капризная дама, овдовевшая из-за его меча, наконец обещала ему долгую ночь любви в своей непорочной и холодной спальне, стареющий распутник, лелея свою мужскую силу, отвергает авансы череды грудастых красоток. Гитана предрекает мрачному кавалеру, что еще до прибытия в замок он поддастся чарам ее сестры Долорес, танцовщицы (позаимствованной из новеллы Осберха, как должен был доказать последовавший судебный

процесс). Она предсказала кое-что и Вану, поскольку еще до того, как Долорес вышла из циркового шатра, чтобы напоить лошадь Жуана, Ван знал, кем она окажется.

В волшебных лучах проекционного аппарата, в контролируемой галлюцинации балериновой грации, десять лет ее жизни сошли, как пелена, и она вновь предстала перед ним той самой стройной трусишкой, qui n'en porte pas (как он однажды пошутил, чтобы досадить ее гувернантке неверным переводом вымышленного французуа): памятный пустяк, вторгшийся в озноб его нынешних чувств с раздражающей глупостью невинного незнакомца, спрашивающего у поглощенного своим зрелищем вуайериста дорогу в лабиринте убогих переулков.

Люсетта узнала Аду спустя три или четыре секунды и сразу сжала его запястье:

«Ох, это ужасно! Это должно было произойти. Это же она! Уйдем, прошу тебя, уйдем! Тебе не следует видеть, как она унижает себя. А какой отвратительный грим! И каждый жест ребячливый и неверный —»

«Всего одну минуту», сказал Ван.

Отвратительный? Неверный? Она была само очарование, она казалась и чужой, и до боли знакомой. Благодаря какой-то невиданной удаче искусства, какому-то волшебству случая, те несколько коротких сцен с ее участием образовали идеальный компендиум ее обликов 1884, 1888 и 1892 годов.

Гитана склоняет голову над живым столом, образованным услужливой спиной Лепорелло, чтобы начертить на клочке пергамента грубую карту пути к замку. Сквозь длинные черные волосы, разделенные движением ее плеча, белеет ее шея. Она уже больше не Долорес какого-то другого мужчины, она маленькая девочка, обмакивающая акварельную кисть в краску Вановой крови, и замок Донны Анны больше не замок, а болотный цветок.

Дон скачет мимо трех ветряных мельниц, вращающих черными крыльями на фоне зловещего заката, и спасает Долорес от мельника, обвинившего девушку в краже горсти муки и разорвавшего на ней тонкое платьице. Шумно сопящий, но все еще радостно-оживленный, Жуан переносит ее через ручей (ее босой палец акробатически щекочет ему щеку) и, войдя в оливковую рощу, опускает ее на траву. Теперь они стоят лицом к лицу. Она сладострастно пробегает пальчиками по украшенному драгоценными камнями навершию эфеса его шпаги, она трется упругим девичьим животиком о его вышитое трико. И вдруг на выразительном лице бедного Дона появляется гримаса преждевременной судороги. Он гневно отстраняется от нее и, нетвердо ступая, возвращается к своему жеребцу.

Вану, однако, только значительно позже открылось (когда он посмотрел — когда ему пришлось посмотреть, а потом пересмотреть еще и еще раз — всю картину, с ее печальным и гротескным финалом в замке Донны Анны), что в том самом, будто бы случайном объятии и состояла месть

Каменного Рогоносца. Удрученный сверх меры, Ван, собственно, решил покинуть зальчик еще до того, как следующий эпизод наплывом сменил сцену в оливковой роще. Как раз в момент перехода три пожилые дамы с каменными лицами выразили свое неодобрение фильму, поднявшись со стороны Люсетты (достаточно худенькой, чтобы остаться сидеть) и в три отрывистых шага протиснувшись мимо Вана, которому пришлось встать. Одновременно он заметил двух человек, давно пропавших из виду Робинзонов, которые были, по-видимому, отделены от Люсетты тремя ушедшими дамами и теперь подбирались к ней поближе. Расплываясь в улыбках доброжелательности и самозабвения, они бочком подступили к Люсетте и шумно уселись рядом с ней, а она повернулась к ним со своим последним, последним, последним приношением непреклонной учтивости, которая была сильнее краха надежд и самой смерти. Они уже перегибались через нее, обращая к Вану свои сияющие морщины и дрожащие пальцы, когда он, воспользовавшись их вторжением, пробормотал юмористическое оправдание плохого морехода и покинул сумеречно кренящийся зал.

В череде поступков и действий шестидесятилетней давности, которые я теперь могу истолочь в ничто, до тех пор работая над последовательностью слов, пока не добьюсь верного ритма, я, Ван, удалился к себе в ванную комнату, закрыл дверь (которая тут же распахнулась и снова закрылась сама собой) и, применив временную меру, менее противоестественную и надуманную, чем та, к которой прибег отец Сергий (отрубивший не тот член своего тела в знаменитом анекдоте графа Толстого), энергично избавился от напора похоти, что делал в последний раз семнадцать лет тому назад. И как печально, как знаменательно, что картина, проецируемая на экран его пароксизма, в то время как незапирающаяся дверь вновь распахнулась движением глухого, приложившего ладонь к уху, воспроизводила не сегодняшний свежий и уместный образ Люсетты, а неизгладимое видение склоненной голой шеи, и разделенного потока черных волос, и кисти с пурпурным кончиком.

Затем он для верности повторил отвратительную, но необходимую процедуру.

Теперь Ван взирал на положение дел бесстрастно и чувствовал, что поступает правильно, ложась спать и выключая «эктрический» свет (суррогат, вновь прокравшийся в международное употребление). Голубоватый призрак комнаты постепенно обретал очертания, по мере того как его глаза привыкали к темноте. Он гордился своей силой воли. Он приветствовал тупую боль в своем выжатом досуха корне. Он обрадовался мысли — которая вдруг показалась ему такой абсолютно верной, и новой, и столь же синевато-реальной, как медленно ширившаяся щель дверного проема в гостиную, — что потом (в день, до которого было по меньшей мере и в лучшем случае еще семьдесят лет) он объяснит Люсетте, как философ и брат той, другой девушки, что он знал, как мучительно и абсурдно ставить все свое духовное состояние на карту одной плотской прихоти и что его положение было очень схожим с ее, но что он все-таки сумел жить, работать, не зачах, потому что он отказался испортить ей жизнь коротким романом и потому что Ада была еще ребенком. В этом месте поверхность его выкладок подернулась рябью сна, но телефонный звонок вернул его сознание к

полной ясности. Аппарат, казалось, каждый раз приседал на корточки, перед тем как оглушительно загреметь, и он сперва решил подождать, пока он сам собой не израсходует весь свой задор. Наконец, его нервы уступили настойчивому трезвону, и он схватил трубку.

Разумеется, он имел моральное право воспользоваться первым попавшимся предлогом, чтобы не подпустить ее к своей постели, но он также знал, как джентльмен и художник, что сказанная им фраза была пошлой и жестокой, и только потому, что она не могла принять ни Вана-пошляка, ни Вана-изувера, она ему поверила.

«Можно придти теперь?» — спросила Люсетта.

«Я не один», ответил Ван.

Последовало недолгое молчание, затем она повесила трубку.

После его бегства она осталась зажатой между уютными Робинзонами (Рейчель со своей большой дамской сумкой немедленно протиснулась к освобожденному Ваном месту, а Боб переместился в ее кресло). Из-за определенного рода pudeur она не сказала им, что актриса (замысловато и мимолетно означенная в «восходящем» списке имен в конце фильма как Тереза Зегрис), заполучившая небольшую, но важную роль роковой цыганки, была той самой белокожей гимназисткой, которую они могли видеть в Ладоре. Робинзоны пригласили Люсетту выпить по стаканчику коки — прозелиты трезвенности — в их каюте, оказавшейся тесной, душной и плохо изолированной — было слышно каждое слово и еще хныканье двух детей, которых укладывала спать бессловесная, измученная морской болезнью нянька, уже так поздно, так поздно, — нет, не дети, а, возможно, еще совсем юные и очень разочарованные молодожены.

«Мы понимаем, — сказал Роберт Робинзон, подходя к портативному холодильнику за новой порцией напитков, — мы прекрасно понимаем, что доктор Вин полностью поглощен своей За Мечтательной Работой — лично я порой жалею, что вышел в отставку, — но как вы полагаете, Люси, — прозит! — не согласится ли он пообедать завтра с вами и нами и, может быть, с еще Одной Парой, встреча с которой несомненно доставит ему удовольствие? Следует ли миссис Робинзон послать ему формальное приглашение? Не согласитесь ли вы тоже подписать его?»

«Я не знаю, я очень устала, — сказала она, — и этот рок-н-ролл становится все хуже. Пожалуй, я заберусь в свою каморку и приму вашу “Упокойку”. Да, конечно, давайте пообедаем, все вместе. Так кстати пришлось это отличное холодное питье».

Опустив перламутровую трубку в ее люльку, она переоделась в черные штаны и лимонного цвета блузу (приготовленная на завтрашнее утро одежда), тщетно поискала обычный, без каравеллы или герба, лист писчей бумаги, вырвала форзац из «Дневника» Херба и попыталась придумать что-нибудь забавное, безобидное и остроумное для предсмертной записки. Но она спланировала все, кроме этой записки, и потому разорвала свою пустую жизнь пополам и бросила части в ватерклозет. Она наполнила стакан мертвой водой из скованного цепью

графина, проглотила одну за другой четыре зеленые пилюли и, посасывая пятую, пошла к лифту, который мгновенно поднял ее из трехкомнатных апартаментов прямиком к красной ковровой дорожке бара на прогулочной палубе. Там двое похожих на слизняков молодых людей как раз сползали с высоких красных стульев, напомнивших поганки, и старший из них сказал другому, когда они направились к выходу: «Можешь дурачить его светлость, дорогуша, но не меня, о нет».

Она выпила «казацкую чарку» водки «Класс», гадкого и дешевого, но крепкого пойла; выпила вторую; и едва смогла проглотить третью, потому что все вдруг чертовски быстро поплыло перед глазами. Плыви, как чорт, прочь от акул, Тобакович!

Она не взяла с собой сумочку и едва не упала со своего нелепого выпуклого сиденья, роясь в карманах блузки в поисках случайной банкноты.

«Пора в постельку, — сказал бармен Тоби с отеческой улыбкой, принятой ею за плотоядную ухмылку. — Пора спать, мисс», повторил он и похлопал ее по не защищенной перчаткой руке.

Люсетта отшатнулась и заставила себя ответить отчетливо и надменно:

«Мистер Вин, мой кузен, заплатит вам завтра и вышибет ваши фальшивые зубы».

Шесть, семь, нет, больше, около десяти крутых ступенек наверх. Dix marches. Ноги, руки. Dimanche. Déjeuner sur l’herbe. Tout le monde pue. Ma belle-mère avale son râtelier. Sa petite chienne, после чрезмерных упражнений, дважды сглатывает и тихонько блюет розовым пудингом на пикниковую nappe. Après quoi она ковыляет прочь. Чортовы ступеньки.

Чтобы одолеть лестницу, ей пришлось обеими руками хвататься за поручни и подтягивать себя, как груз. Рывками, согнувшись, она тяжело и сосредоточенно, как калека, взошла наверх. Выбравшись на открытую палубу, она почувствовала напор черной ночи и подвижность своего случайного крова, который собиралась покинуть.

Хотя она никогда прежде не умирала — нет, Виолетта, не замирала — на такой высоте, перед таким наслоением теней и змеевидных бликов, она почти без плеска вошла в угодливо изогнувшуюся ей навстречу волну. Этот идеальный конец был испорчен тем, что она одним быстрым движением инстинктивно всплыла на поверхность — вместо того, чтобы отдаться под водой своей сдобренной наркотиком усталости, как она замышляла сделать в свою последнюю ночь на берегу. Глупышка не отладила технику самоубийства, в отличие, скажем, от свободно падающих парашютистов, упражняющихся в этом постоянно в стихии другой главы. Из-за громоздившихся вокруг валов и оттого, что она не знала, в какую сторону смотреть сквозь брызги и тьму и из-за собственных тентакливых — т, а, к, л — прядей, Люсетта не могла разглядеть огней лайнера, легкопредставимую многоочитую гору, мощно удалявшуюся от нее в своем бесстрастном торжестве. Затерял свою следующую заметку.

Нашел.

Небеса тоже были бесстрастны и темны, а ее тело, ее голову, и особенно эти чортовы штаны, облепившие ноги, казалось, пронизывал Oceanus Nox, n, o, x. При каждом шлепке и всплеске холодной дикой соли («Холодная Соленая») она вздымалась вместе с анисовой тошнотой, и все круче, хорошо, пусть крепче, коченели ее руки и шея. Когда она начала терять сознание, то сочла нужным сообщить веренице удаляющихся Люсетт — с тем, чтобы они без конца передавали это сообщение в регрессии обманчивого хрусталя, — что смерть представляет собой лишь более полный набор бесконечных фракций одиночества.

Вопреки нашим опасениям, она не видела, как вся жизнь пронеслась у нее перед глазами; красная резина ее любимой куклы так и осталась благополучно истлевать среди незабудок не поддающегося рассмотрению ручья; но она видела кое-какие мелочи, пока держалась на воде, как дилетант Тобаков, в кругу недолгой паники и милосердного онемения. Она увидела пару новых, отороченных беличьим мехом ночных туфелек, которые Бриджет забыла сунуть в чемодан; она увидела, как Ван промокнул губы, прежде чем ответить, а затем, все еще выдерживая паузу, бросил салфетку на стол, когда они оба встали; и она увидела, как девочка с длинными черными волосами быстро склонилась на ходу, чтобы хлопнуть в ладони над дакелем в полуразорванном цветочном венке.

С недалеко ушедшего корабля была спущена на воду ярко освещенная моторная лодка, в которой среди других мнимых спасателей находился Ван, инструктор по плаванию и Тоби в клеенчатом плаще с капюшоном. Но к тому времени накатило уже так много волн, и Люсетта слишком устала, чтобы еще немного подождать. Затем ночь наполнилась грохотом старого, но все еще резвого геликоптера. Его старательно шаривший луч смог отыскать лишь темную голову Вана, которого выбросило из лодки, когда та шарахнулась от собственной внезапной тени, и который, взмывая на гребнях, продолжал выкрикивать имя утонувшей девушки среди черных, в пенистых прожилках, изрезанных ветром волн.

6

Отец,

Прилагаю не требующее пояснений письмо; пожалуйста, прочти и, если оно не вызовет у тебя возражений, перешли его миссис Вайнлендер, адреса которой я не знаю. Тебя лично хочу заверить — хотя теперь это едва ли имеет значение, — что Люсетта моей любовницей никогда не была, на что в своем «отчете» о трагедии намекает тот грязный выродок, добраться до которого мне пока не удалось.

Мне сообщили, что в следующем месяце ты возвращаешься на Восток.

Если до отъезда ты хотел бы со мной увидеться, скажи своей нынешней секретарше, чтобы она телефонировала мне в Кингстон.

Ада,

Я хочу исправить и дополнить газетные репортажи о ее смерти, напечатанные здесь еще до моего прибытия. Мы не «путешествовали вдвоем». Мы сели на корабль в двух разных портах, и я не знал, что она находится на борту. Наши отношения остались прежними. Весь следующий день (4 июня) мы провели вместе, если не считать двух часов перед ужином. Мы лежали под солнцем, она наслаждалась свежим бризом и ярким рассолом бассейна. Она изо всех сил старалась казаться беззаботной, но я заметил, что с ней что-то не так. Приобретенную ею романтическую привязанность и ту безрассудную страсть, которую она пестовала все эти годы, невозможно было пресечь никакими доводами здравого смысла. Вдобавок ко всему на сцене появился некто, с кем она не могла соперничать. Чета Робинзонов, Роберт и Рейчель, которые, как я знаю, собирались послать тебе через моего отца письмо, были предпоследними людьми, говорившими с ней той ночью. Последним был бармен. Обеспокоенный ее состоянием, он последовал за ней на открытую палубу и стал свидетелем ее прыжка, которого не мог остановить.

Мне представляется неизбежным, что всякий, перенесший такую утрату, начинает дорожить каждой связанной с ней мелочью, каждой оборвавшейся тесемкой, каждой истрепавшейся каймой из непосредственного прошлого. Мы посмотрели вместе с ней бóльшую часть картины «Замки в Испании» (или вроде того), и когда ее распутный злодей был направлен к последнему из них, я решил оставить Люсетту на попечение Робинзонов, присоединившихся к нам в корабельном кинозале. Я лег спать и был разбужен около часу ночи по морскому времени, всего через несколько минут после того, как она прыгнула за борт. Меры по ее спасению предпринимались с разумным размахом, но в конце концов, по прошествии одного часа смятения и надежды, капитану пришлось принять ужасное решение продолжить путь. Если бы мне все-таки удалось его подкупить, мы бы до сих пор кружили у того рокового места.

Как психолог, я сознаю всю несостоятельность рассуждений о том, что Офелия все-таки не утопилась бы без содействия предательского сучка, даже если бы вышла за своего Вольтеманда. Говоря отвлеченно, я верю, что она могла бы умереть в своей постели, седая и безмятежная, если бы В. любил ее; но поскольку он не любил по-настоящему несчастную маленькую девственницу, и поскольку никакая телесная нежность не могла и не может сойти за настоящую любовь, и поскольку — что превыше всего прочего — роковая андалузская девка, неожиданно появившаяся, повторяю, в картине, была незабываемой, я вынужден заключить, дорогая Ада и дорогой Андрей, что сколько бы жалкий человек ни думал и ни гадал, она бы все равно покончила съ собой. В других, более глубоконравственных мирах, чем этот навозный катышек, могут существовать сдерживающие начала, принципы, трансцендентальные утешения и даже некоторая гордость от мысли, что осчастливил кого-

то, кого на самом деле не любишь; но на этой планете Люсетты обречены.

От нескольких трогательных вещиц, принадлежавших ей — портсигара, вечернего платья из тюля, книги с загнутым на французском пикнике уголком, — пришлось избавиться, потому что они глядели на меня неотрывно. Остаюсь вашим покорным слугой.

Сын,

Я в точности исполнил твои инструкции в отношении того письма. Твой эпистолярный стиль настолько замысловат, что я мог бы заподозрить наличие шифра, кабы не знал, что ты принадлежишь к Декадентской Школе письма, вместе с беспутным стариком Львом и чахоточным Антоном. Мне нет никакого дела до того, спал ты с Люсеттой или нет, но я знаю от Дороти Вайнлендер, что малышка была в тебя влюблена. Фильм, который ты упомянул, это, разумеется, «Последняя интрижка Дон Жуана», в котором Ада действительно сыграла (к тому же превосходно) прелестную испаночку. На карьеру нашей бедной девочки наложено проклятие. Сразу после премьеры Говард Гуль стал утверждать, что роль, которую его заставили играть, представляет собой невозможное смешение двух Донов, что Юзлик (режиссер) намеревался сперва положить в основу своей «фантазии» неотесанный роман Сервантеса, что кое-какие обрезки исходного сценария пристали, как грязная шерсть, к финальной версии и что если внимательно слушать звуковую дорожку, можно уловить, как товарищ-гуляка в сцене таверны дважды называет Гуля «скорострелом». Гулю удалось скупить и уничтожить немало копий картины, в то время как другие были арестованы по требованию адвоката Осберха, который заявил, что вся линия с гитаной была украдена из какой-то его собственной стряпни. По этой причине невозможно приобрести катушку с кинолентой, которая растает, как пресловутый дым, как только угаснет на провинциальных экранах. Приезжай и отобедай со мной 10 июля. Фрак или смокинг.

Cher ami,

Nous fûmes, mon mari et moi, profondément bouleversés par l’effroyable nouvelle. C’est à moi — et je m’en souviendrai toujours! — que presqu’à la veille de sa mort cette pauvre fille s’est adressée pour arranger les choses sur le Tobakoff qui est toujours bondé, et que désormais je ne prendrai plus, par un peu de superstition et beaucoup de sympathie pour la douce, la tendre Lucette. J’étais si heureuse de faire mon possible, car quelqu’un m’avait dit que vous aussi y seriez; d’ailleurs, elle m’en a parlé elle-même: elle semblait tellement joyeuse de passer quelques jours sur le «pont des gaillards» avec son cher cousin! La psychologie du suicide est un mystère que nul savant ne peut expliquer.

Je n’ai jamais versé tant de larmes, la plume m’en tombe des doigts. Nous revenons à Malbrook vers la mi-août. Bien à vous,

Cordula de Prey-Tobak

Ван,

Нас с Андреем глубоко тронули дополнительные сведения, сообщенные тобой в дорогом (т. е. потребовавшем доплаты за порто-марку!) письме. Мы уже получили через г-на Громбчевского записку Робинзонов, которые не могут простить себе, бедные благонамеренные друзья, что дали ей те пилюли от морской болезни, чрезмерная доза которых вкупе с крепким спиртным, несомненно, ослабила ее способность к выживанию — если она изменила свое решение в холодной и темной воде. Не могу выразить, дорогой Ван, как я несчастна, тем более что мы никогда представить себе не могли в парках Ардиса, что такое несчастье может существовать.

Единственная моя любовь,

Это письмо никогда не будет послано. Оно будет лежать в стальном ящике, погребенное под кипарисом в саду виллы «Армина», и когда его случайно найдут полтыщи лет спустя, никто не узнает, кем оно написано и кому предназначалось. Я бы никогда не стал его писать, если бы твоя последняя строчка, твой горестный вскрик, не был бы моим криком триумфа. Бремя этого волнения, должно быть [остальная часть предложения оказалась уничтоженной ржавым пятном, когда в 1928 году ящик с письмом был выкопан из земли. Далее следует:] обратно в Штаты, я пустился в диковинные поиски. В Манхэттене, в Кингстоне, в Ладоре и во многих других городах я преследовал картину, которая для меня [сильно потускневшее место] на корабле, от одного зала к другому, каждый раз находя новый предмет для упоительной пытки, новую конвульсию красоты в твоей игре. Это [неразборчиво] сокрушительное опровержение мерзких снимков мерзкого Кима. С артистической и ардизиакальной точки зрения лучшая сцена — одна из финальных, когда ты босиком идешь за Доном, уходящим по мраморной галерее навстречу своей гибели, к эшафоту укрытого черным балдахином ложа Донны Анны, вокруг которого ты порхаешь, моя бабочка зегрис, поправляя комично обвисшую свечу, шепча на ухо нахмуренной госпоже советы столь же восхитительные, сколько и напрасные, а потом смотришь поверх мавританской ширмы и вдруг заливаешься таким естественным, беспомощным и прекрасным смехом, что невольно задаешься вопросом, может ли какое-либо искусство обойтись без этого эротического вздоха потешающейся школьницы? И подумай только, бледная испанская аврора, что твоя волшебная шалость длилась в общей сложности (как я установил с помощью секундомера) всего одиннадцать минут, сложившихся из нескольких двух-трехминутных сцен!

Увы, на мрачную окраину мастерских и дымных кабаков уже опустилась ночь, когда в самый последний раз, и то лишь наполовину, потому что в сцене соблазнения пленка перемигнула и съежилась, мне удалось приметить [весь конец письма поврежден].

7

Он приветствовал зарю мирного и благополучного века (более половины которого мы с Адой уже издержали), приступив к своей второй философской притче, посвященной «обличению пространства». Она так и не была дописана, но со временем приняла форму — в зеркале заднего вида — предисловия к его «Текстуре Времени». Часть этого довольно вычурного и вместе с тем неприятно-колкого и основательно продуманного сочинения появилась в первом номере (январь 1904 года) знаменитого теперь американского ежемесячника «The Artisan» («Ремесленник»), а комментарий к этому отрывку сохранился в одном из трагически-официальных писем (все они были уничтожены, кроме этого), время от времени посылавшихся ему сестрой обычной почтой. Эта открытая переписка началась без наказа, но с молчаливого согласия Демона после эпистолярного обмена, вызванного смертью Люсетты:

И над вершинами Наказа

Изгнанник рая пролетал:

Под ним Маунт-Пек, как грань алмаза,

Снегами вечными сиял.

В самом деле, дальнейшая демонстрация полного равнодушия к жизни друг друга могла бы показаться более подозрительной, чем такого рода послание:

Ранчо Агавия

5 февраля 1905 г.

Я только что прочитала «Рефлексии в Сидре» Ивана Вина и нахожу, что это великолепное произведение, дорогой профессор. «Потерянные стрелы судьбы» и другие поэтические штрихи напомнили мне о тех двух или трех случаях, когда ты, около двадцати лет тому назад, заезжал к нам в усадьбу, чтобы выпить чашку чая с калачом. Я была, как ты помнишь (самонадеянная фраза!), petite fille modèle, упражняющаяся в стрельбе из лука подле вазы и парапета, а ты был застенчивым школьником (в которого, как догадывалась моя мать, я, возможно, была чуточку влюблена!), послушно собравшим стрелы, потерянные мной в потерянных кустах потерянного замка печального детства Люсетты и счастливого, счастливого детства Адетты, — теперь в нем размещается «Приют для слепых чернокожих» — я убеждена, что и моя мать, и Л. поддержали бы Дашин совет вверить его попечению ее епархии. Даша, моя золовка, которая дала мне журнал с твоим сочинением (ты скоро

познакомишься с ней, да, да, да, она прелесть и сама любезность и гораздо умнее меня), просит меня прибавить, что она надеется «возобновить» ваше знакомство — быть может, в октябре, в швейцарском отеле «Бельвю», Монт-Ру. Помнится, тебе как-то случалось видеть миловидную мисс «Ким» Шант-Ажу, что ж, это в точности тип нашей дорогой Даши. Как ловко она проникает в каждый заветный уголок независимого ума, преследует его буквально по пятам, используя все виды изысканий, многие из которых я даже не могу назвать! Она училась в Чузе (где изучала Историю — наша Люсетта называла ее «Sale Histoire», как грустно и смешно!). Тебя она считает le beau ténébreux, потому что однажды давным-давно, однажды на стрекозьих крыльях, незадолго до моего замужества, она посетила — я имею в виду в то время (я застряла в турникете своего «зеркального слога») — одну из твоих публичных лекций о природе снов, после которой подошла к тебе со своим последним крошечным кошмаром, полностью отстуканным на машинке и аккуратно скрепленным, а ты мрачно нахмурился и отказался взять. Так вот, она добивалась от дяди Дементия, чтобы он уговорил le beau ténébreux приехать в отель «Бельвю», Монт-Ру, в октябре, числа семнадцатого, кажется, но он в ответ только смеялся и повторял, что мы с Дашенькой должны все уладить.

Так что вновь «поздравленьице», дорогой Иван! Мы оба считаем, что это мы замечательный, неподражаемый художник, которому тоже остается «только смеяться», когда кретины критики, особенно англичане, принадлежащие к низшей верхушке среднего класса, бранят его зеркальный слог за то, что он «уклончивый» и «игривый», подобно тому как американский фермер считает приходского священника человеком «эксцентричным», оттого что он знает греческий.

P.S.

Душевно кланяюсь [неточное и вульгарное выражение, вызывающее образ «склонившейся в поклоне души»] нашему заочно дорогому профессору, о которомъ много слышалъ отъ добраго Дементія Дедаловича и сестрицы.

Съ уваженіемъ,

Андрей Вайнлендеръ

Меблированное пространство, l’espace meublé (известное нам лишь как меблированное и заполненное, даже если его содержанием является «отсутствие вещества» — вмещающее также и сознание), по большей части водянисто, по крайней мере на нашей планете. В этом своем состоянии оно погубило Люсетту. Другая его форма, более или менее атмосферная, но столь же тошнотворная и не свободная от гравитации, уничтожила Демона.

Мартовским утром 1905 года, сидя, как султан, на устланной коврами террасе виллы «Армина» в окружении четырех или пяти ленивых девиц, полностью обнаженных, Ван праздно раскрыл американскую ежедневную газету, выходившую в Ницце. Сообщалось о новой крупной авиакатастрофе, четвертой или пятой по счету в недавно начавшемся

столетии — огромная летательная машина по неизвестной причине распалась на части на высоте пятнадцати тысяч футов над Тихим океаном между островами Лисянского и Лайсанова, относящихся к Гаваилльскому архипелагу. В списке «ведущих деятелей», погибших в результате взрыва, значились: глава рекламной службы большого универсального магазина, исполняющий обязанности начальника цеха листового металла факсимильного предприятия, администратор звукозаписывающей фирмы, старший партнер адвокатской конторы, архитектор с тяжелым летательным опытом (первая опечатка, не поддающаяся исправлению), вице-президент страховой корпорации, еще один вице-президент, на этот раз в Совете по Улаживанию Споров, чтобы это ни значило —

«I'm hongree [Хочу есть]», сказала maussade ливанская красоточка пятнадцати знойных лет от роду.

«Позвони в колокольчик», сказал Ван, продолжая с чувством странной поглощенности просматривать перечень отмеченных ярлыками жизней:

— президент оптовой виноторговой фирмы, управляющий компанией по производству турбинного оборудования, производитель карандашей, два профессора философии, два газетных репортера (которым больше нечего сообщить), помощник управляющего оптового виноторгового банка (напечатано с ошибкой и не на том месте), помощник инспектора трастовой компании, президент, секретарь печатного агентства —

Имена всех этих заправил, а также еще около восьмидесяти других мужчин, женщин и безмолвных детей, погибших в голубом воздушном пространстве, не оглашались, пока разыскивались их родственники и близкие, однако предварительный список обывательских абстракций сочли настолько значительным, что его поспешили преподнести в качестве закуски; и только на другой день Ван узнал, что «президентом банка», затерявшимся в заключительной мешанине, был его отец.

«Потерянные стрелы судьбы каждого человека остаются рассыпанными повсюду вокруг него» и т. д. («Рефлексии в Сидре»).

В последний раз Ван виделся с отцом в их доме весной 1904 года. Присутствовали и другие: старик Элиот, торговец недвижимостью, два правоведа (Громбчевский и Громвель), эксперт по предметам искусства д-р Экс, новая секретарша Демона Розалинда Найт и важный Китар Свин, банкир, ставший в шестьдесят пять лет авангардным писателем; всего за один волшебный год он выпустил «Безродную Почву», сатиру в свободных стихах на англо-американские диетические привычки, и «Кардинала Гришкина», нарочито утонченное полотно, восхваляющее католицизм. Поэма была всего лишь озорным огоньком в совином глазу, а вот роман знаменитые молодые критики (Норман Гирш, Луис Дир и многие другие) уже успели провозгласить «плодотворным», превознеся его благоговейными голосами, звучавшими так высоко, что обычное человеческое ухо не многое могло расслышать в этом хоре неутомимых дискантов; однако все это казалось таким увлекательным, и после шумихи некрологических эссе в 1910 году («Китар Свин: Человек и Писатель», «Свин как Поэт и Личность», «Китар Кирман Лавехр Свин:

Материалы к Биографии») и сатира, и роман были забыты так же прочно, как и надзор исполняющего обязанности помощника с опытом Улаживанья Споров — или эдикт Демона.

Застольная беседа касалась главным образом деловых материй. Демон недавно приобрел маленький, идеально круглый тихоокеанский остров с розовым домом на зеленом утесе и песчаным пляжем, похожим на кружевной волан (если смотреть с воздуха), и теперь желал продать свое небольшое драгоценное палаццо в Восточном Манхэттене, которого Ван не хотел. Мистер Свин, жадный делец с безвкусными броскими перстнями на толстых пальцах, сказал, что мог бы купить его, при условии, что получит в придачу кое-какие украшающие дом картины. Сделка не состоялась.

Ван продолжал свои научные изыскания частным образом до своего избрания (в тридцать пять лет!) главой раттнеровской кафедры философии в университете Кингстона. Этот выбор Совета стал следствием катастрофы и отчаяния: два других кандидата, претендовавших на это кресло, солидные ученые, намного старше и в целом лучше Вана, признанные даже в Татарии, куда они часто наезжали, с горящими глазами, рука об руку, в «последнюю минуту» таинственным образом исчезли (предположительно погибли под фальшивыми именами в так и не разъясненном крушении над улыбающимся океаном), а по уставу на кресло, оставшееся вакантным в течение юридически определенного периода времени, больше нельзя было претендовать, чтобы у другого, менее завидного, но тоже довольно хорошего стула, появился шанс быть принесенным из задней комнаты. Ван не нуждался в этой должности и не особенно ценил ее, но принял свое назначение в свойственной ему манере добродушного своенравия или своенравной благодарности, или просто в память об отце, который имел некоторое отношение ко всей этой истории. Свои обязанности он исполнял не слишком серьезно, сведя к строгому минимуму (к дюжине или около того) число ежегодных лекций, передававшихся монотонным носовым гулом, производимым преимущественно «речевым самописцем», новым и труднодоступным устройством (спрятанным в жилетном кармане вместе с пилюлями от инфекций «Венус»), в то время как Ван молча шевелил губами и думал об освещенной лампой недописанной странице своей раскидистой рукописи, оставленной в кабинете. Он провел в Кингстоне двадцать скучных лет (разнообразие вносили заграничные поездки) — малопримечательная фигура, которая ни в университете, ни в городе не обросла легендами. Нелюбимый суровыми коллегами, неизвестный в местных пабах, не завоевавший привязанности ни у единого студента мужского пола, он в 1922 году вышел в отставку, после чего перебрался на постоянное жительство в Европу.

8

ПРИБЫТИЕ МОНТ-РУ БЕЛЬВЮ ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВРЕМЯ УЖИНА ОБОЖАНИЕ ПЕЧАЛЬ РАДУГИ

Ван получил эту смелую каблограмму за завтраком в женевском

«Манхэттен-Палас» в субботу, 10 октября 1905 года, и в тот же день переехал на другой конец озера в Монт-Ру. Там он остановился в своем всегдашнем отеле «Les Trois Cygnes». Маленький, хрупкий, но почти мифически древний консьерж умер во время его прошлого постоя четыре года тому назад, и вместо осторожной улыбки таинственного соучастия иссохшего и морщинистого Жульена, которая раньше сияла, как лампа сквозь пергамент, толстого старого Вана приветствовало круглое румяное лицо недавнего посыльного, теперь облаченного в сюртук.

«Люсьен, — сказал д-р Вин, глядя на него поверх очков, — у меня могут быть — о чем знал ваш предшественник — всевозможные странные посетители — фокусники, дамы в масках, душевнобольные — que sais-je? — и я рассчитываю на чудеса секретности от всех трех немых лебедей. Вот и предварительное вознаграждение».

«Merci infiniment», сказал консьерж, и, как обычно, Ван почувствовал себя бесконечно тронутым учтивой гиперболой, не вызывающей недостатка в философских размышлениях.

Он снял два просторных номера, 509 и 510: старосветская гостиная с золотисто-зеленой мебелью и очаровательная спальня, соединенная с поместительной ванной комнатой, переделанной, судя по всему, из обычного покоя (около 1875 года, когда гостиницу отремонтировали и отвеликолепили). С волнующим предвкушением он прочел то, что было написано на восьмиугольной картонной табличке, снабженной щегольским красным шнурком: Do not disturb. Не беспокоить. Prière de ne pas déranger. Повесьте это объявление на дверную ручку снаружи. Inform Telephone Exchange. Известите телефонную службу. Avisez en particulier la téléphoniste (в английской версии, в отличие от французской, фраза звучала нейтрально и не было прозрачноголосой телефонисточки).

Он заказал оргию орхидей в цветочном магазине rez-de-chaussée и один сандвич с ветчиной в номер. Он пережил всю долгую ночь (с альпийскими клушницами, критиковавшими безоблачную зарю) в кровати, размер которой составлял едва ли две трети от того огромного ложа, которое стояло в их незабвенных апартаментах двенадцать лет тому назад. Он позавтракал на балконе и сделал вид, что не заметил прилетевшую на разведку чайку. Он позволил себе роскошную сиесту после позднего ленча; принял вторую ванну, дабы утопить время, и, с остановками у каждой следующей скамьи на береговом променаде, часа два прогуливался в сторону нового «Бельвю-Паласа», находившегося всего в полумиле к юго-востоку от его резиденции.

Одинокая красная лодка наморщила голубое зеркало (во дни Казановы их были бы сотни!). Чомги остались зимовать на озере, а лысухи еще не вернулись.

Ардис, Манхэттен, Монт-Ру (Roux), наша рыжая малышка мертва. Дивный портрет отца кисти Врубеля, эти безумные алмазы, пристально глядящие на меня, написанные во мне.

Гора Рыжая (Russet), лесистый холм за городом, отвечала своему названию и осенней репутации, с этим теплым свечением курчавых

каштанов; а на другом берегу озера Леман, Леман означает Любовник, виднелся гребень Секс-Нуар, Черной Горы.

Ему было жарко и неудобно в шелковой рубашке и серой фланели — Ван выбрал этот старый костюм потому, что в нем он казался стройнее, но не стоило надевать тесную жилетку. Нервничает, как мальчишка на первом свидании! Он спрашивал себя, на что лучше надеяться — на то, что ее присутствие сразу же будет разбавлено обществом других людей или что ей удастся отделаться от всех, по крайней мере в первые минуты? Вправду ли очки и короткие черные усы придают ему моложавости, как утверждали вежливые шлюхи?

Когда он наконец добрел до белоснежного, с синими тенями, фасонистого «Бельвю» (облюбованного состоятельными эстотийцами, рейнландцами и вайнлендерцами, но все же не дотягивающего до того высшего разряда, к которому относился старый, коричневато-золоченый, громадный, просторный и очаровательный «Trois Cygnes»), Ван озадаченно отметил, что стрелки на его циферблате все еще далеки от семи часов, самого раннего времени ужина в местных отелях. Посему он вновь пересек переулок и выпил в пабе двойной кирш с сахарным кубиком. В уборной на подоконнике лежал мертвый и высохший большехоботник звездчатый, похожий на колибри. К счастью, символов не существует ни во снах, ни в жизни промеж них.

Он толкнул карусельную дверь «Бельвю», споткнулся о пестрый чемодан и нелепой рысцой вошел внутрь. Консьерж шикнул на незадачливого cameriere в зеленом переднике, оставившего багаж в дверях. Да, они ждут его в салоне. Его догнал немецкий турист, чтобы принести извинения (многословно и не без юмора) за получивший пинка предмет, бывший, как он сказал, его придатком.

«В таком случае, — заметил Ван, — вы не должны позволять курортной шушере обклеивать кричащими ярлыками ваши личные придатки».

Его ответ прозвучал неуместно, и весь эпизод слегка отдавал парамнезией, — и в следующий миг Ван был убит выстрелом в спину (такие вещи случаются, некоторые туристы до крайности неуравновешенны) и вступил в свою следующую фазу существования.

Ван остановился на пороге главного салона, но едва он начал оглядывать распределение разрозненного человеческого содержимого зала, как в отдаленной группе вдруг произошло бурное движение. Пренебрегая приличиями, Ада спешила к нему. Ее одинокое и стремительное приближение поглотило в обратном порядке все годы их разлуки, пока из сумрачно мерцающей незнакомки с высоко убранными по моде волосами она превращалась в голорукую бледную девочку в черном, которая всегда принадлежала ему. Так вышло, что в этот самый перехлест времени во всем огромном зале только они двое возвышались во весь рост и находились в движении, не заметить которое было нельзя, и все головы и глаза обратились в их сторону, когда они сошлись на середине пустого пространства, как на сцене; однако то, что должно было стать кульминацией ее порывистого приближения, восторга ее глаз и сверкающих драгоценностей, безудержным излиянием многословной любви, было отмечено несообразным молчанием; он поднял

к своим непреклонным губам и поцеловал ее лебедем изогнутую руку, после чего они так и остались стоять, глядя друг на друга, — он поигрывал мелочью в кармане брюк под полой своего «горбатого» пиджака, она теребила ожерелье, и каждый как бы отражал тот неопределенный свет, до которого катастрофически уменьшилось все это сияние взаимного приветствия. Она была более Адой, чем когда-либо, но черточка новой элегантности прибавилась к ее застенчивому, диковатому шарму. Еще сильнее почерневшие волосы были зачесаны назад и собраны в блестящий шиньон, а Люсеттина линия обнаженной шеи, грациозная и прямая, предстала душераздирающим сюрпризом. Он пытался составить лаконичную фразу (чтобы подготовить ее к той маскировке, которая позволит скрывать свидания), но она прервала его вступительное покашливание негромким вердиктом: «Сбрить усы!» — и повернулась, чтобы отвести его в тот дальний угол, из которого она столько лет добиралась до него.

Первой особой, представленной ему Адой в этом закуте фотелей и андроидов, была обещанная belle-soeur, которая встала и обошла низкий столик с медной чашеобразной пепельницей в центре общего внимания, — приземистая пухлая дама в сером платье гувернантки, с очень овальным лицом, коротко остриженными волосами, желтоватой кожей, серо-голубыми, не знающими улыбки глазами и похожим на спелое кукурузное зерно маленьким мясистым наростом сбоку от ноздри, добавленным спохватившейся природой к ее взыскательному изгибу, как нередко происходит при массовом производстве русских лиц. Следующая протянутая рука принадлежала красивому, статному, замечательно уверенному в себе и доброжелательному аристократу, которым мог быть только князь Гремин из невозможного либретто; его крепкое и честное рукопожатие вызвало в Ване непреодолимое желание омыть ладонь дезинфицирующим средством, чтобы избавиться от малейших следов контакта с публичной частью тела ее супруга. Но когда вновь засиявшая улыбкой Ада взмахнула невидимой палочкой, представляя его, человек, мрачно принятый Ваном за Андрея Вайнлендера, превратился в Юзлика, даровитого постановщика злополучной картины о Дон Жуане. «Васко да Гамма, я полагаю?» — негромко сказал Юзлик. Рядом с ним, не замечаемые им, неизвестные Аде по имени, а теперь давно уже почившие от унылых анонимных недугов, в раболепных позах стояли двое агентов г-на Леморио, блистательного комического актера (на редкость похабного и теперь тоже забытого бородатого гения, которого Юзлик жаждал заполучить для своей следующей картины). Леморио уже дважды подвел его, в Риме и Сан-Ремо, каждый раз присылая для «предварительных переговоров» двух этих жалких, некомпетентных, очевидно слабоумных людей, с которыми Юзлику больше уже нечего было обсуждать, поскольку все темы были исчерпаны: свежие сплетни, постельные пристрастия Леморио, глумление Гуля, а также увлечения трех сыновей Юзлика и приемного ребенка самих агентов, красивого юноши-евразиата, недавно убитого во время потасовки в ночном клубе — что закрывало эту тему. Нежданно-негаданно встретив Юзлика в салоне «Бельвю», Ада была рада его присутствию — не только как противовесу смущению и обману, но и потому, что надеялась проникнуть в «Что знала Дейзи»; однако, помимо того, что в смятенном состоянии духа у нее не осталось чар для деловых заклинаний, она скоро сообразила, что если Леморио все же примет предложение, он поставит условием передать ее роль одной из своих любовниц.

Наконец настала очередь Адиного мужа.

Ван так часто и основательно убивал доброго Андрея Андреевича Вайнлендера на всех темных перекрестках своего сознания, что теперь бедняга, облаченный в отвратительный траурный двубортный костюм, со своим рыхлым, смазанным, кое-как вылепленным лицом, с этими по-собачьи грустными, подбитыми мешочками глазами и пунктирными линиями пота на лбу, являл все удручающие черты ненужного воскресения. Вследствие не столь уж странной оплошности (или скорее «нарочности»), Ада пренебрегла представлением двух мужчин друг другу. Ее муж произнес свое имя, отчество и фамилию с дидактическими нотками рассказчика в русском учебном фильме. «Обнимемся, дорогой», прибавил он несколько живее, не изменив, впрочем, своего скорбного выражения лица (странным образом напоминавшего физиономию Косыгина, юконского мэра, берущего букет у девочки-пионера или осматривающего разрушительные последствия землетрясения). Его дыхание отдавало тем, что Ван с удивлением распознал как сильный транквилизатор на основе неокодеина, назначаемый при психопатическом псевдобронхите. Когда запущенное и помятое лицо Андрея приблизилось, на нем проступили различные бородавки и припухлости, ни одна из которых, однако, не приняла такой развязной позы бочком, как ноздревой довесок его младшей сестрицы. Свои тусклые волосы он стриг по-солдатски коротко, самостоятельно орудуя машинкой. Он производил впечатление корректного и опрятного эстотийского hobereau, раз в неделю принимающего ванну.

Всем скопом направились в обеденный зал. Ван прикоснулся к прошлому, вытянув руку, чтобы предупредить открывающего дверь официанта, и прошлое (все еще теребящее его ожерелье) вознаградило его косым «Долоресовым» взглядом.

Шанс позаботился о рассадке гостей.

Агенты Леморио, пожилая пара, не состоящая в браке, но прожившая как муж и муж достаточно долго, чтобы отпраздновать серебряную свадьбу на своей фабрике грез, остались неразлучны, усевшись между Юзликом, ни разу не заговорившего с ними, и Ваном, обремененным Дорой. Андрей же (осенивший нитевидным «крестным знамением» свое упрятанное за двумя рядами пуговиц брюшко, перед тем как заправить салфетку за воротник) оказался сидящим между сестрой и женой. Он потребовал «cart de van» (вызвав у настоящего Вана мягкую улыбку), но, будучи любителем крепких напитков, бросил всего один озадаченный взгляд на страницу со «Швейцарскими Белыми», после чего «переложил ответственность» за выбор на плечи Ады, которая немедленно заказала шампанского. Ему еще предстояло сообщить ей рано утром следующего дня, что ее «кузен производит удивительно симпатичное впечатление». Вербальный инструментарий дражайшего Андрея Андреевича состоял почти исключительно из удивительно трогательных банальностей русского языка, но поскольку он не любил говорить о себе, он проронил всего несколько слов, особенно после того, как звучный монолог его сестры (плескавший в Ванову скалу) загипнотизировал и увлек его, как ребенка. Дороти предварила свой затянувшийся отчет о лелеемом ею кошмаре коротким сетованием («Я, разумеется, знаю, что для ваших

пациентов видеть дурные сны это жидовская прерогатива»), но внимание ее невольного аналитика, всякий раз, как он отвлекался ради нее от своей тарелки, полностью поглощалось православным крестом почти алтарного размера, сверкавшим на ее во всех других отношениях непримечательной груди, и она решила прервать свое повествование (имевшее отношение к извержению сновидческого вулкана) замечанием: «По вашим книгам видно, что вы законченный циник. О, я полностью разделяю мнение Симоны Трасер, что капля цинизма только украшает настоящего мужчину, но все же должна предупредить вас, что я не потерплю никаких шуточек в адрес православной церкви, если вы собираетесь их отпустить».

К этой минуте Ван уже был сыт по горло своей безумной, но нисколько не занятно-безумной собутыльницей. Он поймал свой стакан, едва не опрокинутый жестом, который он сделал, привлекая внимание Ады, и, не теряя даром времени, сказал (тоном, который Ада впоследствии назвала саркастическим, неприятным и совершенно недопустимым):

«Завтра утром je veux vous accaparer, ma chère. Как ты уже, возможно, знаешь от моего или твоего адвоката, или от обоих, счета Люсетты в нескольких швейцарских банках…»

И он пустил в ход заранее приготовленную версию положения дел, выдуманную от начала и до конца.

«Посему предлагаю, — прибавил он, — если у тебя ничего не запланировано, — бросает вопросительный взгляд, обошедший Вайнлендеров, но последовательно остановившийся на каждом из трех киношников, каждый из которых кивнул с идиотским одобрением, — завтра же отправиться к мэтру Жорату или Ратону, никак не запомню его имя, enfin, к моему поверенному в Лузоне, в получасе езды отсюда, давшему мне некоторые бумаги, которые лежат у меня в отеле и которые тебе нужно вздохнуть, то есть подмахнуть со вздохом, ибо дело прескучное. Хорошо? Хорошо».

«Но Ада, — затрубила Дора, — ты забыла, что завтра утром мы собирались посетить Институт Флоральной Гармонии в Шато Пирон!»

«Поедешь туда послезавтра, или во вторник, или в следующий вторник, — сказал Ван. — Я бы с удовольствием отвез вас всех троих в эту очаровательную lieu de méditation, но мой гоночный “Ансеретти” вмещает лишь одного пассажира, а этим делом с затерявшимися вкладами, по-моему, следует заняться незамедлительно».

Юзлик сгорал о нетерпения что-нибудь сказать. Ван уступил благонамеренному автомату.

«Я счастлив и польщен тем, что обедаю с Васко да Гамой», сказал он, поднимая бокал к своему привлекательному лицевому аппарату.

Такое же искажение — указавшее Вану источник тайных знаний Юзлика — встречалось в «Курантах Чуза» (мемуары однокашника Вана, а теперь лорда Чуза, взобравшиеся на шпалеру бестселлеров, за которую все еще цеплялись, главным образом из-за нескольких неприличных, но очень

забавных упоминаний «Виллы Венус» в Рэнтом-Брукс). Пока Ван прожевывал ядрышко подходящего ответа, с полным ртом шарлотки (не шарлатанской «charlotte russe», подаваемой в большинстве ресторанов, а настоящего, похожего на крепость горячего пирога с подрумяненной корочкой и яблочной начинкой, приготовленного Такоминым, шеф-поваром отеля, перебравшимся сюда из калифорнийской Розовой Бухты), в нем боролись два противоречивых и страстных желания: первое — оскорбить Юзлика за то, что он накрыл своей ладонью руку Ады, когда за две или три перемены блюд до того попросил ее передать ему масло (Ван несравнимо сильнее ревновал ее к этому влажноокому самцу, чем к Андрею, и с дрожью гордости и гнева вспомнил, как в канун нового, 1893 года он наотмашь ударил своего родственника, фатоватого Вана Земского, который позволил себе такую же ласку, присев к ним за столик в ресторане, и которому он позже под каким-то предлогом все-таки сломал челюсть в клубе молодого князя), и второе — сказать Юзлику, как он восхищается «Последней интрижкой Дон Жуана». Не имея возможности по очевидной причине удовлетворить первое желание, он отказался и от второго, втайне отдающего трусливой учтивостью, и, проглотив янтарно-сочную кашку, ограничился следующим ответом:

«Книга Джека Чуза, безусловно, весьма занимательна, особенно тот отрывок о яблоках и диарее, а также выдержки из Венерианской “Розовой Книги” (Юзлик скосил глаза в сторону в показном усилии припомнить эти частности, после чего поклонился в преувеличенном выражении своего уважения предмету их общей памяти), — но шельмецу никогда не следовало ни разглашать мое имя, ни коверкать мой теспионим».

Во время этого удручающего ужина, оживленного лишь шарлоткой да пятью бутылками Моэта, из которых Ван выпил больше трех, он избегал смотреть на ту часть Ады, которая называется «лицом» — живую, божественную и таинственно волнующую часть, которая в этой важнейшей форме редко встречается у людей (одутловатые и бородавчатые маски не в счет). В то же время Ада не могла удержаться от того, чтобы ежеминутно не обращать на него своих темных глаз, как будто с каждым взглядом она восстанавливала равновесие; но когда вся компания переместилась обратно в салон и допила там кофе, Ван, чьи points de repère после ухода трех кинематографистов резко сократились, начал испытывать трудности с фокусировкой.

Андрей. Адочка, душка, разскажи же про ранчо, про скотъ, ему же любопытно.

Ада (какъ бы очнувшись). О чемъ ты?

Андрей. Я говорю, разскажи ему про твое житье-бытье. Авось заглянетъ къ намъ.

Ада. Оставь, что тамъ интереснаго?

Даша (повернувшись къ Ивану). Не слушайте ее. Масса интереснаго. Дѣло брата огромное, волнующѣе дѣло, требующѣе не меньше труда, чѣмъ

ученая диссертація. Наши сельскохозяйственныя машины и ихъ тѣни — это цѣлая коллекція предметовъ модерной скульптуры и живописи, которую вы, полагаю, любите такъ же сильно, какъ и я.

Иван (к Андрею). Я не смыслю в сельском хозяйстве ни аза, но все равно премного благодарен.

(Пауза.)

Иван (не зная, что еще добавить). Да, я определенно хотел бы однажды осмотреть ваши машины. Эти штуковины всегда напоминают мне длинношеих доисторических чудовищ, будто пасущихся там и тут, или просто размышляющих над горестями вымирания, — хотя, возможно, я имею в виду экскаваторы —

Дороти. Машины Андрея какие угодно, только не доисторические! (Невесело смеется.)

Андрей. Словомъ, милости просимъ. Будете жарить верхомъ съ кузиной.

(Пауза.)

Иван (к Аде). Завтра в половине десятого утра не слишком рано для тебя? Я остановился в «Trois Cygnes». Заеду за тобой на своей маленькой машине — не верхом (мертвецки улыбается Андрею).

Даша. Довольно скучно, что пребывание Ады на дивном озере Леман приходится испортить свиданьями с юристами и банкирами. Уверена, что вы можете кончить вместе с нею бóльшую часть дел, если она несколько раз посетит chez vous, а не Лузон или Женеву.

Безумная болтовня вновь обратилась к банковским счетам Люсетты. Иван Дементьевич объяснил, что она теряла одну чековую книжку за другой и никто точно не знал, в скольких банках она держала значительные суммы денег. Вскоре Андрей, который теперь выглядел как мертвенно-бледный юконский мэр после открытия Ярмарки Вербной Недели или тушения Лесного Пожара с помощью нового типа огнегасителя, всхрапнул в своем кресле, извинился за то, что рано отходит ко сну, и так потряс руку Вана, будто прощался с ним навсегда (как, впрочем, и было на самом деле). Ван остался в обществе двух дам в холодном и пустом салоне, в котором ради экономии незаметно убавили яркость фарадеевского света.

«Как вам понравился мой брат? — спросила Дороти. — Он редчайший человек. Не могу передать, как глубоко его потрясла ужасная смерть вашего батюшки и, конечно, эксцентричная кончина Люсетты. Даже он, добрейшей души человек, не мог не осуждать ее парижского sans-gêne, при том что он всегда восхищался ее элегантностью и статью — как и вы, полагаю, — нет, нет, не отрицайте! — потому что, как я всегда отмечала, ее прелесть, казалось, дополняла Адину, две половинки, образующие вместе что-то вроде идеальной красоты, в платоновском смысле (опять эта безрадостная улыбка). Ада определенно “прекрасна”,

истинная мюирниночка — даже когда она вот так морщится, — но она прекрасна только в узких границах наших человеческих понятий, в рамках нашей социальной эстетики (верно, профессор?), в том же смысле, в каком снедь, или брак, или маленькая француженка-бродяжка могут быть названы совершенными».

«Сделай ей реверанс», мрачно прокомментировал Ван, обращаясь к Аде.

«О, моя Адочка знает, что я предана ей всей душой, — тянет свою раскрытую ладонь к отдернутой руке Ады. — Я разделяла все ее беды и напасти. Скольких поджарых ковбоев нам пришлось рассчитать оттого, что они делали ей глазки! А сколько потерь мы пережили с началом нового века! Ее мать и моя мать; архиепископ Иванкуверский и доктор Швейцэйр из Люмбаго (мы с матушкой благоговейно посетили его там в 1888 году); трое выдающихся дядюшек (которых, к счастью, я почти не знала); и ваш отец, который, как я всегда утверждала, гораздо больше походил на русского аристократа, чем на ирландского барона. К слову, в предсмертном бреду — ты не будешь против, Ада, если я поведаю ему ces potins de famille? — нашу великолепную Марину одолевали две взаимоисключающие иллюзии — что вы женаты на Аде и что вы с ней родные брат и сестра, и несовместимость двух этих представлений вызывала у нее сильнейшие душевные страдания. Как ваша школа психиатрии объясняет такого рода конфликты?»

«Я больше не посещаю школу, — сказал Ван, проглатывая зевок, — и, кроме того, в своих работах я стараюсь ничего не “объяснять”, а только описывать».

«Однако не станете же вы отрицать, что некоторые интуиции —»

Так продолжалось больше часу, и стиснутые челюсти Вана уже начало сводить. Наконец, Ада встала, и Дарья последовала ее примеру, не умолкая и в этом положении.

«Завтра к обеду приедет дорогая тетушка Белодряньская-Белоконская, милейшая старая дева, которая живет в вилле над Валве. Terriblement grande dame et tout ça. Elle aime taquiner Андрюша en disant qu’un simple cultivateur comme lui n’aurait pas dû épouser la fille d’une actrice et d’un marchand de tableaux. Не хотите ли присоединиться к нам, Жан?»

Жан ответил: «Увы, нет, дорогая Дарья Андревна: Je dois “surveiller les kilos”. К тому же у меня завтра деловой обед».

«По крайней мере (улыбается) вы могли бы называть меня Дашей».

«Я делаю это ради Андрея, — объяснила Ада. — На самом деле гранд-дама, о которой идет речь, — старая вульгарная дрянь».

«Ада!» — воскликнула Даша с кротким укором во взоре.

Перед тем как обе женщины направились к лифту, Ада посмотрела на Вана, и он, знающий толк в любовной стратегии, воздержался от того, чтобы сказать о «забытой» ею на стуле черной шелковой сумочке. Он не

стал провожать их дальше коридора, ведущего к лифту, и, сжимая опознавательный знак, остался ждать ее предуготовленного возвращения за колонной эклектичного вестибюля, зная, что через минуту, когда кнопка лифта под быстрым большим пальцем загорится красным светом, она скажет своей кошмарной компаньонке (теперь наверняка пересмотревшей свои представления о «beau ténébreux»): «Ах, сумочку забыла!» — и мгновенно выпорхнет обратно, как Нинон у Вер, чтобы оказаться в его объятиях.

Их открытые губы соединились в нежной ярости, после чего он набросился на ее новую, молодую, божественную, японскую шею, припасть к которой он жаждал, как настоящий Юпитер Олоринус, в течение всего вечера.

«Мы помчим прямо ко мне, как только ты проснешься, не трать время на ванну, набрось свой хинон —», и, наполнившись до краев жгучим соком, он вновь принялся жадно целовать ее (Дороти, должно быть, уже поднялась до небес!), пока она не станцевала тремя пальчиками на его губах — и не поспешила прочь.

«Вытри шею!» — крикнул он ей вдогонку быстрым шепотом (кто еще и где в этой повести тоже пытался кричать шепотом?).

Той ночью Вану из-за выпитого Моэта привиделось, будто он сидит на белом, как пудра, тропическом пляже, заполненном благоденствующими людьми, то потирая красную воспаленную снасть корчащегося от боли мальчика, то поглядывая сквозь солнечные очки на симметричное затенение по обе стороны блестящей дуги позвоночника, с более слабым затенением между ребер девушки, Люсетты или Ады, сидевшей на полотенце поодаль от него. Вот она повернулась и легла ничком, и на ней тоже были солнечные очки, и ни он, ни она не могли бы сказать, куда были направлены их взгляды, скрытые темным янтарем, но по ямочкам на ее лице, намечавшим улыбку, он понял, что она глядит на его собственный (причем то и была все время его снасть) саднящий багрянец. Кто-то, кативший поблизости столик на колесиках, сказал: «Это одна из сестер Вэин», и он проснулся, с профессиональным удовольствием бормоча эту онирическую игру слов, сочетающую его имя с фамилией, и извлек восковые ушные затычки, и в изумительном акте восстановления и стыковки столик для завтрака громыхнул в коридоре, пересекая порог смежной комнаты, и, уже жующая, в медовых крошках, Ада вошла в его спальню. Было только без четверти восемь!

«Умница! — сказал Ван, — но сперва мне нужно заглянуть в petit endroit (клозет)».

Это свидание и девять последующих образовали высочайший горный гребень их двадцатиоднолетней любви: ее сложное, опасное, невыразимо лучезарное совершеннолетие. Итальянистые по стилю апартаменты, их вычурные настенные светильники с узорами по светло-карамелевому стеклу, их белые кнопки-шишечки, вызывавшие сколько угодно света или

горничных, задекорированные, укрытые тяжелыми шторами решетчатые окна, делавшие зарю столь же трудно раздеваемой, как и кринолиновую ханжу, выпуклые раздвижные двери огромного, белого, похожего на «Нюрнбергскую Деву» платяного шкапа в коридоре их покоев, и даже тонированная гравюра Рандона с довольно воинственным трехмачтовым кораблем на зигзагообразных зеленых волнах Марсельской гавани — словом, альбергианская атмосфера этих новых встреч придавала им романтическую окраску (это место Алексей и Анна могли бы отметить астериском!), которую Ада с радостью принимала как основу, как форму, как что-то поддерживающее и оберегающее жизнь — жизнь, в остальном лишенную провидения на Дездемонии, где художники — единственные боги. Когда после трех или четырех часов неистовой любви Ван и госпожа Вайнлендер покидали свое роскошное убежище ради голубоватой дымки необыкновенного октября, остававшегося сказочно сонным и теплым на протяжении всего адюльтера, им казалось, что они все так же находятся под защитой тех раскрашенных Приапов, которых римляне некогда водружали в беседках Руфомонтикулуса.

«Я провожу тебя — мы только что вернулись после совещания с лузонскими банкирами, и я провожаю тебя от своего отеля до твоего», — такова была phrase consacrée, которую Ван неизменно изрекал, уведомляя судьбу о положении вещей. Одна маленькая предосторожность, принятая с самого начала, состояла в том, чтобы строго избегать подозрительных появлений на обращенном к озеру балконе, который был виден каждой желтой или лиловой цветочной головке на куртинах набережной.

Они покинули отель через заднюю дверь.

Самшитовая аллея, обсаженная ностальгически выглядевшей секвойей вечнозеленой (которую американские туристы принимали за «ливанский кедр», если вообще замечали), вела к rue du Mûrier, нелепо перевранное название, где царственная павловния («Шелковичное дерево!» — фыркала Ада) торжественно возвышалась на своей неуместной террасе над публичным сортиром и щедро роняла темно-зеленые листья в форме сердец, сохраняя все же довольно растительного убранства, чтобы испещрять арабесками теней южную сторону своего ствола. Угол мощеной улочки, ведущей вниз к набережной, был отмечен гинкго, гораздо более яркого зеленовато-золотого цвета, чем его соседка, тускло желтеющая местная береза. Они прогуливались в южном направлении по знаменитому Fillietaz Promenade, идущему вдоль швейцарского берега озера от Валве до Château de Byron. Светский сезон закончился, и английские семьи, как и русских дворян из Ниписсинга и Нипигона, сменили зимующие здесь птицы и стайки щеголяющих бриджами центральноевропейцев.

«Место между носом и верхней губой выглядит у меня неприлично голым. (Стеная от боли, он сбрил усы в ее присутствии.) И я не могу все время втягивать живот».

«О, ты мне еще больше нравишься с этим симпатичным брюшком — тебя только прибавилось. Похоже, возобладал материнский ген, потому что Демон с годами становился все стройнее и стройнее. Когда я увидела его на похоронах матери, он выглядел совершенным Дон Кихотом. Все

вышло так странно. Он был в синем трауре. Сын д’Онски, однорукий, обнял его единственной рукой, и оба зарыдали comme des fontaines. Затем человек в мантии, похожий на статиста в техниколоровом воплощении Вишну, прочитал невразумительную проповедь. А потом она рассеялась как дым. Он сказал мне, всхлипывая: “А я не стану дурачить бедных личинок!” Прошло всего два-три часа после того, как он нарушил свое обещание, и к нам на ранчо заявились незваные гости — необыкновенно грациозная малютка лет восьми, в черной вуали, и что-то вроде дуэньи, тоже в черном, с двумя телохранителями. Ведьма потребовала какие-то фантастические суммы, которые Демон, по ее словам, не успел заплатить за “порчу девственной плевы”, — после чего я велела одному из наших самых крепких парней вышвырнуть всю компанию».

«Феноменально, — сказал Ван, — они становились все юнее и юнее — я говорю о девочках, а не о сильных молчаливых парнях. У его старой Розалинды была десятилетняя племянница, очень цепкая цыпочка. Еще немного, и он стал бы таскать их прямо из инкубаторной клетки».

«Ты никогда не любил своего отца», с грустью сказала Ада.

«О нет, я любил и люблю — нежно, благоговейно, понимающе, потому что, в конце концов, я и сам не чужд этой отроческой поэзии плоти. Однако если говорить о том, что касается нас, я имею в виду тебя и меня, то он был похоронен в тот же день, что и наш дядя Данила».

«Я знаю, я знаю. Так грустно! И какой в этом смысл? Возможно, мне не следует тебе говорить, но его визиты в Агавию с каждым годом становились все реже и короче. Да, грустно было слушать их беседы с Андреем. Я имею в виду, что Андрей n’a pas le verbe facile, хотя он очень ценил — улавливая далеко не все — безудержный поток Демоновой фантазии и фантастических фактов и часто восклицал со своим русским тц-тц-тц, качая при этом головой — лестно и одобрительно, разумеется, — “Ну и балагур же вы!”. А потом Демон как-то предупредил меня, что больше не приедет, если еще раз услышит жалкую шутку жалкого Андрея (“Ну и балагуръ-же вы, Дементій Лабиринтовичъ!”) или что там Дарья, l’impayable (“бесценная по дерзости и вздорности”) Дарья, подумала о моей остановке в горах в обществе Майо, скотника-ранчора, сопровождавшего меня для защиты от львов».

«Нельзя ли узнать подробности?» — спросил Ван.

«Ну, их никто не узнал. Все это произошло в то время, когда я была не в ладах с мужем и с золовкой, и поэтому не могла влиять на сложившуюся ситуацию. Как бы там ни было, Демон не заехал к нам, находясь всего в двухстах милях от нашего ранчо, и просто переслал из какого-то игорного дома твое замечательное, замечательное письмо о Люсетте и моем фильме».

«Хотелось бы также узнать некоторые подробности законного брака — частота половых сношений, ласковые прозвища для интимных бородавок, любимые запахи —»

«Платок моментально! Твоя правая ноздря полна влажного нефрита», сказала Ада, а затем указала на обведенный красным круглый знак, торчащий посреди лужайки, на котором под надписью «Chiens interdits» была изображена невозможная черная дворовая собака с белой лентой на шее. Почему, поинтересовалась она, швейцарские бургомистры должны запрещать скрещивать горных терьеров с пуделями?

Последние бабочки 1905 года, ленивые павлиноглазки и ванессы аталанты, одна перламутровка блестящая и одна желтушка шафрановая, подчистую обирали скромные цветы. Слева от Вана и Ады прошел трамвай, совсем близко от того места набережного променада, где они присели отдохнуть и с оглядкой поцеловались, когда стих стон колес. Освещенные солнцем рельсы приобрели красивый кобальтовый блеск — отражение полудня в зеркале яркого металла.

«Давай возьмем сыру с белым вином в той цветочной беседке, — предложил Ван. — Сегодня Вайнлендеры пообедают à deux».

Какое-то музыкальное приспособление исходило джунглевой дрожью, раскрытые сумки тирольской четы стояли в неприятной близости — и Ван приплатил официанту, чтобы тот перенес их столик на дощатый настил заброшенной пристани. Аду восхитила популяция водоплавающих птиц: хохлатая чернеть — черные утки с контрастно-белыми боками, делающими их похожими на покупателей (это и другие сравнения принадлежат Аде), уносящих под каждой рукой продолговатые плоские коробки (новый галстук? перчатки?), в то время как черный хохолок напоминал голову четырнадцатилетнего Вана, только что окунувшегося в ручье; лысухи (которые все-таки вернулись), плавающие со странным качающимся движением шеи, как ходят лошади; маленькие поганки и большие, украшенные гребнями и прямо держащие головки, в их манере поведения было что-то геральдическое. Последние совершали, по ее словам, чудесные брачные ритуалы, очень близко подплывая друг к дружке — так (поднимает согнутые в виде скобок указательные пальцы), вроде двух книжных подставок, между которыми нет книг, и поочередно качая головами, отливающими медным оперением.

«Я спрашивал тебя о ритуалах Андрея».

«Ах, Андрей так счастлив видеть всех этих европейских птиц! Он заядлый охотник и прекрасно разбирается в нашей западной дичи. У нас на Западе водится очень милая маленькая поганка с черной лентой вокруг толстого белого клюва. Андрей называет ее пестроклювой чомгой. А вон та большая чомга, говорит он, это хохлушка. Если ты еще раз так нахмуришься, когда я скажу что-нибудь невинное и в целом довольно забавное, я поцелую тебя в кончик носа на глазах у всех».

Искусственно, хотя и совсем чуть-чуть, не в лучшей ее виновской манере. Но она мгновенно нашлась:

«Ах, смотри, морские чайки играют в “трусливую курицу”!»

Несколько rieuses, часть из которых все еще носили свои тесные летние шляпки, расположились хвостами к дорожке, как на насесте, на идущем вдоль берега ярко-красном поручне, и смотрели, кто из них с

приближением следующего прохожего не испугается и останется на месте. Когда Ван и Ада подошли, большинство сорвались и перелетели на озерную гладь; одна взмахнула хвостовыми перьями и сделала движение, подобное книксену, но решила выдержать еще мгновение и осталась сидеть на поручне.

«Кажется, мы наблюдали этот вид в Аризоне только однажды, вблизи Соленого Затона — что-то вроде искусственного озера. У наших обычных чаек совсем другие кончики крыльев».

Плывшая в отдалении хохлатая чомга медленно, очень медленно начала тонуть, затем резко совершила нырок прыгающей рыбы и, показав свой глянцевито-белый испод, исчезла под водой.

«Ну почему, ради всего святого, — спросил Ван, — ты не дала ей понять тем или иным образом, что не сердишься на нее? Твое фальшивое письмо ранило ее в самое сердце!»

«Пах! — выдохнула Ада. — Она поставила меня в крайне неловкое положение. Меня нисколько не удивляет ее ненависть к Дарье (которая желала нам только добра, бедная дура, — достаточно глупая для того, чтобы предостеречь меня от возможных “заражений”, к примеру, “лабиальным лезбионитом”. Лабиальный лезбионит!), но это не давало Люсетте основания разыскивать Андрея в городе и сообщать ему, что она состоит в дружеских отношениях с человеком, которого я любила до замужества. Он не посмел досаждать мне своим возродившимся любопытством, но пожаловался Дарье на неоправданную жестокость Люсетты».

«Ада, Ада, — простонал Ван, — я хочу, чтобы ты отделалась от своего мужа и от его сестрицы, сейчас же!»

«Дай мне две недели, — сказала она, — мне нужно вернуться на ранчо. Мне невыносима мысль, что она станет рыться в моих вещах».

Поначалу все шло словно по указке какого-то доброжелательного гения.

К великой потехе Вана (безвкусную демонстрацию которой его возлюбленная не одобряла, но и не осуждала), Андрей большую часть недели пролежал с простудой. Дороти, прирожденная сиделка, намного превосходила Аду (которая сама никогда не болела и не выносила вида захворавшего человека) во всем, что касалось ухода за больным, готова была, к примеру, читать потеющему и хрипящему пациенту старые выпуски газеты «Голосъ Феникса»; но в пятницу гостиничный врач отправил его в ближайший Американский госпиталь, где даже сестре не разрешалось его навещать из-за «необходимости каждодневных рутинных анализов» — или скорее потому, что бедняга желал принять удар судьбы в мужественном одиночестве.

Все последующие дни Дороти использовала свой досуг, чтобы шпионить за Адой. Стерва была уверена в трех вещах: что у Ады есть любовник в Швейцарии, что Ван — ее родной брат и что именно он устраивает своей неотразимой сестре тайные свидания с человеком, которого она любила до замужества. То восхитительное обстоятельство, что все три пункта

по отдельности были истинны, но вместе представляли собой окрошку несусветного вздора, служило для Вана еще одним нескончаемым источником потехи.

Каждое крыло «Трех лебедей» обратилось в бастион. Любому, кто справлялся, по телефону или во плоти, консьерж и его соратники стойко твердили одно и то же: что Ван отсутствует, что «Madame André Vinelander» им неизвестна и что единственное, что они могут сделать, это принять сообщение. Автомобиль Вана, припаркованный в уединенном боскете, не мог выдать его присутствия. До полудня он неуклонно пользовался служебным лифтом, из которого имелся прямой проход на задний двор. Довольно сообразительный Люсьен скоро научился узнавать контральто Дороти: «La voix cuivrée a téléphoné», «La Trompette n'était pas contente ce matin» и т. д. А потом дружественная фортуна взяла выходной.

Первое обильное кровохарканье случилось у Андрея в один из августовских дней во время деловой поездки в Феникс. Упрямый, замкнутый и не блещущий умом оптимист, он приписал это носовому кровотечению, которое пошло не туда, и скрыл неприятность от всех, дабы избежать «дурацких разговоров». За многие годы он уже свыкся со своим влажным кашлем курильщика (две пачки в день), но когда неделю спустя после первого «постназального кровотечения» он выплюнул в раковину алый сгусток, Андрей Андреевич решил отказаться от сигарет и ограничиться курением цигарок. Следующая неприятность произошла на глазах у Ады, накануне их отъезда в Европу. Ему удалось спрятать окровавленный платок до того, как жена его заметила, но она запомнила, что он озабоченно сказал: «Вот те на». Полагая, как большинство эстотийцев, что лучшие доктора обретаются в Центральной Европе, он сказал себе, что если еще раз заметит кровь после кашля, то посетит в Цюрихе специалиста, имя которого он узнал от члена своей «ложи» (место встреч дельцов-побратимов). Американский госпиталь в Валве, расположенный рядом с русской часовней, построенной его двоюродным дедом Владимиром Шевалье, оказался достаточно хорош, чтобы диагностировать у него запущенный туберкулез левого легкого.

В среду, 22 октября, сразу после полудня, Дороти, «отчаянно» пытаясь «разыскать» Аду (которая после своего урочного посещения «Трех Лебедей» провела два приятных часа в салоне «Красоты и Причесок» Пафии), оставила для Вана сообщение, которое он получил только поздно вечером, вернувшись из поездки в Сорсьер, Вале, около ста миль к востоку, где он купил виллу для себя et ma cousine и отужинал в обществе ее прежней владелицы, вдовы банкира, любезной мадам Скарлет и ее светловолосой, прыщеватой, но хорошенькой дочки Эвелин, которых быстрота совершившейся сделки привела, казалось, в эротическое возбуждение.

Он все еще был спокоен и уверен в себе; внимательно прочитав истерический отчет Дарьи, он все еще оставался при убеждении, что им ничего не угрожает, что в лучшем случае Андрей умрет в ближайшее время, избавив Аду от хлопот с разводом, а в худшем — отправится в горный санаторий романа, чтобы задержаться там на нескольких последних страницах эпилогической уборки, вдали от реальности их

соединившихся жизней. В пятницу утром, в девять часов, как и было условлено накануне, он подъехал к «Бельвю» с приятным намереньем отвезти ее в Сорсьер, чтобы показать дом.

Прошедшая ночью гроза не нашла лучшего времени, чтобы сломать хребет чудесному лету. Еще более несвоевременным оказался внезапный прилив Адиных регулов, прервавший их вчерашние ласки. Лил дождь, когда он захлопнул дверцу автомобиля, подтянул вельветовые брюки и, переступая через лужи, прошел между каретой неотложной помощи и большим черным «Яком», ожидавшими друг за другом перед отелем. Все дверцы «Яка» были раскрыты настежь, двое посыльных под присмотром шофера как раз начали заполнять его багажом, и различные части старого наемного лимузина откликались приглушенными стонами на ворчанье грузчиков.

Он вдруг ощутил рептильный холод дождя на своей лысеющей голове и хотел уже было войти в стеклянную вертушку, как она выпустила Аду, напомнив те резные деревянные барометры, дверки которых пружинисто выставляли то мужскую куклу, то женскую. Ее наряд — макинтош поверх платья с высоким воротом, фишю на собранных кверху волосах, перекинутая через плечо сумка из крокодиловой кожи — придавал ей слегка старомодный и даже провинциальный вид. На ней, как говорится, лица не было.

Она повела его кругом отеля к уродливой ротонде, подальше от назойливой мороси, и там попыталась его обнять, но он уклонился от ее губ. Она уезжала через несколько минут. Героического, несчастного Андрея доставили обратно в гостиницу в карете скорой помощи. Дороти удалось добыть три билета на аэроплан, следующий из Женевы в Феникс. Два автомобиля отвезут его, ее и героическую сестру прямо в несчастный аэропорт.

Она попросила носовой платок, и он вытащил из кармана куртки тот, который там оказался, синий, но слезы уже катились по ее щекам, и она прикрыла глаза, а он стоял перед ней с протянутой рукой.

«Твоя новая роль?» — холодно поинтересовался он.

Она покачала головой, взяла платок с детским «merci», высморкалась, глубоко вздохнула, переглотнула и заговорила, и в следующий миг все, все было потеряно.

Она не может сказать мужу, пока он болен. Вану придется подождать, пока Андрей не поправится настолько, чтобы вынести это известие, на что может потребоваться некоторое время. Конечно, ей придется сделать все, чтобы он полностью излечился, в Аризоне есть один человек, он творит чудеса —

«Подлечить парня перед тем, как повесить, — так, что ли?» — сказал Ван.

«И подумать только, — воскликнула Ада с каким-то прямоугольным взмахом своих негнущихся рук, словно роняя крышку или поднос, — подумать только, что он с таким сознанием долга скрывал все это! Ох,

не может быть и речи, чтобы я просто взяла и бросила его!»

«Да, старая история — флейтист, которого нужно вылечить от импотенции, храбрец-лейтенант, которому, возможно, не суждено вернуться с далекой войны!»

«Ne ricane pas! — воскликнула Ада. — Бедный, бедный мальчик! Как ты можешь насмехаться?»

Еще с юношеских лет Ван имел склонность утолять страсть своей ярости и досады с помощью напыщенных и темных возгласов, пронзавших такой нестерпимой дрожью, которую может вызвать разве что сорванный ноготь, зацепившийся за атлас, подкладку ада.

«Замок Истинный, Замок Светлый! — восклицал он теперь. — Елена Троянская, Ада Ардисская! Ты предала Дерево и Мотылька!»

«Perestagne (перестань, stop, cesse)!»

«Ардис Первый, Ардис Второй, Загорелый Человек в Шляпе, а теперь Рыжая Гора —»

«Перестань!», повторила Ада (как дура, имеющая дело с эпилептиком).

«Oh! Qui me rendra mon Hélène —»

«Ах, перестань!»

«— et le phalène».

«Je t'emplie ("prie" и "supplie"), довольно, Ван. Tu sais que j'en vais mourir».

«Но, но, но (хлопая каждый раз себя по лбу) — быть всего в шаге от, от, от — и в последний момент сотворить из этого идиота Китса!»

«Боже мой, я должна идти. Скажи мне что-нибудь, мой милый, любовь моя, скажи что-нибудь, что может помочь!»

Узкая пропасть молчания, нарушаемая лишь стуком дождя по карнизам.

«Останься со мной, девочка», сказал Ван, отбросив все на свете — гордость, гнев, общепринятые представления о сострадании.

На миг ему показалось, что она заколебалась или, по крайней мере, подумала о такой возможности, но тут с подъездной аллеи донесся зычный голос, и вот уже Дороти, в сером плаще и мужской шляпе, энергично поманила ее раскрытым зонтиком.

«Я не могу, я не могу, я напишу тебе», пробормотала моя бедная любовь, обливаясь слезами.

Ван поцеловал ее холодную, как осенний лист, руку и, оставив свой автомобиль заботам «Бельвю», свои вещи — заботам всех «Лебедей», а

кожные высыпания Эвелин — заботам мадам Скарлет, прошел по раскисшим дорогам верст десять до Рена и оттуда улетел в Ниццу, Бискру, на Мыс Доброй Надежды, Найроби, на горные кулички Бассета —

И над вершинами Бассета —

Стала ли она писать к нему? О да, конечно! О, все вообще вышло в лучшем виде! Фантазия преследовала реальность в нескончаемом состязании и девичьем смехе. Андрей прожил всего несколько месяцев, по пальцам посчитать — один, два, три, четыре, — скажем, пять. К весне тысяча девятьсот шестого или седьмого года Андрей был в порядке, с удобным пневмотораксом легкого и соломенной бородкой (нет ничего лучше лицевой растительности, чтобы занять больного). Жизнь разветвлялась и пускала новые ростки. Да, она сказала ему. Он оскорбил Вана на выкрашенном в лиловый цвет крыльце отеля «Дуглас», на котором Ван ожидал свою Аду в последней версии «Les Enfants Maudits». Мосье де Тобак (награжденный рогами ранее) и лорд Эрминин (вторично секундант) стали свидетелями дуэли в обществе нескольких высоких агав и приземистых кактусов. Г-н Вайнлендер явился в визитке (он бы так и сделал), Ван выбрал белый костюм. Ни один из противников не хотел испытывать судьбу, и оба выстрелили одновременно. Оба упали. Пуля г-на Визиткина попала в подошву левого ботинка Вана (белого, на черном каблуке), сбив его с ног и вызвав в ступне легкий fourmillement (взбудораженные муравьи) — только и всего. Ван же попал противнику в подбрюшье — серьезное ранение, от которого тот оправился в должное время, если вообще оправился (здесь развилка тонет в тумане). На самом деле все вышло намного скучнее.

Так что же, писала ли она к нему, как обещала? О, да, да! За семнадцать лет он получил от нее около ста коротких посланий, каждое из которых содержало около ста слов, что дает около тридцати печатных страниц малолюбопытных сведений — по большей части о состоянии здоровья ее мужа и местной фауне. Дарья Вайнлендер, проведя вместе с Адой у постели Андрея на ранчо Агавия несколько желчно-язвительных лет (она упрекала ее за каждый несчастный крохотный час, отданный ловле, изучению и разведению насекомых!), и затем, рассердившись на Аду за то, что она выбрала (для бесконечных периодов лечения мужа) знаменитую и превосходную клинику Гротоновича вместо великосветского санатория княгини Аляшиной, удалилась в приполярный монастырский городок Илемна (ныне Новостабии), где в конце концов стала женой г-на Брода или Бреда, чуткого и чувственного, темноволосого и красивого, который ездил с дарохранительницами и другими священными предметами по всем Сѣвернымъ Территоріямъ и который впоследствии руководил, а возможно, руководит и по сей день, полвека спустя, археологическими реконструкциями в Горелом («Лясканский Геркуланум»); какие сокровища ему удалось откопать в браке — другой вопрос.

Неуклонно, но очень медленно состояние Андрея продолжало ухудшаться. В последние два-три года прозябания на различных членораздельных

койках, каждую плоскость которых можно было менять самыми разными способами, он утратил речь, хотя все еще мог кивать или качать головой, задумчиво хмуриться или слабо улыбаться, чуя запах пищи (что действительно является источником наших первых радостей). Он умер весенней ночью, один, в больничной палате, а летом того же года (1922-го) его вдова передала свои коллекции в дар музею Национального Парка и улетела в Швейцарию для «предварительных научных консультаций» с пятидесятидвухлетним Ваном Вином.

Часть четвертая

Здесь какой-то придирчивый пустозвон спросил (с высокомерным видом человека, желающего взглянуть на водительское удостоверение джентльмена), каким образом «проф» согласует свой отказ предоставить будущему статус Времени с тем обстоятельством, что это самое будущее едва ли можно рассматривать как несуществующее, поскольку «оно обладает по крайней мере одной фикцией, то есть функцией, включающей такую важную идею, как идея абсолютной необходимости?».

Гоните его вон. Кто сказал, что я умру?

Опровергая утверждение детерминиста более изящно: бессознательность, вовсе не поджидающая нас, с секундомером и силком, где-то там впереди, охватывает и Прошлое и Настоящее со всех мыслимых сторон, являясь признаком не самого Времени как такового, а органического разложения, естественного для всех сущностей, сознающих Время или нет. Мое знание того, что другие смертны, не имеет отношения к делу. Мне также известно, что вы и, возможно, я сам появились на свет, но это вовсе не доказывает, что мы прошли через хрональную стадию, именуемую «Прошлое»: это мое Настоящее, мой короткий отрезок сознательности уверяет меня, что я это сделал, а не беззвучный гром бесконечной бессознательности, относящийся к моему рождению пятьдесят два года и сто девяносто пять дней тому назад. Мое первое воспоминание восходит к середине июля 1870 года, т. е. к седьмому месяцу моей жизни (у большинства людей способность сознания к запоминанию пробуждается, конечно, несколько позже, в три или четыре года), к тому дню, когда однажды утром на нашей ривьерской вилле во время землетрясения кусок зеленого гипсового орнамента оторвался от потолка и рухнул в мою колыбель. 195 дней, прошедшие до этого события, неотличимы от бесконечного бессознательного и не должны включаться в перцептивное время, так что, насколько это касается моего рассудка и гордости, которую я из него извлекаю, мне сегодня (середина июля 1922 года) ровно пятьдесят два года, et trêve de mon style plafond peint.

В том же смысле личного, осознаваемого времени я могу пустить мое Прошлое задним ходом, наслаждаться этим моментом воспоминаний так же, как рогом изобилия, чей лепной ананас едва не задел мою голову,

и постулировать, что в следующий миг космический или телесный катаклизм способен — нет, не убить меня, но погрузить в состояние вечного оцепенения, такого рода, который абсолютно, сенсационно неизвестен науке, — тем самым лишая естественный распад какого бы то ни было логического или хронологического значения. Сверх того, эта мысль касается и гораздо менее любопытного (хотя важного, весьма важного) Всеобщего Времени («мы потратили уйму времени на рубку голов»), известного также как Объективное Время (в действительности крайне грубо сотканного из множества личных времен), представляющего собой, одним словом, историю человечества и чувства, гуманизма и юмора и всего такого прочего. Ничто не препятствует людской расе как таковой вовсе не иметь грядущего, если, к примеру, наш род, незаметно меняясь (это аппарель моего аргумента), эволюционирует в novo-sapiens'а или в совершенно другой вид, который будет наслаждаться иными формами существования и воображения, за пределами человеческого представления о Времени. В этом смысле человек никогда не умрет, поскольку его эволюционный процесс может не иметь таксономической точки, соответствующей последней стадии человека в цепи небольших изменений, которые превращают его в Neohomo или в некую омерзительную пульсирующую слизь. Полагаю, наш друг больше не станет нам досаждать.

Я пишу «Текстуру Времени» — трудное, восхитительное и благословенное сочинение, которое я намерен положить на освещенный рассветными лучами стол все еще отсутствующего читателя, — чтобы очистить мое собственное представление о Времени. Я хочу исследовать сущность Времени, а не его течение, ибо я не верю, что его сущность может быть сведена к его течению. Я хочу ласкать Время.

Можно быть любителем Пространства и его возможностей: возьмем, к примеру, скорость, скольжение и сабельный свист скорости; орлиный триумф управляемой скорости; счастливый крик виража; а можно быть любителем Времени, эпикурейцем длительности. Я наслаждаюсь Временем чувственно, его материей и протяженностью, ниспаданием его складок, само́й неосязаемостью его сероватой кисеи, прохладой его континуума. Я хочу с этим что-нибудь сделать; предаться иллюзии обладания. Я знаю, что всякий, кто пытался добраться до зачарованного замка, заплутал во мраке или сгинул в трясине Пространства. Я также знаю, что Время — это жидкая среда для разведения метафор.

Отчего так трудно, так унизительно трудно, навести умственный фокус на понятие Времени и удержать его для критического рассмотрения? Что за натуга, что за неуклюжая возня, какое раздражающее утомление! Все равно что рыться одной рукой в перчаточном отделении в поисках дорожной карты — выуживая Черногорию, Доломиты, бумажные деньги, телеграмму — все что угодно, кроме части хаотичной местности между Ардезом и Чтотосопрано, во тьме, под дождем, стараясь воспользоваться красным светом в угольной черноте, с щетками, работающими как метроном, как хронометр: слепой перст пространства вонзается и рвет текстуру времени. Так и Аврелий Августин, он тоже, в своих схватках с этим предметом пятнадцать столетий тому назад испытал эту странную физическую муку мелеющего ума, щекотики аппроксимации, увертки умственного истощения — но он хотя бы мог дозаправить свой мозг данной ему Господом энергией (поместить здесь

сноску о том, что это истинное наслаждение следить за тем, как он спешит продолжить свои размышления и перемежает их, между песками и звездами, страстными пароксизмами молитв).

Вновь заблудился. На чем я остановился? Где я нахожусь? Проселочная дорога. Глушу двигатель. Время — это ритм: ритмичный стрекот насекомых теплой сырой ночи, пульсация мозга, дыхание, стук молоточка в виске — вот наши верные хранители времени, а рассудок корректирует лихорадочный ритм. Один мой пациент мог различать вспышки, следовавшие с промежутком всего в три миллисекунды (0,003!). Завел снова.

Что подтолкнуло, что поддержало меня несколько минут назад на остановке мысли? Да. Быть может, единственное, что подводит нас к ощущению Времени, — это ритм; не повторение ударов ритма, а промежуток между двумя такими ударами, серый промежуток между черных нот: Нежный Интервал. Регулярность пульсации сама по себе только возвращает нас к жалкой идее измерения, но в промежутках скрывается нечто, относящееся к истинному Времени. Как я могу извлечь его из мягкой впадины? Ритм не должен быть ни слишком медленным, ни слишком быстрым. Один удар в минуту находится за пределами моего ощущения последовательности, а пять колебаний в секунду сливаются в безнадежный гул. Неспешный ритм растворяет Время, учащенный — не оставляет ему места. Дайте мне, скажем, три секунды, и я смогу сделать и то и другое: воспринимать ритм и зондировать интервалы. Впадина, я сказал? Матовая ямка? Но это всего лишь Пространство, комедийный пройдоха с маятником, которыми он торгует вразнос, возвращается через заднюю дверь, пока я нащупываю суть Времени. Что я стараюсь ухватить — это то Время, которое Пространство помогает мне измерить, и неудивительно, что я тщетно пытаюсь понять его, поскольку само получение знания «требует времени».

Если мой глаз сообщает мне что-то о Пространстве, то ухо доносит что-то о Времени. Однако если Пространство можно созерцать, бесхитростно, быть может, но все же непосредственно, то Время я способен слышать лишь между ударами, в короткие, впалые мгновения, напряженно и настороженно, с растущим подозрением, что я слушаю не само Время, а ток моей собственной крови в голове, отливающей по шейным артериям обратно, к средоточию личных страданий, которые не имеют ко Времени никакого отношения.

Направление Времени, ардис Времени, односторонний путь Времени — это то, что на мгновение кажется мне сто́ящим, но сразу обесценивается до уровня иллюзии, смутно связанной с тайнами роста и гравитации. Необратимость Времени (которое, прежде всего, никуда не идет) — понятие вполне местечковое: не будь наши органы и органоны асимметричными, наше представление о Времени могло бы быть амфитеатровым и совершенно грандиозным, как рваная ночь и зубчатые горы вокруг крошечной, мерцающей, довольной деревни. Нам говорят, что если некое существо теряет зубы и становится птицей, то лучшее, что оно может сделать, когда ему вновь понадобятся зубы, это развить зазубренный клюв, а не настоящий зубной ряд, которым оно когда-то обладало. Сцена — эоцен, актеры — ископаемые. Это забавный пример того, как природа жульничает, но к сущностному Времени,

прямолинейному или закольцованному, это имеет столь же ничтожное отношение, как факт моего письма слева направо — к направлению моих мыслей.

К слову, об эволюции. Способны ли мы представить себе происхождение, этапы развития и побочные мутации Времени? Существовала ли когда-нибудь «примитивная» форма Времени, в которой, скажем, Прошлое еще не вполне отделилось от Настоящего, так что былые тени и формы просвечивали сквозь еще мягкое, долгое, личиночное «нынче»? Или эта эволюция имела дело лишь с хронометрией, от песочных часов до атомных, а затем до портативного пульсара? И сколько времени потребовалось Старому Времени, чтобы стать ньютоновским? Поразмышляйте над Яйцом, как сказал галльский петух своим курицам.

Чистое Время, Воспринимаемое Время, Осязаемое время, Время, свободное от содержания, обстоятельств и сопутствующих комментариев — вот мое время и моя тема. Все прочее — числовой символ или какой-нибудь аспект Пространства. Текстура Пространства совсем не та, что у Времени, и пегое четырехмерное посмешище, выведенное релятивистами, — это четвероногое, у которого вместо одной ноги ее призрак. Мое Время, кроме того, это Неподвижное Время (сейчас мы разделаемся с «текущим» временем, временем водяных часов и ватерклозетов).

Заботящее меня Время — это только то Время, которое я остановил и к которому обращено мое напряженное и волевое сознание. Посему бесполезно и вредно приплетать сюда «проходящее» время. Конечно, я бреюсь дольше, когда моя мысль занимается «примеркой слов»; конечно, я не осознаю задержки, пока не взгляну на часы; конечно, в пятьдесят лет каждый год проходит как будто быстрее — и оттого, что представляет собой меньшую часть накопленного мною запаса существования, и оттого, что теперь я скучаю намного реже, чем в детстве, между унылой игрой и еще более унылой книгой. Но это «ускорение» есть лишь следствие того, что мы невнимательны к Времени.

Что за странная затея — эта попытка определить природу того, что состоит из фантомных фаз. И все же я верю, что мой читатель, который сейчас хмурится над этими строками (но хотя бы отставил тарелку с завтраком), согласится со мной, что нет ничего более великолепного, чем путь одинокой мысли; а одинокая мысль должна брести дальше или — используя не столь древнюю аналогию — мчать дальше, — скажем, в чутком, превосходно отлаженном греческом автомобиле, выказывающем свой покладистый нрав и уверенность на каждом повороте альпийского шоссе.

Прежде чем мы продолжим, нам придется разделаться с двумя заблуждениями. Первое состоит в смешении временных элементов с пространственными. Пространство, этот мошенник, уже заклеймен в наших заметках (которые я сейчас переношу на бумагу, прервав на полдня свое необыкновенно важное путешествие); суд над ним состоится на более поздней стадии нашего расследования. Второе заблуждение, отправляемое нами в отставку, есть следствие неистребимой привычки речи. Мы воспринимаем Время как своего рода поток, который имеет

мало общего с настоящим горным ручьем, таким белым на фоне черной скалы, или с серой широкой рекой на ветреной равнине, но он неизменно протекает по нашим хронографическим ландшафтам. Мы настолько свыклись с этим мифическим образом, так рьяно заполняем водой любое ущелье жизни, что в конце концов не можем обсуждать Время, не говоря о физическом движении. В действительности представление о его движении почерпнуто, разумеется, из множества естественных или, по крайней мере, известных нам источников — телесного ощущения кровотока, доисторического головокружения, вызванного появлением звезд в ночи, и, конечно, нашими способами измерения, такими как ползущая линия тени от гномона солнечных часов, струйка песочных, рысь секундной стрелки, — и вот мы снова вернулись к Пространству. Обратите внимание на рамки, на емкости. Идея о том, что Время «течет» так же естественно, как яблоко падает на садовый стол, подразумевает, что оно протекает в нечто и через что-то еще, и если мы принимаем это «что-то» за Пространство, то мы имеем только льющуюся по мерке метафору.

Но остерегайся, anime meus, горячей завивки модного искусства; избегай Прустова ложа и каламбура-убийцы (самоубийцы, как заметят те, кто знает своего Верлена).

Теперь мы готовы приняться за Пространство. Мы без колебаний отвергаем искусственную концепцию зараженного пространством, зачумленного пространством времени, пространства-времени релятивистской литературы. Всякий, кому заблагорассудится, волен утверждать, что Пространство — это оболочка Времени, или тело Времени, или что Пространство наполнено Временем, и наоборот. Или что каким-то причудливым образом Пространство является всего только отходами Времени, даже его трупом, или что в конце очень долгих, бесконечно долгих концов Время и есть Пространство. Такого рода пустые толки могут быть довольно увлекательными, особенно в юности, но никто не сможет меня убедить в том, что движение объекта (скажем, стрелки) по ограниченному участку Пространства (скажем, циферблату) по природе своей идентично «ходу» времени. Движение объекта только накрывает протяженность другого осязаемого объекта, относительно которого он может быть измерен, но оно ничего не говорит нам о реальной структуре неосязаемого Времени. Схожим образом, мерная лента, даже бесконечно длинная, не является самим Пространством, и даже самый точный одометр не в состоянии дать представление о дороге, которую вижу как черное зеркало дождя под крутящимися колесами, слышу как липкий шорох, обоняю как влажную июльскую ночь в Альпах и ощущаю как ровное основание. Мы, бедные Пространственники, в нашем трехмерном Лакримавале лучше приспособлены к Протяженности, чем к Длительности: наше тело способно к большему растяжению, чем может похвастать наше волевое воспоминание. Я не могу запомнить (хотя только вчера старался разложить его на мнемонические элементы) номер своего нового автомобиля, но ощущаю асфальт под передними шинами так, как если бы они были частью моего тела. И все же Пространство само по себе (как и Время) — это не то, что я способен постичь: это место, где что-то движется, плазма, в которой вещество — сгущение пространственной плазмы — организовано и замкнуто. Мы можем измерить глобулы вещества и расстояние между ними, но плазма пространства как таковая неисчислима.

Мы измеряем Время (рысцой бежит секундная стрелка, рывками передвигается минутная — от одной крашеной отметки к другой) в терминах Пространства (не зная природы ни того ни другого), но чтобы охватить Пространство, не всегда требуется Время — или, по крайней мере, не требуется больше времени, чем содержит в своей ложбинке «сиюминутная» точка обманчивого настоящего. Перцептивное овладение частью пространства происходит почти мгновенно, когда, например, глаз опытного водителя воспринимает дорожный знак — черную пасть и четкий архивольт в красном треугольнике (сочетание цвета и формы осознается «молниеносно» — если хорошо видимо — как обозначение горного туннеля), — или нечто не требующее мгновенной реакции, как, например, очаровательный символ Венеры ♀, который может быть ошибочно принят за позволение придорожным потаскухам останавливать автомобили поднятым большим пальцем, а паломников или туристов может навести на мысль, что в местной речке отражается церковь. Предлагаю добавить для тех, кто читает за рулем, знак абзаца ¶.

Пространство связано с нашими чувствами зрения, осязания и мускульного усилия; Время смутно связано со слухом (тем не менее глухой воспринимает «движение» времени несравнимо лучше, чем безрукий и безногий слепец саму идею «движения»). «Пространство есть роение в глазах, а Время — звон в ушах», замечает Джон Шейд, современный поэт, которого цитирует вымышленный философ («Мартин Гардинер») в «Амбидекстровой Вселенной», стр. 165. Пространство опускается на землю, но Время остается между мыслителем и большим пальцем, когда мосье Бергсон работает своими ножницами. Пространство откладывает свои яйца в гнездах Времени: здесь «до», там «после», — и пестрая кладка «мировых точек» Минковского. Сознанию органически легче измерить отрезок Пространства, чем «отрезок» Времени. Понятие Пространства, по-видимому, сложилось раньше понятия Времени (приводит Уитроу замечание Гюйо). Неразличимая пустота (Локк) бесконечного пространства умозрительно отличима (и, собственно, иначе не может быть и представлена) от яйцеобразной «пустоты» Времени. Пространство бурно разрастается на почве иррациональных чисел, Время же несводимо к корням и «птичкам» на классной доске. Один и тот же участок Пространства может казаться мухе более протяженным, чем С. Александеру, но то, что является мгновением для него, не становится «часами для мухи», поскольку, будь это так, мухи бы не ждали, пока их прихлопнут. Я не могу представить Пространство без Времени, но я отлично могу вообразить Время без Пространства. «Пространство-время», этот отвратительный гибрид, в котором даже дефис выглядит фальшивкой. Можно быть ненавистником Пространства и любителем Времени.

Есть люди, которые умеют складывать дорожные карты. Автор этих строк к ним не относится.

Теперь, полагаю, мне следует сказать несколько слов о моем отношении к «Относительности». Оно не исполнено сочувствия. То, что многие космогонисты склонны принимать за объективную истину, на деле является изъяном, присущим математическим выкладкам, которые преподносятся как истина. Тело ошеломленного господина, несущегося в космосе, сокращается в направлении его движения и катастрофически

сжимается, когда скорость приближается к значению, за которым, согласно предписанию сомнительной формулы, никакой скорости быть не может. Такое невезение — его, не мое, — я же просто отмахиваюсь от всей этой ерунды о часах того господина, которые будто бы замедляют ход. Время, требующее для верного понимания предельной ясности сознания, является наиболее рациональным элементом жизни, и мой здравый смысл считает себя оскорбленным такого рода полетами «Научной Фантастики». Одно особенно гротескное следствие, выведенное (кажется, Энгельвайном) из Теории Относительности — и опровергающее ее, если не жульничать, — состоит в том, что после скоростного тура по космическим курортам галактонавт и его питомцы вернутся более молодыми, чем были бы, оставаясь все это время дома. Только вообразите их, бодро вышагивающих из своего космоковчега — вроде тех «Львов», кажущихся почти подростками в облегающих спортивных костюмах, что валят из огромных наемных автобусов, которые, случается, останавливаются, бешено пульсируя всеми огнями, перед нетерпеливым седаном джентльмена как раз там, где шоссе, переходя в горную дорогу, сужается, чтобы протиснуться через деревню.

Воспринимаемые события можно рассматривать как синхронные, когда они принадлежат к одному периоду внимания; точно так же (коварное сопоставление, неустранимая препона!) можно визуально обладать участком пространства — скажем, киноварным кругом с фронтальным видом игрушечного автомобиля внутри его белой сердцевины, запрещающим проезд по улочке, на которую я, однако, свернул одним яростным coup de volant. Я знаю, что релятивисты, оболваненные своими «световыми сигналами» и «путешествующими часами», пытаются ниспровергнуть идею одновременности на космической шкале, но давайте представим себе гигантскую ладонь, большой палец которой касается одной планеты, а мизинец — другой. Неужели она не будет касаться обеих планет одновременно, или тактильные совпадения еще более обманчивы, чем визуальные? Кажется, в этом месте мне лучше сдать назад.

Такая небывалая засуха поразила Гиппон в самые плодотворные месяцы епископства Августина, что клепсидры пришлось заменить песочными часами. Он определял Прошлое как то, чего уже нет, а будущее как то, чего еще нет (на самом деле будущее — это фантазм, принадлежащий к иной категории мышления, существенно отличной от категории Прошлого, которое, по крайней мере, было здесь еще мгновение назад — куда я положил его? В карман? Но поиски сами по себе уже «прошлое»).

Прошлое неизменяемо, неуловимо и «не-посещаемо-вновь» — термины, которые нельзя применить к тому или иному участку Пространства, который вижу, к примеру, как белую виллу и еще более белый (оттого что новее) гараж с семью кипарисами разной вышины, высокий — воскресенье и низкий — понедельник, сторожащими частный проезд, извилисто спускающийся после раскидистого дуба и кустов шиповника к общедоступной дороге, соединяющей Сорсьер с шоссе на Монт-Ру (до которого еще сто миль).

Теперь я возьмусь за рассмотрение Прошлого как собрания непосредственно воспринятых данных, а не как растворение Времени, подразумеваемое древними метафорами, изображающими перемещение.

«Движение времени» всего лишь фикция сознания, не имеющая объективного основания и опирающаяся на легкие пространственные аналогии. Это видно только в зеркале заднего вида — тучи и кручи, кедры и лиственницы, бесшумно падающие, пропадающие, извечное бедствие уходящего времени, éboulements, оползни, горные дороги, на которые всегда валятся камни, и рабочие вечно при деле.

Мы строим модели прошлого и затем используем их по пространственной логике, дабы овеществить и измерить Время. Возьмем простой пример. Зембре, затейливый старинный городок на реке Музар, вблизи Сорсьера, в Вале, оказался затерянным среди новых зданий и построек, постепенно обступавших его. К началу этого века он приобрел определенно модерновый вид, что заставило ревнителей старины всполошиться. Сегодня, после многих лет тщательной реконструкции, точная копия старинного Зембре, с его замком, ратушей и мельницей, высится на другом берегу Музара, напротив модернизованного города, отделенная от него длиною моста. Так вот, если мы заменим пространственный вид (открывающийся с геликоптера) временным (открывающимся в ретроспекции), а материальную модель старого Зембре ментальной моделью его же в Прошлом (скажем, около 1822 года), то современный город и модель старого окажутся чем-то иным, чем двумя точками на одном месте в разное время (в пространственной перспективе они в одно и то же время находятся в разных местах). Пространство, на котором сгрудился современный город, обладает непосредственной реальностью, тогда как его ретроспективный образ (видимый отдельно от его материальной копии) мерцает в воображаемом пространстве, и никакой мост не позволит нам перейти от одного к другому. Иначе говоря (формула, которой пользуются, когда и автор, и читатель окончательно теряются в своих рассуждениях), создавая модель старого города в своем разуме (и на Музаре), все, что мы делаем, — это наделяем ее пространством (или, точнее, вытягиваем ее из ее собственной стихии на берег Пространства). И потому выражение «одно столетие» ни в каком смысле не соотносится с сотней футов стального моста между модерным и модельным городами, — вот что мы хотели доказать и теперь доказали.

Следовательно, Прошлое — это постоянное накопление образов. Его легко можно созерцать и слушать, проверять и пробовать наугад, так что оно перестает означать правильную череду связанных событий, каковою и является в широком теоретическом смысле. Перед нами изобильный хаос, из которого гений тотального воспоминания, вызванный в путь этим летним утром 1922 года, волен извлечь все, что пожелает: рассыпанные по паркету бриллианты из 1888; рыжеволосую красавицу в черной шляпе в парижском баре из 1901; влажную красную розу среди искусственных из 1883; задумчивую полуулыбку молодой английской гувернантки из 1880, бережно натягивающей обратно крайнюю плоть своего подопечного после ласкового пожелания доброй ночи; девочку, слизывающую за завтраком мед с обгрызенных ногтей расставленных пальцев из 1884; ее же, тридцатитрехлетнюю, сообщающую в конце дня, что ей не нравятся цветы в вазах; страшную боль, поразившую его бок, в то время как двое детей с грибными корзинками смотрели на весело полыхавший сосновый бор; и испуганный вопль бельгийского автомобиля, настигнутого и обойденного вчера на слепом повороте альпийской дороги. Такие образы ничего не говорят нам о

текстуре времени, в которую они вплетены — за исключением, возможно, одного обстоятельства, нелегко поддающегося рассмотрению. Меняется ли от даты к дате окраска вспоминаемого предмета или что-либо еще из его внешних свойств? Могу ли я определить по его оттенку, что он возник раньше или позже, залегает глубже или выше в стратиграфии моего прошлого? Существует ли некий ментальный уран, чей дельта-распад образов позволил бы измерить возраст воспоминания? Главная трудность, спешу пояснить, состоит в том, что экспериментатор не может использовать один и тот же объект в разное время (скажем, голландскую печь, с ее маленькими голубыми парусниками в детской Ардис-Холла в 1884 и в 1888 годах), поскольку одно впечатление налагается на другое и создает в сознании составной образ; однако, ежели взять различные объекты (к примеру, лица двух памятных кучеров, Бена Райта, 1884, и Трофима Фартукова, 1888), то невозможно, насколько я мог убедиться в ходе моих исследований, избежать вторжения не только различных характеристик, но и разных эмоциональных обстоятельств, которые не позволяют двум объектам считаться по существу равными, до того как они, если можно так сказать, подверглись воздействию Времени. Не стану утверждать, что такие объекты нельзя открыть. За годы своих профессиональных занятий, в лабораториях психологии, я сам разработал немало тонких проверочных тестов (один из которых, метод определения женской невинности без физического осмотра, сегодня носит мое имя). Поэтому мы вправе предположить, что эксперимент может быть поставлен — и как же манит, в таком случае, открытие определенных точных уровней уменьшения насыщенности или усиления яркости, — столь точных, что «нечто», которое я смутно сознаю в образе памятного, но неустановимого человека и которое «как-то» относит его скорее к моему раннему детству, чем к отроческой поре, может быть помечено если не именем, то, по крайней мере, известной датой, — exempli gratia, первым января 1908 года (Эврика! — «e.g.» сработало — то был бывший домашний наставник отца, подаривший мне на восьмилетие «Алису в Камере Обскура»!).

Наше восприятие Прошлого не отмечено связью непрерывности так сильно, как наше восприятие Настоящего и мгновений, непосредственно предшествующих его точке реальности. Обыкновенно я бреюсь ежеутренне и привык менять лезвие своей безопасной бритвы после каждого второго бритья; случается, однако, что я пропускаю день и на следующий вынужден соскабливать чудовищную поросль скрипящей щетины, такой стойкой, что и после нескольких скольжений бритвы кончики пальцев нащупывают шероховатость, и в таких случаях я использую лезвие лишь единожды. Так вот, припоминая последнюю серию актов бритья, я игнорирую элемент последовательности — все, что мне нужно знать, служило ли зажатое в своем серебряном плуге лезвие однажды или дважды. Если однажды, то правило двух дней, существующее в моем сознании, не имеет значения — собственно, я склонен сначала слышать и чувствовать щетину второго, жесткого утра, а уже потом учитывать пропущенный день, вследствие чего моя борода растет, так сказать, в обратном направлении.

Ежели теперь, имея кое-какие жалкие клочки нахватанных знаний о красочном содержимом Прошлого, мы сменим точку зрения и станем рассматривать его просто как последовательное восстановление

прошедших событий, часть которых сберегается ординарным сознанием хуже других, если вообще сберегается, мы можем побаловать себя более легкой игрой света и тени на его аллеях. Образы в памяти включают в себя послеобразы звуков, как бы отрыгнутые ухом, зафиксировавшим их мгновение назад, пока сознание было занято тем, что старалось исключить возможность наезда автомобиля на школьников, перебегавших дорогу, так что мы в самом деле можем проиграть заново сообщение церковных часов уже после того, как покинули Тартсен с его отзвонившим, но все еще отдающим эхом шпилем. Пересмотр этих последних событий непосредственного Прошлого требует меньше физического времени, чем требовалось механизму часов для того, чтобы израсходовать свой бой, и именно это загадочное «меньше» является особым признаком еще свежего Прошлого, в которое и проникло Настоящее в процессе той мгновенной инспекции звуковых отголосков. «Меньше» указывает, что Прошлое не нуждается в часах и что последовательность его событий определяется не временем курантов, но чем-то еще, соответствующим подлинному ритму Времени. Мы уже высказали предположение, что тусклые интервалы между черными ударами передают ощущение текстуры Времени. Та же мысль, но не столь прямолинейно, применима к впечатлениям, получаемым при осознании «пустот» не сохранившегося в памяти или «нейтрального» времени между яркими событиями. Три мои прощальные лекции — публичные лекции перед большой аудиторией — о Времени г-на Бергсона, прочитанные в одном знаменитом университете несколько месяцев тому назад, сохранились у меня в памяти в терминах красок (сизая, лиловая, рыжевато-серая). Менее отчетливо я помню шестидневные промежутки между сизой и лиловой и между лиловой и серой, и я даже, пожалуй, мог бы совершенно стереть их из памяти. Но все относящееся к самому чтению лекций я вижу необыкновенно ясно. Я опоздал на первую (посвященную Прошлому) и с не лишенным удовольствия трепетом, как если бы явился на собственные похороны, озирал ослепительно горящие окна Контрштейн-Холла и маленькую фигуру японского студента, тоже опоздавшего, который галопом обогнал меня и пропал за дверью задолго до того, как я достиг округлых ступеней крыльца. На второй лекции, о Настоящем, во время пяти секунд тишины и «внутреннего вслушивания», предложенных мною аудитории, чтобы проиллюстрировать положение, которое я (или, вернее, моя говорящая драгоценность в жилетном кармане) собирался высказать относительно истинного восприятия времени, зал наполнился гиппопотамьим храпом русоволосого бородача, и, разумеется, грохнул, а мой замысел провалился. На третьей и последней лекции, о Будущем («Фальшивое Время»), превосходно проработав несколько минут, мой сокровенный транслятор парализовал какой-то технический недуг, и я симулировал сердечный припадок и был навсегда (во всяком случае, применительно к лекционной серии) унесен в ночь, предпочтя такой исход судорожным попыткам разложить по порядку пачку спутанных заметок и разобрать бледные карандашные каракули, которые преследуют плохих ораторов в известных снах (объясненных д-ром Фройдом из Синьи-Мондьё-Мондьё полученной в детстве травмой из-за прочтения любовных писем прелюбодействующих родителей). Привожу эти курьезные, но колоритные подробности, чтобы показать, что отбираемые для анализа события должны быть не только яркими и упорядоченными (три лекции, по одной в неделю), но и связанными ведущей темой (злоключения лектора). Два перерыва, по пять дней каждый, видятся мне идентичными впадинами, заполненными

чем-то вроде однородной сероватой мглы с проблесками как бы рассыпанного конфетти (которые могли бы, пожалуй, окраситься в различные цвета, позволь я некоторым пустяковым воспоминаниям оформиться внутри диагностических пределов). Нахождение этого тусклого континуума среди мертвых вещей не позволяет его ощупать, испробовать и выслушать так же чувственно, как Полость Вина — интервал между ритмичных ударов; однако он разделяет с ней одну примечательную особенность: неподвижность воспринимаемого Времени. В такого рода головоломном упражнении — подходящем сейчас к своей ключевой стадии, к цветущему Настоящему, — неоценимым подспорьем оказывается синестезия, большим поклонником которой является ваш покорный слуга.

И вот на вершине Прошлого задувают ветра Настоящего — на вершинах всех тех перевалов, которых я с гордостью достиг, Умбраил, Флюэла, Фурка моего безупречно ясного сознания! Мгновения сменяют одно другое в точке восприятия только потому, что я сам постоянно нахожусь в состоянии рутинной метаморфозы. Чтобы время от времени уделять себе Время, надо направить сознание в сторону, противоположную той, в какую двигаешься, — так делаешь, проезжая мимо длинного ряда тополей, и стараешься выделить и остановить один из них, дабы зеленое пятно обнажило и обнаружило, да, обнаружило, каждый свой листок. За мной пристроился кретин.

Такой акт внимания представляет собой то, что я в прошлом году назвал «Осмысленным Настоящим», чтобы отличать его от его более общей формы, определенной (Клаем в 1882 году) как «Обманчивое Настоящее». Сознательное выстраивание первого и привычное течение второго дают нам три-четыре секунды того, что можно ощутить как данность. Эта данность — единственная реальность, которую мы знаем; она следует за красочным ничто уже-не-существующего и предшествует абсолютному ничто будущего. Таким образом, мы можем в самом буквальном смысле утверждать, что сознательная человеческая жизнь длится всегда лишь одно мгновение, поскольку в любой момент осмысленного погружения в поток нашего сознания мы не можем знать, последует ли за этим моментом новый. Как я намерен объяснить далее, я не верю, что «предвкушение» («ожидание продвижения по службе или страх грубого социального промаха», как выразился один незадачливый мыслитель) имеет какое-либо значительное влияние на формирование обманчивого настоящего, как и не верю в то, что будущее образует третью панель Времени, даже если мы что-то предвкушаем — изгиб знакомой дороги или живописный вид на два крутых холма, с замком на одном и церковью на другом, ибо чем яснее предвиденье, тем менее пророческим оно может быть. Если бы этот негодяй позади меня рискнул прямо сейчас, он бы столкнулся с выехавшим из-за поворота грузовиком, и я был бы сметен вместе с видом вихрем тройной катастрофы.

Итак, наше скромное Настоящее — это промежуток времени, который человек осознает непосредственно и фактически, а сохраняющаяся при этом свежесть Прошлого все еще воспринимается как часть данности. Для повседневной жизни и привычного комфорта тела (достаточно здорового, достаточно сильного, упивающегося ароматным воздухом и смакующего самую изысканную снедь на земле — вареное яйцо) не имеет

никакого значения, что мы никогда не сможем насладиться истинным Настоящим, которое является мгновением нулевой продолжительности, представленным жирным пятном, подобно тому как лишенная размера геометрическая точка изображается кружком типографской краски на осязаемой бумаге. Если верить психологам и полицейским, обычный водитель способен визуально воспринять единицу времени в одну десятую секунды (у меня был пациент, заядлый картежник в прошлом, который мог определить карту в световом промельке за пятикратно меньшее время!). Занятно было бы измерить мгновение, требуемое нам для осознания краха или воплощения мечты. Запахи могут осознаваться мгновенно, и у большинства людей слух и осязание обгоняют зрение. От тех двух гитчгайкеров в самом деле несло, от мужской половины — отвратительно.

Поскольку Настоящее без осознания непосредственного прошлого — только воображаемая точка, необходимо определить, чем это осознание является. Но если я скажу, что то, что мы осознаем как «Настоящее» — это постоянное возведение здания Прошлого, ровное и бесстрастное повышение его уровня, Пространство вновь вмешается в мои рассуждения. Какая нищета! Какое колдовство!

А вот и они, два скалистых холма, увенчанных коронами руин, которые я сохраняю в памяти семнадцать лет с романтичной живостью декалькоманиака, хотя, признаюсь, не с совершенной точностью: память обожает отсебятину; но легкое искажение теперь подправлено, и этот акт художественной ретуши усиливает укол Настоящего. Острейшее ощущение данности, в терминах визуальности, есть осознанное владение определенной частью Пространства, охваченного глазом. Только так соприкасаются Время и Пространство, но этот контакт вызывает далеко расходящийся отзвук. Чтобы быть вечным, Настоящее должно зависеть от сознательного охвата бесконечного окоема. Тогда, и только тогда, Настоящее может быть приравнено к Вневременному Пространству. Я был ранен на дуэли с Самозванцем.

А теперь я въезжаю в Монт-Ру, под гирлянды душераздирающих приветствий. Сегодня понедельник, 14 июля 1922 года, пять часов тринадцать минут пополудни на моих ручных часах, одиннадцать пятьдесят две на часах в приборной панели автомобиля и десять минут пятого на всех циферблатах города. Автор испытывает противоречивые чувства возбуждения, изнеможения, предвкушения и страха. Он занимался альпинизмом с двумя австрийскими провожатыми и временно удочеренной особой в восхитительных балканских горах. Он провел бóльшую часть мая в Далмации, а июнь в Доломитах, и в обоих местах получил письма от Ады, сообщавшей о смерти ее мужа (23 апреля в Аризоне). Он начал свое путешествие на запад в темно-синем «Аргусе», который был ему дороже сапфиров и голубянок, поскольку оказалось, что она случайно заказала точно такой же, чтобы он ждал ее в Женеве. Он приобрел еще три виллы, две на Адриатическом взморье и одну в Ардезе (Северные Гризоны). Поздно вечером в воскресенье, тринадцатого июля, в соседней Альвене портье «Альраун-Паласа» вручил ему каблограмму, ожидавшую его с пятницы:

ПРИЕЗЖАЮ МОНТ-РУ TROIS CYGNES ПОНЕДЕЛЬНИК ВЕЧЕРОМ НАПИШИ ПРЯМО ЕСЛИ ДАТА И ВСЯ ТРАЛЯЛЯ НЕУДОБНЫ

Посредством новейшей «миграммы», зарницей посланной в Женевский аэропорт, он передал сообщение, состоявшее из последнего слова ее каблограммы 1905 года, и, несмотря на предсказанные ночные ливни, умчался на автомобиле в Во. Несясь слишком скоро и опрометчиво, он каким-то образом проскочил Оберхальбштейнскую дорогу на Сильвапланской развилке (в 150 километрах к югу от Альвены); вывернул обратно на север, через Чьявенну и Шплуген, чтобы в обстановке вселенского потопа выбраться на шоссе «19» (лишний крюк в 100 километров); по ошибке свернул на восток в Кур, совершил непечатный разворот и за два часа покрыл расстояние в 175 километров на запад, достигнув Брига. Бледная заря в зеркале заднего вида давно уже сменилась распаленным румянцем дня, когда он свернул на юг по новой Пфинвальдской дороге к Сорсьеру, где семнадцать лет тому назад он купил дом (теперь носящий имя «Вилла Йолана»). Те трое или четверо слуг, которых он оставил присматривать за ним, исчезли, воспользовавшись долгим отсутствием хозяина, и ему пришлось прибегнуть к усердной помощи двух затерявшихся в этих краях гитчгайкеров, гнусного юнца из Хильдена и его длинноволосой, грязноватой и анемичной Хильды, чтобы забраться в собственный дом. Его сообщники ошибались, если надеялись найти там добычу и спиртное. Вышвырнув их вон, он тщетно попытался приманить сон на лишенную простыни кровать, после чего вышел в голосящий птицами сад, где двое его дружков совокуплялись в пустом бассейне, и ему снова пришлось гнать их взашей. Было уже около полудня. Он поработал часа два над «Текстурой Времени», начатой в Доломитах в отеле «Ламмермур» (не лучшем из его последних пристанищ). Утилитарное побуждение к этому занятию состояло в том, чтобы не дать себе погрузиться в мысли о блаженной пытке, ждущей его в 150 километрах к западу отсюда; он, однако, не устоял перед здоровым желанием горячего завтрака и прервал свое бумагомарание, чтобы отправиться на поиски придорожной харчевни по пути в Монт-Ру.

Отель «Три лебедя», в котором он задержал номера 508–509–510, подвергся с 1905 года некоторым изменениям. Осанистый, с носом как слива, Люсьен не сразу узнал его, а потом заметил, что мосье определенно не «зачах», хотя на самом деле Ван практически вернулся к своему весу семнадцатилетней давности, сбросив несколько килограммов во время горных приключений на Балканах с неугомонной маленькой Акразией (оставленной в фешенебельной частной школе под Флоренцией). Нет, мадам Винн Ландэр не звонила. Да, вестибюль обновили. Отелем управляет теперь швейцарский немец Луи Вихт, сменивший своего покойного тестя Луиджи Фантини. В главном салоне, как было видно сквозь его двери, огромное полотно, которое он хорошо помнил — три широкобедрые Леды обмениваются лимническими впечатлениями, — заменил шедевр неопримитивизма, изображающий три желтых яйца и пару перчаток водопроводчика на чем-то вроде мокрого кафельного пола ванной. Когда Ван вместе с портье в черном сюртуке вошел в «кабину», она глуховато громыхнула у него под ногами и затем, двинувшись, торопливо пустилась сообщать обрывочные

результаты каких-то состязаний, кажется, гонок на трициклах. Ван не мог не пожалеть, что этот темный функциональный ящик (даже еще менее поместительный, чем подъемник для помоев на задах, которым он пользовался в прошлом) заменил роскошное сооружение былых времен — высокий зеркальный зал, знаменитый оператор которого (белые бакенбарды, восемь языков) превратился в кнопку.

В коридоре 509-го номера Ван узнал картину «Bruslot à la Sonde», висевшую рядом с брюхатым на вид белым шкапом, круглые раздвижные дверцы которого неизменно захватывали угол ковра, теперь исчезнувшего. В гостиной лишь дамское бюро да балконный вид остались на месте, все прочее — полупрозрачные орнаменты из скрученной пшеницы, стеклянные бутоны, обтянутые шелком кресла — вытеснили хох-модерновые приспособления.

Он принял душ и переоделся, допил бренди из фляжки в несессере и позвонил в аэропорт Женевы, откуда ему сообщили, что последний аэроплан из Америки только что приземлился. Он отправился на прогулку и обнаружил, что знаменитый «mûrier» на приподнятой террасе, раскинувший свои огромные ветви над скромной уборной в начале мощеной улочки, покрылся пышным багряно-голубым цветом. Он выпил пива в кафе напротив железнодорожной станции, а потом машинально толкнул соседнюю дверь и вошел в цветочную лавку. Какая рассеянность — позабыть, что она сказала в последнюю их встречу о своей странной антофобии (каким-то образом произросшей из того распутства à trois тридцать лет тому назад). Розы она во всяком случае никогда не любила. Он долго не отрывал глаз (а они могут еще дольше) от маленьких гимний из Бельгии, длинных гвоздик Сенсация и алых Суперзвезд. Были еще циннии и хризантемы, и афеландры в горшочках, и чета грациозных вуалехвостов в стенном аквариуме. Не желая разочаровывать любезного старика-флориста, он купил семнадцать бездуханных роз Баккара, попросил адресную книгу, открыл ее на «Ад — Ау», Монт-Ру, наткнулся на «Аддор, Иоланда, м-ль секрет., ул. Радостей, 6» и с американским присутствием духа распорядился отнести букет по этому адресу.

Горожане уже спешили домой со своих служб. Мадемуазель Аддор, с пятнами пота на платье, поднималась по лестнице. В приглушенном Прошлом на этих улицах было несравнимо тише. Старая афишная тумба, на которой некогда красовалась актриса, ставшая теперь королевой Португалии, исчезла со своего места на углу Шемин-де-Монтруз (старинное искажение названия города). Зачем по улицам Монтруз, ревя, фургоны возят груз?

Пока его не было, горничная задернула шторы. Он рывком распахнул их, как бы желая продлить до этих крайних пределов пытку сегодняшнего дня. Железный балкон выдавался довольно, чтобы ловить косые лучи солнца. Он вспомнил, как в последний раз смотрел на озеро в тот безотрадный октябрьский день 1905 года, расставшись с Адой. Черные хохлатые утки ныряли и выныривали на изрытой дождем поверхности, самозабвенно наслаждаясь удвоенной водой; к идущему вдоль берега променаду катили серые волны с кружевами пены на гребнях, и время от времени стихия вздымалась достаточно высоко, чтобы выплеснуться через парапет. Но сегодня, этим лучистым летним днем, ни волны не

пенились, ни птицы не плавали; виднелось лишь несколько чаек, взмахивающих белыми крыльями над собственными черными отражениями. Широкое прекрасное озеро покоилось в мечтательной неге, подернутое зеленой рябью, пронизанное синевой, с заплатами светлых болотистых участков, перемежающих ясную гладь; а в правом нижнем углу картины, как если бы художник пожелал изобразить редкостный световой эффект, ослепительное зарево заходящего солнца пульсировало в кроне стоящего на берегу пирамидального тополя, который казался одновременно текучим и пылающим.

Вдалеке какой-то болван, откинувшись назад на водных лыжах, понесся за мощным катером, вспарывая холст; к счастью, он опрокинулся, не причинив большого вреда, и в тот же миг в гостиной зазвонил телефон.

Оказалось, что она ни разу — по крайней мере, за годы взрослой жизни — не говорила с ним по телефону; вследствие этого аппарат передал саму сущность, яркую вибрацию ее голосовых связок, «комочек» в ее гортани, смех, обхватывавший фразу, словно боясь в девичьем ликовании сорваться с несших его быстрых слов. То был тембр их прошлого, как если бы прошлое передавалось через этот звонок, эту чудесную связь («Ардис, один восемь, восемь шесть» — comment? Non, non, pas huitante-huit — huitante-six). Золотистый, юный, он переливался всеми теми мелодическими особенностями, которые Ван хорошо знал, или, лучше сказать, сразу вспомнил, в той последовательности, в какой они явились: этот entrain, этот всплеск квазиэротического удовольствия, эта уверенность и живость и, что было особенно упоительно, то обстоятельство, что она совершенно и невинно не сознавала колдовской силы своих модуляций.

У нее были неприятности с багажом. Все еще не улажены. Двух ее горничных, которые еще вчера должны были прилететь на «Лапуте» (грузовой аэроплан) с ее сундуками, занесло неведомо куда. Ни слуху ни духу. А у нее с собой только маленький саквояж. Она уже попросила портье разузнать, что и как. Может ли Ван сойти вниз? Она невероятно голодная.

Этот телефонный голос, воскрешая прошлое и связывая его с настоящим, с темнеющими сланцево-синими горами за озером, с крупицами заходящего солнца, плывущими сквозь тополь, стал срединным элементом в самом глубоком Вановом восприятии осязаемого времени, сверкающего «сейчас» — единственной реальности текстуры времени. За триумфом вершины последовал изнурительный спуск.

Ада предупредила его в недавнем письме, что она «сильно переменилась — как в контурах, так и в колоритах». Она теперь носила корсет, подчеркивавший непривычную статность ее тела, облаченного в черное бархатное платье, ниспадающее свободными складками, одновременно эксцентричное и монашеское, какие предпочитала их мать. Волосы были острижены под пажа и выкрашены в блестящую бронзу. Ее шея и руки были все такими же нежно-бледными, но теперь на них появились

незнакомые жилки и вздувшиеся вены. Она не пожалела косметического грима, чтобы скрыть морщины в углах полных карминовых губ и оттененных черным глаз, матовые райки которых теперь казались не столько таинственными, сколько близорукими из-за беспокойного трепета ее накрашенных ресниц. Ее улыбка обнажила золотую коронку на верхнем премоляре; у него была такая же, только с другой стороны. Отливавшая металлом челка огорчила его меньше, чем это бархатное вечернее платье, широкое внизу, с прямыми плечами, доходящее до самых щиколоток, с подбивкой на бедрах, призванной визуально уменьшить талию и скрыть с помощью преувеличения истинный очерк ее раздавшегося таза. Ничего не осталось от ее угловатой грации, и эта новая сочность и бархатное одеяние создавали впечатление раздраженно-величавой неприступности и защищенности. Он любил ее слишком нежно и непреклонно, чтобы терзаться постельными опасениями; но его чувства положительно не всколыхнулись — настолько, что он не испытывал никакого побуждения (когда они чокнулись сверкающими бокалами шампанского, имитируя брачный танец озерных чомг) сразу же после ужина привлекать свою мужскую гордость к нерешительному объятию. Если это именно то, что от него ожидалось, то очень жаль; но еще хуже, если ничего такого не ожидалось. В их прошлые свидания скованность, привычная, как тупая боль после глубоких ран, нанесенных хирургическим вмешательством судьбы, очень скоро поглощалась любовным жаром, и само бурление жизни снова и снова выручало их. Теперь они были предоставлены самим себе.

Обыденность их застольного разговора, вернее, его угрюмого монолога казалась ему определенно унизительной. Он обстоятельно поведал — беря приступом ее вежливое молчание, хлюпая по лужицам пауз, ненавидя себя, — что проделал долгий и трудный путь, что плохо спал, что работал над исследованием природы Времени, предметом, предполагающим схватку с осьминогом собственного рассудка. Она взглянула на ручные часики.

«То, о чем я рассказываю, — сказал он резко, — не имеет ничего общего с часами».

Официант принес кофе. Она улыбнулась, и он сообразил, что ее улыбка была вызвана разговором за соседним столом, где только что пришедший англичанин, грузный и мрачный, принялся обсуждать с метрдотелем меню.

«Я начну, — сказал англичанин, — с пирожков».

«Это не пирожки, сэр. Это пирожные. С кремом».

«Ах, вот как. В таком случае принесите консоме».

Юный Ван улыбнулся юной Аде в ответ. Занятно, этот короткий обмен за соседним столом послужил своего рода восхитительной разрядкой.

«Когда я ребенком впервые приехал в Швейцарию, — сказал Ван, — нет, во второй раз, я думал, что слово “Verglas” на дорожных знаках означает какой-то волшебный городок, который всегда за следующим поворотом, у подножия каждого заснеженного склона, невидимый, но

ждущий своего часа. Я получил твою телеграмму в Энгадине, где есть места действительно сказочные, как, например, Альраун или Альруна, что означает арабского бесенка в зеркале немецкого чародея. К слову, у нас прежние апартаменты наверху, с дополнительной спальней, номер пять-ноль-восемь».

«Ах, дорогой мой. Боюсь, от бедняжки пятьсот восьмой тебе придется отказаться. Если бы я осталась на ночь, нам бы хватило и пятьсот десятого, но, к сожалению, я должна тебя огорчить. Я не останусь. Я должна вернуться в Женеву сразу после ужина, чтобы забрать багаж и горничных, которых власти, похоже, отправили в Приют для потерянных женщин, поскольку они не смогли заплатить недавно введенный и совершенно средневековый droits de douane — разве Швейцария находится не в штате Вашингтон, après tout? Погоди, не хмурься (похлопывая его по усеянной пигментными пятнами руке, на которой их общая родинка затерялась среди крапин лет, как ребенок в осенней чаще, on peut les suivre en reconnaissant только деформированный большой палец Маскодагамы и красивые миндалевидные ногти), — обещаю снестись с тобой через день или два, а потом мы отправимся в Грецию под парусами в компании Бейнардов — у них есть яхта и троица очаровательных дочек, которые плещутся, прикрывая наготу все еще одним загаром. Окэй?»

«Не знаю, что я ненавижу больше, — ответил он, — яхты или Бейнардов. Но могу ли я быть тебе полезен в Женеве?»

Нет, он не мог быть ей полезен. Бейнард женился на своей Кордуле после громкого развода — шотландским ветеринарам пришлось попотеть, чтобы отпилить ее мужу рога (нам больше не до шуток такого рода).

Адин «Аргус» еще не был доставлен. Мрачный черный блеск наемного «Яка» и старомодные краги шофера напомнили Вану ее отъезд в 1905 году.

Он проводил ее — и стойком поднялся, как «картезианский водолаз», как призрачное Время, обратно, на свой пустынный пятый этаж. Кабы они прожили вместе эти никчемные семнадцать лет, они бы избежали шока и унижения; они бы мало-помалу свыкались со своим старением, неощутимым, как само Время.

Как и в Сорсьере, на помощь пришел его незавершенный труд — пачка заметок, завернутых в пижаму. Ван принял таблетку фаводорма и, ожидая, пока она освободит его от него самого, на что требовалось около сорока минут, сел за дамское бюро, чтобы продолжить свои «lucubratiuncula».

Способны ли грозные приметы возраста, горько воспетые поэтами, сообщить естествоиспытателю Времени что-либо о его сущности? Очень немногое. Только воображение романиста могло бы увлечься этой овальной коробочкой, содержавшей когда-то «Duvet de Ninon» (пудру для лица, с райской птицей на крышке), забытой в приоткрытом ящике под триумфальной аркой этого бюро — не славящей, впрочем, победу над Временем. Сине-зелено-ранжевый предмет выглядел так, как будто должен был внушить Вану обманчивую мысль, что он семнадцать лет

дожидался озадаченной, снисходительной, мечтательно-неспешной руки искателя: жалкий трюк мнимой реституции, подстроенное совпадение, — да еще и грубый просчет, поскольку такой пудрой пользовалась Люсетта, ныне русалка в рощах Атлантиды (а не Ада, теперь совсем чужая дама, едущая в черном лимузине где-то в окрестностях Моржа). Выбросьте его, дабы он не вводил в заблуждение более слабого философа; меня же волнует другое — тонкая ткань Времени, не тронутая узорной вышивкой событий.

Подытожим.

Физиологически чувство времени есть чувство непрерывного становления, и если бы «становление» имело голос, оно бы звучало, вполне естественно, ровной вибрацией; но ради Лога, не стоит путать Время со звоном в ушах, а раковинный гул длительности с пульсацией нашей собственной крови. Философически же Время — это всего лишь память в процессе развития. В каждой индивидуальной жизни, от колыбели до смертного одра, происходит постепенное формирование и укрепление этого станового хребта сознания, который является Временем сильных. «Быть» означает знать, что ты «был». «Не быть» подразумевает единственный «новый» вид (фальшивого) времени — будущее. Я отвергаю его. У жизни, любви, библиотек нет будущего.

Время — это что угодно, только не расхожий триптих: уже-не-существующее Прошлое, лишенное длительности Настоящее и то «еще-не-существующее», которое может никогда не наступить. Нет. Есть только две створки. Прошлое, всегда существующее в моем сознании, и Настоящее, которому мой разум сообщает длительность, а значит, реальность. Добавляя третье отделение с исполненными надеждами, предчувствиями, предопределениями, ясновидчески точными предсказаниями, мы все так же обращаем наше сознание к Настоящему.

Если Прошлое воспринимается как склад Времени и если Настоящее есть процесс этого восприятия, то будущее, в свою очередь, не является составной частью Времени, не имеет ничего общего со Временем и с газовой материей его физической текстуры. Будущее всего только шарлатан при дворе Хроноса. Мыслители, социальные мыслители, видят Настоящее устремленным за собственные пределы к еще не воплотившемуся «будущему», — но это ходкая утопия, передовая политика. Софисты в области технологий уверяют, будто с помощью Законов Света, применяя новейшие телескопы, позволяющие в космической дали различить обычный шрифт глазами наших ностальгирующих представителей на другой планете, мы действительно можем увидеть наше собственное прошлое (Гудсон, открывающий Гудсон и прочее в таком роде), включая документальное подтверждение нашего неведения того, что нас ждет (и что мы знаем теперь), и что, следовательно, Будущее существовало вчера и, путем умозаключения, существует сегодня. Быть может, это хорошая физика, но логика негодная, и Черепаха Прошлого никогда не догонит Ахиллеса будущего, как бы мы ни высчитывали расстояния на серых от мела досках.

Постулируя будущее, все, что мы можем сделать в лучшем случае (в худшем мы показываем банальные трюки), это необыкновенно расширить кажущееся настоящее, заставляя его пронизывать любое количество

времени всеми видами информации, предвидения и предчувствия. «Будущее» в лучшем случае представляет собой идею гипотетического настоящего, которая зиждется на нашем опыте последовательности событий, на нашей вере в логические связи и привычный порядок вещей. На самом деле, конечно, наши надежды столь же неспособны наполнить будущее явью, как наши сожаления изменить Прошлое. Последнее обладает хотя бы вкусом, оттенком, ароматом нашего личного существования, но будущее к нашим мечтам и чувствам безучастно. В каждое мгновение оно является только бесконечным разветвлением возможностей. Заданная схема упразднила бы само понятие времени (тут по небосводу сознания проплыло первое облачко, пущенное снотворной пилюлей). Неизвестное, еще не пережитое и неожиданное, все восхитительные «Х» пересечений и точек соприкосновения — суть неотъемлемые составляющие человеческой жизни. Заданная схема, отняв у восхода его чудесную неожиданность, уничтожила бы все солнечные лучи —

Пилюля вдруг мощно подействовала. Он закончил облачаться в пижаму — череда неуклюжих, недовершенных движений, начатых около часу назад, — и ощупью забрался под одеяло. Ему снилось, будто он выступает с лекцией в зале трансатлантического лайнера и какой-то бродяга, похожий на того придорожного юнца из Хильдена, насмешливо спрашивает его, как многоуважаемый лектор объяснит то обстоятельство, что во сне мы знаем, что проснемся, разве это не схоже с нашей уверенностью в неизбежности смерти, и если так, то, стало быть, будущее —

На рассвете он проснулся со стоном и дрожью и тут же свесил ноги с кровати: если он прямо сейчас ничего не предпримет, он потеряет ее навсегда! Он решил немедленно ехать в женевский Манхэттен.

Вана порадовало восстановление полированных структур после целой недели черной помадки, осквернявшей белоснежный склон чаши до такой вышины, что никакие потоки не могли ее удалить. Что-то связанное с оливковым маслом и ватерклозетами итальянского типа. Он побрился, принял ванну, поспешно оделся. Не слишком ли рано еще, чтобы заказать завтрак? Следует ли телефонировать в ее отель, прежде чем пускаться в путь? Нанять аэроплан? Или, может быть, было бы проще —

Дверные створки балкона в его гостиной были открыты настежь. Полосы тумана все еще пересекали синеву стоящих за озером гор, но там и тут вершины уже окрасились охрой под безоблачной бирюзою неба. Четыре громадных грузовика прогромыхали один за другим. Он вышел к перилам балкона и задумался: а не поддался ли он когда-то раньше знакомому порыву расплескаться по мостовой — сделал ли он этот шаг? сделал? В сущности, никогда не можешь знать наверняка. Этажом ниже и немного в стороне стояла поглощенная видом Ада.

Он увидел ее стриженые бронзовые волосы, ее белую шею и руки, бледные цветы на легком пеньюаре, ее голые ноги и серебристые туфельки на высоких каблуках. Задумчиво, молодо, сладостно она почесывала бедро чуть ниже правой ягодицы: ладорский розовый росчерк на пергаменте в комариных сумерках. Поднимет ли она голову? Все ее цветы обернулись к нему, сияя, и она царственным жестом, подняв ладонью кверху и отведя руку, пожаловала ему и горы, и утреннюю

дымку, и озеро с тремя лебедями.

Он покинул балкон и сбежал по короткой винтовой лестнице на четвертый этаж. На дне его желудка возникло сомнение, что это была не 410 комната, как он решил, а 412 или даже 414. Что, если она не поняла его и не осталась ждать? Она поняла, она ждала.

Когда, «несколько позже», ставший на колени и прочищающий горло Ван целовал ее дорогие холодные руки, благодарно, благодарно, в полном пренебрежении к смерти, с поверженным злым роком и с ее мечтательным послесвечением, склонившимся над ним, она спросила:

«Неужели ты решил, что я уехала?»

«Обманщица, обманщица», повторял Ван с упоением и торжеством блаженной сытости.

«Я велела ему развернуться, — сказала она, — где-то около Моржей (русская игра слов с “Morges”: быть может, весточка от русалки). А ты спал, ты мог спать!»

«Я работал, — ответил он. — Первый черновик готов».

Она призналась, что, вернувшись среди ночи, унесла к себе в номер из гостиничного шкафа, который открыл для нее ночной портье, запойный читатель, том Британской энциклопедии, вот он, со статьей о «Пространстве-Времени»: “Пространство (сообщается в ней довольно многообещающе) обозначает свойство, ты мое свойство, посредством которого, ты мое средство, твердые тела могут занимать различные положения”. Мило? Мило».

«Не смейся, Ада моя, над нашей философской прозой, — возразил ее любовник. — Сейчас имеет значение лишь то, что я дал Времени новую жизнь, отделив от него сиамского близнеца Пространство и фальшивое будущее. Мой замысел состоял в том, чтобы сочинить своего рода новеллу в форме трактата о Текстуре Времени, исследование завесы его сущности с постепенным увеличением иллюстративных метафор и еще более постепенным выстраиванием связной любовной истории, развивающейся от прошлого к настоящему, расцветающей как реальная история, так же постепенно отменяющей свои аналогии и вновь распадающейся на легкую абстракцию».

«Сомневаюсь, — сказала Ада, — сомневаюсь, что попытка открыть все эти вещи стоит свеч. Мы можем знать, который час, мы можем знать, сколько времени прошло. Мы никогда не узнаем, что такое Время. Наши чувства просто не предназначены для его восприятия. Это как —»

Часть пятая

1

Я, Ван Вин, приветствую вас, жизнь, Ада Вин, д-р Лагосс, Степан Нуткин, Виолетта Нокс, Рональд Оранжер. Сегодня мне исполняется девяносто семь лет, и, сидя в замечательном новом Покойном кресле, я слышу скрежет лопаты и скрип шагов в сверкающем снегом саду и как мой старый русский камердинер, более тугой на ухо, чем ему думается, выдвигает и задвигает в гардеробной ящики с ноздревыми кольцами. Эта Пятая часть вовсе не эпилог, это настоящее вступление к моей, на девяносто семь процентов истинной, на три процента вероятной книге «Ада, или Отрада. Семейная хроника».

Всем своим многочисленным домам, в Европе и тропиках, они стали предпочитать недавно выстроенное в Эксе (Швейцарские Альпы) шато, с его колонным фасадом и зубчатыми башенками, особенно в середине зимы, когда знаменитый блистающий воздух, le cristal d'Ex, «отвечает высшим формам человеческой мысли — чистой математике и дешифрации» (из неопубликованного рекламного проспекта).

По меньшей мере дважды в год наша счастливая пара пускалась в баснословно долгие путешествия. Ада больше не разводила и не собирала бабочек, но на протяжении всей своей деятельной и здоровой старости увлеченно снимала их на пленку в естественной среде обитания, в глубине своего сада или на краю света — порхающих и отдыхающих, садящихся на цветы или грязь, скользящих вдоль травы или гранита, сражающихся или спаривающихся. Ван сопровождал ее в кинематографических странствиях в Бразилию, Конго, Новую Гвинею, но втайне предпочитал потягивать коктейль под сенью тента, чем тянуть лямку под деревом, дожидаясь, пока какая-нибудь редкость наконец не соблазнится приманкой и не будет заснята в цвете. Потребовалась бы еще одна книга, чтобы описать приключения Ады в Адаландии. Пленки — и распятых актеров (Демонстрационные Экземпляры) можно посмотреть, по предварительной записи, в Музее Люцинды, Парковая улица, 5, Манхэттен.

2

Он оправдал фамильный девиз: «Здоров как Вин — отец и сын». Оглядываясь назад в пятьдесят лет, он видел сужающееся удаление лишь одного больничного коридора (с парой обутых в белое опрятных ножек, спешащих прочь), по которому его когда-либо провозили в кресле-каталке. Теперь, однако, он стал замечать, что в сводах его физического благополучия возникли скрытые ветвящиеся трещинки, как если бы неотвратимый распад слал к нему сквозь толщу статичного серого времени своих первых эмиссаров. Заложенность носа вызывала удушливые сны, а на пороге легчайшей простуды поджидала невралгия со своей тупой пикой. Чем шире становился его прикроватный столик, тем больше он загромождался такими решительно необходимыми ночью вещами, как капли от насморка, эвкалиптовые пастилки, восковые ушные затычки, желудочные таблетки, снотворные пилюли, минеральная вода, цинковая мазь с дополнительным колпачком (на случай, если изначальный сбежит под кровать) и большой носовой платок, чтобы утирать пот, собирающийся между правой челюстью и правой ключицей,

не желающими свыкнуться ни с его новой дородностью, ни с его привычкой спать только на одном боку, дабы не слышать сердцебиения: как-то ночью в 1920 году он совершил ошибку, подсчитав общее число отпущенных ему (на следующие полвека) ударов сердца, и теперь нелепая спешка обратного отсчета раздражала его и ускоряла темп, с которым он несся в могилу. За время своих одиноких и совершенно избыточных странствий он приобрел болезненную чувствительность к ночным шумам в роскошных гостиницах (гогофония грузовика оценивалась им в три имбецибелла; дурацкие возгласы, которыми обмениваются молодые подмастерья субботней ночью на пустой улице, — в тридцать; транслируемый радиатором отопления храп из нижней комнаты — в триста), а ушные затычки, хотя и незаменимые в отчаянных ситуациях, имели неприятное свойство (особенно если перебрал вина) усиливать стук в висках, диковинный визг в неизведанных носовых пазухах и жуткий скрежет шейных позвонков. К отзвуку этого скрежета, передаваемого в мозг артериями до тех пор, пока не включалась система сна, он относил странную детонацию, которая происходила где-то у него в голове в тот миг, когда чувства обманывали сознание. Антацидных мятных облаток и подобных снадобий зачастую оказывалось недостаточно, чтобы унять разновидность старой доброй изжоги, неизменно терзавшей его после некоторых пряных соусов; зато с каким юношеским нетерпением он предвкушал чудесное действие полной ложки соды, разведенной в стакане воды, которая непременно выпустит три-четыре облачка отрыжки, размером с воздушные шарики, в каких во времена его детства помещались реплики героев комиксов.

До того, как он свел знакомство (в восемьдесят лет) с тактичным и заботливым, грубоватым и начитанным доктором Лагоссом, который с тех пор жил и странствовал вместе с ним и Адой, Ван не выносил врачей. Несмотря на собственное медицинское образование, он не мог избавиться от низкого, суеверного подозрения, подобающего деревенщине, что врач, накачивающий грушу тонометра или слушающий его хрипы в легких, уже знает, но пока держит в секрете, какой роковой недуг выявлен у него с несомненностью самой смерти. Он с горькой усмешкой вспомнил своего покойного зятя, поймав себя на том, что скрывает от Ады, что у него время от времени боли в мочевом пузыре или что у него снова было головокружение после стрижки ногтей на ногах (процедура, которую Ван выполнял самостоятельно, поскольку не терпел прикосновения чужого человека к своим голым ступням).

Будто стараясь извлечь из собственного тела максимальную выгоду, пока его не унесли, как блюдо, с которого подбираешь последние лакомые кусочки, он теперь ценил такие скромные утехи, как выжимание угревого червячка, или добывание длинным ногтем мизинца зудящей жемчужины из глубин левого уха (правое было менее плодоносным), или позволял себе то, что Бутейан называл le plaisir anglais — когда, задержав дыхание и погрузившись до подбородка в полную ванну, ровно и тайно справляешь малую нужду.

С другой стороны, жизненные неурядицы и неприятности мучили его теперь сильнее, чем раньше. Он выл на дыбе натянутых барабанных перепонок, когда надсаживался саксофон или когда молодая слабоумная особь из рода недосапиенсов выпускала гром своего инфернального мотоцикла. Злостное неповиновение глупых, увертливых вещей — не тот

карман, лопнувший шнурок ботинка, свободная вешалка, которая, пожав плечиками, со звоном летит в черную бездну шкафа — заставляло Вана изрыгать эдиповы проклятия его русских пращуров.

Он перестал стареть годам к шестидесяти пяти, но к этому возрасту его мышцы и костяк изменились значительно сильнее, чем у тех, кто никогда не предавался всем тем разнообразным атлетическим занятиям, которыми он наслаждался в молодости. Сквош и теннис уступили место пинг-понгу; потом настал день, когда он забыл свою любимую лопатку, еще теплую от его хватки, в игровой комнате клуба, и клуб этот больше не посещал. В течение шестого десятка лет упражнения с боксерской грушей заменили ему борьбу и кулачный бой юности. Сюрпризы, преподносимые гравитацией, превратили катание на лыжах в фарс. В шестьдесят лет он все еще мог скрестить рапиры, но через несколько минут слеп от пота, так что фехтование вскоре постигла участь настольного тенниса. Он так никогда и не сумел преодолеть свой снобистский предрассудок в отношении гольфа, да и начинать уже было поздно. В семьдесят лет он решил было перед завтраком побегать трусцой по уединенной аллее, но прыгающая и шлепающая грудь слишком красноречиво напомнила ему, что он теперь на тридцать килограммов тяжелее, чем в молодые годы. В девяносто он все так же плясал на руках — в своих повторных сновидениях.

Ему обычно хватало одной-двух снотворных пилюль, чтобы усмирить монстра бессонницы и получить три-четыре часа непрерывного блаженного забытья, но иногда, особенно после выполнения в уме какой-нибудь задачи, страдания беспокойной ночи продолжались утренней мигренью, и никакая пилюля не могла устранить этой пытки. В такие ночи он вытягивался и сворачивался в постели, включал и выключал ночник (новый журчащий суррогат — настоящий ламмер опять запретили к 1930 году), и плотское отчаяние пронизывало его неразрешимое существование. Мерно и явственно бился пульс; ужин был благополучно усвоен; его дневная норма в одну бутылку бургундского превышена не была — и все-таки, все-таки проклятое беспокойство не отпускало, превращая его в изгоя в собственном доме: Ада чудно спала или уютно читала, отделенная от него несколькими закрытыми дверями; разнообразная прислуга в своих еще более удаленных комнатах уже давно примкнула к вражескому стану местных сновидцев, которые, казалось, покрывали окрестные холмы непроглядным мраком своего сна; и лишь ему одному было отказано в забытье, которое он так яростно презирал и которого так неистово домогался.

3

В годы их последней разлуки его распутство оставалось, по существу, столь же неумолимым, что и прежде; но порой число обладаний падало до одного в четыре дня, а иногда он вдруг ошеломленно сознавал, что целая неделя миновала в невозмутимом целомудрии. За чередой утонченных блудниц все еще могла последовать стайка неискушенных прелестниц на случайных курортах, и даже вся вереница такого рода связей могла прерваться месяцем находчивой любви в компании каких-нибудь легкомысленных светских див (была одна рыжеволосая английская девственница Люси Манфристан, соблазненная им 4 июня 1911 года в обнесенном стеной саду ее нормандского поместья и увезенная в

Фиальту на Адриатике, которую он вспоминал с особенно сладким покалыванием похоти). Однако все эти фальшивые романы лишь утомляли его; бесстрастно опечатанная palazzina вскоре продавалась с молотка, обгоревшая на солнце девица отсылалась восвояси, — и ему приходилось искать что-нибудь по-настоящему бесстыжее и порочное, чтобы всколыхнуть свою зрелую мужественность.

Начав в 1922 году новую жизнь с Адой, Ван дал себе слово хранить ей верность. Если не считать нескольких осторожных и болезненно опустошительных уступок тому, что д-р Лена Виена столь метко назвала «онанистическим вуайеризмом», он каким-то образом умудрился соблюсти свой обет. В нравственном отношении истязание себя оправдало, в физическом представлялось нелепостью. Как педиатры зачастую награждаются невозможными отпрысками, так наш психолог являл собой не столь редкий пример расщепления личности. Любовь Вана к Аде была условием его существования, непрерывным гулом счастия, отличным от всего, что он мог наблюдать во время своих профессиональных занятий в жизни разных необыкновенных людей и у душевнобольных. Он бы немедленно бросился в кипящую смолу, чтобы спасти ее, как мгновенно дал бы пощечину, спасая свою честь. Их совместная жизнь антифонически отзывалась на их первое лето 1884 года. Она никогда не отказывала ему в содействии получить все более и более ценные (оттого что они становились все менее и менее частыми) удовлетворения от полностью разделяемого заката. Он видел в ней отражение всего того, что его разборчивый и яростный дух искал в жизни. Неодолимая нежность побуждала его припадать к ее ногам в драматичном и вместе с тем совершенно искреннем порыве, изумлявшем всякого, кто мог войти в эту минуту с пылесосом. И в тот же день другие его отсеки и переборки наполнялись страстными желаниями и сожаленьями, планами надругательства и разгула. Самый опасный соблазн он пережил в тот день, когда они перебрались на другую виллу, с новой прислугой и окружением, и все его помыслы были очевидны — в ледяных, фантастических подробностях — той юной цыганочке, кравшей персики, или бесстыдной дочке соседской прачки.

Напрасно твердил он себе, что эти низкие желания по своей внутренней ничтожности ничем не отличаются от зуда в заду, который пытаешься унять судорожным чесанием. Он отлично знал, что, осмелившись удовлетворить соответствующую жажду молодой девки, он рисковал погубить свою жизнь с Адой. Как ужасно и непростительно это могло бы ранить ее, он понял как-то в 1926 или 1927 году, заметив полный гордого отчаяния взгляд, брошенный ею в пространство, когда она пошла к автомобилю, чтобы отправиться в поездку, в которой он должен был ее сопровождать, но в последнюю минуту отказался. Он отказался, симулировав гримасу и хромоту подагры, поскольку вдруг сообразил, как сообразила и она, что красавица-туземка, курившая на заднем крыльце, предложит Господину свои манго, как только домоправительница Господина уедет на кинематографический фестиваль в Синдбад. Шофер уже открыл дверцу, когда Ван с воплем догнал Аду, и они уехали вместе, плача, говоря без умолку, вышучивая его глупость.

«Забавно, — сказала Ада, — какие черные, кривые зубы у них, у здешних блядушек».

(«Урсус», Люсетта в переливчатых зеленых шелках, «Уймитесь, волнения страсти», браслеты и грудки Флоры, спиральный моллюск Времени.)

Он открыл нечто вроде утонченного спорта, постоянно борясь с искушением и постоянно мечтая о том, чтобы как-то, где-то, когда-то уступить ему. Еще он обнаружил, что какими бы языками пламени ни плясали эти искушения, он не мог провести без Ады ни одного дня, — что уединение, необходимое ему, дабы как следует предаться греху, требует не нескольких мгновений за вечнозеленой изгородью, а целой комфортабельной ночи в неприступной крепости, и что, наконец, соблазны, реальные или придуманные перед сном, одолевают его все реже. К семидесяти пяти годам двух соитий в месяц с отзывчивой Адой, сводившихся главным образом к Blitzpartien, было достаточно для полного его удовлетворения. Сменявшие одна другую секретарши, которых он нанимал, становились все невзрачнее и невзрачнее (кульминация наступила, когда появилась жирноволосая женщина с лошадиной челюстью, писавшая любовные записки Аде), и к тому времени, как Виолетта Нокс прервала эту тусклую череду, Ван Вин был восьмидесятисемилетним старцем и совершенным импотентом.

4

Виолетта Нокс <ныне миссис Рональд Оранжер. Ред.> родилась в 1940 и поселилась у нас в 1957 году. Она была (и все еще остается, десять лет спустя) обворожительной белокурой англичанкой с кукольными глазами, розовой кожей и обтянутым твидом задком <……>; однако такие эскизы более не способны, к сожалению, возбудить мою фантазию. Ей было доверено перепечатать на машинке манускрипт этих мемуаров — истинной отрады моего последнего, без сомнения, десятилетия жизни. Добрая дочь и еще более добрая сестра и кузина, она в продолжение десяти лет содержала детей своей матери от двух браков, кроме того, откладывала <кое-что>. Я платил ей <щедрое> помесячное жалованье, хорошо понимая, что мне следует заручиться невозмутимым молчанием со стороны озадаченной и послушной девушки. Ада звала ее Фиалочкой и позволяла себе роскошь любоваться ее камеевой шейкой, розовыми ноздрями и светлым хвостиком. Случалось, за обедом, потягивая ликер, моя Ада оглядывала мою машинистку (большую любительницу Ку-Ан-Троу) долгим мечтательным взглядом, а потом шибко-шибко чмокала ее в рдяную щечку. Положение могло бы сделаться намного более сложным, если бы возникло двадцатью годами ранее.

Не знаю, почему я посчитал нужным посвятить столько места седым волосам и обвисшему органу почтенного г-на Вина. Распутники неисправимы. Они горят, испускают несколько последних зеленых искр и гаснут. Самоисследователю и его верной спутнице следовало бы уделить намного больше внимания невероятному интеллектуальному подъему, творческому взрыву, произошедшему в мозгу этого странного, одинокого и довольно гадкого столетнего старика (возгласы: «Нет! Нет!» — в университетских, сестринских, редакторских скобках).

Еще яростнее, чем когда-либо, он ненавидел все виды и формы поддельного искусства, от кричащих банальностей мусорной скульптуры до выделенных курсивом пассажей, в которых претенциозный романист изливает потоки сознания своего дружка-героя. С еще меньшей, чем

прежде, терпимостью он относился к «Зигговой» (Синьи–М.Д.–М.Д.) школе психиатрии. Следующим эпохальным признанием ее основателя: «В студенческие годы я сделался де–флоратором, потому что провалил экзамен по ботанике», Ван предварил, как эпиграфом, одну из последних своих научных статей (1959) «Фарс групповой терапии при сексуальной дезадаптации» — самый разрушительный разгром из всех, принесший автору полное удовлетворение (Союз Брачных Консультантов и Катарсистов грозился вчинить иск, но позже почел за лучшее отступить).

Фиалочка стучит в дверь библиотеки и пропускает пухлого, приземистого, при галстуке–бабочке г–на Оранжера, который замирает на пороге, щелкает каблуками и (когда грузный отшельник оборачивается, неловко взмахнув своей бобриковой мантией) устремляется вперед чуть ли не рысью — не столько для того, чтобы мастерским хлопком остановить лавину исписанных страниц, которую локоть великого человека подтолкнул к обрушению со склона аналоя, сколько желая выразить рьяность своего преклонения.

Ада, занимавшая себя переводами (для Оранжеровых изданий en regard) Грибоедова на английский и французский, Бодлера на английский и русский и Джона Шейда на русский и французский, нередко читала Вану глубоким голосом медиума опубликованные версии, созданные другими старателями на этом прииске наитий. Английские стихотворные переводы особенно часто вызывали у Вана гротескную ухмылку, придававшую его лицу, когда он был без зубных протезов, разительное сходство с комической маской греческого театра. Он не мог сказать, что отвращало его сильнее: благонамеренная посредственность, чьи попытки верно передать оригинал проваливаются из–за отсутствия художественного чутья и нелепых ошибок в толковании текста, или профессиональный поэт, украшающий беззащитного мертвого автора собственными домыслами (здесь бакены, там интимные части), — прием, который тонко маскирует невежество перелагателя по отношению к языку оригинала смешением сучков неуместной учености с задоринками цветистой имитации.

Когда в один из полудней 1957 года Ада, г–н Оранжер (прирожденный катализатор планов) и Ван обсуждали эти материи (только что вышла написанная Ваном и Адой «Информация и Форма»), наш старый полемист вдруг осознал, что все его опубликованные сочинения, даже такие крайне узкие и темные труды, как «Самоубийство и Здравомыслие» (1912), «Компиталия» (1921), «Когда Психиатр Не Может Уснуть» (1932), если привести лишь некоторые из них, представляют собой не эпистемологические задачи, поставленные себе крупным ученым, но живые и задиристые опыты по части изящной словесности. Его спросили, отчего же в таком случае он не даст себе волю и не изберет просторной игровой площадки для состязания между Вдохновением и Замыслом? И так, слово за слово, переходя от одного к другому, пришли к тому, что он напишет мемуары, которые будут изданы после его смерти.

Писателем он был очень медленным. Потребовалось шесть лет, чтобы подготовить и продиктовать мисс Нокс первый черновик, после чего он исправил типоскрипт, полностью переписал его от руки (1963–1965) и

вновь продиктовал всю штуку неутомимой Виолетте, чьи прелестные пальчики отстукали окончательную версию в 1967 году. Э, п, и — отчего «о», милая моя?

5

Успех «Текстуры Времени» (1924) утешил и воодушевил Аду, негодовавшую из-за скудости славы, выпавшей на долю ее брата. Эта книга, сказала она, всегда напоминает ей, каким-то чудным, неявным образом, ее детские игры с солнцем и тенью на уединенных аллеях Ардис-Парка. Она сказала, что в чем-то была ответственна за метаморфозы милых личинок, соткавших шелк «Времени Вина» (как теперь называлась эта концепция одним дыханием, одним выдохом с «Длительностью Бергсона» и «Яркой Бахромой» Уайтхеда). Однако намного более раннее и слабое его сочинение, бедный томик «Писем с Терры», которых сохранилось не более полудюжины экземпляров — два на вилле «Армина», остальные — на стеллажах университетских библиотек, — было даже ближе ее сердцу в силу внелитературных ассоциаций, связанных с ее и Вана недолгой жизнью в Манхэттене в 1892–1893 годах. Шестидесятилетний Ван поспешно и презрительно отверг ее робкое предложение, что, пожалуй, было бы разумно переиздать «Письма» вместе с рефлексиями в Сидре и очень смешным анти-Синьевским памфлетом о Времени во Снах. Семидесятилетний Ван пожалел о своем высокомерном отказе, когда блестящий французский режиссер Виктор Витри, не спросив чьего-либо разрешения, снял картину по этой книге, написанной «Вольтемандом» полстолетия тому назад.

Витри отнес визит Терезы на Антитерру к 1940 году, — но к 1940-му по террийскому календарю и приблизительно к 1890 году по нашему. Уловка позволяла совершить некоторые приятные погружения в моды и обычаи нашего прошлого (помнишь лошадей в шляпах — да, в шляпах, — когда Манхэттен накрыла невиданная жара?) и создавала впечатление, которым уже вдоволь наигралась научно-фантастическая литература, будто капсулистка путешествует вспять в терминах времени. Философы задавали неприятные вопросы, но их не слушали жаждущие иллюзии зрители.

В отличие от безмятежного хода истории Демонии в двадцатом веке, с англо-американской коалицией, правящей на одном полушарии, и укрывшейся за своим Златым Занавесом Татарией, таинственно управляющей другим, в фильме была показана череда войн и революций, сотрясавших составную картину-загадку слабо связанных между собой независимых государств Терры. Во впечатляющем историческом обзоре, наспех составленном Витри, — несомненно, величайшим фильмовым гением из всех, кто когда-либо ставил кинокартины таких масштабов или нанимал столько статистов (одни говорили, что он задействовал свыше миллиона человек, другие, что полмиллиона и столько же зеркал), — падали царства и возносились диктатуры, республики же пребывали в различных промежуточных, но равно неудобных положениях. Концепция была спорной, исполнение безупречным. Поглядите только на этих крошечных солдат, бегущих врассыпную по изрытой траншеями целине, на которой то там, то тут беззвучное французское pouf-pouf вздымает на воздух комья грязи и все такое!

В 1905 году Норвегия мощным рывком и длинным спинным изворотом отделалась от Швеции, своей нескладной сожительницы-великанши, и в то же время, повинуясь схожему стремлению к разъединению, французский парламент с красноречивыми извержениями vive émotion проголосовал за отделение государства от церкви. Затем, в 1911 году, норвежские войска, предводимые Амундсеном, достигли Южного полюса, и тогда же Италия вторглась в Турцию. В 1914 году Германия захватила Бельгию, а американцы порвали Панаму. В 1918 году янки вместе с французами разгромили Германию, которая в это время деловито громила Россию (незадолго до того разгромившую собственных татар). В Норвегии тогда славилась Зигрид Митчел, в Америке — Маргарет Ундсет, а во Франции — Сидони Колетт. В 1926 году, после еще одной фотогеничной бойни, сдался Абд аль-Крим, и Золотая Орда вновь поработила Русь. В 1933 году к власти в Германии пришел Атаульф Гиндлер (известный также как Миттлер — от «to mittle», калечить), и конфликт, еще более грандиозный, чем война 1914–1918 годов, уже вот-вот должен был разразиться, когда Витри исчерпал кинохронику, и Тереза, роль которой исполнила его жена, покинула Терру в космической капсуле, закончив освещать Олимпийские игры в Берлине (бóльшую часть призов завоевали норвежцы, но американцы победили в фехтовальном турнире — поразительное достижение — и разбили немцев в финальном футбольном сражении со счетом три — один).

Ван и Ада посмотрели картину девять раз на семи языках и в конце концов приобрели копию для домашнего просмотра. Они нашли, что исторический фон беспорядочен до нелепости, и решили привлечь Витри к судебному разбирательству — не за кражу идеи «П.С.Т.», а за искажение политической жизни Терры, которую Ван воссоздал с такой тщательностью и искусством по экстрасенсорным источникам и маниакальным сновидениям. Но прошло уже пятьдесят лет, повесть не была защищена авторским правом, да и не мог Ван доказать, что «Вольтеманд» — это его псевдоним. Репортеры, впрочем, разнюхали его авторство, и Ван великодушно позволил им раструбить об этом на весь мир.

Исключительному успеху картины способствовали три обстоятельства. Одно из них — попытка официальных церковных кругов, озабоченных популярностью Терры у падких до сенсаций секстантов, ее запретить. Кроме того, привлекала внимание короткая сцена, которую хитрый Витри решил не вырезать: в ретроспективном эпизоде, переносящем действие к революционным событиям старой Франции, незадачливый статист, исполнявший роль одного из подручных палача, так неловко пристраивал под гильотину комедийного актера Стеллера, игравшего брыкливого короля, что сам случайно лишился головы. Наконец, третьей, даже еще более простительной причиной было то, что прелестная героиня, норвежка Гедда Витри, раздразнив зрителей короткими юбочками и соблазнительными лоскутьями в экзистенциальных эпизодах, вышла из своей капсулы на Антитерре в чем мать родила, хотя, конечно, совсем крошечная, миллиметр сводящей с ума женственности, танцующей в «зачарованном кругу микроскопа», как похотливая фея, и при некоторых позах показывающей, чорт меня подери, искорки лобкового пушка, посыпанного золотистой пудрой!

П.С.Т.-куколки, П.С.Т.-брелоки из кораллов и слоновой кости

заполонили прилавки сувенирных лавок от Агонии в Патагонии и до Ринкл-боллз в Ла Бра-д'Оре. Возникли клубы П.С.Т. Миниатюрные П.С.Т.-девицы семенили с мини-меню из придорожных закусочных, выстроенных в форме космических кораблей. Из горы писем, выросшей на письменном столе Вана за несколько лет мировой славы, следовало, что тысячи более или менее неуравновешенных людей верят (настолько сильным было визуальное воздействие фильма Витри — Вина) в тайное, сокрытое правительством тождество Терры и Антитерры. Реальность Демонии выродилась во второстепенную иллюзию. Собственно, мы уже прошли через все это. Политики, прозванные Старой Шляпой и Дядей Джо в забытых комиксах, существовали на самом деле. Тропические страны приводили на ум не только Заповедники Дикой Природы, но и голод, и смерть, и невежество, и шаманов, и агентов далекого Атомска. Наш мир в самом деле был миром середины XX века. Терра оправилась, вынеся и дыбу, и костер, и разных извергов и подонков, которых неизменно порождает Германия, воплощая свои мечты о славе. Русских крестьян и поэтов не вывезли в Эстотиландию и на Бесплодные Земли когда-то давным-давно, — они умирали сегодня, сейчас, в рабских лагерях Татарии. Даже правителем Франции был не Чарли Чуз, учтивый племянник лорда Гоуля, а вспыльчивый французский генерал.

6

Нирвана, Невада, Ваниада. Кстати, следует ли упомянуть, Ада моя, что лишь в самую последнюю мою встречу с бедной манекеновой мамой, вскоре после моего преждевременного — я имею в виду предупредительного — кошмара с «Вы можете, сударь», она прибегла к mon petit nom, Ваня, Ванюша, — чего никогда раньше не делала, и это прозвучало так странно, так неж… (голос осекается, позвякивают радиаторы отопления).

«Манекеновая мама. (Смеется.) У ангелов тоже есть метлы, чтобы выметать из души ужасные образы. Моя чернокожая нянька была в швейцарских кружевах с белыми причудами».

Кусок льда вдруг загромыхал по водосточной трубе: убитый горем сталактит.

В их общей памяти была записана и воспроизведена их ранняя озабоченность странной идеей смерти. Следующий диалог было бы приятно разыграть на зеленом подвижном фоне одной из наших ардисовских декораций. Разговор о «двойном ручательстве» в вечности. Начни чуть заранее.

«Я знаю, что в Нирване есть Ван. Я буду с ним в глубине моего ада», сказала Ада.

«Верно, верно» (здесь птичий щебет и кивающие ветви и еще то, что ты называла «сгустками золота»).

«Как любовникам и брату с сестрой, — воскликнула она, — нам выпал двойной шанс быть вместе в вечности, в террости. Четыре пары глаз в парадизе!»

«Отлично, отлично», сказал Ван.

Что-то в этом роде. Одна серьезная трудность. Странное миражное мерцание, олицетворяющее смерть, не должно появляться в хронике слишком рано, и все же оно должно пронизывать первые любовные сцены. Трудно, но преодолимо (я могу сделать что угодно, я могу отплясывать танго и чечетку на своих чудесных руках). К слову, кто умирает первым?

Ада. Ван. Ада. Ваниада. Никто. Каждый надеялся уйти первым, чтобы уступить другому более долгую жизнь, и каждый хотел уйти последним, чтобы избавить другого от боли или тревог вдовства. Ты бы мог жениться на Виолетте.

«Благодарю покорно. J'ai tâté de deux tribades dans ma vie, ça suffit. Как говорит дражайший Эмиль: "terme qu'on évite d'employer". Как он прав!»

«Если не хочешь на Фиалочке, тогда на местной гогеновской девушке. Или на Иоланде Кикшоу».

Почему? Хороший вопрос. Как бы там ни было, Виолетте не стоит отдавать этой части для перепечатки. Боюсь, мы раним немало людей (чудный поэтический ритм!). Ах, брось, искусство не может ранить. Может, и еще как!

В сущности, вопрос о первенстве в смерти едва ли имел теперь какое-либо значение. Я хочу сказать, что герой и героиня к тому моменту, когда начнется страшное, станут так близки друг с другом, так органически близки, что совместятся, взаимозаменятся, обменяются болью, и даже если смерть Ваниады описана в эпилоге, мы, писатели и читатели, не сможем разобрать (близоруко, близоруко), кто именно выживет, Дава или Вада, Анда или Ванда.

У меня была одноклассница по имени Ванда. А я знавал девочку по имени Адора, малышка из моего последнего амуранта. Отчего эта часть кажется мне самым чистым sanglot во всей книге? Что самое худшее в смерти?

Ведь ты понимаешь, что у нее три грани (грубо соотносимые с обиходным тройственным членением Времени). Первая, это щемящая боль вечной разлуки с собственными воспоминаниями — общее место, но какой отвагой должен обладать человек, чтобы вновь и вновь проходить через это общее место и не отказываться от всей этой канители по накоплению — снова и снова — сокровищ сознания, которые неминуемо будут отняты! Теперь вторая сторона — неописуемое физическое страдание, на котором мы по понятным причинам останавливаться не будем. И наконец, третья — безликое псевдобудущее, пустое и черное, вечное безвременье, венчающий парадокс эсхатологий нашего загнанного в угол мозга!

«Да, — сказала Ада (одиннадцатилетняя, то и дело отбрасывающая волосы с лица), — да, но возьмем паралитика, который постепенно забывает все свое прошлое, удар за ударом, который умирает во сне,

тихо, как паинька, и который всю жизнь верил, что душа бессмертна, — разве это не желательное, не самое утешительное разрешение?»

«Жалкое утешение, — ответил Ван (четырнадцатилетний и умирающий от других желаний). — Ты теряешь свое бессмертие, когда теряешь память. И если ты после этого прибудешь на Терру Целестис, с подушкой и ночным горшком, тебя могут расквартировать вовсе не с Шекспиром и даже не с Лонгфелло, а с гитаристами и кретинами».

Она настаивала на том, что если будущего нет, то человек вправе создать его, и тогда его очень личное будущее вполне себе существует — поскольку существует он сам. Мигом пролетело восемьдесят лет — будто в волшебном фонаре сменили пластинку. Большую часть утра они посвятили уточнению своего перевода на русский отрывка (строки 569–572) из знаменитой поэмы Джона Шейда:

…Совѣты мы даемъ —

Какъ быть вдовцу: онъ потерялъ двухъ женъ;

Онъ ихъ встрѣчаетъ — любящихъ, любимыхъ,

Ревнующихъ его другъ къ дружкѣ…

Ван заметил, что здесь-то и кроется загвоздка: можно, разумеется, вообразить любой вид загробной жизни — обобщенный рай, обещанный восточными пророками и поэтами, или какую-нибудь индивидуальную комбинацию, — но полет фантазии окажется безнадежно коротким, пресеченный логическим барьером: ты не можешь привести на вечеринку друзей — или врагов, если на то пошло. Перемещение всех наших памятных связей и отношений в элизийскую жизнь неизбежно превращает ее во второсортное продолжение нашей великолепной смертности. Только китаец или отсталый ребенок может вообразить, будто в этом Мире Следующего Выпуска его встретит под аккомпанемент всевозможных приветственных виляний хвостом и раболепства тот самый комар, которого он казнил на голой ноге восемьдесят лет тому назад, и что эта нога, с той поры ампутированная, тоже приковыляет вослед за жестикулирующим москитом, топ-топ-топ, а вот и я, приделай меня на место.

Она не рассмеялась; она повторяла про себя стихотворные строки, которые дались им с таким трудом. Мозгоправы-синьисты радостно заявили бы, что причина, по которой три «both» («обеих») оригинала исчезли в переводе, состоит вовсе не в том, о, нет, что втискиванье трех нескладных амфибрахиев в пентаметр потребовало бы добавления по крайней мере еще одного стиха для переноски багажа:

«Ах, Ван, ах, Ван, мы не любили ее как следует! Вот на ком ты должен был жениться, на той, которая, поджав коленки, сидит в черной юбке балерины на каменной балюстраде, и тогда все было бы хорошо — я бы

жила с вами двумя в Ардис-Холле, а вместо всего этого счастья, дарованного нам, вместо всего этого, что сделали мы? Мы задразнили ее до смерти!»

Не пора ли принять морфину? Нет, еще рано. Время-и-боль не было упомянуто в «Текстуре». А жаль, поскольку в боли содержится элемент чистого времени, в вязкой, плотной, сплошной длительности того состояния, при котором больше-не-можешь-терпеть; это уже не серая кисея, а душный войлок — вой, кол, ох, не могу ждать, кликну Лагосса.

Ван нашел его за чтением в безмятежном саду. Доктор последовал за Адой в дом. На протяжении целого лета страданий Вины верили (или убеждали друг друга), что это была только легкая невралгия.

Легкая? Великан с искаженным натугой лицом, сжимающий и вращающий орудие пытки. Довольно унизительно, что физическая боль делает кое-кого в высшей степени равнодушным к таким нравственным проблемам, как судьба Люсетты, и довольно забавно, если это подходящее слово, отметить, что и в такие ужасные моменты кое-кого продолжают волновать вопросы стиля. Швейцарский врач, которого они посвятили во все подробности (и который, как оказалось, знавал в медицинской школе племянника д-ра Лапинера), проявил глубокий интерес к почти завершенной, но лишь частично исправленной книге, и шутливо заявил, что не одного или нескольких человек, а le bouquin он желал бы видеть guéri de tous ces accrocs, пока не стало слишком поздно. Но было уже поздно. То, что, по общему мнению, должно было стать высшим достижением Виолетты, идеально чистым, отпечатанным на особой аттической бумаге особым курсивным шрифтом (улучшенная версия Ванова почерка), с мастер-копией, переплетенной к девяностосемилетию автора в пурпурную телячью кожу, было немедленно ввергнуто в очередную геенну правки красными чернилами и синим карандашом. Можно даже предположить, что если бы наша истощенная временем, лежащая плашмя пара когда-нибудь решила умереть, она бы умерла, так сказать, в саму завершенную книгу, в Эдем или Аид, в прозу этой книги или в поэзию ее рекламной аннотации.

Их недавно построенный замок в Эксе был вставлен в хрустальную зиму. В последнем выпуске «Who’s Who» список его главных сочинений в силу какой-то странной ошибки содержал название труда, которого он не написал, хотя и сделал две-три пытки, изведя немало сил и чернил: «Беспамятство и Бессознательное». А теперь ни о какой попытке нельзя было и мечтать — все свои страдания он посвящал завершению «Ады». «Quel livre, mon Dieu, mon Dieu!», воскликнул д-р <профессор. Ред.> Лагосс, взвешивая на руках мастер-копию, которую плоские бледные родители будущих Детей в буром Лесу, тонкая книжка в детской Ардис-Холла, больше не могли поддерживать на таинственной первой картинке: двое в одной постели.

Ардис-Холл — Сады и Услады Ардиса — вот лейтмотив, пронизывающий «Аду», обширную и восхитительную хронику, большая часть которой протекает в яркой, как мечта, Америке — ибо не схожи ли наши детские воспоминания с идущими в Винланд каравеллами, праздно окруженными белыми птицами грез? Главный герой — д-р Ван Вин, отпрыск одного из

наших самых известных и богатых семейств, сын барона «Демона» Вина, этой незабвенной фигуры Манхэттена и Рино. Закат удивительной эпохи совпал с не менее удивительным детством Вана. Ничто в мировой литературе, исключая, быть может, воспоминания графа Толстого, не сравнится с чистейшей радостью и аркадской невинностью «ардисовской» части этой книги. В баснословном поместье его дядюшки, коллекционера произведений искусства Данилы Вина, чередой увлекательных сцен развивается пылкий отроческий роман между Ваном и хорошенькой Адой, этой воистину неординарной gamine, дочерью Марины, страстно увлеченной театром жены Данилы. С первых же страниц возникает подозрение, что их отношения — не просто опасный cousinage, но нечто такое, что запрещено законом.

Несмотря на множество сюжетных и психологических хитросплетений, повествование продвигается стремительно. Не успеваем мы перевести дух и спокойно освоиться в новой обстановке, в которую нас занесло, так сказать, волшебным ковром-самолетом автора, как уже другая очаровательная девчушка, младшая дочь Марины Люсетта Вин, смертельно влюбляется в Вана, неотразимого повесу. Ее трагическая судьба составляет одну из главных линий этой восхитительной книги.

Все прочее в истории Вана откровенно и красочно вращается вокруг его долгой любовной связи с Адой. Она прерывается ее браком с аризонским скотопромышленником, чей легендарный пращур открыл нашу страну. После смерти ее мужа наши любовники воссоединяются. Они коротают остаток дней, путешествуя вместе по свету и останавливаясь на виллах, одна прекраснее другой, воздвигнутых Ваном по всему Западному полушарию.

Украшением хроники не в последнюю очередь служит изысканность живописных деталей: решетчатая галерея; расписной потолок; прелестная игрушка, прибитая к берегу среди незабудок ручья; бабочки и орхидеи-бабочки на полях романа; туманный пейзаж, открывающийся с мраморных ступеней; лань в родовом парке, обращенная к нам головой, и еще многое, многое другое.

Вивиан Дамор-Блок

Примечания к «Аде»

Часть первая

С. 13. «Все счастливые семьи…» — Высмеяны дурные переводы русской классики. Начальная сентенция романа Толстого вывернута наизнанку, а отчеству Анны Аркадьевны сообщено нелепое мужское окончание, в то время как ее фамилия против правил английского языка написана в женском роде. «Гора Фавор» и «Понтий Пресс» намекают на те преображения (термин Дж. Стайнера, сколько мне известно) и

предательства, которым подвергаются великие сочинения со стороны претенциозных и невежественных перелагателей.

Сѣверныя Территоріи — как и во многих других случаях, используется старая русская орфография.

гранобластично — в тессеральном (мозаичном) беспорядке.

С. 14. Тофана — намек на «аква тофану» (см. в любом хорошем словаре).

С. 15. Китеж-озеро — отсылка к легендарному Китеж-граду, сияющему со дна озера в русской сказке.

г-н Элиот появится вновь на с. 457 и 503 в обществе автора «Безродной почвы» и «Агонических линий».

в контр-Фогговом направлении. — Филеас Фогг, кругосветный путешественник Жюля Верна, отправился в путь с запада на восток.

С. 16. «Доброй ночи, малыши!» — Их имена позаимствованы, с искажениями, из комикса для франкоязычных детей.

С. 18. д-р Лапинер. — По какой-то неясной, но привлекательной причине большинство врачей в книге носят имена, так или иначе связанные с кроликами. Французскому «lapin» в Лапинере отвечает русский Кролик — имя любимого лепидоптериста Ады (с. 19, et passim), а русское «заяц» звучит как Зайтц (немец-гинеколог на с. 230); в Никулине («внук великого родентолога Куникулинова», с. 432) содержится лат. cuniculus, а в Лагоссе (врач престарелого Вана) — греческое lagos. Отметьте также Конильетто, итальянского эксперта по раку крови, с. 378.

мизерной — франко-русский термин в значении «ничтожный».

c’est bien le cas de le dire — несомненно.

С. 19. lieu de naissance — место рождения.

pour ainsi dire — так сказать.

Джейн Остин… — Намек на прием быстрого изложения сведений с помощью диалогов в «Мэнсфилд-парке».

«Bear-Foot» — медвежья лапа, не «bare foot» (голая стопа): оба ребенка обнажены.

стабианская цветочница. — Подразумевается знаменитая фреска (так называемая «Весна») из Стабии, хранящаяся в Национальном музее Неаполя: девушка, рассыпающая цветы.

С. 22. Белоконск — русский двойник Уайтхорса (Whitehorse — англ. белый конь), города в северо-западной части Канады.

малина; ленточка — намеки на нелепые ошибки в английских версиях стихотворений Мандельштама, сделанных Лоуэллем (в «Нью-Йорк Ревью», 23 декабря 1965 г.).

С. 23. en connaissance de cause — со знанием дела.

С. 25. Аардварк — по-видимому, университетский город в Новой Англии.

Гамалиил — гораздо более удачливый политик, чем наш Уоррен Гамалиел Гардинг.

С. 26. близ Лолиты в Техасе. — Такой городок существует или, скорее, существовал, поскольку его, кажется, переименовали после выхода в свет печально известного романа.

С. 27. beau milieu — самая середина.

Фарабог — по-видимому, бог электричества.

Браках — подразумевается брик-а-браковый художник.

С. 31. entendons-nous — давай проясним.

С. 33. «ламмер» — янтарь (фр. l'ambre), намек на электричество.

С. 34. Мой мальчик, мой милый… — перефразированы стихи Хаусмана.

ballatetta — фрагментация и искажение отрывка из «маленькой баллады» итальянского поэта Гвидо Кавальканти (1255–1300). Соответствующие строки: «Ты, испуганный и слабый голосок, исходящий плачем из моего горестного сердца, следуй за моей душой и этой песенкой, рассказывающей о поврежденном разуме».

С. 36. Nusshaus — от нем. Nuss — орех.

С. 37. рукулирующий — от фр. roucoulant, воркующий.

С. 38. гнуспиталь — госпиталь, заимствовано из «Холодного дома» Диккенса. Каламбур бедного Джо, а не какого-нибудь бедного подражателя Джойса.

С. 40. Aujourd'hui, heute — нынче (фр., нем.).

Princesse Lointaine — «Принцесса Греза» («Далекая принцесса»), название французской пьесы.

С. 42. pour attraper le client — чтобы одурачить покупателя.

С. 45. Je parie… — Держу пари, что вы меня не узнаете, господин.

С. 46. tour du jardin — прогулка по саду.

С. 47. леди Амхерст смешалась в детском сознании с ученой дамой, по имени которой назван широко известный фазан (Lady Amherst's

pheasant, алмазный фазан).

С. 48. слегка улыбнувшись — любимая формула Толстого, обозначающая холодное превосходство, если не самодовольство, в манере речи персонажа.

С. 49. pollice verso — большой палец вниз, категорическое неодобрение (лат.).

С. 55. чудного испанского стихотворения — на самом деле двух стихотворений, «Descanso en jardín» и «El otoño: isla» Хорхе Гильена.

С. 58. Monsieur a quinze ans… — Вам, господин, я думаю, пятнадцать, а мне, я знаю, девятнадцать. <…> Вы, господин, конечно, уже познали городских девушек; я же девственница или почти. Более того…

rien qu’une… — только один раз.

С. 59. Mais va donc… — Ну же, иди поиграй с ним.

se morfondre — хандрить.

Au fond — В самом деле.

Je l’ignore — Не знаю.

С. 60. infusion de tilleul — липовый чай.

С. 62. «Les amours du Docteur Mertvago» — «Любовь доктора Мертваго». Обыгрывается «Доктор Живаго».

grand chêne — большой дуб.

С. 63. quelle idée — скажешь тоже!

С. 65. «Les Malheurs de Swann» — смешение «Les malheurs de Sophie» («Сонины проказы») графини де Сегюр (урожд. Ростопчиной) и «Un amour de Swann» («Любовь Свана») Пруста.

С. 70. monologue intérieur — внутренний монолог, так называемый прием «потока сознания», примененный Львом Толстым (например, в описании последних впечатлений Анны во время поездки в коляске по улицам Москвы).

С. 73. soi-disant — так называемый.

дословной версии господина Фаули — см. «Рембо» (1946) Уоллеса Фаули.

les robes vertes… — зеленые и полинявшие платьица девочек.

С. 74. En vain… — Не обретешь ты, победив, / Оку и Пальмовый Залив…

bambin angélique — ангельский мальчик.

С. 76. groote — большой (голл.).

С. 77. un machin… — вещица вот такой длины, которая едва не ранила малютку в задок.

С. 78. мыслящие камыши — у Паскаля метафора человека, un roseau pensant.

С. 79. окрест среди инструментов… — Неполная анаграмма в первом слове подхватывается в пародии на фрейдистские шарады сновидений («символы в орхидном оркестре»), с. 81.

С. 80. Камаргскій — La Camargue, болотистая местность на юге Франции, соединенная с «комаром», — «москит» по-русски, «moustique» по-французски.

С. 81. sa petite collation du matin — легкий завтрак.

С. 82. tartine au miel — тартинка с маслом и медом.

С. 83. Осберх — еще одна добродушная анаграмма, перетряхнувшая имя писателя, с которым довольно комично сравнивали автора «Лолиты». К слову, название книги произносится ни на английский, ни на русский манер (с позволения анонимного сыча в недавнем выпуске «Times Literary Supplement»).

С. 84. mais ne te… — да не вертись так, когда надеваешь юбку! Хорошо воспитанная девочка…

С. 85. très en beauté — такая хорошенькая.

печенѣгъ — дикарь.

С. 87. grande fille — девушка, достигшая половой зрелости.

С. 90. «La Rivière de Diamants». — Мопассана и его «La Parure» (с. 94) на Антитерре нет.

à grand eau — обильно поливая полы.

désinvolture — раскованность.

лисзжоки — лилово-индигово-сине-зелено-желто-оранжево-красный.

С. 93. sans façons — бесцеремонно.

страпонтин — откидное сиденье, устраиваемое обыкновенно в передней части экипажа.

С. 94. décharné — истощенный.

cabane — хижина.

Allons donc! — Ах, бросьте!

pointe assassine — пуант (рассказа или стихотворения), который убивает художественные достоинства сочинения.

С. 94–95. quitte à tout dire… — даже рассказав все вдове, если нужно.

Il pue. — Он смердит.

«Атала» — небольшой роман Шатобриана.

С. 96. un juif — еврей.

С. 98. Et pourtant — И все же.

Ce beau jardin… — Этот прекрасный сад цветет в мае, но зимой никогда, никогда, никогда, никогда, никогда не зелен, не зелен, не зелен, не зелен, не зелен.

С. 106. Partie extérieure… — Внешняя мясистая часть, обрамляющая рот… Два края простой раны… Орган, который лижет.

С. 107. pascaltrezza — в этом каламбуре, сочетающем Паскаля (Pascal) со «scaltrezza» (ит. острый ум) и «treza» (провансальское слово, означающее «стебли с прядями»), французское «pas» (что значит «не») отнимает «pensant» (мышление) у «roseau» (тростник) в его знаменитом высказывании «человек — это мыслящий тростник».

С. 110. тургеневская Катя — инженю в «Отцах и детях».

trouvaille — удачная находка.

С. 111. Ада, любившая скрещивать орхидеи… — Здесь она скрещивает двух французских писателей, Бодлера и Шатобриана.

Mon enfant… — Мое дитя, сестра моя, подумай о толщине большого дуба в Танье, подумай о горé, подумай о нежности…

recueilli — сосредоточенный, поглощенный.

С. 115. puisqu’on… — раз уж мы заговорили об этом.

С. 117. les messieurs hument — господа вдыхают.

et tout le reste — и все остальное.

С. 118. м–ль Стопчина — представительница мадам де Сегюр (Ростопчиной), написавшей «Les Malheurs de Sophie», номенклатурно замещенных на Антитерре «Les Malheurs de Swann» («Злоключениями Свана»).

Au feu! — Пожар!

flambait — в огне.

Ашетт — «Cendrillon» (Золушка) во французском оригинале.

С. 119. en croupe — сидящих за их спинами.

С. 121. à reculons — задом.

С. 124. загадка Нила раскрыта… — Знаменитая телеграмма, посланная исследователем Африки.

Ah, parlez pour vous — Ах, говори за себя.

trempée — намокла.

С. 129. Je l’ai vu… — Я видела ее в одной из корзин для бумаг в библиотеке.

Aussitôt après — Сразу после.

С. 130. Ménagez vos américanismes — Не налегай на американизмы.

С. 131. Leur chute… — Медлительно их паденье… следя за ними, различишь…

Лоуден — имя-портмоне, соединяющее двух современных поэтов.

С. 132. Флоберг… — В этой псевдоцитате имитируется стиль Флобера.

С. 133. pour ne pas… — чтобы у нее не возникало всяких мыслей.

en lecture — [находится] у читателя.

С. 134. cher, trop cher René — дорогой, драгоценный Рене (слова его сестры в «Рене» Шатобриана).

С. 135. Хирон — целитель среди кентавров, отсылка к лучшему роману Апдайка.

эссеист лондонского еженедельника — отсылка к колонке Алана Брайена в «New Statesmen».

Höhensonne — ультрафиолетовая лампа.

С. 136. бобо — немного больно.

démission éplorée — исполненное печали извещение.

С. 136–137. les deux enfants… — посему двое детей могли предаваться любви без всяких опасений.

С. 138. fait divers — газетные сообщения.

С. 139. qui le sait! — кто знает!

С. 141. Генрих Мюллер — автор «Поксуса» и проч.

С. 142. Ma soeur, te souvient-il encore… — Первая строка третьей секстины «Романса к Елене» («Combien j’ai douce souvenance…») Шатобриана, написанного на овернский напев, который он услышал во время поездки в Мон-Дор в 1805 году. Позднее он поместил его в свою повесть «Le Dernier Abencerage» («Последний из Абенсерагов»). Заключительная (пятая) секстина начинается словами: «Oh! qui me rendra mon Hélène. Et ma montagne et le grand chêne!» — один из лейтмотивов настоящего романа.

Oh! qui me rendra… — О, кто мне вернет мою Алин, и большой дуб, и мою гору?

Lucile — так звали сестру Шатобриана.

La Dore… — Дор и проворную ласточку.

С. 146. Рокетт соотносится с «La Petite Rocque» Мопассана.

la chaleur du lit — постельное тепло.

С. 149. Mironton… — рефрен популярной песни.

С. 154. Багровым-внуком — отсылка к «Детским годам Багрова-внука» незначительного писателя Сергея Аксакова (1791–1859 н. э.).

С. 155. des hobereaux… — ирландские помещики, не так ли.

С. 159. (avoir le) vin triste — быть грустным во хмелю.

au cou rouge… — с красной и крепкой шеей еще полного сил вдовца.

gloutonnerie impardonnable — непростительное гурманство.

Tant pis — Очень жаль.

Je rêve. Il… — Я, должно быть, сплю. Не может быть, чтобы кто-то намазывал масло поверх всего этого несъедобного и отвратительного британского теста.

Et ce n’est… — И это только первый кусок.

lait caillé — простокваша.

С. 160. шлафрокъ — от нем. Schlafrock, домашний халат.

Tous les… — Все шины новые.

С. 161. Tel un… — Так дикая лилия вверяется пустыне…

Non, Monsieur… — Нет, господин. <…> Нет. Просто я очень люблю вас, господин, и вашу юную леди.

С. 162. qu’y puis-je? — что я могу с этим сделать?

С. 163. Спотыкаясь о дыни <…> заносчивых фенхелей… — отсылки к пассажам в «Саде» Марвелла и «Памяти» Рембо.

С. 166. D’accord — Условились.

С. 169. La bonne surprise! — Какая приятная неожиданность!

С. 171. amour-propre, sale amour — каламбур из «Воскресения» Толстого.

С. 172. quelque petite… — какая-нибудь маленькая прачка.

тулузская кокотка — намек на Тулуз-Лотрека.

С. 174. «Всадник без головы». — Название книги Майн Рида приписано Пушкину, автору «Медного всадника».

Толстой <…> сочинил повесть о Мюрате… — Герой Толстого, Хаджи-Мурат (кавказский предводитель), смешан с генералом Мюратом, зятем Наполеона, и с лидером якобинцев Маратом, убитым в собственной ванне Шарлоттой Корде.

С. 176. Люта — от Лютеции, древнего названия Парижа.

С. 178. constatait… — с радостью сообщил.

С. 179. Розовая заря <…> Трудолюбивый старик Чуз. — Бодлеровский отголосок.

С. 180. голубянки — маленькие голубые бабочки.

petit bleu — неформальное парижское название пневматической почты (экспресс-сообщение на голубой бумаге).

С. 181. cousin — комар.

С. 182. Mademoiselle une… — у молодой госпожи довольно сильная пневмония, мне жаль, господин.

«Granial Maza» — духи названы в честь «грани алмаза» Казбека в «Демоне» Лермонтова.

С. 185. silhouette inquiétante — пугающий силуэт.

С. 189. yellow-blue Vass — созвучно выражению «я люблю вас».

С. 191. Mais, ma pauvre… — Но, бедная моя, ведь то были фальшивые бриллианты.

С. 193. elle le mangeait… — она пожирала его глазами.

petits vers… — стишки и шелковичные червячки (шелкопряды).

С. 200. «Les Enfants Maudits» — «Про́клятые дети».

Du sollst… — А ты не слушай (нем.).

On ne parle pas… — Нельзя так говорить при собаке.

С. 202. Que voulez-vous dire? — О чем это вы?

С. 204. furchtbar — ужасный (нем.).

С. 205. д-ра Ероя… — Так глотающий букву «г» полисмен в «Человеке-невидимке» Уэллса именует его вероломного друга.

С. 207. Mais qu’est-ce… — Но что с тобой сделал твой кузен?

С. 216. unschicklich — непристойный (нем.), что Ада поняла, как «not chic» — немодный.

С. 220. «Микрогалактики» — известные на Терре как «Дети капитана Гранта» Жюля Верна.

С. 221. ailleurs — в другом месте.

С. 223. particule — «де» или «д».

Пэт Рицин. — Обыгрывается англ. patrician (патриций). На память приходит Подгорец (англ. underhill), наградивший этим эпитетом одного популярного критика, будто бы эксперта по русскому языку — той его разновидности, на которой изъясняются в Минске и где-то еще. Минск и шахматы также фигурируют в шестой главе «Свидетельствуй, память» (Speak, Memory. N. Y., 1966. P. 133).

С. 225. Гершчижевский — фамилия одного слависта соединена с фамилией Чижевского, еще одного слависта.

С. 226. Je ne peux… — Ничего, ничегошеньки не могу поделать.

Buchstaben — буквы алфавита (нем.).

c’est tout simple — это совсем просто.

С. 227. Pas facile — Нелегко.

mon petit <…> que dis-je… — моя милая <…> на самом деле.

С. 230. Elle est folle… — Она ненормальная и презлая, эта девица.

С. 231. «Beer Tower» — английское название каламбурно передает звучание фр. Tourbière.

Иванильич. — Пуф играет чудесную роль в «Смерти Ивана Ильича» Толстого, где он глубоко вздыхает под тяжестью друга вдовы.

С. 232. cousinage… — двоюродные опасное дело.

qu’on s’embrassait… — что вы целуетесь в каждом углу.

hier und da — здесь и там (нем.).

С. 233. raffolait… — вожделел одну из своих кобыл.

С. 234. Tout est bien? — Все в порядке?

Tant mieux… — Тем лучше. <…> Да, все в порядке.

С. 235. Тузенбах… — Ван цитирует последние слова бедного барона, который не знает, что сказать, но испытывает непреодолимое желание сказать что-нибудь Ирине, прежде чем уйти на роковую для него дуэль (в «Трех сестрах» Чехова).

контретанъ — искаженное русским произношением фр. contretemps (заминка).

С. 238. En effet — На самом деле.

Petit nègre… — Негритяночка на цветущей поляне.

С. 239. ce sera… — будем ужинать вчетвером.

машет у виска левым указательным пальцем <…> Crêmlin. — Этот ген не миновал его дочери (см. с. 226, где также возникает название крема).

С. 242. антрану свади — искаженное фр. entre nous soit dit (между нами говоря).

filius aquae — «сын воды», неважный каламбур от «filum aquae», срединный путь, «линия на середине потока».

С. 244. une petite juive… — весьма аристократичная евреечка.

ça va seins durs — «это будут крепкие груди», искажение «ça va sans dire», т. е. «само собой разумеется».

С. 245. passe encore — еще могут сгодиться.

Lorsque… — Когда жених уехал на войну, Ирен де Грандфиф, несчастное и благородное дитя, закрыла рояль и продала слона.

С. 246. стихи на случай сохранились… — «Евгений Онегин» (гл. 6, XXI).

С. 247. Klubsessel — кресло (нем.).

С. 248. devant les gens — на глазах у слуг.

Фанни Прайс — героиня «Мэнсфилд-парка» Джейн Остин.

С. 251. petits soupers — интимные ужины.

«Персты» — очевидно, пушкинский «Виноград»: «продолговатый и прозрачный, / Как персты девы молодой»: as elongated and transparent / as are the fingers of a girl (jeune fille).

ciel-étoilé — звездное небо.

С. 257. Vous me comblez — Вы меня балуете.

gelinotte — рябчик.

Le feu… — Такое нежное пламя девственности, которое <…> на ее челе.

С. 258. по расчету по моему — отсылка к Фамусову (в «Горе от ума»), высчитывающему срок беременности знакомой дамы.

quoi que ce soit — что бы там ни было.

en accuse la beauté! — подчеркивает его красу!

клерэтических — анаграмма.

С. 259. Tetrastes… — латинское название вымышленного «Рябчика Петерсона» с просторов Винд-Ривер-Рэндж (Wind River Range), Вайоминг.

С. 260. «Великий и достойный человек» — фраза, которой Уинстон Черчилль, британский политик, восторженно отозвался о Сталине.

voulu — преднамеренной.

С. 262. echt deutsch — настоящий немец (нем.).

Kegelkugel — кегельный шар (нем.).

Partir… — Уйти значит немного умереть, а умереть значит уйти немного слишком далеко.

С. 263. танжело — гибрид танжерина и помело (грейпфрута).

С. 265. Ou comme ça? — Или прямо так?

С. 270. sales… — грязные мелкие буржуа.

С. 271. Же тампри! — Искаженное je t’en prie, прошу тебя.

С. 273. Houssaie — французский эквивалент к «holly wood», остролистовый (падубовый) лес.

С. 274. enfin! — наконец-то!

пассати — псевдорусский каламбур с «pass water» (помочиться).

coeur de boeuf — бычье сердце (по форме).

С. 277. Quand tu voudras… — Когда тебе угодно, мой мальчик.

С. 279. La maudite rivière — «Проклятая река» (гувернантка, м-ль Larivière).

Vos «выраженции»… — Ваши «выраженции» довольно смелые.

С. 280. Jean qui… — Жан, который пытался вскружить ей голову.

С. 281. «Ombres et couleurs» — «Тени и краски».

С. 286. qu’on la coiffe… — приводить в порядок волосы на открытом воздухе.

un air entendu — понимающий взгляд.

С. 288. ne sait quand… — не знает, когда он вернется.

С. 290. Mon page… — Мой паж, мой прекрасный паж.

С. 292. C’est ma dernière… — Это моя последняя ночь в поместье.

С. 293. Je suis… — Я твоя, скоро рассвет.

Parlez pour vous — Говори за себя.

l’immonde… — безобразным господином Раком.

il la mangeait… — он потреблял ее гадкими поцелуями.

С. 295. qu’on vous culbute — что они валяют тебя.

С. 300. marée noire — черный прилив.

С. 303. j’ai des ennuis — у меня неприятности.

un petit topinambour — маленький топинамбур (клубень иерусалимского артишока); каламбур с «каламбуром» (calembour).

On n’est pas… — Какое недостойное поведение.

С. 304. Таппер. — «Вилла Виола», как и возникающий затем Бёрдфут (Bird’s-Foot Violet, Viola pedata, фиалка стоповидная), намекают на содомистские склонности противника Вана и двух секундантов.

С. 305. Рафин, эск. — обыгрывается имя натуралиста Рафинеска, в честь которого названа фиалка.

«До-Ре-Ла» — музыкально переставленное «Ладора».

С. 308. partie de plaisir — пикник.

С. 314. твою мать — окончание популярного русского ругательства.

С. 315. ich bin… — я неисправимый шутник (нем.).

С. 322. encore un… — еще один фантомчик (каламбур с enfant — ребенок, и fantôme — призрак).

С. 325. Отрывистая интонация последнего абзаца Первой части, придающая значительность сообщаемым сведениям (как бы произнесенным голосом постороннего), имитирует известную концовку Толстого с Ваном в роли Кити Левиной.

Часть вторая

С. 328. poule — подружка.

С. 329. Комси-комса — comme-ci comme-ça (так себе) в русском произношении.

«Bateau Ivre» — «Пьяный корабль», название стихотворения Рембо использовано вместо «Корабля дураков».

С. 332. ce qui… — что равносильно тому же.

maux — муки.

ариллус — мясистое образование у многих растений на семени или семяножке, частично или полностью покрывающее семя.

С. 333. Патагонии, рог Горн капитана Гранта… — В «Детях капитана Гранта» Жюля Верна слово «агония» (в найденном послании) оказывается частью «Патагонии».

С. 337. Сиранометрия — аллюзия на «Комическую историю государств и империй Луны» Сирано де Бержерака.

Некто — рус. quidam.

С. 338. Сиг Лэмински — анаграмма имени озорного британского романиста, живо интересующегося научно-фантастической литературой.

С. 341. Абенсераг, Зегрис — два мавританских рода в Гранадском эмирате (их вражда вдохновила Шатобриана).

С. 343. филь де жуа — девочка для утех.

С. 349. maisons closes — бордели.

С. 352. Künstlerpostkarte — почтовая открытка с изображением какой-нибудь известной картины (нем.).

С. 353. la gosse — малютка.

С. 354. subsidunt… — падают горы, и гордые никнут вершины.

С. 357. Smorchiama… — Давайте задуем свечу.

С. 359. Мармлед <…> у Диккенса — или, скорее, Мармеладов у Достоевского, на которого Диккенс (в переводе) оказал большое влияние.

С. 360. frôlements — легкие прикосновения.

С. 363. sturb — каламбур от нем. sterben, умереть.

С. 365. qui prend… — который взмывает вверх!

«Все, кого раньше любили…» — Суинберн.

С. 366. Larousse — каламбур: rousse — «рыжеволосый» по-французски.

С. 367. pourtant — все же.

cesse — перестань.

Glanz — глянец (нем.).

С. 368. Mädel — девушка (нем.).

С. 373. pour cogner une fraise — букв. «чтобы ударить (сбить) клубнику». Игра слов с англ. to coin a phrase — придумать новое выражение.

С. 374. крестик — кроме русского значения подразумевается англ. little crest — хохолок.

vanouissements — «замирая в объятиях Вана».

С. 377. Я не владею… — «Гамлет».

С. 378. si je puis… — если я могу так сказать.

la plus… — самая безобразная девушка на свете может дать намного больше того, что имеет.

С. 379. Wattebausch — комок ваты (нем.).

С. 380. à la queue… — гуськом, один за другим.

С. 382. транжирят денежки — подразумевается фр. faire des folies, прожигать жизнь.

С. 383. комонди — фр. comme on dit (как говорится) в русском произношении.

Vieux-Rose Stopchin — «Темно-Розовая Стопчина», книги Сегюр-Ростопчиной в издании «Bibliothèque Rose» (обложки темно-красного

цвета).

С. 386. l’ivresse… — опьянение скоростью, зачатия по воскресеньям.

Un baiser… — Один поцелуй, только один!

С. 394. ébats <…> à la Russe — шалости <…> на русский манер.

С. 395. mossio… — мосье ваш кузен (Monsieur votre cousin).

С. 396. jolies — прелестные.

Mademoiselle n’aurait… — Мадемуазель никогда не следовало бы принимать этого подлеца.

С. 399. lit d’édredon — то же, что «eiderdown bed» (постель с пуховым стеганым одеялом, наполненным гагачьим пухом или чем-либо подобным).

С. 401. D’ailleurs — Во всяком случае.

петарда — г-н Бен Райт, поэт на свой лад, постоянно ассоциируется с pets (фр. испускание газов).

байронка названа по имени лорда Байрона.

С. 402. réjouissants — уморительных.

Бекстейн — переставлены слоги.

«Любовь под Липами»… — В этом абзаце смешаны О’Нил, Томас Манн и его переводчик.

С. 403. Исчезающий Ван — намек на «vanishing cream», быстро впитывающийся косметический крем.

ist auch one — также является таковым (нем., англ.).

С. 406. my foute! — англ. my foot! (какая чушь!) соединяется с фр. ругательством (foutre).

«Carte du Tendre» — «Карта Нежной Любви», сентиментальная аллегория XVII в.

С. 407. Knabenkräuter — нем. орхидеи (и тестикулы).

С. 415. той самой мухи — см. с. 139, Serromyia.

форшмак — закуска.

С. 419. et pour cause — и неудивительно.

С. 420. Ober- или Unterart — надвид; подвид (нем.).

С. 422. бретер — профессиональный дуэлянт.

Au fond — Собственно.

С. 426. au dire… — по мнению критиков.

С. 427. Finestra — Окно (ит.).

С. 428. Oh! qui me rendra… — О, кто мне вернет мой холм, / и большой дуб, и мою девочку.

С. 429. puerulus — мальчик (лат.).

С. 430. en robe… — в розово-зеленом платье.

С. 433. Л-4 — «ладья четыре», шахматная нотация для обозначения позиции (обыгрывается имя женщины).

С. 436. c’est le mot — вот верное слово.

С. 437. pleureuses — вдовий траур.

С. 442. «трон» — капитал.

С. 445. Secondes pensées… — Хороша та мысль, которая приходит второй.

bonne — горничная.

Часть третья

С. 450. Désolé… — Сожалею, что не могу быть с вами.

С. 452. «Так ты женат?» <…> «Около двух лет». — См. «Евгений Онегин», гл. 8, XVIII.

С. 455. moue — гримаска.

С. 457. affalés… — сгорбившись в своих креслах.

С. 458. bouffant — пышный.

gueule… — обезьяний угол лица.

С. 460. troués — продырявленные.

С. 464. Das auch noch — Этого еще не хватало (нем.).

pendant que je — пока я.

С. 476. Obst — фрукты (нем.).

С. 480. Люблю тебя любовью брата… — «Мечтам и годам нет возврата; / Не обновлю души моей… / Я вас люблю любовью брата / И, может быть,

еще нежней» («Евгений Онегин», гл. 4, XVI).

С. 481. кутурай — вузавай… — неверное произношение слова «кутюрье» и выражения «vous aves entendu» — вы слышали (о нем).

С. 482. tu sais… — ты знаешь, это меня убьет.

С. 483. Insiste… — Из св. Августина.

С. 484. Генри. — Курсив в этом предложении намекает на стиль Генри Джеймса.

С. 486. En laid et en lard? — В уродливой и мясистой версии?

эмптовато — от англ. empty (пустой).

С. 488. qui n'en… — которая не надевает.

С. 491. pudeur — скромность, деликатность.

С. 492. прозит! — ваше здоровье! (нем.)

С. 493. Dix marches. <…> Dimanche <…> nappe. Après quoi… — Десять шагов. <…> Воскресенье. Завтрак на траве. Все дурно пахнут. Моя теща глотает свой зубной протез. Ее маленькая сучка <…> скатерть. После чего… (см. с. 476, дневники художника, которые читала Люсетта).

С. 494. Nox — ночью (лат.).

С. 498. Cher ami… — Дорогой друг, мы с мужем были глубоко потрясены ужасным известием. Именно ко мне — и я всегда буду помнить это! — чуть ли не накануне своей смерти бедная девушка обратилась с просьбой устроить ей каюту на «Тобакове», который всегда переполнен и на борт которого я впредь никогда не взойду, отчасти из суеверия и во многом из сочувствия к милой, нежной Люсетте. Я была так рада сделать все возможное, потому что кто-то сказал мне, что ты тоже будешь там. Впрочем, она сама мне сказала; она казалась такой счастливой, что проведет со своим дорогим кузеном несколько дней на верхней палубе! Психология самоубийства — тайна, которую ни один ученый не может объяснить. Я никогда не проливала столько слез, едва могу держать перо. Мы возвращаемся в Мальбрук к середине августа. Искренне твоя, Кордула де Пре-Тобак.

С. 500. И над вершинами Наказа… — пародируется четверостишие из «Демона» Лермонтова.

С. 501. le beau ténébreux — сумрачный (байронический) красавец.

С. 506. que sais-je? — как знать?

Merci infiniment — Бесконечно благодарен.

С. 508. cameriere — ит. слуга, который несет багаж наверх, чистит пылесосом комнаты и т. д.

С. 509. из невозможного либретто — оперы «Евгений Онегин», карикатуры пушкинского романа.

С. 511. cart de van — искаженное американским произношением «carte des vins» (винная карта).

С. 512. je veux… — я хочу завладеть тобой, дорогая.

С. 513. enfin — словом.

Лузон — искаженное американским произношением «Лозанна».

lieu… — место для созерцания и размышления.

С. 515. (Пауза.) — Эта ремарка и весь разговор пародируют манеру Чехова.

С. 516. мюирниночка — ирландско-русское ласковое слово.

С. 517. ces potins… — семейные пересуды.

Terriblement… — Страшно знатная и все такое. Она любит поддразнивать… говоря, что простому земледельцу, как он, не стоило жениться на дочери актрисы и торговца картинами.

Je dois… — Я должен следить за своим весом.

С. 518. Олоринус — от лат. olor — лебедь (любовник Леды).

хинон — искаженное «хитон» (под влиянием Нинон де Ланкло, куртизанки из упомянутого романа Вер-де-Вер).

С. 520. phrase consacrée — обычная фраза.

С. 521. д’Онски — см. с. 23.

comme des fontaines — как фонтаны.

n’a pas le verbe facile — лишен дара болтливости.

С. 522. Chiens… — Собаки не допускаются.

С. 523. rieuses — черноголовые чайки.

С. 525. «Голосъ Феникса» — русская газета в Аризоне. Финикс (Phoenix) — столица штата Аризона.

La voix… — Медноголосая телефонировала… Труба этим утром выражала недовольство.

С. 529. et le phalène — и мотылек (см. также с. 142).

Tu sais… — Ты знаешь, это меня убьет.

Часть четвертая

С. 534. et trêve… — и довольно этого расписного плафона моего стиля.

С. 537. ардис — стрела.

С. 538. Поразмышляйте над Яйцом — игра с англ. ponder (думать, размышлять) и фр. pondre — откладывать яйца (намек на известный парадокс: что было раньше, яйцо или курица).

С. 539. anime meus — душа моя (лат.).

каламбура-убийцы — игра слов с pointe assassine (из стихотворения Верлена).

С. 540. Лакримавале — несуществующий итало-швейцарский топоним, «долина слез».

С. 543. coup de volant — одним поворотом руля.

С. 546. дельта-распад образов — намек на распад воображаемого элемента.

С. 550. незадачливый мыслитель — Сэмюель Александер, английский философ.

С. 553. «Вилла Йолана» названа по имени бабочки, принадлежащей к подвиду Jolana, который распространен в Пфинвальде (см. также с. 132).

С. 554. Винн Ландэр — французское искажение фамилии Вайнлендер.

«Bruslot…» — «“Брусло” на мелководье» (то же судно упомянуто на с. 519).

С. 556. comment? Non… — Как? Нет, нет, не восемьдесят восемь, а восемьдесят шесть.

С. 559. droits… — Таможенные пошлины.

après tout — в конце концов.

on peut les… — см. с. 246.

С. 560. lucubratiuncula — писание при свете лампы.

«Duvet de Ninon» — «Пушок Нинон».

С. 563. Или, может быть, было бы проще… — Проще слететь с балкона.

С. 564. весточка от русалки — намек на Люсетту.

Часть пятая

С. 565. Степан Нуткин — камердинер Вана.

С. 571. блядушек — отголосок с. 410.

С. 572. Blitzpartien — нем. блиц (быстрые шахматы).

С. 574. Компиталия — перекресток (лат.).

С. 575. Э, п, и… — относится к «эпистемологические» (см. выше).

С. 580. J’ai tâté… — Я знал двух лезбиянок в своей жизни, этого довольно.

terme… — термин, который избегают использовать.

С. 583. le bouquin <…> quéri… — книгу <…> излеченную от всех загвоздок.

Quel livre… — Боже мой, какая книга!

С. 584. gamine — девочка.

Андрей Бабиков

Почерк «Ады»

1

В мае 1969 года увидел свет шестой английский роман Владимира Набокова «Ада, или Отрада. Семейная хроника». Самая толстая и сложная его книга создавалась преимущественно в швейцарском отеле «Montreux Palace» с 17 февраля 1966-го по 16 октября 1968 года, однако зерно будущего разветвленного романа обнаруживается уже в миниатюрном шедевре «Быль и убыль» («Time and Ebb»), написанном в Америке в 1944 году. В этом рассказе девяностолетний ученый в 2024 (или около того) году вспоминает свою жизнь в прошлом веке и говорит об открытии, изменившем и мир Антитерры, в котором развернется действие «Ады»:

Элементарные аллобиотические явления приводили их так называемых спиритов к глупейшим трансцендентальным допущениям и заставляли так называемый здравый смысл столь же глупо пожимать плечами в косую сажень. Наши обозначения времени показались бы им «телефонными» номерами. Они то так, то этак забавлялись электричеством, не имея ни малейшего понятия о том, что это такое, — и немудрено, что случайное

открытие его настоящей природы явилось чудовищной неожиданностью (я в то время был уже взрослый человек и отлично помню, как старый профессор Эндрюс плакал навзрыд в толпе изумленных людей во дворе университета)[1].

Запрет на использование электричества (вследствие случайного и трагического открытия его истинной природы) и замена его другими источниками энергии станет в «Аде» главной технической и этической особенностью антитеррийской цивилизации, в остальном очень близкой земной. В том же научно-фантастическом отношении одним из источников замысла романа о родственных планетах Терре и Антитерре мог быть шутливый обмен двух физиков на страницах «Нью-Йоркера», в котором много печатался и Набоков: 10 октября 1956 года Гарольд Фурт (Furth) опубликовал в этом журнале стихотворение «Опасности современной жизни», навеянное статьей известного физика Эдварда Теллера, предположившего существование миров в тех областях вселенной, в которых преобладает антивещество. Фурт описал встречу Антителлера, живущего где-то в космосе «в полосе антивещества», с прибывшими в его антимир землянами. 15 декабря 1956 года появился ответ Теллера — подробное письмо о гипотетической возможности такой встречи и ее катастрофических последствиях. Письмо завершалось словами:

Несмотря на столь печальный конец, я благодарен журналу «Нью-Йоркер» за упоминание моей персоны. Правда, в стихотворении упоминается лишь Антителлер, но я уверен, что в какой-то антигалактике журнал «Анти-Нью-Йоркер» уделил несколько теплых слов

вашему покорному слуге

Эдварду Теллеру[2].

В 1955–1956 годах тема антимиров широко обсуждалась в научной литературе в связи с открытием двух новых античастиц, антипротона и антинейтрона (попытка создания антиматерии упоминается и в набоковском «Бледном огне», 1962), однако допущение о существовании во вселенной анти-Земли (со своей историей, географией и прочим) в то время еще не проникло в новый замысел Набокова, сами черты которого оставались туманными до середины 60-х годов. Мысль использовать этот научный парадокс в романе и сделать главного героя специалистом по террологии (науке о планете-близнеце Терре) пришла позднее. К 1959 году относятся первые наброски философского сочинения «Текстура времени», ставшего впоследствии четвертой частью «Ады», и тогда же, незадолго до начала работы над «Бледным огнем», Набоков взялся за короткий эпистолярный роман «Письма на Терру», о зоологе, который отправляется на неизвестную планету, откуда шлет своей неверной возлюбленной, актрисе, странные, иносказательные письма[3]. Замысел романа в письмах претерпит коренную метаморфозу и воплотится в «Аде» в повесть Вана Вина «Письма с Терры». Сама же идея большого сочинения о другой планете не оставляла Набокова до конца ноября 1964 года, когда он, развив темы еще одного своего

фантастического рассказа «Ланс» (1951), предложил Альфреду Хичкоку фабулу сценария о межпланетной экспедиции:

За девушкой, восходящей звездой не совсем первой величины, ухаживает подающий надежды астронавт. Она относится к нему немного снисходительно; у нее с ним роман, но в то же время у нее могут быть другие любовники или любовник. Однажды его отправляют в первую экспедицию к далекой звезде; он отбывает и благополучно возвращается. Теперь их положения изменились: он — самый известный человек в стране, в то время как ее звездный рост остановился на среднем уровне. Теперь она только рада, что он у нее есть, но вскоре понимает, что он уже не тот, каким был до полета. Она не может понять, в чем заключается эта перемена. Время идет, она начинает тревожиться, потом пугаться, потом впадает в панику. У меня есть несколько интересных развязок для этого сюжета[4].

Любопытно, что во всех этих замыслах неизменными оставались три темы: артистической карьеры героини (с игрой слов: звезда/знаменитость — звезда/планета), ее неверности и далекого неизведанного мира. Оба начатых сочинения, «Текстура» и «Письма», еще никак не связанные между собой, долгое время ждали нового импульса к продолжению и могли бы остаться среди нереализованных вещей Набокова, если бы в конце 1965 года, выверяя новую редакцию своей автобиографии «Speak, Memory» («Другие берега» в русском переводе), он не нашел в форме писательских мемуаров ту универсальную повествовательную основу, которая позволила ему объединить философский и фантастический сюжеты в единое целое. К концу 1965 года относится и следующий лирический пассаж (с важной для «Ады» темой разделения времени и пространства), развитый затем в романе в сцене последнего посещения Ваном «Виллы Венус»:

Море рокочет, отступает, шурша галькой, Хуан и любимая юная шлюха — как, они сказали, ее имя, Адора? она итальянка, румынка, ирландка? — спит у него на коленях, накрытая его оперным плащом, свечка коптит в оловянной плошке, рядом с ней завернутый в бумагу букет длинных роз, пятно лунного света на каменном полу, близко от его шелкового цилиндра, все это в углу ветхого, некогда роскошного борделя «Вилла Венус» на скалистом средиземноморском побережье, приоткрытая дверь позволяет увидеть то, что можно принять за освещенную луной галерею, но на самом деле это полуразрушенная гостиная с обвалившейся наружной стеной, сквозь провал в которой слышно, как голое море, словно тяжело дышащее пространство, отделенное от времени, глухо рокочет, глухо отступает, волоча за собой миску, полную мокрой гальки[5].

Набоков привел этот набросок в эссе «Вдохновение» (1972), назвав его «первой пульсацией», «странным ядром книги, которая должна была вырасти вокруг него в течение следующих трех лет»; там же он сообщил рабочие названия романа: «Вилла Венус» («Villa Venus»), «Вины» («The Veens») и «Отрада» («Ardor»)[6].

21 февраля 1966 года он записал в дневнике:

Her name: Ada

ADA[7]

— и с этого времени структура нового большого романа окончательно сложилась в его голове. В интервью «New York Times» (апрель 1969 года) Набоков изложил его содержание так:

«Ада» представляет собой обширную и старомодную семейную хронику, длиною около 600 страниц. Детский роман между близкими родственниками Ваном Вином и Адой Вин в нетронутом уголке Новой Англии перерастает в пожизненную страсть с трагическими разлуками, безрассудными свиданиями и упоительным финалом на десятой декаде их космополитического существования.

Благородное и богатое семейство Винов — это ирландская фамилия — включает престранных родителей и трогательно прелестную сводную сестру Люсетту Вин. В их жилах течет ирландская и русская кровь — обычное дело в мире романа, в котором какая-то случайность в пространстве-времени позволила остаткам России счастливо раскинуться по большей части Канады под нашим звездно-полосатым флагом, оставив Европу «Юнион Джеку»[8], а Татарию — ее мрачным тайнам за позлащенным занавесом.

Решающая Четвертая часть «Ады» целиком посвящена исследованию — ученому исследованию — текстуры времени, преимущественно посредством метафор[9]. Двое главных героев умирают. Точнее, они замирают или затихают — во введенной в саму книгу рекламной аннотации — с эффектом perdendosi, музыкальный термин, значение которого — затеряться, сойти на нет[10].

2

«Семейная хроника» — главный труд знаменитого психиатра и философа Вана (Ивана) Вина (1870–1968?), написанный им в конце его долгой жизни при участии его сестры и любовницы Ады (Аделаиды) Вин (1872–1968?) — ботаника, энтомолога и несостоявшейся актрисы. Несмотря на соблюдение требований жанра, воспроизведение семейной корреспонденции, восстановление хронологии событий, сообщение значимых дат и приложенное к книге генеалогическое древо, сочинение Вана имеет немного общего с традиционной семейной сагой XIX века, этой беллетризованной отраслью родовых записок и фамильных преданий, приправленных публицистикой и бытовыми зарисовками, — к примеру, с «Семейной хроникой» (1856) С. Т. Аксакова, «Семейной хроникой князей Протозановых» (1874) Н. С. Лескова или «Будденброками. Историей

гибели одного семейства» (1901) Т. Манна. Его книга, предстающая грандиозной метафорой сотворения мира и нового историко-культурного «открытия Америки», каверзным зерцалом западной цивилизации, оказывается невиданной смесью изысканнейшей художественной прозы, писем, дневниковых записей и ученых отступлений и в целом представляет собой сводку результатов ментального эксперимента над природой времени и возможностями человеческой памяти. При этом автора скорее забавляет, чем удручает то обстоятельство, что необходимость прослеживать тончайшие связи между удаленными во времени и пространстве событиями, обилие темных мест, умолчания, естественнонаучные экскурсы и противоестественные страсти, специальные термины, неологизмы, замысловатые дву- или трехъязычные каламбуры, неаппетитные детали, неожиданные переходы от прошлого к настоящему, от первого лица к третьему, вторжения в повествование его сестры, ставящей под сомнение достоверность некоторых сведений, отвратят от его запутанной книги всех тех читателей, которых она могла бы привлечь пикантными подробностями, живописными сценами роскошного усадебного быта и захватывающими перипетиями в судьбах любвеобильных представителей блестящего общества.

В иной плоскости, но в том же смысле настоящий автор «Ады», за тридцать лет до того пристально обозревший в «Даре» историю русской литературы и общественной жизни XIX века, не мог не тешить себя мыслью, что его «хроника» разочарует рецензентов и университетских словесников, всех тех, кто увидит в ней философско-эротическую безделку стареющего писателя-энциклопедиста или новые «Поиски утраченного времени» в каламбурной призме «Улисса», если не «Поминок по Финнегану». Прекрасно сознавая архитектурные, живописные и поэтические достоинства своей книги, он отводил «Аде» точно определенное место в мировой литературе, написав на форзаце своего экземпляра: «Гениальная книга — перл американской литературы», как его отец в свое время надписал экземпляр «Госпожи Бовари»: «Livre génial — la perle de la littérature française»[11]. Уточнение о перле именно американской, не английской или европейской литературы, на наш взгляд, весьма важное — «Ада» действительно стала одним из главных достижений сравнительно молодой литературы Нового Света. Вместе с тем роман, созданный во франкоязычном кантоне Швейцарии русским дворянином, во многих отношениях оказался за рамками литературной традиции, идущей от Ирвинга, Готорна, По и Эмерсона, — прежде всего в силу того, что в нем получил обобщение весь предыдущий, русский и европейский, писательский опыт автора, эмигрантское прошлое которого было не столько гражданским, сколько, в определенном смысле, духовным состоянием.

Большая, неподатливая «Ада», которая начинается перевернутой сентенцией из «Анны Карениной», а кончается пространной рекламной аннотацией, помещенной в саму книгу, была написана без оглядки на модные течения и господствующие взгляды; ее место среди шедевров англоязычной прозы XX века по-прежнему трудноопределимо. Попадание «Семейной хроники» в верхний ряд списка бестселлеров 1969 года (наряду с «Крестным отцом», «Недугом Портного» и «Любовной машиной») стало скорее примечательным историко-литературным курьезом и, бесспорно, выдающимся достижением коммерческого отдела издательства, чем объективным свидетельством ее популярности.

Эмигрантские критики, за редкими исключениями, оставили роман без внимания. Владимир Вейдле в некрологе «Исчезновение Набокова» назвал «Аду» не интеллектуальным пиршеством, а «кровосмесительной оперой», «все декорации, весь реквизит» которой «отличаются <…> миллиардерской безвкусицей бесстильного стиля “grand luxe”, в котором нарисован и главный миллиардер, и его папаша, прозванный, в довершение всех роскошеств, Демоном»[12]. Юрий Иваск, не упомянув «Ады», но коснувшись следующего за ней «Сквозняка из прошлого» («Transparent Things», 1972), возобновлял старые претензии той части эмигрантской критики, которая сорок лет не признавала органичной набоковскую поэтику: «Словесные игрища Н<а>бокова забавляют, радуют. Но в них или за ними нет настоящего бытия»[13]. Иначе смотрел на эти вещи Николай Андреев (который еще в 1930 году заметил, что из-за подчеркнутого мастерства, уверенного владения Набокова своим умением, «создается легенда о его холодности, о его безжалостном распятии героев, о его бездушной игре в литературу»[14]), признавший, что Набоков «вошел в англо-американский мир как явление победителя, своеобразнейшего и ошеломляющего гения» и что «он кажется прообразом грядущих авторов будущей “космополитической культуры”»[15].

Как за сто лет до того другой перл американской словесности, «Моби Дик, или Белый кит» Мелвилла, который начинается этимологической справкой и учеными выписками и с которым у «Ады» немало общего, набоковский Magnum opus не был принят и оценен современниками. Не зная, с какого боку к нему подступиться, не в силах противостоять великой иллюзии мастерски созданного мира, заставлявшей видеть в монструозном В. В. жутковатое отражение самого́ насмешливого автора, влиятельные судьи (среди которых был и такой тонкий читатель, как Джон Апдайк) не скрывали своего раздражения, а журнальные рецензенты — своего отвращения. И разрозненные голоса тех, кто, перечитав книгу, воскликнул вслед за профессором Лагоссом: «Quel livre, mon Dieu, mon Dieu!», потерялись в этом критическом хоре.

Благодатная форма хроники, обнимающая целое столетие, множество персонажей, несколько стран и широкий круг научных занятий героев, позволила Набокову вместить в «Аду» значительно больше, чем в любой другой его роман, и свести воедино обе линии его двуязычного творчества. В апреле 1969 года, получив сигнальный экземпляр книги, он написал редактору «McGraw-Hill» Фрэнку Тейлору: «В какое негодование привела бы Толстого моя “Ада”!» — и признался, что «страшно истощен» ею[16]. А спустя несколько дней после выхода книги в Америке он написал на тетрадном листке:

Столъ пустъ. Ужасна пустота

Литературнаго поста!

12–V–69[17]

В письме от 28 февраля 1969 года к одному из пионеров набоковистики Семену Карлинскому Нина Берберова, читавшая в то время набоковский курс в американских университетах, поделилась своим мнением о новом удивительном романе (загодя посланном ей издательством в рецензионных видах): «Прочитала АДУ Набокова (она была мне прислана в верстке). Совершенно гениально и может быть абсолютно ненужно. Но это, как сказал Оскар Уайльд, как раз то, что нужно искусству»[18].

Два года спустя она развила свою мысль:

Три проблемы я считаю наиболее важными и, конечно, наиболее трудными: вопрос игры слов, вопрос заимствований (или влияний) — сознательных или бессознательных — и вопрос пародий. <…> Вторая проблема — заимствований (и в самом широком смысле слова!), или иначе — освобождение от традиций XIX века, < — > очень важна. Тут нельзя упускать из виду «Аду», потому что (как я считаю) в «Аде» нанесен русскому реалистическому (да и не только русскому) роману coup de grâce[19]. Возвращения к нему не может быть — по крайней мере сто лет[20].

Действительно, в «Аде» подверглась радикальному пересмотру сама идея достоверного отражения эпохи и судеб героев, однако удар по реалистическому роману Набоков нанес его собственными средствами. Проштудировавший для своего комментированного английского перевода «Евгения Онегина» (1964) сотни произведений европейской литературы XVII–XIX веков, Набоков в «Аде» подхватил и переосмыслил основательно забытые приемы и темы романа пасторального, социально-бытового, эпистолярного, романа воспитания, французских дворянских романов рококо, с их камерностью и утонченной эротикой, отдал дань всем основным элементам классического повествования: обстоятельным картинам природы и нравов, дорожным впечатлениям, светской и застольной беседе, рассуждениям об искусстве, байроническому разочарованию, конфликту отцов и детей, отношениям господ с прислугой и домашними учителями, поэтичным описаниям детских чувств, юношеского томления и плотского влечения, напоминающим стиль «Вильгельма Мейстера» Гёте, «Люцинды» Шлегеля, «Аталы» и «Рене» Шатобриана, «Мэнсфилд-парка» Остин и автобиографической трилогии Льва Толстого[21].

«Аду» можно рассматривать как роман философский, любовный, усадебный, нравоописательный, научно-фантастический, модернистский, психологический, аллегорический, семейный, автобиографический, как «роман художника» (Künstleroman), как «университетский роман» (campus novel) и как антироман, продолжающий смелые формальные поиски «Бледного огня». В этом отношении семейная хроника Набокова предстает грандиозным компендиумом европейской и американской литературы нового и новейшего времени, «музеем романа», по определению Альфреда Аппеля-младшего[22], в котором, однако, привычному, традиционному (первая любовь, супружеская неверность, путешествия в экзотические страны, месть, дуэль, сомнения и духовные поиски героя) противополагается фантастическая фабула и

необыкновенно усложненная манера изложения, ее пародийный характер, постоянная авторефлексия, крайняя литературоцентричность и металогичность (к примеру, указания Вана на посмертный характер своего существования после отъезда из Ардиса и разлуки с Адой), опрокидывающие любые онтологические основания «реалистического» повествования. «В книге реальность человека, предмета или обстоятельств, — писал Набоков в лекциях о Джейн Остин, — зависят исключительно от мира, который создан именно в этой книге. Самобытный автор всегда создает самобытный мир, и если персонаж или действие отвечают структуре этого мира, нас приятно потрясает художественная правда, сколь бы персонаж или явление ни казались неправдоподобными при перемещении в то, что рецензенты, бедные поденщики, именуют “реальной жизнью”»[23].

Уклончивая игра слов, стремление выразить трудновыразимое, переформулировать сказанное ранее, нащупать самый подвижный позвонок используемого термина, передать едва заметной сменой интонации движение души, след мелькнувшего воспоминания — всё это средства раскрытия в «Аде» внутреннего мира героев и, в конце концов, самой реальности в (возможном) истинном, а не условно-литературном значении слова.

Поэзия пронизывает и объединяет в художественное целое все тематическое многообразие романа. Русские, английские и французские стихи, строки из романсов, школьные вирши и «jingles», поэтические сравнения, ритмически организованные, украшенные находчивой аллитерацией лирические отступления, поэтические переводы, отсылки к русским, английским, французским, итальянским поэтам служат соединительной тканью повествования, совмещающего такой разнородный материал, как экфрасисы и аннотации, энтомологические и ботанические экскурсы. Даже научно-фантастическая линия «Ады», отдающая дань жанру, чрезвычайно популярному в Америке в 1950–1960-х годах, выдержана в романтическом ключе. В 1942 году Набоков сочинил русские стихи о двух людях (или одном человеке с раздвоенным сознанием), оказавшихся на Луне; им довольно того, что вокруг — неизвестные науке минералы и что у них «есть шахматы с собой, / Шекспир и Пушкин»[24]. Четверть века спустя, 22 июля 1969 года, через месяц после издания «Ады», в газете «Новое русское слово» были перепечатаны отклики известных людей на американскую лунную экспедицию, опубликованные в «Нью-Йорк таймс». После Далай-ламы, Патриарха Афинагора и Генри Форда был помещен и отклик Набокова:

Наш соотечественник, знаменитый писатель и поэт Владимир Набоков высказал мнение, вернее, свое чувство по поводу лунной эпопеи наиболее поэтично и кратко:

— Попирание лунной почвы, трепет под ногами ее камешков, одновременно страх и восхищение, и это чувство — где-то в глубине тела — отрыва от Земли, самое романтическое ощущение, когда-либо испытывавшееся открывателями… Вот все, что я могу сказать… Утилитарная сторона достижения меня не интересует[25].

При всех разительных отличиях романа Вана и Ады, этой «уникальной, сверхъ-императорской четы», счастливой очень по-своему, от истории долгого брака Набокова и его жены, в нем нашли отражение жизненные обстоятельства последних, особенно в швейцарские годы, уединенно проведенные на берегу Женевского озера. На саму мысль включить в «Семейную хронику» (в которой life story проистекает из love story) пометки и ремарки Ады его могла натолкнуть совместная с женой правка русского перевода «Лолиты», законченного в 1965 году. В рукописи перевода Вера оставляла вопросы и замечания, обращенные к мужу, которые затем или принимались, или уточнялись, или вычеркивались. Другим источником этого формального новшества в поздней прозе Набокова могло послужить его домашнее обыкновение обмениваться с женой записками. Иногда Вера отвечала на них или оставляла там же свои комментарии. К примеру, на следующей карточке со стихами —

Вѣрочкѣ

Съ бѣдной музой калякать

Я люблю въ эти дни:

Въ грязно-снѣжную слякоть

Стекаютъ огни.

О не надо такъ плакать…

В. Сиринъ

6-го Декабря, 1964

Монтрё

— она сделала приписку: «Я и не думала плакать! Но ради такой рифмы можно и это сказать». Схожим образом Ада в ответ на прохладные слова Вана о первом своем романе «Письма с Терры» заметила в скобках: «Я с этим не согласна, это милая, милая книжечка!»

Неизменно умалявшая свою роль в набоковском писательском тандеме, Вера в 1963 году экспромтом («на пари», как указано ее рукой) сочинила нижеследующее короткое стихотворение (в оригинале старая орфография). По очаровательному совпадению стихи были записаны на лицевой стороне «Отчета перед акционерами» миссурийской «McDonnell Aircraft Corporation» (Набоковы в 50–60-е годы играли на бирже, чем педантично ведала Вера), украшенного изображениями больших военных самолетов и маленьким земным шаром над рекламным лозунгом: «First

Free Man in Space» («Первый свободный человек в космосе»). В те годы корпорация создавала пилотируемые космические капсулы «Джемини» (по английскому названию созвездия Близнецов), успешные испытания которых способствовали осуществлению первого полета человека на Луну.

Она была как снег бледна

И на окно облокотилась.

Стаканчик выпит был до дна,

И сердце буйно колотилось.

Играли дочери в волан,

Аэроплан кружил над городом,

Шум замирал и нарастал,

На башне пробил час который-то.

Который? Ей-то все равно:

Для смерти всякий час подходит.

Закрылось строгое окно,

Закрылось, как на свете водится

[или: ……годится <.>

Закрылось строгое окно,

и только отблеск серебрится.]

Véra, 1963

Montreux[26]

Быть может, редактор «Ады» г-н Рональд Оранжер был не так уж неправ, что сохранил в опубликованном тексте всю его интимную полифонию.

4

Одно из самых ранних и верных русских описаний этой книги

принадлежит Евгении Каннак (урожд. Залкинд), знакомой Набокова 20-х годов и участнице берлинского «Клуба Поэтов». В 1975 году, после выхода французского перевода «Ады», она обратила внимание на одну ее важную особенность: «Я не знаю другого автора, который так вольно обращался бы со своими читателями, так откровенно подсмеивался над ними, уснащая свой английский текст <…> русскими или французскими фразами, которые порой забывает перевести. Но русскому читателю не только очень интересно, — ему даже лестно читать новые романы Набокова: так и кажется, что автор ему лукаво подмигивает, будто хочет сказать: “Только мы с вами понимаем, в чем тут дело”. В самом деле, кто, кроме русского читателя, оценит московский говорок первого мужа Ады <…> кто обрадуется неожиданно пролетевшей перед ним русской стихотворной строке, кто в описании парка, где встречаются подростки Ада и Ван, узнает дорожки русского имения?»[27]

В следующем году в заметке «Владимир Набоков. “Ада, или Жар”» она подробнее остановилась на русской теме романа и его общем стилистическом своеобразии:

— Что же это за страна, — спрашивает себя в недоумении читатель, — эта «Амероссия», расположенная где-то между Россией и Америкой, где все говорят по крайней мере на двух языках, где у помещиков, как бывало в старину, много преданных слуг — дворецкий, кучер Трофим, шустрые горничные, гувернантка-француженка (очень похожая на гувернантку Лужина — и самого Набокова), которая пишет почему-то рассказы Мопассана под псевдонимом Монпарнас?

Быт этой семьи напоминает быт былых времен: какие там семейные обеды — икра и водочка, рябчики с обязательным шампанским, какие тургеневские пикники в лесу, куда лакеи привозят в шарабане корзины с закусками, фруктами, вином! И какие бывают там иногда романтические дуэли!

Действие происходит якобы в конце прошлого века <…> Но в ту далекую эпоху существуют уже и телефон (под названием «дорофон»), и самолеты, и психоанализ, и даже кинематограф, где подвизается мать Ады, Марина, а потом и сама Ада.

Нетрудно в конце концов догадаться, что автор самовольно выбирает и сочетает отрывки времени и пространства, которые ему по той или иной причине пришлись по душе, и что этот роман, в котором главные роли играют маленькая нимфа и ее брат, их любовная связь, начинающаяся очень рано и продолжающаяся до бесконечности, — не что иное, как миф, сказка о счастливой и вечной любви.

Особую лирическую ноту вносит в повествование история Люсетты, младшей сестры Ады, с детства упорно и безнадежно влюбленной в Вана. <…>

При чтении этого романа, и в оригинале, и в переводе, мне всегда казалось, что он, в сущности, обращен не к иностранному, а к русскому читателю, — и как обидно все же, что по воле судьбы он не по-русски написан! В самом деле, кто, кроме русского, подметит классические цитаты, внесенные в текст без всяких кавычек, вроде: «я

вас люблю любовью брата…» или «где нынче крест и тень ветвей?..». Кто улыбнется целому ряду чеховских реплик (из «Трех сестер»), фигурирующих в диалогах? И все ли иностранные читатели знают, что Пушкин вовсе не написал поэмы «Всадник без головы»? <…>

Так на протяжении всего романа Набоков забавляется, придумывая вариации общеизвестных изречений и цитат, уснащая свой текст намеками, недомолвками, загадками. И, конечно, необходимо упомянуть об исключительном блеске и богатстве стиля, об игре автора со словами и в слова – давней его страсти, – о множестве аллитераций, анаграмм, акрофонических перестановок (напр., Таормина – Минотаора), создающих слова с новым значением: все это мы постоянно встречаем на страницах «Ады».

Но мне не хотелось бы создать впечатление, что этот роман написан целиком в пародийном или ироническом ключе, с оттенком характерного «надменного задора». В «Аде» с убедительной силой говорится и о совсем ином: о пролетающем времени, о том, что будущего нет, о любви, о жизни, о смерти. Это – сюрреалистический роман, протекающий в странном, фантастическом мире, и в нем утверждается власть любви и искусства, воображения и юмора[28].

Избирательное смешение в «Аде» разных временных и пространственных отрезков, о котором писала Каннак, было принято одними критиками за причуду эрудита, другими за высокомерие аристократа-пассеиста, раздраженного шумом мотоциклов на улицах старой Европы (замечательно, что мотоцикл Грега Эрминина в романе носит тютчевское название «Silentium»). На деле, пестрая мозаика, любовно сложенная Набоковым из ярких кусочков культурно-исторической смальты, это еще одна грандиозная метафора книги, своего рода художественная компенсация за все невзгоды и утраты (в том числе большого состояния и великолепного поместья), устроенные ему «дурой историей».

Вскоре после переезда в Америку из охваченной войной Европы Набоков написал воззвание о помощи русским соотечественникам, оставшимся в оккупированной Франции, в котором с горьким бесстрастием обратился к сегодняшним своим читателям:

Будущим восьмидесятникам может быть покажется, что мы жили в ах какую занимательную эпоху, сколько перевидали и так далее, но большинство моих современников вероятно согласятся со мной, что кроме дьявольской скуки, унизительного томления духа, вынужденного прислушивания к пошлейшим захлебываниям пошлейших феноменов на ярмарке великих людей и совершенно нестерпимого количества ничем не оправданных человеческих страданий, история не дала им ничего. Остановимся на этих страданиях… на этой сущей гололедице для мысли, где мысль скользит и падает[29].

Перевод такой книги, особенно на родной язык ее автора, сопряжен, разумеется, с немалым риском. Французская версия «Ады» («Ada ou l’Ardeur»), отредактированная Набоковым в 1975 году, взяла у двух переводчиков пять лет и довела одного из них до нервного срыва. В их распоряжении, впрочем, не было обширной современной набоковианы, подготовленной Дитером Циммером географической и хронологической карты романа, подробных комментариев к «Аде», которые с начала 1990-х годов составляет Брайан Бойд и в которых раскрыты сотни загадок и разъяснены многие внутренние связи этой сложно-сопряженной книги. Благодаря путеводителю Бойда и его обстоятельному исследованию «“Ада” Набокова: место сознания», русский переводчик чувствует себя в менее отчаянном положении, чем итальянские («Ada o ardore»), немецкие («Ada oder Das Verlangen») или испанские («Ada o el ardor») смельчаки 70-х годов.

Другим подспорьем ему служит русский перевод «Лолиты», который был окончен четой Набоковых осенью 1965 года, перед началом работы над «Адой». Синхрония двух текстов — неоценимый подарок провидения: разбирая слог русской «Лолиты», способы передачи игры слов, имен собственных, литературных реминисценций, специальных терминов и проч., можно составить вполне определенное представление о том, как сам автор переписал бы «Аду» по-русски[30]. И такая задача, несмотря на то, что практически невозможно воссоздать на русском языке — с сохранением и музыки, и сути — уже само двухчастное омофоничное название романа, не казалась Набокову неразрешимой, на что указывают по меньшей мере три документальных свидетельства.

В английском письме к Глебу Струве от 21 апреля 1975 года он сообщил:

Всю трудовую зиму я правил французский traduction intégrale[31] — со всем его внутренним убранством — моей «Ады», который теперь окончен и выйдет 30 мая[32]. В прошлом году Ровольт и команда его переводчиков несколько раз приезжали к нам в Монтрё на еженедельные сессии, посвященные их переводу «Ады», которая хорошо принята в Западной Германии. Я теперь подумываю перевести «Аду» на русский, не на совжаргон и не на солжурнальные клише [not sovjargon and not soljournalese], но на романтичный и точный русский язык, и если я не сыщу покладистого помощника, сделаю всю работу сам, как пушкинский Мисаил[33].

Новые замыслы, незавершенные вещи и нездоровье не позволили Набокову приняться за этот труд, однако на серьезность его намерений указывают рабочие карточки с русскими пометками и вопросами к тексту романа. На одной из них, 1967 года, карандашом, синими и красными чернилами, смешивая латинский, английский, французский и старую русскую орфографию с новой, он записал несколько русских эквивалентов к имени английского ботаника и к названиям растений, упомянутым в «Аде». На обороте карточки сделаны выписки (по-видимому, рукой Елены Сикорской) о значении названий «гинкго» и

«maidenhair tree» из специального итальянского словаря 1957 года и советского «Англо-латино-русского словаря-справочника древесных и кустарниковых пород» (Москва, 1966)[34].

E.[35] memo[36] Как русское название?

TURN[37]

Anglice[38]: Gingko или ginkgo

Джинкго? авторъ кто?

только идиоты не даютъ авторовъ.

Lat.: Ginkgo biloba (= Salisburia adiantifolia) авторъ?

«sunk»[39] синони<ми>я

О, не спутать съ adiantus [или адіантумъ] = maiden<h>ai<r> или Venus's fern (Russ<ian>: volosyanka[40] [zhe mexuze, gallice[41]])

кажется, G. biloba описано более раннимъ немцемъ — или несчастный Salisbury (1761–1828)[42] (= Солзбери, Russie[43]) открылъ это дерево китайское, но названіе, имъ, бѣднякомъ, данное, было «sunk» из-за сложной синонимики в отношении неприличного папоротника (Венериной волосянки) (и нѣкоторыхъ подозрительныхъ мховъ).

V. N. 1967

Кромѣ того: Buddleia (тропическое, но, думаю, здесь <растет?> в садах) это что, кусты, с гроздьями пасхально-фиолетовых цветов?[44]

В «Аде» это место, с историко-литературной пародией на прием потока сознания, блестяще развито в финале гл. 41, и едва ли экономный Набоков, тщательно фразируя на сбереженной им рабочей карточке русское пояснение, не имел видов — пусть отдаленных — на русский перевод книги.

Позднее к русской версии «Ады» обратилась Вера Набокова. Она сделала пробный перевод отрывков из глав 1–2 и 20–21 Первой части (на конверте с тонкой пачкой страниц пометка ее рукой: «unchecked, uncorrected» — «не проверено, не исправлено»), стремясь к дословной передаче содержания оригинала и стараясь не отклоняться от его тона и ритма[45]. Судя по тому, что в этих набросках имеется страница с вопросами и замечаниями к английскому изданию романа (на ней стоит вымаранная дата: 22–V–71), можно предположить, что переводом она

занималась во время подготовки второго дополненного (примечаниями Набокова) издания романа, которое вышло в Англии в 1971 году.

Обнаруженные в архиве наброски карандашом и чернилами, использованные нами скорее как камертон, чем партитура, стали нашим третьим, после изысканий Бойда и русской «Лолиты», пособием, приблизившим, как мы надеемся, наш перевод к авторскому представлению о том романтичном и точном русском языке, который ему подобает.

Благодарности / Acknowledgements

Приношу выражение сердечной признательности Брайану Бойду за неизменно доброжелательное и пристальное внимание ко всем этапам подготовки русской версии «Ады» и за обсуждение трудных мест романа.

Покойный Геннадий Александрович Барабтарло, обладавший даром убеждения, настоятельно советовал мне приняться за «Аду» после завершения русской версии набоковских «Арлекинов». В предисловии к своему переводу «Севастьяна Найта» он писал об «Аде»: «Около двадцати лет тому назад вдова Набокова попросила меня взяться за перевод “Ады” на русский язык. Я колебался: дело это казалось мне безпримерно трудным. Однако по размышлении я предложил некоторые необычные меры, например оставить в этой трехъязычной книге некоторую часть неудобопереводимого английского текста непереведенной — подобно тому как в оригинале оставлены без перевода многие русские jeux d’esprit и des mots, и послал на ее усмотрение две или три главки из середины книги. Она нашла, что мой перевод неудачен, и решила отказаться от самой мысли переводить “Аду” на русский язык. В отношении моей пробной попытки она была права, там было много неловкой акробатики, которую можно было принять за своевольную отсебятину»[46]. Позднее в своих письмах ко мне он несколько раз возвращался к этой теме, придя в конце концов к убеждению, что русский перевод «Ады», отвечающий авторскому представлению о хорошем вкусе, все же возможен, но лишь в том случае, если переводчик сумеет найти удачные иносказания для эротических пассажей (как сам Набоков сделал в переводе «Лолиты»), которые придадут русской версии, быть может, налет поэтической архаичности, но зато не пошлости. В 2018 году он стал первым читателем моего перевода четвертой главы Второй части романа и, высказав несколько ценных замечаний, включил его в свое русское издание набоковского дневника 1964 года («Я/Сновидения Набокова». СПб., 2021).

Мне приятно поблагодарить моих коллег и друзей, которые на разных стадиях этой работы уделили ей внимание. Во время нашей большой поездки по американским архивам русских эмигрантов в 2018 году покойный Олег Коростелев внимательно выслушивал мои интерпретации

замысла «Ады» и рассуждения о писательской эволюции Набокова и посоветовал мне опубликовать несколько готовых глав перевода в учрежденном им журнале «Литературный факт». Ольга Воронина, деятельно поддержав проект перевода «Ады», предложила множество уточнений и исправлений, часть из которых была мною принята, в то время как другие замечания побудили меня еще раз обдумать те или иные решения. Станислав Швабрин сделал ряд дельных нотабене на полях моего перевода, которые избавили его от нескольких неточностей и прямых ошибок и обнаружили возможности более пристального прочтения обманчиво простых мест. Я признателен Вадиму Шапочке за обсуждение тематических и стилистических регистров Первой части «Ады» в контексте «безумных 60-х» и Стивену Блэквеллу за обсуждение особенностей флоральных мотивов в романе, мифологическое или семантическое значение некоторых упомянутых в нем кустарников и деревьев.

Мне было бы намного сложнее довести этот труд до печатника без дружеского участия и содействия главного редактора издательства Corpus Вари Горностаевой.

Я благодарен Эндрю Уайли (Andrew Wylie), Джеймсу Пуллену (James Pullen) и членам The Vladimir Nabokov Literary Foundation за содействие в моих исследованиях набоковских архивов и в осуществлении настоящего издания.

Список условных сокращений

АНМС Бойд Брайан. «Ада» Набокова: место сознания / Пер. с англ. Г. Креймера. СПб.: Симпозиум, 2012.

БО Набоков Владимир. Бледный огонь / Пер. с англ., примеч. Веры Набоковой. Заметка, примеч. А. Бабикова. М.: АСТ: Corpus, 2022.

ВНАГ Бойд Брайан. Владимир Набоков. Американские годы. Биография / Пер. с англ. М. Бирвуд-Хеджер, А. Глебовской, Т. Изотовой, С. Ильина. СПб.: Симпозиум, 2010.

ВНРГ Бойд Брайан. Владимир Набоков. Русские годы. Биография / Пер. с англ. Г. Лапиной. СПб.: Симпозиум, 2010.

ДБ Набоков Владимир. Другие берега / Заметка., примеч. А. Бабикова. М.: АСТ: Corpus, 2022.

КЕО Набоков Владимир. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / Вступ. ст., примеч. В. П. Старка. Пер. Е. М. Видре, Г. М. Дашевского, Н. М. Жутовской и др. СПб.: Искусство — СПб., Набоковский фонд, 1998.

ПКВ Набоков Владимир. Письма к Вере / Коммент. О. Ворониной и Б. Бойда. М.: Колибри, 2017.

ПСН Бойд Брайан. По следам Набокова. Избранные эссе / Пер. с англ. Г. Креймера. СПб.: Симпозиум, 2020.

BCA Vladimir Nabokov Archive / The New York Public Library. W. Henry & A. Albert Berg Collection of English and American Literature. New York.

HLA Vladimir Nabokov Archive / Harvard University. Houghton Library. Cambridge, MA.

LCA Vladimir Nabokov Archive / The Library of Congress. Collection of the Manuscript Division. Washington D. C.

NDN Rivers J. E., Walker W. Notes to Vivian Darkbloom’s Notes to Ada // Nabokov’s Fifth Arc. Nabokov and Others on His Life’s Work / Ed. by J. E. Rivers and Charles Nicol. Austin: University of Texas Press, 1982.

NWL Dear Bunny, Dear Volodya. The Nabokov — Wilson Letters, 1940–1971 / Ed. by S. Karlinsky. California University Press: Berkeley et al., 2001.

SL Nabokov Vladimir. Selected Letters. 1940–1977 / Ed. by D. Nabokov and M. J. Bruccoli. San Diego et al.: Harcourt Brace Jovanovich, 1989.

SO Nabokov Vladimir. Strong Opinions. N.Y.: Vintage International, 1990.

TWS Think, Write, Speak. Uncollected Essays, Reviews, Interviews and Letters to the Editor by Vladimir Nabokov / Ed. by B. Boyd and A. Tolstoy. N.Y.: Alfred A. Knopf, 2019.

Комментарии

При подготовке комментариев нами учитывались наблюдения и сведения, содержащиеся в работах А. Аппеля-младшего, Г. А. Барабтарло, Б. Бойда, М. Вуда, Г. Грейбса, Д. Б. Джонсона, Г. А. Левинтона, Б. Э. Мэйсон, Ч. Никола, Э. Пайфер, С. Я. Паркера, К. Проффера, Дж. Е. Риверса и В. Уолкера, Д. Циммера и других исследователей, а также в следующих комментированных изданиях «Ады»: Nabokov V. Novels 1969–1974 / Ed. by B. Boyd. N.Y.: The Library of America, 1996 (примеч. Б. Бойда); Набоков В. Собрание сочинений американского периода: В 5 т. / Сост. С. Б. Ильина и А. К. Кононова. СПб.: Симпозиум. Т. 4. 1997 (коммент. С. Б. Ильина и А. М. Люксембурга); Nabokov V. Œuvres romanesques complètes / Édition publiée sous la direction de M. Couturier / Tome III. Paris: Gallimard, collection Bibliothèque de la Pléiade, 2021 (примеч. М. Буше, Я. Чупин, А. Эдель-Рой и М. Манолеску при участии Б. Бойда).

Первая часть романа и несколько глав Второй части прокомментированы участниками киотского читательского кружка под руководством Тадаши Вакашима: Annotations to Ada / The Kyoto Reading Circle (http://www.vnjapan.org). Наиболее полный комментарий к роману, находящийся в работе и опубликованный частично, содержится в двух следующих источниках: Ada Online with annotations by Brian Boyd (http://ada.auckland.ac.nz); Annotations to Ada by Brian Boyd (http://thenabokovian.org).

Состав и задачи нашего комментария определяются особенностями романа и переводным характером комментируемого текста. Они рассчитаны на подготовленного читателя, знающего основные произведения Набокова и канву его биографии. Следуя повествовательной стратегии Набокова (выдержанной и в примечаниях Дамор-Блока, к которым читателю следует обращаться перед тем, как искать справку в нашем комментарии), предполагающей постепенное обнаружение завуалированных деталей и отсылок при перечитывании романа, мы не комментируем многие автоаллюзии, особенно те, которые связаны с его опубликованными русскими сочинениями. Как уже было сказано, «Ада» — самый

литературоцентричный роман Набокова, вопросы формы выступают в нем на первый план, и потому реальный комментарий неизбежно оказывается вспомогательным по отношению к историко-литературному, назначение которого состоит в раскрытии художественных особенностей произведения, его источников, приемов, игры слов, объектов пародий и т. п. Ни в отношении реального комментария, ни в отношении историко-литературного, наши пояснения не претендуют на исчерпывающую полноту.

Перевод выполнен по изданию: Vladimir Nabokov. Novels 1969–1974 / Ed. by B. Boyd. N.Y.: The Library of America, 1996.

Генезис

Первые попытки литературной обработки темы двоемирия и создания романтической фантазии о прекрасной, обманчиво-благополучной и недоступной планете-близнеце относятся к крымскому периоду Набокова, сочинявшего в то время преимущественно лирические стихи. Б. Бойд обратил внимание на два архивных сочинения Набокова, поэтическое и прозаическое. Первое он обнаружил в рабочей тетради Набокова 1918 г. (BCA / Manuscript box / Album 2, p. 26–30), в которой молодой поэт записал следующее стихотворение (беловик с незначительной правкой):

Звезда

День, вечерея, пламенеет

и гаснет за холмом. Я жду.

Сад, углубляясь, голубеет…

Я жду любимую звезду.

Сквозь золотую зыбь заката, –

пленительна и холодна,

загадочно-зеленовата,

выглядывает вдруг она.

И, сладостно меня волнуя,

светлеет медленной чредой,

и снизу на нее гляжу я

с такой отрадой и тоской…

Вчера – печальный, утомленный

тщетою будничных страстей,
земною девой огорченный, —
я любовался долго ей.
Фонтаны трепетно-сквозные
чуть лепетали меж цветов;
прозрачные лучи ночные
пронизывали тень дубов
и на песке переливались,
как блеск мороза на стекле,
и розы черными казались
в лунно-лиловой смутной мгле.
И обольстительные тайны
я, замирая, воспевал
и с нежностью необычайной
мою звезду именовал
то изумрудом, то богиней,
то несравненным светляком,
перенесенным в сумрак синий,
в предел небесный, — волшебством.
И у фонтана, в дымке влажной,
склонясь на мрамор головой,
я задремал, — и вот протяжный
раздался шепот надо мной.
Протяжный, стройно-однозвучный,
как плеск медлительной струи,
вникал он вкрадчиво-докучно
в виденья тайные мои;

и неустанно, и упорно,
и все отчетливей звучал,
и я, прислушавшись покорно,
слова простые различал:

«Не льсти полуночному небу!
Ты заблуждаешься, поэт!
Мечты забудь, чудес не требуй:
во мне таинственности нет.
Я — в небе том же бесконечном;
я — тоже мир. Он омрачен
страданьем тем же вековечным
и той же бурей оглушен.
Я возрастаю те же злаки
и принимаю тот же прах,
и зло беснуется во мраке, —
в моих гремящих городах.
И пролетают надо мною,
то потухая, то горя, —
над равнодушною толпою
и над чертогами царя —
такие ж ночи и рассветы,
и есть, как и в краях земных,
полубезумные поэты
средь обитателей моих.
Да и сейчас — увы, не скрою! —
в таком же голубом саду,

пытаясь улететь мечтою

на недоступную звезду, —

печалится поклонник нежный

непостижимой красоты,

такой же бледный, безнадежный,

разочарованный, как ты;

и над собою в бездне чудной

обетованный видит рай, —

а потому, о безрассудный,

ты синевы не воспевай.

Ведь шепчется он, вдохновенный,

с той лучезарною звездой,

что называешь ты, презренный,

порочной, сумрачной Землей!»

23. IX.18

В другой тетради 1918 г., озаглавленной «Стихи и схемы» и хранящейся в вашингтонском архиве Набокова (LCA, Box 10, folder 25), имеется следующая зарисовка, которая представляет собой прозаическое изложение стихотворения или набросок отдельного сочинения, послужившего материалом для стихов (черновик с правкой и вымаранными словами, без даты):

Моя любимая звезда замерцала на лиловеющем востоке. Полный любовной печали, полный отвращения к темному и шумному миру, — я к ней воззвал. Я поведал ей свою тоску. Я называл ее чистой девушкой, несравненным алмазом, солнцем для бессонных. Много еще сравнений придумал я, но ни одно — казалось мне — не могло достаточно ярко определить сладостно-холодный блеск маленькой, далекой планеты. Долго я льстил ей, долго блуждал я по тропинкам сада, и ничего — ни жемчужные дуги плещущих фонтанов, ни красные розы, казавшиеся черными в лунной мгле, ни кипарисы, ни дальние горы, ни даже та, которую я безнадежно любил, — ничего не было прекраснее ее. И вдруг она заговорила. Это было, вероятно, сном. Усталый, измученный скорбью молодости, я, быть может, задремал на мраморной ступени. Но

я совсем ясно слышал шепот с неба, шепот, похожий на серебристый плеск ручья. «Глупенький человек! — нежно сказала звезда. — Чем ты восхищаешься? Ведь я тоже мир, не такой, как тот, в котором ты живешь, но тоже темный и шумный. В нем много печального и грубого, и — если хочешь знать — в этот самый миг один из обитателей моих — поэт, как и ты — смотрит на ту звезду, которую ты называешь “Землей”, и шепчет ей: “О чистая, о прекрасная!”»

Концовку этого наброска Бойд опубликовал в первом томе набоковской биографии. «Эта мысль оформилась в стихотворение и утратила свою силу, — пишет он, — чтобы через пятьдесят лет снова возродиться на Антитерре романа “Ада”» (ВНРГ, 184). Позднее Бойд добавил: «Венера в 1960-х годах еще считалась таинственным двойником Земли; окруженная зеркальным облачным покровом <…> она <…> кажется неплохой кандидаткой на роль Антитерры, “сестринской планеты”, причудливо отражающей нашу Терру» (АНМС, 348).

В приведенных сочинениях заметно влияние драмы А. Блока «Незнакомка» (1906), с ее образом девы-звезды, и стихотворения Дж. Байрона «Sun of the Sleepless» из цикла «Еврейские мелодии» (1815). Свой перевод этого стихотворения под названием «Солнце бессонных», сделанный 7 сентября 1918 г., Набоков поместил в сб. «Горний путь» (1923).

Публикация

Роман вышел в американском издательстве «McGraw-Hill» 5 мая 1969 г. Книжному изданию предшествовала публикация большого отрывка из Первой части романа в журнале «Playboy» с иллюстрациями Роберта Эндрю Паркера (апрель 1969). Осенью того же года Набоков составил «Примечания к “Аде”» (Notes to Ada by Vivian Darkbloom), которые вошли в английское издание 1970 г. («Penguin Books»; второе, уточненное издание — 1971), но при жизни Набокова в новые издания не включались. В свой экземпляр романа Набоков внес множество исправлений, они были учтены лишь после смерти писателя в новом американском издании «Ады» 1990 г. («Vintage»). Уточненный текст романа был опубликован в издании: Nabokov Vladimir. Novels 1969–1974 / Ed. by B. Boyd. N.Y.: The Library of America, 1996.

Публикации на русском языке

Русский перевод первых десяти глав романа под названием «Ада» (без второй части заглавия и подзаголовка), с предисловием и примечаниями переводчиков, означенных инициалами КМХ, был опубликован в 1991–1993 гг. в трех номерах петербургского «Вестника новой литературы» (№ 3, 4, 6). В 1993 г. отрывок из Первой части романа в переводе С. Таска появился в московском журнале «Столица» (№ 40. С. 58–62). Полный перевод романа под названием «Ада, или Страсть. Хроника одной семьи» подготовили А. Н. Гривенко, А. В. Дранов, О. Кириченко (предисловие А. Н. Николюкина, комментарии Н. Г. Синеусова); он был выпущен совместно двумя издательствами (Киев: Атика; Кишинев: Кони-Велес) в 1995 г. В следующем году в Москве вышла новая русская версия романа

под названием «Ада, или Радости страсти. Семейная хроника», перевод, предисловие и примечания С. Ильина. Этот перевод был переиздан в 1997 г. в составе собрания сочинений Набокова (СПб.: Симпозиум) с комментариями С. Б. Ильина и А. М. Люксембурга. Перевод О. Кириченко «Ада, или Эротиада. Семейная хроника» (предисловие, комментарии Н. Мельникова) вышел в 1999 г. (М.: АСТ; Харьков: Фолио). В 2020 г. в московском журнале «Литературный факт» (№ 2) был опубликован наш перевод пяти глав из Первой части романа, с предисловием и комментариями (которые в настоящем издании печатаются в новой редакции). Наш перевод четвертой главы Второй части, вместе с несколькими другими отрывками из романа, был включен в издание: Я/ Сновидения Набокова / Состав., публ., коммент. Г. Барабтарло. Пер. Г. и Аллы Барабтарло. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2021.

Заглавие

Заглавие романа «Ada or Ardor» представляет собой двухчастную конструкцию, обе части которой фонетически и тематически соотнесены друг с другом. Заимствованное английским и многими романскими языками латинское слово «ardor» имеет следующие значения: огонь, жар, блеск, сверкание, пыл, рвение, страстность, предмет любви (в переносном смысле). Его последний слог повторяет союз «or» (или), делящий название на две части по типу бинарной связки дизъюнкции (a V b), которая предполагает постановку вопроса о соотношении частей в составном утверждении.

Вместе с тем существительное «or» в английской геральдической терминологии означает «золотой или желтый цвет», что отвечает генеалогической теме романа (ср. в «Бледном огне»: «чудный план королевского дворца в Онхаве, который я начертил со всевозможными геральдическими тонкостями, тронутый золотой краской <…>»); это специальное английское значение связывается с французским «d’or» (золотой, златой; doré – золоченый), звучащем в последнем слоге «ardor», и служит в «Аде» источником важного поэтического мотива, возникающего снова и снова в топонимах, гидронимах, именах, неологизмах, каламбурах (Бра д’Ор, Ладора, la Dore, Ладорах, Адора, Аддор, Дора, дорофон, доровизор, Кондор).

В свете частой в романе двуязычной словесной игры, прямого использования русских слов (латиницей) и указаний на ту или иную (смысловую или фонетическую) связь английских, французских и русских терминов, его название предстает полилингвистической шарадой, таящей как английские (например, odor – запах, door – дверь, ado – беспокойство, препятствие, road – дорога, odd – непарный, чуждый, странный, rood – крест, распятие), так и русские значения (ад, <c>ад, рад и рада, род, дар, орда), тем или иным образом включенные в общую систему мотивов. Слово «ardor» созвучно не только с именем героини (в Ч. 1, гл. 5 романа об этом сказано так: «Она произнесла ее имя <Ада> на русский манер, с двумя глубокими, темными “а”, что напомнило звучание английского слова “ardor” <…>»), но и с названием протекающей в Ардисе реки Ладоры (Ladore), поэтизированной и мифологизированной в романе двумя ее главными героями. Кроме того, «ardor» связывается с созвучными словами «Ardis» (название поместья и парка), «arbor» (пергола, навес, увитая зеленью беседка) и

«harbor» (гавань, убежище), проводящими мотив укрытия, приюта для двух главных героев, предавшихся опасной (и даже преступной) страсти. В интервью 1967 г. Набоков связал «ardor» с прилагательными «arduous» (трудный, ревностный) и «audacious» (дерзкий, оригинальный) (TWS, 363).

Двойное заглавие романа, где первая часть — имя, а вторая — понятие или выражение, раскрывающее это имя или содержание произведения, обращает читателя к старинной литературной традиции. Прежде всего следует назвать тематически близкие «Аде» повести Франсуа Рене де Шатобриана «Атала, или Любовь двух дикарей в пустыне» (1801) и «Рене, или Следствие страстей» (1802). Набоковское заглавие вызывает в памяти, кроме того, следующие книги: «Кандид, или Оптимизм» (1759) Вольтера, «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) Ж.-Ж. Руссо, «Жюстина, или Несчастья добродетели» (1791) маркиза де Сада, «Гамиани, или Две ночи излишеств» (1833) Альфреда де Мюссе; из английских — «Памела, или Вознагражденная добродетель» (1740) С. Ричардсона, «Моби Дик, или Белый кит» (1851) и «Пьер, или Двусмысленности» (1852) Г. Мелвилла, «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854) Г. Торо.

«Ада» — третий после «Машеньки» (1926) и «Лолиты» (1955) роман Набокова, в названии которого использовано женское имя; Набоков вновь вынес имя героини в заглавие в своем последнем незавершенном романе «The Original of Laura» («Оригинал Лауры», 1975–1977), наброски нескольких глав которого были опубликованы в 2009 г.

Для русского заглавия «Ады» требовалось подобрать созвучное с именем героини короткое и выразительное поэтичное слово с начальной гласной, семантически близкое к «ardor», несущее схожие коннотации и применимое в качестве мотива. «Ада, или Отрада», с удачным повторением «ада» и звучанием начального «о» как «а» (атрада), было вторым или третьим нашим рабочим решением, ставшим окончательным благодаря одному счастливому наблюдению. В 1933 г. Набоков сочинил рассказ «Адмиралтейская игла» — эмоциональное обращение русского героя к давней возлюбленной, разлука с которой (как и в случае Вана и Ады) не переставала мучить его многие годы. Вспоминая свое последнее свидание с ней, он приводит следующие стихотворные строки, записанные в строчку:

Когда, слезами обливаясь,

ее лобзая вновь и вновь,

шептал я, с милой расставаясь,

прощай, прощай, моя любовь,

прощай, прощай, моя отрада,

моя тоска, моя мечта,

мы по тропам заглохшим сада

уж не пройдемся никогда…[47]

В поздней английской версии рассказа, созданной Набоковым вместе с сыном в 1974 г., эти стихи (названные «подражанием романсу» в итоговом поэтическом сборнике Набокова 1979 г.) были сокращены и отнесены к (вымышленной) «цыганской песне». Интересующее нас слово «отрада» Набоковы перевели не как joy, pleasure, delight (значения, предлагаемые русско-английскими словарями), а как ardor:

Farewell, my anguish and my ardor,

Farewell, my dream, farewell, my pain!

Along the paths of the old garden

We two shall never pass again[48].

В «Лолите» слово «ardor» встречается лишь однажды (Ч. II, гл. 7) во множественном числе, и в своем русском переводе романа Набоков передал это «ardors» как «любовный восторг». Переводя на английский язык «Евгения Онегина», Набоков словом «ardor» перелагал слова «жар» и «пыл», использованные Пушкиным в переносном значении любовного томления или юношеского восторга: «И юный жар, и юный бред…» (Гл. 2, XV), «Питая жар чистейшей страсти» (Гл. 3, XI), «Нас пыл сердечный рано мучит» (Гл. 1, вариант к строфе IX).

Мы не знаем, нашел ли Набоков какое-либо русское название для «Ады», когда обдумывал возможность создания ее русской версии. Отступив от принципа точности перевода, свой следующий роман, «Transparent Things» (буквально: прозрачные вещи или предметы), он называл «Сквозняком из прошлого» — по строчке из собственного старого стихотворения. Мы можем лишь предположить, сославшись на его поздний перевод стихотворения из «Адмиралтейской Иглы», что версия «Ада, или Отрада» могла быть среди тех, которые он рассматривал.

Подзаголовок романа представляет собой жанровое определение, отсылающее к русской хроникально-мемуарной традиции: «Семейной хронике» (1856) С. Т. Аксакова, «Захудалому роду. Семейная хроника князей Протозановых» (1874) Н. С. Лескова, «Хронике четырех поколений» (1886) В. С. Соловьева. Жанровое определение в названии романа использовал американский писатель Джон Чивер (1912–1982), автор «Семейной хроники Уопшотов» («The Wapshot Chronicle»), 1957 (об одном из рассказов Чивера Набоков отозвался с похвалой в эссе «Вдохновение», 1972). Английское «chronicle» и русское «хроника» имеют одинаковое (греческое) происхождение, однако в английской критике применительно к художественной литературе более распространено определение «сага» (то есть сказание) и «семейный

роман» (family saga, family novel), в то время как хроники (летописи, анналы) чаще относят к историографии (так, «Марсианские хроники» Р. Брэдбери, 1950 г., по замыслу представляют собой «историческую» летопись колонизации Марса).

Традиционность набоковского подзаголовка обманчива. Ему противоречат нелинейное, псевдодокументальное повествование и фантастическое содержание романа, построенного на искажении земной хронологии и тщательно выстроенной системе анахронизмов. Вынесенный в подзаголовок термин приобретает скорее философское, а не литературное значение в книге, во многом посвященной проблеме познаваемости времени. Схожим образом в собственных воспоминаниях «Другие берега» (1954) Набоков стремился раскрыть тематическую взаимосвязь (узор) отдаленных событий, а не выстроить их в хронологическом порядке. Как заметил Г. Грейбс, «<…> первые главы романа ставят под сомнение функцию “Генеалогического древа”, поскольку ясно дают понять, что это не роман поколения [generation novel], примером которого является “Сага о Форсайтах” Голсуорси. “Семейная хроника” <…> начинается примерно со времени рождения хроникера (Вана) рассказом об отношениях между Аквой, Мариной, Даном и Демоном, и то, что следует далее, в первую очередь касается любовной связи между Ваном и Адой. Таким образом, мы могли бы лучше описать “Аду” как историю любви в романтической традиции или, самое большее, как бурлескную альтернативу семейному роману в форме “истории брака” [marriage story] (что подсказано искаженной вводной цитатой из “Анны Карениной”). В то время как более половины всей книги (и две трети длинной Первой части) посвящено <…> любви Вана и Ады, другим членам семьи, представленным в “Генеалогическом древе”, уделяется гораздо меньше внимания. После завершения экспозиции в первых трех главах, которые также включают отчет о судьбе Аквы, подробно рассматривается только Люсетта, сводная сестра Вана и Ады. Судьбы остальных, жизнь и смерть Марины, Демона и Дана, затрагиваются лишь время от времени и только тогда, когда это имеет отношение к жизни Вана и Ады» (Grabes H. Fictitious Biographies: Vladimir Nabokov’s English Novels. The Hague — Paris: Mouton, 1977. P. 70. Пер. мой).

Вместе с тем «Ада» отвечает одному из главных критериев жанра семейной хроники — исторические события и общественные перемены изображены в ней сквозь призму истории семьи, показательной для своего времени. В центре внимания не социальные потрясения или tranches de vie натуралистов, а драматичная история упадка блистательного и знатного рода.

Дореформенная орфография

Одна из стилистических особенностей романа и одна из (парадоксальных) трудностей его перевода на русский язык состоит в том, что многие слова и выражения в нем приводятся по-русски латиницей, сопровождаемые, как правило, переводом или пояснением в самом повествовании или в примечаниях Набокова. Последний указывает, что транслитерация во всех таких случаях основана на дореформенной орфографии, не поясняя, как само собой разумеющееся, что свободно владеющие русским языком герои иной орфографии не знают и что

революционные нововведения в России, изменившие нормы правописания, не имеют к истории Антитерры никакого отношения. К тому же, как следует из мимолетного замечания в Первой части книги, русскоязычные герои, по всей видимости, плохо владели кириллицей, пользуясь преимущественно латиницей («Инструкция на русском или болгарском нисколько не проясняла дело, поскольку была написана не современной латиницей, а старинной кириллицей, чудовищной азбукой, которой Дан так и не смог освоить»).

Транслитерация русских слов и выражений в «Аде», в отличие, например, от жаргонного «надсата» в «Заводном апельсине» (1962) Э. Берджесса, знакомит англоязычного читателя с их аутентичным звучанием, воспроизводящим родную речь автора книги. Такие места в романе не менее познавательны и для русского читателя, они позволяют ему отметить, к примеру, какого разбора язык у его героев, какова их манера изъясняться, в каких случаях они предпочитают переходить на русский (а в каких на французский), насколько изысканно или обыденно то или иное выражение (все это характеризует, кроме прочего, русский словарь Набокова середины 60-х гг.) и т. п. Но как поступить с русским текстом Набокова в русском же переводе романе? То правописание, которое автор «Семейной хроники» Ван Вин, воспитанник своего домашнего наставника А. А. Аксакова, усвоил в детские годы, для современного русского читателя является в лучшем случае архаичным. В переводе, подготовленном по действующим правилам русской орфографии, старые русские формы производят впечатление, не предусмотренное художественной задачей автора (хотя само по себе обращение к дореформенной орфографии в конце 60-х гг., т. е. уже после того, как Набоков по новой орфографии издал свой русский перевод «Лолиты», может в равной мере озадачить и отечественного, и западного читателя). Возникающие на первой же странице Severnïya Territorii (как Набоков транслитерировал Сѣверныя Территоріи), а потом, к примеру, biryul'ki proshlago (бирюльки прошлаго), pozharskiya kotletï (пожарскія котлеты), Estotskiya Vesti (Эстотскія Вѣсти), razskazhi zhe (разскажи же), chto tam interesnago (что тамъ интереснаго) и многие другие русские слова, названия, целые фразы и стихотворные строки стали бы искусственными препятствиями в потоке привычной кириллицы. Отказаться же вовсе в русской версии романа от старой орфографии означало бы лишить читателя важного слоя оригинальной набоковской лексики и упростить замысел писателя. Поэтому в нашем переводе мы воспроизводим написанные латиницей русские слова и выражения кириллицей (выделяя их курсивом) по нормам дореформенного правописания (кроме некоторых мест в прямой речи, избегая двусмысленности), следуя авторскому указанию и сохраняя не требующий перевода русский язык Набокова в неприкосновенности.

География и топонимика

Многие географические названия в романе или близки исторически (как, например, Люта — от Лютеции, древнего поселения на месте современного Парижа), или созвучны (как Гудсон — Гудзон, Монт-Ру — Монтрё), или идентичны земным. Некоторые топонимы и гидронимы завуалированы более прозрачно (в том числе шутливо-каламбурно, например: Багамуды — Багамские и Бермудские острова; Акапульково — Акапулько и Пулково, Иванкувер — о. Ван, Иваново и Ванкувер), другие

менее. К примеру, место Нью-Йорка на Антитерре занимает город Манхэттен (поэтому в нашем переводе мы используем предлог «в», а не «на» — в Манхэттене). Источник этой замены, возможно, содержится в начале первой главы «Моби Дика» Мелвилла, где герой предлагает читателю обратить внимание на «островной город манхэттенцев» («insular city of the Manhattoes»), не упоминая Нью-Йорка. Схожим образом Гарвард (в земных реалиях находящийся в Кембридже, штат Массачусетс) становится в романе самостоятельным городом Аардварком (неполная анаграмма названия университета и англ. aardvark — трубкозуб, африканский муравьед), причем его местоположение в Новой Англии, недалеко от Бостона, соответствует земному. Иначе Набоков поступает с Ватиканом, статус которого он понижает до «фешенебельного римского курорта» (что отвечает в целом ироничному отношению автора к католической конфессии в романе). Вместе с тем исходное земное название, указующий термин, чаще всего не позволяет определить положение того или иного антитеррийского географического объекта на карте вымышленной планеты, — к примеру, провинциального Якимска (произведенного от Якима, города на северо-западе США, и от московского района Якиманка), Балтикомора (Балтимор, Балтийск, Балтийское море и озеро Комо) или Калугано — мрачного промышленного города на озере, образованного путем соединения Калуги (расположенной в романе в штате Нью-Чешир — т. е. в преобразованном Нью-Гэмпшире) со стоящим на швейцарском озере курортным Лугано.

Литературным источником набоковского приема с отнесением европейских топонимов к Америке могут быть слова Стивы Облонского в начале «Анны Карениной»: «Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да, как это было? Да! Алабин давал обед в Дармштадте; нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был в Америке» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1934. Т. 18. С. 4).

Единицы измерения

В романе наряду с метрической системой (километр, кубический метр, миллиметр) используется старая русская система мер (вершок, верста, пуд), современная английская (дюйм, ярд, миля, фут, фунт) и американская (под галлоном в романе подразумевается американская, 3,785 л, а не английская, 4,546 л, мера объема). Температура указывается не по принятой в США шкале Фаренгейта, а по шкале Цельсия, применяемой в Международной системе единиц.

Родословное древо

Поместив в роман генеалогическую таблицу, Набоков воспользовался приемом, к которому уже обращались его предшественники. К примеру, Э. Золя включил «Родословное древо Ругон-Маккаров» в свой многотомный цикл романов «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи во времена Второй империи» (1871–1893), Дж. Голсуорси приложил к «Саге о Форсайтах» (1922) «Родословное древо Форсайтов». Однако в случае «Ады», как отметил Бойд, решение снабдить книгу родословным древом было мотивировано скорее ходом собственных набоковских изысканий: для своего комментированного

английского перевода «Слова о полку Игореве» (1960) он составил таблицу «Родословная русских удельных князей», имеющих отношение к «Слову». В ней упомянут полоцкий князь Всеслав Брячиславич (ум. в 1101 г.), именем которого Набоков назовет сначала Кинбота / Боткина в «Бледном огне» (в Указателе к роману он означен как «Карл Ксаверий Всеслав, последний король Зембли, прозванный Возлюбленным» — БО, 309), а затем в «Аде» родоначальника кн. Всеслава Земского (линия к «долгожителю» русской литературы поэту, критику, историку, мемуаристу и другу Пушкина кн. Петру Андреевичу Вяземскому).

Год рождения Земского (1699) призван напомнить год рождения Набокова (1899), а его научные занятия (сообщается, что он был другом Линнея и автором «Flora Ladorica») — набоковское увлечение естествознанием. В семьдесят один год Земский женился на пятнадцатилетней Софье Темносиней (в столь же юном возрасте ее внучка Дарья станет женой генерала Дурманова), фамилия которой тоже была почерпнута Набоковым из истории русских князей: прозвище Темносиний носили князья из отрасли Ярославских Владимир Семенович и его сын Василий, жившие приблизительно во второй половине XV — первой половине XVI столетия (Сахаров И. В. Генеалогия в романе Владимира Набокова «Ада» // Известия Русского Генеалогического общества. Вып. 27. СПб., 2014. С. 114). Традиционное княжеское имя София закрепилось еще в именнике Рюриковичей и затем вошло в круг имен династии Романовых.

Приложенная к роману генеалогическая схема (авторство которой остается загадкой) представляет официальную версию семейной истории; как заметил американский исследователь, реконструкция реальных родственных связей — главная тайна и мотивация сюжета (Джонсон Д. Б. Миры и антимиры Владимира Набокова / Пер. Т. Стрелковой. СПб.: Симпозиум, 2011. С. 173). В отношении обстоятельств жизни некоторых пращуров родословное древо предстает единственным скупым источником сведений. К примеру, отец Демона Дедал Вин (год рождения которого, 1799, вновь «рифмуется» с пушкинским и набоковским) в романе упоминается вскользь лишь однажды, а мать, графиня Ирина Гарина (умершая, согласно таблице, в восемнадцать лет, — по-видимому, разрешаясь от бремени), не упоминается вовсе. Ван Вин родился в год смерти своей бабки Дарьи Дурмановой, а его сестра Ада — в год смерти своего деда Ивана Дурманова. Кроме самого Вана, в роду было два долгожителя, Всеслав Земский и Эразм Вин.

Единственный развернутый комментарий повествователя семейной хроники к истории собственного рода (дополняющий генеалогию именем еще одного Ивана, четвертого в роду, князя Ивана Темносинего) содержится в первой главе романа:

Бывший вице-король Эстотии, князь Иван Темносиний, отец прапрабабки двух наших детей, княжны Софьи Земской (1755–1809), и прямой потомок Ярославских князей дотатарских времен, носил это имя с тысячелетней историей. Оставаясь невосприимчивым к роскошным переживаниям генеалогической осведомленности и равнодушным к тому обстоятельству, что болваны относят как безразличие, так и горячность в этом вопросе в равной мере к проявлению снобизма, Ван не мог не испытывать эстетического волнения из-за бархатного фона своего происхождения, который он всегда различал сквозь черную листву фамильного древа как

утешительное вездесущее летнее небо.

В верхней части генеалогической таблицы, «кроне» фамильного древа, значится имя княжны Софьи Темносиней, соотнесенное с мудростью и небесами, в то время как имя ее мужа соотносится со славой и землей (и со славой земной). В истории рода, таким образом, находит отражение космогонический миф о союзе Земли и Неба, инцестном браке первопредков. Как заметила Э. Пайфер, фамильное древо в романе «напоминает сложные генеалогии мифических существ, происхождение предков которых в самые отдаленные времена восходит к первобытным божествам начального творения: море, небо и воздух. <…> “Темносиний” в русском языке — обычный эпитет для моря и неба [темное/синее море, темное/синее небо]» (Pifer E. Nabokov and the Novel. Cambridge, Mass. & L.: Harvard University Press, 1980. P. 134–135). Имена некоторых других членов рода тоже несут дополнительное символическое значение: Аква олицетворяет воду, ее сестра Марина — море (и красоту — через ассоциацию с Венерой), рыжая Люсетта (Люсинда) — свет, черноволосые Демон и Ада, напротив, — ад и царство тьмы (линия к «темному» имени прародительницы). Иначе Дедал Вин (чье имя отсылает к мифическому создателю лабиринта) противопоставлен Ивану Дурманову, фамилия которого напоминает о яде (дурман — ядовитое растение, имя его дочери Аквы Дурмановой прочитывается как «ядовитая вода», вариация на тему аква-тофаны). Английская фамилия последнего члена семейства, указанного в таблице, Андрея Вайнлендера, с двумя ее корнями (vine — лоза и land — земля), напоминает о зачинателе рода Земском и подхватывает флоральный мотив фамилии Дурмановых, содержащийся также в имени Ады, его жены (и, вполне возможно, дальней родственницы), знатока орхидей: как было замечено исследователями, Ада — название рода орхидей (Ada aurantiaca, Ada lehmannii). Считается, что этот род назван по имени царицы Ады, правившей Карией во времена Александра Македонского и бывшей замужем за своим братом Гидриеем.

Намеренно или случайно, год рождения Земского совпадает с началом истории американской семьи Компсонов в одном из самых известных романов У. Фолкнера «Шум и ярость» (1929). В 1946 г. Фолкнер дополнил роман родословной Компсонов, хронологические рамки которой (1699–1945) близки набоковским (1699–1968). Не могут быть случайными некоторые другие совпадения: год рождения Вана Вина (1870) такой же, как у отца Набокова Владимира Дмитриевича, который был убит в Берлине в марте 1922 г., и в этом же году в романе умирает Андрей Вайнлендер, причем тоже весной, в день рождения Набокова — 23 апреля; год рождения Люсетты Вин (1876) такой же, как у матери Набокова Елены Ивановны (урожд. Рукавишниковой).

Семейное древо отражает географическое, культурное и историческое смешение в романе черт России, Америки и Европы. Как заметил Ю. Левин: «В “Аде” доведено до конца создание космополитического мира с сильными русскими элементами <…> Космополитизация начинается с генеалогического древа, предпосланного роману: “пространство родственных отношений” в роду Вана и Ады оказывается смешанным, русско-европейско-американским: здесь и князь Всеслав Земский <…> и

начальник Юконской крепости генерал Иван Дурманов, и ирландка Мэри О’Рейли, и голландец Эразм Вин и т. д.» (Левин Ю. И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 346).

Ван Вин

Главный герой и автор «семейной хроники» носит имя Ivan (Van) Veen, напоминающее о фламандском художнике, учителе Рубенса, Otto van Veen (Отто ван Вен, 1556–1629), известном также как Октавиус Вениус, Отто Вениус (что могло повлиять на выбор названия для сети борделей «Вилла Венус» в романе). Одна из значительных его работ – автопортрет с семейством (1584); он, кроме того, был автором книги любовных эмблем «Amorum Emblemata» (Антверпен, 1608), в которой рисунки сопровождались изречениями, взятыми преимущественно из Овидия.

Исследователи обнаружили литературный источник имени набоковского героя в детективном романе популярного английского писателя Николаса Фрилинга (1927–2003) «Double-Barrel» (1964, «Двойной узел» в русском переводе). Внимание Набокова к этой книге могла привлечь отсылка автора к «Лолите»: в пятой главе амстердамский детектив, приехав в небольшой город в провинции Дренте, узнает, что местный бургомистр в начале своей карьеры обличался в излишнем внимании к маленьким девочкам. «Очаровательно, – замечает детектив. – Бургомистр Гумберт Н. Малый Лярусс, Илл.» (Freeling N. Double-Barrel. L., 1964. P. 25. Пер. мой). Последние слова – цитата из Ч. II, гл. 23 «Лолиты», где приводится фальшивая подпись постояльца отеля (криптограмма Куильти, по мнению Гумберта Гумберта): «N. Petit, Larousse, Ill.» (аббревиатура названия французского энциклопедического словаря «Nouveau Petit Larousse Illustré», т. е. Новый Малый иллюстрированный Лярусс). В той же главе Фрилинг пишет: «Ключевое слово в этой северо-восточной части Голландии “Veen”. Оно встречается в виде суффикса в местных топонимах. <…> “Veen” означает торф: болотистые торфяные места, которые раскапывали ради топлива во время экономического упадка, до нефтепроводов и природного газа. <…> Здесь есть местные имена; он видел на дверных табличках нескольких “Van Veen” и “Van der Veen”» (Ibid. P. 17–20).

Тема торфяных болот и некоторые названия в «Аде», связанные с торфом (к примеру, деревня Торфянка), не оставляют сомнений в том, что, сочиняя книгу, Набоков учитывал голландское значение слова «veen» (подр. см.: ПСН, 498–522), однако в интервью «New York Times» в апреле 1969 г. он отметил, что Вин – ирландская фамилия (TWS, 373); отец Вана, Волтер Д. Вин, как указано в Ч. 1, гл. 1, принадлежал к старинному англо-ирландскому роду. Из родословного древа этого, впрочем, не следует, а из первой главы романа известно иное, что ирландские корни были у матери Вана, бабкой которой была ирландка Мэри О’Рейли. Таким образом, герой Набокова носит русское имя Иван (к нему обращаются: Иван Дементьевич, Ваня, Ваничка) и «ирландскую» (в мире романа, что оправдывает ее произношение на английский манер) фамилию Вин; короткая же форма его имени, под которой он известен как ученый и писатель, соответствует распространенному голландскому имени Van Veen (Ван Вен).

В имени героя Набоков мог предусмотреть, кроме того, ассоциацию с Рип ван Винклем, американцем голландского происхождения из рассказа Вашингтона Ирвинга («Rip Van Winkle», 1819), волшебным образом проспавшим в горах двадцать лет и вернувшимся в свою деревню после американской революции. Сюжет Ирвинга обыгрывается в английском рассказе Набокова «Забытый поэт» (1944).

Предуведомление редактора

После авторского посвящения книги жене, Вере Набоковой (1902–1991), и таблицы Родословного древа следует предуведомление редактора и, по-видимому, первого издателя «Семейной хроники» Рональда Оранжера, в котором он упоминает свою жену, миссис Оранжер. Набоков таким образом исподволь обращает внимание читателя на то обстоятельство, что в создании книги принимали участие три четы (или одна в двойном отражении): реальная — Набоков и его жена, и две фиктивные — Ван и Ада и Рональд Оранжер и его жена. В Ч. 5, гл. 4 романа сообщается, что г-н Оранжер, издатель и «прирожденный катализатор», в 1957 г. участвовал в разговоре Ады и Вана на литературные темы, в ходе которого было решено, что Ван примется за сочинение мемуаров. В том же году чета Винов наняла Виолетту Нокс (род. 1940), прослужившую у них десять лет — все то время, пока Ван работал над «Семейной хроникой». В 1967 г., после нескольких редакций мемуаров, продиктованных Ваном Виолетте, она подготовила машинописный экземпляр их окончательной версии, который Ван, однако, подверг новой правке. Вымысел отражает авторские реалии: в 1968 г. Жаклин Каллье (Callier), секретарь Набоковых в Монтрё, отпечатала свыше 850 страниц машинописного текста «Ады» по рукописи на 2500 карточках (SO, 122). Поскольку хроника Вана, согласно его воле, не могла быть опубликована при его жизни, а работа над ней продолжалась до конца его дней, многочисленные и не всегда уместные замечания и уточнения г-на Оранжера были сделаны после смерти автора. Тогда же Оранжер женился на Виолетте Нокс, о чем не преминул сообщить в редакторских скобках в Ч. 5, гл. 4.

Предуведомление Оранжера представляет собой обратную формулу стандартного дисклеймера — письменного отказа издательства (издателя) от ответственности. Дисклеймер к тексту реалистичного произведения позволяет избежать претензий и судебного преследования за клевету или оскорбление в том случае, если имя и/или биография персонажа случайно совпадут с именем реального человека. Такой отказ от ответственности содержится, к примеру, в первом американском издании набоковского «Пнина» (1957): «All of the characters in this book are fictitious, and any resemblance to actual persons, living or dead, is purely coincidental» («Все персонажи этой книги вымышлены, и любое сходство с реальными лицами, живыми или мертвыми, случайно»). В предуведомлении Оранжера, однако, заявляется прямо противоположное — что упомянутые в публикуемых мемуарах лица реальны, и хотя все они по большей части мертвы, несколько второстепенных особ не только здравствуют, но и названы в книге «по имени».

Рональд Оранжер. — Фамилия редактора, как у многих персонажей романа, имеет отношение к растительному миру: фр. oranger — апельсиновое дерево. Его жена Виолетта носит цветочное имя: англ. violet — фиалка (Ада называет ее по-русски Фиалочкой). Ее девичья фамилия (Knox) омофонична лат. nox — ночь (поэтому в конце Ч. 3, гл. 5 Ван произносит «nox» по буквам — чтобы Виолетта не спутала это слово со своей фамилией) и вместе с именем намекает на ночную фиалку (гесперис). Возвратное повторение первых слогов имени и фамилии редактора (рона — оран) наводит на мысль о псевдониме или скрытой анаграмме, которая, возможно, обыгрывает игру слов в названии романа. «Oranger» представляет собой почти полную анаграмму англ. arrange — приводить в порядок, располагать (что соотносится с редакторской работой), в то время как сочетание «Ronald Oranger» позволяет составить слова, повторение которых в романе образует систему мотивов: ardor — пыл, жар, страсть; Ada — Ада; garden — сад; land — земля, страна; old — старый; ordeal — суровое испытание; рус. род, рад, орда; фр. d’or — золотой; Ladore — Ладора.

Часть первая

С. 13. Все счастливые семьи более или менее различны <…> замечает великий русский писатель в начале своего знаменитого романа… — «Анна Каренина» (1877), один из самых любимых романов Набокова, разбиравшийся им в университетских лекциях по литературе, открывается противоположным утверждением: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 18. С. 3).

…«Anna Arkadievitch Karenina» в английском преображении Р. Дж. Стоунлоуэра <…> «Гора Фавор»… — В заметках и комментариях к статьям в посвященном Набокову номере журнала «Russian Literature TriQuarterly» (1970) Набоков по поводу толкования начальных строк романа в работе А. Аппеля-мл. «Ada described» («Описание “Ады”») указал на следующее: «В первый абзац “Ады” я поместил три грубые ошибки, призванные высмеять дурные переводы из русской классики: первое предложение “Анны Карениной” (печатник, по-английски должно быть “Anna Karenin”, а не “Anna Karenina”, она не была балериной!) вывернуто наизнанку; отчеству Анны Аркадьевны придано гротескное мужское окончание; и название семейной хроники Толстого переврано вымышленным Стоунером или Лоуэром (я получил, должно быть, не меньше дюжины писем с разъяснениями и поправками от возмущенных или озадаченных читателей, некоторые были русского происхождения, не продвинувшихся в “Аде” дальше первой страницы). Кроме того, в том же важном абзаце “Гора Фавор” и “Понтий” указывают, соответственно, на преображения и предательства, которым претенциозные и невежественные перелагатели подвергают великие произведения» (SO, 285. Пер. мой). Сокращенная версия этого комментария, с упоминанием критика, писателя и переводчика Джорджа Стайнера, включена в примечания Дамор-Блока.

«Р. Дж. Стоунлоуэр» контаминирует имена двух влиятельных писателей: французского и американского критика, прозаика, теоретика литературного перевода Джорджа Стайнера (Steiner, 1929–2020), автора

статьи «To Traduce or to Transfigure: On Modern Verse Translation» («Оклеветать или преобразить: о современных стихотворных переводах», 1966), и американского поэта, критика и переводчика Роберта Лоуэлла (Lowell, 1917–1977). Набоков уделяет в «Аде» много внимания вопросам перевода, что стало следствием жаркой полемики, развернувшейся в середине 60-х гг. вокруг его «рабски-верного оригиналу» перевода «Евгения Онегина», с принципами которого не был согласен среди прочих друг и коллега Набокова Эдмунд Уилсон (см. коммент. к с. 131).

«Гора Фавор», «Понтий Пресс» — обыгрывается название приведенной выше статьи Стайнера и два различных значения английского термина transfiguration, обычное и специальное, — преобразование и Преображение (Господне). Гора Фавор, находящаяся в Галилее, вблизи Назарета, традиционно считается местом Преображения Иисуса Христа. Исполненное сарказма название второго издательства намекает на судьбу невинного автора, оклеветанного плохим переводчиком.

…«Дѣтству и Отрочеству» (выпущенному по-английски в 1858 году <…> под названием «Childhood and Fatherland», то есть «Детство и Отечество»). — Отдельное издание двух первых частей трилогии Толстого впервые увидело свет в 1856 г. Первый английский перевод «Детства и отрочества», подготовленный немецкой писательницей Мальвидой фон Мейзенбуг под названием «Childhood and Youth: A Tale» («Детство и юность: повесть»), был опубликован в 1862 г. в Лондоне. Имя автора на титульном листе было указано как «Count Nikola Tolstoi» (граф Никола Толстой). Путаница с «отечеством» вместо «отрочества» в названии книги отражает эту ошибку переводчицы, принявшей отчество Толстого за его имя. Придуманный Набоковым пример переводческого ляпсуса тем более комичен, что слово «отрочество», несмотря на его сходство с «отечеством», не имеет к нему отношения (как и к однокоренному «отчеству»), оно образовано отрицательной приставкой «от» от причастия «рок» («говорящий»), восходящего к общеславянскому rekti — «речь». «Отрок» буквально — «неговорящий» (то есть «лишенный права голоса на вече»).

В черновом переводе Веры Набоковой (в оригинале старая орфография): «Сей постулат не имеет в сущности никакого отношения к повести, которая будет здесь изложена и которая представляет собой семейную хронику, первая часть которой имеет, пожалуй, больше сходства (или скорее смахивает на) с другим произведением Толстого, а именно с “Детством и Отрочеством” (выпущенным по-английски в 1858 г. издательством “Понтий Пилат” под заглавием Childhood and Fatherland, сиречь “Детство и Отечество”)» (HLA, Box 12, folder 228).

Дарья (Долли) — так в «Анне Карениной» зовут жену кн. Степана Аркадьевича Облонского Дарью Александровну (Щербацкую).

…губернатора Бра-д’Ора, американской провинции на северо-востоке нашей <…> страны. — На северо-востоке Северной Америки находится полуостров Лабрадор, включающий континентальную часть провинции Ньюфаундленд и Лабрадор и северную часть провинции Квебек. Значительно южнее, в канадской провинции Новая Шотландия, на острове Кейп-Бретон, расположено озеро Бра-д’Ор. В XIX в. эти территории

являлись английскими колониями и управлялись британскими губернаторами.

…князя Петра Земского <…> В 1824 году князь женился на <…> ирландке Мэри О’Рейли. — Одна из нескольких в романе отсылок к П. А. Вяземскому (1792–1878), матерью которого была ирландка Дженни О’Рейли (в первом браке Квин, 1762–1802). 14 ноября 1828 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Сделай одолжение, отыщи мне родственников моих в Ирландии: моя мать была из фамилии O’Reilly. Она прежде была замужем за французом и развелась с ним, чтобы выйти замуж за моего отца, который тогда путешествовал. Сошлись они, кажется, во Франции и едва ли не в Бордо. Жаль мне, что переписка их, бумаги развода и другие теперь в Остафьеве, а то я мог бы дать тебе более подробностей. Может быть, и придется мне искать гражданского гостеприимства в Ирландии. Еще лучше, если бы нашелся богатый дядя или богатая тетка для моих детей. Вот славное приключение романтическое! Будь Вальтер Скоттом нашего романа <…> Да помолись же европейскому Богу, чтобы он призвал меня на свое лоно, на свой просвещенный континент! Я, право, здесь как несчастный Робинсон, брошенный на острове, окруженном океаном варварства и скуки. <…> Ради Бога, перетащите меня в Ирландию!» (Остафьевский архив князей Вяземских. III. Переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым. 1824–1836. СПб., 1899. С. 182–183).

В письме к Карлу Профферу от 21 июля 1972 г. Набоков по поводу его статьи об «Аде» заметил: «Земский. Слово это существовало задолго до 1861 года (почитайте, например, про “Земские соборы” шестнадцатого века). Русское ухо скорее расслышит здесь ассоциацию с Вяземским <…>» (Переписка Набоковых с Профферами / Публ. Г. Глушанок и С. Швабрина. Пер. Н. Жутовской // Звезда. 2005. № 7. С. 148).

К Вяземскому отсылает также фамилия матери Демона Вина, графини Ирины Гариной: в 1811 г. Вяземский женился на княжне Вере Федоровне Гагариной (1790–1886). Тем же способом усечения образованы в романе фамилии Стопчиной (Ростопчина), П. О. Темкина (Потемкин), Авидова (Давыдов).

Юконская крепость. — Юкон (Yukon) территория на северо-западе Канады; Форт-Юкон — город на Аляске.

Северн Тори — в оригинале «Severn Tories», с англо-американскими географическо-историческими ассоциациями: Северн — самая длинная река в Великобритании, а также река на северо-западе канадской провинции Онтарио; Тори — возникшая в XVII в. английская политическая партия, выражавшая интересы земельной аристократии и высшего духовенства, а также специальный исторический термин — так называли противников отделения американских колоний от Англии. Северное положение территорий указывает на Форт-Северн (Fort Severn) — самую северную общину Онтарио, ведущую свою историю от фактории, основанной «Компанией Гудзонова залива» в 1689 г. Форт-Северн — один

из первых английских меховых торговых пунктов в Новом Свете.

Эстотия — от Эстотиландии (Estotiland), названия одного из несуществующих островов, обозначенных на карте северной части Атлантического океана, опубликованной в 1558 г. в Венеции Николо Дзено (Зено). Географическое положение Эстотиландии на этой карте приблизительно соответствует северо-восточной части полуострова Лабрадор (см. карту Дзено: Багров Л. История картографии. М., 2004. С. 189). Д. Циммер и Б. Бойд отметили, что «холодная Эстотия» упоминается в Книге десятой «Потерянного рая» Дж. Мильтона. Это название возникает в описании Земли, какой она была бы, не случись грехопадения: «<…> Солнце низкое, взамен / Большого расстоянья от Земли, / Ходило б незакатное, кружа / По горизонту; Запад и Восток / Безвестны были б жителям; снегов / И стужи бы не знал Эстотиланд, / А также отдаленные края / На юг от Магелланова пролива» (Милтон Дж. Потерянный рай. Возвращенный рай. Другие поэтические произведения / Изд. подг. А. Н. Горбунов, Т. Ю. Стамова. М.: Наука, 2006. С. 301).

«Эстотия» («Estoty»), кроме того, напоминает об Эстляндии, историческом названии северной части Эстонии (Эстляндская губерния — самая северная из трех губерний Прибалтийского края Российской империи), и созвучно с англ. east (восток) и estate (поместье).

С. 13–14. Канадия — в оригинале «Canady», в отличие от названия Канады (Canada), в чем можно усмотреть аллюзию на Пролив Кеннеди (Kennedy Channel), разделяющий Гренландию и самый северный канадский остров Элсмир. Неологизм «Canady» практически омофоничен фамилии тридцать пятого президента США Джона Кеннеди (Kennedy), застреленного в 1963 г. Кеннеди — одна из самых влиятельных американских династий ирландского происхождения, что сближает ее с кланом Винов.

С. 14. …роскошной Ладогой (Майн)… — В оригинале название штата Мэн, расположенного в северо-восточной части США, написано не как Maine, а как Mayne — по имени английского писателя Томаса Майн Рида (Mayne Reid, 1818–1883). Его приключенческим романом «Всадник без головы» (1865), действие которого происходит в Техасе, Набоков зачитывался в детстве и даже пробовал его переложить на французский, о чем он писал театральному и литературному критику С. В. Потресову (псевд. Сергей Яблоновский) 28 сентября 1921 г.: «Десяти лет, помнится, я перевел с английского на французский, в невероятных александрийских стихах, роман Майнрида “Всадник без головы”» (Набоков В. Письмо к С. В. Потресову / Публ., вступ. заметка И. А. Доронченкова // Звезда. 1996. № 11. С. 90).

…Аква и Марина <…> не Тофана? — Имеется в виду яд «аква-тофана» (aqua Tofana, aqueta della Toffa), применявшийся в конце XVII в. в Италии. Сицилийка Тофана, бежавшая из Палермо в Неаполь, продавала его женщинам, желавшим избавиться от мужей. Упоминается в романе Набокова «Король, дама, валет» (1928).

23 апреля 1869 года — день рождения Набокова, а также намек на год его рождения, если усмотреть в цифре 6 перевернутую 9. О значении этой даты у Набокова П. Тамми заметил следующее: «В комментарии к

переводу “Слова о полку Игореве” <…> Набоков трижды возвращается к факту (если это факт), что именно “во вторник, 23 апреля 1185 года” Игорь с дружиной выступил в поход. <…> В других произведениях <…> он указывает, что 23 апреля — это предполагаемая дата рождения (и смерти) Шекспира, а также дата смерти автора “Дон Кихота”, хотя и считает нужным заметить, что Сервантес и Шекспир “умерли по разным календарям” <…> Набоков также охотно отмечал, что родился через сто лет после смерти Пушкина. <…> В “Аде” говорится, что Демон и Аква поженились в 1869 году “в день святого Георгия” <…> а позже безумная Аква вспоминает, что находится замужем с “<…> дня рождения Шекспира”. <…> Демон навещает Ардис 23 апреля 1884 года» (Тамми П. Поэтика даты у Набокова // Литературное обозрение. 1999. № 2. С. 24–25. Пер. М. Маликовой).

…Демон (форма от Демьян или Дементий)… — Такой производной от этих имен не существует. По-английски «demon» произносится «димэн», что, конечно, учитывал Набоков, сообщивший в скобках эквивалент Demian (Демиан), известный западному читателю и происходящий из того же греческого источника (Дамианос), что и французское Дамьен или русское Демьян (церковная форма — Дамиан). Приведенное в скобках имя Демиан может указывать на роман немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1946) Германа Гессе (1877–1962) «Демиан. История юности» (1919), в котором друг рассказчика Макс Демиан наделен демоническими чертами.

Фигура Демона Вина воплощает образ байронического героя, «дух отрицанья и сомненья» (по определению Пушкина), его литературная генеалогия восходит к сумрачным скитающимся романтическим персонажам XIX в. «Манфреду» (1817) Дж. Г. Байрона, «Вампиру» (1819) Дж. Полидори, с его злодеем-соблазнителем лордом Ратвеном, к «Мельмоту Скитальцу» (1820) Ч. Р. Метьюрина, к «Демону» (1839) М. Ю. Лермонтова, одному из прямых источников «Ады», а также к трагическому образу картин М. А. Врубеля «Демон сидящий» (1890) и «Демон поверженный» (1902).

Г. А. Левинтон предположил, что источник имени Демона Вина следует искать в поэме А. А. Блока «Возмездие» (1921), «тоже своеобразной “семейной хронике”», по замечанию исследователя. В предисловии к поэме Блок характеризует отца героя следующим образом: «Первая глава развивается в 70-х годах прошлого века, на фоне русско-турецкой войны и народовольческого движения, в просвещенной либеральной семье; в эту семью является некий “демон”, первая ласточка индивидуализма, человек, похожий на Байрона, с какими-то нездешними порываниями и стремлениями <…> Вторая глава, действие которой развивается в конце XIX и начале XX века, так и не написанная, за исключением вступления, должна быть посвящена сыну этого “демона”, наследнику его мятежных порывов и болезненных падений, — бесчувственному сыну нашего века. <…> В третьей главе описано, как кончил жизнь отец, что сталось с бывшим блестящим “демоном”, в какую бездну упал этот яркий когда-то человек» (Блок А. Возмездие. Пб.: Алконост, 1922. С. 15–16). «Вся эта тематика упавшего демона (отсутствующая у Лермонтова), — пишет Левинтон, — прямо соотносится с гибелью Демона Вина, упавшего и разбившегося в самолете, тем более что в “Возмездии” присутствует тема авиации <…>» (Левинтон Г. А. The

Importance of Being Russian или Les allusions perdues // В. В. Набоков: pro et contra. Антология. [Т. 1.] СПб.: РХГИ, 1997. С. 333–334). К этим наблюдениям следует прибавить, что в разделе «Наброски. Планы» того же первого издания поэмы 1922 г. отец героя назван «черной птицей» (Блок А. Возмездие. С. 105), что прямо соотносится с прозвищем Демона Вина — Ворон. Со всем тем «Возмездие» не входило в круг любимых произведений Набокова: в письме к М. А. Алданову от 20 мая 1942 г. он отозвался о нем так: «<…> “Возмездие” поэма совершенно ничтожная (“мутные стихи”, как выразилась как-то моя жена), фальшивая и безвкусная. Блок был тростник певучий, но отнюдь не мыслящий» (цит. по: Набоков В. Переписка с Михаилом Карповичем 1933–1959 / Предисл., сост., примеч. А. Бабикова. М.: Литфакт, 2018. С. 16).

С. 15. …носила фамилию Трумбэлл <…> как в ходе американской истории английский «bull» (бык) превратился в новоанглийский «bell» (колокол). — Трумбулл (Трамбулл) и Трумбелл родственные фамилии: староанглийское прозвище Trumbeald (сильный, смелый) развилось в фамилию Trumbell, которая произносилась также Трамбулл. Это ономастическое удвоение позволяет обыграть основные события американской истории — переход от владычества английской короны («Джон Булль» с XVIII в. — собирательный образ типичного англичанина, одна из персонификаций Великобритании) к независимости (звон Колокола Свободы, национальной реликвии США, 4 июля 1776 г. созвал жителей Филадельфии на оглашение «Декларации независимости»). Именно в Новой Англии в конце XVIII в. началось движение сопротивления английскому парламенту, которое привело к изгнанию англичан с этой территории.

…выбился в известного манхэттенского торговца картинами. — Занятия набоковских кузенов напоминают о Джозефе и Генри Дювинах, знаменитых арт-дилерах голландского происхождения, основавших фирму «Duveen Brothers» и успешно торговавших антиквариатом и предметами искусства в Европе и Америке с конца XIX в. до 1920-х гг. «Фамильное древо, полное инцестуальных браков, можно увидеть в книге Джеймса Г. Дювина “The Rise of the House of Duveen”. N. Y. Knopf, 1957» (Bulhof F. Dutch Footnotes to Nabokov’s Ada // A Book of Things about Vladimir Nabokov / Ed. by C. R. Proffer. Ann Arbor: Ardis, 1974. P. 291).

Ладора — от названия реки Дор (La Dore) во французском департаменте Пюи-де-Дом (см. коммент. к с. 111).

Луга — город на одноименной реке, недалеко от имений Набоковых под Петербургом. Упоминается в стихотворении Набокова «С серого севера» (1967): «Вот на Лугу шоссе. / Дом с колоннами. Оредежь. / Отовсюду почти / мне к себе до сих пор еще / удалось бы пройти» (Набоков В. Стихи. Анн Арбор: Ардис, 1979. С. 295).

…проданной г-ну Элиоту, дельцу-еврею… — первая из ряда уничижительных аллюзий на американского и британского поэта, драматурга и критика, лауреата Нобелевской премии Томаса Стернза Элиота (Eliot, 1888–1965), умершего незадолго до начала работы Набокова над «Адой». Чертами и личными обстоятельствами Т. С. Элиота наделен в романе также банкир и авангардный автор Китар Свин.

Называя своего персонажа дельцом-евреем (позднее станет известно, что его имя Мильтон и что он влиятельный торговец недвижимостью), Набоков намекает на отмеченный многими критиками антисемитизм Элиота и его презрительные строчки о еврее-домовладельце в стихотворении 1920 г. «Gerontion» (от греч. «старичок» — отсюда в романе замечания о дряхлости Мильтона Элиота).

С. 16. RE AMOR — любовное (англ., лат.).

…серия рисованных историй «Доброй ночи, малыши!», о давно позабытых теперь Нике и Пимпернелле (очаровательных брате и сестрице, деливших узкую кровать)… — В примеч. Дамор-Блока сказано, что эти имена взяты из французского комикса, однако, как указал Бойд, источником Набокова, по всей видимости, был французский кукольный телесериал Клода Лейду «Bonne Nuit les Petits» («Доброй ночи, малыши»), который начал выходить в декабре 1962 г., сначала на канале RTF, затем на канале ORTF. С октября 1963 г. его главными героями стали брат и сестра Николя и Пимпренель (не старше пяти лет), действительно спавшие вдвоем на узкой кровати (АНМС, 469). Измененное Набоковым имя девочки содержит флоральный мотив (англ. pimpernel — очный цвет из семейства Первоцветные), связывающий ее с Адой.

день св. Аделаиды — 16 декабря.

С. 17. Пимпернелл и Николетта. — Измененные имена Ника и Пимпернеллы призваны напомнить, по-видимому, названия двух произведений: приключенческого романа баронессы Эммы Орци «Алый первоцвет» («The Scarlet Pimpernel», 1905, экранизация — 1934), который Набоков читал в детстве (SO, 43), и французского рыцарского романа XIII в. «Окассен и Николетта», который Набоков читал в Кембридже в студенческие годы, занимаясь старофранцузской литературой. Отсылка к «Алому первоцвету» тем более важна, что имя и образ его главного героя, смелого сэра Перси Блейкни (Percy Blakeney), изображающего из себя в повседневной жизни изнеженного денди, отразились в сопернике Вана графе Перси де Пре. Аллюзия на второе произведение вводит мотив пылкой любви двух молодых сердец (в «Окассен и Николетте» это графский сын и пленница-сарацинка), преодолевающих многие препятствия. Схожим с «Адой» образом любящих разлучает «воля отца героя, мечтающего о совсем другом браке сына <…> Любовь остается единственной доминантой их поведения, их переживаний, их чувств» (Михайлов А. Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. М.: Наука, 1976. С. 238–239). Чередование имен с заменой мужского рода женским предвосхищает позднюю игру с именами Вана и Ады: «Дава или Вада, Анда или Ванда».

nusshaus (по-немецки букв. «ореховый дом»), шутливый «перевод» английского «nuthouse» — психушка (букв. «ореховый дом»). «Nuss», кроме того, — философский термин, означающий дух, духовное начало, одно из центральных понятий античной философии.

С. 18. Dourmanoff — традиционный французский способ фонетической транслитерации русских фамилий с окончанием на «ов».

en regard — рядом, параллельно (фр.).

Ancolie Bleue des Alpes — аквилегия голубая альпийская (фр.). Линия к имени Аквы.

Epervière auricule (Hieracium auricula) — ястребиночка латуковидная (фр.).

ex horto — из сада (лат).

гентиариум — т. е. питомник горечавки (неологизм от Gentiana, латинского названия растения — по имени иллирийского царя Гентия, который, согласно Плинию Старшему, использовал его для лечения чумы).

Compliquaria compliquata var. aquamarina. — Вымышленное название растения на фиктивной латыни, прочитываемое так: Осложнение осложненное, разновидность аквамарина (от фр. compliqué). В ботанической номенклатуре var. (сокращение от лат. varietas — разновидность) указывает на соответствующий ранг таксона. Намек на запутанные отношения Аквы и Марины друг с другом и с Демоном Вином.

printanière — весенний (фр.).

С. 19. …подлесник <…>“Bear-Foot”, “медвежья лапа”… — имеется в виду Sanicula arctopoides (подлесник), одно из английских названий которого bear’s foot. Обыгрывается созвучие англ. bear (медведь) и bare (голый).

…стабианской цветочницы… — В дополнение к примеч. Дамор-Блока: Стабии, как Помпеи и Геркуланум, были уничтожены извержением Везувия в 79 г.; в конце Третьей части романа упоминается вымышленный город Новостабии и следом — Горелый («Лясканский Геркуланум»).

Pied de Lion — львиная лапа (фр.), эдельвейс.

Баркли-колледж — прозрачный намек на Калифорнийский университет, находящийся в городе Беркли.

С. 20. …князь Иван Темносиний <…> потомок Ярославских князей дотатарских времен… — К наблюдениям, приведенным в нашем коммент. к Родословному древу, следует добавить, что фамилия предка отсылает также к Синеусу, одному из трех первых русских князей, брату Рюрика, княжившему в Белоозере (художник Синеусов — герой неоконченного романа Набокова «Solus Rex», 1940).

В поздние годы он уже не мог перечитывать Пруста <…> его любимый пассаж <…> пышный, пурпурный, об имени Германт… — Размышляя в «Германте» (1921), третьем романе цикла М. Пруста (1871–1922) «В поисках утраченного времени», о старинном аристократическом имени Германт, Марсель вспоминает свои цветовые ассоциации, связанные с ним: «<…> каждый из оттенков времени, составивших это прошлое, пользовался, при подлинном творении, неповторимой гармонией тогдашних красок, которых мы больше не знаем и которые способны еще вдруг привести меня в восторг, если по какой-либо случайности имя

Германт <…> возвращает мне ту лиловатость, такую мягкую, яркую и новую, которой бархатился пышный галстук молодой герцогини, и ее глаза, озаренные голубой улыбкой <…>» (пер. А. Франковского).

Набоков разделял со своим героем охлаждение к Прусту в поздние годы. В «Бледном огне» содержится следующий критический отзыв о «Поисках», вложенный в уста профессора Чарлза Кинбота: «<…> неотшлифованный шедевр Пруста — это громадная бездушная сказка, навеянный спаржей сон, не имеющий абсолютно ничего общего с какими бы то ни было возможными людьми в исторической Франции, сексуальный travestissement и колоссальный фарс, словарь гения с его поэзией, но не более; невозможно грубые хозяйки дома <…> и еще более грубые гости, механические скандалы под Достоевского, снобистические нюансы Толстого, повторяемые и растягиваемые до невыносимой длины, очаровательные морские виды, тающие аллеи <…> эффекты света и тени, соперничающие с величайшими английскими поэтами, цветение метафор, описанное — у Кокто, кажется, — как “мираж висячих садов”, и <…> абсурдный, резиново-проволочный роман между белокурым молодым подлецом (вымышленным Марселем) и неправдоподобной jeune fille с наклеенной грудью, с толстой шеей, как у Вронского (и у Левина), и купидоновыми ягодицами вместо щек; и <…> мы были неправы, отрицая за нашим маленьким beau ténébreux способность вызывать в читателе человеческое участие, она есть, она есть — может быть, типа восемнадцатого или даже семнадцатого века, но она есть» (БО, 188–189). В интервью 1965 г. Набоков, говоря о французской литературе, отметил: «Мой лучший друг Гюстав Флобер. Конечно, я все еще предан Прусту, которого страстно любил в юности» (TWS, 341).

С. 21. …балаганной эфемериды (американской пьесы, состряпанной <…> из знаменитого русского романа)… — Разного рода нелепости в описываемом далее представлении, в котором «Евгений Онегин» смешан с «Золушкой», призваны наглядно показать ту пропасть, которая отделяет оригинальное произведение от его сценической версии, основанной на художественном переложении, а не дословном переводе. В «Заметках переводчика» (1957) Набоков писал: «Тычков и тумаков толмачи надавали русским писателям вдосталь. Я сам когда-то (вспоминаю со стоном) пытался переводить Пушкина и Тютчева стихами с “раскрытием образов”. Математически невозможно перевести Е. О. на какой-либо иностранный язык с сохранением схемы рифм. <…> С другой стороны, конечно, под прикрытием рифмованной парафразы перекладчику легче скрыть свое неточное понимание русского текста: простая проза выдала бы его невежество. Таким образом, не только кое-как пересказывается Пушкин, но кое-как пересказывается плохо понятый, приблизительный Пушкин. Трудно решить, какой из четырех наиболее известных переводов Е. О. на английский язык хуже, — пожалуй, все-таки безграмотные и вульгарные вирши Эльтона (1936, 1937). Глаже всех перевод Дейч-Ярмолинской (1936, 1943), но совершенно непонятно, каким образом изящная и даровитая американская поэтесса могла решиться разбавить Пушкина такой бездарной отсебятиной» (КЕО, 809).

Пушкинский роман — один из главных русских источников «Ады». По замечанию американского исследователя, очерк романа, напоминающего в общих чертах «Аду», обнаруживается в гл. 3 «Евгения Онегина», в которой заходит речь о «смиренной прозе»: «Тогда роман на старый

лад / Займет веселый мой закат. / Не муки тайные злодейства / Я грозно в нем изображу, / Но просто вам перескажу / Преданья русского семейства, / Любви пленительные сны, / Да нравы нашей старины. // Перескажу простые речи / Отца иль дяди-старика, / Детей условленные встречи / У старых лип, у ручейка; / Несчастной ревности мученья, / Разлуку, слезы примиренья, / Поссорю вновь, и наконец / Я поведу их под венец…» Приведя эти строки, исследователь заключает: «Пушкин не дожил до своего “веселого заката”, когда бы он мог написать свою семейную хронику, но Набоков, родившийся ровно столетие спустя, написал <…> книгу, которая, кажется, перекликается со сценарием, изложенным в строфе-отступлении “Евгения Онегина”, и развивает его» (Джонсон Д. Б. Миры и антимиры Владимира Набокова. С. 163–164). Бойд отметил, что цель Набокова состояла не только в игре с литературным источником: «Углубившись в Пушкина в процессе перевода и комментирования “Евгения Онегина”, он захотел сделать Пушкина достоянием <…> мировой литературы — и ввел пушкинские аллюзии в структурные узлы своих романов “Пнин” и “Ада”» (ПСН, 286).

…cabinet reculé (как французский писатель предыдущего века мог бы загадочно назвать этот чулан… — Уединенная (отдаленная) комната (фр.). В комментариях к «Евгению Онегину» Набоков привел из «Юлии, или Новой Элоизы» (1761) Руссо цитату с этим выражением (КЕО, 297).

С. 22. …наряженных отчего-то грузинами, трескали ягоды малины <…> пляс под названием курва, иначе «Пышкина ленточка»… — Продолжается тема плохих английских переводов русских авторов (см. примеч. Дамор-Блока). В письме к Профферу от 21 июля 1972 г. Набоков отметил: «Курва — еще одна колкость, адресованная Лоуэллу, прочитавшему слова Мандельштама “курва-Москва” как “извилистые улицы Москвы”» (Переписка Набоковых с Профферами. С. 148). Имеется в виду сделанный Р. Лоуэллем перевод стихотворения О. Э. Мандельштама «Нет, не спрятаться мне от великой муры…» (1931). Слова «объехать всю курву-Москву» Лоуэлл перевел так: «ride around Moscow’s ribbon of boulevards» — «объехать всю Москву по узкой полосе (или ленте) бульваров» (Nine Poems by Ossip Mandelstam / Trans. by Olga Andreyev Carlisle and Robert Lowell // New York Review of Books. 1965. Vol. X (№ 23). 23 December. P. 5). Набоков обыгрывает упущенное в этом переводе значение слова «курва» (шлюха), сообщая второе название выдуманного танца — «ribbon boule», намекающее на «бульвар» и на прозвище толстухи-проститутки Boule de Suif (Пышка, букв. шар жира) из одноименной новеллы (1880) Ги де Мопассана (1850–1893), которому в «Аде» отведено немало места. Грузины и малина указывают на перевод стихотворения Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны…» (1933), строки которого «Что ни казнь у него — то малина, / И широкая грудь осетина» Лоуэлл передал так (обратный перевод): «После каждой смерти он, как настоящий грузин, / кладет себе в рот малину» (Ibid.).

Иверия или Иберия — античное и византийское название местности по реке Кура, где жили восточногрузинские племена иберов.

С. 23. Пармиджанино — прозвище итальянского художника и гравера Джироламо Франческо Мария Маццола (1503–1540), яркого представителя маньеризма.

Конски (данное ему за глаза прозвище)… — в оригинале «Skonky», намек на англ. skunk — вонючка, скунс, подлец. В романе Набокова «Solus Rex» фигурирует «бич научного мира» профессор фен Скунк (ven Skunk в позднем английском переводе). Бойд обратил внимание на связь между бароном д'О., партнером Марины в театральной постановке, ее любовником экспертом д'Онски и Доном, партнером Ады в картине «Последняя интрижка Дон Жуана» (ПСН, 420–421).

С. 24. …в «Евгении и Ларе» или в «Леноре Вороновой»… — В первом названии смешан «Евгений Онегин» (фамилия Лариных превращена в имя) с «Доктором Живаго» (1957) Б. Л. Пастернака (1890–1960), одна из героинь которого — сестра милосердия Лариса (Лара) Антипова (Гишар); во втором соединились названия двух стихотворений Э. По, «Ленор» (1842) и «Ворон» (1845). Первое стихотворение, об умершей молодой женщине, По сочинил под влиянием баллады Готфрида Бюргера «Ленора» (1773), реминисценция из которой возникает в восьмой главе «Евгения Онегина» («Она Ленорой, при луне, / Со мной скакала на коне!»). В комментарии к этому месту Набоков отметил: «Заслуга <…> немецкого поэта заключается в том, что он утвердил, сконцентрировав в совершенном, с формальной точки зрения, произведении тему "луны — гробницы — призрака", в определенном смысле ставшую логическим следствием присутствия Смерти в Аркадии и краеугольным камнем романтизма Гёте» (КЕО, 534). Герой второго стихотворения По оплакивает потерю своей возлюбленной Ленор, с которой мечтает воссоединиться на Небесах.

…дамой из Богемии <…> в отделе стеклянных рыб и цветов бостонского музея). — Совмещение названий двух уникальных коллекций: стеклянных цветов («The Ware Collection of Blaschka Glass Models of Plants») и стеклянных морских существ («Blaschka Sea Creatures»), с большим искусством и точностью созданных в Дрездене богемскими стеклодувами Леопольдом и Рудольфом Блашка и хранящихся в Гарвардском музее естественной истории и в Гарвардском музее сравнительной зоологии, в котором Набоков занимался энтомологией с 1941 по 1948 г.

дакель — такса (нем. Dackel).

«Ева у клепсидрофона». — Неологизм («звучащие водяные часы») образован от двух греческих слов, клепсидра (водяные часы) и «фонэ» (звук, речь). В оригинале в названии рисунка подразумевается выражение «on the phone» (у телефона, по телефону).

С. 25. …духом — истинный самурай… — Здесь, возможно, кроется намек на скандально известного в 60-х гг. японского писателя Юкио Мисиму (1925–1970), не раз выдвигавшегося на Нобелевскую премию по литературе. С 1955 г. худосочный Мисима занялся атлетизмом, изменившим его облик, и воспитанием в себе самурайского духа. В ироничном контексте упомянут в последнем незавершенном романе Набокова «Оригинал Лауры».

…несокрушимый Гамалиил <…> президента-идеалиста… — Примеч. Дамор-Блока указывает на президента США Уоррена Гамалиела Гардинга (1865–1923), короткое правление которого (1921–1923) было отмечено

финансовыми махинациями в высших властных кругах. Представляется, однако, что Набоков избрал библейское имя для своего персонажа с целью напомнить о значительно более выдающейся фигуре, шестнадцатом президенте США (1861–1865) Аврааме Линкольне (1809–1865), раздвоенном в романе на Гамалиила и президента Авраама Мильтона. Определение «президент-идеалист» гораздо лучше применимо к Линкольну (который считал, что целью демократии является «правительство народа, из народа и для народа»), чем к Гардингу. Во время сочинения «Ады» Набоков по предложению Библиотеки Конгресса США перевел на русский язык Геттисбургскую речь Линкольна (ВНАГ, 608).

…ступени, ведущие в забавной постановке Дугласа Д’Артаньяна… – Сцена дуэли, исподволь вводящая кинематографическую тему романа, преподносится в русле популярного в 1920–1950-х гг. в Америке и Европе жанра историко-приключенческих фильмов «плаща и шпаги»: американская звезда немого кино Дуглас Фэрбенкс-старший (1883–1939), основатель и первый президент Американской академии киноискусств, сыграл Д’Артаньяна в экранизации «Трех мушкетеров» 1921 г. (постановка Фреда Нибло). В конце Третьей части романа муж Ады в воображении Вана вызовет его на дуэль на крыльце отеля «Дуглас».

мосье де Паструил – в оригинале de Pastrouil – анаграмма имени французского химика и микробиолога Луи Пастера (Louis Pasteur, 1822–1895). В 30-х гг. Набоков передавал французское «Monsieur» как «м-сье» или «мсье» (например, в «Приглашении на казнь», 1936, в «Других берегах», 1954), позднее как «мосье» (в собственном русском переводе «Лолиты», 1967).

…мерзавца полковника Сент-Алина (St. Alin)… – каламбурно переиначено имя Сталина, которое будет еще другими способами обыграно в романе. «Сент-Алин», кроме того, напоминает о Сент-Малине (Sainte-Maline), телохранителе Генриха III Валуа и персонаже романа А. Дюма «Сорок пять» (1847).

С. 26. chez vous – здесь: по вашему времени (фр.).

С. 27. дорофон – гидродинамический телефон, от др. – греч. hydor – вода. Набоков мог придумать это название по аналогии с гидрофоном, описанным в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона так: «Снаряд, которым можно уловлять звуки, распространяющиеся в воде. Это колоколообразная труба, закрытая с широкой стороны пластинкой (вроде телефонной). Аппарат этот применялся впервые в 1887 г. во французском флоте». Другое название гидрофона – подводный телефон. Внося исправления и уточнения в корректурные гранки романа, Набоков всюду заменил «hydrophone» на «dorophone» (The Beinecke Rare Book & Manuscript Library / Vladimir Nabokov papers / Proofs of Ada or Ardor).

Подробности «Эль-катастрофы» <…> слишком хорошо известны в историческом отношении и слишком непристойны в отношении духовном… – «Эль-катастрофа» (в оригинале «the L. disaster») намекает на «электричество», запрещенный на Антитерре термин (ср. другой каламбурный эвфемизм в романе, возникающий в Ч. 1, гл. 24, – «Lettrocalamity», с его англ. calamity – бедствие). По той же

причине далее в этой главе появится еще один подставной термин, «запрещенный к упоминанию “ламмер”» (шотл. lammer – янтарь; ср. фр. l’ambre), намекающий на этимологию слова «электричество», которое происходит от др. – греч. электрон – янтарь. После частичного снятия запрета в начале XX в., ограничения возобновляются: в Пятой части романа между прочим сообщается, что «настоящий ламмер опять запретили к 1930 году» (подр. см.: Nicol Ch. Buzzwords and Dorophonemes. How Words Proliferate and Things Decay in Ada // Nabokov at Cornell / Ed. by G. Shapiro. N.Y. & L.: Cornell University Press, 2003. P. 95–96). Как заметил С. Блэквелл, «Вместо того, чтобы просто создать “научно-фантастический роман”, основанный на воображаемых следствиях недавних открытий – скажем, “Антитерра” как мир антивещества, – Набоков задумывается о том, что было бы, если бы сами законы физики были подчинены разуму и могли быть преобразованы и воплощены в актах эстетического созидания, подобно тому, как определенные электромагнитные волны образуют мир света, цвета и эстетики живописи» (Blackwell S. H. The Quill and the Scalpel. Nabokov’s Art and the Worlds of Science. Columbus: The Ohio State University Press, 2009. P. 157).

В «Аде» не объясняется причина запрета электричества и суть произошедшей катастрофы, последовавшей в результате открытия его истинной природы. Разгадку следует искать, по-видимому, в стихотворении Джона Шейда «Природа электричества» из романа «Бледный огонь» (в котором стихи отнесены к 1958 г.):

Покойники, кроткие покойники – кто знает? –

Живут, быть может, в вольфрамовых нитях,

И на моем ночном столике горит

Умершая невеста другого.

И может быть, Шекспир затопляет целый

Город бесчисленными огнями,

И пламенная душа Шелли

Завлекает бледных ночниц в беззвездные ночи.

Уличные фонари пронумерованы, и, возможно,

Что номер девятьсот девяносто девятый

(Столь ярко светящий сквозь столь зеленое дерево) –

Это один из моих старых друзей.

А когда над мертвенно-бледной равниной

Играет вилка молнии, в ней, может быть, живут

Мучения какого-нибудь Тамерлана,

Рев тиранов, раздираемых в аду.

Приведя стихотворение, Кинбот замечает: «Наука, кстати, говорит нам, что Земля не только распалась бы на части, но исчезла бы как призрак, если бы из мира вдруг пропало Электричество» (БО, 223–224). В неопубликованной поэме «Электричество» (датирована: 9–XII–20) Набоков представляет это явление извечной тайной. Поэма начинается с отсылки к древнегреческому философу и математику Фалесу Милетскому, сделавшему ряд наблюдений статического электричества («В Милете был я встарь мечтателем примечен / на липком янтаре»), затем следует обзор истории человечества сквозь призму освоения электричества, предстающего неосознанной формой участия сверхъестественного существа: «Скользнув над хмурыми земными городами, / в стеклянные сердца, висящие рядами / вдоль их расчисленных, излучистых путей, / на выгнутых мостах, в воде прозрачно-черной, — / в те мертвые сердца вложил я, чудотворный, / мечту, сплетенную из сорванных лучей. <…> Меня призвали люди / и многому с тех пор людей я научил…» (BCA / Manuscript box / Album 20). Уже в этом раннем сочинении Набоков проводит мысль, что электричество имеет отношение к загробной жизни.

Фарабог обыгрывает имя английского физика Майкла Фарадея (Faraday, 1791–1867), основоположника учения об электромагнитном поле.

брик-а-Браки — каламбур с фр. bric-à-brac (безделушки, старинные вещи; во втором значении — старье, хлам) и именем французского художника, скульптора и сценографа Жоржа Брака (Braque, 1882–1963), ставшего вместе с Пикассо основоположником кубизма (который еще будет высмеян в романе).

С. 28. Авраам Мильтон. — См. коммент. к с. 25. Как заметил Бойд, имя Милтон носил брат Дуайта Эйзенхауэра, тридцать четвертого президента США (1953–1961 гг.). Милтон Эйзенхауэр был советником трех американских президентов и президентом нескольких университетов США.

bien rangés — упорядоченные, уравновешенные (фр.).

…Паар из Чуза и Запатер из Аардварка… — «Paar of Chose», как в оригинале написано имя первого ученого, созвучно с «pair of shoes» (пара ботинок), что по общей стратегии дублирования названий, имен, персон и мест в романе намекает на двух «близнецов» — Кембридж в Англии и Кембридж (в котором находится Гарвардский университет) в штате Массачусетс, и, возможно, шутливо обыгрывает русскую поговорку

«два сапога пара». Тот же смысл подсказывает нем. Paar — пара, парный. Имя второго, гарвардского, ученого, как указал Бойд, образовано от исп. zapatero — сапожник. «Чуз» (Chose), по-видимому, взят из названия штата (Massachusetts). В английском Кембридже Набоков учился в 1919–1922 гг., а в американском жил в 40-е гг.; он, кроме того, преподавал в Гарварде как приглашенный профессор в 1951 г. В Ч. 3, гл. 4 романа Паар упоминается как «Old Paar of Chose», в чем усматривается намек на старейшего человека Англии Томаса («Старый Том») Парра («Old Tom» Parr), прожившего, как считается, 152 года (ок. 1483–1635). «Старый Парр» возникает на первой странице «Поминок по Финнегану» Джойса как «oldparr» (шутливо обыгрывается прозвище долгожителя и значение англ. parr — молодой лосось).

С. 29. Гавронский, далее также Г. А. Вронский — намек на Алексея Вронского, героя «Анны Карениной», и, возможно, на советского режиссера театра и кино Александра Осиповича Гавронского (1888–1958). А. О. Гавронский был братом приятельницы Набокова Амалии Осиповны Фондаминской (урожд. Гавронской), жены редактора «Современных записок» и друга Набокова И. И. Фондаминского. В доме Фондаминских Набоков не раз останавливался в 30-х гг., приезжая в Париж.

mirabilis — имеется в виду лат. annus mirabilis (чудесный или замечательный год), название, применяемое к тем календарным годам, которые отмечены особенно значительными и благоприятными событиями.

день св. Георгия — 23 апреля.

…согласно слезливым мемуарам м-ль Ларивьер… — Как заметил П. Тамми, гувернантка Ады и Люсетты, в прошлом гувернантка Вана, ставшая знаменитой писательницей, носит литературное имя, напоминающее о руанском докторе Ларивьере, пользовавшем Эмму Бовари в романе Флобера (Тамми П. Заметки о полигенетичности в прозе Набокова // В. В. Набоков: pro et contra. Антология. [Т. 1.] С. 521). Здесь, по-видимому, кроется источник пристрастия м-ль Ларивьер к медицине и самолечению, что станет известно позднее. Помимо этого, ее фамилия обыгрывается в названии ею же написанной новеллы «La Rivière de Diamants» (бриллиантовое ожерелье), антитеррийской версии «Ожерелья» («La Parure», 1884) Мопассана.

С. 30. Алтар — от Гибралтара, британской заморской территории.

Палермонтовия — Палермо соединяется с именем русского поэта; далее будет замечено, что Ардис находится на широте Сицилии.

обе Индии — Британская Индия (территория колониального владения Великобритании в Южной Азии) совмещается с историческими названиями Вест-Индия и Ост-Индия.

Ялта и Алтын Таг — Алтынтаг, горный хребет на западе Китая, сближается по созвучию с Аю-Дагом, горой и мысом на южном берегу Крыма, а также с алтыном, названием старинной русской монеты.

С. 31. мелодион — здесь: изобретенный в XIX в. клавишно-

пневматический инструмент, издающий звуки за счет вибрации язычков; американская версия фисгармонии.

Уорк — от американского Ньюарка (Newark) в штате Нью-Джерси, названного по английскому городу Ньюарк-он-Трент.

С. 32. …в «германской» марке Кеннензи и в «шведской» Манитобогане… — в первом случае германизировано название округа Маккензи (в Канаде и в Северной Дакоте), самой длинной реки Канады и канадских гор Маккензи; во втором название канадской провинции Манитобы соединено с тобогганом, бесполозными санями канадских индейцев. В XVII в. Швеция владела колонией «Новая Швеция» на северо-востоке Северной Америки.

С. 34. …мой мальчик, мой милый, любовь моя, сжалься… — В примеч. Дамор-Блока указан источник — стихи Альфреда Хаусмана (1859–1936), одного из любимых английских поэтов Набокова; имеется в виду концовка пятого стихотворения в сб. «Шропширский парень» (1896): «Be kind, have pity, my own, my pretty, — / “Good-bye, young man, good-bye”» («Будь добрым, сжалься, мой единственный, мой милый, / “Прощай, мальчик, прощай”») (Housman A. E. A Shropshire Lad. N.Y.: The Bodley Head, 1917. P. 9).

…ballatetta <…> mente <…> Кавальканти… — Как указано в примеч. Дамор-Блока, здесь в искаженном виде цитируются стихи итальянского поэта и философа, друга Данте, Гвидо Кавальканти. Имеются в виду первые четыре строчки заключительной строфы одной из его самых известных баллад «Perch’i’ no spero di tornar giammai…», написанной предположительно летом 1300 г. во время сарцанской ссылки: «Tu, voce sbigottita e deboletta / ch’esci piangendo de lo cor dolente, / coll’anima e con questa ballatetta / va’ ragionando della strutta mente» (NDN, 266). Строка «Perch’i’ no spero di tornar giammai…» («Потому что я не надеюсь когда-нибудь вернуться») отзывается в рефрене поэмы Т. С. Элиота «Пепельная среда» (1930), которую Набоков пародировал в «Лолите» в «поэтическом возмездии» Гумберта Гумберта, прочитанном вслух Куильти (Ч. II, гл. 35).

…во Флоренции, тот нелепый столп, увековечивающий <…> память об «ильмо», который покрылся листвой <…> тело мертвого св. Зевса… — Имеется в виду Колонна св. Зенобия, первого епископа Флоренции, умершего в V в. Она была установлена на главной площади Флоренции в память о чуде, произошедшем во время переноса останков Зенобия из одной церкви в другую: по преданию, его мощи задели стоявший на пути засохший вяз, и тот покрылся листвой. Изображение дерева украшает эту колонну. «Elmo», как гид произносит английское название вяза (elm), в итальянском языке означает шлем, кивер.

…Арлингтона <…> Джек Блэк… — Отсылка к фигуре одного из самых известных американских военачальников, генералу Джону Дж. Першингу (1860–1948), получившему прозвище Блэк Джек. Похоронен на Арлингтонском национальном кладбище.

Калибан — персонаж шекспировской «Бури» (1623), злобный дикарь, восстающий против своего хозяина Просперо. По наблюдениям С. Шумана,

в «Аде» прямо или косвенно привлечен материал из 16 пьес Шекспира, больше, чем в любом другом романе Набокова (Shuman S. Nabokov’s Shakespeare / Foreword by B. Boyd. N.Y. et al.: Bloomsbury, 2014. P. 109).

С. 35. теллурийцы — земляне.

С. 36. «Скрэббл» (англ. Scrabble) — изобретенная в 1930-х гг. американским архитектором Альфредом М. Баттсом настольная игра, в которой от двух до четырех игроков соревнуются в образовании слов из буквенных шашек, составляемых на доске, разбитой на 225 клеток.

…двое детей <…> чтобы заняться друг другом за кустарниковой зарослью, как в «Анне Карениной»… — Имеется в виду следующее место в романе Толстого (Ч. 6, гл. XV): «Дарья Александровна со своей стороны была в этот день в большом огорчении. Она ходила по комнате и сердито говорила стоявшей в углу и ревущей девочке:

— И будешь стоять весь день в углу, и обедать будешь одна, и ни одной куклы не увидишь, и платья тебе нового не сошью, — говорила она, не зная уже, чем наказать ее.

— Нет, это гадкая девочка! — обратилась она к Левину. — Откуда берутся у нее эти мерзкие наклонности?

— Да что же она сделала? — довольно равнодушно сказал Левин <…>

— Они с Гришей ходили в малину и там… я не могу даже сказать, что она делала. Тысячу раз пожалеешь miss Elliot. <…>

И Дарья Александровна рассказала преступление Маши.

— Это ничего не доказывает, это совсем не гадкие наклонности, это просто шалость, — успокаивал ее Левин» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1935. Т. 19. С. 175).

Секс-Руж — гора в Бернских Альпах швейцарского кантона Вале. В Ч. 3, гл. 8 «Рыжая гора» будет соотнесена с образом Люсетты, в то время как находящаяся рядом с ней, недалеко от Монтрё, «Черная гора» (Секс-Нуар) — с Адой: «Монт-Ру (Roux), наша рыжая малышка мертва. <…> Гора Рыжая (Russet), лесистый холм за городом, отвечала своему названию и осенней репутации, с этим теплым свечением курчавых каштанов; а на другом берегу озера Леман, Леман означает Любовник, виднелся гребень Секс-Нуар, Черной Горы». Фр. sex — отдельно стоящая скала, скальный утес.

С. 37. «Signor Konduktor, ай вант go Lago di Luga, hier geld» — смесь искаженного итальянского, английского и немецкого: «Господин кондуктор, я хочу ехать [к] озеру Луга, вот деньги». «Lago di Luga» — от ит. Lago di Lugano — озеро Лугано в Швейцарии.

…флаконе с надписью яркими буквами «Quelques Fleurs»… — Как указал Бойд, французские духи с таким названием («Несколько цветов»), модные в 1920–1930-х гг., выпускались парфюмерным домом «Houbigant».

Примечательно, что в драме Набокова «Человек из СССР» (1927) духи «Убиган» упоминаются в связи с темой адюльтера: антисоветский агент Алексей Кузнецов говорит своей любовнице, киноактрисе Марианне Таль: «Да, все забываю вам сказать, вы бы вовсе не душились. Марианна. Это чудные духи. Ты ничего не понимаешь. Убиган. Кузнецов (напевает). А мой милый хулиган подарил мне Убиган… Это ваш муж — на столике?» (Набоков В. Трагедия господина Морна. Пьесы. Лекции о драме / Состав., вступ. ст., примеч. А. Бабикова. СПб., 2008. С. 331).

Центавра (далее в этой главе — «Сен-Таврус») — аллюзия на роман Джона Апдайка (1932–2009) «Кентавр» (1963), мифологический сюжет которого развивается в американских реалиях XX в.; известен в «Аде» под названием «Хирон» (см. коммент. к с. 135).

С. 38. Некто д-р Фройд <…> д-ра Фройта из Синьи-Мондьё-Мондьё, городка в Арденнах <…> оба происходили из Вьены (Изер)… — Игра с именем австрийского психолога Зигмунда Фрейда (Sigmund Freud, 1856–1939), которого Набоков считал шарлатаном: «Sig» отзывается в названии городка Синьи-ле-Пти (Signy-le-Petit) в Арденнах, в то время как вторая часть имени (mund) по созвучию ассоциирована с фр. mon Dieu (Бог мой). Французский город Вьен в департаменте Изер соотнесен с Веной, в которой Фрейд прожил бóльшую часть жизни. По общему принципу зеркальности и двоения в «Аде», Фрейд разделен в романе на д-ра Фройда и его коллегу д-ра Зиг Хайлера (Sig Heiler), в имени которого помимо официального нацистского приветствия гитлеровской Германии «Sieg Heil!» обыгрывается нем. Heiler (целитель), созвучное англ. healer — целитель, знахарь (с возможным намеком на «исцеление» Германии под властью нацистов). Семантическую близость фамилии Фрейда немецкому «die Freude» (радость, удовольствие) Набоков обыграл в «Других берегах» (ДБ, 178–179) в связи с любовной темой (гувернер влюбился в мать Набокова): «местный воздухоплаватель Sigismond Lejoyeux [фр. le joyeux — радостный, веселый] занимался надуванием огромного желтого шара» (помимо двусмысленного в контексте антифрейдовского выпада «занимался надуванием», «желтый шар» намекает на презерватив).

…холодный дом, гнуспиталь… — В примеч. Дамор-Блока это слово (в оригинале «horsepittle») названо каламбуром, что не следует из «Холодного дома» Диккенса, в котором мальчик Джо, сказавший в разговоре с Алленом Вудкортом «horsepittle» вместо «hospital» (гл. XLVI), по незнанию искажает и другие слова.

С. 39. «Морона» — возможно, от «морного зелья» — яд, отрава (Словарь Даля).

С. 40. Aujourd’hui (heute — ой ли!)… — В оригинале обыгрывается созвучие французских и немецких слов, означающих «нынче», с англ. hoity-toity — скажите пожалуйста, ну и ну.

Princesse Lointaine — «La Princesse lointaine» (букв. «Далекая принцесса»), название драмы (1895) французского поэта и драматурга-неоромантика Эдмона Ростана (1868–1918), в русском переводе «Принцесса Грёза». В ее основе лежит легенда о провансальском трубадуре Жофре Рюделе, который полюбил графиню Триполи по рассказам паломников о ее красоте и добродетели и сложил в ее честь множество стихов. Чтобы увидеть свою «далекую любовь», Рюдель отправился на Ближний Восток, но во время путешествия заболел и скончался в Триполи на руках графини.

теперь изъ ада — в оригинале по-русски латиницей с английским переводом в скобках: «now is out of hell».

С. 43. …бронзиниевского купидона <…> сатир обнаруживает в будуаре дамы). — Имеется в виду картина итальянского художника-маньериста флорентийской школы Аньоло Бронзино (1503–1572) «Венера, Купидон и сатир» (ок. 1550–1555).

Лаки-Луис контаминирует американского Микки-Мауса с бельгийским комиксом о ковбое Счастливчике Люке («Lucky Luke»), одним из самых известных в Европе с конца 1940-х гг. Не исключена аллюзия на Чарльза «Лаки» Лучиано (1897–1962), американского гангстера сицилийского происхождения, в 30-х гг. стоявшего во главе итальянской мафии Нью-Йорка.

С. 44. слава Логу — антитеррийский эквивалент выражения «слава Богу», от греч. Логос (слово), в христианском богословии — Бог-сын как Посредник между Богом-отцом и миром. В гл. 42 название газеты «Голосъ» переведено как «Logos» (двуязычная анаграмма). Так в романе вводится тема поклонения «слову».

С. 45. Бутейан. — В имени дворецкого содержатся флоральные мотивы: Bouteillan — название французского винного сорта винограда и сорта прованских оливок.

фарманекен — от имени французского летчика и авиаконструктора Анри Фармана (1874–1958). Тип созданного им биплана назывался «Фарман».

С. 47. …клетки с фазанами <…> леди Амхерст… — Второе название алмазного фазана — фазан леди Амхерст, по имени британской натуралистки Сары Арчер, графини Амхерст (1762–1838).

С. 48. …второй женой Линкольна… — Авраам Линкольн был женат лишь однажды на Мэри Тодд.

королева Жозефина. — Имеется в виду, по-видимому, не первая жена Наполеона Бонапарта Жозефина де Богарне (эту фамилию в «Аде» носит слуга Ким), императрица Франции, а ее внучка, жена Оскара I, короля Швеции и Норвегии, Жозефина Лейхтенбергская (1807–1876), известная как Королева Жозефина.

Трешам. — Несмотря на то что эта фамилия, как было замечено Д. Б. Джонсоном, анаграммирует уже упомянутую леди Амхерст (Tresham — Amherst), она действительно имеет отношение к живописи: ее носил

известный ирландский художник Генри Трешам (1750–1814), писавший главным образом большие исторические полотна.

С. 49. …Тарне, иначе называемом Новым Водоемом… — В английском языке tarn — геологический термин, означающий каровое озеро — небольшое ледниковое озеро, занимающее впадины каров.

С. 52. князь Всеслав Земский. — Выбор имени для родоначальника был, по-видимому, определен колоритной фигурой полоцкого князя Всеслава Брячиславича (ум. в 1101 г.), которому в «Слове о полку Игореве» отведено значительное место. После короткого рассказа о его бурной жизни о нем сообщается следующее: «Всеслав-князь людям суд правил, князьям города рядил, а сам ночью волком рыскал: из Киева до рассвета дорыскивал до Тмутаракани, великому Хорсу волком путь перебегал. Ему в Полоцке позвонили к заутрене рано у святой Софии в колокола, а он в Киеве звон тот слышал. Хотя и вещая душа была у него в дерзком теле, но часто от бед страдал» (Библиотека Древней Руси. Т. 4. XII век / Пер. О. В. Творогова. СПб.: Наука, 2004. С. 265). Замечанию о вещей душе Всеслава отвечает в «Повести временных лет» упоминание о его необычном рождении: «В тот же год умер Брячислав, сын Изяслава, внук Владимира, отец Всеслава, и Всеслав, сын его, сел на столе его, мать же родила его от волхвования. Когда мать родила его, на голове его оказалось язвено, и сказали волхвы матери его: “Это язвено навяжи на него, пусть носит его до смерти”. И носит его на себе Всеслав до сего дня; оттого и не милостив на кровопролитие» (Повесть временных лет / Подгот. текста, пер., ст. и коммент. Д. С. Лихачева. Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. СПб.: Наука, 2007. С. 205).

В комментариях к «Евгению Онегину» Набоков писал о кн. Всеславе: «<…> мысль о мгновенных перемещениях в пространстве встречается в “Слове о полку Игореве” <…> в знаменитом отрывке или позднейшей интерполяции, где описывается занимавшийся колдовством князь Полоцкий Всеслав <…>. Сообщается, что последний (“объятый синей мглой”) мог с такой скоростью пересекать Русь, что, провожаемый заутреней в Полоцке, успевал прибыть в Киев, когда там все еще звонили колокола <…>» (KEO, 535). Вполне возможно, что стремительные перемещения Демона Вина в романе навеяны в том числе этим образом.

Судьбе князя Иван Бунин (как отметил М. Шраер, Ван — Иван — Вин родился в тот же год, что и Бунин) посвятил стихотворение «Князь Всеслав» (1916), которое Набоков процитировал в своей рецензии на книгу избранных стихов Бунина в 1929 г. Концовка бунинского стихотворения могла повлиять на выбор фамилии предка Вана Вина: «В Полоцке звонят, а он иное / Слышит в тонкой грезе… Чтó года / Горестей, изгнанья! Неземное / Сердцем он запомнил навсегда» (Бунин И. А. Собр. соч.: В 11 т. Берлин: Петрополис, 1935. Т. VI. С. 233. Курсив мой). На «неземной» Антитерре набоковский князь носит подчеркнуто земное имя (в Словаре Даля отмечены два основных значения прилагательного «земский»: земной и относящийся до земства, до управления гражданского, общественного).

…друга Линнея и автора «Flora Ladorica». — Карл Линней (1707–1778) — знаменитый шведский естествоиспытатель и медик, создатель единой

системы классификации растений и животных, автор переиначенного здесь труда о растительном мире Лапландии «Flora Lapponica» (1737).

…Сумеречников, американский предшественник братьев Люмьер… — Обыграна фамилия изобретателей кинематографа, Огюста (1862–1954) и Луи Люмьеров (1864–1948): фр. lumière — свечение, сияние. Далее в романе будут упомянуты «сумерографии», снимки, сделанные по технологии Сумеречникова, и «сумерки перед Люмьерами».

…павловнии (названной так нерадивым лингвистом <…> по отчеству <…> Анны Павловны Романовой… — Название этого китайского растения (Paulownia imperialis) действительно возникло вследствие того, что немецкие ботаники Зибольд и Цуккарини приняли отчество дочери Павла I Анны, супруги Виллема II, за второе имя. Упоминание павловнии поддерживает связанные с Ардисом райские мотивы, поскольку второе ее название — адамово дерево.

С. 53. …танцевальная зала <…> с несчастливыми желтофиолевыми стульями. — В английском языке название желтофиоли садовой (wallflower) имеет иносказательное шутливое значение: девушка, оставшаяся без кавалера на танцах.

«Мимо, читатель», как писал Тургенев. — В гл. XIX романа «Дым» (1867) рассказ о трагической смерти Элизы Бельской и о судьбе ее подруги Ирины, ставшей любовницей русского императора, заканчивается словами: «Страшная, темная история… Мимо, читатель, мимо!» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения. М.: Наука, 1981. Т. 7. С. 367).

С. 55. Алонсо — настоящее имя героя романа Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1605–1615) Алонсо Кехана. Испанская тема (и отсылки к «Дон Кихоту» в частности) связана в «Аде» в первую очередь с «Лолитой», приписанной Х. Л. Борхесу (см. коммент. к с. 83).

…натюрморт Хуана де Лабрадора из Эстремадуры… — Испанский художник, мастер натюрморта Хуан Фернандес (годы творчества 1630–1657), родом из городка Харайсехо в Эстремадуре, получил прозвище «эль Лабрадор» (пахарь) за свою любовь к сельской жизни.

Сурбаран, Франсиско де (1598–1664), испанский художник, представитель севильской школы живописи.

…canastila (корзинка) и nubarrones (грозовые тучи) <…> из чудного испанского стихотворения с переводом en regard в своем школьном учебнике. — В примеч. Дамор-Блока уточняется, что слова взяты из двух стихотворений Хорхе Гильена (1893–1984), еще одного (после Кавальканти) поэта-изгнанника, «Descanso en jardín» («Отдых в саду») и «El otoño: isla» («Осень: остров»). Как указали Риверс и Уолкер, под учебником, возможно, подразумевается следующее издание: Guillén J. Cántico: A Selection / Ed. by Norman Thomas di Giovanni. Boston: Little, Brown, 1965. В нем оба стихотворения Гильена приведены в оригинале и в переводе. Как и Набоков, Гильен с 1940 г. преподавал в американском колледже Уэльсли (NDN, 267–268).

С. 56. aroma — аромат, запах; hombre — мужчина; человек.

…анатомического термина с «j», висящим посередине. — Возможно, подразумевается исп. cojón — груб. тестикула.

С. 57. …не состоящего в одюбоновском стане… — Джон Джеймс Одюбон (1785–1851), американский натуралист, орнитолог и художник-анималист, автор знаменитого альбома рисунков «Птицы Америки» (1827–1838), пятитомной «Орнитологической биографии» и других трудов. В 1905 г. в США было основано Национальное Одюбоновское общество.

Он был в порядке… — Ван обнаружил, что упомянутый в конце гл. 4 зуд прошел.

С. 58. …в мемуарах Казановы… — «История моей жизни» (впервые издана в немецком переводе в 1822–1828 гг.) итальянского авантюриста, писателя и путешественника Джакомо Казановы (1725–1798).

Finalement — Наконец.

le Docteur Chronique — доктор Хроник. Обыграны значения фр. chronique — хронический, хроника, летопись, обозрение.

С. 59. стамнос — в Древней Греции сосуд с короткой горловиной и широким отверстием для хранения вина.

С. 62. Эрминин совмещает англ. ermine (горностай) с русской фамилией Минин, напоминающей о Кузьме Минине, одном из руководителей Второго народного ополчения 1611–1612 гг. В рыцарской поэме Торкватто Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1581) Эрминия — дочь сарацинского царя, полюбившая христианского рыцаря.

…драная книжка <…> “Les amours du Docteur Mertvago”, мистический роман, написанный пастором». — Иронично переиначенный «Доктор Живаго» Пастернака, фамилия которого обыгрывается в слове «пастор», совмещается с двумя произведениями: «Les amours du chevalier de Faublas» (в русском переводе известен под названием «Любовные похождения кавалера де Фобласа», 1787–1790), гривуазным романом Жана-Батиста Луве де Кувре, упомянутым в «Евгении Онегине», и «Un amour de Swann» («Любовь Свана», 1913), второй частью первого тома «В поисках утраченного времени» Пруста. Превращение «Живаго» в «Мертваго» («доктор Мертваго» напоминает о средневековом Чумном докторе и отдает фарсовым комизмом) отвечает определению «мистический роман», «любовь» в котором, по-видимому, должна иметь идеальный или религиозный характер. Вместе с тем для русского читателя символизм произведенной замены отчасти нивелируется тем, что Мертваго и Живаго — известные русские дворянские фамилии, что учитывал сам Пастернак, сочиняя свою книгу. В интервью 1961 г. «Новому русскому слову» Набоков отозвался о Пастернаке так: «“Доктор Живаго” <…> среднего качества мелодрама, с троцкистской тенденцией. Это определенно пробольшевистское произведение, хотя и антисталинское. Книга <…> плохо написана, очень плохо. Пастернак никогда хорошим прозаиком не был. Поэт он, конечно, хороший. Не

такой большой, правда, как, скажем, Блок, но хороший» (Набоков В. Собр. соч. русского периода: В 5 т. / Сост. Н. И. Артеменко-Толстой. СПб., 2000. Т. 5. С. 647–648). В «Постскриптуме к русскому изданию» «Лолиты» Набоков охарактеризовал роман Пастернака следующим образом: «Зарубежные же русские запоем читают советские романы, увлекаясь картонными тихими донцами на картонных же хвостах-подставках или тем лирическим доктором с лубочно-мистическими позывами, мещанскими оборотами речи и чаровницей из Чарской, который принес советскому правительству столько добротной иностранной валюты» (Набоков В. Лолита. М.: АСТ: Corpus, 2021. С. 529. Курсив мой.). «Доктор Живаго» и «Лолита» соперничали в американских списках бестселлеров 1958 г.

«Для игры с тобой в крокет <…> понадобятся фламинго и ежи» <…> “Кларисса в Стране чудес”… — Отсылка к «Приключениям Алисы в Стране чудес» (1865) Л. Кэрролла (1832–1898), в переводе Набокова «Аня в Стране чудес» (Берлин, 1923).

Нравятся ли Вану вязы? Знает ли он стихотворенье Джойса о двух прачках? — Имеется в виду поэтичный пассаж в конце Первой части романа Джеймса Джойса (1882–1941) «Поминки по Финнегану» (1939), в котором «две прачки на речке <…> рассказывают друг другу про Анну Ливию и, кончив стирку и сплетни, с приходом ночи обращаются — одна в камень, другая — в прибрежный вяз…» (Хоружий С. С. «Улисс» в русском зеркале // Джойс Дж. Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 429). Отрывок «Анна Ливия Плюрабель» один из самых известных, Джойс прочитал его для граммофонной записи в 1929 г. Неизменно высоко ценя «Улисса», Набоков находил «Поминки» неудачной книгой, его отзывы о ней обыкновенно сводились к нескольким уничижительным замечаниям, к примеру, в интервью А. Аппелю в 1966 г.: «бесформенная и унылая масса поддельного фольклора, холодный пудинг книги, непрерывный храп в соседней комнате, особенно несносный при моей бессоннице. К тому же я всегда питал отвращение к региональной литературе, полной чудаковатых старожилов и имитированного выговора. За фасадом “Поминок по Финнегану” скрывается очень традиционный и скучный многоквартирный дом, и только изредка звучащие божественные интонации искупают их полное безвкусие» (SO, 71. Пер. мой). В письме к жене от 24 февраля 1936 г. Набоков рассказал, что Поль Леон, русский эмигрант и секретарь Джойса, подарил ему несколько книг автора «Улисса» с его надписями, среди которых, по-видимому, было американское издание «Анны Ливии» 1928 г. или английское 1930 г.: «Об этих новых его вещах: абстрактные каламбуры, маскарад слов, тени слов, болезни слов. Пародирую его: creaming at the pot of his joyce. В конце концов: ум заходит за разум, и пока заходит, небо упоительно, но потом — ночь» (ПКВ, 262–263). Набоков не избежал сопоставлений с Джойсом после публикации «Ады», несмотря на то, что его каламбурную технику отличает стремление к содержательности, а не к самодостаточной отвлеченности. Говоря предельно коротко, в вопросах игры слов Набоков был за умное и против заумного. Это утверждение иллюстрирует его неопубликованное стихотворение, написанное отчасти в манере Джойса (BCA / Manuscript box 1):

Грелись целые царства в этом луче косом,

В прелести, в шелесте Веспера!

Был вечер перист и невесом, —

А теперь захочу и скажу «вес пера»,

Отблагодарив мою родину рифмою.

В. Набоков

10—III—1957

За шестнадцать лет до этого экспромта, в феврале 1941 г., Набоков в письме Георгию Гессену уже опробовал омонимическую пару «Веспера — вес пера»: «Ох, как много всякой всячины набралось. Вот умер Джойс (вес пера, веспера, в есперанс, как он любил выражаться), а такого языка походя не выдумаешь, чтобы тебе свободно сообщить эти всячинки» (Письма В. В. Набокова к Гессенам / Публ. В. Ю. Гессена // Звезда. 1999. № 4. С. 44).

С. 63. …растоптал мои круги… — аллюзия на крылатое выражение «Noli turbare circulos meos!» («Не тронь моих кругов!» или «Не тронь моих чертежей!»): по преданию, этими словами древнегреческий ученый и инженер Архимед встретил римского солдата, который при взятии Сиракуз ворвался к нему в дом и убил его.

ларвариум — контейнер для выращивания личинок насекомых.

С. 65. …гусеницу орхидейной сфингиды (розово-лиловые тона мосье Пруста)… — Придуманный Набоковым вид бражника (Sphingidae, типовой род Sphinx Linnaeus, 1758), названный ниже в этой главе «одеттин сфинкс», напоминает о любовных привычках Шарля Свана и Одетты де Креси, «Дамы в розовом», описанных во второй части романа Пруста «В сторону Свана». Близость Свана и Одетты началась с того, что он поправил орхидеи на ее платье, после чего выражение «faire catleya» или «arranger les catleyas» («сделать орхидею», «устроить орхидеи») стало их эвфемизмом соития.

С. 66. …придушила их одним коротким сжатием проворных пальцев… — Способ умерщвления бабочек, применявшийся Набоковым, был описан Аксаковым в очерке «Собирание бабочек» (1859): «Дело происходило следующим образом: взяв бабочку снизу осторожно за грудь большим и указательным пальцами, Фукс сжал ее довольно крепко; это нужно для того, чтобы бабочка лишилась чувств, не билась крылушками и не сбивала с них цветную пыль. Для этого сжатия имелись особые стальные щипчики; но Фукс сказал и показал нам, что мы можем обойтись и без них» (Аксаков С. Т. Собр. соч.: В 4 т. М., 1955. Т. 2. С. 169).

…одеттин сфинкс <…> превратился в слоноподобную мумию с комично торчащим хоботком германтоидного типа… — В «Обретенном времени» (опубл. 1927), последнем романе прустовского цикла,

немолодая, но по-прежнему очаровательная Одетта становится любовницей престарелого герцога Германтского.

Antocharis ada Krolik (1884) — название произведено от Anthocharis, рода чешуекрылых из семейства белянок (у Набокова, вероятно по недосмотру, без первого «h»).

С. 69. …воспитание его чувств… — В оригинале «sentimental education», под таким названием известен английский перевод романа Г. Флобера (1821–1880) «Воспитание чувств» (1869). См. также коммент. к с. 447.

С. 70. …«monologue intérieur» Поля Бурже, позаимствованный у старика Льва… — Поль Бурже (1852–1935), популярный в конце XIX в. писатель, критик и психолог, использовал прием «внутреннего монолога», французского эквивалента «потока сознания», в романах «Ученик» (1889) и «Космополис» (1892). В лекциях об «Анне Карениной» Набоков отмечал, что Толстой еще раньше применил этот прием, задолго до того, как Джойс развил его в «Улиссе».

…в свежей колонке Эльси де Норд… — Во французском произношении это имя созвучно с Эльсинором, местом действия «Гамлета». В Ч. 2, гл. 2 романа будет упомянут лондонский еженедельник «Эльсинор» и его Первый Клоун (рецензент).

Лёвин. — Набоков придерживался такого произношения этой фамилии (от «Лёв», в оригинале Lyovin).

…разгуливал по Москве в нагольномъ тулупѣ… — В заметке «On Adaptation» (1969) Набоков указал на ошибку Р. Лоуэлла в его переводе стихотворения О. Э. Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков…», в котором «шуба» (fur coat) превратилась в «sheepskin» — тулуп (SO, 281). Это место, кроме того, напоминает замечание Набокова в его университетских лекциях о времени в «Анне Карениной»: «Самое любопытное состоит в том, что Толстой довольно небрежно обращается с объективным временем. Внимательные читатели заметили, что в “Войне и мире” дети растут или слишком быстро, или слишком медленно, так же как в “Мертвых душах”, где, несмотря на пристальное внимание Гоголя к костюмам героев, Чичиков в разгар лета разгуливает в медвежьей шубе» (Набоков В. Лекции по русской литературе. М., 1996. С. 225. Пер. А. Курт).

С. 71. …Ботани-Бей — ссылка… — Намек на Адино увлечение ботаникой: австралийский залив в Новом Южном Уэльсе, открытый Джеймсом Куком, был назван так из-за его богатой растительности. Поскольку берега залива стали местом ссылки, выражение «Botany Bay» приобрело переносное значение «ссылка», «каторга».

С. 72. …стихи пружинным ритмом… — Термин английской просодии (sprung rhythm) спроецирован на русские стихи; введенный английским поэтом Джерардом М. Хопкинсом (1844–1889), он предполагает определенное число ударных слогов в строке и произвольное число безударных, что приближает стихи к ритму взволнованной разговорной речи.

эккеркроуновская тарелка — в названии соединяются нем. Ecker — желудь, и англ. crown — корона, что позволяет предположить намек на английскую фарфоровую мануфактуру «Hammersley & Co.», клеймо которой изображало дубовый росток с желудем над короной.

Primula veris — первоцвет весенний или первоцвет настоящий.

«Je vous en prie, mes enfants!» — «Прошу вас, дети!»

…назвать обезьян “ursine howlers”, медвежьими ревунами… — Русское название этого рода обезьян ревуны (Alouatta). Игра слов с англ. howler — ревун; грубая ошибка.

С. 73. “Mémoire” («Воспоминание», 1872), одно из самых известных стихотворений французского поэта Артюра Рембо (1854–1891).

…Мадемуазель предпочитает Мюссе и Коппе… — В отличие от Альфреда де Мюссе (1810–1857), стихи которого (как и стихи Рембо) Набоков переводил на русский язык, Франсуа Коппе (1842–1908), популярный в пору Третьей республики представитель парнасской школы, не входил в круг его любимых поэтов. Описывая в «Других берегах» свою французскую гувернантку Сесиль Миотон, отдельными чертами которой он наделил м-ль Ларивьер, Набоков с сожалением отмечал невзыскательность ее литературного вкуса: «Между тем сам по себе ее французский язык был так обаятелен! Неужто нельзя было забыть поверхностность ее образования, плоскость суждений, озлобленность нрава, когда эта жемчужная речь журчала и переливалась, столь же лишенная истинной мысли и поэзии, как стишки ее любимцев Ламартина и Коппе! Настоящей французской литературе я приобщился не через нее, а через рано открытые мною книги в отцовской библиотеке <…>» (ДБ, 128).

oeuvres complètes — полное собрание сочинений (фр.).

…ciel de lit, что Фаули переводит как “небесная постель”, вместо “балдахин” <…> Фальшивый louis d’or в этой коллекции изгаженных французских слов — это преобразование souci d’eau (нашей калужницы) в ослиную “заботу воды”… — У. Фаули опубликовал свой перевод «Воспоминания» Рембо в 1946 г., допустив несколько ошибок, среди которых и буквальный перевод «souci d’eau», французского названия калужницы болотной. Упоминание фальшивого луидора вызвано тем, что у Фаули вместо «чище луидора» — «золотистей луидора» (АНМС, 74). В 1966 г. Фаули опубликовал новую, исправленную версию своего перевода, которая, по-видимому, не была известна Набокову во время сочинения «Ады» (АНМС, 455).

марвелловский “Сад” — стихотворение английского поэта Эндрю Марвелла (1621–1678), опубликованное в 1681 г., один из источников «Ады».

“Le jardin” — «Сад» (фр.).

С. 74. …En vain on s’amuse à gagner / L’Oka, la Baie du Palmier… — «Напрасно мы наслаждаемся победой / Над Окой и Пальмовым Заливом…» Приведенный в примеч. Дамор-Блока рифмованный английский перевод,

иллюстрирующий общепринятое искажение смысла в угоду рифме, неточен: «In vain one gains in play / The Oka river and Palm Bay» («Напрасно кто-то обретает в игре [забавы ради] / Оку и Пальмовый Залив»). Следуя этой стратегии, мы в свою очередь перевели английские строчки примечания в рифму. В версии Ады иронично перефразированы начальные строки «Сада» Марвелла: «How vainly men themselves amaze / To vin the Palm, the Oke, or Bayes». Опущено перечисление растений, символизирующих соответственно славу военную, общественную (Corona civica) и литературную; «дуб» (the oak) по созвучию становится Окой, а лавры (bays) заливом (Набоков приводит оригинальное архаичное написание слов «Oke» и «Bayes»). Сопоставление «Сада» Марвелла с «Адой» см: Long M. Marvell, Nabokov. Childhood and Arcadia. Oxford: Clarendon Press, 1984. P. 106–112.

fête-d’enfants — детский праздник (фр.).

à neuf ans — в девять лет (фр.).

Жильберта Сван — дочь Шарля Свана и Одетты де Креси, детская любовь рассказчика Марселя в цикле романов Пруста.

et la Lesbie de Catulle — и Лесбию Катулла (фр.). Именем Лесбия древнеримский поэт Гай Валерий Катулл (ок. 87 — ок. 54 до н. э.) называет в лирических стихах свою возлюбленную Клодию. Это мимолетное упоминание имеет важное значение для дальнейшей истории любви Вана и Ады, служа зачином темы измен. Клодия была развратна, и Катулл прямо соотносил Лесбию с гулящей: «В стихотворении № 58 его Лесбия “блудит по подворотням”, а в стихотворении № 37 изображается (правда, безымянно) кабацкой девкой» (Гаспаров М. Л. Избранные труды. М.: Языки русской культуры, 1997. Т. I. С. 104).

С. 76. «устричная» техника декорирования предполагает использование шпона из определенных пород деревьев, нарезанных в поперечном сечении, что позволяет создать на поверхности мебели или паркета рисунок, напоминающий открытые раковины устриц.

groote — такое написание голландского слова «большой» считалось нормой до 1947 г.; по современным правилам орфографии — groot (NDN, 270–271).

С. 78. …тематические антемионы… — В этом древнегреческом растительном орнаменте, состоявшем из ряда расходящихся лепестков и листьев жимолости, Набоков видел аналогию собственной повествовательной технике, с ее расширяющимся, искусно сплетенным тематическим узором. «Антемион» — одно из предварительных названий его мемуарной книги «Conclusive Evidence» («Другие берега» в русском переводе), цель которой, как Набоков отметил в Предисловии, — «описать прошлое с предельной точностью и отыскать в нем полнозначные очертания, а именно: развитие и повторение тайных тем в явной судьбе» (ДБ, 13).

…читателей, этих мыслящих камышей… — Уподобление человека мыслящему тростнику в «Мыслях» (1670) французского математика и философа Блеза Паскаля (1623–1662) завершается важной для «Ады» темой пространства

и времени: «Человек — всего лишь тростинка, самая слабая в природе, но это тростинка мыслящая. Не нужно ополчаться против него всей вселенной, чтобы его раздавить; облачка пара, капельки воды достаточно, чтобы его убить. Но пусть вселенная и раздавит его, человек все равно будет выше своего убийцы, ибо он знает, что умирает, и знает превосходство вселенной над ним. Вселенная ничего этого не знает. Итак, все наше достоинство заключено в мысли. Вот в чем наше величие, а не в пространстве и времени, которых мы не можем заполнить. Постараемся же мыслить как должно: вот основание морали» (Паскаль Б. Мысли / Пер. Ю. Гинзбург. М., 1995. С. 136–137). В недатированном стихотворении «Не знаю, чье журчанье это…», написанном (под псевдонимом Василий Шишков) в США после нападения Германии на СССР, Набоков использовал по отношению к советским русским обратную метафору: «немыслящие камыши» (опубликовано в издании: Бабиков А. Прочтение Набокова. Изыскания и материалы. СПб., 2019. С. 96–97).

Yerba Buena (Clinopodium douglasii) — испанское название ряда пряных растений, одно из русских названий которого Чабер Дугласа.

С. 79. …окрест среди инструментов в возке… — В оригинале англ. horsecart (повозка) служит анаграммой к возникающему далее в этой главе слову «orchestra» (оркестр), см. примеч. Дамор–Блока. На специальную функцию термина указывает его неверное слитное написание (он пишется либо раздельно, либо через дефис). Источник анаграммы — интервью, взятое у Набокова Пенелопой Джиллиат для журнала «Vogue» в 1966 г., в котором она предложила Набокову составить анаграмму к «cart horse». Его решение («her actors» — «ее актеры») было неудачным, поскольку требовалось найти одно слово. Искомое слово («orchestra») Набоков мог узнать после публикации интервью (см.: Interview with Penelope Gilliatt for Vogue (1966) // TWS, 349).

С. 80. …в случае Биллионера Билля с его острой бородкой и стилизованным лысым куполом… — Во французском переводе «Ады» вместо «Биллионера Билля» — «возвышенный Уильям», что раскрывает в «Bill» аллюзию на «Will» (Уилл, уменьшительное от Уильям), а в его описании — на поясную скульптуру надгробного памятника Шекспиру в церкви св. Троицы (Стратфорд-на-Эйвоне), которая изображает драматурга с высоким лысым челом и заостренной бородкой.

…Пруста, любившего обезглавливать крыс… — Биограф писателя приводит, не без фрейдистских интерпретаций, несколько иные сведения, что крыс специально привозили Прусту (со скотобоен или из других мест), а он наблюдал за тем, как юноши (нарочно для этого нанятые?) прокалывают их шляпными булавками или бьют их палками (Painter G. D. Marcel Proust: A Biography. N.Y., 1989. Vol. 2. P. 268–269).

люциферы — здесь, вероятно, иносказательное название светлячков; слово, однако, используется в названиях насекомых, к примеру, сверчок Hemisaga lucifer или вид пчелиных мух Poecilanthrax lucifer.

С. 81. кругуар — каламбур с кугуаром (пумой).

…бессмысленным пространством над ним, под ним, всюду, этим

дьявольским подобием божественного времени, звучащего вокруг него… — Эти мысли о пространстве и природе времени получат развитие в Ч. 4 романа.

С. 83. jour de fête — праздничный день (фр.).

…«лолиту» (от имени андалузской цыганочки из романа Осберха… — Набоковская «Лолита» приписана испаноязычному аргентинскому поэту и писателю Х. Л. Борхесу (1899–1986), причем упоминание андалузской цыганки отсылает в то же время к «Кармен» (1845) П. Мериме, одному из источников «Лолиты».

С. 84. per contra — напротив (лат.).

шаттэльская яблоня — вымышленное дерево, от Шатт-эль-Араб, названия реки в Ираке и Иране, образованной слиянием Тигра и Евфрата. Согласно Библии, две эти реки выходят из Эдема, и, следовательно, в названии дерева усматривается намек на запретный плод Древа познания добра и зла в Эдемском саду, которое в западной христианской традиции соотнесено с яблоней. Название поместья Ардис, в свою очередь, соотносится не только с др. — гр. «острие», «наконечник стрелы», но и с парадизом.

С. 85. …мадам Форестье, подруга школьных лет Матильды из будущего рассказа. — В рассказе Мопассана «Ожерелье» мадам Форестье — приятельница Матильды, которой она одолжила злополучное ожерелье.

С. 88. Сен-Мало — портовый город на северо-западе Франции, регион Бретань, в котором родился Франсуа Рене де Шатобриан (1768–1848).

С. 89. …изогнув перевернутое тело, вскинув, будто тарентский парус <…> ноги… — Примечательно, что это сравнение возникает уже в первом романе Набокова «Машенька» (1926), герой которого, молодой русский эмигрант Лев Ганин, имеет с Ваном несколько общих черт и схожим образом предается мысленному воскрешению своего прошлого и обстоятельств первой любви в идиллических декорациях русской усадьбы: «Еще так недавно он умел, не хуже японского акробата, ходить на руках, стройно вскинув ноги и двигаясь подобно парусу <…>» (Набоков В. Машенька. Подвиг. М.: АСТ: Corpus, 2021. С. 25). Тарент — древнегреческая колония на берегу Тарентского залива, на месте которой расположен современный итальянский город Таранто.

С. 92. Эссекс — графство на юго-востоке Англии, а также округ в Массачусетсе, США; Мидлсекс — до 1965 г. графство в Англии, теперь в составе Большого Лондона, а также округ в Массачусетсе, США; Сомерсет — графство на юго-западе Англии, а также название нескольких округов в США и острова Канадского Арктического архипелага. Набоков мог иметь в виду, кроме того, ироничную аллюзию на английского писателя Сомерсета Моэма, которого называли английским Мопассаном и который умер в 1965 г.

С. 94. м-ль Лапарур обыгрывает название рассказа Мопассана «La parure» («Ожерелье»).

С. 96. arrière — здесь: предыдущие (фр.).

…французский маркиз <…> бредил банками, ценными бумагами и золотом, так что мне легко представить себе людей, которые могли бы звать его “un juif”». — Как было замечено, в том обстоятельстве, что французского прадеда Грега, а не кого-то из его еврейских предков могли называть евреем, можно усмотреть линию к пушкинскому Барону из «Скупого рыцаря» (1830), который, по словам его сына, «Богат и сам, как жид» (Сендерович С., Шварц Е. Набоковский парадокс о еврее // Парадоксы русской литературы. Сб. статей под ред. В. Марковича и В. Шмида. СПб., 2001. С. 313–314).

С. 97. …римские колонисты, распинавшие в древности евреев-христиан и вараввинов… — Имя библейского разбойника Вараввы, помилованного Понтием Пилатом, совмещено с «раввином» — ученое звание в иудаизме, наставник в еврейской общине. Слово «раввин» происходит от др. — евр. рабби — мой учитель, и такое обращение встречается в Новом Завете по отношению к Иисусу.

С. 98. …пьесу Шекспира о злом ростовщике… — Имеется в виду «Венецианский купец» (ок. 1596): еврей Шейлок потребовал от своего должника-христианина Антонио исполнить уговор, по которому в случае неуплаты долга Шейлок мог вырезать из его тела фунт плоти. Гувернантка придерживалась, очевидно, распространенной в прошлом антисемитской трактовки этой пьесы.

…монолог его безумного короля <…> Ce beau jardin fleurit en mai <…> nes’t vert. — Подразумеваются предсмертные слова Лира о своей повешенной младшей дочери Корделии («Король Лир», акт V, сц. 3): «Зачем живут собака, лошадь, крыса — / В тебе ж дыханья нет? О, никогда / Ты не придешь, ты не вернешься к нам! / Никогда! Никогда! Никогда! Никогда!» (пер. А. Дружинина). В Адиной вариации обыгрывается созвучие англ. never (никогда) с фр. n’est vert (не зеленый).

С. 99. …Двулузовую газету… — Ван подхватывает тему франко-английских созвучий, начатую стихами Ады: фр. tou в слове «Toulouse» (Тулуза) созвучно с англ. two (два).

С. 100. l’ardeur de la canicule — палящий зной лета (фр.); двусмысленно, поскольку первое слово значит то же, что и англ. ardor.

С. 101. …книжечку в шагреневом переплете <…> на более ранней стадии развития Романа в Истории Литературы. — Под настоящей шагренью понимают дубленую ослиную или лошадиную кожу с зернистой мереей. В переплетном деле используют цветной коленкор, по виду напоминающий шагрень. Здесь усматривается аллюзия на «Шагреневую кожу» (1831) переоцененного, по мнению Набокова, французского писателя Оноре де Бальзака (1799–1850). Герой романа Рафаэль, обладающий волшебным отрезком шагрени, способным исполнять желания, пытается уничтожить его, поскольку каждое исполненное желание стремительно сокращает сам отрезок кожи и его жизнь. Ван, как будет сообщено позднее, уничтожит свой дневник. Схожим с «Адой» образом любовь к Рафаэлю

очаровательной Полины, героини «Шагреневой кожи», начинается с ее отроческих лет.

С. 102. punctum caecum — слепое пятно, область на сетчатке, которая не чувствительна к свету.

С. 103. …avournine (как позднее Бланш назвала Аду на поддельном французском)… — Бланш сообщает французское окончание английскому слову ирландского происхождения avourneen (милая, любимая). Кроме того, ее акцент, вероятно, придает первой части слова сходство с фр. avoir — обладать, иметь. Позднее применительно к Аде будет употреблен другой гибридный неологизм, на этот раз с русским окончанием, — мюирниночка, который этимологически связан с тем же avourneen, происходящим от ирландско-гэльского выражения «a mhuirnīn» («о, душенька!»).

С. 104. зеркальце Венеры — орхидея Ophrys speculum (офрис зеркальный).

ensellure — прогиб в пояснице (фр.).

С. 106. Ophrys scolopax и Ophrys veenae — первое растение реальное, в названии второго, вымышленного, обыгрывается имя Винов; цветки орхидей рода офрис, в частности Ophrys scolopax, примечательны тем, что имитируют внешний вид и запах неоплодотворенных самок некоторых видов пчел, в результате чего обманутые самцы совершают псевдокопуляцию с такими цветками.

Самый большой из имеющихся в библиотеке словарей <…> an orifice… — Определение взято из «Нового словаря Уэбстера» (Webster’s New International Dictionary. Second Edition, 1934), однотомное издание которого 1957 г., как указал Бойд, имелось в библиотеке Набокова в Монтрё. Сделанный Ф. Халсманом в 1968 г. снимок Набокова, сидящего перед этим огромным раскрытым томом в своем кабинете в «Montreux Palace», см.: ВНАГ, фото xxi на вклейке.

…мосье Литтре, определял так… — Эмиль Литтре (1801–1881), французский философ, историк, лексикограф, составитель четырехтомного толкового словаря (Dictionaire de la langue française par É. Littré, 1863–1873). Набоков приводит выдержки из словарной статьи к слову «lèvre» (губа) и этимологической справки к нему по современной редакции словаря, которой пользовался в Монтрё.

Толстый русский энциклопедический словарь карманного формата <…> в значении окружного суда древней Ляски… — Подразумевается однотомный «Энциклопедический словарь Ф. Павленкова», действительно небольшого формата, впервые изданный в 1899 г. В нем даны следующие значения: «Губа — 1) в допетровской России судебный округ, в пределах котор. сосредоточивалась деятельность губного старосты; 2) морской залив; 3) г. заячья — раздвоение верхней губы, прирожденное или вследствие болезни» (СПб., 1913. С. 610). Столь же иронично Набоков цитирует словарь Павленкова в «Стойких убеждениях» (1972) в примечании к своему английскому переводу эссе «О Ходасевиче»: «Между прочим, сухая короткая справка о Баратынском в энциклопедии Павленкова

(СПб., 1913) кончается прелестной опечаткой: “Полн. собр. сочинений 1984”» (SO, 224).

Несмотря на то что в романе позднее упоминается «невиданная щедрость четырехтомного Даля» (Ч. 2, гл. 36), многочисленные значения слова «губа» из него не приводятся. Такая избирательность продиктована, по-видимому, стремлением сосредоточить внимание читателя на северных мотивах этой главы, поддержанных, кроме добавленного к словарному определению Павленкова прилагательного «арктический», названием вымышленного государства Ляска (усеченная Аляска), упоминанием самоедов (название группы северных народов) и «юконских» комаров, якобы досаждавших Пушкину.

С. 107. кипсек (от англ. keepsake — подарок на память) — название роскошных изданий гравюр, рисунков, преимущественно женских головок, иногда с текстом.

Уиклоу — графство и административный центр на востоке Ирландии в провинции Ленстер.

С. 108. авеню Пятой Власти — оксюморон, совмещающий фешенебельную торговую улицу в центре Манхэттена в Нью-Йорке, символ высокого социального положения и роскоши, с понятием «пятой власти» (the Fifth Estate или the Fifth Power), возникшим в протестной американской среде в начале 60-х гг. применительно к независимой, несистемной и маргинальной журналистике (в отличие от классической «четвертой власти») и политике левого толка.

et cetera — и так далее (лат.).

finis — конец (лат.).

С. 109. damozel (дева) — намекает на знаменитые стихи английского поэта, переводчика и художника-прерафаэлита Данте Габриэля Россетти (1828–1882) «The Blessed Damozel» («Блаженная дева», 1850), написанные под влиянием «Ворона» Э. По. В отличие от «Ворона», в котором герой тоскует об усопшей подруге, в стихах Россетти дева с небес с грустью смотрит на своего возлюбленного. В 1870-х гг. Россетти по мотивам своего стихотворения создал одноименную картину, флоральные, аркадские и любовные мотивы которой Набоков мог учитывать в связи с Адой и Ваном.

С. 110. …беловатые кружки <…> тургеневской Катей… — Хотя смуглая Катя Локтева в романе «Отцы и дети» (1862), «девушка лет восемнадцати», наружностью мало напоминает белокожую Аду, последняя разделяет с ней несколько черт. В XVI гл. «Отцов и детей» Катя описана следующим образом: «Все в ней было еще молодо-зелено: и голос, и пушок на всем лице, и розовые руки с беловатыми кружками на ладонях, и чуть-чуть сжатые плечи… Она беспрестанно краснела и быстро переводила дух» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения. Т. 7. С. 77). Столь же легко краснеет и Ада, и ту же свойственную ей подростковую зажатость плеч отмечает Ван Вин, обсуждая ее сценическую карьеру: «он напомнил ей, как тот же постановщик, Г. А. Вронский, сказал ей, что она достаточно хороша

собой, чтобы однажды стать дублершей Леноры Коллин, которая в двадцать лет была такой же привлекательно неуклюжей и так же напрягала и поднимала плечи, когда пересекала комнату» (Ч. 2, гл. 9).

Culex chateaubriandi Brown — этот вымышленный вид комара, в номенклатурном обозначении которого использовано имя Шатобриана, важное звено в цепочке аллюзий на повесть Шатобриана «Рене», в которой Амели, сестра экспатрианта Рене, сознается в своей преступной страсти к нему. Во французском языке «комар» и «кузен» (официальная степень родства Вана по отношению к Аде) — одно слово (cousin); эту линию поддерживает в «Аде» игра со словами «insect» (насекомое) и «incest» (инцест), а также обращение Ады к Вану «cher, trop cher René» — прямая цитата из письма Амели к брату (подр. см.: Cancogni A. Nabokov and Chateaubriand // The Garland Companion to Vladimir Nabokov / Ed. by V. E. Alexandrov. N. Y. & L., 1995. P. 384–388). В «Комментариях» к «Евгению Онегину» Набоков назвал «Рене» гениальным сочинением величайшего французского писателя своего времени, подробно изложил его содержание и обратил внимание на завуалированную в нем тему инцеста (KEO, 499–500). А. Аппель проследил в «Аде» ряд важных реминисценций из Шатобриана и пришел к выводу, что «Шатобриан и Байрон значат для “Ады” столько же, сколько По и Мериме для “Лолиты”» (Appel A., Jr. «Ada» Described // Nabokov. Criticism, reminiscences, translations and tributes. L., 1971. P. 180).

В интервью 1975 г., отвечая на вопрос о бабочках в «Аде», Набоков заметил, что «никто до него еще не описывал в романах выдуманных, но с точки зрения науки возможных бабочек» (Nabokov V. Interview with Bernard Pivot for Apostrophes (1975) // TWS, 466). Так и созданный им «шатобрианов комар» вполне правдоподобен с точки зрения систематики и напоминает реальный вид кулекса, классифицированный как «Culex browni Komp, 1936», где culex (комар настоящий) — латинское название рода насекомых, а browni — латинизированное имя ученого, C. G. Brown’a, поймавшего его голотип. Энтомологу Набокову принадлежит честь открытия нескольких новых видов бабочек и первичных описаний их голотипов, благодаря чему его имя значится в их названиях и в международных классификаторах чешуекрылых. В 1955 г. сестра Елена писала Набокову: «В Сов. Союзе имеется некто В. А. Набоков, написавший “Руководство по борьбе с малярийным комаром” (1952). Как мило!» (Набоков В. Переписка с сестрой. Ann Arbor: Ardis, 1985. С. 81).

Шатобриан (Шарль) — совмещены имена двух французских писателей и поэтов: Франсуа Рене де Шатобриана и Шарля Бодлера (1821–1867).

С. 111. …«Бостонский Энтомолог» <…> 1840 года. — Отсылка к одному из самых авторитетных научных журналов по энтомологии лондонскому «The Entomologist», который начал выходить в 1840 г. и в котором в 1920 г. Набоков опубликовал свою первую энтомологическую работу «A Few Notes on Crimean Lepidoptera» («Несколько заметок о крымских чешуекрылых»).

Этот Шатобриан не состоял в родстве с великим поэтом <…> рожденным

между Парижем и Танье… — Шатобриан родился в Сен-Мало, на северо-западе Франции. Шарль Бодлер родился в Париже. Топоним Танье (Tagne) не имеет, по-видимому, отношения к французской деревне Tagné, расположенной вблизи города Шоне, и, как предположил Бойд, образован Набоковым от фр. «montagne» — гора, на что намекает соседство этого слова с Tagne в нижеследующем стихотворении; разделенное на две части, «montagne», таким образом, каламбурно прочитывается как «mon Tagne» — «мой Танье». Ср. «Perestagne» в Ч. 3, гл. 8.

Mon enfant… — Совмещены и переиначены два стихотворения: «Романс к Элен» (1806) Шатобриана, вошедший позднее в его новеллу «Приключения последнего Абенсерага» (1826), и «Приглашение к путешествию» (из сб. «Цветы зла», 1857) Бодлера. Третья секстина «Романса» начинается так: «Ma soeur, te souvient-il encore / Du château que baignait la Dore?» (эти строки, «Сестра моя, ты еще помнишь / Замок, который омывал Дор?», повторятся в трехъязычном стихотворении в Ч. 1, гл. 22 романа); пятая, заключительная строфа: «Oh! qui me rendra mon Hélène, / Et ma montagne, et le grand chêne!». Стихи Бодлера также обращены к сестре: «Mon enfant, ma soeur, / Songe à la douceur…» («Дитя мое, сестра моя, / Подумай о сладости…»). В примеч. Дамор-Блока отмечено, что строки «Oh! qui me rendra mon Hélène, / Et ma montagne, et le grand chêne!» — один из лейтмотивов «Ады».

Арделия — это редкое имя связывается с упомянутой в предыдущей главе ардиллой (исп. белка), с Адель из стихотворения в Ч. 1, гл. 22 и с лат. ardens (пылкий, страстный) (АНМС, 174).

…Люсеттиной и Люсильиной <…> крови. — В. Е. Набокова указала, что Ладора, название протекающей в Ардисе реки, а также большой дуб и холм («ma montagne») заимствованы из «Романса» Шатобриана, «большого любимца В. Н.», и что упоминание Люсиль (как варианта имени Люсетта) также обращено к французскому писателю, поскольку «таково было настоящее имя его сестры, в которую он был влюблен» (Nabokov Véra [A Letter to the Editor] / New items and work in progress // The Vladimir Nabokov Research Newsletter / Ed. by S. J. Parker. 1984. № 12. P. 12–13).

«Сладко!» — восклицал, бывало, Пушкин… — В мае 1828 г. влюбленный в Анну Оленину Пушкин посетил ее в усадьбе Приютино под Петербургом. 21 мая того же года П. А. Вяземский писал жене: «Ездил я с Мицкевичем вечером к Олениным в деревню в Приютино, верст за 17. Там нашли мы и Пушкина с своими любовными гримасами. Деревня довольно мила, особливо же для Петербурга: есть довольно движения в видах, возвышения, вода, лес. Но зато комары делают из этого места сущий ад. Я никогда не видал подобного множества. Нельзя ни на минуту не махать руками, поневоле пляшешь комаринскую. Я никак не мог бы прожить тут и день один. На другой я верно сошел бы с ума и проломил себе голову об стену. Mickiewicz говорил, que c’est une journée sanglante [что это кровавый день]. Пушкин был весь в прыщах и, осаждаемый комарами, нежно восклицал: сладко» (Цявловская Т. Г. Дневник А. А. Олениной // Пушкин. Исследования и материалы. М.–Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1958. Т. II. С. 254). С этим отрывком из письма Вяземского, впервые опубликованным в 1929 г. М. С. Боровковой-Майковой, Набоков мог познакомиться по первому тому

книги В. В. Вересаева «Пушкин в жизни», пятым изданием которой (1932) он пользовался, комментируя «Евгения Онегина» (КЕО, 374).

Описания летних вечеров в Ардисе напоминают начало «Семейной хроники» Аксакова, в которой летнему нашествию комаров отведено много места. Ср.: «Смешно сказать и грех утаить, что я люблю дишкантовый писк и даже кусанье комаров: в них слышно мне знойное лето, роскошные бессонные ночи, берега Бугуруслана, обросшие зелеными кустами, из которых со всех сторон неслись соловьиные песни; я помню замирание молодого сердца и сладкую, безотчетную грусть, за которую отдал бы теперь весь остаток угасающей жизни» (Аксаков С. Т. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 91–92).

С. 112. диптерист — специалист по двукрылым насекомым, к которым относится и комар.

С. 115. in copula — во время копуляции (лат.).

Винтергрин (Wintergreen) — еще одно ботаническое имя среди многих других в романе: таково английское название распространенных в Северной Америке вечнозеленых растений семейства вересковых; в русском языке — грушанка или гаультерия.

С. 116. Дронго — неудачник, дурак (австрал.). Этот термин, вошедший в широкое употребление в начале 1940-х гг., происходит от клички скакового жеребца, который в 1920-х гг. участвовал во множестве австралийских дерби, но, несмотря на хорошие результаты, ни разу не пришел первым. Дронго как имя нарицательное приобрело юмористическую окраску благодаря газетным репортерам, обратившим внимание на то, что незадачливый скакун получил свою кличку по названию распространенной в Австралии птицы, известной своим задиристым характером (Australian Folklore: A Dictionary of Lore, Legends and Popular Allusions / Compiled by W. Fearn-Wannan. Melbourne, 1970. P. 200.). Как и в других подобных случаях в романе, к поиску верного значения направляет скрытая подсказка, в данном случае — упомянутая следом иллюстрация с изображением символа Австралии кенгуру.

С. 117. …только во французских любовных романах les messieurs hument запах молодых особ». — Отсылка ко второй части романа Пруста «В сторону Свана»: Сван впервые ласкает Одетту в экипаже под предлогом поправить и понюхать орхидеи в ее волосах и в вырезе ее платья. В университетских лекциях о Прусте Набоков назвал эту сцену «знаменитой, но не слишком убедительной» (Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С. 310).

С. 118. …«Les Sophismes de Sophie» м-ль Стопчиной в серии «Bibliothèque Vieux Rose»… — «Софизмы Софи» обыгрывают название автобиографической повести популярной детской писательницы графини Софьи де Сегюр (урожд. Ростопчиной, 1799–1874) «Злоключения Софи» («Les Malheurs de Sophie», 1858), в русском переводе (1869) А.

А. Разимова «Сонины проказы». Обыграно и название иллюстрированной книжной серии «Bibliothèque Rose» («Розовая библиотека»), основанной в 1856 г. издательством «Hachette» и выпускавшей книги мадам (а не мадемуазель, как в мире Антитерры) де Сегюр. Сочетание «vieux rose» означает «темно-розовый» (обложки книг этой серии были темно-розового цвета), однако прилагательное «vieux» само по себе означает «старый»; Набоков тем самым подчеркивает, что речь идет о старой книжной серии, которая в 1959 г. была переименована в «Новую розовую библиотеку» («La Nouvelle Bibliothèque Rose»). В «Других берегах» он вспоминал: «Мне лет восемь. Василий Иванович поднимает с кушетки в нашей классной книжку из серии “Bibliothèque Rose”. Вдруг, блаженно застонав, он находит в ней любимое им в детстве место: “Sophie n’était pas jolie…” [Софи не была хорошенькой]; и через сорок лет я совершенно так же застонал, когда в чужой детской случайно набрел на ту же книжку о мальчиках и девочках, которые сто лет тому назад жили во Франции тою стилизованной vie de château [усадебной жизнью], на которую Mme de Ségur, née Rostopchine добросовестно перекладывала свое детство в России, — почему и налаживалась, несмотря на вульгарную сентиментальность всех этих “Les Malheurs de Sophie” <…> тонкая связь с русским усадебным бытом» (ДБ, 81–82).

…Горящий Амбар раньше Чердака или Чердак был первым? Конечно, раньше! — Отсылка к известному логическому парадоксу «Что было раньше — курица или яйцо?» (ср. в Ч. 4 романа: «Поразмышляйте над Яйцом, как сказал галльский петух своим курицам»). Намеренно путаная фразировка не дает прямого ответа на вопрос, происходила ли сцена на чердаке, описанная в первой главе романа, раньше нижеследующей сцены в библиотеке во время пожара, или наоборот.

…потеряла на главной лестнице отороченную горностаем туфельку, как Ашетт в английской версии. — В оригинале англ. miniver (мех горностая), в котором Набоков обыгрывает англ. mini (мини) и обращает внимание на лингвистический казус: это название происходит от старофранцузского menu-vair — тонкий (или мелкий) мех, как, предположительно, называли не горностаевый, а беличий мех. В «Пнине» профессор словесности Тимофей Пнин возвращается к старому спору о материале башмачков Золушки и предлагает русский источник во французском термине: «<…> башмаки Сандрильоны сделаны не из стекла, а из меха русской белки — vair по-французски. Это, сказал он, типичный пример выживания более жизнеспособного слова, ибо verre [стекло] лучше запоминается, чем vair, которое, по его мнению, происходит не от varius, пестрый, а от веверицы, славянского слова, означающего красивый, бледный мех, как у белки зимой, с голубоватым, или, лучше сказать, сизым, колумбиновым оттенком — от латинского columba, голубь <…>» (пер. Г. Барабтаро). В Словаре Даля отмечено, что веверица — это пушной зверек, которым платили дань, — вероятно, ласочка, горностай или белка (горностай и ласочка летом бурые, зимой белые; белая веверица зимнего улова). В написанной Шарлем Перро французской версии народной сказки (1697) Золушка теряет pantoufle de verre (стеклянную туфельку). Ашетт, набоковский вариант прозвища «Золушка», образован от англ. ash (зола) и вошедшего в английский язык французского суффикса — ette, служащего для образования уменьшительных форм; он близок немецкой версии братьев Гримм (1812), в которой героиня сказки носит имя Aschenputtel (Золушка) и

напоминает англ. nymphette (нимфетка, маленькая нимфа), старый поэтичный термин, наделенный Набоковым в «Лолите» новым значением.

С. 119. Они все уехали <…> как бормочет старик Фирс в конце «Вишневого сада» (Марина была сносной г-жой Раневской). — В финале комедии А. П. Чехова «Вишневый сад» (1904) старый слуга Фирс, после общего отъезда из дома Любови Раневской, оставшись один, произносит слова: «Заперто. Уехали… (Садится на диван.) Про меня забыли… Ничего… я тут посижу… <…> (Бормочет что-то, чего понять нельзя.)» (Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. М.: Наука, 1986. Т. 13. С. 253–254).

В «Аде» немало аллюзий и прямых указаний на пьесы Чехова «Чайка», «Три сестры» (которые в романе превращены в «Четыре сестры») и «Дядя Ваня». Марина Дурманова упоминает В. И. Качалова и К. С. Станиславского, рассказывая о своих репетициях в юконском театре «Чайка».

…тележки <…> в память об их изобретателе, Эразме… — намек на английского врача, натуралиста, поэта, изобретателя, одного из создателей ученого «Лунного общества Бирмингема» Эразма Дарвина (1731–1802). Его внук, знаменитый Чарльз Дарвин, написал биографию деда, в которой перечислил его изобретения, в том числе применение пружин вместо колесных спиц и «небольшую повозку особой конструкции, предназначенную для наилучшего использования силы лошади в сочетании с наибольшей легкостью поворота» (Darwin Ch. The Life of Erasmus Darwin / Ed. by Desmond King-Hele. Cambridge University Press, 2004. P. 44).

С. 120. роброй — изобретенная шотландским путешественником Дж. Мак-Грегором (1825–1892) разновидность легкого каноэ, названная им в честь своего однофамильца, национального героя Шотландии Роберта Роя (Роб Роя) Мак-Грегора. Термин употреблен в гл. XIV романа Набокова «Подвиг» (1932).

С. 121. Нимфопопотам — в оригинале «Mr. Nymphobottomus», шутливо контаминирующее «нимфу», разг. «зад» (bottom) и гиппопотама (hippopotamus).

…«Тартюф» — это гулящая или стриптизерша… — Обыгрывается англ. tart (гулящая). В комедии Мольера «Тартюф, или Обманщик» (1664) выдающий себя за праведника Тартюф (Tartuffe) оказывается распутником и негодяем.

С. 122. parties très charnues — очень мясистые части.

люмбус — поясница.

…в георгианском романе… — По-видимому, имеется в виду направление «Regency novel», к которому принадлежат классические английские романы периода Регентства (1811–1820), когда из-за недееспособности Георга III Великобританией правил его сын, принц-регент, в будущем король Георг IV. К этому периоду английской литературы относятся романы Джейн Остин (1775–1817) и Вальтера Скотта (1771–1832). В

более широком историографическом значении «Георгианская эпоха» охватывает период с 1714 по 1830 г. Нельзя, однако, с уверенностью сказать, что подразумевается под «георгианским» периодом на Антитерре, история которой расходится с земной.

elettricità — электричество (ит.).

С. 124. …загадка Нила раскрыта, точка, Спик. — Знаменитая концовка телеграммы, посланной английским путешественником и исследователем Африки Джоном Х. Спиком (1827–1864) из Хартума в Лондон 27 марта 1863 г. с сообщением о совершенном им открытии истоков Нила.

С. 125. …в том положении, в каком Джульетте советовали принять ее Ромео. — В третьей сцене первого акта трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» Кормилица в разговоре с синьорой Капулетти и Джульеттой (которой «нет еще четырнадцати лет») вспоминает грубую шутку своего мужа, в которой, однако, нельзя усмотреть прямой совет Джульетте принять своего возлюбленного в миссионерской позе: «В тот день она себе разбила лобик, / А муж мой (упокой его господь — / Вот весельчак-то был!) малютку поднял. / “Что, — говорит, — упала ты на лобик? / А подрастешь — на спинку будешь падать. / Не правда ли, малюточка?” И что же! / Клянусь мадонной, сразу перестала / Плутовка плакать и сказала: “Да”. <…> Ох, только б до твоей дожить мне свадьбы — / Так больше ничего я не хочу!» (перевод Т. Щепкиной-Куперник).

…дефинитивной редакции 1967 года. — В конце романа сообщается, что секретарша и машинистка Вана Вина отпечатала текст «Семейной хроники» в 1967 г., ко дню его девяностосемилетия.

С. 126. …каннабиновую сигарету… — игра с латинским названием коноплянки, певчей птицы из семейства вьюрковых (Linaria cannabina), и конопле́й (лат. Cannabis), из которой получают наркотическое средство, известное под названием марихуана.

… часть его сна <…> побить все рекорды по прыжкам в длину… — Отголосок летних Олимпийских игр, проходивших в Токио в октябре 1964 г. В дневнике сновидений Набоков, следивший за состязаниями, 25 октября 1964 г. сделал запись: «Влияние сцен Олимпийских игр по TV на Верины и мои сны в последнее время очевидно» (Я/Сновидения Набокова. СПб., 2021. С. 59).

С. 127. Замбия обрела независимость в 1964 г., до того эта британская колония в Южной Африке официально называлась Северной Родезией, следовательно, с точки зрения земной истории упоминание Замбии в 1884 г. (время действия этой главы) является анахронизмом. В «Аде» рассказывается о путешествиях Даниэля Вина в Экваториальную Африку и «дебри Мозамбика», а юный Ван Вин мечтал о поездке на «Африканском Экспрессе» через «Нигеро, Родозию <sic!> или Эфиопию».

Балтикомор (в оригинале «Balticomore») — контаминация двух топонимов, американского Балтимора и самого западного города России Балтийска (до 1946 г. — Пиллау) с гидронимом Балтийское море и названием итальянского озера Комо.

С. 128. …в процессе печати комиксов, потому что было воскресенье). — Комиксы печатались, как правило, на страницах воскресных выпусков газет. Линия к первой главе романа, в которой упоминается «воскресное приложение к “Калужской газете”, на юмористической странице которой как раз начала печататься серия рисованных историй “Доброй ночи, малыши!”».

…до полудня <…> «мидинеткой» (такая секта, а не галантерея)… — Обыгрывается этимология слова «мидинетка» (молодая парижская швея, модистка), образованного от соединения фр. midi (полдень) и dînette (легкий обед). Модистки заполняли магазины и кафе Парижа к полудню.

С. 130. рампетка — этот термин Набоков использовал вслед за С. Т. Аксаковым, писавшим в «Воспоминаниях» (1856): «Все свободное время мы бродили с рампетками по садам, лугам и рощам, гоняясь за попадающимися нам денными и сумеречными бабочками, а ночных отыскивали под древесными сучьями и листьями, в дуплах, в трещинах заборов и каменных стен» (Аксаков С. Т. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 138). Примечание Аксакова: «Рампетка — сачок из флера или дымки для ловли бабочек» (там же). Более подробно Аксаков описал рампетку, вновь не приведя источник ее названия, в очерке «Собирание бабочек» (1859), названном Набоковым в «Других берегах» «бездарнейшим» (ДБ, 146). А. Г. Преображенский в «Этимологическом словаре русского языка» задавался вопросом: «Любопытно знать, откуда взял С. Т. Аксаков (в рассказе о собирании бабочек) название рампетка сетка в рамке для ловли бабочек? Не переделал ли ракетка в рампетка под влиянием рама, рамка? Если так, то это интересный пример появления контаминаций» (Этимологический словарь русского языка / Сост. А. Преображенский. М., 1910–1914. Т. 2. С. 178–179). Предположение Преображенского о контаминации оспаривал Фасмер, предложивший в своем этимологическом словаре русского языка малоубедительный источник слова от ит. rampa (?) — коготь, лапа. Однако поскольку ловить бабочек Аксакова научил немецкий профессор Карл Фукс, говоривший с ним по-французски (Аксаков признавался, что с трудом понимал его изустную речь), «рампетка» могла возникнуть в результате искажения фр. raquette, которое имеет значение не только «ракетка», но и «ловушка», «силок».

С. 130–131. …на заре развития романа, еще находившегося в руках дочек викариев… — намек на Джейн Остин, которая была дочерью приходского священника. Набоков посвятил ее роману «Мэнсфилд-парк» (1814) курс лекций.

С. 131. Из Франсуа Коппе <…> Спадают листья в грязь. <…> парафрастический подход с полетом и лесорубом… — Выбор м-ль Ларивьер характерен: ей могла быть близка не только сентиментальность и слащавость Франсуа Коппе, но и присущая ее собственным сочинениям озабоченность социально значимыми вопросами, а также его антисемитизм (к концу жизни Коппе стал ревностным католиком, занялся журналистикой и деятельно поддерживал сторону обвинения в деле Дрейфуса).

Ада перевела на английский язык второе четверостишие из

стихотворения Коппе «Matin d’Octobre» («Октябрьское утро»), сб. «Le Cahier Rouge» (1874): «Leur chute est lente. On peut les suivre / Du regard en reconnaissant / Le chêne à sa feuille de cuivre / L’érable à sa feuille de sang» (Poésies de François Coppée. 1869–1874. Paris, 1875. P. 183). Ада ради рифмы вводит «дровосека» (woodchopper) и «грязь» (mud), вызвав критику Вана, поборника дословного перевода и противника рифмованных парафрастических переложений:

Their fall is gentle. The woodchopper

Can tell, before they reach the mud,

The oak tree by its leaf of copper,

The maple by its leaf of blood.

В отличие от нарисованной Коппе картины идиллического листопада, перевод Ады создает несколько иное настроение: деревья осыпают листву в грязь, и, очевидно, под ударами топора. Герои вспомнят эти строки Коппе четыре года спустя (Ч. 1, гл. 38) на семейном обеде, и Ван процитирует иной вариант Адиной версии, избавленный от «дровосека» и «грязи»:

Their fall is gentle. The leavesdropper

Can follow each of them and know

The oak tree by its leaf of copper,

The maple by its blood-red glow.

В этой версии возникает неологизм «leavesdropper» (соединение «leaves» — листья, с «drop» — ронять), образованный от англ. eavesdropper — соглядатай; он отсылает читателя к Ч. 1, гл. 15–16 романа, к осыпающей листья шаттальской яблоне и первой случайной ласке Вана и Ады, за которыми наблюдает белка, «daintily leavesdropping» («изящно роняя листву»).

В набросках к переводу «Ады» Вера Набокова, переписав на отдельную страницу французский оригинал четверостишия, сперва точно перевела его на русский (в оригинале старая орфография):

Полет их тих, и взгляду ясно,

Как отличить узнавать их на лету —

Клен по листу кроваво-красному,

А дуб по медному листу. —

затем перевела вольный английский вариант Ады, взяв для усиления эффекта вместо «дровосека» много более неуместную «миледи»:

Полет их тих, глядит миледи

И отличает на лету

Дуб по листу из тусклой меди,

Клен по кровавому листу. —

И продолжила так: «Эта “миледи” прямо из Лоудена (—), а жертвовать первой половиной строфы ради спасения второй это все равно что бросить кучера на съедение волкам, как будто бы сделал какой-то некий русский сановник аристократ джентльмен, после чего сам немедленно выпал из саней» (HLA, Box 12, folder 228).

…парафрастический подход <…> Лоуден (незначительный поэт и переводчик, 1815–1895). — В этой лигатуре зашифрованы имена двух поэтов и переводчиков, подвергшихся набоковской критике в свете его концепции точного перевода стихов. Один из них — Р. Лоуэлл, чей дурной перевод стихотворения Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков…» Набоков разнес в заметке «On Adaptation»; другой — знаменитый англо-американский поэт Уистен Хью Оден (1907–1973), переводивший современных русских поэтов. В предисловии к переводу нескольких стихотворений А. А. Вознесенского Оден признался, что не владеет русским, никогда не был в России, но «уверен, что мистер Вознесенский хороший поэт, потому что его стихи, даже в английском переводе, о многом говорят мне» (Auden W. H. [Foreword] / The Poetry of Andrei Voznesensky // The New York Review of Books. 1966. Vol. VI (№ 6). 14 April. P. 4). В интервью Дж. Моссмену в 1969 г., на вопрос: «В “Аде” вы, как мне кажется, пародируете поэта У. Х. Одена. Почему вы такого невысокого мнения о нем?» — Набоков ответил: «Нигде в “Аде” я не пародирую Одена. Я для этого плохо знаю его стихи. Но мне хорошо известны несколько его переводов — и я осуждаю грубые ошибки, которые он столь легкомысленно позволил себе допустить. Роберт Лоуэлл, конечно, куда более опасный преступник» (SO, 151).

16 июня 1967 г. Набоков записал в дневник следующее четверостишие: «Поэтов моей бедной родины / мерзостно переустроили / пошлые Одены / и похабные Лоэли» (BCA / Manuscript box / Diaries, 1943–1973).

Год смерти «Лоудена» (1895) совпадает с годом рождения американского критика и писателя Эдмунда (Банни) Уилсона (ум. 1972), близкого друга Набокова в 1940–1950-х гг. Отношения с «дорогим Банни» окончательно расстроились в 1965 г., после его резких и невежественных нападок на подготовленный Набоковым английский перевод «Евгения Онегина». В мае 1966 г. Р. Лоуэлл выступил на стороне Уилсона, заметив, что «И здравый смысл, и интуиция говорят нам, что Эдмунд Уилсон на девяносто процентов неопровержим и прав в своей критике» (Lowell R. Nabokov's Onegin // Encounter. 1966 (May). P. 91). Набоков там же поместил свой ответ: «Интуитивные (но едва ли здравомыслящие) арифметические подсчеты г-на Лоуэлла не волнуют меня по той причине, что он не владеет языком Пушкина и не обладает необходимыми знаниями, позволяющими разобраться в специфических трудностях перевода, которые обсуждаются в моей статье. Хотелось бы, однако (используя его оборот), чтобы он прекратил калечить беззащитных мертвых поэтов — Мандельштама, Рембо и других» (Ibid. Пер. мой).

…бросить возницу на съедение волкам, как сделал один русский барин <…> сам выпал из саней. — Набоков, по-видимому, выдумал эту анекдотическую историю, восходящую к известной с середины XIX в. по французскому источнику легенде о русской женщине, которая, спасаясь от стаи волков, пожертвовала тремя своими детьми, выбрасывая их одного за другим из саней. Существовала, впрочем, версия (лишенная, однако, назидательности набоковского варианта), в которой пассажир обходился таким образом с самим кучером. В нескольких номерах лондонского юмористического журнала «Панч» печатался анонимный «Дневник моей поездки в Хиву» — пародия на популярный жанр английской дорожной прозы, рассказывающей о приключениях в экзотических странах. В одном из эпизодов «Дневника» рассказчик, выехавший на санях из Петербурга, проезжает по заснеженной равнине, преследуемый волками. Он вспоминает «старую историю о русских отце и матери, которые бросили волкам своих детей». Решив последовать их примеру, он собирается начать с мальчика-слуги, но мальчик предлагает начать сразу с кучера. Бросив кучера волкам, путешественник благополучно добирается до города, размышляя о превратностях судьбы: «Бедняга! Я должен был заплатить ему в Хиве <…> но он нарушил наш уговор, ведь его съели волки, а, значит, теперь мне платить некому» (Diary of My Ride to Khiva // Punch, or The London Charivari. 1877. June 2. P. 250; June 9. P. 263). Под несколько измененным названием вышло отдельное издание: Burnand F. C. The Ride to Khiva. From «Punch». L., 1877.

…Робин Шервуд, облаченный в ярко-зеленую форму… — Зеленый плащ носил герой средневекового английского фольклора Робин Гуд, легендарный разбойник из Шервудского леса и предводитель «лесных братьев».

С. 132 …как провинциал <…> (из «Урсулы» Флоберга). — Имя Г. Флобера (Flaubert) преобразовано во Floeberg — англ. «бугристые массы торосистых льдин, напоминающие айсберги» (словарь Уэбстера), — возможно, ради сближения с другим любимцем Набокова, американским поэтом Робертом Фростом (Frost, 1874–1963): англ. frost — мороз, иней. Ср. русификацию имени Фроста в романе Набокова «Взгляни на арлекинов!» (1974), в котором фигурирует писатель Борис Морозов с

«яркими ледяными [frosty] глазами» (Набоков В. Взгляни на арлекинов! / Пер., примеч. А. Бабикова. СПб., 2016. С. 86).

Хотя в приведенной псевдоцитате, как указано в примеч. Дамор-Блока, пародируется стиль Флобера, прежде всего его романа «Госпожа Бовари» (1857), название сочинения отсылает к роману Оноре де Бальзака «Урсула Мируэ» (1841), входящего в цикл «Этюдов о нравах», посвященных сценам из провинциальной жизни.

С. 133. …из «Энциклопедии Фроди» <…> Благоденствие <…> подверглось дефлорации (Иеремия Тейлор)». — Название этой несуществующей энциклопедии намекает на З. Фрейда (Фройда в немецком произношении), чье имя не раз обыгрывается в романе (тема дефлорации в связи с Фрейдом вновь возникнет в последней части «Ады»), и на англ. fraud — мошенник, подделка. Пример употребления термина взят из словаря Уэбстера: «He died innocent and before the sweetness of his soul was deflowered and ravished from him. Jer. Taylor» («Он умер невинным и до того, как благоденствие его души подверглось дефлорации и было отнято у него»). Иеремия Тейлор (1613–1667), английский богослов и духовный писатель, признанный мастер изысканной прозы.

С. 134. …мосье Верже <…> мисс Вертоград… — Имена двух библиотекарей, холостяка Филиппа Верже (Verger) и старой девы мисс Вертоград, близки по значению: фр. verger — фруктовый сад; вертоград — сад, виноградник.

С. 135. …в Вановы годы <…> запретили читать <…> тургеневский «Дым». — Еще один пример отставания земной хронологии от антитеррийской: Марина Дурманова родилась в 1844 г., следовательно, ее «Вановы годы» (Вану в описываемое время 14 лет) пришлись на 1858 г., в то время как пятый роман Тургенева «Дым» был опубликован только в 1867 г.

«Дым» упомянут здесь как вводный мотив, сопутствующий Марине (наряду с пламенем) и предвосхищающий ее посмертную кремацию.

…кожную болезнь, которая недавно была описана знаменитым американским писателем в романе «Хирон»… — Подразумевается уже упоминавшийся нами «Кентавр» Апдайка, в котором сын главного героя Питер болен псориазом. От этой болезни страдал и Набоков, хуже всего в 1937 г., когда он (15 февраля) писал жене из Парижа в Берлин: «Продолжаю ужасно страдать от псориазиса: он достиг размеров еще не виданных, а особенно неприятно, что и лицо пегое. Но самое страшное — зуд. Дико мечтаю о покое, мази, солнце» (ПКВ, 287). Среди кентавров Хирон, сын Кроноса и Филиры, изначально наделенный бессмертием, отличался мудростью, он обучал Асклепия врачеванию.

С. 136–137. …«les deux enfants… — псевдоцитата.

С. 137. «Les muses s’amusent» — вымышленное издание.

…смело заметил судья Болд… — обыгрывается англ. bold (отважный, смелый).

С. 138. …Иван Иванов, американец из Юконска… — Схожим образом в первой главе романа топоним Уайтхорс русифицирован как Белоконск, расположенный на Антитерре в Западной Эстотии.

…передовой поэт из Вальс-колледжа Теннесси… — Аппель заметил здесь аллюзию на шлягер «Tennessee Waltz» (1948), получивший мировую известность в исполнении Патти Пейдж в 1950 г. (Nabokov V. The Annotated Lolita / Ed. with preface, introd. and notes by A. Appel, Jr. N. Y. et al., 2000. P. 386–387); в 1965 г. «Теннессийский вальс» вошел в список официальных песен штата Теннесси. Здесь можно усмотреть, кроме того, намек на концепцию педоцентризма (progressive education, в оригинале: «progressive poet <…> at Tennesee <sic!> Waltz College»), которая замещает систематическое обучение и воспитание детей занятиями на основе непосредственно возникающих у них желаний и интересов, а также на чуждого Набокову популярного американского драматурга, поэта и прозаика Теннесси Уильямса (наст. имя Томас Ланье Уильямс III, 1911–1983).

С. 139. …антиирландские бульварные газеты прозвали их «Подглядывающими Патриками»… — Прозвище с выпадом против ирландцев (св. Патрик — небесный покровитель Ирландии) образовано по аналогии с англ. peeping Tom (чрезмерно любопытный человек или вуайерист): «Подглядывающий Том» — легендарный житель Ковентри, который, нарушив уговор, смотрел, как обнаженная леди Годива проезжает верхом по улицам города.

острова Бегоури вымышлены, они названы по арабскому слову, означающему позицию в совокуплении, при которой мужчина находится за спиной у женщины. Набоков мог почерпнуть этот термин из примечания английского путешественника, писателя, переводчика и востоковеда Ричарда Бёртона (1821–1890) к английскому переводу средневекового трактата шейха ан-Нафзави (упомянутого в этой главе романа) «Благоухающий сад»: «На вульгарном арабском этот способ ублажения женщины называется “бегоури”» (The Perfumed Garden of Sheikh Nefzaoui. L., 1886. P. 69).

Serromyia amorata Poupart — как и в случае «шатобрианова комара», хорошо замаскированный под настоящий вымышленный таксон (реальный на Антитерре), название которого образовано от Serromyia femorata Meigen, 1804 — разновидность мокрецов (семейство Ceratopogonidae). Набоков использует в названии насекомого имя французского анатома, хирурга и энтомолога Франсуа Пупарта (1616–1708), впервые описавшего паховую связку (Пупартова связка).

Mme de Réan-Fichini — мадам Фичини, мачеха Софи де Реан в трилогии Софьи де Сегюр о девочке Софи.

С. 139–140. …капусканском наречии <…> «Sole sura metoda… — Макаронический пассаж, состоящий из искаженных английских, французских, итальянских слов и «собачьей латыни». К примеру, «por decevor» — искаженное французское «pour décevoir» («чтобы обмануть»), «ponderosa» — лат. тяжелые (ит. ponderoso — тяжеловесный); «kvik enof» — англ. quick enough — достаточно быстро (во французском переводе романа вместо этого прозрачного выражения —

латинско-итальянская смесь «satis presto»). Свой перевод «капусканского» отрывка на английский язык предложили Риверс и Уолкер, отметившие, что последнее слово в нем образовано от испанского toro — бык (Rivers J. E., Walker W. Nabokov's Ada // The Explicator. 1978. Vol. 36 (Issue 2). P. 7–8). Вместе с тем «torovago» близко русскому «тороватый», что значит не только «щедрый», но и «расторопный».

«Капусканское наречие», на котором написан трактат, и канадское происхождение его автора отсылают к названию города Капускейсин в северной части Онтарио.

С. 140. Шерами — обыграно латинское название мокреца и фр. chère amie — милая подруга.

С. 141. …не выносили сира Сада… — Маркиз де Сад (1740–1814), французский драматург и писатель, автор романов непристойного содержания, обращался, кроме прочего, к теме инцеста. В послесловии к американскому изданию «Лолиты» Набоков упомянул его следующим образом: «Порнограф должен строго придерживаться старых испытанных правил, дабы окружить пациента надежной атмосферой удовлетворения <…> сексуальные сцены в книге непременно должны развиваться крещендо <…> в новых комбинациях, с новыми влагалищами и орудиями, и постоянно увеличивающимся числом участников (в известной пьесе Сада на последях вызывают из сада садовника), а потому конец книги должен быть наполнен эротическим бытом гуще, чем ее начало» (Набоков В. Лолита. С. 517–518).

Мазох — австрийский писатель Леопольд фон Захер-Мазох (1836–1895), автор романа «Венера в мехах» (1870), одного из важных источников «Улисса» Джойса. Упомянутый следом за де Садом, Мазох напоминает о двух понятиях половой психопатии, садизме и мазохизме.

Генрих Мюллер — германизированная форма имени американского писателя немецкого происхождения Генри Миллера (Miller, 1891–1980). В уничижительном примеч. Дамор-Блока, назвавшего его «автором "Поксуса"», обыграны названия скандально известных романов Миллера, составивших его автобиографическую трилогию «Благостное распятие» («The Rosy Crucifixion»): «Сексус», «Плексус» и «Нексус». Набоковское «Поксус», с одной стороны, иронично отвечает на любовные похождения героя Миллера английским «pox» — болезнь с высыпаниями на коже, сифилис; с другой стороны, обыгрывает христианский мотив в названии его трилогии: англ. выражение «hocus-pocus» (русское «фокус-покус») означает «мошенничество» и, как считается, происходит от искаженной сакраментальной формулы католической литургии «Hoc est corpus meum» («Сие есть тело мое»). После запретов и судебных разбирательств трилогия Миллера была в 1965 г. опубликована в США, незадолго до того, как Набоков приступил к «Аде».

О своем чтении русского перевода «Тропика рака», подготовленного Георгием (Джорджем) Егоровым для издательства «Grove Press», Набоков писал жене 2 октября 1966 г.: «Интересной почты другой нет — кроме Grove'ского издания миллеровского "Тропика рака" — уморительная авантюра некоего Егорова, русского переводчика» (ПКВ, 443).

С. 142. Сестра моя, ты помнишь гору… — Это двустишие в оригинале написано по-русски латиницей. Трехъязычное стихотворение комбинирует строки «Романса к Элен» Шатобриана (см. коммент. к с. 111) и варьирует две основные темы: обращение к сестре с призывом вспомнить прошлое и сетованье об утраченном; в оригинале начинается английскими строками: «My sister, do you still recall / The blue Ladore and Ardis Hall?» («Сестра моя, ты все еще помнишь / Голубую Ладору и Ардис-Холл?»).

Ma soeur, te souvient-il encore <…> la Dore? — Сестра моя, ты все еще помнишь замок, омываемый Дором?

Oh! qui me rendra, mon Adèle <…> agile? — О, кто вернет мне, моя Адель, / И мою гору, и ласточку? // О, кто вернет мне мою Люсиль, / Дор и проворную ласточку?

С. 143. amorette — устар. форма от amoret — влюбчивая или блудливая девушка или женщина; слово вошло в английский язык из старофранцузского (отмечено в словаре Уэбстера).

Брантом (Brantôm) — живописный островной городок на реке Дронн в департаменте Дордонь на юго-западе Франции (в терминах земной географии).

С. 144. «Exot Lubr» — от лат. lubricus — соблазнительный, рискованный (букв. скользкий). Поскольку итальянскую живопись нельзя отнести к разряду экзотической, под первым словом, вероятно, подразумевается искаженное «Erot.» — erotic (любовный, эротический).

С. 145. trompe-l’oeil — тромплей, произведение, выполненное в технике оптической иллюзии.

Мэрикисми — т. е. «Мэри, поцелуй меня» (от англ. «Mary, kiss me»). Как заметил В. Фет, эти игривые названия указывают на англо-американского энтомолога, специалиста по полужестококрылым, Дж. У. Киркалди (1873–1910), изобретавшего для насекомых такие родовые названия, как «Ohchisme», «Dolichisme» и т. д. (Fet V. Adakisme, Dolikisme: The Kirkaldy Connection // The Nabokovian. № 56 (Spring 2006). P. 14–19).

…Пальма иль Веккьо <…> только не белокурой венецианкой. — Якопо Пальма Старший (Пальма иль Веккьо, ок. 1480–1528) — живописец венецианской школы, среди работ которого несколько портретов светловолосых девушек.

…Доссо Досси <…> Обессиленный Сатир? — Из работ итальянского художника Доссо Досси (ок. 1490–1542), представителя феррарской школы, Набоков мог иметь в виду «Нимфу и Сатира» (ок. 1510–1516).

…вступили голландские мастера: Девушка, входящая в заводь… — К теме купания девушки не раз обращался Рембрандт, например, в работах «Девушка, купающаяся в ручье» (1654) или «Сусанна и старцы» (1647).

С. 146. …рассказу (о провинциальном мэре, задушившем девочку по имени Рокетт)… — Аллюзия на рассказ Мопассана «Малышка Рок» (1885) об убийстве двенадцатилетней девочки.

Пристальное внимание Набокова к Мопассану в «Аде» может быть следствием скрытой полемики с Л. Н. Толстым, который переводил французского писателя и составил сборник его произведений. В «Предисловии к сочинениям Гюи де Мопассана», упомянув «Малышку Рок», Толстой высоко оценил изобразительный дар писателя и заметил: «Могучий нравственный рост автора в продолжение его литературной деятельности написан неизгладимыми чертами в этих прелестных мелких рассказах <…>» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 30. С. 21). В 50-х гг. Набоков отозвался о Мопассане как о второстепенном писателе, сильно уступающем в художественном отношении Чехову, с которым его часто сравнивают (Набоков В. Лекции по русской литературе. С. 326). В примеч. Дамор-Блока «Rocque» вместо Roque.

С. 147. «Дева в беде» (Damsel in distress, demoiselle en détresse) или «принцесса в опасности» — классический сюжет европейской литературы, в котором фигурирует красивая и невинная или беспомощная молодая женщина, попавшая в затруднительное положение из-за злодея, чудовища или иного антагониста и которую спасает герой-мужчина, часто становящийся после этого ее мужем. Разыгранная Адой сценка с драконом и рыцарем вызывает в памяти не только многочисленные литературные, но и живописные трактовки образа, к примеру, изображение девы в беде на картинах Паоло Уччело. См. также коммент. к с. 223 относительно «странствующей девы».

С. 149. поэт-лауреат Роберт Браун. — Английский поэт Роберт Браунинг (1812–1889) совмещен с шотландским ботаником Робертом Брауном (также Броун, 1773–1858), исследователем орхидей (что важно для орхидной темы «Ады») и первооткрывателем «броуновского движения».

Mironton, mirontaine — популярный припев, предназначенный только для звука и не имеющий смысла (Словарь Литтре). Такой припев звучит в народной французской песне «Malbrough s’en va-t-en guerre» («Мальбрук в поход собрался»), звучащей в «Аде».

…найти перо и увидеть самого павлина-Пикока… — Стихотворение Браунинга «Memorabilia» («Памятные вещи», опубл. 1855) начинается строками: «Ah, did you once see Shelley plain, / And did he stop and speak to you?» («Ах, так вы встретили однажды Шелли, / И он остановился и с вами говорил?»), а завершается упоминанием находки — линялого орлиного пера (этими словами Браунинга, «The moulted feather», Набоков подумывал назвать свою автобиографию «Conclusive Evidence»). Ада меняет английского поэта Перси Б. Шелли (1792–1822) на Пикока, а орла на павлина, намекая на друга Шелли английского поэта и писателя-сатирика Томаса Лав Пикока (1785–1866) — англ. peacock — павлин.

С. 150. Проводник сказал: “Здесь пашня <…> Но она со мной рядом стоит”». — В оригинале: «Here, said the guide, was the field, / There, he said, was the wood. / This is where Peter kneeled, / That’s where the Princess stood. // No, the visitor said, / You are

the ghost, old guide. / Oats and oaks may be dead, / But she is by my side».

Сочиненные Набоковым стихи посвящены роману британского полковника авиации Питера Таунсенда и принцессы Маргарет. Таунсенд сделал Маргарет предложение в 1953 г., но поскольку он был разведен и его бывшая жена была жива, церковь не дала согласия на брак. В письме к Б. Мэйсон Набоков пояснил: «<…> это стилизованное мимолетное впечатление таинственного посетителя открытого для туристов места, где в легендарные времена (“легендарные” для Антитерры) некий Питер Т. встречался в последний раз с сестрой Королевы. Хоть он и обвиняет старого гида в том, что он “призрак”, это он сам, в обратном движении времени, призрачный турист, тень самого Питера Т. <…>» (Mason B. A. Nabokov’s Garden: A Guide to Ada. Ann Arbor: Ardis, 1974. P. 185. Пер. мой).

В набросках к русской версии «Ады» Вера Набокова записала (по старой орфографии) следующий перевод этих стихов:

Тут, сказал гид, было поле,

Там, он сказал, был лес.

Вот тут Питер стоял на коленях,

А принцесса стояла здесь.

Нет, сказал посетитель,

Призрак — ты сам, старый гид.

Ни овса, ни дубов больше нету,

Но она со мной рядом стоит.

С. 151. …Эль-люзии (старый каламбур… — В оригинале англо-итальянская игра слов lettrocalamity (от ит. elettrico — электрический, и англ. calamity — бедствие, катастрофа), которая, как указано в примеч. Дамор-Блока, «обыгрывает ит. elettrocalamita (электромагнит)». Этот каламбур отсылает к «Эль-катастрофе» в начале третьей главы романа.

alias — иначе (называемый) (фр.).

С. 152. Парлужский сыч — в оригинале Parluggian Owl, за которым скрывается, как пояснил Набоков итальянским и французским переводчикам романа, Boreal Owl, русское название — Мохноногий сыч (Aegolius funereus). «Parluggian» созвучно ит. parlucchiare — коверкать слова на чужом языке. «Luggian», кроме того, отсылает к

«холодной Луге», ранее уже итальянизированной в романе Аквой («go Lago di Luga»), нарочно коверкавшей иностранные слова.

…уже покойным садовником <…> 1842.) — Согласно Родословному древу, в 1842 году родился Иван Иванович Дурманов, брат Марины и Аквы (покойный ко времени действия этой главы).

С. 153. …русского наставника, Андрея Андреевича Аксакова («ААА»)… — Проводя ироничную линию к теме литературного наставничества и к своему русскому предшественнику, автору «Семейной хроники» Сергею Тимофеевичу Аксакову, Набоков создает обобщенный образ русского интеллигента и почитателя литературы. Имя для этого персонажа Набоков мог выбрать с оглядкой на самую известную «ААА» русской литературы — Анну Андреевну Ахматову, умершую в 1966 г. (Аксак — Ахмат).

мисс Форчен — каламбур: «Misses Fortune» — «упускает удачу»; misfortune — несчастье, злоключение (англ.).

С. 154. Un régulier — Обычный (фр.).

…Аксаковым и Багровым-внуком, соседским парнишкой, которого Ван дразнил и цукал и ужасно изводил насмешками… — Отсылка к «Детским годам Багрова-внука» (1858) Аксакова, ирония которой еще усилена в примеч. Дамор-Блока, где годы жизни писателя сопровождаются пометкой «наша эра». Как заметил Б. Аверин, «Аксаков оказывается устаревшим настолько, что необходимо пояснить читателю, в какой, собственно, эре он жил. <…> В “Аде”, построенной, подобно “Другим берегам”, как книга памяти, автобиографическая проза Аксакова трактуется как достойная упоминания — и в то же время забвения. Эпизод с Багровым, дедом и внуком, завершается сообщением, что о том лете, когда они участвовали в его жизни, Ван не сохранил ни малейших воспоминаний. Книга Аксакова, этот семейный эпос, трактуется как забытая, но тем не менее — основа жанра» (Аверин Б. В. Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции. СПб.: Амфора, 2003. С. 20).

В «Детских годах Багрова-внука», второй части «Семейной хроники», названной Д. П. Святополк-Мирским в «Истории русской литературы» «шедевром повествовательного реализма», рассказывается о Сергее Багрове, который рос болезненным и впечатлительным мальчиком, рано потерявшим мать. Аллюзия на «Детские годы Багрова-внука» возникает у Набокова в описании жизни Тимофея Пнина в Париже в 20-х гг. (вторая глава романа «Пнин», 1957): «Средства к существованию ему доставляла скромная должность в Аксаковском институте на улице Вер-Вер, в сочетании с еще одной, в русском магазине Савла Багрова, на улице Грессе» (пер. Г. Барабтарло при участии Веры Набоковой). Здесь мемуары Аксакова поставлены в один ряд с фривольно-комической поэмой Ж.-Б. Грессе «Вер-Вер» (1734) «о попугае-вероотступнике, всеобщем любимце женского монастыря» (KEO, 156), о которой Пушкин отзывался с восхищением. Набоков охарактеризовал Аксакова как «третьестепенного писателя, значение которого было неимоверно раздуто славянофилами» (KEO, 526).

С. 155. grande cocotte — здесь: роскошная кокотка (фр.).

train de luxe — первоклассный поезд (фр.).

С. 156. cette Lucette — эта Люсетта (фр.).

С. 157. Мокуба — город в Мозамбике.

…Гардоне на озере Гарда <…> отпечатки подошв Гёте и д’Аннунцио… — Гардоне-Ривьера — итальянский курорт на о. Гарда, в котором Набоков останавливался в мае–июне 1965 г.; И.-В. Гёте побывал на озере Гарда во время своего итальянского путешествия 1786–1788 гг.; итальянский писатель, поэт и драматург Габриэль д’Аннунцио умер в 1938 г. в своем поместье на этом же озере.

…над озером Леман (по этим склонам бродили Карамзин и граф Толстой). — Н. М. Карамзин жил на берегу Женевского озера с октября 1789 по март 1790 г., Л. Н. Толстой останавливался в Кларане, близ Монтрё, совершая горные прогулки, в мае — июле 1857 г.

С. 160. remouvez votre — англ. remove your (передвинь свой) на иронично искаженном французском.

С. 161. Tel un lis <…> цитировать Делиля… — Неточная цитата из научно-дидактической поэмы французского поэта и переводчика Жака Делиля (1738–1813) «Три царства природы» (1808): «Tel un sauvage lis, / Confidant au désert les parfums qu’il exhale, / Cache aux vents indiscrets sa beauté virginale» («Как дикая лилия, / Вверяющая пустыне аромат, который она источает, / Скрывает от любопытных ветров свою девственную красу»). Три эти строки приведены в Словаре Литтре. Как следует из КЕО, Набоков ставил Делиля невысоко и, по-видимому, привел строки из него как пример невзыскательности вкуса дворецкого в пандан ко вкусу гувернантки (почитательницы Коппе).

…до того, как Людовик Шестнадцатый перебрался в Англию». — В 1791 г. король Франции Людовик XVI вместе с семьей совершил попытку бежать из мятежного Парижа (бегство в Варенн), но был узнан и возвращен в Париж, где был гильотинирован 21 января 1793 г. В «Других берегах» Набоков писал о той роли, которую в этом историческом побеге сыграла его родственница баронесса фон Корф, одолжившая королю свой паспорт и карету: «Мария-Антуанетта ехала как мадам де Корф или как ее камеристка, король — не то как гувернер ее двух детей, не то как камердинер» (ДБ, 60).

…уцфръДщЖ ьйхйм пшцчА <…> срл цихЖуршД… — Ключ к шифру в следующей главе.

Poste restante — До востребования (фр.).

С. 162. …молодую сопрано Марию Кузнецову в сцене письма из оперы Чайкова «Онегин и Ольга». — Мария Николаевна Кузнецова (1880–1966) — русская оперная певица (лирико-драматическое сопрано) и танцовщица, солистка Мариинского театра. Ее дебютное выступление, под фамилией Кузнецова-Бенуа, состоялось в 1904 г. в роли Татьяны в опере

Чайковского «Евгений Онегин» (1879). Эмигрировала в 1918 г. Фамилия композитора здесь комичным образом совмещена с названием пьесы Чехова «Чайка» (1896).

…ванесса Nymphalis danaus Nab. <…> профессор Набонид из Вавилонского колледжа <…> «монарх»… — Монархическая тема главы продолжается отсылкой к последнему царю Вавилона (правил в 556–539 гг. до н. э.) Набониду, отправленному в ссылку после захвата Вавилона персами. Вымышленная бабочка Nymphalis danaus Nab. (намек на «Nabokov») указывает на данаиду монарх, вид бабочек из семейства нимфалид, к которому принадлежит и род ванесса.

С. 163. Спотыкаясь о дыни… — Из «Сада» Марвелла: «Stumbling on Melons as I pass» («Проходя мимо, я спотыкаюсь о дыни»).

золотая стелла — пробная четырехдолларовая золотая монета с изображением пятиконечной звезды (отсюда название), чеканенная в США в нескольких видах в 1879–1880 гг.; в обращение не поступила.

С. 164. …марвелловского «Сада» и <…> «Памяти» Рембо… — Эти произведения обсуждаются в 10 гл. романа в связи с темой неверных переводов. «Сад» памяти — одна из метафор «Ады».

С. 166. Элеонора Дузе — знаменитая итальянская актриса (1858–1924), гастролировавшая в России в 1890-х гг. Ее искусство высоко ценил страстный театрал В. Д. Набоков, отец писателя, о чем упомянул в книге «Из воюющей Англии» и в очерке «Из воспоминаний о театре» (Набоков В. Д. До и после Временного правительства / Сост. и предисл. Т. Пономаревой. СПб., 2015. С. 210; 470).

С. 167. Ван где-то читал <…> Тильтиль, это из «Синей бороды» <…> распознать лезбиянку <…> «Mytilène, petite isle» Луи Пьера… — Силясь вспомнить свой источник, Ван перебирает созвучные литературные имена и названия, смешивая две пьесы бельгийского писателя и драматурга М. Метерлинка (1862–1949) с вымышленным произведением «Луи Пьера» — игра с именем французского поэта и писателя Пьера Луи (1870–1925). Брат и сестра Тильтиль и Митиль — герои пьесы Метерлинка «Синяя птица» (1905, впервые поставлена К. С. Станиславским в 1908 г. в МХТе); «Ариана и Синяя Борода, или Тщетное избавление» (1896) — пьеса по мотивам литературной обработки Шарлем Перро народной сказки о жестоком муже (о мотиве «синих волос» в «Аде» см. наш коммент. к Родословному древу). От сказочных сюжетов совершается переход к сб. эротических стихотворений в прозе «Песни Билитис» (1894), написанных в манере Сапфо, — знаменитая мистификация Пьера Луи, выдавшего свою подделку за сочинения вымышленной куртизанки Билитис, современницы Сапфо. «Успех Билитис был так велик, что немало посетительниц Лувра тщательно разыскивали в античных залах бюст “новой Сафо”, а одна из писательниц переложила в стихи несколько буколических “песен” и с воспитательной целью поместила в “Revue des jeunes filles” как образцы высокого эллинского искусства» (Ланн Е. Литературная

мистификация. М.–Л., 1930. С. 180). «Mytilène, petite isle» («Митилена, маленький остров») отсылают к Митилене, крупнейшему городу о. Лесбос, в котором жила Сапфо.

Набоков в романе использует старую форму «лезбиянка» («lezbianka», «lezbianochka»).

«гарботош» (макинтош с пояском) — намек на известный образ шведской актрисы Греты Гарбо (1905–1990) в непромокаемом плаще из картины «Анна Кристи» (1930). Известно, что у Гарбо были романы с женщинами, она никогда не была замужем и не имела детей.

С. 169. …сочноголосая мисс Клефт… — Контекст беседы и возникающее далее в оригинале «soft Cleft» (букв. мягкая щель) намекают на возможность скабрезного прочтения ее имени.

фигли-мигли — уловки, проделки. Приведя это заимствованное из польского языка выражение по-русски латиницей, Набоков в скобках дал его английский «перевод»: mimsey-fimsey — от придуманного Л. Кэрроллом слова mimsy (в «Алисе в Зазеркалье», 1871), в котором смешаны «miserable» (жалкий) и «flimsy» (хрупкий). Словарный перевод выражения «фигли-мигли» — tricks.

С. 171. …amour-propre, а не sale amour <…> И почему «грязная»? — В примеч. Дамор-Блока указан источник каламбура, но не раскрыто его значение. В разговоре Катерины Алексеевны с Мисси в конце Ч. I, гл. XXVII романа Л. Н. Толстого «Воскресение» (1899) первая замечает о Нехлюдове: «Какая-нибудь affaire d’amour-propre» («дело, в котором замешано самолюбие»). Мисси на это хотела ответить: «Plutôt une affaire d’amour sale» («Скорее дело, в котором замешана грязная любовь»), «но она не сказала даже Катерине Алексеевне этого каламбура дурного тона» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1936. Т. 32. С. 98). Каламбур строится на том, что «amour-propre» означает не только «самолюбие», но и «чистая любовь».

С. 172. Ракан и Расин — классицисты, члены Французской академии, поэт и драматург Оноре де Ракан (1589–1670) и драматург Жан Расин (1639–1699).

…потому что остригла волосы, потому что у нее были ужасные мигрени, потому что не хотела <…> On fait son grand Joyce, сделав своего petit Proust. — Мы делаем своего великого Джойса… маленького Пруста (фр.). Игра слов: фр. grand означает не только «большой», но и «великий», а petit не только «маленький», но и «мелкий». Речь идет о пародии на стиль Джойса в «Улиссе», к которой обращается Ван, покончив с обсуждением Пруста. Нарочитый повтор союза «потому что» (англ. because) напоминает джойсовскую имитацию женского хода мысли во внутреннем монологе, в котором с помощью этого союза соединяются никак не связанные между собою вещи. Эту особенность Джойс отразил в «потоке сознания» юной Герти в гл. 13 («Навсикая») II части «Улисса» и в «потоке сознания» Молли Блум в последней главе романа, которая начинается словами: «Да потому что такого с ним никогда не было <…>» (пер. В. Хинкиса и С. Хоружего).

С. 174. …стихотворение Пушкина «Всадник без головы»… — Поэма Пушкина «Медный всадник. Петербургская повесть» (1833) совмещена с романом Майн Рида «Всадник без головы». В Ч. 2, гл. 10 «Ады» в упоминании «Медных Татар или Красных Монголов» и «Бронзовых Всадников» также усматривается аллюзия на два этих произведения (с заменой краснокожих индейцев на татаро-монголов).

…повесть о Мюрате, вожде племени <…> побочном сыне французского генерала… — См. примеч. Дамор-Блока. Набоков развивает соположение двух военачальников у Толстого, который, как заметил Бойд, обратил внимание на созвучие имен Хаджи-Мурата и наполеоновского генерала Иоахима Мюрата:

«— Если бы он родился в Европе, это, может быть, был бы новый Наполеон, — сказал глупый грузинский князь <…>

— Если не Наполеон, то Мюрат.

— И имя его — Хаджи-Мурат» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1950. Т. 35. С. 44).

Теллурид (Западное Колорадо) — описанный в финале «Лолиты» «горнопромышленный городок» в юго-западной части Колорадо, в окрестностях которого Набоков поймал самку голубянки Lycaeides sublivens Nabokov.

…германские музыкальные драмы <…> белой испражняющейся лошадью. — Помимо тетралогии Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга» (первое исполнение 1876), здесь, возможно, отразилось воспоминание о представлении в берлинском мюзик-холле, описанном в романе «Король, дама, валет» (1928): «белая, словно запудренная лошадь нежно переставляла ноги в такт музыке» (Набоков В. Король, дама, валет. М., 2021. С. 127).

С. 178. …неумолимый ростовщик, знаменитый Сен-При… — Аллюзия на упомянутого в «Евгении Онегине» карикатуриста графа Эммануила Сен-При (1806–1828), о котором Набоков в своем комментарии к роману Пушкина сообщил следующее: «Этот молодой художник застрелился <…> в присутствии некоего эксцентричного англичанина, пообещавшего оплатить его карточные долги при условии, что будет свидетелем его самоубийства» (KEO, 564).

couleur — масть (фр.).

…русское слово для таких, как ты <…> «школьник» по-немецки… — Имеется в виду нем. Schüler (ученик, школьник), с которым «шулер» (от немецкого названия карточной игры) не имеет этимологической связи.

С. 179. Розовая заря дрожала <…> Трудолюбивый старик… — из стихотворения Ш. Бодлера «Рассвет» (сб. «Цветы зла»): «В зелено-розовом трепещущем наряде / Студеная заря над Сеною пустой / Неспешно движется огнистой полосой, / И сумрачный Париж, старик трудолюбивый, / Протер уже глаза рукой нетерпеливой» (пер. П. Ф.

Якубовича). Слова «en robe rose et verte» из этих стихов вновь прозвучат в Ч. 2, гл. 9 романа.

С. 180. эвфорион — вымышленный металл, от англ. euphoria (эйфория).

С. 180–181. …дадаист <…> у которой на картинах только лошадки… — Согласно Словарю Лярусс, слово «dada», давшее название европейскому авангардистскому течению 1916–1923 гг., — это калька с англ. hobby-horse (деревянная лошадка — игрушка, палочка с лошадиной головой). В изобразительном искусстве наиболее распространенной формой у дадаистов был коллаж или ассамбляж.

С. 181. …расписанному Буше… — Франсуа Буше (1703–1770), французский живописец, гравер и декоратор эпохи рококо, нередко обращавшийся к эротическим образам.

«Oh, pardon <…> un moment, Monsieur» — «Ах, простите… одну минуту, господин» (фр.).

С. 183. Маскодагама. — Ван избрал псевдоним, в котором отразилась его детская тяга к путешествиям (описанная в Ч. 2, гл. 2): Васко да Гама (1469–1524) — португальский мореплаватель, открывший морской путь из Европы в Индию.

Ранта-ривер обыгрывает название студенческого журнала Кембриджского университета «The Granta», который начал выпускаться в 1889 г., и реки Гранты (River Granta), притока реки Кем, протекающей через Кембридж, где в 1919–1922 гг. в Тринити-колледже Набоков изучал естествознание и литературу. В древности река Кем носила название Гранта, а Кембридж назывался Грантебридж.

…из-за Золотого Занавеса… — «Железный занавес» (из Фултонской речи Черчилля 1946 г.) соединен с Золотой Ордой.

«Цирк Доброй Воли» — в оригинале «Good-will Circus Company», во французском переводе романа «Cirque Dobrososedski».

…между Францией и Англией, в недавно построенном «Чаннеле»… — Старая идея постройки туннеля под Ла-Маншем много обсуждалась в прессе в 1960 г., когда был разработан его новый проект (осуществленный только в 1994 г.); тогда же возник использованный Набоковым термин «Chunnel», соединивший два созвучных слова в названии проекта «The Channel Tunnel» (туннель под Ла-Маншем, от «the Channel» — Английский канал, Ла-Манш) в одно.

С. 185. …поэт («в особенности принадлежащий к группе Черной Часовни» <…> макаберный трепет… — Ироничный контекст позволяет предположить, что Набоков мог соединить в этом названии два чуждых ему литературных течения: английскую «Кладбищенскую поэзию» («Graveyard poets»), направление в сентиментализме середины XVIII в., и авангардную группу «Black Mountain Poets» («Поэты Черной Горы»), возникшую в Америке в 1940–1950-х гг. и связанную с экспериментальным колледжем Блэк-Маунтин в Северной Каролине. Выражение «black belfry» (черная колокольня) встречается у Р.

Браунинга в поэме 1840 г. «Сорделло» («Of its black belfry’s shade and its bell’s roar»).

С. 187. Подъ знойнымъ небомъ Аргентины… — строки из популярной в 1910-х гг. французской эстрадной песни «Le Dernier Tango» («Последнее танго»), стихи А. Фуше, музыка Э. Долуара, получившей известность в России в нескольких версиях под названиями «Последнее танго (Танго Смерти)», «Последнее танго. Под знойным небом Аргентины». Наибольшую известность приобрела версия в исполнении Изы Кремер; Набоков, однако, использует другой источник, в котором, как и во французском оригинале, говорится о танцовщице танго Рите (Кло в версии Изы Кремер) — таким именем он назвал партнершу Вана (подр. см.: Johnson D. Barton. Ada’s “Last Tango”, in Dance, Song and Film // Cycnos. Vol. 24, № 1. 2007. P. 55–69). Набоковский вариант близок версии «Последнего танго» в аранжировке Г. В. Георгиевского: «Под знойным небом Аргентины, / Где женщины опасней мины, / Где, вторя страсти мандолины, / Танцуют все Tango <…> “Ах, Рита, Рита!” — Говорит подруга, / “Не соглашайся — он сошел с ума” <…>» (Нотное издание. Музыкальное издательство Г. В. Попова. Новочеркасск, б.г.). Набоков приводит строки по-русски латиницей (с расставленными ударениями), ниже сообщает их английский перевод: «’Neath sultry sky of Argentina, / To the hot hum of mandolina <sic!>» (ради рифмы последнему слову сообщено русское окончание).

С. 188. Приз Дадли напоминает о Томасе Дадли (1576–1653), губернаторе колонии Массачусетского залива, основателе Кембриджа (Массачусетс) и попечителе Гарвардского университета. Названный в его честь «Дадли Хаус» в Гарварде наверняка был известен Набокову, преподававшему в этом университете.

С. 194. “Oh! qui me rendra, ma Lucile, et le grand chêne and зи биг хилль” — вариация на тему двустиший из гл. 22, соединяющая французские и английские строки посредством межъязыковой рифмы Lucile (Люсиль) — hill (холм), причем в транскрипции английских слов передан русский акцент.

С. 196. isle de Ladore — ладорский остров (фр.).

…псевдоним Guillaume de Monparnasse (отброшенная «t» придает ему большую intime)… — Знаменитый район Парижа, облюбованный в начале XX в. людьми искусства, носит название Montparnasse («гора Парнас»), псевдоним же гувернантки приобретает intime (интимность, задушевность) благодаря возможности его прочтения как «mon Parnasse» («мой Парнас»; ср. montagne — mon Tagne). Кроме названия горы (обители муз в греческой мифологии) и Ги де Мопассана, обыгрывается псевдоним французского поэта-авангардиста, критика и писателя Гийома Аполлинера (наст. имя Вильгельм Костровицкий, 1880–1918), который вновь намекает на Парнас — священную гору Аполлона.

С. 200. …роман под названием «Les Enfants Maudits»… — аллюзия на роман французского поэта, драматурга, прозаика и кинорежиссера Ж. Кокто (1889–1963) «Les Enfants terribles» («Ужасные дети», 1929) о жизни двух подростков, брата и сестры, которые по мере взросления изолируют себя от мира. Роман был экранизирован в 1950 г.,

английский перевод вышел в США в 1966 г.

…прыжком Нуржинского… — Совмещены имена двух знаменитых русских артистов балета, Вацлава Нижинского (1889–1950) и Рудольфа Нуреева (1938–1993). В 1961 г. Нуреев во время зарубежных гастролей Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова решил остаться на Западе, став одним из самых известных невозвращенцев.

С. 201. Вер-де-Вер отсылает к стихотворению английского поэта Альфреда Теннисона (1809–1892) «Леди Клара Вер-де-Вер» (1842) о холодной и бессердечной аристократке. Приобретя ироничную окраску, выражение «Вер-де-Вер» стало символом аристократичности и древности рода.

С. 202. раккоммодировать — искаженное фр. raccommoder (чинить, штопать); невольный намек на Филиппа Рака.

E tu? — А ты? (ит.)

zucchero — сахар (ит.).

С. 203. …вставить отличный холодный русский кок? — Кока-кола (или «коковый напиток», как Набоков переводил это название в «Лолите») каламбурно соединяется с англ. cock (груб. половой член).

Клавдий <…> не домогался Офелии. — Сравнение Ады с Офелией в этой главе продолжается. Клавдий, женившийся на матери Гамлета Гертруде, не домогался Офелии, в то время как Педро, любовник Марины, флиртует с Адой. Соположение проведено не вполне последовательно, поскольку Клавдий был родным дядей Гамлета, а Педро никем ему не приходится. Сценическая тема этой главы напоминает о спектакле в спектакле в «Гамлете», пьесе «Убийство Гонзаго», во время представления которой Гамлет в разговоре с Офелией позволяет себе непристойные двусмысленности. Несмотря на кажущуюся небрежность замечания, в нем содержится важная проекция будущей истинной связи — между образами и судьбами Офелии и Люсетты, в трагедии которой немалую роль сыграли домогательства ее отца Дана, дяди Вана (и Ады), женатого на его матери.

С. 205. …Ван сошел с гравия дорожки на бархат лужайки (повторяя в обратном порядке действия д-ра Ероя, преследуемого Невидимкой-альбиносом в одном из лучших английских романов). — Примеч. Дамор-Блока вводит читателя в заблуждение. В романе английского писателя Г. Уэллса (1866–1946) «Человек-невидимка» (1897) Гриффин («почти альбинос») выводит формулу, которая позволяет ему стать невидимым. Он доверяется своему другу д-ру Кемпу, которого полицейский называет героем (hero); букву «h», однако, глотает (в Эпилоге) другой персонаж — словоохотливый хозяин гостиницы. Убегая от босого Человека-невидимки, д-р Кемп нарочно выбирал участки с острыми камнями или битым стеклом.

С. 207. oeil-de-boeuf — бычий глаз (фр.) — в архитектуре горизонтальное или вертикальное окно овальной формы.

С. 211. nocturna — ночная (исп.).

troussant la raimée — приблизительный перевод: тревожа листву; последнее слово неологизм, смешивающий фр. aimé (любимая) с ramée (крона дерева).

С. 215. Гипнокуш напоминает название горной системы Гиндукуш, бóльшая часть которой расположена на территории Афганистана.

colleenette — девчушка (от ирланд. colleen — девушка).

С. 216. …Ренни говорит Нелл… — Комично англизированные (или американизированные) диминутивы имен Рене и Элен, отсылающие к повести «Рене» и к «Роману к Элен» Шатобриана.

«The infamous shadow <…> his superb digit». — «Постыдный шлейф нашей противоестественной страсти протянется за нами до самых глубин ада, на которые своим божественным перстом указывает Отец наш Небесный».

С. 219. in vivo — в живом теле (организме) (лат.). В науке термин «in vivo» означает проведение эксперимента на (или внутри) живой ткани при живом организме (в отличие от опытов in vitro — «в стекле», т. е. в пробирке).

delicia — наслаждение, услада, удовольствие (исп.).

С. 220. …«Истории проституции» <…> запретные мемуары <…> опусы претенциозных порнографистов… — Среди множества сочинений порнографического характера, в разное время находившихся под запретом, Набоков мог подразумевать упомянутые им в послесловии к «Лолите» «Мемуары женщины для утех» (1749) английского писателя и драматурга Джона Клеланда (1709–1789) и роман французской писательницы и переводчицы Доминик Ори (наст. имя Анна Декло, псевд. Полин Реаж, 1907–1998) «История О» (1954), который Набоков читал в 1957 г. (ВНАГ, 376).

С. 221. логогриф — род шарады, для решения которой нужно отыскать загаданное слово и образовать от него новые слова путем перестановки или отбрасывания отдельных слогов или букв.

С. 223. Барон Клим Авидов — анаграмма, комичность которой состоит в искусственном сочетании баронского титула с мужицким русским именем и в возможности восстановительного прочтения фамилии: <D>Avidov — Давыдов (ср. в романе «Взгляни на арлекинов!» упоминание Дмитрия де Мидова). Избранное для этого персонажа имя неизбежно напоминает русскому читателю о последнем и самом крупном произведении М. Горького «Жизнь Клима Самгина» (1925–1936), исторической и семейной хронике на свой лад.

…джинном или Дзюродзином… — В оригинале «Jupiter or Jurojin» (Юпитер или Дзюродзин); верховный бог римской мифологии по созвучию поставлен в один ряд с даосским божеством долголетия.

…в «Грице», Venezia Rossa… — Название сети роскошных отелей «Риц»

смешано с названием отеля «Гритти-Палас» в Венеции, расположенного на Гранд-канале в палаццо из венецианского розового камня (отсюда эпитет «Rossa» — ит. красный).

…выиграл турнир в Чузе, разгромив уроженца Минска Пэта Рицина, чемпиона Андерхилла и Вильсона (Северная Каролина)… — завуалированный отголосок полемики вокруг набоковского перевода «Евгения Онегина». В примеч. Набоков, раскрыв источник имени «уроженца Минска» и аллюзию в «Underhill» (букв. «Под холмом») на критика (Н. Подгореца), отсылает читателя к следующему месту своей автобиографии (иначе изложенному в русской версии «Другие берега»), в котором имя Эдмунда Уилсона комичным образом искажено и германизировано: «Мы видели лицо знаменитого гроссмейстера Вильгельма Эдмундсона, когда он на сеансе одновременной игры в минском кафе из-за нелепого зевка подставил ладью местному любителю и детскому врачу д-ру Шаху, в конце концов выигравшему партию» (Nabokov V. Speak, Memory. N. Y., 1969. P. 105. Пер. мой). «Эдмундсон» возникнет далее в этой главе в связи с той же темой перевода «Евгения Онегина». Называя «чемпиона Андерхилла» «уроженцем Минска», Набоков намекает на беспомощное замечание Уилсона в его ответе Набокову на страницах «The New York Review of Books». Уилсон писал, что «никто не согласен с Набоковым, что “т” и “д” с мягким знаком звучит отчасти как ts и dz <…> мне сказали, что этот ts эффект — белорусская особенность. Я слышал, что г-н Набоков настаивает на превосходстве петербургского произношения перед московским, и был немало удивлен, обнаружив, что он рекомендует произношение минское» (Letters: The Strange Case of Nabokov and Wilson // The New York Review of Books. 1965. August 26. P. 26).

Как указал Бойд, лестным эпитетом Уилсона наградил известный американский критик Норман Подгорец (Podhoretz, род. в 1930) в статье «Edmund Wilson, the Last Patrician» («Эдмунд Уилсон, последний патриций», 1958–1959). Игра слов у Набокова, помимо разделения этого слова на имя и фамилию (Пэт — Pat — уменьшительное от Patrick и Patricia), строится на том, что англ. champion означает не только «чемпион», но и «сторонник», кем и выступил Подгорец по отношению к Уилсону.

В завершение уничижительной шутки Набоков, сильный шахматист, едва не одолевший гроссмейстера Нимцовича в 1926 г. на сеансе одновременной игры (ВНРГ, 304–305), называет малоизвестный Андерхилл (городок в округе Читтенден, Вермонт) и небольшой провинциальный город Уилсон в Северной Каролине, в которых никакие значительные турниры по шахматам не проводились и «чемпионами» которых могли быть лишь досужие местные любители.

…в своей <…> игре странствующей девы… — В оригинале использовано выражение «damsel-errant» (лаконично поясняемое в словаре Уэбстера так: «странствующий рыцарь женского пола»), отвечающее термину средневековой литературы knight-errant — странствующий рыцарь. Применительно к шахматной игре Ады Набоков обыгрывает другие значения англ. errant — рассеянный, беспорядочный (о мыслях), блуждающий (без определенной цели).

С. 223–224. …красавица-манекенщица, сотворенная вовсе не для шахматных утех <…> ухоженного соперника <…> коней и слонов от фирмы «Лалла-Рук»… — После «шахматной» атаки на Уилсона в связи с переводом «Евгения Онегина» следует отсылка к самому роману Пушкина: название поэмы Томаса Мура «Lalla Rookh» (1817) каламбурно обыгрывает англ. rook — шахм. ладья и напоминает о двух местах «Евгения Онегина». Сцена на фоторекламе иронично модернизирует обстоятельства робкого ухаживанья Ленского за Ольгой в гл. 4 («Час от часу плененный боле / Красами Ольги молодой, / Владимир сладостной неволе / Предался полною душой. <…> И что ж? Любовью упоенный, / В смятенье нежного стыда, / Он только смеет иногда, / Улыбкой Ольги ободренный, развитым локоном играть, / Иль край одежды целовать»), где описана и шахматная игра между ними: «Уединясь от всех далеко, / Они над шахматной доской, / На стол облокотясь, порой / Сидят, задумавшись глубоко, / И Ленский пешкою ладью / Берет в рассеянье свою» (строфа XXVI. Курсив мой.). Другое место — исключенная Пушкиным из гл. 8 строфа, в которой упомянута героиня поэмы Мура: «И в зале яркой и богатой, / Когда в умолкший, тесный круг, / Подобна лилии крылатой, / Колеблясь, входит Лалла-Рук <…>». Набоков высоко оценил эти строки в комментарии к «Евгению Онегину», нелестно отозвавшись о самой поэме Мура, героиня которого «обитает в Индии, какой предстает эта страна в бледных фантастических сочинениях XVIII в.» (KEO, 572–573).

С. 225. …недоумком Ожеговым <…> том, содержащий 52 872 слова… — Четвертое, дополненное издание «Словаря русского языка» (1949) советского лингвиста С. И. Ожегова (1900–1964) вышло в 1960 г. и содержало 53 000 слов.

…воинственным Эдмундсоном в почтительной версии д-ра Гершчижевского… — В примеч. Дамор-Блока скупо поясняется, что в «Гершчижевском» фамилия Чижевского соединилась с фамилией другого слависта. Имеются в виду экономист, историк и критик, профессор Гарвардского университета А. П. Гершенкрон (1904–1978) и славист, историк литературы Д. И. Чижевский (1894–1977), в 1949–1956 гг. преподававший в Гарварде. Первый в 1966 г. подробно разобрал набоковский перевод «Евгения Онегина» в рецензии «A Manufactured Monument?» («Рукотворный памятник?»), второй в 1953 г. выпустил в издательстве Гарвардского университета свои комментарии к «Евгению Онегину», подвергнутые Набоковым суровой критике. 18 февраля 1967 г. Набоков писал Р. Н. Гринбергу: «На счет Гершенкрона: его статейка далеко не невинная (она написана, с пошлейшими ужимками, в защиту Гарвардского Чижевского, которого я за дело трепал), а Вильсону, подсунувшему ее тебе, можешь сказать от меня, что он прохвост» (Друзья, бабочки и монстры. Из переписки Владимира и Веры Набоковых с Романом Гринбергом (1943–1967) / Вступ. ст., публ. и коммент. Рашита Янгирова // Диаспора [Вып.] I. Новые материалы / Отв. ред. В. Аллой. Париж, СПб.: 2001. С. 551).

спиритическая планшетка — изобретенная в середине XIX в. подвижная дощечка в форме сердца, два угла которой были снабжены колесиками, а третий угол поддерживался карандашом; подложив лист бумаги, медиум на спиритических сеансах, двигая планшеткой, записывал «сообщения» духов.

С. 226–227. …крепость в древней Московии». <…> В русском языке нет этого славного слова, его придумал француз. — Имеется в виду англ. kremlin (кремль), источник которого — французское искажение русского слова.

С. 231. «Береника» (постановка 1670), историческая трагедия Жана Расина.

…опустился на иванильича (разновидность охающего старого пуфа, обтянутого кожей)… — К списку произведений Л. Н. Толстого, упомянутых или подразумеваемых в романе, добавляется повесть «Смерть Ивана Ильича» (1886). На «расстроившийся пружинами и неправильно подававшийся <…> низенький пуф» садится Петр Иванович, придя после смерти Ивана Ильича к Прасковье Федоровне. См. примеч. Дамор–Блока.

С. 231–232. …известное “cousinage-dangereux-voisinage” adage <…> все время ошибаюсь в этом слове… — Выражение дважды звучит в «Войне и мире» Толстого, во второй раз — в разговоре Веры с Пьером и князем Андреем (Т. 2, Ч. 3, гл. XXI):

«— Он верно вам говорил про свою детскую любовь к Наташе?

— А была детская любовь? — вдруг неожиданно покраснев, спросил князь Андрей.

— Да. Vous savez, entre cousin et cousine cette intimité mène quelquefois à l’amour: le cousinage est un dangereux voisinage. N’est ce pas?» («Вы знаете, между двоюродным братом и сестрой эта близость очень часто приводит к любви. Двоюродные — опасное дело. Не правда ли?»).

Слово «adage» (поговорка, изречение), которое в английском и французском различается лишь произношением, Марина, по-видимому, сначала произносит с долгим начальным «а», как в «Ада», после чего поправляется.

С. 232. Азов, русский сатирик, производит слово “ерунда” от немецкого “hier und da”, что значит “ни тут, ни там”. — Вл. Азов — основной псевдоним русского фельетониста, театрального критика, сценариста и переводчика Владимира Александровича Ашкинази (1873–1948?), с 1928 г. жившего в Париже (Шруба М. Словарь псевдонимов русского зарубежья в Европе (1917–1945). М., 2018. С. 491). В 1910–1918 гг. Азов печатался в газете «Речь», постоянным сотрудником которой был В. Д. Набоков, и в петербургском еженедельнике «Сатирикон», его скетчи ставились в театре «Кривое зеркало». Н. Евреинов писал, что Владимиру Азову «свойственна <…> профессорская манера острить (“гелертерская” ирония, скрывающаяся в придаточных предложениях) и публицистическая привычка не задерживаться долго на очередной рукописи» (Евреинов Н. В школе остроумия. Воспоминания о театре «Кривое зеркало». М., 1998. С. 65). В 20–30-х гг. в эмиграции Азов публиковался в тех же русских газетах, что и Набоков, — «Эхо», «Сегодня», «Последние новости».

Если Азов где-нибудь писал о происхождении слова «ерунда» от немецкого выражения, он только повторял предположение Н. С. Лескова, высказанное им в заметке «Откуда пошла глаголемая “ерунда” или “хирунда”» (1884). Этимология слова «ерунда», как указал В. Виноградов, остается неясной: «Конечно, каламбурное объяснение из немецкого hier und da, предложенное Н. С. Лесковым, не выдерживает критики. Оно опровергается и стилистическим употреблением слова “ерунда” и его социальной историей, которая не возводит начала этого выражения к речи петербургских немцев» (Виноградов В. В. История слов. М., 1999. С. 154).

Мы въ темномъ уголкѣ, и кажется, что въ этомъ <…> звучит несколько двусмысленно. <…> слова “и кажется, что в этом” можно понять как “мне кажется, что в этом” — указывая пальцем в угол комнаты. — В оригинале Набоков приводит свой вольный перевод этой строчки из «Горе от ума» (1825): «How oft we sat together in a corner / And what harm might there be in that?» («Как часто мы в углу сидели вместе, / И какой в этом может быть вред?»). Этот перевод действительно вносит двусмысленность, поскольку предполагает следующий смысл слов Чацкого: «и кажется, чтó в этом [такого]». Продолжая тему неверных английских переводов русской классики, Набоков дает русское название пьесы латиницей («Gore ot uma») и следом английское, в котором отсутствует слово «горе», из-за чего утрачивается драматическая окраска, отличающая афористичное оригинальное название: «How stupid to be so clever» («Как глупо быть таким умным»). Так Набоков, вполне возможно, указывает на английский перевод пьесы, подготовленный С. В. Прингом в 1914 г. под названием «The Misfortune of Being Clever» («Несчастье быть умным»). В письме к Уилсону от 11 июня 1943 г. Набоков охарактеризовал пьесу «роскошной вещью» и перевел ее название как «Brains Hurt» («Вред уму») (NWL, 112). В комментарии к «Евгению Онегину» он дает буквальный перевод «Woe from Wit» и называет пьесу «единственной великой русской комедией в стихах» (KEO, 136).

С. 233. opéra bouffe — опера-буффа (фр.).

С. 235. …в тарусском госпитале… — В то время как многие врачи в книге носят «кроличьи» имена, в названиях лечебниц сильны мифологические мотивы: здесь «Tarus Hospital» напоминает об английском названии созвездия Тельца (Taurus), которое связано с мифом о превращении Зевса в быка и похищении Европы, и о санатории Аквы в «Сен-Таврусе» (Кентавр — созвездие Центавра. См. коммент. к с. 37). Набоков, кроме того, мог учитывать намек на Таврику, древнее название Крыма, и на старинный русский город Тарусу.

С. 236. …в конце 90-х годов девятнадцатого века, впав в <…> старческое слабоумие, Марина взяла привычку <…> рассказывать о «преступлениях» мертвого Демона… — Анахронизм (Марина умрет раньше Демона), не получивший, впрочем, дальнейшего развития или объяснения. Набоков, возможно, имел в виду, что Марина из-за старческого слабоумия полагала, что Демон уже умер; в этом случае, однако, «мертвого» следовало взять в кавычки.

С. 237. Très Américain — Очень по-американски (фр.).

Моя страна, моя милая страна. <…> Боже, храни их бедные американские рецепторы. — Переиначены заключительные слова американской патриотической песни Ирвинга Берлина «God Bless America» («Боже, благослови Америку», 1918): «My home sweet home» («Мой дом, милый дом»). Другая патриотическая песня, которую Набоков мог иметь в виду — «Америка (Моя страна, это о тебе)» (1831) на слова Сэмюеля Ф. Смита, — начинается так: «My country, ’tis of thee, / Sweet land of liberty» («Моя страна, это о тебе, / Милая страна свободы»).

С. 237–238. …горнишонке — русско-французский сленг последнего разбора, означающий хорошенькую камеристочку. — Соединение слов «горничная» и «корнишон» (фр. cornichon) — снятый вскоре после цветения мелкий огурец (что напоминает о русской поговорке «<свеж / здоров> как огурчик»).

С. 238. oeillet — проушина; гвоздика (фр.).

«Повѣса» — «Playboy», основанный в 1953 г. и значительно более культурный и литературный в 60-х гг. мужской журнал, в котором публиковался Набоков.

С. 239. Демон предпочитал Диккенсу Вальтера Скотта — в отличие от отца Набокова, автора большого очерка о Диккенсе в IV томе «Истории западной литературы (1800–1910)» (М., 1917).

С. 240. …странная форма “сестры” твоей “линии жизни”. — Линии на ладони, проходящие рядом с основными, в хиромантии называются сестринскими. С. Ильин и А. Люксембург усмотрели здесь аллюзию на сб. Б. Пастернака «Сестра моя — жизнь» (1922), который открывается стихотворением «Памяти Демона» (Набоков В. Собр. соч. американского периода: В 5 т. СПб., 1997. Т. 4. С. 641). Стихотворение Пастернака навеяно образами из поэмы Лермонтова и картин Врубеля. Поэтический сборник Пастернака Набоков упомянул в рассказе «Тяжелый дым» (1935) среди любимых книг героя.

château que baignait la Dore — замок, омываемый Дором (реминисценция стихов из гл. 22).

С. 241. амерлоки — в оригинале неформальное фр. amerlocks, пренебрежительное название американцев. Этот франко-английский гибрид уничижительно подчеркивает неверное американское произношение фр. amerloque (янки).

С. 242. «Иллинойская бурда» — каламбурно переиначенное название французского вермута «Noilly Prat».

соландер — «коробка Соландера» — футляр для ботанических образцов, карт, пластин, рукописей и т. п., выполненный в виде книги, с откидной передней крышкой. Название образовано от имени шведского ботаника и библиотекаря Британского музея Д.-К. Соландера (1733–1782).

…виски почище этого usque ad Russkum <…> filius aquae?» — Каламбур

строится на лат. формуле usque ad filum aquae (вплоть до середины потока), которая применяется в юриспруденции в определении границ владения: если принадлежащий кому-нибудь участок земли ограничен ручьем, то владение простирается до середины потока (мысли Демона, по-видимому, блуждают вокруг земельных вопросов, для решения которых он и приехал). Примеч. Дамор-Блока отчасти раскрывает преобразование filum aquae в filius aquae (с неуместным намеком на Акву, официальную мать Вана). От filum aquae Демон по ассоциации переходит к aqua vitae (крепкий спиртной напиток) и от usque по созвучию к англ. whisky (виски): usque ad Russkum (по аналогии с usque ad rusticum — т. е. «вплоть до деревенского») можно перевести как «вплоть до русского» (подразумевается ли здесь водка?), с намеком на usquebaugh — шотл., ирл. виски; во втором значении ирландский напиток из коньяка и пряностей.

С. 243. …не следует хлестать можжевеловку… — в оригинале редкое англ. tittery — жаргонное название джина, бывшее в ходу в Лондоне в XVIII в.

Мэд-авеню — манхэттенская Мэдисон-авеню соединяется с англ. mad — сумасшедший.

С. 245. Beau Masque — бомаск (обращение к лицу в маске на маскараде), букв. красивое лицо / маска (фр.). Название романа (1954) просоветского французского писателя Роже Вайяна (Vailland, 1907–1965).

С. 245–246. Lorsque son fi-ancé fut parti <…> Огородное (благородное) “дитя” имеется в оригинале <…> Коппе… — Переиначены первые строки стихотворения Ф. Коппе «La veillée» («Бдение», 1879): «Как только ее жених ушел на войну, / Без слез в глазах и пошлого отчаяния, / Ирен де Грандфиф, благородное и чистое дитя, / Надела облачение, которое носила в монастыре <…>». Игра слов «огородное — благородное» — наша попытка передать комичное созвучие «noble» (благородный) — «gobble» (кулдыканье индюка) оригинала.

С. 246. …кирказон — все, что осталось от изысканной аристолохии <…> для облегчения родов очень юных матерей и называли его “целовником”… — Аристолохия — научное название растения кирказон; целовник — одно из народных названий аристолохии (Словарь Даля). В оригинале английское название растения, по западному поверью облегчающего роды, — «birthwort» (кирказон).

С. 248. jeune fille fatale — роковая девушка (по аналогии с femme fatale, «роковой женщиной»).

С. 249. sans-gêne — бесцеремонно (фр.).

chaud-froids и foie gras — заливное из дичи и фуа-гра (фр.).

С. 251. …по-галльски называл «наглухо запертыми дверями»… — Имеется в виду французское выражение porte (fenêtre) condamnée — наглухо запертая дверь или окно.

ospedale — госпиталь (ит.).

С. 253. à quatre mains — в четыре руки (фр.).

С. 254. …особой спаржи, безуханки, которая не влечет <…> прустовских последствий. — В романе «В сторону Свана» Франсуаза почти ежедневно нарочно покупала спаржу, зная, что ее запах вызывает у служанки, которая ее чистила, жестокие приступы астмы. Астмой страдал и сам Пруст. Слово «безуханка» в оригинале написано по-русски латиницей.

de vos domestiques — ваших слуг (фр.).

С. 255. moi, qui vous parle — я собственной персоной (фр.).

С. 256. ортштейн — рудняк или болотная руда, железистое каменистое образование; твердый подпочвенный пласт.

С. 257. La fève de Diane — фасоль Дианы (римской богини охоты). Намек на выражение «trouver la fève (au gâteau)» — найти свое счастье, получить неожиданную выгоду, разрешить дело.

С. 258. антиамберийцев — т. е. противников электричества, от англ. amber — янтарь (см. коммент. к с. 27).

С. 259. …петерсоновых рябчиков, Tetrastes bonasia windriverensis… — Перед научным названием рябчика указан вымышленный вид, названный, как заметил Д. Б. Джонсон, по имени американского натуралиста и орнитолога Роджера Петерсона (1908–1996). В 1934 г. Петерсон разработал собственный практический метод полевой идентификации животных и растений («Система идентификации Петерсона»). «Windriverensis» в примеч. Дамор-Блока объясняется как латинизированное английское название места обитания птицы: «Винд-Ривер-Рэндж (Wind River Range), Вайоминг».

asperges en branches — стебли спаржи (фр.). В этой сцене обыгрывается «аспарагус» и лат. asperges (me) (окропишь меня) — обряд окропления прихожан святой водой в начале мессы.

…союзника <…> ландыша… — Ландыш относится к семейству спаржевых растений.

С. 259–260. Семен Афанасьевич Венгеров (1855–1954) <…> будучи молодым доцентом, но уже знаменитым пушкинистом… — Реальные сведения перемежаются вымышленными: ученый умер в 1920 г., место приват-доцента в Петербургском университете получил в 1897 г., после чего приобрел широкую известность как историк литературы, библиограф, редактор и пушкинист, подготовивший полное комментированное собрание сочинений Пушкина в 6 томах (1907–1915). В 1908 г. Венгеров организовал Пушкинский семинарий при Петербургском университете, в котором началась работа по составлению словаря поэтического языка Пушкина, издавались научные сборники «Пушкинист».

С. 260. …британский писатель Ричард Леонард Черчилль <…> «Великий и достойный человек» — о печально известном крымском хане… — Премьер-

министр Великобритании Уинстон Леонард Спенсер Черчилль (1874–1965) так отозвался о Сталине («that great and good man») в письме к своему министру иностранных дел 3 декабря 1944 г. (цит. по: The Missing Link: West European Neutrals and Regional Security / Ed. by R. E. Bissell and C. Gasteyger. Durham & L., 1990. P. 136).

«Албани» (реальный табачный бренд) объединяет в «Аде» американский город Олбани (Albany) и Албанию.

С. 261. «À l’eau!» – «У воды!» (фр.). Каламбурная передача междометия «алло» инспирирована принципом действия дорофона.

С. 262. Вильфрид Лорье – премьер-министр Канады в 1896–1911 гг.

С. 264. …покуда эс не разлучит нас <…> быть двумя шпионами… – В оригинале формула брачного обета «till death do us part» («покуда смерть не разлучит нас») слегка изменена, вместо «death» стоит «dee» – ди, английская буква D и разговорное название детектива. Наша русская версия под «эс» подразумевает «смерть» и «сыщик» (здесь проведена линия к секретному почтовому агентству в начале Ч. 2 романа).

С. 265. Lights in the rooms were going out <…> Константин Романов <…> избранный президентом Лясканской академии словесности… – Точный, хотя и частичный перевод стихотворения «Уж гасли в комнатах огни…» (1883) вел. кн. Константина Константиновича (псевд. К. Р., 1858–1915). Поэт, переводчик и драматург, К. Романов в 1889 г. был избран президентом Императорской академии наук.

С. 266. husked – покрытый шелухой; очищенный от шелухи.

С. 267. …пятьсот лет тому назад, во времена Тимура и Набока. – В «Других берегах» Набоков так писал о своем происхождении: «<…> старый дворянский род Набоковых произошел не от каких-то псковичей, живших как-то там в сторонке, на обочье, и не от кривобокого, набокого, как хотелось бы, а от обрусевшего шестьсот лет тому назад татарского князька по имени Набок» (ДБ, 56). Тимур (Тамерлан, в русских летописях также Темир-Аксак, 1336–1405), среднеазиатский военачальник, завоеватель, основатель династии Тимуридов. Упоминается в стихотворении Набокова «Природа электричества» (см. коммент. к с. 27).

С. 268. colazione – завтрак (ит.).

С. 269. à reculons – назад, задом (фр.).

Травердиата. – Джузеппе Верди (1813–1901) соединен с названием его оперы «Травиата» (1853).

С. 270. …из термоса… – очередной анахронизм, возможно, умышленный: торговая марка «Thermos» была зарегистрирована в Британии только в 1907 г. (изобретение сэра Дж. Дьюара).

ombre-chevalier – пресноводная рыба семейства лососевых, букв.

теневой рыцарь.

…так называемый философ упоминает “une acte gratuite”, как если бы все акты были женского рода… — Правильно acte gratuit — поступок без причины и цели. В отвергнутой заключительной главе «Conclusive Evidence», написанной в 1950 г. в форме рецензии на саму эту книгу (что напоминает финал «Ады», представляющий собой аннотацию к роману), Набоков упомянул эту ошибку, допущенную У. Х. Оденом (в эссе «Augustus to Augustine», 1944), который «очаровательно смешал мужской род с женским» (цит. по: Бабиков А. Прочтение Набокова. Изыскания и материалы. С. 614). О том же Набоков писал Дж. Эпстайну 22 апреля 1957 г., указав и на другую схожую ошибку американского поэта: «кто-нибудь должен объяснить Одену, что monde во французском языке мужского рода, так что ни один французский поэт не мог бы сказать “Le monde est ronde”» (SL, 217). Бойд полагает, что «так называемый философ» может обобщенно отсылать к чуждым Набокову французским писателям А. Жиду (1869–1951), Ж.-П. Сартру (1905–1980) и А. Камю (1913–1960), в произведениях которых «acte gratuit», как деструктивное спонтанное действие насильственного характера, предстает выражением символического бунта против любой формы детерминизма.

С. 271. люнель — Muscat de Lunel, мускатное французское вино.

mouse-and-cat (мышки-кошки) — переиначенное ради созвучия с «мускат» название детской игры cat-and-mouse (кошки-мышки).

С. 272. Дорн (перелистывая журнал, Тригорину). Тут месяца два назад <…> интересуюсь этим вопросом… — Цитата из финала чеховской «Чайки» (в оригинале точный английский перевод).

С. 273. …дядя Дан, настоящий щеголь… — В оригинале обыгрывается идиоматическое выражение «dapper Dan» (аналогичное французскому выражению XIX в. «Beau Brummel») — элегантный, холеный, одетый по последней моде. В США с 30-х гг. под популярной маркой «Dapper Dan» продавались средства мужской гигиены.

…стакан Эро, героически… — в оригинале «Hero wine» обыгрывает созвучие англ. hero (герой) и винодельческого региона Hérault на юге Франции.

С. 277. Скротомовка — от англ. scrotum, мошонка.

Handkuss — поцелуй руки (нем.).

С. 281. …«Ombres et couleurs», рассказы Шатобриана… — такого сб. рассказов Шатобриана не существует.

С. 282. …использовать маленькую нищенку вместо сказочной принцессы, «чья драгоценная плоть не должна краснеть от отпечатка карающей руки» <…> Пьеро в версии Петерсона. — Пьеро намекает на Ш. Перро, который соединяется с Г. Х. Андерсеном, автором «Принцессы на горошине» (1835). Псевдоцитата с мотивом ревности носит комично-нравоучительный характер и напоминает о концовке гл. 36 (Ада

предлагает Вану в наказание отшлепать Люсетту, которая ассоциировалась с «принцессой» в гл. 23).

С. 283. Колючки да крапива… — В оригинале следующие строчки: «Thorns and nettles / For silly girls: / Ah, torn the petals, / Ah, spilled the pearls!»

…опус Антитерренуса о книге Раттнера. — По всей видимости, условно поименованный противник теории существования Терры, критикующий уже упомянутый труд Раттнера, который «в основном тексте книги апатично отрицал какое бы то ни было объективное существование планеты-близнеца и неохотно допускал такую возможность в своих туманных примечаниях» (гл. 37). Ср. с возникающим далее в романе Контрштейном.

С. 284. Un moment — Одну минуту (фр.).

С. 288. …Англия в 1815 году аннексировала… — По-видимому, таковы были на Антитерре последствия битвы при Ватерлоо (1815).

Ребяческим рывком он изувечил свою лучшую черную бабочку на колесе своего гнева. — Выражение «to break a butterfly on a wheel» (букв.: сломать бабочку на колесе), происходящее от названия смертной казни через колесование, во время которой приговоренному ломали железным ломом или прутом все крупные кости тела, вошло в поговорку в значении «применять ненужную силу для уничтожения чего-то хрупкого» (стрелять из пушки по воробьям). Его использовал один из любимых английских поэтов Набокова Александр Поуп (1688–1744) в «Послании к доктору Арбутноту» (1735).

С. 293. Votre demoiselle — Ваша девица.

Mais le musicien allemand, Monsieur Rack. — Конечно же немецкий музыкант, мосье Рак.

С. 299. en rapport — в связь.

Monsieur le Comte — господин граф.

s’en va t’en guerre — на войну собрался.

…Волосянка <…> вульгарное русское название для Мейденхэир… — Здесь Набокову потребовалось противопоставить поэтичное английское название адиантума «maidenhair» (букв. «волосы девы») грубому русскому названию, поэтому он воспользовался названием другого растения: волосянка, согласно Словарю Даля, это Festuca ovina, манник, типчак (научное название «овсяница овечья»).

С. 300. N’est vert, n’est vert, n’est vert. L’arbre aux quarante écus d’or… — Не зелен, не зелен, не зелен. Дерево с сорока золотых экю (фр.). Как указал Бойд, 10 ноября 1967 г. Набоков сделал дневниковую запись: «Местное название гинкго — arbre des 40 écus» (фр. «дерево сорока экю»).

…бедный Поток Сознания… — В университетских лекциях об «Улиссе» Набоков заметил следующее: «Читатели напрасно поражаются приему потока сознания <…> Прежде всего, этот прием не более “реалистичен” и не более “научен”, чем любой другой. На самом деле, если бы вместо записи всех мыслей Молли были бы описаны лишь некоторые из них, то их выразительность показалась бы более “реалистичной”, более естественной. Дело в том, что поток сознания есть стилистическая условность, поскольку, разумеется, мы не все время думаем словами — мы также мыслим образами; но переход от слов к образам может быть запечатлен в определенных словах, только если описание исключено, как здесь. Во-вторых, некоторые наши воспоминания приходят и уходят, другие остаются; они как бы останавливаются, аморфные и инертные, и потоку мыслей и мыслишек требуется время, чтобы обогнуть эти скалы мыслей. Недостаток имитации воспроизведения размышлений состоит в затемнении временно́го элемента и в слишком большом доверии к типографскому делу. <…> В этом типографическом вареве зародилось множество незначительных поэтов <…> Мы не должны видеть в потоке сознания, как его передает Джойс, природное явление. Это реальность лишь постольку, поскольку она отражает мозговую деятельность Джойса, сознание книги. Эта книга — новый мир, изобретенный Джойсом. В этом мире люди мыслят с помощью слов и предложений. Их ментальные ассоциации продиктованы преимущественно структурными потребностями книги, авторскими художественными целями и планами» (Nabokov V. Lectures on Literatures / Ed. by F. Bowers. N. Y. & L.: Harcourt Brace Jovanovich, 1982. P. 363. Пер. мой).

Аква говорила <…> на Демонии… — В авторизованном французском переводе романа слова о Демонии принадлежат Аде: «Ada disait <…> sur Démonia» (Nabokov V. Ada ou l’Ardeur. Chronique familiale / Traduit de l’anglais par Gilles Chahine avec la collaboration de Jean-Bernard Blandenier. Gallimard, 1999. P. 395). Немецкий перевод, проверенный Набоковым и его женой, следует оригинальному тексту: «Aqua pfegte <…> auf Demonia» (Nabokov V. Ada oder Das Verlangen. Aus den Annalen einer Familie / Aus dem Amerikanischen übertragen von Uwe Friesel und Marianne Therstappen. Rowohlt, 1977. S. 228). Едва ли Набоков мог сделать такую существенную замену специально для французского перевода, оставив оригинальный текст без изменений и пояснений, из чего следует, что во французском издании допущена ошибка.

С. 303. маркиз Квиз Квисана. — Обыграно англ. quiz (насмешник, шутка; викторина) и ит. qui si sana (букв. здесь исцеляются, здесь вы поправляетесь), давшее название роскошному санаторию «Quisisana», построенному в середине XIX в. на о. Капри, а также первому в мире автоматическому ресторану, открывшемуся в Берлине в 1895 г. Известный петербургский ресторан «Квисисана» на Невском проспекте, упомянутый в рассказе Набокова «Звуки» (1923), пользовался дурной славой из-за собиравшихся в нем продажных женщин и сутенеров (см.: Ангаров Ю. «Квисисана» // Новые петербургские трущобы: очерки столичной жизни. СПб., 1909. Вып. 1. С. 11–17).

С. 305. Джонни Рафин, эск. — Как указано в примеч. Дамор-Блока, фамилия и титул (эсквайр) секунданта Таппера каламбурно воспроизводят имя французско-американского ботаника, зоолога, антрополога, геолога и лингвиста К. С. Рафинеска (Rafinesque-Schmaltz, 1783–1840). Далее в этой главе Джонни назовет Таппера «человеком весьма рафинированным» («a very refined person»). С. Ильин и А. Люксембург отметили, что именно Рафинеск дал одному из видов орхидей имя Кордула.

С. 306. Должен ли я приобрести пару дуэльных пистолетов или капитан одолжит мне армейский “брюгер”? — Капитанское звание Таппера напоминает о дуэли Базарова с капитаном Павлом Петровичем Кирсановым в «Отцах и детях». В разговоре Базарова с Кирсановым о предстоящей дуэли схожим образом обсуждался вопрос оружия:

«— Вы продолжаете шутить, — произнес, вставая со стула, Павел Петрович. <…> Итак, все устроено… Кстати, пистолетов у вас нет?

— Откуда будут у меня пистолеты, Павел Петрович? Я не воин.

— В таком случае предлагаю вам мои. Вы можете быть уверены, что вот уже пять лет, как я не стрелял из них» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения. Т. 7. С. 142).

«Брюгер» — от названия немецкого самозарядного пистолета системы «Борхардта — Люгера» («люгер»), разработанного в 1898 г. и взятого на вооружение во многих странах.

С. 311. Кровь сочилась сквозь одежду и стекала по штанине. <…> Он боялся потерять сознание, но, возможно, все же на минуту забылся… — В «Отцах и детях» ранение на дуэли получает Кирсанов: «Струйка крови потекла по его белым панталонам. <…> Он хотел было дернуть себя за ус, но рука его ослабела, глаза закатились, и он лишился чувств» (указ. соч. С. 145).

С. 313. «Сонорола» — англ. «Radiola» (радиола, название радиоприемников, выпускавшихся в 1920-х гг. американской компанией «RCA») соединяется с лат. sonor (звон, звук).

С. 314. Сначала катили долгими коридорами <…> затем поднялись и спустились на двух разных лифтах, во втором, очень просторном, к стенке была прислонена черная гробовая крышка с металлическими рукоятками… — Это место своими мрачными деталями напоминает позднюю запись Набокова о нескольких днях в швейцарском госпитале, проведенных им в горячечном бреду. Карандашная запись слабой дрожащей рукой на листе писчей бумаге (по старой орфографии):

VN July 31 1976 (in this form) [ВН, 31 июля 1976 г. (в этой форме). Ниже более поздняя пометка рукой Веры Набоковой синими чернилами: Сон? бред?]

план нестлейского институ<т>а: (спросить Фишера)

История kidnapping<’а> [похищения]

? 9–VII–76; утром?

1) Меня везут вниз и вкатывают на несколько минут в электрическое – (термин?) помещение для просвечивания легких. [Вымарано одно слово, начинавшее следующее предложение.]

Ничего не сделав по технической причине<,> выкатывают (свидетель: Фишер).

2) Катит меня назад в лифт рослый блондин (дальше: РБ).

3) Поднявшись и проехав по каким-то коридорам<,> спускаемся опять. И опять. Выкатывает в подземный коридор. На мои вопросы РБ не отвечает.

4) Часть какого-то сада. Наконец, вкатывает меня в убогое, полное труб подземное помещение (мою комнату, really!). [На самом деле! Слова в скобках написаны синими чернилами той же дрожащей рукой.]

Где я?? [Сбоку косо синими чернилами: Игра!] Саркастическое молчание. РБ питает меня апельсин<н>ым соком, молоком, пилюлями. Умоляю и угрожаю. Где жена? Где сын? Смеется, издевается. Кто он? «Член общечеловеческого содружества»! Предлагаю тысячу франков цену ручных часов за сведения о жене. Смеется: «Все в свое время». Фарсовое укладывание спать. Безнадежность. Кричу о помощи. [Следует тщательно вымаранное короткое предложение.]

5) 10–VII. Он моет меня, питает, исследует и т. д. Я перехожу на издевательский тон. Он острит. [Одно или два неразборчиво написанных и полувымаранных слова.]

6)? 11–VII. Оказываюсь, постепенно узнава<я> ее, в своей палате. Никто не верит моим яростным жалобам<.>

[Harvard University. Houghton Library / Vladimir Nabokov papers. Box 12, folder 213. В июне 1976 г. Набоков был помещен с инфекционным заболеванием в частную клинику в Лозанне, где его состояние ухудшилось. 9 июля его перевели в госпиталь «Нестле», кантон Во. Из-за недостатка медицинского персонала, за ним ухаживали частные сиделки (ВНАГ, 786–787). Фишер – лечащий врач Набокова].

…ни был, твою мать… – Как заметил Проффер, в оригинале выражение «he be tvoyu mat’» (без запятой пред «tvoyu») омофонично ругательству «еби твою мать».

Ламорт – фр. la mort (смерть).

С. 316. мертвые клеточки – специальный термин «ghost cells»: 1.

мертвая клетка, сохранившая наружные очертания, «тень» клетки; 2. гемолизированный эритроцит, «тень» эритроцита.

С. 317. «Палас-отель Пизанг» — от малайского pisang (банан), название, которое использовали главным образом голландцы и немцы.

С. 318. «аретусоиды» — неологизм от имени мифической нимфы Аретусы (Аретузы), спутницы Артемиды, которую преследовал речной бог Алфей. Артемида, спасая Аретусу, превратила ее в источник, с которым Алфей соединил свои воды. Название Аретуса (Аретуза) носит редкий вид орхидеи.

Le Château de la Flèche, Flesh Hall. — Замок Стрелы (фр.) и созвучное английское «Поместье Плоти» (возможен намек на «flesh hole» — дыра в плоти).

С. 320. «Chew-foot-Calais» — букв. жевать (жвачка) — нога-Кале (французский Кале стоит у пролива Ла-Манш — линия к партнерше Вана, караимке из Чуфут-Кале, бежавшей в Англию накануне Крымской войны).

…он потерял сознание из-за потери крови, как было и с нами. — В оригинале речь идет о дуэли с Таппером, после выстрела которого Ван ненадолго потерял сознание, однако во французском переводе романа сделано уточнение в квадратных скобках: «comme Fraser le fit lui aussi» (как сталось и с Фрейзером). Это добавление, по всей видимости, отражает недостоверный и противоречивый рапорт Билла Фрейзера: его ранение, как сказано далее, не было огнестрельным, он сломал руку и находился в сознании, когда стал свидетелем убийства Перси.

С. 321. Arrêtez près de <…> pour messieurs — Остановитесь возле… для мужчин.

С. 323. трибадка — лесбиянка (от греч. trib(ein) — тереться).

С. 324. В старом поместье пародией я <…> в Стреле… — В оригинале Ардис назван завуалированно («Arrowhead» — наконечник стрелы): «In the old manor, I’ve parodied / Every veranda and room, / And jacarandas at Arrowhead / In supernatural bloom». Слова «veranda», «room» и «broom» намекают на Ванду Брум (Vanda Broom), свои отношения с которой Ада, по-видимому, тоже считала пародией (на отношения с Ваном).

С. 325. …скрежет первого трамвая… — В начале XX в. трамвайное сообщение Нью-Йорка было одним из самых развитых в мире, но уже в 30-е гг. оно стало резко сокращаться, а в 1947 г. на Манхэттене была прекращена работа последней трамвайной линии. Полностью трамвайное движение в Нью-Йорке было прекращено в 1957 г.

Когда в начале сентября Ван Вин уехал из Манхэттена в Люту, плод зрел в его чреве. — Открывшись инвертированной цитатой из «Анны Карениной», Первая часть «Ады» завершается в стилистической манере Толстого и перекликается с концовкой XX главы Пятой части его романа (на что указывает Дамор-Блок): «Доктор подтвердил свои предположения

насчет Кити. Нездоровье ее была беременность» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 19. С. 75). Английские и американские редакторы «Ады» дважды меняли «его» на «ее» (т. е. в чреве Кордулы), заставляя Набокова исправлять ошибку в новых изданиях романа.

Часть вторая

С. 328. …Бессбородко назначат главой Бессарабии, а британский губернатор Армборо… — Набоков обыгрывает созвучие английской аристократической фамилии Bessborough, среди представителей которой с конца XVII в. было несколько британских государственных деятелей и политиков, с именем российского государственного деятеля, канцлера Российской империи светлейшего князя А. А. Безбородко (1747–1799), который в конце XVIII в. фактически руководил внешней политикой России. Бессарабская губерния находилась в составе Российской империи с 1812 по 1917 г.

girlinière — т. е. «герлинерка» (от англ. girl — девушка) — англо-французский неологизм, феминитивный эквивалент гарсоньерки (garçonnière) — небольшой холостяцкой квартиры (фр.).

С. 329. сатирическая поэма Бранта — «Корабль дураков» (1494) немецкого сатирика и поэта Себастьяна Бранта (1457 или 1458–1521).

cottage orné — букв. украшенный коттедж (фр.); живописно оформленный небольшой деревенский дом в Англии XIX в.

С. 330. Ты тутъ стоялъ, въ этомъ каравансарае <…> когда мне было только семь или восемь лет… — Имеется в виду «Палас-отель Пизанг»; в 1880 г. десятилетний Ван путешествовал с отцом к «курортам Луизианы и Невады» (гл. 24).

С. 331. albergo — гостиница (ит.).

…роль глуховатой монахини Варвары <…> в чеховских «Четырех сестрах»). — Д. Циммер установил, что «четвертую сестру» Набоков взял из сценического монолога Чехова «О вреде табака» (1886, новая редакция 1889), в котором Иван Иванович Нюхин сообщает: «Я очень нервный человек, вообще говоря, а глазом начал подмигивать в 1889 году 13-го сентября, в тот самый день, когда у моей жены родилась, некоторым образом, четвертая дочь Варвара. У меня все дочери родились 13-го числа» (Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 13. С. 192).

…«Четырех сестрах» <…> бредит методом Стана, по которому lore и rôle перетекают в повседневную жизнь… — Отсылка к теории сценического искусства, разработанной К. С. Станиславским (1863–1938) в 1900–1930-х гг. и изложенной в виде системы в его книге «Работа актера над собой» (1938). «Метод Станиславского», по мнению его учеников и последователей, позволяет достичь полной психологической достоверности в актерской игре. Говоря о перетекании «lore» (англ. профессиональные знания) и «rôle» (фр. роль) в повседневную жизнь, Ада имеет в виду одно из главных требований системы Станиславского, согласно которому актеру, вживаясь в роль, следует задействовать

собственный жизненный опыт. Станиславский исполнил роль Вершинина в мхатовской постановке «Трех сестер» в 1901 г.

С. 332. Je réalise — я понимаю (фр.).

С. 333. je suis sur la verge — калька англ. «I’m on the verge of» («я на грани», фр. je suis sur le point de), которая звучит двусмысленно, поскольку фр. verge означает жезл, стержень, половой член.

…на пылающий кончик Патагонии, рог Горн капитана Гранта, виллу в Верна <…> агония. — Обыгрываются значения англ. horn — рог (во множественном числе — символ супружеской измены) и Horn (мыс Горн). В романе Ж. Верна «Дети капитана Гранта» (1867), в мире Антитерры носящем название «Микрогалактики», текст найденного в бутылке послания на трех языках, английском, французском и немецком, восстанавливается неверно, что приводит героев к побережью Патагонии. Как указали Риверс и Уолкер, замечание Дамор-Блока, что слово «агония» в найденном послании оказывается частью слова «Патагония», неточно: во французской записке можно было разобрать только «…gonie» (в конце «Ады» будет упомянут город Агония в Патагонии) (NDN, 287). В названии «Верна», по-видимому, не кроется определенный топоним, в нем звучит фамилия французского писателя и (для русскоязычного читателя) намек на завуалированное обещание верности от Ады («верна́», ср. последние слова Татьяны Онегину: «Но я другому отдана; / Я буду век ему верна»).

таргелион — одиннадцатый месяц аттического года (вторая половина мая — первая половина июня), получивший название от Таргелии, афинского праздника в честь Аполлона.

С. 336. érable — клен (фр.).

…Люсетта оказалась безупречной свахой. — В оригинале «paranymph», во втором значении (согласно словарю Уэбстера) — подружка невесты, отводящая невесту к жениху. В словаре отмечено еще одно очень редкое значение слова, которое мог иметь в виду Набоков: лицо, ходатайствующее или выступающее от имени другого. В нашем переводе это слово пришлось заменить, поскольку в русском языке «паранимф» только мужского рода — у древних греков человек, сопровождавший брачное шествие и вводивший невесту в дом жениха.

С. 337. Контрштейн — т. е., очевидно, противник теории относительности Альберта Эйнштейна (1879–1955), оспоренной в философском сочинении Вана «Текстура времени» (Ч. 4).

С. 338. …Э. покончил с собой, Ю. был похищен банщиком и вывезен в Татарию <…> Я. <…> доводил до помешательства своих якимских тюремщиков… — В оригинале игра с тремя последними буквами английского алфавита, с которых соответственно начинаются псевдонимы космологов: Xertigny, Yates, Zotov. Ксертиньи — коммуна в департаменте Вогезы на северо-востоке Франции; Йейтс — небольшой город в округе Орлеан, штат Нью-Йорк (близко, но не тождественно имени ирландского поэта и драматурга, лауреата Нобелевской премии по

литературе 1923 г. У. Б. Йейтса — Yeats); Зотов — известная русская фамилия (думный дьяк Никита Зотов — первый учитель Петра Великого).

В описании печальной участи ученых, возможно, содержится отголосок истории «Русского общевоинского союза» (РОВС), самой многочисленной и влиятельной организации Белого движения в эмиграции, и трех генералов, возглавлявших его. РОВС был создан в 1924 г. бароном П. Н. Врангелем, который стал его первым председателем. В 1928 г. Врангель неожиданно заболел и скоропостижно скончался — по версии близких, его заразили палочкой Коха агенты ОГПУ, которые привлекли для этого бывшего денщика барона Якова Юдихина. Двух других руководителей РОВС похитили в Париже с целью вывоза в СССР: генерала А. П. Кутепова в 1930 г. и генерала Е. К. Миллера в 1937 г. Первый бесследно исчез (по одной из версий, умер вскоре после похищения из-за чрезмерной дозы хлороформа, примененной агентами для его усыпления), второй был доставлен в СССР и содержался в тюрьме, пока не был расстрелян в 1939 г. Истории РОВС и похищению Миллера Набоков посвятил английский рассказ «Ассистент режиссера» (1943).

…вызолотил и нарумянил свою Терезу… — Тереза в дальнейшем ассоциируется с бабочкой (зегрис, семейство белянок), рассматривание «малютки-возлюбленной» под микроскопом, в свою очередь, напоминает о лабораторных занятиях Набокова по изучению строения (в частности гениталий) бабочек. В Ч. 5, гл. 5 романа актриса, сыгравшая Терезу в фильме Витри, выходит из «капсулы на Антитерре в чем мать родила, хотя, конечно, совсем крошечная, миллиметр сводящей с ума женственности, танцующей в “зачарованном кругу микроскопа”, как похотливая фея, и при некоторых позах показывающей <…> искорки лобкового пушка, посыпанного золотистой пудрой!».

Имя Тереза носит красавица графиня фон Гольдауген в повести-мистификации А. П. Чехова «Ненужная победа» (1882).

…похожее на анаграмму имя, Сиг Лэмински… — Зашифровано имя Кингсли Эмиса (Kingsley Amis, 1922–1995), английского прозаика, поэта и критика, автора одной из первых работ о научно-фантастической литературе «Новые карты ада» («New Maps of Hell. A Survey of Science Fiction», 1960). Эмис нелестно отзывался о книгах Набокова (в отличие от собственного сына Мартина, тоже писателя и большого поклонника Набокова).

…Антилия Глемс <…> искоренить <…> все черты Ады… — Это искусственное имя, частично выведенное из имени ее мужа (Sig Leymanski — Antilia Glems), напоминает об Антильских островах (англ. Antilles), название которых происходит, предположительно, от вымышленного острова Антилия (этимология которого возводится к выражению «остров напротив»), изображавшегося на средневековых географических картах. С другой стороны, «анти» в ее имени соотнесено с Антитеррой (как Тереза соотнесена с Террой), которую Глемс (англ. gleams — отражает свет) олицетворяет. Стремление Вана искоренить в этой «Анти-Терезе» все черты Ады удается лишь отчасти, поскольку имя персонажа представляет собой частичную анаграмму исп. gitanilla (гитаночка, цыганочка — звучащее далее в романе название бестселлера, отсылающее к новелле Сервантеса «La gitanilla» и к набоковской «Лолите»), что

как раз указывает на Аду, которая уже ассоциировалась с цыганочкой (в гл. 13) и которая в будущем сыграет роль цыганочки в картине, построенной на смешении сюжетов «Дон Жуана» и «Дон Кихота».

С. 339. геомантический рисунок. — Геомантией называется гадание по отметкам на земле или по рисункам, которые образуются после подбрасывания горсти земли.

Думерси намекает на Поля Думера (1857–1932), избранного президентом Франции в 1931 г. и в следующем году застреленного русском эмигрантом Павлом Горгуловым. «Думерси» — название рода роющих ос Sphex Doumerci.

…вместо хана Сосо и его жестокого Совьетнамурского ханства… — детское прозвище Сталина Сосо (диминутив от Иосиф) совмещается с Советским Союзом (Со-Со), Крымским ханством, рекой Амур и коммунистическим (Северным) Вьетнамом, масштабные военные действия США против которого начались в 1965 г.

С. 340. Трст — словенское название Триеста.

…Атаульф Фурор <…> превращал <…> пряничную Германию в великое государство… — Имя этого вымышленного «союзника Руси и Рима» (подразумеваются, по-видимому, заключенный между СССР и Германией пакт Молотова — Риббентропа 1939 г. и фашистская Италия под властью Муссолини) отсылает к реальной исторической фигуре. Атаульф (ум. 415), король вестготов (410–415 гг.), в 409 г. присоединился к Алариху, вторгшемуся в Италию, и разграбил Рим. Он отказался от планов по уничтожению Римской империи и созданию вместо нее государства готов. Женившись на дочери последнего императора единой Римской империи Феодосия I Великого, Атаульф решил восстановить Римскую империю и романизировать готов. Фонетически «Атаульф» соотносится с именем Адольф, указывая на Адольфа Гитлера (1889–1945), мечтавшего о Третьем рейхе как о новой Священной римской империи. Избранный нами в переводе титул «Фурор» (от лат. furor — неистовство, исступление) созвучен с нем. фюрер; в оригинале Athaulf the Future (Атаульф Грядущий) тем же способом обыгрывает официальный титул Гитлера «Der Führer».

солитон — структурно устойчивая уединенная волна в нелинейной диспергирующей среде.

С. 341. Катай — принятое в средневековой Европе название Северного Китая.

Вольтеманд (Вольтиманд) — придворный в «Гамлете», посланный Клавдием к норвежскому королю с миссией. В первых изданиях Шекспира написание имени разнится: Voltimand, Voltemand, Valtemand, Voltumand. Набоков, вероятно, подразумевал в этом псевдониме ит. volto — лик, облик, а также, возможно, как заметил Бойд, значения, связанные с его акробатическими выступлениями (например, фр. volte — крутой поворот, оборот). Выбирая псевдоним, Ван, кроме того, мог учитывать в нем намек на свои занятия фехтованием (вольт — уклонение от удара противника), а также на шулерские карточные упражнения: вольт —

подтасовка в карточной игре.

…два фиктивных издательских дома: «Абенсераг» <…> и «Зегрис» <…> распознала шатобрианову лапочку… — Т. е. руку автора уже упомянутой нами новеллы «Приключения последнего Абенсерага» (см. примеч. Дамор-Блока).

…Громвель, чье красивое растительное имя… — англ. gromwell — травянистое растение воробейник.

С. 342. «Одержимые» мисс Лав и «Толкач» мистера Дюка — согласно собственным пометкам Набокова, которые приводит Бойд, здесь подразумеваются два американских бестселлера: «Одержимый любовью» («By Love Possessed», 1957) Джеймса Коззенса (1903–1978) и «Герцог» (1964) Сола Беллоу (1915–2005); англ. duke — герцог; под «толкачом» («The Puffer» в оригинале) имеется в виду человек, пишущий хвалебные отзывы, тот, кто превозносит сверх меры.

…Первый Клоун «Эльсинора», известного лондонского еженедельника, прошелся по «Письмам» в своем обзоре… — С высокой долей вероятности здесь подразумевается английский литературный и театральный критик, редактор «Times Literary Supplement», автор либретто и пьес (что объясняет ассоциацию с театром посредством аллюзии на «Гамлета») Алан Прайс-Джонс (1908–2000), с конца 50-х гг. писавший под псевдонимом Джордж Клойн. В живо написанной, но поспешной и поверхностной рецензии на «Бледный огонь» Клойн нелестно отозвался о поэме Шейда («неплохо, но и не хорошо <…> автору приходится поддерживать видимость, что Шейд был великим человеком, а его поэма — великой поэмой»), самого же Набокова легкомысленно назвал «царским русским с набором причуд». К достоинствам Набокова критик отнес внимание к деталям: «чем меньше объект под микроскопом, тем лучше он его видит, тем любовнее он описывает его редкость» (Cloyne G. Jesting Footnotes Tell a Story // The New York Times Book Review. 1962. May 27. P. 18). «Cloyne» — старая форма англ. clown (клоун); «First Clown» («Первый клоун», могильщик) появляется в акте V, сц. 1 «Гамлета», которая начинается словами: «Elsinore. A churchyard» («Эльсинор. Кладбище»).

Terre à terre — приземленный, прозаичный (о стиле), букв. земля к земле (фр.). Игра слов с названием книги Вана и выражением «спуститься на землю» (в том числе, по-видимому, с высот космической фантастики).

С. 343. …манхэттенском журнале «Высокобровый горожанин»… — В оригинале «The Village Eyebrow», в котором последнее слово намекает на «highbrow» — интеллектуал, сноб, высоколобый. Имеются в виду два периодических нью-йоркских издания: еженедельник культурной жизни «The Village Voice», который начал выходить в 1955 г., и литературный журнал «The New Yorker», в котором много печатался Набоков. На обложке первого номера «Нью-Йоркера», вышедшего в 1925 г., денди Юстас Тилли, созданный художником Ри Ирвином, подняв бровь, рассматривает в монокль бабочку (с той же аллюзией на «Нью-Йоркер» в романе будет упомянут журнал «Денди и бабочка»).

…влияние Осберха (испанского сочинителя вычурных сказок и мистико-аллегорических историй, высокоценимого скорыми на выводы доктринерами)… — Борхес был не испанским, а испаноязычным автором. К середине 60-х гг. Набоков изменил свое первоначально восторженное мнение о нем: вскоре после выхода «Ады», отвечая в интервью на замечание о том, что его связывают с Беккетом и Борхесом, Набоков сказал: «О, я отлично знаю этих комментаторов: медленные умы, торопливые печатные машинки! Они бы лучше связывали Беккета с Метерлинком, а Борхеса с Анатолем Франсом. В просветительском отношении это было бы полезнее, чем судачить о незнакомце» (SO, 155).

…непристойного древнего араба, толкователя анаграмматических сновидений Бен Сирина… — мусульманский богослов, комментатор Корана и толкователь снов Мухаммад ибн Сирин (653–729), напротив, отличался аскетизмом. Один из методов Бен Сирина в толковании сновидений предполагал перестановку букв в названиях приснившихся предметов. Замечание о его непристойности объясняется, очевидно, тем, что имя ученого здесь связывается с псевдонимом Набокова В. Сирин, под которым были написаны и такие не предназначенные для юношества произведения, как «Камера обскура», «Волшебник», «Solus Rex».

издательство «Барс» — намек на британское издательство «Panther Books» (англ. panther — барс, пантера), в 1950–1970-х гг. печатавшее книги в мягких обложках, в том числе произведения Набокова.

С. 344. …«Сорняк изгоняет цветок» (издательство «Мелвилл и Марвелл»). — Строчка из короткого стихотворения Г. Мелвилла «Разрушенная вилла» (сб. «Тимолеон», 1891), написанного под впечатлением от вида разрушенных вилл в окрестностях Рима и Неаполя: «The weed exiles the flower». Уже упоминавшийся Э. Марвелл — автор «Сада».

…Экспресс Новый Свет достигал Бразилии и Ведьмы (основанной русским адмиралом). — Обыграно сходство названия города Вьедма (по имени испанского первопроходца Франсиско де Вьедма) в аргентинской провинции Рио-Негро с русским словом «ведьма».

С. 345. …из нормандской деревни с ужасным названием Deuil. — Как отметил Бойд, небольшой город Deuil-la-Barre (до 1952 г. Deuil) находится на севере от Парижа, в департаменте Валь д’Уаз. Набоков обращает внимание на значение французского слова: deuil — траур, тяжелая утрата.

С. 346. Переведенный из Ноты… — В оригинале «Note» — палиндром названия старейшего британского Итонского колледжа (Eton College), частной школы-пансиона для мальчиков.

…каллипигийского глобуса… — Венера Каллипига (греч. прекраснозадая) — название одной из античных статуй Венеры, находящихся в Неаполе.

«амурант» — «Floramor» в оригинале созвучно с фр. fleur d’amour (цветок любви); «Floramore» или «Flour-Amore» — старые поэтичные названия амаранта (от греч. «неувядающий»), символа бессмертия и

(что звучит иронично в контексте бордельной темы) постоянства в любви.

С. 347. «Розовая Книга» — «Guide Rose», ежегодный путеводитель по парижским борделям, выпускавшийся в 1920–1940-х гг.

С. 348. …дворец в стиле Роберта Адама… — Речь идет о знаменитом британском архитекторе-классицисте (1728–1792) из династии палладианцев Адамов. «Стиль Адама» — неоклассический архитектурный стиль, который отличает изящество декора, особенно в интерьере.

«Мадам-Адам Хауз» намекает на известный шутливый палиндром — первые слова, сказанные человеком: «Madam, I'm Adam» («Мадам, я Адам»), «Madam in Eden, I'm Adam» («Мадам в Эдеме, я Адам»). Ответ Евы позволяет продолжить эту игру («Eve»). На Западе «существует целая адамическая традиция — сочинение палиндромных фраз, которые могли бы быть сказаны Адамом и Евой» (Бонч-Осмоловская Т. Б. Введение в литературу формальных ограничений. Литература формы и игры от античности до наших дней. Самара, 2009. С. 112).

…из Рюинена (недалеко от Зволле <…> старое русское название сентября, «рюень», что могло означать «крушение», «руины», также отзывалось в названии родного города экстатического нигдерландца). — Этимология русского слова неясна. В словаре Даля отмечено: «РУВЕНЬ м. стар. рюень (реветь, рюить), месяц сентябрь; от рева оленей?». Набоков обыгрывает созвучие «рюень» с англ. ruin — разорение, крах, руина. Рюинен действительно расположен недалеко от Зволле, его название происходит от голл. ruin — кастрированное животное, мерин (Bulhof F. Dutch Footnotes to Nabokov's Ada // A Book of Things about Vladimir Nabokov. P. 291).

«Вельветовый» Вин — обыграны значения англ. velvet (бархат; разг. неожиданный доход или выигрыш) и прозвище фламандского художника, сына Питера Брейгеля Старшего, Яна Брейгеля Бархатного (1568–1625).

С. 349. Вулнеровская «История английской архитектуры» — «A History of English Architecture» (1962) П. Кидсона, П. Мюррея и П. Томпсона вышла под импринтом «Пеликан», на который и намекает «Вулнер» — от лат. vuln (ранить). Считалось, что пеликаны ранят себе клювом грудь и кормят птенцов своей кровью.

…Эль Фрейда в австрийском Любеткине… — зашифрованы имена двух архитекторов, представителей модернизма и функционализма: Эрнста Л. Фрейда (1892–1970), сына Зигмунда Фрейда, и Бертольда Романовича Любеткина (1901–1990), эмигрировавшего из России в 1922 г. Э. Фрейд («Эль» у Набокова соединяет его инициалы Э. Л.) начал карьеру архитектора в Берлине, но после прихода нацистов к власти переехал в Лондон, куда в 1931 г. из Парижа переехал и Любеткин. В 50-е гг. Э. Фрейд редактировал «Письма Зигмунда Фрейда» (1960). Превращая имя второго, русского архитектора в топоним, Набоков подразумевал, очевидно, ассоциацию с немецким Любеком, название которого происходит от древней славянской крепости Любице.

Дюдок Виллем Маринус (1884–1974) — нидерландский архитектор-

модернист, один из родоначальников функционализма.

арбутус — земляничное дерево.

…Литтль-Лемантри под Ранчестером… — Первое название, возможно, образовано от деревни Mantry во французском департаменте Юра и от соединения Монтрё с названием озера Леман; второе от уже упоминавшейся «Ранта-ривер» и Гранчестера на реке Кем, недалеко от Кембриджа. Руперт Брук посвятил Гранчестеру стихотворение «The Old Vicarage, Grantchester» («Старый дом викария, Гранчестер», 1912). В эссе «Руперт Брук» (1922) Набоков писал: «Сидя в берлинском Кафэ-дес-Вестенс, Брук в душный летний день с упоеньем вспоминает о той мглисто-зеленой, тенисто-студеной реке, которая протекает мимо Гранчестера. <…> Я как-то проезжал на велосипеде через Гранчестер. В окрестных полях мучили глаз заборы, сложные железные калитки, колючие проволоки. От грязных кирпичных домишек веяло смиренной скукой. <…> С реки доносился тенорок хриплого граммофона» (Набоков В. Собр. соч. русского периода: В 5 т. Т. 1. С. 743).

Псевдотерм — в оригинале Pseudotherm. Учитывая тут же упомянутый виадук, несущий ассоциации с Древним Римом, в этом названии, вероятно, соединились «термы» (thermae, античные общественные бани) и «терма» — высокая тумба с изваянием человеческого бюста или туловища, изображавшего бога Термина, блюстителя границ. Термы устанавливались римлянами на межах земельных участков; в эпоху Возрождения псевдотермы служили украшениями парков и садов.

кастелло — ит. castello (замок, крепость).

С. 350. «интакты» — от англ. intact — неповрежденные.

С. 351. некто г-н Ритков, далее упомянутый как Вротик, — анаграмма имени короля Виктора, пародийно замещающего в романе королеву Викторию (1819–1901), известную своими пуританскими взглядами.

барон Аззуроскудо. — Бойд заметил, что ит. azzuroscudo (лазурный щит) представляет собой итальянизированную версию европейской банкирской династии баронов Ротшильдов, фамилия которых переводится с немецкого как «красный щит».

С. 352. Лалага (от греч. болтать, лепетать) — вымышленное имя одной из гетер, которое Гораций в «Одах» использовал вместо настоящего имени своей возлюбленной. В романе «Взгляни на арлекинов!» Вадим Вадимович вспоминает, как «исследовал под партой ножки Лалаги Л., моей маленькой кузины, с которой у нас были общие уроки в то незабываемое лето» (Набоков В. Взгляни на арлекинов! С. 213).

фараонские фуро — в оригинале непереводимое «faro frock» (второе слово означает платье), что обыгрывает упомянутое в «Евгении Онегине» название карточный игры «фараон» (англ. faro) и созвучное фр. fourreau — узкое прямое платье (фуро), букв. ножны, футляр. Во французском переводе «Ады»: «fourreau-pharaon».

…из репродукции фиванской фрески <…> вполне заурядной в 1420 году до

нашей эры… — Согласно изысканиям Бойда, Набоков точно воспроизводит ту часть фрески (ок. 1400 г. до н. э.) на стенах гробницы Нахта в фиванском некрополе, на которой обнаженная юная рабыня стоит перед тремя знатными дамами, изображенными в профиль. На протяжении всей главы эротические и исторические мотивы искусно переплетаются с загробными.

С. 353. …Эрик был скелетом в самом дорогом углу кладбища Экса <…> между безымянным альпинистом и моим мертворожденным двойником. — Линия к первой («25.X.69, Экс, ex horto д-ра Лапинера. Сорвана в стенах его альпийского сада») и третьей главам романа: «Порой Акве мнилось, будто ее мертворожденный ребенок мужского пола <…> резиновая рыбка, которой она разрешилась в ванне, в lieu de naissance, обозначенном в ее снах просто как X <…>» (английская «X» произносится как «экс»).

С. 354. …ироничная Веспер взошла на будничном небе молочников… — Ирония в том, что Веспер в римской мифологии — олицетворение вечерней звезды, то же, что и Венера (богиня красоты и плотской любви), которая так и не одарила своей благосклонностью короля.

Литературная аллюзия в этом месте направлена на следующие строки в гл. 6 «Евгения Онегина»: «Но ошибался он: Евгений / Спал в это время мертвым сном. / Уже редеют ночи тени / И встречен Веспер петухом». Набоков усиливает неопределенность пушкинского текста, в котором Веспер становится скорее утренней, чем вечерней звездой. В комментарии к «Евгению Онегину» Набоков отметил: «По странной оплошности Пушкин называет утреннюю звезду “Веспером” <…> хотя это имя вечерней звезды, в то время как правильное название утренней звезды — Люцифер или Фосфор» (КЕО, 458). В. П. Старк в «Примечаниях научного редактора» к КЕО предпринял попытку оспорить это утверждение: «<…> это не “странная оплошность”, а сознательное использование наименования Веспер применительно к утренней звезде, ибо Пушкин, как и Набоков, прекрасно осведомлен в путанице древних греков и римлян, долго не знавших, что утренняя и вечерняя звезда в действительности — одна и та же планета Венера» (там же. С. 692). Ю. Лотман, однако, как и Набоков, считал, что поэт неточно назвал утреннюю звезду Веспером — «это название было дано античностью только вечерней Венере» (Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1983. С. 302).

…строку, сочиненную некогда Сенекой: subsidunt montes et juga celsa ruunt… — из эпиграммы римского философа-стоика и поэта Луция Аннея Сенеки (ок. 4–65) «Omnia tempus edax depascitur, omnia carpit…», сочиненной во время корсиканской ссылки. Содержание ее в переводе В. И. Модестова следующее: «Прожорливое время все пожирает, все поедает, все сдвигает с места, ничему не позволяет пребывать долго. Реки иссякают, море, убегая, осушает берега, оседают горы, и низвергаются высокие вершины. Да что говорить о таких пустяках? Вся прекраснейшая громада неба вдруг запылает своим огнем. Смерть требует всего. Исчезнуть — это закон, а не наказание: мир этот когда-нибудь перестанет существовать» (Модестов В. И. Лекции по истории римской литературы, читанные в Киевском и Санкт-Петербургском университетах. СПб., 1888. С. 629).

С. 357. княжна Качурина. — Эта фамилия значилась в списке угасших русских аристократических родов, который в 20-х гг. Набоков получил от своего берлинского знакомого Н. Яковлева (ВНРГ, 300). Набоков несколько раз использовал ее в своих произведениях. В «Даре» упоминается эмигрантский «роман генерала Качурина “Красная Княжна”», в «Бледном огне» — авиатор кн. Андрей Качурин. В 1947 г. Набоков сочинил поэму «К кн. С. М. Качурину», в которой вообразил свою поездку в Ленинград с подложным паспортом и под видом американского священника. В заметках 1949 г. для авторского вечера, на котором Набоков читал поэму, он отозвался об адресате послания так: «Стихотворение <…> посвящено моему большому приятелю, известному автомобильному гонщику, князю Сергею Михайловичу Качурину» (Набоков В. Заметки <для авторского вечера «Стихи и комментарии» 7 мая 1949 г.> / Вступ. ст., коммент. Г. Глушанок // В. В. Набоков: pro et contra. Антология / Сост. Б. В. Аверин. СПб.: РХГИ, 2001. Т. 2. С. 137). В написанном уже после «Ады» примечании к поэме, продолжая мистифицировать читателя, Набоков сообщил краткие биографические сведения о вымышленном князе, дав ему другое имя: «Качурин, Стефан Мстиславович. Мой бедный друг, бывший полковник Белой армии, умерший несколько лет тому назад в монастыре на Аляске. Только золотым сердцем, ограниченными умственными способностями и старческим оптимизмом можно оправдать то, что он присоветовал описываемое здесь путешествие. Его дочь вышла замуж за композитора Торнитсена» (Набоков В. Стихи. Анн Арбор, 1979. С. 320). Приведенное в этой справке отчество князя указывает на учителя детских лет Набокова художника Мстислава Добужинского (1875–1957), которому Набоков посвятил стихотворение «Ut pictura poesis» (1926) и чей мемуарный очерк, напечатанный в «Новом журнале» в 1942 г., он назвал очаровательным (Переписка Владимира Набокова с М. В. Добужинским / Публ., вступ. заметка и примеч. В. Старка // Звезда. 1996. № 11. С. 99).

«Smorchiama la secandela», на местном диалекте… — В своем экземпляре «Ады» Набоков сделал пометку: «Иллирийский диалект». Какой именно иллирийский диалект он имел в виду, сказать нельзя. Выделяются три диалектные зоны иллирийского языка: либурнская, среднедалматинская (далмато-паннонская) и южноиллирийская.

С. 359. …кошмары, таламические катаклизмы… — В таламической области промежуточного мозга находится таламус, играющий важную роль в процессах сна и бодрствования.

С. 359–360. …какое-нибудь невинное происшествие, если я его отмечал в своем дневнике и позднее возвращался к нему, только задним числом обнаруживало тот провидческий отпечаток, который Дунн объясняет действием «обратной памяти»… — Английский инженер, аэронавт и писатель Джон У. Данн (Dunne, 1875–1949) в «Эксперименте со временем» (1927) предложил гипотезу и проиллюстрировал ее рядом собственных вещих снов, согласно которой во снах отражаются будущие события. С октября 1964 г. по январь 1965 г. Набоков, следуя инструкциям Данна, записывал свои сны с целью их последующего сопоставления с реальными событиями. В нескольких случаях ему удалось зафиксировать примеры необъяснимого эффекта «обратной

памяти» (см. русский перевод записей Набокова: Я/сновидения Набокова. СПб., 2021). Набоковский «эксперимент» — один из источников «Ады», классификация снов в его дневнике близка к той, которая приводится в этой главе романа.

С. 360. …гитаночка Осберха двух мавров, Эль-Мотеля и Рамера… — Набоков продолжает иронизировать над частым обращением Борхеса к арабским ученым и авторам (в том числе выдуманным) и над стремлением критиков найти что-то общее в сочинениях аргентинского писателя и автора «Лолиты» (на которую вновь указывает «гитаночка»); исп. el motel — мотель; ramera — проститутка. Мотельная тема в «Лолите» имеет важное значение, особенно во второй части романа, в которой Гумберт, разыскивая сбежавшую Лолиту, просматривает записи отельных постояльцев и находит криптограммы и «пометные шутки» Куильти (среди которых и «П. О. Темкин, Одесса, Техас», которая несколько иначе повторится в «Аде»: «спас психиатра П. О. Темкина от кинжала кн. Потемкина, неуравновешенного юнца из Севастополя, штат Айдахо»).

Борхес фигурирует в этой главе еще и по той причине, что он посвятил У. Данну и его «Эксперименту» эссе «Время и Дж. У. Данн» (сб. «Новые расследования», 1952; английское издание 1964).

С. 361. …особенность моих снов — это множество совершенно незнакомых мне людей <…> ясное сознание времени, которое показывают часы <…> с крайне туманным и едва ли существующим ощущением течения времени… — Ср. дневниковую запись Набокова: «Любопытные особенности моих сновидений: 1. Я точно знаю, который час, но смутно ощущаю ход времени. 2. Много незнакомцев — иные почти в каждом сне. 3. Словесные подробности. <…> 6. Повторяющиеся типы и темы» (Я/Сновидения Набокова. С. 46).

С. 362. …розовое пирожное <…> в похожей на фрезу оборке… — Фреза в европейском костюме XVI–XVII вв. — круглый плоеный воротник из накрахмаленной ткани или кружев, который плотно охватывал шею. Подразумевается сходство гофрированной бумаги, которой обворачивают торт или пирожное, с таким воротником.

С. 363. …обезглавленное тело Волтера Рэли, все еще венчаемое образом его кормилицы <…> вульгарное заблуждение аналитиков Синьи-Мондьё… — Фаворит Елизаветы I, поэт, писатель, ученый, колонизатор Северной Америки сэр Уолтер Рэли (Raleigh, ок. 1554–1618) был обезглавлен по обвинению в государственной измене. Набоков продолжает сравнение женской груди с пирожным в развернутой пародии на фрейдистскую символику: напоминающее грудь пирожное и похожий на гофрированную бумагу воротник сливаются в один образ, в котором отрубленная голова Рэли замещена объектом его либидо (в терминологии психоанализа) — грудью кормилицы. См. в «Толковании сновидений» (1900) З. Фрейда сравнения увиденных во сне груш и яблок с женской грудью, сны с обезглавливанием, упоминание кормилицы, а также следующее место: «Нет ни малейших сомнений в том, что здесь подразумевается под яблоней и под яблочками. Красивая грудь также относилась к тем прелестям, благодаря которым актриса приковала к себе моего сновидца. <…> Сновидение сводится к детскому впечатлению. Если это правильно, то оно должно относиться к кормилице моего пациента <…

>» (Фрейд З. Собр. соч.: В 10 т. М., 2008. Т. 2. С. 298. Пер. А. М. Боковикова).

В искусстве и мировоззрении Набокова детский опыт имеет первостепенное значение, поскольку источник своего творчества он выводил из индивидуальных и непосредственных впечатлений и наитий детства, многообразие которых несводимо к «психологическим типам», стадиям «психосексуального развития» или полученным в юном возрасте «травмам». Это обстоятельство, на наш взгляд, послужило одной из главных причин его критики фрейдизма, профанировавшего, упрощавшего и огрублявшего ранний период становления личности.

…утешает убийцу посредством возложения вины на чересчур ласкового, или чересчур строгого, или вовсе безразличного родителя… — В. Александров в отношении такого рода колких замечаний Набокова в адрес Фрейда и его школы указал на следующее: «Известные нападки Набокова на Фрейда, которые начались еще в 1931 году, а пика своего достигли в интервью и предисловиях к английским переводам его романов, все еще, на удивление, воспринимаются многими как особо изощренная игра либо как неохотное и нечаянное признание сложной зависимости от “венского шарлатана” (то есть Набоков “слишком уж рьяно протестует”). На деле же здесь имеет место бесспорное отталкивание, проистекающее из презрения к поверхностным обобщениям, которые к тому же не имеют ничего общего с его личным опытом. Следует также подчеркнуть, что декларируемое отвращение к Фрейду и психоанализу не столько идет от высокомерия или педантического стремления к точности, сколько базируется на моральных основаниях. В одном интервью Набоков говорил, что “фрейдистская вера порождает опасные этические последствия, как если бы гнусному убийце с мозгами ленточного червя выносили более мягкий приговор на том основании, что мать в детстве либо слишком сильно, либо слишком слабо его наказывала — возможны оба варианта”» (Александров В. Е. Набоков и потусторонность: метафизика, этика, эстетика / Пер. Н. А. Анастасьева. СПб.: Алетейя, 1999. С. 69–70). Имеется в виду интервью от 3 сентября 1968 г. (SO, 116).

…«Вы так и “sturb”, Ван, с каламбуром на устах»… — Дамор-Блок сообщает, что здесь обыграно нем. sterben (умереть). Сразу после слов Раттнера возникает термин «disturbance» (нарушение, волнения, беспорядки; беспокойство), который и раскрывает английский источник каламбура (с учетом, возможно, устаревшего англ. sturb в значении «to disturb» — волновать, беспокоить, смущать). С каламбуром на устах, по свидетельству биографа, умер А. П. Чехов: «Проснувшись в 1-м часу ночи, Антон Павлович стал бредить <…> пришел в себя и с грустной улыбкой сказал жене, которая клала ему на грудь мешок со льдом: “На пустое сердце льда не кладут”. <…> Последние его слова были: “Умираю”, и потом еще тише, по-немецки, к доктору: “Ich sterbe”» (Измайлов А. Чехов. 1860–1904. Биографический набросок. М., 1916. С. 524).

«нерторос» — от греч. nerteros — низко опущенный, нисходящий, относящийся к преисподней.

С. 364. …фарсовому «влиянию среды», одобренному Марксом-père, популярным автором «исторических пьес»… — т. е. Марксом-отцом: намек на автора «Капитала» (1818–1883) и его современника Александра Дюма-отца (Dumas père, 1802–1870), написавшего несколько исторических романов и пьес. Собственная пометка Набокова в экземпляре «Ады»: «Dumas = Dumarx». Ирония, по-видимому, состоит в необыкновенной популярности разработанной К. Марксом теории классовой борьбы и в том, что он стал «отцом» коммунизма.

«твое крыло à terre» — т. е. «твое крыло на земле», обыграно фр. pied-à-terre (букв. нога на земле) — пристанище, небольшая квартира или комната, не предназначенная для постоянного пользования.

С. 365. Не даются мне эти размеры… — слова Гамлета, следующие после стихов в его любовной записке к Офелии: «О дорогая Офелия, не даются мне эти размеры» (Акт II, сц. 2. Пер. М. Лозинского).

Бурный Сукин Свин. Пусть моль изъест его анапест! «Все, кого раньше любили — почили, иль жены чужие». Все, по кому мы скорбим — девственницы или шлюхи. — Измененная цитата из написанной преимущественно анапестом поэмы «Долорес» (1866) английского поэта, писателя, драматурга и критика А. Ч. Суинберна (1837–1909): «Time turns the old days to derision, / Our loves into corpses or wives» («Время превращает прошлое в посмешище, / Наших возлюбленных — в трупы или жен»). Помимо фамилии поэта, Набоков в слове «anapest» (анапест) обыгрывает англ. pest (мор, чума), обращая внимание на размер поэмы, которую он находил «ужасной во всех остальных отношениях» (KEO, 787). На мысль о Суинберне, мастере изощренной звукописи и разнообразных рифм (часто в ущерб смыслу), Вана наводят строчки, которые он сочиняет перед этим, играя словами «эрос» — «essor» — «роза». Транслитерация «Свинбурн» встречается в статье Л. Н. Толстого «О Шекспире и о драме» (1906).

С. 366. маслачок — «маслак» в русском языке, в отличие от украинского, уменьшительной формы не имеет; это «толстая, большая кость, костища, особенно одна из округлых костей; бедро с вертлюгом» (Словарь Даля). Набоков (кажется, единственный в русской литературе) использовал эту форму для фр. pommettes и англ. cheekbones (скулы), напр.: «черновик Лолитиного очерка, ее ног, маслачков, вздернутого носика» («Лолита», Ч. I, гл. 18).

de Grasse — духи «Eau de Grasse», от расположенного в Приморских Альпах города Грасс — парфюмерного центра Франции.

…самовозгораясь посреди мрачной гостиной этого мрачного дома… — отсылка к роману Ч. Диккенса «Bleak House» (1853), известного в русских переводах под названием «Холодный дом», в гл. XXXII которого описывается смерть мистера Крука в результате самовозгорания: «Называйте, ваша светлость, эту смерть любым именем, какое вы пожелаете ей дать, объясняйте ее чем хотите <…> все равно это вечно та же смерть — предопределенная, присущая всему живому, вызванная

самыми гнилостными соками порочного тела, и только ими, и это — Самовозгорание, а не какая-нибудь другая смерть из всех тех смертей, какими можно умереть» (Диккенс Ч. Собр. соч.: В 30 т. М., 1960. Т. 18. С. 42. Пер. М. Клягиной-Кондратьевой). В университетских лекциях об этом романе Набоков отметил, что такая смерть как нельзя лучше подходит Круку, этому пособнику дьявола (Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С. 107). Внимание в романе к «Холодному дому» объясняется тем, что одна из его героинь — юная красавица по имени Ада Клейр, влюбленная в своего кузена Ричарда.

С. 369. «Наши парни», как заметил Бойд, — обратная версия названия непристойного романа французского писателя Жана Жене (1910–1986) «Notre-Dame des fleurs» («Богоматерь цветов», 1944). Шутка строится на том, что «Notre-Dame des fleurs» это прозвище мужского персонажа в романе, а «Notre-Dame» прочитывается как «Notre dames» — «Наши дамы». Роман Жене пришелся по душе Уилсону, который послал его Набокову. В ответ Набоков 28 апреля 1950 г. писал, что прочитал его «с удовольствием» и что местами он очень хорош, но в других отношениях посредственен. «Я был немного разочарован тем, что в нем нет ни одной девушки. Единственная jeune putain [молодая шлюха] оказалась зажата между двумя мальчиками, целующими друг друга, идиоты» (NWL, 266).

«Клише в Клиши» — «Тихие дни в Клиши», автобиографический роман Г. Миллера о его жизни в Париже в 30-е гг., опубликованный во Франции в 1956 г. и запрещенный в США, где он впервые был издан в 1965 г.

«Шесть шипов» — в оригинале «Six Pricks», что напоминает название сб. рассказов французского и ирландского писателя и драматурга С. Беккета (1906–1989) «Больше уколов, чем пинков» («More Pricks Than Kicks», 1934).

С. 370. Фолкнерманн совмещает двух нобелевских лауреатов по литературе (1949 г. и 1929 г. соответственно), У. Фолкнера и Т. Манна.

«Пах!» — произнесла Люсетта <…> обходись без этого словца». — Ругательство (англ. pah! — тьфу!) употребила Ада в Ч. 1, гл. 5 в схожем контексте (здесь Фолкнер и Манн, там был упомянут Достоевский).

kokotische — франко-русско-немецкий окказионализм, совмещающий кокотку с кокеткой (англ. coquettish — кокетливая девушка).

полу-poule, полу-puella — фр. poule — девушка, лат. puella — девочка.

С. 371. RSVP — «Ответьте, пожалуйста», аббревиатура, используемая в конце письма или приглашения (от фр. Répondez s’il vous plaît).

эскритуар — секретарский стол, бюро (от лат. scriptorium).

геридон — круглый столик или подставка на одной ножке.

…ее Блемолопиями и Молоспермами. — Имеются в виду названия растений, которыми оперировала Ада: Blennosperma (от греч. «склизкое семя») и Monolopia (от греч. «одна кожица») из семейства сложноцветных (астровых).

С. 371–372. …правую руку, нарисованную на прозрачной вывеске, которую лишенное границ око философа <…> видит висящей в бесконечном пространстве; <…> с германской грацией плавно заходит за стеклянную вывеску и видит просвечивающую сквозь нее левую руку, — вот оно, решение! <…> размером с глаз Канта. — Набоков обращается к парадоксу, изложенному И. Кантом в § 13 трактата «Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука» (1783). Немецкий философ предлагает ответить на вопрос: почему две вещи, совершенно одинаковые во всех определениях величины и качества, не во всех случаях могут быть замещены одна другой? Он приводит пример из повседневной жизни: «Что может быть более подобно моей руке или моему уху и во всех отношениях равно им в большей мере, чем их изображения в зеркале? И тем не менее я не могу такую руку, какую видно в зеркале, поставить на место ее прообраза; действительно, если это была правая рука, то в зеркале будет левая, и изображение правого уха будет левым, и никогда оно не может его заместить. Здесь нет никаких внутренних различий, которые мог бы мыслить какой-нибудь рассудок; и все же эти различия внутренние, насколько учат чувства: несмотря на все свое равенство и подобие, левая и правая руки не могут быть заключены между одинаковыми границами (не могут быть конгруэнтны); перчатка одной руки не годится для другой. Каково же решение? Эти предметы не представления о вещах, каковы они сами по себе и какими бы их познавал чистый рассудок, а чувственные созерцания, т. е. явления, возможность которых основывается на отношении некоторых самих по себе неизвестных вещей к чему-то другому, а именно к нашей чувственности. <…> пространство есть форма внешнего созерцания, а внутреннее определение всякого пространства возможно только благодаря определению [его] внешнего отношения ко всему пространству, частью которого будет каждое отдельное пространство (частью отношения к внешнему чувству), т. е. часть возможна только благодаря целому, а это имеет место у одних только явлений, а никак не у вещей самих по себе как предметов чистого рассудка. Поэтому мы не можем объяснить различие подобных и равных, но тем не менее неконгруэнтных вещей (например, раковин улиток с противоположными по направлению извилинами) никаким одним понятием; это различие можно объяснить только с помощью отношения к правой и левой руке, которое непосредственно касается созерцания» (Кант И. Трактаты. М.: Наука, 1996. С. 175. Пер. В. Соловьева. Курсив мой).

Решение кантовского парадокса Набоков позаимствовал в книге американского математика, популяризатора науки Мартина Гарднера (Gardner, 1914–2010) «Амбидекстровая вселенная» («The Ambidextrous Universe», 1964; в русском переводе — «Этот правый, левый мир»), уделившего ему много внимания. «Представьте себе Флатландию, — писал Гарднер, — расположенную на вертикальном листе стекла посреди комнаты. Когда вы смотрите на нее с одной стороны, это левый мир. Обойдите стекло кругом, и вы увидите правый мир» (Гарднер М. Этот правый, левый мир. М., 1967. С. 162). Обращение к книге Гарднера — оммаж Набокова в ответ на приведенные в ней строчки из поэмы

«Бледный огонь», составной части одноименного романа Набокова. Процитировав поэму, Гарднер не упомянул Набокова, указав лишь имя «автора» поэмы Джона Шейда. Набоков ответил на это зеркально: Джон Шейд упоминается в «Аде» как реальный современный поэт, стихи которого приводит «вымышленный философ Мартин Гардинер» (Gardiner), причем (в Ч. 4 романа) Набоков сообщает название книги Гарднера и страницу, на которой ученый цитирует его поэму.

…лишенное границ око философа, облупленное, сваренное вкрутую яйцо… — Сравнение из бунинского рассказа «Господин из Сан-Франциско» (1915): «<…> напивались ликерами в баре, где служили негры в красных камзолах, с белка́ми, похожими на облупленные крутые яйца» (Бунин И. А. Собр. соч.: В 11 т. Т. V. С. 11).

Образ лишенного границ глаза Набоков развил в стихотворении «Око» (1939): «К одному исполинскому оку, / без лица, без чела и без век, / без телесного марева сбоку / наконец-то сведен человек. <…> Дело в том, что исчезла граница / между вечностью и веществом, / и на что неземная зеница, / если вензеля нет ни на чем?» (Набоков В. Стихи. С. 264). Эти стихи, вполне возможно, были навеяны известным рисунком французского живописца и графика Одилона Редона (1840–1916) «Глаз как причудливый воздушный шар устремляется в бесконечность» (1882): огромный глаз, в виде воздушного шара поднимающийся в небо. Схожая образность повторяется и в рассуждениях вымышленного философа Делаланда в пятой главе «Дара»: «Наиболее доступный для наших домоседных чувств образ будущего постижения окрестности, долженствующей раскрыться нам по распаде тела, это — освобождение духа из глазниц плоти и превращение наше в одно свободное сплошное око, зараз видящее все стороны света, или, иначе говоря: сверхчувственное прозрение мира при нашем внутреннем участии» (Набоков В. Дар. Второе, испр. изд. Анн Арбор: Ардис, 1975. С. 347).

С. 372. Вильявисьоса — муниципалитет в испанской провинции Астурия; подразумевается исп. vicioso — порочный, развратный.

…я не знала, куда деться, вы-то с Адой отлично знали, а в моем случае particule еще сберегалась в трогательной чистоте. — В оригинале обыгрывается английское выражение «left to one’s own devices» (предоставить самому себе), в котором у последнего слова отнимается «de», что образует слово «vices» (пороки), в результате чего выражение приобретает значение: предоставить собственным порокам. Сочиненный нами каламбур менее остроумен и подразумевает отнятие только первой буквы, которая, впрочем, во французском языке тоже используется как particule (фамильная приставка).

Ты все <…> нащупывал маленький орган, оказавшийся податливым бугорком на палисандре, скрытой под сукном пружинкой… — Ср. описание карточного столика в «Других берегах»: «Заклинать и оживлять былое я научился Бог весть в какие ранние годы — еще тогда, когда, в сущности, никакого былого и не было. Эта страстная энергия памяти не лишена, мне кажется, патологической подоплеки — уж чересчур ярко воспроизводятся в наполненном солнцем мозгу разноцветные стекла веранды, и гонг, зовущий к завтраку, и то, что всегда тронешь,

проходя, пружинистое круглое место в голубом сукне карточного столика, которое при нажатии большого пальца с приятной спазмой мгновенно выгоняет тайный ящичек, где лежат красные и зеленые фишки и какой-то ключик, отделенный навеки от всеми забытого, может быть и тогда уже не существовавшего замка́» (ДБ, 80).

С. 374. une rousse <…> une brune — рыжей… брюнеткой.

vanouissements — от фр. évanouissements — обмороки (каламбур с именем Вана).

С. 375. кампофон — шутливое «телефон для связи с кампусом» (от «кампус» — университетский городок).

L’adorée <…> la durée — Обожаемая… длительность. Длительность — ключевое понятие теории времени и сознания французского философа Анри Бергсона (1859–1941), которое будет рассмотрено в Ч. 4 романа.

dorée — золотистая (фр.).

С. 376. dans ton petit cas — в твоем маленьком случае (фр.).

«Состояние» — один из синонимов к слову «положение» <…> «Mankind» — «человечество» по-английски, но также и «мужской пол»! <…> Лоуден недавно перевел название дешевого романа malheureux Помпье «La Condition Humaine»… — Роман французского писателя Андре Мальро (Malraux, 1901–1976) «Удел человеческий» (букв. состояние человека, 1933) о неудавшемся коммунистическом восстании в Шанхае был переведен на английский в 1934 г. сначала под названием «Man’s Fate» («Судьба человека», но возможно прочтение и как «Судьба мужчины»), а затем как «Man’s Estate» (букв. мужское имущество, положение), что звучит дурным каламбуром, поскольку напоминает фразеологизм man’s estate — возмужалость (ни Лоуэлл, ни Оден к этим переводам не причастны). «Malheureux» (здесь: злополучный) обыгрывает фамилию писателя (которая превращается в «Помпье» — от фр. pompier — помпезный художник) и относит его сочинение к той же невысокой категории, к какой в «Аде» принадлежит книга Сегюр о злоключениях Софи.

…термин «Вандемонианец» снабжен следующим вздорным пояснением: «Koulak tasmanien d’origine hollandaise». — «Тасманский кулак голландского происхождения» комичным образом переносит в этом французском определении русского кулака на остров Тасмания. На самом деле вандемонианец это житель Тасмании, изначально носившей название Земля Ван-Димена (по имени генерал-губернатора голландских колоний в Ост-Индии).

Маленький коралловый желудь, glandulella весталок Древнего Рима? — Набоков использует название «желудевой моли» glandulella, образованное, по-видимому, от лат. glans (желудь, анат. головка) и уменьшительного glandula (железа) с дополнительным уменьшительным окончанием. Девственность Люсетты, мечтающей отдаться Вану, наводит его на мысль о девственницах-весталках, которые в Древнем Риме совершали обряд поклонения фасцину (фаллосу).

С. 377. Я не владею искусством размерять свои вздохи. — Слова из уже процитированной записки Гамлета к Офелии (пер. А. Кронеберга).

С. 378. …прощай, твой навсегда <…> «Пока этот механизм ему принадлежит» <…> «Гамлет»… — Окончание той же записки: «Прощай. Твой навсегда, дражайшая дева, пока этот механизм ему принадлежит. Гамлет» (пер. М. Лозинского). Мы используем те русские переводы «Гамлета», которые точнее передают значение английских фраз и лучше соответствуют контексту этой главы «Ады».

С. 379. c’est dans la famille — это семейное (фр.). Намек на роман Марины с актером Педро.

С. 380. …извлечь второе отродье… — В оригинале англ. brat (отродье, надоедливый ребенок) в контексте «Ады» обыгрывает русское «брат».

Он мог бы сыграть безъязыкого евнуха в фильме “Стамбул, мой буль-буль”… — Автоаллюзия: в Ч. II, гл. 26 «Лолиты» Гумберт листает подшивку «Брайсландского вестника» и натыкается на след Куильти: «“Вино, вино, вино”, изрек автор “Темного возраста”, который не разрешил нашему фотографу снять его, подходит, может быть, персидскому буль-булю, но я всегда говорю, что дождь, дождь, дождь, стучащий по гонтовой крыше, лучший друг роз и вдохновения» (Набоков В. Лолита. С. 436). В оригинале «Лолиты» «a Persian bubble bird» — т. е. птица бюльбюль из отряда воробьинообразных, название которой происходит от звукоподражания ее пению. В арабском и персидском языках словом «бюльбюль» называют соловья и других сладкоголосых птиц, в переносном значении — певцов. Ирония Вана заключается в том, что бюльбюль считается птицей влюбленных (как соловей) и что название постановки, в которой мог бы сыграть Джонни, лишившийся дара речи, подразумевает ее музыкальный жанр. Трудно представить себе более незавидную роль в музыкальной картине о влюбленных, чем роль немого евнуха. Стамбул упомянут, по-видимому, оттого, что в этом городе, во дворце Топкапы, во время Османской империи располагался гарем турецкого султана.

С. 381. Какой выстрел, Адиана! — Ада совмещена с Дианой, богиней растительного мира, охоты и женственности в римской мифологии.

…любимый Ванов роман «Изменчивые грани»… — Как проницательно предположил Бойд, речь идет о романе Аллена Роб-Грийе (1922–2008) с двусмысленным названием «La jalousie» (1957) — «Ревность» или «Жалюзи», в котором ревнивый безымянный рассказчик, подозревая, что у его жены любовная интрига с соседом, шпионит за ней через оконные жалюзи их дома. Набоков высоко отзывался о Роб-Грийе и дважды встречался с ним в 1959 г. (ВНАГ, 474–475). Догадку Бойда поддерживает и французский перевод «Ады», из которого следует, что оригинал романа «The Slat Sign» был написан по-французски: «L’enseigne changeante» («Меняющаяся вывеска»).

Вместе с тем Набоков, на наш взгляд, мог иметь в виду собственный роман «Бледный огонь» (1962): специальный термин «slat sign» используется для названия вывесок, в которых ряд тонких пластин

окрашен таким образом, что в зависимости от угла зрения видны разные изображения или сообщения. Название вымышленного романа очень близко столь же емкому «Pale Fire» (два слова по четыре буквы в каждом), в котором Ч. Кинбот ревниво следит за Шейдом из окна соседнего дома и в котором одним из главных оказывается вопрос угла зрения на происходящее (подр. см. Бойд Б. «Бледный огонь» Владимира Набокова. Волшебство художественного открытия / Пер. С. Швабрина. СПб., 2015). Кинбот в комментарии к поэме приводит отвергнутые Шейдом строки, в которых заметна связь между жалюзи и «slat sign»: «Through slatted blinds the stripes of colored light <…>» («Сквозь пластинчатые жалюзи полосы цветного света <…>», БО, 271). Это место напоминает стихотворение Набокова «The Room» («Комната», 1950), в котором жалюзи пропускают свет «кровоточащей вывески магазина». Еще заметнее связь «slat sign» с «pale fire» в сценарии «Лолиты» (1974): «Humbert <…> traversed by pale strips of moonlight coming through the slits in the blinds» («Гумберт <…> пересеченный бледными полосами лунного света, проникающего сквозь щели жалюзи». Набоков В. Лолита. Сценарий / Пер., предисл., примеч. А. Бабикова. СПб., 2010. С. 130). Здесь уже есть и «бледный», и «лунный свет», и «жалюзи». Само название «Бледный огонь» взято из следующего места «Тимона Афинского» Шекспира: «Луна — отъявленная воровка, / И свой бледный огонь она крадет у солнца». В мире Антитерры Джон Шейд реальное лицо, в Ч. 5 романа Ада займется переводом его поэмы на русский и французский языки. Если Набоков предполагал увести читателя к теме слежки и ревности в романе Роб-Грийе и обнаружить ее отголоски (вероятно, умышленные) в «Бледном огне», то это ему удалось.

bergères и torchères — глубокие кресла и напольные светильники.

à l’Américaine — по-американски (фр.).

С. 382. Портрет Владимира Христиана Датского <…> Сустерманса… — Фламандский художник Юстус Сустерманс (1597–1681) создал портрет Вальдемара Христиана Датского (1622–1656), сына короля Христиана IV от морганатического брака. Русское имя, которым он здесь назван, призвано, вероятно, напомнить о неудачном сватовстве Вальдемара Христиана к вел. кн. Ирине, дочери Михаила Федоровича Романова: приехав с этой целью в Москву в 1643 г., Вальдемар Христиан отказался принять православие, в результате чего свадьба не состоялась. До августа 1645 г. он оставался пленником государя и смог вернуться в Данию только после смерти Михаила Федоровича (Филина Е. И. Влияние придворной политической борьбы на духовное состояние русского общества начала 40-х годов XVII в. (Прения о вере, возникшие по делу королевича Вальдемара и царевны Ирины Михайловны) // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 12 / Ответ. ред. Д. С. Менделеева. М., 2005. С. 747–759).

…rovesciata латиноамериканского футболиста. — В футболе так называется «удар “ножницами”» в падении, при котором игрок бьет по летящему на уровне его головы мячу через себя (ит.). Считается, что он был впервые применен бразильским футболистом Леонидасом да Силва.

fameux — известный (фр.).

…русский адмирал, дравшийся на épée дуэли с Жаном Нико <…> его именем названы острова Тобаго или Тобакофф… — Ирония в этой прихотливой смеси вымысла и фактов состоит в том, что человек с именем, похожим на «табак», дрался на шпагах (фр. épée) с человеком, в честь которого названо вещество никотин. Жан Нико (1530–1604) — французский дипломат и ученый, впервые привезший табак из Португалии во Францию. Тобаго (предположительно от исп. tabaco — табак) — открытый Колумбом остров в Атлантическом океане, к северо-востоку от о. Тринидад, вместе с которым входит в состав государства Тринидад и Тобаго.

С. 383. “Гадкий янки” — аллюзия на популярный политический роман Ю. Л. Бердика и У. Дж. Ледерера «The Ugly American» («Гадкий американец», 1958; киноверсия 1963). Во французском переводе «Ады» книга названа «Le Bruyant Bostonien» («Шумный бостонец») с аллюзией на «Тихого американца» (1955) английского писателя Грэма Грина.

Пионеры против Пиогенов — ироничный намек на политизированную детскую пионерскую организацию СССР в свете западного скаутского движения. Основу скаутского движения заложил канадский писатель, художник и общественный деятель Э. Сетон-Томпсон, в начале XX в. разработавший свою воспитательную систему для детей «Пионеринг», названную им в честь приключенческого романа американского писателя Ф. Купера (1789–1851) «Пионеры, или У истоков Саскуиханны» (1823). Пиоген — вид бактерий рода стрептококков.

Герод <…> небрежно ответил Ван. — Грубоватый современник римского ученого Юстина. — Одна из ловушек «Ады»: древнегреческий поэт III в. до н. э. Герод, автор мимиямбов (короткие импровизированные бытовые сценки часто фривольного характера), не может быть назван современником историка Марка Юниана Юстина, жившего во II–III вв. нашей эры.

С. 384. …«распиской в безумии» или «покаянной рутой»… — Сошедшая с ума Офелия к Лаэрту (Акт IV, сц. 5): «вот рута для вас; и для меня тоже; ее зовут травой благодати» (пер. М. Лозинского). В письме Ады обыграны значения англ. rue — сожаление, раскаяние; рута (душистая).

…отвергнешь деву у твоего окна <…> в штате Валентина. — Намек на песню Офелии (Акт IV, сц. 5): «Заутра Валентинов день, / И с утренним лучом / Я Валентиною твоей / Жду под твоим окном» (пер. М. Лозинского). Аризона получила права штата в Валентинов день (День всех влюбленных) 14 февраля 1912 г.

С. 385. quatre à quatre — через несколько ступенек (фр.).

Le château que baignait le Dorophone. — Замок, который омывает Дорофон (фр.).

С. 388. глаголь — старое название виселицы.

гризайль — вид декоративной живописи, выполняемой в разных оттенках какого-либо одного цвета, чаще серого.

…сводилось к трем словам по-английски, к двум по-русски и к полутора по-итальянски… — I love you; люблю тебя; t’amo.

…буйной игре «eagre» (приливного вала в устье реки)… — Как «brat» в предыдущей главе и фр. ébats в конце этой, здесь созвучное с русским иноязычное слово придает фразе дополнительную семантическую окраску («игра стихии»).

С. 390. …из меха калана <…> «lutromarina», «мой природный мех», как Марина с удовольствием отзывалась о своей дохе… — В названии, образованном от loutre de mer, loutre marine (калан или морская выдра), анаграмматически зашифровано «ультрамарин»; в словах Марины о природном мехе — намек на ее «морскую» природу.

С. 391. tendresse — нежность (фр.).

С. 392. «Пеннсильвестрис» — от лат. Pinus silvestris (сосна обыкновенная), с намеком на англ. pencil (карандаш) и пенис.

С. 393. …метко прозванная <…> «златогубкой» (такая бабочка)… — В оригинале «Swallowtail» (букв. «ласточкин хвост»), английское название бабочек из семейства парусников или кавалеров, в котором усматривается намек на Ардис (поскольку одно из значений «swallowtail» — наконечник стрелы с оперением); с учетом намека на фелляцию в этом предложении, прозвище, кроме того, прочитывается как «swallow (глотать) tail («конец» в переносном смысле)». В нашей версии мы исходили из существующих названий бабочек златогузок и златоглазок.

…гекатовым диагнозом… — Геката в греческой мифологии богиня мрака, ночных видений и чародейства, которая помогает покинутым возлюбленным (помогала Медее добиться любви Ясона).

альмеи — танцовщицы и певицы, развлекавшие в гаремах женщин богатых и знатных господ в арабском Египте.

С. 394. «N’exagérons pas, tu sais» — «Не стоит преувеличивать, знаешь ли» (фр.).

pas petite moi — а не малышка я (фр.).

Штрасбург. — Название расположенного у границы с Германией французского города Страсбург (Strasbourg) в оригинале дано как Strassburg, близко к его немецкому произношению (Straßburg), что, вероятно, должно указывать на его принадлежность Германии в мире «Ады».

ébats… à la Russe — забав… на русский манер (фр.).

С. 395. viola sordina — ит. виола (альт) с сурдиной (приспособлением для снижения громкости и изменения тембра).

pour tous les cernés — для всех кругов.

С. 397. …большая цепь вокруг ствола редкого дуба, Quercus ruslan Chât.… — Набоков пояснил Б. Мэйсон: «Видовое название этого вымышленного дерева отсылает к началу поэмы Пушкина “Руслан и Людмила” (1820), где имеется кот (“chat” по-французски), гуляющий по золотой цепи вокруг сказочного дуба. Предполагается, что дуб в “Аде” был описан ботаником по имени Châtel (или Châtelet, или Château-Lafite), сокращенный до “Chât.” после видового “ruslan”. Искаженная тень Шатобриана не должна помешать вспышке узнавания: Руслан — дуб — кот» (Mason B. A. Nabokov’s Garden: A Guide to Ada. P. 177).

С. 398. крест и тень ветвей над могилой — парафраз слов Татьяны в гл. 8 «Евгения Онегина»: «Сейчас отдать я рада / Всю эту ветошь маскарада, / Весь этот блеск, и шум, и чад / За полку книг, за дикий сад, / За наше бедное жилище, / За те места, где в первый раз, / Онегин, видела я вас, / Да за смиренное кладбище, / Где нынче крест и тень ветвей / Над бедной нянею моей…»

С. 399. Две огромные павлиноглазки <…> Марко д’Андреа <…> Доменико Бенчи <…> Джиованни дель Брина <…> чье имя я назвать не смею (поскольку это Люсеттин научный вклад <…> точно изобразить их среди <…> насекомых на одной из сторон фенестральной ниши в <…> «Зале Четырех Стихий» Палаццо Веккьо. — Под первым художником подразумевается Марко д’Андреа Маркетти, известный как Марко да Фаэнца (ок. 1528–1588). Согласно изысканиям Д. Циммера, все упомянутые итальянские художники занимались оформлением флорентийского Палаццо Веккьо под руководством Джорджо Вазари, но участие двух последних было незначительным, и они не привлекались для украшения оконных ниш. На втором этаже дворца, в одной из оконных ниш «Зала Четырех Стихий», действительно имеется рисунок двух павлиноглазок (самца и самки) кисти Марко Маркетти. Циммер полагает, что открытие Люссеты могло состоять в установлении ведущей роли четвертого художника, Кристофано Герарди (1508–1556), главного помощника и друга Вазари, работавшего в Палаццо Веккьо (Zimmer D. E. A Guide to Nabokov’s Butterflies and Moths. Hamburg, 2001. P. 54–57). Во французском переводе романа, по-видимому, ошибочно: Марио д’Андреа.

С. 400. карункула — небольшое мясистое возвышение ткани, чаще всего красного цвета.

С. 401. кимбо — от англ. akimbo (подбоченясь, руки в боки). Намек на Кима Богарне, как и ниже в «кимере».

орхидея-сатирион. — Сатирионами называли любую разновидность европейских орхидей, имеющих клубневидные корни, которые использовали либо для усиления, либо для подавления полового влечения, в зависимости от вида или состояния корня (отсюда название).

кимера — от англ. chimera (химера).

…одетого в байронку (рубашку с открытым воротом)… — «Байронка» (по фамилии Дж. Г. Байрона) образована по типу «толстовки», широкой блузы с поясом, названной по фамилии Льва Толстого, носившего блузу

такого кроя.

С. 402. …“Полосатая Кошка” старика Бекстейна <…> “Любовью под Липами” некоего Ильманна, перетащенной на английский Томасом Гладстоуном, который <…> служит в конторе “Паковщиков и Портер”… — В этом месте обыгрываются имена и произведения трех чуждых Набокову писателей, трех лауреатов Нобелевской премии по литературе. Примеч. Дамор-Блока подсказывает, что в имени первого автора следует переставить слоги: имеется в виду Джон Стейнбек и, по всей вероятности, его очерки «Путешествие с Чарли в поисках Америки» (1962), в которых он описал свою автомобильную поездку по Америке с французским пуделем Чарли (по-видимому, игра строится на том, что собака из оригинального названия превращена в кошку). В отношении двух других авторов Дамор-Блок сообщает, что здесь смешаны Юджин О’Нил (1888–1953), Томас Манн (1875–1955) и его переводчик. В «Лолите» (Ч. II, гл. 20) упоминается пьеса «Любовь под Ильмами», прозрачный намек на трагедию О’Нила «Любовь под вязами» («Desire Under the Elms», 1924). В «Аде» Набоков значительно усложняет аллюзию: вымышленный Ильманн (от англ. elm — вяз, ильм) намекает на Т. Манна, в романе которого «Волшебная гора» (опубликованном в том же 1924 г.) песня Франца Шуберта «Der Lindenbaum» («Липа») из вокального цикла «Зимний путь» — одна из любимых у главного героя. Облегчая дешифровку, Набоков наделяет вымышленного переводчика Гладстоуна именем писателя, причем «Портер» в названии фирмы не оставляет сомнений в том, что здесь кроется указание на английскую переводчицу немецкого писателя Хелен Трейси Лоу-Портер (H. T. Lowe-Porter, дама превращена в господина), которая перевела в том числе и «Волшебную гору». Несмотря на то что Лоу-Портер многие годы была официальным переводчиком Манна, ее вольные переложения не могли отвечать его принципам: 9 августа 1926 г. Манн писал ей, что перевод должен быть настолько буквальным и точным, насколько позволяет иностранный язык; Лоу-Портер, однако, полагала, что задача переводчика состоит в том, чтобы передать дух и только затем букву оригинала (Buck T. Mann in English // The Cambridge Companion to Thomas Mann / Ed. by R. Robertson. Cambridge University Press, 2002. P. 235). Превратив Лоу-Портер в Гладстоуна (Гладстон — второе имя О’Нила), Набоков уподобляет перевод переноске вещей — одно из значений англ. porter — носильщик, грузчик, в то время как англ. gladstone означает «кожаный саквояж» (от имени английского премьер-министра Уильяма Гладстоуна). Прямое сравнение перевода с переноской багажа содержится и в последней главе «Ады». «Лоу» (Lowe) в фамилии переводчицы и «стоун» в Гладстоун, кроме того, возвращают к Стоунлоуэру (Stonelower), упомянутому в 1 гл. романа, который начинается темой дурных английских переводов.

…“автомобиль” переводится как “фургон”… — т. е. нем. der Wagen (автомобиль) переводится на английский как «wagon» (повозка, фургон, пикап).

…с тремя топорными То́мами!» — Подразумеваются, по-видимому, Т. Манн, Т. С. Элиот и американский писатель Т. Вулф (1900–1938).

С. 403. …к каникулярным чертям… — обыгрывается выражение «к чертям собачьим»: в Древнем Риме период летней жары называли «dies

caniculares», букв. «собачьи дни».

…Кароль (или Карапарс) Кролик. Кандидат наук, родился в Турции». — Линия к гл. 38: «Прошу всех отметить, — сказала Ада, — насколько voulu была эта оговорка! Признаться, мне нравится выкурить папиросу, когда хожу по грибы, но когда я возвращаюсь, этот ужасный насмешник принимается твердить, что от меня несет влюбленным турком или албанцем, повстречавшимся мне в лесу». Карапарс — реальная турецкая фамилия; в следующей главе будет упомянут «Турок Тигр».

С. 404. аргиннинариум — от Argynninae, латинского названия бабочек перламутровок из семейства нимфалид.

остров Виктора — намекает на о. Виктория в составе Канадского Арктического архипелага.

виолариум — место выращивания фиалок.

Прайс, Норрис и Уорд — персонажи романа Д. Остин «Мэнсфилд-парк».

С. 405. …названной в шотландских уложениях (с тех пор, как колдовство попало под запрет) «Владыкой Эрекции». — «Господин возведения» или титуляр («the Lord of Erection») не имеет отношения к грибам, в период Реформации так в Шотландии называли владельца или настоятеля светского владения, созданного из церковного бенефиса путем секуляризации.

С. 406. my foute! — См. примеч. Дамор-Блока. Созвучно с англ. my foot! — чушь! нонсенс! так я и поверил!

Carte du Tendre — «Карта Страны Нежности» («Carte de Tendre» или «Carte du pays du Tendre»), карта воображаемой земли, которая была включена в первый том романа французской писательницы Мадлены де Скюдери (1607–1701) «Клелия, римская история» (1654–1660). В романе анализ любовного чувства облекается в форму аллегорической топографии, «создание карты по сюжету романа Скюдери связано с разговором, во время которого галантная римлянка Клелия объясняет своим слушателям, “как далеко от Новообретенной Дружбы до Нежности”» (Голубков А. В. У истоков прециозности: французская галантная топография 1650-х гг. // Вестник КГУ. 2016. № 6. С. 51).

Набоков, однако, мог подразумевать в этом упоминании не столько классический источник, сколько роман французского писателя, переводчика, издателя и искусствоведа Андре Бея (1916–2013) «La Carte du Tendre» (1959), в котором сочинение Скюдери служит объектом пародии. Бей повествует о поездке журналиста Антуана в Америку, его любовных приключениях и разлуке с женой, причем сама Америка в романе предстает в образе женщины, объекта желания (Pinçonnat C. New York, Mythe Littéraire Français. Librairie Droz S. A., 2001. P. 97–100).

В примеч. Дамор-Блока название дано по-английски как «Map of Tender Love» («Карта Нежной Любви»); правильный перевод: «The Map of Tendre», поскольку «Tendre» в романе Скюдери представляет собой имя

собственное.

«“В тот замок плещется Адур: / Рекомендуем этот тур”». — Ван иронично «цитирует» путеводитель. В оригинале: «“The castle bathed by the Adour: / The guidebooks recommend that tour”» («Замок омывает Адур: / Путеводители рекомендуют этот тур»). Адур — река на юго-западе Франции, впадающая в Бискайский залив.

С. 408. «Gwen de Vere» и «Клара Мертваго» совмещают уже упомянутое стихотворение Теннисона «Леди Клара Вер-де-Вер» с Ларой из «Доктора Живаго» и с филь де жуа Гвен из гл. 2 этой части романа. «Gwen de Vere», кроме того, напоминает о легендарной королеве Гвиневре (Guinevere), жене короля Артура, в которую был влюблен Ланселот. Первоначальная валлийская форма ее имени Gwenhwyfar, первая часть которого (gwen — белая, светлая) стала самостоятельным именем Гвен.

С. 409. …«Урсус», лучший франко-эстотийский ресторан… — Отсылка к известному до революции петербургскому ресторану «Медведь» (лат. ursus). Н. Берберова вспоминала, что Набоков в Париже перед войной пригласил ее «завтракать в русский ресторан, и мы ели блины и радовались жизни и друг другу, точнее: я радовалась ему, а он может быть радовался мне, хотя зачем было приглашать меня в “Медведь”, если он мне не радовался?» (Берберова Н. Н. Курсив мой. М.: Согласие, 2001. С. 376). Этот ресторан, по мнению Берберовой, превратился в «Аде» в ночное кабаре.

Банф — город в Шотландии и город-курорт в канадской провинции Альберта.

С. 410. рамсейка — возможно, от названия известного своей лепидоптерой каньона Рамси (Ramsey) в Аризоне, в окрестностях которого Набоков ловил бабочек. Если так, то подсказка кроется ниже в строке «А ночь в каньоне лунная!».

С. 411. Сіяла ночь… — начало романса «Тебя любить, обнять и плакать над тобой» (муз. Н. Ширяева на стихи А. А. Фета «Сияла ночь; луной был полон сад…», 1877). Перевод Набокова: «A radiant night, a moon-filled garden. Beams / Lay at our feet. The drawing room, unlit; / Wide open, the grand piano; and our hearts / Throbbed to your song, as throbbed the strings in it». В оригинале стихи, звучащие в этой сцене, представлены в английских переводах Набокова (исходный русский текст не приводится); в основном точные и поэтичные, переводы перемежаются искаженными версиями, изменения в которых отвечают общим мотивам географических, исторических и культурных расхождений между Землей и Антитеррой в романе. Только две строки приводятся далее в этой главе по-русски (латиницей) — из романсов «Уж гасли в комнатах огни» и «Сомнение».

Уймитесь, волненія страсти! — Начальная строка романса «Сомнение» (муз. М. И. Глинки, стихи Н. В. Кукольника «Английский романс», 1838). Перевод Набокова: «Subside, agitation of passion!»

«Забыты нѣжныя лобзанья…» — одноименный цыганский романс (слова и муз. А. В. Ленина, ок. 1901). Перевод Набокова: «The tender kisses

are forgotten…»

«То было раннею весной…» — начальные строки романса (1878) П. И. Чайковского на слова А. К. Толстого («То было раннею весной…», 1871). Перевод Набокова: «The time was early in the spring, / The grass was barely sprouting…»

«Много пѣсенъ слыхалъ я въ родной сторонѣ…» — начало «Дубинушки», революционной песни 1860–1870-х гг., получившей известность в вариантах В. И. Богданова и А. А. Ольхина, использовавших слова народных песен. Перевод Набокова: «Many songs have I heard in the land of my birth: / Some in sorrow were sung, some in gladness…»

…и притворно-народническую <…> Есть на Волгѣ утесъ… — начальные строки песни «Утес Стеньки Разина» (1870), стихи Н. А. Вроцкого (псевд. А. А. Навроцкого), музыка А. Рашевской. Песня была популярна в среде студенческой молодежи и революционеров-народников, использовалась в агитационных целях во второй период «Хождения в народ». Перевод Набокова: «There’s a crag on the Ross, overgrown with wild moss / On all sides, from the lowest to highest…» (волжский утес заменен на графство Росс-и-Кромарти, расположенное в гористой местности на севере Шотландии; обыграно созвучие с Россией).

Однозвучно гремитъ колокольчикъ… — романс середины XIX в. на стихи И. Макарова, муз. А. Гурилева. Перевод Набокова: «In a monotone tinkles the yoke-bell, / And the roadway is dusting a bit…»

С. 412. Надежда, я вернусь тогда… — Появление «Сентиментального марша» (1957) Б. Окуджавы среди старых русских песен и романсов — еще один анахронизм романа и ловушка для англоязычного читателя, которому в конце 60-х гг. было бы трудно атрибутировать эти строки. Сама мысль включить стихи современного советского поэта в репертуар исполнителя классических романсов объясняется, по-видимому, тем, что «Марш» обращен к прошлому, имеет песенный характер и был известен Набокову как «Сентиментальный романс» (курсив мой), поскольку во время работы над «Адой» стихи были опубликованы под таким заглавием (Окуджава Б. Будь здоров, школяр [повесть]. Стихи / Под ред., вступ. ст. Н. Тарасовой. Франкфурт: Посев, 1966. С. 106).

В оригинале строкам Окуджавы предшествует замечание: «И эта незаметно [или мрачно] искаженная солдатская песенка» (во французском переводе: «И эта старая солдатская песня, в которой дышит такой уникальный гений»).

Переложение Набокова («Nadezhda, I shall then be back / When the true batch outboys the riot…») разбивает начальную строку «Марша» («Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет») на две и представляет собой соединение собственно перевода со звукоподражательной конструкцией, передающей русское звучание, но не содержание второй части строки Окуджавы (от чего Набоков позднее отказался во французском переводе «Ады»): слова «true batch» созвучны слову «трубач», а «outboys the riot» — словам «отбой сыграет». Искаженные фонетическим подражанием строки поддаются лишь

приблизительному толкованию: «Надежда, я вернусь тогда, когда настоящая группа [солдат] храбро даст отпор (если принять неологизм outboys за намек на глагол outbraves) мятежу». Заключительная мысль о возможности возвращения на родину в целом отвечает эмигрантским взглядам Набокова на события 1917–1922 гг. и его отношению к большевицкой революции как к мятежу. Обращение («Надежда») он не переводит, отказавшись от собственного решения 1966 г. В неопубликованной заметке к своему полному переводу «Сентиментального марша» (под названием «A Sentimental Ballad») он пояснил, что английское «hope» не подходит для «непроизносимого по-английски» слова «надежда» и что он подобрал для него (итальянское) слово «speranza», которое попадает в размер («Speranza, I'll be coming back / The day the bugler sounds retreat…»). Заметка Набокова и его перевод «Марша» были опубликованы в издании: Verses and Versions. Three Centuries of Russian Poetry Selected and Translated by Vladimir Nabokov / Ed. by B. Boyd and S. Shvabrin. Introd. by B. Boyd. N. Y. et al.: Harcourt, 2008. P. 359–365.

И единственное памятное стихотворение Тургенева <…> Утро туманное, утро сѣдое… — самое известное стихотворение И. С. Тургенева «В дороге» (1843), неоднократно положенное на музыку разными композиторами (наибольшую известность получил романс на музыку В. Абаза). Перевод Набокова: «Morning so nebulous, morning gray-dawning, / Reaped fields so sorrowful under snow coverings…»

…псевдоцыганскую гитарную пьесу Аполлона Григорьева <…> О, говори хоть ты со мной… — начало романса на стихи А. А. Григорьева (1822–1864) «О, говори хоть ты со мной…» (1857). Перевод Набокова: «O you, at least, do talk to me, / My seven-stringed companion, / Such yearning ache invades my soul, / Such moonlight fills the canyon!» («О, говори хоть ты со мной, / Мой семиструнный спутник, / Такая тоска проникает мне в душу, / Такой лунный свет наполняет каньон!»).

С. 413. «Уж гасли в комнатах огни», «благоухающие розы» — романс на стихи К. Романова, муз. П. И. Чайковского (1887). Свой частичный английский перевод этих стихов Ван цитирует в Ч. 1, гл. 38.

С. 414. vessie — мочевой пузырь (фр.).

boudery — от фр. boudoir (будуар).

manger зал — salle à manger (столовая).

haut — приподнятый (фр.); здесь: в приподнятом настроении, навеселе.

эстансьеро — от исп. estanciero — крупный землевладелец.

С. 415. Chère-amie-fait-morata — каламбурная франко-итальянская фраза, в которой обыгрываются значения слова chère (еда, кушанье), chère amie (дорогая подруга) и ит. innamorata (возлюбленная). См. коммент. к с. 139.

С. 416. …в нуливерсуме… — В оригинале не имеющий русского словарного

эквивалента англ. термин nulliverse (от null — недействительный, пустой, фиктивный, сводящийся к нулю), возникший в середине XIX в., — мир, лишенный какого-либо объединяющего принципа или плана. Термин встречается в философских сочинениях Уильяма Джеймса, у последователей и переводчиков Э. Сведенборга.

…требовать благопристойности от дельфинетки! — Т. е. от единоутробной (младшей) сестры: «дельфин» происходит от греч. delphys (матка) и родственно греч. adelphos (брат, букв. «из той же утробы, соутробный»).

«Oh-de-grâce» — фр. grâce — благодать, прелесть, изящество. Переиначено название уже упоминавшихся духов «Eau de Grasse».

…Вайнлендер — первый русский, отведавший лабруску. — Виноград лабруска (Vitis labrusca) является родоначальником бóльшей части американских культурных сортов винограда. Фамилия Вайнлендера в «Аде» восходит к Винланду (Vinland — «Винная страна»), названию территории в Северной Америке, данному около 1000 г. исландским викингом Лейфом Эриксоном, сыном знаменитого Эрика Рыжего. В 1961–1968 гг. на о. Ньюфаундленд были проведены раскопки, обнаружившие археологические свидетельства раннего поселения викингов.

«МнѢ снится саПЕРникъ ЩАСТЛИИВОЙ!»… — строка из романса «Сомнение» («Мне снится соперник счастливый, / И тайно и злобно кипящая ревность пылает <…>»). В оригинале по-русски латиницей. Перевод Набокова: «I dream of a fortunate rival!»

С. 417. матриминимальное ложе обыгрывает матримониальное, т. е. брачное, ложе. В оригинале игра строится с англ. connubial bed (брачное ложе) и concubinage (внебрачное сожительство).

С. 418. teste — проверено (фр.).

Чародейка! Акразия! — В аллегорической поэме английского поэта Э. Спенсера (1552 или 1553–1599) «Королева фей» (опубл. 1590–1596) колдунья Акразия — соблазнительница рыцарей.

sensu largo — здесь: в широком смысле (в обычном латинском выражении «sensu lato» второе слово заменено на ит. largo — широкий).

vue d’oiseau — с высоты птичьего полета (фр.).

С. 419. Новый Роман (Le nouveau roman) — литературное течение во французской прозе 1940–1960-х гг., порвавшее с традициями романа бальзаковского типа. Отказавшись от принципа жизнеподобия, психологических мотивировок и обрисовки характеров, представители этого течения (в их числе А. Роб-Грийе) обратились к описанию обособленных моментов душевных состояний человека и предметов внешнего мира, ставя своей целью беспристрастное воссоздание анонимной, безликой, но общезначимой «субстанции» существования.

С. 420. …Грилло или Обьето, капризу или замыслу, Ober- или Unterart… — См. примеч. Дамор-Блока. Названные имена только кажутся реальными,

на самом деле они образованы от ит. grillo (каприз, прихоть) и obietto (цель, предмет).

…не просто кошка, а настоящий хорек <…> Perwitsky. — Обыграны названия двух мелких хищников — перевязки (Vormela peregusna), англ. perwitsky, представителя монотипического рода из семейства куньих, и схожего с ней степного хорька, с которым ее часто путают. Кроме того, в английском названии хорька (polecat) Набоков вскрывает его этимологию: pole (предположительно от старофранцузского poule — птица, наседка) и cat (кошка).

…caro Вана… — дорогой, милый, любимый (ит.), созвучно с «караван».

С. 421. …Верма <…> шерстяными червяками… — Подразумевается ит. verme (червь, гусеница).

Pour Elle <…> Poor L. — К французской подписи Люсетты (т. е. «Для нее», с подразумеваемым «Pauvre L.» — «Бедная Л.») Ван подбирает созвучное английское обращение («Бедная Л.»), обыгрывающее инициал ее имени.

С. 422. mon petit — моя маленькая.

Пардус (устар.) леопард, барс, лат. pardus — барс. Пардусы в греческой мифологии сопутствуют Вакху и запряжены в его колесницу.

…пегого Пега… — В оригинале «Peg» намекает на англ. Pegasus (Пегас) и русское «пег»; мы использовали каламбур из первой главы «Дара»: «При такой количественной скудости нужно мириться с тем, что наш пегас пег, что не все в дурном писателе дурно, а в добром не все добро» (Набоков В. Дар. С. 82).

зиккурат — в архитектуре Древней Месопотамии культовая ярусная башня.

С. 425. tableau vivant — живая картина (фр.), композиции, представляемые позирующими людьми в подражание известным художественным произведениям или воображаемым картинам и скульптурам.

…сыгравшая мисс Блестку Треугольникову в “Гимнастических кольцах”. — Странным образом это темное место соотносится с диалогом Вана и Ады в Ч. 1, гл. 8: «Подняв руки, липа тянулась к ветвям дуба, будто красотка в зеленом с блестками трико, летящая к своему сильному отцу, который висит вниз головой, захватив ногами трапецию».

«Bosh! [Чушь!]» <…> его тоже освистали наемные писаки-капюшонники в гораздо более старых Амстердамах… — Англ. устар. разг. bosh намекает на нидерландского художника И. Босха (ок. 1450–1516).

С. 426. et cetera — и так далее.

С. 427. doublage — последующее озвучивание (фр.).

Альтшулер — возможно, намек на врача И. Н. Альтшуллера (1870–1943), который лечил А. П. Чехова от туберкулеза и оставил о нем воспоминания, опубликованные в 1930 г. в парижском журнале «Современные записки». С Альтшуллером Набоков был знаком в Праге в 1932 г., о чем писал жене (см.: Набоков В. Письма к Вере. С. 190). Написание фамилии с одним «л» у Набокова, возможно, намекает на слово «шулер».

…в роли барона Николая Львовича Тузенбаха-Кроне-Альтшауера… — Во втором действии «Трех сестер»: «Тузенбах. У меня тройная фамилия. Меня зовут барон Тузенбах-Кроне-Альтшауер, но я русский, православный, как вы» (Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 13. С. 144).

la pauvre et noble enfant — благородное и чистое дитя (реминисценция строк из стихотворения Ф. Коппе в гл. 38).

«Ирина (рыдая). Куда? Куда все ушло? <…> как по-итальянски потолок или вот окно». — В оригинале точный перевод слов Ирины из «Трех сестер»; в пьесе она сначала говорит «окно», затем «потолок».

Басман-роуд — от англ. busman — водитель автобуса.

С. 428. Oh! qui me rendra ma colline / Et le grand chêne and my colleen! — Обыгрывается созвучие фр. colline (холм) с ирланд. colleen — девушка.

Пермь. — Чехов в письме к М. Горькому: «Ужасно трудно было писать “Трех сестер”. Ведь три героини, каждая должна быть на свой образец, и все три — генеральские дочки. Действие происходит в провинциальном городе, вроде Перми <…>» (Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 13. С. 427).

Пермацет — от спермацета, воскоподобного вещества, получаемого при охлаждении жидкого жира, который добывается из спермацетового мешка в голове кашалота.

Перманент вновь обыгрывает название Перми и намекает на неизменность обстоятельств мечтающих уехать в Москву сестер.

Москва (Айдахо) — в этом штате действительно есть город Moscow, центр округа Лейта.

…Tchechoff (как он писал свое имя, живя в том году в затрапезном Русском Пансионе, Ницца, улица Гуно, 9)… — В декабре 1900 г. Чехов, поселившись в Ницце в русском пансионе на улице Гуно, занимался переделкой III и IV актов «Трех сестер». Свой адрес он указывал следующим образом: «Nice, 9 Gounod, Tchechoff».

С. 429. балетмейстера Делягилева — обыгрывается имя знаменитого

русского антрепренера С. П. Дягилева (1872–1929).

С. 430. …Зара д’Лер <…> Заря en robe rose et verte, в конце первого действия». — Имя актрисы — усечение от фамилии Бодлера, на которого указывает цитата из его стихотворения «Сумерки утра» (сб. «Цветы зла»): «L’aurore grelotante en robe rose et verte» (в переводе В. Левика: «В наряде розовом и призрачно-зеленом / Заря <…>»). С. Ильин и А. Люксембург обратили внимание на то, что отсылка к Бодлеру в контексте «Трех сестер» вызвана тем, что невеста Прозорова Наташа в конце первого действия появляется в безвкусном «розовом платье с зеленым пояском».

С. 432. …покинул один Сантьяго, чтобы осмотреть последствия землетрясения в другом… — По-видимому, речь идет о столице Чили и о кубинском Сантьяго-де-Куба. Разрушительное землетрясение вблизи кубинского города произошло в августе 1852 г.; сильное землетрясение в районе Вальпараисо в августе 1906 г. частично разрушило чилийский Сантьяго; Великое чилийское землетрясение произошло в мае 1960 г.

…городка на севере Флориды, который мы называем Тентом, а матросы Тобакова, заложившие его, называли Палаткой… — Во Флориде есть город Палатка, однако его название происходит от слова из языка индейцев тимукуа pilotakata (переправа).

С. 434. баклер — маленький круглый щит.

С. 435. Бэк-Бей — дорогой район Бостона.

…фантастический грызун, сев на него верхом <…> Картина сейчас хранится в Венской академии изобразительных искусств». — Точное описание детали на переднем плане центральной панели триптиха И. Босха «Страшный суд» (1504 г., Венская академия изобразительных искусств).

С. 436. …триптиха <…> сада лукавых наслаждений, созданного около 1500 года <…> бабочек — самочку воловий глаз, в центре правой панели, и крапивницу в срединной панели… — Детали триптиха Босха «Сад земных наслаждений» (1500–1510).

…клубничины размером с женщину, которую ты обнимаешь вместе с ним… — На переднем плане центральной панели «Сада земных наслаждений» изображен человек, кусающий и обнимающий огромную клубничину.

С. 437. à trois — втроем.

волатина — возможно, от латинского названия птицы якарины из семейства овсянковых, единственного представителя рода Volatinia. Исп. volatin — канатный плясун, акробат.

драгонара — название дворца на мальтийском мысе, в пещерах которого, по легендам, жил дракон. В 1964 г. во дворце открылось казино, что, возможно, было известно Набокову и что напоминает о страсти Демона к азартным играм.

С. 438. Ерун Антонисон ван Акен — настоящее имя Босха.

…molti aspetti affascinanti <…> enigmatica arte… — эти слова («многие увлекательные стороны… загадочного искусства»), как заметила Дж. Бадер (Bader J. Crystal Land. Artifice in Nabokov's English Novels. Berkeley et al., 1972. P. 147), взяты из итальянской брошюры о Босхе (Bussagli M. Bosch. Firenze: Sadea, 1966. P. 3).

…которой он завещал <…> свой второй по качеству катетер. — Отсылка к Ч. II, гл. 9 «Улисса» Джойса, в начале которой цитируются строчки из неопубликованного скабрезного стихотворения Оливера Гогарти «Медик Дик и медик Дэви»: «Сперва ее облапил, / Потом ее огладил, / А после взял и вдруг / Катетер ей приладил» (пер. В. Хинкиса и С. Хоружего). Далее в этой главе обсуждается завещание Шекспира и его знаменитое решение оставить жене вторую по качеству кровать. В своих университетских лекциях об «Улиссе» Набоков заметил: «<…> Джойс строит игру слов, наделяя мистера Беста и кровать, которую Шекспир завещал своей жене Энн Хэтуэй, общим эпитетом "second-best" (второсортный)» (Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. С. 414–415).

…железное жало Нюрнбергской Старой Девы… — Обыгрывается название средневекового пыточного устройства «Железная дева» или «Нюрнбергская дева» (по месту постройки старейшего из известных экземпляров), представляющего собой железный шкаф, внутренняя сторона которого усажена длинными острыми штырями.

С. 439. Черный Миллер — игра с англ. blackmailer (шантажист, букв. черный отправитель).

С. 440. Жена брюхата, вот судьбина! <…> В большую печь — побольше дров. — В оригинале следующие строчки: «My spouse is thicker, I am leaner. / Again it comes, a new bambino. / You must be good like I am good. / Her stove is big and wants more wood» («Моя супруга стала толще, я стройнее. / Он снова грядет, новый бамбино. / Ты должен быть таким же хорошим, как я. / У нее большая печь, и ей нужно больше дров»).

С. 443. …изображая Бориса Годунова, разразился <…> черными, как вакса, слезами, перед тем как скатиться по ступеням бурлескного престола… — Ср. слова придворного в «Борисе Годунове» (1825) Пушкина: «На троне он сидел и вдруг упал — / Кровь хлынула из уст и из ушей». В предсмертной речи Годунов наставляет сына: «О, милый сын, ты входишь в те лета, / Когда нам кровь волнует женский лик. / Храни, храни святую чистоту / Невинности и гордую стыдливость: / Кто чувствами в порочных наслажденьях / В младые дни привыкнул утопать, / Тот, возмужав, угрюм и кровожаден, / И ум его безвременно темнеет. <…> Ты муж и царь; люби свою сестру, / Ты ей один хранитель остаешься». Проводя линию от Демона Вина к Годунову и от Вана к царевичу, Набоков, по-видимому, хотел обратить внимание читателя на эти последние слова о сестре.

Здесь продолжается тема сценических интерпретаций произведений Пушкина, в том числе музыкальных, среди которых Набоков выделял

оперу М. П. Мусоргского «Борис Годунов» (первая постановка 1874). В неопубликованном берлинском докладе 1928 г. «Об опере» Набоков заметил следующее: «Резвое воображение найдет некоторое удовольствие в картине такого рода — страна, где все книги написаны поэтами и <где> прикащики в магазинах отвечают арией на арию покупателя. Вот мне и кажется, что опера, будучи совсем естественно<й> в своих зачатках, — мы каждый день видим на улице, на ниве, в кабаке маленькую оперу, — является естественной и в своем дальнейшем развитии, — постольк<у>, поскольк<у> она дает нам картину того, как люди выражали бы свои чувства, если бы они всегда — а не только на работе или в ванне — распевали бы. И если соответствие, гармония между обстановкой и песней всегда соблюдены в обиходной жизни, то гармония эта должна существовать и в опере, — и только когда эта гармония соблюдена, опера прекрасна. Прекрасны в этом смысле “Пеллеас и Мелизанда” <Дебюсси>, “Борис Годунов” и отчасти “Кармен”» (BCA / Manuscript box 1).

Мое первое — движение ног в танце, мое второе — старое <…> жаргонное словцо, означающее «богатство», а мое целое любит цель. <…> Мое первое — это также краткая форма детского слова. — Краткая форма детского слова — па (от папа). В оригинале шарада строится на словах «ridge» (горный кряж, хребет, водораздел; в XIX в. — жаргонное «деньги») и «cart» — телега, повозка (отголосок шарады с «horsecart» в Ч. 1, гл. 12); англ. cartridge — патрон.

Часть третья

С. 447. Он путешествовал, он исследовал, он преподавал.

При полной луне, серебрившей пески, <…> он осматривал <…> Он охотился… — Как отметил Проффер (Proffer C. R. «Ada» as Wonderland: A Glossary of Allusions to Russian Literature // A Book of Things about Vladimir Nabokov. P. 249), схожим образом начинается предпоследняя глава «Воспитания чувств» Г. Флобера:

«Он отправился в путешествие.

Он изведал тоску на палубе пароходов, утренний холод после ночлега в палатке, забывался, глядя на пейзажи и руины, узнал горечь мимолетной дружбы.

Он вернулся.

Он выезжал в свет и пережил еще не один роман. Но неотступное воспоминание о первой любви обесцвечивало новую любовь; да и острота страсти, вся прелесть чувства была утрачена» (Флобер Г. Собр. соч.: В 4 т. М., 1971. Т. 3. С. 428. Пер. А. Федорова).

…на озере Ван с британским губернатором Армении… — Озеро Ван находится на Армянском нагорье в восточной части современной Турции.

Сидра — название средиземноморского залива у берегов Ливии совмещено с названием античного портового города Сиедра, находившегося на южном побережье Малой Азии (вблизи современной Аланьи); кроме того,

Sidra — палиндром слова «Ардис».

Эбертелла — название рода бактерий; эбертелла тифозная. Женский персонаж с таким именем возникает в «Бледном огне».

«крещение желанием» — англ. baptism of desire (лат. baptismus flaminis), положение католической теологии, согласно которому тот, кто пожелал принять крещение, но не смог совершить обряд в силу непреодолимых обстоятельств, все равно может быть спасен милостью Божией.

С. 448. «merry-cans» с «Биллем» обыгрывает английские слова Americans (американцы), merry chap (весельчак, участник увеселений), jerrycans (канистры емкостью пять американских галлонов) и billycan или просто billy (металлический контейнер для кипячения воды, походный котелок).

…Меркурий, неотрывно смотревший из-за его плеча, оборотился внимательным кипарисом. — Меркурий упомянут, по-видимому, как бог путешествий, покровитель искусств и ремесел, однако его превращение в дерево скорби напоминает о том, что Меркурий считался проводником душ в мире мертвых. В «Метаморфозах» Овидия юноша Кипарис, любимец Аполлона, смертельно ранив прекрасного оленя, к которому был сильно привязан, попросил богов превратить его в дерево, чтобы он мог вечно тосковать по своему другу.

С. 449. Мирамас (Bouches Rouges-du-Rhône) — город на Лазурном Берегу в департаменте Буш-дю-Рон, к названию которого Набоков добавляет слово rouges (красные): bouche означает не только устье, эстуарий (реки Роны, впадающей в Средиземное море), но и рот, уста.

С. 450. трипитака на языке пали означает «три короба», свод раннебуддийских священных текстов V–III вв. до н. э.

С. 451. авеню Гийома Питта в Париже не существует, однако название отвечает неблагополучной судьбе антитеррийской Франции, аннексированной Англией в 1815 г.: премьер-министр Великобритании Уильям (Гийом во французском языке) Питт-младший (1759–1806), не питая традиционной английской ненависти к Франции, все же был вдохновителем антифранцузских коалиций и главным врагом Наполеона.

Vollbart — окладистая борода (нем.).

С. 452. Брум? Кажется, я видел этот кузов. — Тип кузова брогам получил свое название по имени лорда Брума (или Брогама, Brougham), создавшего в первой половине XIX в. конструкцию так называемого брумовского кэба. Вот почему дальше в этой сцене шофер говорит Грегу, что «его госпожа припаркована». В оригинале обыгрывается созвучие этой фамилии с англ. broom — метла. Во французском переводе романа фамилия жены Грега не упоминается, вместо этого сказано, что она «la nièce du marquis» («племянница маркиза»).

С. 453. рю де Сайгон находится в 16 аррондисмане Парижа, недалеко от площади Этуаль (ныне площадь Шарля де Голля). Набоковы жили в

съемной однокомнатной квартире на этой улице в 1938 г.

С. 454. “L’ami Luc” — «Друг Люк» (фр.) напоминает название романа Мопассана «Bel-Ami» («Милый друг», 1885).

…удостоилась премии Ле Бонской Академии… — Первым лауреатом Нобелевской премии по литературе стал в 1901 г. французский поэт и эссеист Рене Франсуа Сюлли-Прюдом (1839–1907). Каламбурно переиначенное название премии (к лауреатам которой Набоков относился с неизменной иронией), как предположил Бойд, может указывать на французского психолога, социолога, антрополога и историка Густава Лебона (Le Bon, 1841–1931); намек на фр. le bon здесь, по-видимому, предполагает значение «подходящий» (для сочинений гувернантки).

Вины знаются только с Тоба́ковыми, / Но Тобаковы — только с собаками. — Источник этих строк, указанный Бойдом, — знаменитый и не раз переиначенный шуточный катрен американского офтальмолога Дж. К. Боссиди (1860–1928), известный под названием «Бостонский тост» или «О гарвардской аристократии» и прочитанный на ужине выпускников Колледжа Святого Креста в 1910 г.: «А это старый добрый Бостон, / Дом бобов и трески, / Где Лоуэллы говорят с Кэботами, / А Кэботы говорят только с Богом» (An Immortal Poem // The New York Times. 1923. July 6. P. 12). В набоковской версии обыгрывается последнее слово исходного четверостишия, палиндром God (Бог) — dog (собака).

С. 455. Даже мул <…> ожеребится… — Самцы мулов бесплодны, самки очень редко дают потомство.

C’est bizarre — Это странно (фр.).

асба — арабская единица измерения длины, равная «ширине пальца», чуть больше 2 см.

Eh bien? — Так что же? (фр.)

tout confort — все удобства (фр.).

С. 456. Буа-де-Белло — парижский Булонский лес (le bois de Boulogne) совмещается с лесом Белло (bois de Belleau), находящимся на северо-востоке от Парижа, в котором в июне 1918 г. произошло крупное сражение с участием американских войск, позволившее остановить немецкое наступление и в конечном счете привести Германию к поражению в Первой мировой войне.

С. 457. в салоне госпожи Рекамье — намек на знаменитый парижский салон французской писательницы Ж. Рекамье (мадам Рекамье, 1777–1849), в числе близких друзей которой был Шатобриан.

…«Дятловых» книжек в мягких обложках (с этим крошечным пестрым вудпекером на каждом корешке… — Подразумевается британское издательство «Penguin Books», основанное в 1935 г., выпускающее книги в мягкой обложке с изображением пингвина; у Набокова «sapsucker» — вид североамериканского дятла (woodpecker).

«Зальцман» — от нем. Salz (соль). Здесь, по-видимому, зашифрованы два автора и/или произведения (немецкий источник названия едва ли случаен), только об одном из которых мы можем сказать с большой долей уверенности — повесть американского писателя Э. Хемингуэя (1899–1961) «Старик и море» («The Old Man and the Sea», 1952), о которой Набоков отзывался с восхищением (SO, 80), хотя в целом Хемингуэя ставил невысоко. В гл. 5 этой части романа намек на бестселлер Хемингуэя звучит в словах Люсетты «Old Salzman» («Старик Зальцман»).

«Приглашение к кульминации» напоминает название романа Набокова «Приглашение на казнь» (1936).

«Диско-банда». — В интервью 1968 г. Набоков недвусмысленно высказался о массовой культуре: «<…> я ненавижу популярное чтиво, я ненавижу диско-банды, я ненавижу джунглевую музыку трущоб, я ненавижу научную фантастику с ее “крошками” и громилами, саспенсом и суспензориями. Мне особенно отвратительны вульгарные фильмы — калеки, насилующие монашек под столами, или голые груди девиц, прижимающиеся к загорелым торсам омерзительных молодых самцов» (SO, 117. Пер. мой).

…Китар К. Л. Свин, весьма «патрицианский» <…> писавший стихи, в обществе еще более старого Мильтона Элиота… — Намек на заимствование Т. С. Элиотом названия для своей незавершенной стихотворной драмы «Суини-агонист. Фрагменты Аристофановой мелодрамы» (1932) у Джона Мильтона, автора драматической поэмы «Самсон-борец» («Samson Agonistes», 1671). О фигуре К. Свина см. коммент. к с. 503–504. Эпитет «патрицианский» напоминает о громких словах критика Подгореца в адрес Уилсона (см. коммент. к с. 223).

«Агонические линии» намекают на «Суини-агониста» (англ. lines означает не только линии, но и стихотворные строки) и картографический термин: линия, соединяющая на картах изгон места с магнитным склонением, равным нулю.

улица Юных Мучеников отсылает к парижской rue des Martyrs (улица Мучеников), на которой в 1873 г. открылось знаменитое кабаре «Японский диван» (см. след. коммент.).

С. 457–459. …блоковская «Незнакомка». <…> истинный шедевр, несравнимо более прекрасный и свежий, чем известный портрет (в той же позе) гнусной старой шлюхи <…> на паршивой афише <…> окончательно разложившимся художником. «Алло, Эд!»… — Имеется в виду афиша французского художника Анри де Тулуз-Лотрека (1864–1901) «Японский диван» (1893), написанная для одноименного кабаре Эдуарда (Эда) Фурнье. В 1960-х гг. она была воспроизведена на фоторекламе французской виноторговой фирмы «Barton & Guestier». На афише в качестве зрительницы изображена танцовщица канкана рыжеволосая Жанна Авриль в закрытом черном платье, у нее за спиной — поэт, драматург и писатель Эдуард Дюжарден с тростью. Замечание об окончательном разложении художника намекает на алкоголизм Тулуз-Лотрека, умершего от сифилиса. «Незнакомку» (1906) Блока с женскими образами Тулуз-Лотрека сравнила Н. Н. Берберова в статье «Великий век», в которой к

тому же много лестного внимания уделено Т. С. Элиоту (Новый журнал. 1961. № 64. С. 119–140).

На два источника описанной сцены Набоков указал Б. Мэйсон: «прекрасно стилизованная <…> реплика лотрековской мазни, а именно рекламная фотография виноторговой фирмы “Barton and Guestier”, которая нередко появлялась в конце 60-х гг. в “Нью-Йоркере”. Она тщательно описана Ваном <…> и ее следует разыскать всем поклонникам Люсетты» (Mason B. A. Nabokov’s Garden: A Guide to Ada. P. 163). Бойд установил, что эта реклама печаталась в «Нью-Йоркере» начиная по крайней мере с марта 1963 г. (АНМС, 461).

С. 459. le paquet — взбучка (фр.).

«Шамберизетт» — савойский сухой вермут с добавлением сока земляники.

Très expressioniste — Весьма экспрессионистично (фр.).

С. 460. …коллекцию прогрессивного мещанского Искусства <…> холсты, измазанные гуталином и экскрементами, имитация каракулей кретина, примитивные идолы, маски аборигенов… — Схожие высказывания о современном искусстве содержатся в интервью Набокова и в Четвертой песни поэмы «Бледный огонь», в которой Шейд перечисляет ненавистные ему предметы: «джаз, / Кретин в белых чулках, терзающий черного / Бычка, исполосованного красным, абстрактный bric-à-brac; / Примитивистские маски <…>» (БО, 78–79).

objets trouvés <…> troués — Бюро находок (букв. найденные предметы)… продырявленные (предметы) (фр.).

…Генрих Хайделанд <…> отвратительная глыба из буржуазного красного дерева <…> под названием «Материнство»… — Как отметил Бойд, Набоков германизировал имя известного британского художника и скульптора Генри Спенсера Мура (Henry Moore, 1898–1986): нем. Heideland (пустошь, вересковая степь); англ. moor (поросший вереском участок). Среди работ Мура на тему материнства — каменная статуя «Мадонна с младенцем» (1944), «Семейная группа» (1949) и др.

С. 461. Тримурти — триада, объединяющая главных индуистских божеств, Брахму, Вишну и Шиву.

est un peu snob — немного сноб (фр.).

Отёй — район Парижа, в котором находится церковь Нотр-Дам д’Отёй.

С. 462. …самая распущенная Люцинда… — намек на полуавтобиографический роман немецкого писателя, критика и философа Фридриха Шлегеля (1772–1829) «Люцинда» (1799), воспринятый современниками как проповедь женской эмансипации и свободной любви. Структура «Люцинды» в некоторых отношениях напоминает «Аду»: «Как и требует романтическая ирония, роман возглавляется авторским Я, свободным от всяких обязательств, налагаемых предметом повествования, и ведущим со своим предметом необузданную игру. Под законы авторского произвола и беззакония подведены также все

литературные традиции, все правила поэтики. Все представления о жанрах и стилях безжалостно перепутаны: XVIII век был хорошо знаком с жанром эпистолярным, и Шлегель включает в роман письма; диалог как обособленный элемент повествования тоже не обойден; лирические партии чередуются с простой отчетливой хроникой (жизнеописания героя) и философскими рассуждениями. Автор сразу же заявляет, что “порядок” в его книге уничтожается, что его полностью заменит “чарующая путаница”» (Берковский Н. Комментарии / Немецкая романтическая повесть: В 2 т. М.—Л.: Academia, 1935. Т. 1. С. 426).

С. 463. Кошкам не стоит глазеть на звезды… — Переиначена английская поговорка «A cat may look at a king» («Кошка может смотреть на короля»), т. е. даже человек низкого происхождения обладает определенными правами. Поговорку обыграл Л. Кэрролл в «Алисе в Стране чудес» в разговоре Короля с Чеширским Котом и Алисой; Набоков в своем вольном переводе передал это место так (в оригинале Королю возражает Алиса):

«— Не груби! — воскликнул Король. — И не смотри на меня так! — Говоря это, он спрятался за Аню.

— Смотреть всякий может, — возразил Кот» (Набоков В. Собр. соч. русского периода: В 5 т. Т. 1. С. 408).

С. 464. Шиттау — вероятно, от немецкого города Циттау (Саксония), окруженного Лужицкими горами.

С. 466. хроместезия — форма синестезии, цветное восприятие звуковых стимулов.

…Спенсер Мальдун <…> припадки жестокой паранойи сопровождались у него видениями… — В контексте видений и особенных психических состояний фамилия пациента напоминает об известном американском эзотерике Сильване Мальдуне (Muldoon, 1903—1969), который (в соавторстве с Х. Каррингтоном) выпустил популярные книги по т. н. астральной проекции (внетелесный опыт, будто бы пережитый Мальдуном, описывавшим свои путешествия в облике призрачного существа) «Проекция астрального тела» (1929) и «Феномены астральной проекции» (1951). На выбор имени для этого персонажа мог повлиять, кроме того, герой ирландского сказания XI в. «Путешествие Мальдуна», по мотивам которого Альфред Теннисон написал одноименную балладу (1880). Набоков мог знать не только оригинал баллады, но и ее русский перевод под названием «Странствия Мальдуна» (Бальмонт К. Д. Из мировой поэзии. Берлин: Слово, 1921. С. 122—131).

С. 467. Розовый Анадель Диксона («Dixon Anadel») — название торговой марки цветных карандашей «Диксон», одной из старейших американских компаний, основанной изобретателем Дж. Диксоном (1799—1869).

иридианским — напоминающим радугу.

Орма и Арма — подразумеваются города Северной Ирландии, Ома (Omagh) в графстве Тирон и Арма (Armagh), столица одноименного графства.

С. 469. «канорио» — название устройства образовано от ит. canoro (благозвучный, певучий).

С. 471. …во всей красе своих неформальных гагалий. — «Регалии» соединяются с «гага» (человек, страдающий старческим слабоумием).

С. 472. Гавр-де-Грас — старое название Гавра. Американский Гавр-де-Грас — небольшой город в штате Мэриленд.

Олд-Гентспорт — английский портовый Саутгемптон в графстве Гемпшир соединен с канадским Хантспортом в Новой Шотландии. Прибавляя к названию «old» (старый), Набоков обыгрывает название старинного английского города Ньюпорта (Уэльс) — старого по отношению к американскому Ньюпорту (штат Род-Айленд).

…озера, носящего его имя, в древнем царстве Аррорут. — Подразумевается уже упоминавшееся озеро Ван; «Аррорут» обыгрывает названия древнего армянского царства Айрарат, горы Арарат и растения аррорут (маранта тростниковидная), по которому назван род крахмальной муки, получаемой из корневищ, клубней и плодов ряда тропических растений.

С. 473. …в Домодоссоле <…> скончались при странных обстоятельствах: первый, старший, умер от сердечной недостаточности, а его любовник покончил с собой. — В этом итальянском городе в мае 1967 г. Жан Жене совершил попытку самоубийства; за три года до этого покончил с собой молодой любовник Жене, цирковой акробат Абдаллах Бентага (Barber S. Jean Genet. L., 2004. P. 111).

С. 474. Лопадуза — древнегреческое название острова Лампедуза.

С. 475. «Том Кокс верхом на Бледном Огне». — Как проницательно заметил Пекка Тамми (Tammi P. Problems of Nabokov’s Poetics: A Narratological Analysis. Helsinki, 1985. P. 345), в имени наездника кроется автоаллюзия на бейсбольный каламбур в «Бледном огне»: «A curio: Red Sox Beat Yanks 5:4 / On Chapman’s Homer» («Курьез: “Красные носки” победили “Янки” 5:4 / Гомером Чэпмена». БО, 42). Здесь схожим образом спортивная составляющая названия (конные скачки) смешана с литературной (название романа), причем «Том Кокс» обыгрывает название бостонской бейсбольной команды «Red Sox».

Весна в Фиальте — еще одна автоаллюзия: так называется рассказ Набокова (1936), английский перевод («Spring in Fialta») публиковался в 1947 г., затем в сборнике «Nabokov’s Dozen» (1958).

С. 476. …Херб, мой любимый художник… — Как отметил Бойд, в своем экземпляре «Ады» Набоков сделал пометку: «déjeuner sur l’herbe» (завтрак на траве) — название скандально известной картины французского художника Эдуарда Мане (1832–1883), отвергнутой Парижским салоном 1863 г. Две собственные (благопристойные) версии «Завтрака на траве» написал Клод Моне (1840–1926); меньшая по размеру картина в 1904 г. была куплена С. И. Щукиным и находится в Москве в коллекции Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

…его последней герцогиней… — аллюзия на стихотворение Р. Браунинга «Моя последняя герцогиня» (1842), в котором жанр экфрасиса используется для описания портрета последней жены герцога, предположительно убитой им.

С. 477. «merde» — проклятье! дерьмо! (фр.)

С. 479. Терра-дель-Фуэго — слегка искаженное (по-видимому, ради сближения с Террой) название чилийской провинции Тьерра-дель-Фуэго (Огненная Земля).

С. 480. …мадемуазель Кондор <…> лучший франко-английский каламбур… — В переводе возникает в том числе русский каламбур: кондор — хищная птица из семейства американских грифов. В собственном экземпляре «Ады» Набоков сделал пометку: «Con d’or = Cunt of gold» (золотая манда), имея в виду вульгарное значение фр. con (вульва) и нецензурное англ. cunt.

С. 482. …tu sais que j’en vais mourir… — эти слова вспоминает Василий, женатый герой «Весны в Фиальте», когда узнает, что его любовница Нина выходит замуж за писателя Фердинанда: «<…> а в голове назойливо звенел Бог весть почему выплывший из музыкального ящика памяти другого века романс (связанный, говорили, с какой-то парижской драмой любви), который певала дальняя моя родственница, старая дева <…> On dit que tu te maries, / tu sais que j’en vais mourir [говорят, ты выходишь замуж, / ты знаешь, это меня убьет], и этот мотив, мучительная обида и музыкой вызванный союз между венцом и кончиной, и самый голос певицы, сопроводивший воспоминание, как собственник напева, несколько часов подряд не давали мне покоя <…>» (Набоков В. Полное собрание рассказов. С. 427). Слова из испанской песни «Аў Chiquita», музыка С. Ирадьера, перевод П. Бернарда; в нашем источнике первая строчка несколько иная: «On dit que l’on te marie» (цит. по нотному изданию: Aў Chiquita. Chanson Espagnole. Musique du Maestro Iradier. Paroles Françaises de Paul Bernard. Paris: Henri Heugel, [1882?]).

С. 483. «Insiste, anime meus, et adtende fortiter» — начало гл. XXVII кн. 11 «Исповеди» богослова, философа и епископа Гиппона (город в римской Африке) Аврелия Августина (354–430): «Будь настойчива, душа моя, напрягай свою мысль сильнее: “Бог помощник наш, Он создал нас, а не мы себя”. Обрати внимание туда, где брезжит заря истины» (Августин Блаженный. Исповедь / Пер. М. Е. Сергеенко. СПб.: Наука, 2013. С. 191). К этому месту в «Исповеди» Ван вновь обратится в Ч. 4 романа.

глоссолалия — расстройство речи, выражающееся в произнесении бессмысленных сочетаний звуков при сохранении ритма и темпа членораздельной речи.

cas — случай, дело (фр.).

С. 485. нинон — легкая прозрачная ткань из шелка, вискозы или нейлона с различными гладкими переплетениями или кружевными узорами.

С. 486. …Мой, мой, мой!» Она цитировала Киплинга… — Слова Мейзи о влюбленном в нее художнике Дике в романе английского писателя и поэта Дж. Р. Киплинга (1865–1936) «Свет погас» (1891).

Годхавн — поселение и морской порт на юге острова Диско, у западного побережья Гренландии.

С. 488. …стройной трусишкой, qui n’en porte pas (как он однажды пошутил, чтобы досадить ее гувернантке неверным переводом вымышленного француза)… — В оригинале каламбур строится на разных значениях англ. slip of a girl (стройная девочка) и фр. slip — трусики (которых эта девочка «не носит»).

С. 490. …отец Сергий (отрубивший не тот член своего тела в знаменитом анекдоте графа Толстого)… — В повести Л. Н. Толстого «Отец Сергий» (1898) монах-затворник Сергий, противясь соблазну плотской близости с женщиной, отрубил свой указательный палец на левой руке.

С. 491. «Можно придти теперь?» — В оригинале русская фраза латиницей («Mozhno pridti teper’»), подчеркивающая, что вопрос был задан по-русски. Ван отвечает тоже по-русски.

С. 493. тентакли — щупальца.

С. 494. Oceanus Nox — Океанская ночь (лат.). В примеч. Дамор-Блока nox переведено как «at night» (ночью). Отсылка к «Oceano nox» Вергилия («Энеида», II, 250): «Vertitur interea caelum et ruit Oceano nox» («Обращается между тем небосвод, и ночь устремляется из Океана»). У Вергилия речь идет о наступлении ночи, в которую погибла Троя (по представлениям древних, ночь, следуя за солнцем, поднимается при его закате и опускается в Океан, когда солнце восходит). В. Гюго использовал это сочетание в заглавии стихотворения (сб. «Лучи и тени», 1840), в котором он обращается к несчастным морякам, нашедшим смерть в море. Это же заглавие А. И. Герцен дал включенному в «Былое и думы» (1870) рассказу о трагической гибели его матери и сына при кораблекрушении.

С. 496. «Замки в Испании» обыгрывают английское выражение «castles in Spain» (воздушные замки).

…Офелия все-таки не утопилась бы без содействия предательского сучка… — Это место из «Гамлета» в переводе Набокова 1930 г.: «Есть ива у ручья <…> Там / она взбиралась, вешая на ветви, / свои венки; завистливый сучок / сломался, и она с цветами вместе / упала в плачущий ручей» (Два отрывка из «Гамлета» / Набоков В. Собр. соч. русского периода: В 5 т. Т. 3. С. 673).

С. 497. неотесанный роман Сервантеса. — Набоков посвятил «Дон Кихоту» курс лекций, прочитанных в Гарварде в 1952 г.: «Я вспоминаю с восторгом, — сказал он в 1966 году Г. Голду, приехавшему в Монтрё брать у него интервью, — как разодрал “Дон Кихота”, жестокую и грубую старую книжку, перед шестьюстами студентами в Мемориальном

зале, к ужасу и замешательству некоторых из моих более консервативных коллег» (Набоков В. Лекции о «Дон Кихоте» / Пер. под общ. ред. М. А. Дадяна. М., 2002. С. 15).

С. 499. ардизиакальной — «Ардис» смешан с «афродизиаком» (название веществ, стимулирующих или усиливающих половое влечение).

бледная испанская аврора — бабочка аврора (зорька) из семейства белянок.

С. 500. …американского ежемесячника «The Artisan» («Ремесленник»)… — Совмещаются респектабельный бостонский «The Atlantic Monthly», один из старейших литературных журналов США, в котором Набоков печатался в 40-х гг., и учрежденный в 1934 г. нью-йоркский литературно-политический ежеквартальный журнал «Partisan Review» (выходил до 2003 г.), в котором в 40–50-х гг. публиковались стихи и статьи Набокова. В 1955 г. в этом журнале Набоков опубликовал статью о проблемах английского перевода «Евгения Онегина». Отнимая у англ. partisan (сторонник, поборник, адепт) первую букву, Набоков переключает внимание с «партийной» темы в названии журнала (изначально прокоммунистического, с конца 30-х гг. умеренно демократического) на артистическую (art).

И над вершинами Наказа <…> Маунт-Пек… — В оригинале следующая вариация строк Лермонтова, в которой англ. tacit (подразумеваемый, не выраженный словами; tacit consent — молчаливое согласие) рифмуется с «facet» (грань):

And o’er the summits of the Tacit

He, banned from Paradise, flew on:

Beneath him, like a brilliant’s facet,

Mount Peck with snows eternal shone.

Маунт-Пек — гора в Колорадо, выбранная ради созвучия с «Казбек».

С. 501. petite fille modèle — примерная девочка; отсылка к повести С. де Сегюр «Les petites filles modèles» («Примерные девочки», 1858).

«Sale Histoire» — «Грязная история» (фр.).

…я застряла в турникете своего «зеркального слога»… — Среди рассыпанных в письме намеков на известные только Аде и Вану обстоятельства, эта фраза намекает на необходимость Ады пользоваться иносказаниями, «зеркальными» выражениями, чтобы обмануть шпионящую за ней золовку. В оригинале «turnstyle» указывает на англ. turnstile (турникет) и turn style («поворот стиля»), что намекает на

акробатическое прошлое Вана, на его пристрастие к игре слов и на собственные уловки Ады в этом письме.

С. 502. …между островами Лисянского и Лайсанова, относящихся к Гаваилльскому архипелагу. — Подразумеваются соседние необитаемые острова Лисянского и Лайсан, входящие в состав северо-западных островов Гавайского архипелага. Первый назван в честь русского мореплавателя Ю. Ф. Лисянского, открывшего его во время российской кругосветной экспедиции 1805 г., второй остров, название которого русифицировано Набоковым, был впервые нанесен на карту в 1828 г. в ходе экспедиции адмирала М. Н. Станюковича и Ф. П. Литке 1826–1829 гг. Станюкович дал острову название Моллер в честь своего корабля.

В списке «ведущих деятелей», погибших в результате взрыва, значились <…> исполняющий обязанности начальника цеха листового металла факсимильного предприятия… — В дневнике 50-х гг. Набоков сделал запись с перечнем должностей «ведущих деятелей», погибших в железнодорожной катастрофе (источник не указан). Поздняя карандашная приписка (по-английски): «Использовано 2 мая 1968 г. в “Аде”» (BCA, Diaries, 1943–1973). Список должностей лишь отчасти совпадает с тем, который приведен в романе; из дневниковой записи следует, что «исполняющий обязанности начальника цеха» служил в «Times Facsimile Corporation». В 1959 г. эта компания стала частью американской «Litton Industries».

С. 503. I’m hongree — искаженное англ. I’m hungry (я голодна) совмещается с I’m angry (я сердита) и фр. Hongrie — Венгрия.

maussade — хмурая (фр.).

С. 503–504. Китар Свин, банкир, ставший <…> авангардным писателем; <…> «Безродную Почву», сатиру в свободных стихах на англо-американские диетические привычки, и «Кардинала Гришкина», нарочито утонченное полотно, восхваляющее католицизм. — Имя Свин (в оригинале Sween) напоминает об отвратительном герое нескольких стихотворений Т. С. Элиота (первое из которых «Суини среди соловьев» — «Sweeney among the Nightingales», 1918) и незавершенной стихотворной драмы «Суини-агонист»; он упоминается и в знаменитой поэме Элиота «Бесплодная земля» (1922), название которой («The Waste Land») Набоков переделывает в созвучное «The Waistline» (что значит «линия талии» — отсюда замечание об англо-американских диетических привычках). Суини у Элиота — примитивная версия человека, карикатура на современного вульгарного обывателя. Род занятий набоковского Свина (банкир) указывает на многолетнюю банковскую службу Элиота. Гришкина — имя соблазнительной русской женщины в стихотворении Элиота «Шепот бессмертия» (1920), «кардинал» же намекает на католическое кредо Элиота, автора стихотворной драмы «Убийство в соборе» (1935) и эссе «Идея христианского общества» (1939); после переезда в Лондон и перехода в англиканство Элиот стал старостой прихода кенсингтонской церкви св. Стефана.

С. 504. Кирман Лавехр — название старейшего вида дорогих персидских ковров из иранской провинции Керман или Кирман, ткавшихся в городе Равар, название которого было искажено в Европе и Америке как Лавехр

(Лавер).

С. 505–506. «Les Trois Cygnes» — «Три Лебедя» (фр.). Старая часть отеля «Монтрё-Палас», в которой Набоков снимал апартаменты в 60-х гг., изначально представляла собой самостоятельный «Hôtel du Cygne» («Отель Лебедь»).

С. 506. rez-de-chaussée — первый (нижний) этаж (фр.).

С. 507. …во дни Казановы… — Джакомо Казанова в 1760 г. останавливался в соседней с Монтрё Лозанне.

Дивный портрет отца кисти Врубеля, эти безумные алмазы, пристально глядящие на меня… — В своем последнем завершенном романе, описывая отца героя, русско-американского писателя Вадима Вадимовича Н., Набоков развил это место: «Мой отец был игрок и повеса. В свете его прозвали Демоном. Врубель написал его портрет: с бледными, как у вампира, щеками, алмазными глазами, черными волосами. То, что осталось на палитре, использовал я, Вадим, сын Вадима, изображая отца страстно увлеченных друг другом брата и сестры в лучшем из своих английских romaunts — “Ардисе” (1970)» (Набоков В. Взгляни на арлекинов! С. 107–108). См. коммент. к с. 14.

Леман означает Любовник — англ. leman — любовник; фр. Léman — Женевское озеро.

С. 509. фотель — кресло (фр. fauteuil).

belle-soeur — золовка (фр.).

…князь Гремин из невозможного либретто… — намек на либретто оперы Чайковского «Евгений Онегин», о котором Набоков упомянул в комментариях к роману Пушкина: «Но французские, английские и немецкие героини любимых романов Татьяны были не менее пылки и добродетельны, чем она; а быть может и более, осмелюсь заметить, рискуя разбить сердца поклонников “княгини Греминой” (как обозвали княгиню N два светила, состряпавших либретто для оперы Чайковского), ибо необходимо подчеркнуть, что ее ответ Онегину вовсе не звучит с той величавой бесповоротностью, которую слышат в нем комментаторы» (KEO, 593).

С. 510. «Что знала Дейзи» комбинирует названия двух произведений американского писателя Генри Джеймса (1843–1916): новеллы «Дейзи Миллер» (1878), действие которой начинается на берегу Женевского озера, в Веве, и романа «Что знала Мейзи» (1897), прочитав который в 1947 г. по совету Э. Уилсона Набоков назвал его ужасным (NWL, 209).

С. 511. Косыгин Алексей Николаевич (1904–1980), в 1964–1980 гг. Председатель Совета Министров СССР. В июне 1967 г. в американской прессе широко освещались переговоры Косыгина с президентом США Л. Джонсоном в Гласборо (Нью-Джерси).

С. 512. Симона Трасер — ироничный намек на французскую писательницу, публициста, идеолога феминизма Симону де Бовуар (1908–1986),

многолетнюю спутницу Ж.-П. Сартра (в оригинале «Traser» — полная анаграмма «Sartre», фамилии французского писателя и философа).

С. 513. …Жорату или Ратону… — Первое имя образовано от названия нагорья и района в швейцарском кантоне Во, второе — от псевдонима французского философа, поэта и писателя Вольтера (1694–1778) и горного хребта (а также административного центра округа Колфакс) в штате Нью-Мексико. Выдуманные имена сближаются, кроме того, семантически: фр., англ. rat — крыса; фр. raton — крысенок.

Шато Пирон обыгрывает Шильонский замок (Château de Chillon), стоящий на берегу Женевского озера вблизи Монтрё, имя французского драматурга, поэта и юриста Алексиса Пирона (1689–1773), которого высоко ценил Вольтер, и марку французского вина «Château Piron». Аллюзия на Байрона строится на созвучии «Piron» с «Byron» и на связи Шильонского замка с именем английского поэта: посетив замок, Байрон сочинил поэму «Шильонский узник» (1816).

гоночный “Ансеретти”, как отметил Д. Циммер, комбинирует имена двух знаменитых американских автогонщиков Бобби Ансера (1934–2021) и Марио Андретти (род. 1940), а также, на наш взгляд, напоминает название итальянской автомобильной компании «Мазерати», чьи спортивные автомобили участвовали в престижных гонках в 50–60-х гг. В отличие от Набокова, который так и не научился управлять автомобилем, его сын Дмитрий (ровесник Бобби Ансера) в 60-х гг. стал профессиональным автогонщиком.

«charlotte russe» — «русская шарлотка» (фр.).

С. 514. теспионим — «драматический псевдоним», неологизм от англ. thespian (драматический, театральный) и от «псевдоним».

С. 515. points de repère — ориентиры (фр.).

Адочка, душка, разскажи же про ранчо, про скотъ… — В этой стилизованной под Чехова сцене Набоков для русских фраз (записанных латиницей) пользуется старой орфографией, английские переводы приводит в скобках.

С. 516. Лузон — измененная Лозанна (Lausanne).

С. 517. …доктор Швейцэйр из Люмбаго (мы с матушкой благоговейно посетили его там в 1888 году)… — «Доктор Швейцэйр» комичным образом комбинирует имя немецко-французского теолога, философа, гуманиста, органиста и музыковеда, лауреата Нобелевской премии мира (1952) доктора Альберта Швейцера (Schweitzer, 1875–1965) с названием авиакомпании «Swissair». Незадолго до начала работы Набокова над «Адой» Швейцер умер в селении Ламбарене (Габон), где он построил больницу и куда стали съезжаться его почитатели со всего мира. В интервью 1968 г. Набоков заявил, что «не терпит четырех докторов — д-ра Фрейда, д-ра Живаго, д-ра Швейцера и д-ра Кастро» (SO, 115). Его, по всей видимости, отвращали не столько собственно пацифистские выступления Швейцера и его публичные призывы к правительствам СССР и США прекратить ядерные испытания, сколько сложившийся в 50-х гг. в

Америке культ Швейцера-мыслителя (язвительно отмеченный уже в «Бледном огне»), которого «в некоторых домах заменил насквозь фальшивый Паунд» (из интервью Г. Голду 1966 г. SO, 102).

…Белодряньская-Белоконская <…> гранд-дама, о которой идет речь, — старая вульгарная дрянь». — Аллюзия на второстепенного персонажа романа Ф. М. Достоевского «Идиот» (1869) старую княгиню Белоконскую, «старуху Белоконскую», «страшную деспотку». В оригинале, как и в случае с «Конски» в первой главе романа, обыгрывается англ. skunk (вонючка, скунс, подлец).

С. 518. …Нинон у Вер <…> набрось свой хинон… — Отсылка к французской куртизанке, писательнице и хозяйке парижского литературного салона Нинон де Ланкло (Lenclos, L'Enclos или Lanclos, 1615 или 1620–1705), известной своими письмами к маркизу де Севинье. Примеч. Дамор-Блока о том, что Нинон де Ланкло — героиня романа Вер-де-Вер, мистифицирует читателя. Во французском переводе «Ады» добавлен эпитет: «vieux Vere» («старый Вер»), обыгрывающий ироничное значение выражения «Вер-де-Вер», символа родовитости, как уже было замечено. Окказионализм «lenclose» в оригинале (комбинирующий фамилию куртизанки с англ. clothes — одежда) пришлось заменить в переводе на «хинон», намекающий на хитон и Нинон.

С. 519. одна из сестер Вэин — автоаллюзия на рассказ «Сестры Вэйн» (опубл. 1959).

petit endroit — местечко (фр.).

…гравюра Рандона с довольно воинственным трехмачтовым кораблем… — «Bruslot à la Sonde» («"Брусло" на мелководье») французского художника Клода Рандона (1674–1704), которая будет вновь упомянута в Ч. 4 романа.

альбергианская — от ит. albergo, гостиница.

С. 520. …Приапов, которых римляне некогда водружали в беседках Руфомонтикулуса. — «Красная горка», от лат. rufus (ярко-красный) и monticulus (горка, холмик), — латинский эквивалент Монт-Ру (Mont-Roux), намек на Монтрё. Речь идет о периоде римского владычества на территории современной Швейцарии.

…Fillietaz Promenade, идущему вдоль швейцарского берега озера от Валве до Château de Byron. — В Монтрё у берега Женевского озера расположен парк Albert Filliettaz, его пересекает набережная Rouvenaz, проходящая в сторону Веве (Vevey) мимо Шильонского замка, преображенного в «Замок Байрона» («Вальве» комбинирует Веве с названием кантона Вале). В оригинале реальное название замка подсказано созвучными английскими словами, прибавленными в скобках: «"She Yawns Castle"» (буквально: «"Она Зевает Замок"»).

Ниписсинг — административный округ, Нипигон — город (а также озеро и река) в канадской провинции Онтарио.

С. 522. l’impayable — бесценная (фр.).

à deux — вдвоем (фр.).

С. 525. …газеты «Голосъ Феникса»… — намек на «Phoenix Gazette», выходившую в Фениксе (Аризона) в 1946–1997 гг. (ср. упоминание в Ч. 1 русской газеты «Голосъ»), и каламбур с мифической птицей феникс, возрождающейся после смерти.

«Madame André Vinelander» — «Госпожа Андре Вайнлендер» (фр.).

С. 526. …в салоне «Красоты и Причесок» Пафии… — намек на город Пафос на Кипре, вблизи которого по греческой мифологии родилась богиня любви и красоты Афродита.

Сорсьер, Вале — от фр. sorcière (чародейка, знахарка, колдунья); анаграмматически переиначенное название города Орсьер (Orsières) в Вале.

et ma cousine — и моей кузины (фр.).

мадам Скарлет в контексте этой сцены намекает на англ. scarlet woman (блудница). Скарлетт О’Хара — главное действующее лицо романа М. Митчелл «Унесенные ветром» (1936), один из наиболее известных женских образов американской литературы.

С. 527. …отправится в горный санаторий романа… — подразумевается «Волшебная гора» Т. Манна, герой которой проводит семь лет в альпийском санатории для больных туберкулезом. Навеянный этой книгой идеологический роман К. А. Федина «Санаторий “Арктур”» (1940) Набоков прочитал и высмеял в год его первой журнальной публикации (подр. см.: Бабиков А. Прочтение Набокова. Изыскания и материалы. С. 294–295).

…большим черным «Яком»… — от «Кадиллака»; ср. в «Лолите»: «ее дядя, мистер Густав, заехал за ней <…> на черном Кадили Яке» (Набоков В. Лолита. С. 408).

С. 528. Ne ricane pas! — Не смейся! (фр.)

…имеющая дело с эпилептиком… — отсылка к словам Вана в гл. 31: «будем тихо жить-поживать: ты — моя экономка, я — твой эпилептик».

С. 529. «Je t’emplie (“prie” и “supplie”)… — букв. «Я заполняю тебя» (фр. emplie — наполнять, заполнять). Соединяются фразы «je t’en prie» («пожалуйста», «прошу»), «je t’en supplie» («умоляю тебя») и «je t’aime» («люблю тебя»).

…сотворить из этого идиота Китса!» — Английский поэт Джон Китс (1795–1821) умер от чахотки.

Бассет — гора вблизи Уилмингтона в штате Нью-Йорк и геологический термин, означающий выход пластов на поверхность.

С. 530. fourmillement — покалывание (фр.).

приполярный монастырский городок Илемна комбинирует Илемну (Илиамну), озеро на Аляске, с Ильменем, озером под Новгородом.

Часть четвертая

С. 535. Чтотосопрано намекает на Викосопрано, деревню в швейцарском кантоне Граубюнден.

С. 536. …Аврелий Августин <…> в своих схватках с этим предметом <…> спешит продолжить свои размышления и перемежает их, между песками и звездами, страстными пароксизмами молитв). — В уже упомянутой кн. 11 «Исповеди» Августин разбирает проблему времени, перемежая рассуждения обращениями к Богу, например в этом месте: «Горит душа моя понять эту запутаннейшую загадку. Не скрывай от меня, Господи Боже мой, добрый Отец мой, умоляю Тебя ради Христа, не скрывай от меня разгадки; дай проникнуть в это явление, сокровенное и обычное, и осветить его при свете милосердия Твоего, Господи. <…> А мы только и говорим: “время и время, времена и времена”; “как долго он это говорил” <…> “чтобы произнести этот слог, времени требуется вдвое больше, чем для того, краткого”. Мы и говорим это и слышим это; сами понимаем, и нас понимают. Это яснее ясного, обычнее обычного, и это же так темно, что понять это — открытие» (Августин Блаженный. Исповедь. С. 188).

щекотики — домашнее слово Набоковых; ср. в письме Набокова к матери от 18 февраля 1928 г.: «Скажи мне, пожалуйста, я вчера, проходя мимо лавки рамочника, заметил страшно знакомую картину: Le <sic!> Rêve d’Amour, женщина на смятых подушках и рой купидонов. Где она у нас висела? Помнишь? Ужасные щекотики» (BCA / Letters to Elena Ivanovna Nabokov).

аппроксимация или приближение — научный метод, состоящий в замене одних объектов другими и позволяющий исследовать числовые характеристики и качественные свойства объекта путем изучения более простых или удобных объектов (к примеру, таких, характеристики которых легко вычисляются или свойства которых уже известны).

…не повторение ударов ритма, а промежуток между <…> ударами, серый промежуток между черных нот: Нежный Интервал. — Ср. схожую образность в гл. 4 «Приглашения на казнь» (1935): «Когда-то в детстве, на школьной поездке, отбившись от прочих, я попал знойным полднем в сонный городок, до того сонный, что, когда человек, дремавший на завалинке под яркой беленой стеной, наконец встал, чтобы проводить меня до околицы, его синяя тень на стене не сразу за ним последовала… о, знаю, знаю, что тут с моей стороны был недосмотр, ошибка, что вовсе тень не замешкалась, а просто, скажем, зацепилась за шероховатость стены… — но вот что я хочу выразить: между его движением и движением отставшей тени, — эта секунда, эта синкопа, — вот редкий сорт времени, в котором живу, — пауза,

перебой, — когда сердце как пух…» (Набоков В. Приглашение на казнь. М.: АСТ: Corpus, 2021. С. 62).

С. 538. …Старому Времени, чтобы стать ньютоновским? — Т. е. не только ньютоновским (в научном смысле), но и «новым». Набоков противопоставляет «Старое Время» (Old Time) «новому» (New Time) посредством игры с «new» в фамилии английского физика Исаака Ньютона (Newton, 1643–1727). Подразумевается концепция абсолютного пространства и времени ньютоновской механики. «Абсолютное, истинное математическое время», по определению Ньютона, «само по себе и по самой своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно, и иначе называется длительностью. Относительное, кажущееся или обыденное время есть или точная, или изменчивая, постигаемая чувствами, внешняя, совершаемая при посредстве какого-либо движения, мера продолжительности, употребляемая в обыденной жизни вместо истинного математического времени, как то: час, день, месяц, год» (Ньютон И. Математические начала натуральной философии / Пер. с лат. и коммент. А. Н. Крылова. М.: Наука, 1989. С. 30).

Поразмышляйте над Яйцом… — В оригинале «Ponder the Egg» (см. прим. Дамор-Блока).

С. 539. гномон солнечных часов — укрепленный на горизонтальной поверхности стержень, служивший в древности для определения высоты солнца над горизонтом по отбрасываемой тени.

…горячей завивки модного искусства; избегай Прустова ложа… — В оригинале «marcel wave» (прическа, состоящая из локонов, сделанных горячими щипцами) указывает на имя Марселя Пруста; обыгрывается выражение «прокрустово ложе» — искусственная мерка, не соответствующая сущности явления.

…избегай <…> каламбура-убийцы (самоубийцы, как заметят те, кто знает своего Верлена). — В конце Ч. 1, гл. 13 Ван, говоря о рассказе м-ль Ларивьер, уже использовал французское выражение «pointe assassine» («убийственный пуант», букв. убийственное острие) в значении «пуант (рассказа или стихотворения), который убивает художественные достоинства сочинения» (как поясняет Дамор-Блок, не упоминая в этом случае Верлена). Пуант — стилистический прием в виде остроумного завершения эпиграммы, басни или анекдота; неожиданное разрешение сюжета; всякая резкая концовка в строфе или стихотворении, содержащая остроумное выражение. Здесь в оригинале англ. assassin pun («каламбур-убийца») отсылает к программному стихотворению французского поэта Поля Верлена (1844–1896) «Art poétique» («Искусство поэзии», 1874): «Fuis du plus loin la Pointe assassine, / L’Esprit cruel et le Rire impur» («Беги как можно дальше от убийственного Пуанта, / Жестокого остроумия и Нечистого смеха»). В интервью 1969 г. Набоков пояснил: «В стихотворении о поэзии, как он ее понимает, Верлен предостерегает поэта от использования la pointe assassine, то есть введения эпиграмматической или моральной изюминки в концовку стихотворения и тем самым от его убийства. Что меня позабавило, так это каламбур с “point” [суть, острие], превращающий в каламбур сам акт его

запрета» (SO, 129).

С. 541. «Пространство есть роение в глазах, а Время — звон в ушах», замечает Джон Шейд… — строки из поэмы «Бледный огонь» (БО, 49).

…Джон Шейд, современный поэт, которого цитирует вымышленный философ («Мартин Гардинер») в «Амбидекстровой Вселенной»… — См. коммент. к с. 371–372.

…пестрая кладка «мировых точек» Минковского. — Родившийся в России немецкий математик Герман Минковский (1864–1909) предложил геометрическую интерпретацию специальной теории относительности Эйнштейна, согласно которой время и пространство являются взаимосвязанными измерениями единого пространства-времени. Он ввел понятие «события» и представил его в виде точки с четырьмя координатами: три пространственные координаты — место «события», а четвертая — время «события». Такую точку он назвал мировой точкой. Множество мировых точек, описывающих развитие какого-либо процесса или явления во времени, называется мировой линией.

Понятие Пространства <…> сложилось раньше понятия Времени (приводит Уитроу замечание Гюйо). — Английский математик, космолог и историк науки Джеральд Дж. Уитроу (1912–2000) действительно приводит эту важную для теории Вана и взглядов Набокова мысль французского философа и поэта Ж.-М. Гюйо (1854–1888): «К концу девятнадцатого века идея Канта о времени как необходимом условии нашего восприятия физического мира стала подвергаться все большей критике с стороны психологов. В блестящем эссе “La Genèse de l’Idée de Temps” [“Генезис идеи времени”], опубликованном в 1890 году, спустя два года после его смерти, Гюйо отошел от формальной проблемы, поставленной Кантом, чтобы рассмотреть фактическое развитие концепции времени. Он рассматривал время не как предшествующее условие, а как следствие нашего восприятия мира, результат длительной эволюции. Он утверждал, что мы имеем дело, по сути, с продуктом человеческого воображения, воли и памяти. В прямой оппозиции к английской ассоциативистской и эволюционистской школе, возглавляемой Гербертом Спенсером, который рассматривал идею времени как источник идеи пространства, он утверждал, что, хотя мы можем использовать одно для измерения другого, тем не менее они являются совершенно различными идеями со своими собственными характеристиками. Более того, идея пространства изначально возникла раньше идеи времени. <…> Идея событий в их временном порядке возникла после идеи объектов в их пространственном порядке, поскольку второе связано с самим восприятием или представлением, тогда как первое зависит от репродуктивности воображения или репрезентации» (Whitrow G. J. The Natural Philosophy of Time. L. & Edinburgh, 1961. P. 50–51. Пер. мой).

С. 541–542. Неразличимая пустота (Локк) бесконечного пространства… — Из «Опыта о человеческом разумении» (1690) английского философа-сенсуалиста Джона Локка (1632–1704): «А если кто сможет узнать и ясно и четко представлять себе в уме место вселенной, тот будет в состоянии сказать нам, движется ли она или пребывает в покое среди неразличимой пустоты бесконечного пространства. Впрочем, слово

“место” иногда действительно употребляется в менее ясном смысле для обозначения занимаемого телом пространства; в таком смысле и вселенная находится в каком-то месте» (Локк Дж. Сочинения: В 3 т. / Ред. И. С. Нарский, А. Л. Субботин. Пер. А. Н. Савина. М.: Мысль, 1985. Т. 1. С. 220).

С. 542. Один и тот же участок Пространства может казаться мухе более протяженным, чем С. Александеру, но то, что является мгновением для него, не становится «часами для мухи»… — Британский философ Сэмюель Александер (1859–1938), названный далее «незадачливым мыслителем», — последователь теории Минковского, автор двухтомного сборника лекций «Пространство, время и божество» (1920). Набоков приводит слова из первой главы («Физическое пространство-время») этой книги: «Ни поэт, ни философ [Р. Браунинг и И. Кант, цитаты из которых Александер приводит перед этим] не имеют в виду, что то, что для нас годы — это мгновение для Бога, точно так же, как мгновение для человека может быть часами для мухи с ее микроскопическими измерениями протяженности» (Alexander S. Space, Time, and Deity. The Gifford Lectures at Glasgow, 1916–1918. N. Y.: Dover Publications, 1966. Vol. 1. P. 36. Пер. мой.).

Энгельвайн. — Как предположил Бойд, подразумевается французский физик и общественный деятель Поль Ланжевен (Langevin, 1872–1946), фамилия которого ради сближения с «Эйнштейн» разложена на составные части и «переведена» на немецкий: фр. l’ange (ангел) — нем. Engel (ангел), фр. vin (вино) — нем. Wein (вино). В 1911 г. Ланжевен опубликовал статью «Эволюция пространства и времени», в которой высказал предположение, что для того, кто путешествует на «реактивном снаряде», может пройти всего два года, в то время как на земле пройдет двести лет. К этому стоит прибавить, что с учетом просоветских взглядов Ланжевена, одного из создателей «Кружка друзей новой России», почетного члена Академии наук СССР, его фамилия могла быть онемечена Набоковым ради ее сближения с основоположником марксизма Ф. Энгельсом.

С. 544. éboulements — осыпания, оползни (фр.).

…Зембре <…> городок на реке Музар вблизи Сорсьера <…> точная копия старинного Зембре… — Муниципалитет Сембранше (Sembrancher), недалеко от Орсьера, совмещен с названием островов Зембра и Зембретта (Zembra et Zembretta) в Тунисском заливе, которые, возможно, натолкнули Набокова на мысль о копии придуманного им города Зембре. Название реки в оригинале — Minder, что обыгрывает нем. minder (убыль, уменьшение; меньший, худший) и англ. minder (человек присматривающий за чем-либо, ответственный за что-либо или кого-либо). Далее это название соотносится с англ. mind (разум, ум; память, воспоминание).

С. 546. стратиграфия — раздел геологии, изучающий последовательность формирования комплексов горных пород в разрезе земной коры и их первичные соотношения в пространстве.

С. 549. Умбраил, Флюэла, Фурка — реальные горные перевалы в Швейцарии (Umbrail, Flüela, Furka).

С. 550. …определенной (Клаем в 1882 году) как «Обманчивое Настоящее». — Понятие введено бостонским философом-любителем Э. Р. Келли в анонимно изданной книге «Альтернатива» (1882): «Настоящее, к которому относится данное, на самом деле является частью прошлого (недавнего прошлого), обманчиво представленного как время, которое находится между прошлым и будущим. Назовем это обманчивым настоящим, а прошлое, которое дается как прошлое, назовем очевидным прошлым. <…> время, рассматриваемое относительно человеческого восприятия, состоит из четырех частей, а именно: очевидное прошлое, обманчивое настоящее, реальное настоящее и будущее. <…> Обманчивое настоящее — это фикция опыта» (The Alternative: A Study in Psychology. L., 1882. P. 168. Пер. мой). Понятие развил американский философ и психолог Уильям Джеймс (1842–1910) в своих известных «Принципах психологии» (1890). Он назвал автором анонимного труда Э. Р. Клая (E. R. Clay), обнародовав таким образом псевдоним Келли: «Единственный факт нашего непосредственного опыта это то, что г-н Э. Р. Клай хорошо назвал “обманчивым настоящим”» (James W. The Principles of Psychology. N. Y., 1931. Vol. 1. P. 609).

…не верю, что «предвкушение» («ожидание продвижения по службе или страх грубого социального промаха», как выразился один незадачливый мыслитель) имеет какое-либо значительное влияние на формирование обманчивого настоящего… — Набоков смешивает несколько мест из книги С. Александера: «Особенности акта присвоения легче увидеть в акте ожидания. В этом акте разум стремится к воображаемому будущему событию, и, по мере того, как ожидание становится более отчетливым и интенсивным, образ выходит из изоляции и объединяется с личностью. Сначала появляется образ со знаком будущего, но относительно отъединенный от личной жизни. Постепенно он обретает то, что Джеймс называет близостью, становится теплым от личной привязанности, сопровождается эмоциями. Подумайте об ожидании какого-нибудь продвижения по службе или о страхе перед каким-нибудь бедствием» (Alexander S. Space, Time, and Deity. P. 118); «Насколько я могу доверять своему опыту, я полагаю, что мы можем наблюдать различие между запомнившейся и настоящей эмоцией. Я помню чувство стыда, испытываемое из-за грубого социального промаха; и чем ярче я представляю обстоятельства, тем сильнее становится эмоциональное возбуждение <…>» (Ibid. P. 129). О «предвкушении» Александер говорит в связи с наслаждением будущим: «Мы предвкушаем что-то в наших умах, и это предвкушение было описано как наслаждение будущим <…> Такое наслаждение — это будущее в идее, и это единственный способ, при котором можно наслаждаться будущим как будущим. Это будущее наслаждение причинно связано с его собственной реализацией в настоящем» (Ibid. P. 287–288. Пер. мой.).

С. 551. гитчгайкер — так в собственном русском переводе «Лолиты» Набоков транслитерирует американское разговорное название человека, путешествующего автостопом («hitch-hiker»).

декалькоманиак — от декалькомании — способа изготовления переводных изображений, предназначенных для переноса на ткань, стекло, фарфор и др. поверхности.

С. 554. …Луи Вихт, сменивший своего покойного тестя Луиджи Фантини.

— Фамилии семантически родственны: нем. Wicht (малыш, парень, домовой, гном), ит. fantino (жокей, ребенок, мальчик).

С. 555. антофобия — боязнь цветов, всевозможных родов и видов или определенных.

С. 556. «Лапута» (грузовой аэроплан) — название парящего острова, который Гулливер посетил в третьей части «Путешествий Гулливера» (1726) Дж. Свифта. Набоков, очевидно, подразумевает скабрезную этимологию названия, предложенную комментаторами книги: исп. la puta (шлюха).

С. 558. Verglas — гололед (фр.).

С. 559. …Альраун или Альруна, что означает арабского бесенка в зеркале немецкого чародея. — По тому же принципу сближения различных культур и представлений, Набоков разделяет немецкие слова на составные части, обнаруживая в начальных «аль» сходство с определенным артиклем арабского языка. Альрауны (от немецкого названия корня мандрагоры) в средневековом европейском фольклоре — духи низшего порядка, эльфы; из корней мандрагоры, наделенной в поверьях сверхъестественными свойствами, вырезались человеческие фигурки, которые назывались альрауновыми человечками. Альруна — германское женское личное имя, которое образовано от «runa» (секрет, руна), а также жрица, предсказательница или колдунья у древних германцев.

«картезианский водолаз» — наполненная пополам воздухом и водой стеклянная куколка в закупоренном резиновой перепонкой сосуде с водой, которая то опускается на дно, то поднимается на поверхность при надавливании на перепонку, — демонстрационный прибор, изобретенный Декартом для объяснения гидростатического давления, использованный потом как популярная игрушка, известная под названием «картезианский водолаз» (или чертенок), а также «американский» или «морской житель». Упоминается в нескольких произведениях Набокова («Другие берега», «Бледный огонь»), среди которых стихотворение «Целиком в мастерскую высокую…» (1956): «Я ж смотрю, как в стеклянной обители / зажигается сто этажей / и как американские жители / там стойком поднимаются в ней» (Набоков В. Стихи. С. 286).

С. 560. таблетка фаводорма — от англ. favor (благосклонность, благоприятствование) и dormancy (дремота, состояние покоя).

С. 561. …Гудсон, открывающий Гудсон… — Генри Гудзон (Hudson, ок. 1570–1611), английский мореплаватель, исследователь Арктики и территорий современной Канады, первый европеец, прошедший от устья 200 км вверх по реке, носящей его имя, открывший в Северной Америке названные в его честь залив и пролив. Набоков искажает англ. Hudson как Goodson.

С. 564. …том Британской энциклопедии <…> со статьей о «Пространстве-Времени»: “Пространство <…> обозначает свойство <…> различные положения”. — Из статьи А. Эйнштейна «Пространство-время», как она печаталась в изданиях «Британники» в 1929–1970 гг.

Часть пятая

С. 565. Степан Нуткин (в оригинале Nootkin) указывает на залив и остров Нутка (Nootka Island) в Тихом океане, относящийся к канадской провинции Британская Колумбия.

С. 567. гогофония — «какофония» предположительно контаминирована с вошедшим в употребление в 1960-х гг. англ. gogo (go-go), относящимся к зажигательным танцам и/или музыке на дискотеках (или в ночных клубах).

С. 568. le plaisir anglais — английская забава (фр.).

С. 570. palazzina — вилла (ит.).

д-р Лена Виена — новая ироническая отсылка к «венскому мудрецу».

С. 573. Синьи-М. Д.-М. Д. — В третьей главе романа название города раскрыто как Синьи-Мондьё-Мондьё, здесь же в нем обыграно англ. сокращение MD (medical doctor) — магистр медицины, врач.

…«В студенческие годы я сделался де-флоратором, потому что провалил экзамен по ботанике»… — Как установил Джеффри Берман, Набоков имел в виду письмо З. Фрейда от 19 февраля 1899 г. к врачу и психоаналитику Вильгельму Флиссу (Berman J. The Talking Cure. Literary Representations of Psychoanalysis. N. Y. & L., 1985. P. 332). Фрейд писал об их общем знакомом следующее: «<…> он никак не может смириться с тем обстоятельством, что в университете ему не удалось освоить ботанику; посему он теперь продолжает заниматься этим как “дефлоратор”. Способностью вдруг покрываться потом [фантазируя о том, как он лишает девушку девственности] он обязан своему детству, тому времени, когда (в трехлетнем возрасте) его брат вылил ему на лицо немного мыльной пены — травма, хотя и не сексуального характера. А почему в Интерлакене, когда ему было четырнадцать, он мастурбировал в такой необычной позе в туалете? Он принял ее, чтобы иметь хороший вид на Юнгфрау [гора в Швейцарии, букв. “дева”] <…>» (Freud S. The Origins of Psycho-Analysis. Letters to Wilhelm Fliess, Drafts and Notes: 1887–1902 / Ed. by M. Bonaparte, A. Freud, E. Kris. N. Y., 1954. P. 278). Набоков, по всей видимости, читал эту книгу: в письме к Э. Уилсону от 14 августа 1956 г. он упомянул это курьезное письмо, в котором «Венский Мудрец говорит о молодом пациенте, мастурбировавшем в ватерклозете гостиницы Интерлакена в крайне стесненной позе, позволявшей ему смотреть (здесь вступает целительное объяснение) на Юнгфрау» (NWL, 333–334. Пер. мой). В своих примечаниях к NWL С. Карлинский ошибочно отнес приведенное письмо Фрейда к 9 декабря 1899 г.

…Союз Брачных Консультантов и Катарсистов… — вновь уничижительная аллюзия на Фрейда, применявшего катартический метод психоанализа, при котором невротические расстройства объясняются биографией пациента и делаются предметом осознания; в ходе осознания травматический опыт актуализируется и благодаря абреакции (повторному переживанию события) происходит катарсис.

С. 574. «Компиталия» отсылает к древнеримским компиталиям — ежегодным празднествам в честь божеств ларов, покровителей перекрестков. Компитальных ларов почитали на перекрестках как покровителей соседской общины и добрососедских отношений.

С. 575. «Яркая Бахрома» Уайтхеда. — Как указал Бойд, имеется в виду следующий пассаж в кембриджских лекциях (1919) британского математика, логика и философа Альфреда Н. Уайтхеда (1861–1947): «То, что мы воспринимаем как настоящее, — это яркая бахрома воспоминаний, окрашенная предвкушением» (Whitehead A. N. An Anthology Selected by F. S. C. Northrop & M. W. Gross. Cambridge, 1953. P. 249. Пер. мой). Набоков меняет «vivid fringe» Уайтхеда на синонимичное «bright fringe».

…блестящий французский режиссер Виктор Витри… — Исследователи заметили в этом имени отсылку к французскому писателю, драматургу, актеру и режиссеру Саше Гитри (Guitry, 1885–1957), родившемуся в Санкт-Петербурге в семье знаменитого актера Михайловского театра Люсьена Гитри. В 50-х гг. Гитри снял исторические фильмы «Тайна Версаля» (1953) и «Наполеон» (1955).

С. 576. В 1905 году Норвегия <…> отделалась от Швеции… — 26 октября 1905 г. была расторгнута Шведско-Норвежская уния и Швеция признала независимость Норвегии.

…французский парламент <…> проголосовал за отделение государства от церкви. — 9 декабря 1905 г.

vive émotion — большое воодушевление (фр.).

С. 576–577. …в 1911 году, норвежские войска, предводимые Амундсеном, достигли Южного полюса… — Руаль Амундсен (1872–1928) достиг Южного полюса в 1911 г. в результате Норвежской антарктической экспедиции.

С. 577. …и тогда же Италия вторглась в Турцию… — В ходе итало-турецкой войны 1911–1912 гг. Италия захватила Триполитанию и Киренаику, области Османской империи в Северной Африке.

В 1914 году Германия захватила Бельгию, а американцы порвали Панаму. — 4 августа 1914 г., в начале Первой мировой войны, Германия вторглась в Бельгию и вскоре заняла Брюссель. В 1913 г. президент США Томас Вудро Вильсон распорядился подорвать последнюю преграду на Панамском перешейке, разделявшем воды Атлантического и Тихого океанов. Первое судно прошло по каналу в 1914 г., однако потребовалось еще несколько лет, чтобы закончить работы и открыть регулярное судоходство. В оригинале «Americans tore up Panama» звучит двусмысленно, поскольку выражение «tear up» имеет, кроме того, переносные значения «разорвать соглашение», «подорвать основы» и т. п.

Зигрид Митчел, Маргарет Ундсет, Сидони Колетт. — Первые два имени смешивают знаменитых писательниц XX в. норвежку Зигрид (Сигрид) Унсет (Undset, 1882–1949), получившую Нобелевскую премию по

литературе в 1928 г., и американку Маргарет Митчелл (Mitchell, 1900–1949), которая приобрела известность благодаря роману «Унесенные ветром» (1936); третье имя прямо указывает на плодовитую французскую писательницу Сидони-Габриэль Колетт (Colette, 1873–1954). В письме к Э. Уилсону от 24 января 1952 г. Набоков отозвался о Колетт так: «C'est pour les gosses [Это для детишек]. Второсортная каникулярная литература. Не стоит обсуждения» (NWL, 300. Пер. мой). «Mitchel», как написано у Набокова, вариант имени Mitchell.

В 1926 году <…> сдался Абд аль-Крим, и Золотая Орда вновь поработила Русь. — Причудливое смешение исторических имен и событий. Абд аль-Крим (или Абд эль-Керим, 1882–1963) — вождь восстания рифских племен в борьбе за независимость против испанских колониальных властей на севере Марокко, в 1921 г. эмир непризнанной Рифской республики; в 1926 г. сдался в плен французам и был сослан на о. Реюньон. Золотая Орда прекратила существование в начале XVI в., однако крымско-ногайские набеги на русские земли продолжались до присоединения Крымского ханства к Российской империи в конце XVIII в.

…Атаульф Гиндлер (известный также как Миттлер — от «to mittle», калечить… — К приведенному шотландскому глаголу следует добавить, что нем. Mittler имеет следующие значения: посредник; рел. спаситель, искупитель (о Христе). «Гиндлер» — лигатура, контаминирующая Гитлера и Пауля фон Гинденбурга, рейхспрезидента Германии (1925–1934 гг.). См. также коммент. к с. 340.

Олимпийские игры в Берлине, последние перед Второй мировой войной, прошли в августе 1936 г.

…бóльшую часть призов завоевали норвежцы, но американцы <…> разбили немцев в финальном футбольном сражении со счетом три — один… — На Олимпийских играх 1936 г. большинство медалей завоевала Германия, США на втором месте. В футбольном турнире команда США проиграла Италии в 1/8 финала.

С. 578. …комедийного актера Стеллера… — Английский комедийный актер Питер Селлерс (Sellers, 1925–1980) исполнил роль Клэра Куильти в экранизации «Лолиты» (1962) С. Кубрика. Здесь обыгрывается англ. stellar — звездный; знаменитый.

Ринкл-боллз. — В оригинале неологизм Wrinkleballs, букв. морщинистые яйца. Во французском переводе романа — «Couilleridez» (от couilles ridées — морщинистые шарики).

Политики, прозванные Старой Шляпой и Дядей Джо… — второй, бесспорно, Иосиф Сталин, которого западные газеты называли Uncle Joe (от англ. формы его имени Joseph, и, по-видимому, в пандан к «Дяде Сэму»), под первым же, возможно, подразумевается Франклин Д. Рузвельт (1882–1945), единственный американский президент, избиравшийся более чем на два срока (игра с velt — felt, фетр, фетровая шляпа).

С. 579. mon petit nom — мое уменьшительно-ласкательное имя.

У ангелов тоже есть метлы… — параллель к словам об Акве (официальной

матери Вана) в третьей главе романа: «…на Терре пользовались так же свободно, как водой и воздухом, библиями и метлами. Двумя-тремя столетиями раньше Аква легко нашла бы себе место в когорте горючих ведьм».

С. 580. «Если не хочешь на Фиалочке, тогда на местной гогеновской девушке. Или на Иоланде Кикшоу». — Французский художник Поль Гоген (1848–1903), написавший на Таити множество портретов туземок, женился на несовершеннолетней таитянке (ср. упоминание туземки с манго в гл. 3 этой части, отсылающее к картине Гогена «Vahine no te vi» («Женщина с манго»), 1892). «Иоланда Кикшоу» намекает на ту же Виолетту Нокс (Knox): греч. iolanthe — букв. фиолетовый цветок; англ. kickshaw (лакомство, безделушка) выстраивает следующую игру слов: Knox — knock (стучать) — kick (ударять, пинать).

Ах, брось, искусство не может ранить. Может, и еще как! — В издании романа в серии «The Library of America» (1996) на с. 464 напечатано «I can, and how!» («Я могу, и еще как!»); в издании «Vintage International» (1990) — «It can, and how!» («Оно может, и еще как!»). В данном случае мы следуем тексту более раннего издания, который соответствует и французскому переводу романа: «Si, il le peut, et comment donc!» («Нет, оно может, и еще как!»).

sanglot — рыдание (фр.).

С. 581. …перевода на русский отрывка (строки 569–572) из знаменитой поэмы Джона Шейда… — Переведены следующие строки из романа «Бледный огонь»: «We give advice / To widower. He has been married twice: / He meets his wives; both loved, both loving, both / Jealous of one another». Перевод отрывка был позднее использован в русской версии «Бледного огня» (БО, 64).

С. 582. …поджав коленки, сидит в черной юбке балерины на каменной балюстраде… — Из поэмы «Бледный огонь» (строки 578 и 585–588): «ноги / на каменный поставив парапет, сидит <…> другая <…> А та, вторая любовь, с подъемом голым ног, / В черной юбке балерины, зачем на ней / Сережки из шкатулки первой? / И зачем скрывает она рассерженное юное лицо?» (БО, 64).

С. 583. …лежащая плашмя пара… — в оригинале flat-lying, что обыгрывает переносное значение выражения flat line (прямая или горизонтальная линия) — остановка сердца, смерть; lying, кроме того, созвучно с dying (умирание).

Их недавно построенный замок в Эксе был вставлен в хрустальную зиму. — Здесь англ. inset подразумевает книжную вкладку или вклейку (замок вставлен в зиму, как иллюстрация в книгу).

«Who’s Who» («Кто есть кто») — ежегодные справочные издания с краткой биографической информацией о выдающихся людях страны, выходившие в Великобритании с 1849 г. Здесь подразумевается американская серия «Who’s Who in America», выходящая с 1899 г.

С. 584. …плоские бледные родители будущих Детей в буром Лесу, тонкая

книжка в детской Ардис-Холла, больше не могли поддерживать на таинственной первой картинке: двое в одной постели. — Подразумевается иллюстрированное издание анонимной английской баллады «The Babes in the Wood» («Дети в лесу») на сюжет сказки о двух детях, которых умирающие родители отдают на попечение их жестокого дяди, решившего вскоре от них избавиться. Баллада была проиллюстрирована Р. Колдекоттом для лондонского издания 1879 г. (The Babes in the Wood. One of R. Caldecott's Picture Books). На первой (после обложки) цветной иллюстрации Колдекотт изобразил лежащих в постели мертвенно-бледных родителей мальчика и девочки, играющих на переднем плане. На последней иллюстрации брат с сестрой, брошенные в осеннем лесу без еды, обнявшись, умирают среди бурых листьев. Здесь же следует отметить линию к первой главе романа, в которой упоминается «серия рисованных историй "Доброй ночи, малыши!", о давно позабытых теперь Нике и Пимпернелле (очаровательных брате и сестрице, деливших узкую кровать)». Набоков сопоставляет «плоских бледных родителей» («flat pale parents») иллюстрации с бездетными Ваном и Адой — упомянутой выше «лежащей плашмя парой» («flat-lying couple»). Они, следовательно, в определенном смысле действительно «умерли в саму завершенную книгу» и теперь бессильны поддержать (в оригинале выражение «prop up», одно из переносных значений которого — помогать, содействовать) свое детище, «Аду», оставленную в руках редактора (публикатора), подобно тому, как в балладе умершие родители не могли помочь своим детям, оказавшимся в беде. Повествование, таким образом, завершается рекурсивным приемом «mise en abyme» («помещение в бездну»), торжеством вымысла над временем: брат и сестра, умирающие соавторы книги, — одновременно и «родители», и сами дети (герои книги) — вечные Ван и Ада в лесу Ардиса.

…Сады и Услады Ардиса… — повторение стихотворной строчки Вана в Ч. 1, гл. 12: «"Ada, our ardors and arbors" [Ада, наши сады и услады] — пел в его голове дактилический триметр, которому предстояло остаться единственным вкладом Вана Вина в англо-американскую поэзию».

Винланд — см. коммент. к с. 416.

С. 585. …лань в родовом парке, обращенная к нам головой… — В оригинале геральдический термин «at gaze» («смотрящий впрям») — изображение оленя, стоящего боком и смотрящего на зрителя (такое положение в геральдике называется «statant guardant»). Во французском переводе романа: «une daine héraldique qui tourne la tête vers dans le parc ancestral» («геральдическая лань, которая поворачивает к нам голову в родовом парке»).

Вивиан Дамор-Блок

Примечания к «Аде»

В пояснениях Набокова переведены не все иноязычные слова и выражения, встречающиеся в романе. Часть из них не требует перевода для англоязычного читателя, часть оставлена без перевода намеренно или по недосмотру. Лаконичные примечания в одних случаях избыточны («Уинстон Черчилль, британский политик»), в других недостаточны

(«“Принцесса Греза” — название французской пьесы»); нередко они носят ироничный характер («Генрих Мюллер — автор “Поксуса” и проч.», «Гершчижевский — фамилия одного слависта соединена с фамилией Чижевского, еще одного слависта», «Некто — рус. quidam»), хотя в целом раскрывают ряд важных источников романа, цитат, аллюзий, каламбуров, внутренних образных или семантико-мотивных перекличек (как, например, в случае д-ра Кролика).

С. 587. Вивиан Дамор-Блок — в оригинале Vivian Darkbloom (букв. «Темноцвет»), анаграмма, использованная в «Лолите» (так зовут любовницу и соавтора Клэра Куильти); эквивалент взят из русского авторского перевода «Лолиты».

С. 588. et passim — и в разных местах (лат.).

…после выхода в свет печально известного романа… — Набоков намеревался издать «Лолиту» в США, но получил отказы нескольких издателей и вынужден был выпустить роман во Франции (1955). Американское издание состоялось только в 1958 г.

С. 593. Герой Толстого, Хаджи-Мурат (кавказский предводитель)… — В оригинале Набоков транскрибирует имя Хаджи-Мурата как Haji Murad (должно быть Hadji, во французском переводе «Ады» — Hadji Mourad), как принято в западной историографии и как оно произносится на аварском языке.

С. 594. У молодой госпожи довольно сильная пневмония, мне жаль, господин. — Приведенный Дамор-Блоком английский перевод («the young lady has a pretty bad pneumonia, I regret to say, Sir») не соответствует французской фразе Бланш в романе: «une belle pneumonia» означает «красивая пневмония», что представляет собой неверный перевод англ. pretty bad (довольно сильная) — наречие «довольно», «достаточно» спутано с прилагательным «прелестный, привлекательный». В переводе искажена и вторая часть фразы «mon pauvre Monsieur» («мой бедный господин»).

С. 597. quidam — какой-то, некоторый, один, некто (лат.).

С. 601. cameriere — ит. слуга, который несет багаж наверх… — В американском издании романа 1990 г. Дмитрий Набоков сделал следующее примечание: «В настоящем итальянском языке более привычным словом было бы, конечно, facchino». К этому стоит добавить, что cameriere (камердинер, кельнер) все же имело значение (теперь устаревшее) «коридорный»: cameriere d’albergo («альбергианская атмосфера» свиданий Вана и Ады в гостинице упоминается в Ч. 3, гл. 8).

Андрей Бабиков

Иллюстрации

К выходу «Ады» в свет журнал Time поместил портрет Владимира Набокова и отзыв: «Роман жив и пребывает на Антитерре» (номер от 23 мая 1969 г.).

К с. 651. Первый английский перевод «Детства и отрочества» Л. Н. Толстого, подготовленный М. фон Мейзенбуг (Лондон, 1862).

К с. 658. Фреска «Флора» (также известная под названием “Primavera”), Стабии (i век до н.э.).Национальный археологический музей Неаполя.

К с. 686. Д. Г. Россетти, «Блаженная дева», 1875–1878.

К с. 725. Реклама средств мужской гигиены Dapper Dan, США, 1930-е гг.

К с. 738. Guide Rose («Розовый путеводитель»), Париж, 1928 г.

К с. 740. Фрагмент фрески на стенах гробницы Нахта в фиванском некрополе (ок. 1400 г. до н.э.).

К с. 772. Рекламная фотография французской виноторговой фирмы Barton

and Guestier.

К с. 774. Футляр с цветными карандашами Dixon Anadel, США, 1960-е гг.

К с. 778. Обложка журнала Partisan Review (№ 4, 1955) с эссе Набокова «О переводе Пушкина».

К с. 780. Открытка с фотографией «Палас-отеля» и «Отеля Лебедь» в Монтрё. Лозанна, начало XX в.

К с. 781. Обложка журнала Life (номер от 30 июня 1967 г.) с портретом А. Н. Косыгина и американского президента Джонсона.

К с. 791. «Картезианский водолаз».

К с. 796–797. Из книги “The Babes in the Wood. One of R. Caldecott’s Picture Books” (Лондон, 1879).

Notes

1

Набоков В. Полное собрание рассказов / Сост., примеч. А. Бабикова. СПб.: Азбука, 2016. С. 626. Пер. Г. Барабтарло.

2

Цит. по: Гарднер М. Этот правый, левый мир / Под ред. Я. А. Смородинского. М.: Мир, 1967. С. 215.

3

См.: Бойд Б. Владимир Набоков. Американские годы. Биография. СПб.: Симпозиум, 2010. С. 479.

4

Nabokov V. Selected Letters. 1940–1977 / Ed. by D. Nabokov and M. J. Bruccoli. San Diego et al.: Harcourt Brace Jovanovich, 1989. P. 365–366. Письмо от 28 ноября 1964 г. Пер. мой.

5

Nabokov V. Strong Opinions. N.Y.: Vintage, 1990. P. 310. Пер. мой.

6

Ibid.

7

«Ее имя: Ада. АДА» (The New York Public Library. W. Henry & A. Albert Berg Collection of English and American Literature. Vladimir Nabokov papers / Manuscript box / Diaries, 1943–1973).

8

Название государственного флага Великобритании.

9

Взгляды Набокова на проблему времени близки Шпенглеру, еще в 1918 г. писавшему: «Когда новейшие философы Запада <…> пользуются оборотом, гласящим, что вещи существуют “во времени”, как и в пространстве, и что “вне” времени ничто не может быть “помыслено”, они просто помещают рядом с обычным пространством какой-то второй вид пространственности. Это равносильно тому, как если бы вздумали назвать надежду и электричество двумя силами Вселенной» (Шпенглер О. Закат Европы. М., 1998. Т. 1. С. 281. Пер. К. А. Свасьяна).

10

Nabokov V. Interview with Alden Whitman for New York Times (1969) // Think, Write, Speak. Uncollected Essays, Reviews, Interviews and Letters to the Editor by Vladimir Nabokov / Ed. by B. Boyd and A. Tolstoy. N.Y.: Alfred A. Knopf, 2019. P. 373. Пер. мой.

11

Boyd B. «Ada» // The Garland Companion to Vladimir Nabokov / Ed. by V. E. Alexandrov. N.Y. & L., 1995. P. 3. Бойд Б. По следам Набокова. Избранные эссе. СПб.: Симпозиум, 2020. С. 419.

12

Вейдле В. Исчезновение Набокова // Новый журнал. 1977. № 129. С. 274. Схожий вывод в своей рецензии сделала Констанс Вагнер (Университет Оклахомы), обыгравшая последние слова романа: «Забытый теперь Джеймс Брэнч Кейбл проделывал такого же рода штуки при помощи меньшего числа слов и без слепящих фейерверков. В “Аде” уж слишком “много, много другого”» (Wagner C. Vladimir Nabokov. Ada or Ardor: A Family Chronicle // Books Abroad. Vol. 44, № 2 (Spring 1970). P. 315. Пер. мой).

13

Иваск Ю. В. В. Набоков // Новый журнал. 1977. № 128. С. 274.

14

Андреев Н. Сирин // Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова / Сост. Н. Г. Мельникова и О. А. Коростелева. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 194.

15

Андреев Ник. Об особенностях и основных этапах развития русской литературы за рубежом // Русская литература в эмиграции / Под ред. Н. П. Полторацкого. Питтсбург, 1972. С. 20.

16

Nabokov V. Selected Letters. 1940–1977. P. 445.

17

Harvard University. Houghton Library / Vladimir Nabokov papers. Box 12, folder 207.

18

Beinecke Rare Book and Manuscript Library / Nina Berberova papers. Box 11, folder 276.

19

Смертельный удар (которым добивают умирающего из жалости).

20

Письмо к С. А. Карлинскому от 20 апреля 1971 года. Цит. по: Бабиков А. Прочтение Набокова. Изыскания и материалы. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2019. С. 502.

21

Первые неловкие ухаживания Вана, боявшегося возмущенного афронта со стороны целомудренной Ады, напоминают следующее место в «Люцинде» (1799): «Он вспомнил об одной благородной девочке, с которой он в счастливые времена своей ранней юности дружески и весело забавлялся, побуждаемый чистой детской привязанностью. Так как он был первым, который благодаря своему интересу к ней очаровал ее, то это милое дитя устремило к нему свою душу, подобно тому как цветок поворачивается к солнечному свету. Сознание, что она была еще едва созревшей и стояла на пороге юности, делало его желание еще более непреодолимым. Обладать ею казалось ему высшим благом; он был уверен в том, что не может жить без этого, и решился на все. При этом малейшее соображение о мещанской морали внушало ему отвращение, как всякого рода насилие. <…> Ее симпатия к нему, ее невинность, молчаливость и замкнутый характер легко предоставляли ему случаи видеть ее одну; опасность, с этим связанная, только увеличивала очарование того, что он предпринял. Однако он с досадой должен был себе признаться, что ему не удавалось приблизиться к цели, и он упрекал себя в недостатке ловкости, чтобы совратить ребенка» (Немецкая романтическая повесть: В 2 т. / Пер. А. Сидорова. М.—Л.: Academia, 1935. Т. 1. С. 46—47).

22

Appel A., Jr. “Ada” Described // Nabokov. Criticism, reminiscences, translations and tributes / Ed. by A. Appel, Jr. & Ch. Newman. L.: Weidenfeld and Nicolson, 1971. P. 161.

23

Nabokov V. Lectures on Literature / Ed. by F. Bowers. N.Y. & L.: Harcourt Brace Jovanovich, 1982. P. 10. Пер. мой.

24

Набоков В. Стихи. Анн Арбор: Ардис, 1979. С. 269.

25

Отклики на американскую лунную эпопею // Новое русское слово (Нью-Йорк). 22 июля 1969. С. 1.

26

Harvard University. Houghton Library / Vladimir Nabokov papers. Box 12, folder 207 b.

27

Каннак Е. Верность. Воспоминания. Рассказы. Очерки. Paris, 1992. С. 206.

28

Указ. соч. С. 209–211.

29

Сирин В. Помогите, господа // Новое русское слово. 1940. 1 дек. С. 3. Благодарю Анастасию Толстую, любезно приславшую мне копию этой публикации.

30

Разбор этого перевода см. в нашей работе «Большая реставрация. Русская версия “Лолиты”: от рукописи к книге» (Бабиков А. Прочтение Набокова. Изыскания и материалы. С. 623–678). В нашем переводе «Ады»

мы сохраняем только некоторые старые формы слов и транслитераций (например, чорт, шкап и шкапчик наряду со «шкаф», Вильям, Волтер, Дунн и др.), которые Набоков использовал в русской версии «Лолиты».

31

Полный перевод.

32

17 января 1974 г. Вера Набокова писала сыну Дмитрию: «Папочка ужасно много работает. Перевод толстой Ады берет массу времени и сил. Я знаю, что ему не нужно столько работать, что это ему вредно, но не знаю, что сделать. Ему хочется писать, а у него еще на 3 месяца работы <…>» Приписка нетвердой рукой Набокова: «Очень утомленный своею француженк<о>й, папа шлет тебе, мой дорогой, нежн<ы>й привет» (Harvard University. Houghton Library / Vladimir Nabokov papers / Letters to Dmitri Nabokov).

33

Hoover Institution Archives / Gleb Struve papers. Box 108, folder 18 (пер. мой). Набоков, по-видимому, имел в виду не бродягу-чернеца Мисаила из «Бориса Годунова», а старца Пимена и его знаменитый монолог: «Еще одно, последнее сказанье — / И летопись окончена моя, / Исполнен долг, завещанный от Бога / Мне, грешному. Недаром многих лет / Свидетелем Господь меня поставил / И книжному искусству вразумил <…>».

34

Название, место и год издания написаны на карточке. Имеется в виду словарь В. М. Лазарева и И. Ф. Чеснокова, издательство «Лесная промышленность», содержащий около 4000 названий древесных и кустарниковых пород.

35

Под инициалом имеется в виду, по-видимому, жившая в Женеве сестра

писателя Елена Сикорская, к которой и были обращены вопросы.

36

Памятная записка.

37

Повернуть (на обороте карточки выписки из упомянутых словарей).

38

По-английски (книжн.).

39

Предано забвению, кануло (англ.).

40

Декоративный папоротник адиантум венерин волос, избранный ради созвучия с именем Ады. В романе Набокову требовалось противопоставить поэтичное английское название «maidenhair» (букв. «волосы девы») грубому русскому названию, поэтому он воспользовался названием другого растения: волосянка, согласно Словарю Даля, это Festuca ovina, манник, типчак (научное название «овсяница овечья»).

41

Шутливо транслитерированное французское выражение «je m’excuse» — «прошу прощения» (за употребление простонародного названия растения). Gallice — неологизм, означающий «по-французски» и образованный по аналогии с «anglice».

42

Ричард Солсбери умер в 1829 г.

43

По-русски.

44

Написано сбоку на левом поле карточки (смесь старой и новой орфографии). Буддлея — вид тропических и субтропических цветковых растений, названных Линнеем в честь английского ботаника Адама Буддла.

45

Harvard University. Houghton Library / Vladimir Nabokov papers. Box 12, folder 228. Поздняя пометка рукой Дмитрия Набокова (на английском языке): «Рабочие записи ВЕН для возможного будущего русского перевода “Ады”. Хранить для возможного будущего использования».

46

Набоков В. Истинная жизнь Севастьяна Найта. СПб., 2008. С. 8. Сохранена орфография автора.

47

Набоков В. Полное собрание рассказов. СПб., 2016. С. 370.

48

The Stories of Vladimir Nabokov / Preface and notes by D. Nabokov.

N.Y.: Vintage, 2008. P. 356.